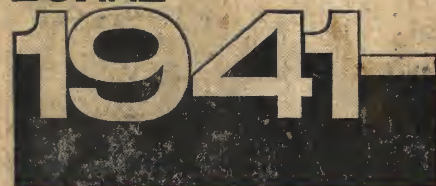
ОЧЕРКИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



1945

С.СМИРНОВ
М.БРАГИН
В.КОЖЕВНИКОВ
Н.МИХАЙЛОВСКИЙ
В.КОРОТЕЕВ
А.ПЕРВЕНЦЕВ
А.КРИВИЦКИЙ
Л.ПЕРВОМАЙСКИЙ
Я.ХЕЛЕМСКИЙ
Ю.ЗБАНАЦКИЙ
А.БЕЛОШЕЕВ
И.ВИНОГРАДОВ
Т.ТЭСС
А.ШТЕЙН
А.КЕШОКОВ
Н.АЛЕКСЕЕВ
М.ЧАРНЫЙ
В.СОКОЛОВ
П.ЛУКНИЦКИЙ
Е.РЖЕВСКАЯ
Е.ВОРОБЬЕВ
А.ЩЕРБАНЬ
К.СИМОНОВ
Б.ПОЛЕВОЙ
Е.КРИГЕР
Н.БОГДАНОВ

1941 1945



Очерки о Великой Отечественной войне

Издательство политической литературы · Москва · 1975

Начавшаяся 22 июня 1941 года война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была самым крупным военным столкновением социализма с ударными силами империализма. Она стала Великой Отечественной войной советского народа за свободу и независимость социалистической Родины, за социализм.

Германский империализм ставил перед собой цель — уничтожить первое в мире социалистическое государство, истребить



миллионы людей, поработить народы Советского Союза и многих других стран.

Великая Отечественная война была самой тяжелой и самой жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Особенно суровые испытания выпали на нашу долю в начале войны. Громадная, заранее отмобилизованная армия гитлеровцев и их сателлитов, одурманенная ядом шовинизма и расизма, глубоко вклинилась в нашу территорию. Враг дошел до пред-



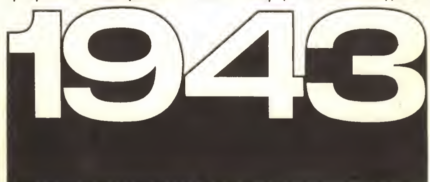
Н.МИХАЙЛОВСКИЙ. НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ



горий Кавказа, прорвался к Волге, блокировал Ленинград, угрожал Москве. Над Советской страной нависла смертельная опасность...

Но уже начальный период войны показал, что военная авантюра гитлеровцев обречена на провал. Разгром немцев под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны...

Весь советский народ поднялся на защиту Родины. Страна превратилась в огромный боевой лагерь, охваченный единым



порывом — разбить врага, изгнать его с советской земли, уничтожить фашизм. Лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» стал непреложным законом жизни советского народа. Партия приняла энергичные меры по организации разгрома врага, объединению усилий фронта и тыла...

Наш героический народ под руководством Коммунистической партии сумел преодолеть трудности первого периода военных действий... Историческими этапами на пути к победе Советского





Союза над фашистской Германией стали: победа в грандиозной Сталинградской битве, разгром гитлеровских войск под Курском, крупнейшие их поражения в других сражениях. В 1944 году немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с территории Советского Союза, а наступательные операции Советской Армии последнего года войны сыграли решающую роль в избавлении от фашистской оккупации народов Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Норвегии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, в окончательной победе над фашистской коалицией... Была разгромлена и милитаристская Япония. Мировая цивилизация была спасена от чумы фашизма...

В этой войне победил советский народ. Как один человек, поднялись советские люди на защиту своей Родины. Это был невиданный массовый, поистине всенародный героизм...

В этой войне победили Советские Вооруженные Силы. Созданные для защиты завоеваний Октября, они с честью пронесли свои боевые знамена через всю историю Советского государства. Никогда не забудутся подвиги советских воинов, совершенные ими в годы Отечественной войны...

В тылу врага развернулась всенародная борьба против фашистских оккупантов. Вместе с Советскими Вооруженными Силами сокрушительные удары по врагу наносили партизаны...

Победа в войне — это и победа тружеников советского тыла. Самоотверженно, в тяжелейших условиях трудились рабочие, колхозники, интеллигенция...

В годы суровых военных испытаний во главе борющегося народа стояла партия коммунистов. Она организовала, вдохновила, идейно вооружила советский народ на борьбу с врагом. Лучшие сыны Коммунистической партии были на переднем крае вооруженной борьбы с фашизмом...

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое значение...

Итоги Великой Отечественной войны Советского Союза убедительнейшим образом показали, что в мире нет таких сил, которые смогли бы сокрушить социализм, поставить на колени народ, верный идеям марксизма-ленинизма, преданный социалистической Родине, сплоченный вокруг ленинской партии.

Из Тезисов Центрального Комитета КПСС
«50 лет Великой Октябрьской
социалистической революции»

ОЧЕРКИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



Е.РЖЕВСКАЯ. ОТ ВАРШАВЫ ДО БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ
Е.ВОРОБЬЕВ. У ПОРОГА ПОБЕДЫ
А.ЩЕРБАНЬ. ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ
К.СИМОНОВ. НЕЗАДОЛГО ДО ТИШИНЫ
Б.ПОЛЕВОЙ. ОТ ЭЛЬБЫ ДО ВЛТАВЫ
Е.КРИГЕР. „И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...”
Н.БОГДАНОВ. ЯПОНИЯ В ДНИ КАПИТУЛЯЦИИ



9(С)27
Т93

Составитель	В. В. Катинов
Заведующий редакцией	А. И. Котеленец
Редактор	Л. И. Стебакова
Младший редактор	И. А. Дегтярева
Художник	В. И. Примаков
Художественный редактор	Г. Ф. Семиреченко
Технический редактор	Л. К. Уланова

1941—1945. ОЧЕРКИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сдано в набор 5 августа 1974 г. Подписано в печать 4 февраля 1975 г. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 44. Учетно-изд. л. 43,39. Тираж 300 000 (1—100 000) экз. А00015. Заказ № 1607. Цена 1 р. 79 к.
Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

Т $\frac{10604-040}{079(02)-75}$ 211—74

Содержание



Навеки вошла в героическую летопись борьбы советского народа оборона Брестской крепости. Во время нападения в крепости находились лишь отдельные подразделения. Враг надеялся захватить ее в первые же часы войны, но это оказалось невозможным. Гарнизон крепости дал достойный отпор. Коммунисты — командиры и политработники П. М. Гаврилов, И. Н. Зубачев, С. С. Скрипник, А. М. Кижеватов, Е. М. Фомин — возглавили героическую оборону. Враг бросил против крепости целую дивизию — 45-ю — при поддержке авиации, тяжелой артиллерии, огнеметов. Не имея орудий, испытывая острый недостаток в патронах, в продовольствии и воде, советские воины сражались с изумительной стойкостью. До середины июля продолжалась легендарная оборона. Немало гитлеровских солдат полегло у стен этой плохо приспособленной к обороне против авиации, мощной артиллерии и огнеметов крепости.

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая. М., 1970, стр. 148.

СЕРГЕЙ
СМИРНОВ

ЛЕГЕНДА, СТАВШАЯ БЫЛЬЮ



В ранний предрассветный час 22 июня 1941 года ночные наряды и дозоры пограничников, которые охраняли западный государственный рубеж Советской страны, заметили странное небесное явление. Там, впереди, за пограничной чертой, над захваченной гитлеровцами землей Польши, далеко, на западном крае чуть светлеющего предутреннего неба, среди уже потускневших звезд самой короткой летней ночи вдруг появились какие-то новые, невиданные звезды. Непривычно яркие и разноцветные, как огни фейерверка — то красные, то зеленые, — они не стояли неподвижно, но медленно и безостановочно плыли сюда, к востоку, прокладывая свой путь среди гаснувших ночных звезд. Они усеяли собой весь горизонт, сколько видел глаз, и вместе с их появлением оттуда, с запада, донесся рокот множества моторов.

Этот рокот быстро нарастал, заполняя собою все вокруг. Сотни германских самолетов с зажженными бортовыми огнями стремительно вторглись в воздушное пространство Советского Союза.

И прежде чем пограничники, охваченные внезапной зловещей тревогой, успели осознать смысл этого непонятного и дерзкого вторжения, предрассветная полумгла на западе озарилась мгновенно взблеснувшей зарницей, яростные вспышки взрывов, вздымающих к небу черные столбы земли, забушевали на первых метрах пограничной советской территории, и все потонуло в тяжком оглушительном грохоте, далеко сотрясающем землю. Тысячи германских орудий и минометов, сосредоточенных в последние дни у границы, открыли огонь по нашей пограничной полосе. Всегда настороженная, тихая линия государственного рубежа сразу превратилась в ревущую огненную линию фронта...

Так началось предательское нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, так началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

В это утро в один и тот же час военные действия начались по всей западной границе СССР, протянувшейся на три с лишним тысячи километров от Баренцева до Черного моря. После усиленного артиллерийского обстрела, после ожесточенной бомбежки пограничных объектов около двухсот германских, финских и румынских дивизий начали вторжение на советскую землю. Фашистские войска принялись осуществлять так называемый

«План Барбаросса» — план похода против СССР, тщательно разработанный генералами гитлеровской Германии.

На первый взгляд все шло по плану, подготовленному в гитлеровской ставке. Точно, как было предусмотрено, танки Гудериана и Гота 27 июня встретились под Минском; фашисты овладели столицей Белоруссии и отрезали часть наших войск. Через три недели после этого, 16 июля, передовые отряды германской армии вступили в Смоленск...

Но война на Востоке оказалась совсем непохожей на войну на Западе. Противник здесь был иным, и его поведение опрокидывало все привычные представления немецких военачальников и их солдат.

Это началось от самой границы. Застигнутые врасплох, потерявшие большую часть своей техники, столкнувшиеся с необычайно сильным, численно превосходящим противником, советские войска тем не менее сопротивлялись с удивительным упорством, и каждая, даже небольшая победа над ними добывалась чересчур дорогой ценой. Отрезанные от своей армии, окруженные советские части, которые по всем законам немецкой военной науки должны были бы немедленно сложить оружие и сдаться в плен, продолжали драться отчаянно и яростно. Даже рассеянные, расчлененные на мелкие группы в глубоком тылу наступающего противника и, казалось, неминуемо обреченные на уничтожение, советские бойцы и командиры, не выпуская из рук оружия, пробирались глухими лесами и болотами на восток, дерзко нападали по дороге на обозы и небольшие колонны противника, с боем прорывались через линию фронта и присоединялись к своим. Другие оставались в тылу врага, создавали вооруженные отряды и начинали ожесточенную партизанскую борьбу, в которую постепенно все больше втягивались жители оккупированных гитлеровскими войсками советских областей.

В итоге то пространство, которое лежало уже позади линии фронта, враг не мог считать ни завоеванным, ни покоренным. Это пространство смело можно было тоже назвать полем боя, ибо здесь повсюду шла вооруженная борьба, то явная, то скрытая, но всегда необычайно ожесточенная и упорная. Дрались советские части, пробивающиеся из окружения, дрались сотни и тысячи мелких групп, пробирающихся к фронту по тылам врага. И уже поднималось грозной и неистребимой силой в густых лесах и непроходимых болотах Белоруссии губительное для захватчиков всенародное партизанское движение, руководимое подпольными организациями Коммунистической партии. Фронт фактически был повсюду, куда ступила нога оккупанта, он простирался на сотни километров в глубину — от линии передовых отрядов немецко-фашистских войск до самой границы СССР.

И все же советские войска еще продолжали отступать на восток.

Именно в эти черные, полные горечи дни отступления в наших войсках родилась легенда о Брестской крепости. Трудно сказать, где появилась она впервые, но, передаваемая из уст в уста, она вскоре прошла по всему тысячекилометровому фронту от Балтики до причерноморских степей.

Это была волнующая легенда. Рассказывали, что за сотни километров от фронта, в глубоком тылу врага, около города Бреста, в стенах старой русской крепости, стоящей на самой границе СССР, уже в течение многих дней и недель героически сражаются с врагом наши войска. Говорили, что противник, окружив крепость плотным кольцом, яростно штурмует ее, но при этом несет огромные потери, что ни бомбы, ни снаряды не могут сломить упорство крепостного гарнизона и что советские воины, обороняющиеся там, дали клятву умереть, но не покориться врагу и отвечают огнем на все предложения гитлеровцев о капитуляции.

Неизвестно, как возникла эта легенда. То ли принесли ее с собой группы наших бойцов и командиров, вышедшие из района Бреста по тылам немцев и потом пробившиеся через фронт. То ли рассказал об этом кто-нибудь из фашистов, захваченных в плен. Говорят, летчики нашей бомбардировочной авиации подтверждали, что Брестская крепость сражается. Отправляясь по ночам бомбить тыловые военные объекты противника, находившиеся на польской территории, и пролетая около Бреста, они видели внизу вспышки разрывов, дрожащий огонь стреляющих пулеметов и текучие пути трассирующих пуль.

Однако все это были лишь рассказы и слухи. Действительно ли сражаются там наши войска, проверить было невозможно: радиосвязь с крепостным гарнизоном отсутствовала. И легенда о Брестской крепости в то время оставалась только легендой. Но, полная волнующей героики, эта легенда была очень нужна людям. В те тяжкие, суровые дни отступления она глубоко проникала в сердца воинов, воодушевляла их, рождала в них бодрость и веру в победу.

Прошло девять месяцев с начала войны. Остались позади трудные дни первых неудач и поражений. Враг был остановлен на ближних подступах к Москве, и зимою Красная Армия нанесла ему здесь мощный удар, разгромив и отбросив на запад войска противника. Почти одновременно гитлеровская армия потерпела поражения на севере и на юге — под Тихвином и Ростовом. Зимой и весной 1942 года на ряде участков фронта инициатива перешла к советским войскам.

В неослабевающем напряжении этой борьбы, в цепи тяжких битв, среди новых суровых испытаний поблекла в памяти лю-

дей и, казалось, навсегда ушла в прошлое фронтовая легенда о крепости над Бугом, родившаяся в первые месяцы войны. И вдруг совершенно неожиданно люди снова вспомнили о Брестской крепости, и старая легенда сразу превратилась в волнующую героическую быль.

В марте 1942 года на одном из участков фронта в районе Орла наши войска разгромили 45-ю пехотную дивизию противника. При этом был захвачен архив штаба дивизии.

Разбирая документы, наши офицеры обратили внимание на одну весьма любопытную бумагу. Документ назывался «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска», и в нем день за днем гитлеровцы рассказывали о ходе боев за Брестскую крепость.

Все факты, приводимые в этом документе, говорили об исключительном мужестве, о поразительном героизме, о необычайной стойкости и упорстве защитников Брестской крепости. Как вынужденное невольное признание врага звучали последние заключительные слова этого донесения. «Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови,— писали штабные офицеры противника.— Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению».

Таково было признание врага.

Это «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска» было переведено на русский язык, и выдержки из него опубликованы в 1942 году в газете «Красная звезда». Так фактически из уст нашего врага советские люди впервые узнали некоторые подробности замечательного подвига героев Брестской крепости. Легенда стала былью.

Прошло еще два года... Летом 1944 года, во время мощного наступления наших войск в Белоруссии, Брест был освобожден. 28 июля 1944 года советские воины после трех лет фашистской оккупации вошли в Брестскую крепость.

Почти вся крепость лежала в развалинах. По одному виду этих страшных руин можно было судить о силе и жестокости происходящих здесь боев. Эти груды развалин были полны сурового величия, словно в них до сих пор жил несломленный дух павших бойцов 1941 года. Угрюмые камни, местами уже поросшие травой и кустарником, избитые и выщербленные пулями и осколками, казалось, впитали в себя огонь и кровь былого сражения, и людям, бродившим среди развалин крепости, невольно приходила на ум мысль о том, как много видели эти камни и сколько сумели бы они рассказать, если бы произошло чудо и они смогли заговорить.

И чудо произошло! Камни вдруг заговорили! На уцелевших стенах крепостных строений, в проемах окон и дверей, на сводах подвалов, на устоях моста стали находить надписи, оставленные защитниками крепости. В этих надписях, то безымянных, то подписанных, то набросанных второпях карандашом, то просто нацарапанных на штукатурке штыком или пулей, бойцы заявляли о своей решимости сражаться насмерть, посылали прощальный привет Родине и товарищам, говорили о преданности народу и партии. В крепостных руинах словно зазвучали живые голоса безвестных героев 1941 года, и солдаты 1944 года с волнением и сердечной болью прислушивались к этим голосам, в которых были и гордое сознание исполненного долга, и горечь расставания с жизнью, и спокойное мужество перед лицом смерти, и завет о мщении.

«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22. VI 1941. Умрем, но не уйдем!» — было написано на кирпичах наружной стены близ Тереспольских ворот.

В западной части казарм, в одном из помещений, была найдена такая надпись: «Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умрем как герои. Июль 1941».

В центре крепостного двора стоит полуразрушенное здание церковного типа. Здесь действительно была когда-то церковь, а впоследствии, перед войной, ее переоборудовали в клуб одного из полков, размещенных в крепости. В этом клубе, на площадке, где находилась будка киномеханика, на штукатурке была выцарапана надпись: «Нас было трое москвичей — Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту церковь, и мы дали клятву: умрем, но не уйдем отсюда. Июль. 1941».

Эту надпись вместе со штукатуркой сняли со стены и перенесли в Центральный музей Советской Армии в Москве, где она сейчас хранится.

Заговорили не только камни. В Бресте и его окрестностях, как оказалось, жили жены и дети командиров, погибших в боях за крепость в 1941 году. В дни боев эти женщины и дети, застигнутые в крепости войной, находились в подвалах казарм, разделяли все тяготы обороны со своими мужьями и отцами. Сейчас они делились воспоминаниями, рассказывали много интересных подробностей памятной обороны.

И тогда выяснилось удивительное и странное противоречие. Немецкий документ, о котором я говорил, утверждал, что крепость сопротивлялась девять дней и пала к 1 июля 1941 года. Между тем многие женщины вспоминали, что они были захвачены в плен только 10, а то и 15 июля, и когда гитлеровцы выводили их за пределы крепости, то на отдельных участках обороны еще продолжались бои, шла интенсивная перестрелка. Жители Брес-

та говорили, что до конца июля или даже до первых чисел августа из крепости слышалась стрельба, и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был размещен армейский госпиталь, своих раненых офицеров и солдат.

Правда, прямых доказательств этого на первых порах не было. Но вот в 1950 году научный сотрудник московского музея, исследуя помещения западных казарм, нашел еще одну надпись, выцарапанную на стене. Надпись эта была такой: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Подписи под этими словами не оказалось, но зато внизу стояла совершенно ясно различимая дата — «20 июля 1941 года». Так удалось найти прямое доказательство того, что крепость продолжала сопротивляться еще на 29-й день войны. Историки с этих пор стали считать, что гарнизон сражался 29 дней, хотя очевидцы стояли на своем и уверяли, что бои шли больше месяца.

Несколько позже удалось установить, что не все участники обороны Брестской крепости погибли, а кое-кто из них остался в живых. Эти люди, в большинстве своем тяжело раненные или контуженные, попали во вражеский плен и перенесли все ужасы фашистских концлагерей. Некоторым из них посчастливилось бежать из плена, и они сражались в отрядах партизан, а потом в рядах Красной Армии. Теперь они вспоминали отдельные эпизоды обороны, рассказывали о том, как шла борьба, называли фамилии своих боевых товарищей. Картина начала проясняться.

* * *

Брестская крепость спала спокойным, мирным сном, когда над Бугом прогремел первый залп фашистской артиллерии. Только бойцы пограничных дозоров, которые залегли в кустах у реки, да ночные часовые во дворе крепости увидели яркую вспышку на еще темном западном краю неба и услышали странный нарастающий свист. В следующий миг грохот сотен рвущихся снарядов и мин потряс землю.

Бойцы и командиры проснулись среди огня и смерти, и многие погибли в первые же секунды, еще не успев прийти в себя и сообразить, что происходит вокруг.

Неизбежное замешательство первых минут усиливалось еще из-за того, что в казармах почти не оказалось командиров: они, как обычно, в ночь с субботы на воскресенье ночевали на своих квартирах, а с бойцами оставались только сержанты и старшины. Те из командиров, которые жили в домах комсостава в северной части крепости, с первыми выстрелами бросились к своим бойцам в казармы Центрального острова. Однако мост, ведущий туда, находился уже под непрерывным пулеметным обстрелом противника. Лишь немногим командирам удалось проскочить его под пулями и присоединиться к своим бойцам.

Враг торопился использовать все преимущества своего внезапного нападения. Орудия в левобережных зарослях еще продолжали вести огонь, а авангардные штурмовые отряды автоматчиков 45-й пехотной дивизии уже форсировали Буг на резиновых лодках и понтонах и ворвались на Западный и Южный острова Брестской крепости.

Только редкая цепочка пограничных дозоров и патрулей защищала эти острова. Пограничники сделали все, что могли. Из прибрежных кустов, с гребня вала, протянувшегося над рекой, они до последнего патрона обстреливали вражеские переправы. Но их было слишком мало, чтобы сдержать натиск врага. Густые цепи автоматчиков буквально затопили оба острова, сметая немногочисленные посты пограничников и быстро продвигаясь к центру крепости.

На Южном острове не было наших подразделений. Здесь находились только склады да располагался большой окружной госпиталь. Первые же снаряды разрушили и подожгли госпитальные корпуса и жилые дома. По двору госпиталя растерянно метались выбежавшие из палат больные. Раненный в голову осколком снаряда заместитель начальника госпиталя по политической части батальонный комиссар Богатеев пытался организовать сопротивление врагу, но, естественно, врачи, сестры и санитары не могли противостоять отборной пехоте противника. Попытка эта была тут же ликвидирована наступавшими автоматчиками, а сам Богатеев убит.

На Западном острове немецкая пехота, окружив частью своих сил сражавшиеся группы пограничников, вышла к мосту у Тереспольских ворот цитадели. Большой отряд автоматчиков тотчас же перешел этот мост и, войдя в ворота, оказался во дворе крепостных казарм.

Посредине двора, возвышаясь над соседними постройками и господствуя над всем Центральным островом, стояло большое массивное здание бывшей церкви — полкового клуба.

Войдя во двор цитадели, немцы сразу же оценили все выгоды этого здания и поспешили занять его, тем более что клуб был пуст — в минуту первоначального замешательства никто из наших не успел подумать о том, чтобы закрепиться тут. Автоматчики установили здесь рацию, а в окна во все стороны выставили пулеметы.

Это был удар в самое сердце нашей обороны. Теперь противник обладал ключевой, командной позицией Центрального острова. Из окон клуба фашисты могли обстреливать с тыла казармы, плотным огнем разъединяя, разобщая наши подразделения.

Враг, ободренный этим успехом, немедленно постарался закрепить и развить его. Большая часть отряда автоматчиков дви-

нулась дальше к восточной оконечности острова, стремясь полностью овладеть центром крепости.

Прямо против клуба в восточной части острова стояло обнесенное бетонной оградой с железными прутьями полуразрушенное еще в 1939 году здание, где когда-то помещался штаб польского корпуса, располагавшегося в крепости.

Южная часть ограды этого здания тянулась вдоль казарм, образуя как бы широкую улицу. Автоматчики двинулись по этой улице густой нестройной толпой, гортанно перекликаясь и непрерывно строча по окнам казарм.

Ответных выстрелов не было. Казалось, что советский гарнизон, сокрушенный, подавленный артиллерийским огнем и бомбежками, уже не в силах сопротивляться наступающим и центр крепости будет захвачен без боя.

И вдруг совершенно неожиданный, ошеломляющий удар обрушился на противника. Какой-то глухой, протяжный шум послышался внутри казарменного здания; двери, ведущие во двор, рывком распахнулись, и с оглушительным, яростным «ура!» в самую середину наступающего немецкого отряда потоком хлынули вооруженные советские бойцы, с ходу ударившие в штыки.

В несколько минут враг был смят и опрокинут. Штыковой удар словно ножом рассек надвое немецкий отряд. Те автоматчики, что еще не успели поравняться с дверями казармы, в панике бросились назад, к зданию клуба и к западным Тереспольским воротам, через которые они вошли во двор. А большая часть отряда, отрезанная от своих, кинулась бежать по улице к восточному краю острова, и за ней по пятам с торжествующим «ура!» катилась толпа атакующих бойцов, на ходу работающих штыками. А за ними, также крича «ура!», бежали другие бойцы, вооруженные кто саблей, кто ножом, а кто просто палкой или даже обломком кирпича. Стоило только упасть убитому автоматчику, как к нему разом бросалось несколько человек, стараясь завладеть его оружием, а если падал кто-нибудь из атакующих, его винтовка тотчас же переходила в руки другого бойца и продолжала беспощадно разить врагов.

Прижатые к берегу Мухавца, гитлеровцы были быстро перебиты. Часть автоматчиков бросилась спасаться вплавь, но по воде ударили наши ручные пулеметы, и ни один из фашистов не вышел на противоположный берег.

Это был первый контрудар, нанесенный германским войскам, штурмующим крепость, бойцами 84-го стрелкового полка, занимавшего юго-восточный сектор казарменного здания.

В ту ночь заместитель командира полка по политической части полковой комиссар Ефим Фомин допоздна засиделся в своем служебном кабинете. И едва он успел задремать, как на крепость обрушились вражеские снаряды и бомбы.

Окна этой части казарм были обращены на Мухавец, в сторону границы. Несколько снарядов сразу же попали внутрь помещений, вызвав пожары и разрушения. Кое-где пирамиды с винтовками были разбиты взрывами или завалены, и многие бойцы остались безоружными. Зажигательный снаряд попал в кабинет Фомина, и комиссар, задыхаясь от едкого дыма, едва успел выбраться из своей комнаты.

Он тотчас же принял командование подразделениями полка. Потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть первоначальное замешательство, вооружить бойцов и собрать их в безопасном помещении подвала.

Там Фомин обратился к ним с короткой речью, напоминая об их долге перед Родиной и призывая их стойко и мужественно сражаться с врагом. А затем по приказу комиссара люди пошли в первую штыковую атаку, которая успешно закончилась уничтожением отрезанной группы автоматчиков на восточном краю острова.

Между тем остатки немецкого отряда, бросившиеся назад к Тереспольским воротам, уже не смогли вернуться к своим. Путь отступления оказался отрезанным.

Около Тереспольских ворот, протянувшись поперек центрального двора цитадели, одно за другим стояли два длинных двухэтажных здания. В одном из них помещались пограничная застава и комендатура, в другом находились казармы 333-го стрелкового полка. В ночь начала войны здесь, как и в расположении других частей, оставалось лишь несколько мелких подразделений. В первые минуты тут, как и повсюду, царила растерянность, и поэтому немецкий отряд, ворвавшийся во двор, без помехи прошел мимо этих зданий.

Но за то время, пока автоматчики заняли клуб и попытались продвинуться к восточному краю острова, где их встретили штыковой атакой бойцы полкового комиссара Фомина, обстановка на этом участке изменилась. Уцелевшие от обстрела пограничники заняли оборону в развалинах своей заставы, почти полностью разрушенной бомбами и снарядами. Появившиеся в казармах 333-го полка командиры быстро навели порядок в подразделениях, бойцы вооружились, а жен и детей командного состава, многие из которых прибежали сюда из своих квартир, надежно укрыли в глубоких подвалах дома. Стрелки и пулеметчики заняли позиции у окон первого и второго этажей, у амбразур подвалов, и, когда уцелевшие в штыковой схватке автоматчики, преследуемые по пятам бойцами 84-го полка, кинулись к Тереспольским воротам, их встретил неожиданный и сильный огонь. Часть гитлеровцев полегла под этим огнем, а оставшиеся поспешили укрыться в здании клуба. Та дорога, по которой они полчаса назад вошли во двор крепости, была теперь преграждена.

Создалось довольно странное положение. Автоматчики прорвались в центр крепости и завладели там решающей, ключевой позицией — клубом, из окон которого их пулеметы могли нарушать и дезорганизовывать нашу оборону. Но зато они сами внезапно оказались отрезанными и окруженными и лишь по радио держали связь со своим командованием. Впрочем, они были уверены, что их вот-вот должны выручить: штурм крепости продолжался с нарастающей силой, и в бой вступали все новые части врага.

Обтекая крепостные валы с запада и с востока, пехота противника вскоре сомкнула кольцо вокруг крепости. Артиллерия продолжала засыпать цитадель снарядами, и в густом дыму, поднимавшемся к небу от множества пожаров, над крепостью кружили «юнкерсы». Автоматчики были не только на Западном и Южном островах, не только в центре двора цитадели, но и прорвались через валы в северную часть крепости. Почти половина крепостной территории уже находилась в руках врага, и казалось, самые ближайшие часы должны с неизбежностью решить исход сражения в пользу противника.

Но то, что произошло на Центральном острове, случилось и в других местах. Застигнутый врасплох гарнизон, оправившись от первого замешательства, начал упорную, ожесточенную борьбу. Так было повсеместно на всех не связанных друг с другом, отрезанных огнем противника участках крепости. Меткий винтовочный и пулеметный огонь выкашивал ряды атакующих автоматчиков; скупые точные выстрелы снайперов разили гитлеровских офицеров, и в решительные моменты яростные штыковые контрудары наших стрелков неизменно отбрасывали назад с тяжелыми потерями наступающую пехоту.

Все усилия штурмовых отрядов врага пробиться в центральную цитадель на выручку к своим автоматчикам, запертым в здании клуба, терпели неудачу. Мост через Буг у Тереспольских ворот находился теперь под ружейным и пулеметным огнем — пограничники и бойцы 333-го полка зорко сторожили здесь каждое движение противника, плотно закупорив эту дорогу. Заняв госпиталь на Южном острове, немцы попытались проникнуть во двор центральной крепости по мосту, ведущему к Холмским воротам. Но как раз напротив этого места в кольцевом здании находились казармы 84-го полка, и комиссар Фомин заранее учел опасность атаки с Южного острова, расставив часть своих людей у окон, обращенных в сторону госпиталя. Огонь из пулеметов и винтовок буквально сметал с моста автоматчиков всякий раз, как те поднимались в атаку. И хотя противник весь день повторял здесь попытки прорыва и мост был завален трупами гитлеровцев, пройти к воротам врагу не удалось. Тщетными были и усилия немцев форсировать Мухавец на резиновых лодках — де-

сятки таких лодок с автоматчиками пошли ко дну от огня наших стрелков.

С удивлением и досадой германское командование видело, что сопротивление крепостного гарнизона не только не ослабевает, но час от часу становится более упорным и организованным и что в крепости то и дело возникают все новые очаги обороны. На Западном и Южном островах, захваченных противником, продолжали отчаянно драться группы пограничников, окруженные и блокированные врагом. В центральной цитадели, по существу, полными хозяевами положения были защитники крепости, а группа автоматчиков, запертая в здании клуба, то и дело посылала в эфир отчаянные радиограммы о помощи.

Прочная оборона возникла и в северной части крепости. Здесь у главных ворот в первые часы войны собралось несколько сот бойцов, пять или шесть лейтенантов и политруков. Выйти из крепости в город им не удалось: враг уже сомкнул кольцо, и они рассыпались по берегу обводного канала по обе стороны ворот, отстреливаясь от автоматчиков и не подпуская их ко входу в крепостной двор.

Около полудня здесь появился один из старших командиров — майор, который принял командование над этими разрозненными группами бойцов из разных частей. Сразу же были сформированы три роты.

По приказанию майора стрелки залегли на гребне северного и северо-восточного вала, а одна из рот заняла оборону фронтом на запад — туда, где находились казармы 125-го стрелкового полка и откуда доносился гул ожесточенного боя и крики атакующих автоматчиков.

В центре этой обороны — к западу и востоку от главной дороги, ведущей к воротам,— возвышались два небольших земляных укрепления — две «подковы», как называли их бойцы. Майор приказал одной из рот занять западную «подкову», а в бетонном доте, недавно построенном рядом с ней, поставить станковый пулемет.

Что же касается восточной «подковы», то она стала главным узлом обороны этого отряда. Здесь находилась часть бойцов 393-го отдельного зенитного дивизиона, которым командовал один из лейтенантов. Они занимали здание, находившееся в центре подковообразного укрепления, и уже были готовы к бою. Приняв бойцов дивизиона под свое командование, майор устроил здесь свой штаб и установил телефонную связь со всеми тремя ротами. И когда час спустя гитлеровцы атаковали внешние валы и западную «подкову», их остановил сильный огонь, и все атаки на этом участке потерпели неудачу.

Упорный бой шел и у восточных, Кобринских ворот крепости. В районе этих ворот стоял 98-й противотанковый артиллерийский

дивизион под командованием майора Никитина. В первые же минуты противник направил сюда особенно сильный огонь. Большинство орудий и тягачей было уничтожено или повреждено, и вдобавок подразделение лишилось своего командира. Тогда руководство обороной приняли на себя заместитель Никитина по политической части старший политрук Николай Нестерчук и начальник штаба лейтенант Акимочкин.

Они велели выкатить оставшиеся пушки на валы, организовали доставку боеприпасов из склада, расставили в обороне пулеметчиков и стрелков. И когда немцы, обходя крепость с юго-востока, показались вблизи Кобринских ворот, по ним в упор ударили пушки и пулеметы дивизиона. Противник был остановлен, и его атаки на этом участке одна за другой выдыхались под нашим огнем.

Так в этих упорных боях, которые повсеместно с каждым часом становились все ожесточеннее, прошла первая половина дня 22 июня.

Немецкая артиллерия все так же обстреливала крепость, «юнкерсы» штурмовали с воздуха очаги нашей обороны, и пехота противника продолжала атаковать на всех участках. Но уже вскоре донесения о потерях наступающих на крепость частей стали столь угрожающими, что гитлеровское командование вынуждено было основательно задуматься.

Упорное, героическое сопротивление маленького гарнизона, его умелые решительные действия заставили целый корпус германской армии остановиться перед крепостью в первый же день войны, а на ряде участков в самой крепости к концу дня отойти назад.

Гарнизон крепости не только атаковал и занял районы, из которых отошли гитлеровцы, но и успешно ликвидировал многие окруженные группы противника. На Центральном острове бойцы Фомина, пограничники и стрелки 333-го полка с двух сторон атаковали клуб, где засели автоматчики с радиостанцией. Сопротивление врага было сломлено, и отряд фашистов в клубе уничтожен.

В первый день противнику не только не удалось овладеть крепостью за несколько часов, как он рассчитывал, но его штурмовые отряды были наполовину уничтожены и на многих участках отброшены или отведены назад. Только Южный и Западный острова, где, впрочем, продолжали сражаться группы наших пограничников, немцы удержали за собой. Вся же остальная территория крепости, буквально усеянная трупами в зеленых мундирах, по-прежнему была недосягаемой для врага, и там всю ночь без сна и отдыха трудились советские бойцы и командиры, укрепляя свои оборонительные рубежи и готовясь завтра с рассветом встретить новый штурм.

С самого начала боев, с первых же часов войны одно и то же чувство владело каждым защитником Брестской крепости — от командиров, возглавлявших оборону, до рядовых стрелков. Это была глубокая, непоколебимая уверенность в том, что вероломно напавший враг будет в самом скором времени наголову разбит и снова отброшен за государственный рубеж, что вот-вот на помощь осажденной крепости подойдут войска, стоявшие в окрестностях Бреста, и граница будет восстановлена.

Граждане великой страны, хорошо знавшие мощь своей Родины и ее армии, воспитанные на славных, победных традициях советских войск, они не могли думать иначе и вовсе не представляли себе ни огромных сил врага, ни тяжких последствий его внезапного нападения.

Уже в эти первые часы крепость была отрезана от внешнего мира, окружена кольцом немецких войск. Что делается там, за пределами крепостных стен, что происходит в городе и в соседних приграничных районах, гарнизон не знал. Штабы дивизий находились в Бресте, откуда пока что не поступало никаких указаний: видимо, посыльные и офицеры связи не могли добраться сюда. Что же касается телефонных и телеграфных линий, то они либо были перерезаны диверсантами перед началом военных действий, либо повреждены во время обстрела.

Прежде всего командиры, возглавившие оборону на Центральном острове крепости, попытались связаться с вышестоящим командованием по радио. Но радиостанций в подразделениях было очень мало, и почти все они оказались разбиты или повреждены артиллерийским огнем противника. Только на участке 84-го полка, где в казармах была оставлена часть имущества полковой роты связи, удалось к середине дня наладить одну из радиостанций. Полковой комиссар Фомин составил несколько шифрованных радиотелеграмм в адрес командования дивизии и велел срочно передать их.

Однако дивизионные, корпусные и армейские радиостанции не отвечали на призывы крепости. Все попытки передать шифрованную радиограмму ни к чему не привели. Казалось, гитлеровцы не только окружили крепость, но и заполонили весь эфир: на всех волнах слышались гортанные немецкие команды, и лишь изредка прорывались отрывочные, яростные возгласы наших танкистов, ведущих где-то бой с танками врага, или выкрики летчиков, дерущихся в воздухе с «юнкерсами» и «мессершмиттами».

Тогда Фомин решил оставить условный код и перейти на открытый текст. Учитывая возможность радиоперехвата противника, он составил преувеличенно бодрую радиограмму, и комсомолец радист Борис Михайловский сел к микрофону.

«Я — крепость, я — крепость! — понеслись в эфир новые позывные.— Ведем бой. Боеприпасов достаточно, потери незначительны. Ждем указаний, переходим на прием».

Снова и снова повторял Михайловский эти слова, но ответа на них не было. Радиостанция продолжала посылать сигналы, пока наконец у нее не иссякло питание, и голос сражающейся крепости замолк в эфире навсегда.

В этот первый день кое-где в подразделениях еще работали батарейные радиоприемники. Один из таких приемников стоял в клубе 98-го противотанкового дивизиона. Клуб артиллеристов был оборудован в подземном бетонированном помещении какого-то бывшего склада, и сюда-то Нестерчук, возглавивший оборону, приказал поместить жен и детей командиров. Здесь, в темном подземном зале, где рядом с радиоприемником, над лежащими вповалку на полу женщинами и детьми высилась строгая, неподвижная фигура красноармейца Соколова, охраняющего боевое дивизионное знамя, люди услышали около полудня сквозь грохот разрывающихся наверху снарядов далекий голос Москвы. С обращением Советского правительства к народу по радио выступил заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Каждое слово этого обращения западало глубоко в сердца людей, которые уже несколько часов жили среди пламени и смерти, в кипящем котле войны. И как только передача была окончена, содержание ее, пересказываемое из уст в уста, скоро стало известно всем артиллеристам, которые в это время вели упорный бой с автоматчиками на крепостных валах.

Весь день немецкая авиация господствовала в воздухе, и «юнкерсы» непрерывно пикировали над крепостью. Но два или три раза появлялись наши истребители, и, хотя численный перевес в воздушных боях всегда был на стороне противника, крепость встречала криками «ура!» эти краснозвездные самолеты. В первой половине дня наша маленькая «чайка», израсходовав в воздушном бою все патроны, вдруг рванулась вперед и протаранила вражескую машину над Брестским аэродромом. Бойцы, находившиеся на Центральном острове и наблюдавшие эту схватку, взволнованные подвигом советского летчика, разом открыли бешеный огонь по вражеским позициям, словно хотели отомстить за героическую гибель неизвестного пилота. Когда же полчаса спустя один из самолетов-штурмовиков, снизившись, стал обстреливать из пулеметов этот участок обороны, стрелки встретили его дружным залпом, и задымившая машина, едва не задев за верхушки деревьев Западного острова, упала где-то за Бугом. Так гибель неизвестного пилота, совершившего в первый день Великой Отечественной войны воздушный таран, была вскоре отомщена стрелками 84-го полка, которые первыми в истории Великой Отечественной войны сбили вражеский самолет огнем из винтовок.

В ожиданиях и несбывшихся надеждах на освобождение от осады прошел первый день. И как только начала спускаться темнота, командиры сделали попытки послать в город разведчиков.

Но противник, оттянувший свои силы за крепостной вал, был настороже. По всей линии осады над крепостью непрерывно взлетали ракеты — наблюдатели врага зорко следили за каждым движением осажденных. Перебраться через валы разведчикам не удавалось: всякий раз по ним открывали сильный пулеметный огонь.

На участке 84-го полка двое разведчиков, отправленных Фоминым, переплыли с восточной окраины острова через Мухавец. Но затем там, где они должны были выйти на берег, поднялась бешеная стрельба, и вскоре стало ясно, что посланные погибли или попали в руки врагов. Фомин уже готов был с досадой отказаться от дальнейших попыток, как вдруг кто-то из бойцов предложил оригинальный способ преодоления водной преграды.

Несколько человек надели противогазы. Отсоединенная от коробки гофрированная трубка свинчивалась с несколькими другими, и на конце этого шланга укреплялся небольшой деревянный поплавок. Бойцы привязали к ногам кирпичи и осторожно спустились в Мухавец. Дыша через шланги с поплавками, они двинулись вверх по течению реки, тяжело ступая под водой по неровному илистому дну. Они уже выходили за пределы крепости, и им казалось, что разведка будет успешной, как вдруг неожиданное подводное препятствие преградило путь. Река оказалась перегороженной поперек течения прочной железной решеткой.

Один из разведчиков решил подняться наверх и попробовать перелезть через решетку. Но едва его голова показалась на поверхности, как наблюдатели противника при свете непрерывно взлетающих ракет заметили его, и по воде с обоих берегов ударили немецкие пулеметы. Видимо, пулеметчики специально охраняли решетку, и водолазы, убедившись, что обойти препятствие нельзя, вернулись обратно.

Потом пленные гитлеровские солдаты рассказали защитникам крепости, откуда появилась эта решетка. Командование противника опасалось, что осажденному гарнизону крепости доставят подкрепления с помощью катеров по Мухавцу, и вечером первого дня войны немецкие саперы поставили это заграждение, которое с берегов охраняли два пулемета.

С возвращением водолазов пришлось оставить последнюю надежду на связь с городом. Оставалось ждать, пока кольцо осады будет разорвано ударами наших войск извне.

А между тем на фронте в районе Бреста второй день происходили тяжелые, трагические события. Уже к полудню 22 июня Брест оказался в руках противника. С утра на его улицах рвались снаряды и бомбы, рушились и горели дома, городская больница

была забита ранеными. Городские учреждения и штабы воинских частей еще утром вынуждены были выехать из Бреста на восток. Кое-где группы вооружившихся брестских коммунистов попытались организовать сопротивление врагу, но были рассеяны и уничтожены многочисленными отрядами автоматчиков. Начались убийства мирных жителей, повальные грабежи — на горящих улицах вместе с гитлеровцами действовали уголовники, выпущенные ими из тюрьмы.

Фронт час за часом отодвигался все дальше от Бреста. Наши войска, серьезно расстроенные первым внезапным ударом врага, не могли сдержать натиска мощных, прекрасно вооруженных и закаленных в боях на Западе германских армий. Несмотря на упорное, героическое сопротивление отдельных частей и соединений, фронт то здесь, то там оказывался прорванным, войска попадали в окружение, и танковые дивизии Гудериана и Гота стремительно шли в наш тыл, неуклонно приближаясь к Минску и стараясь сомкнуть свои бронированные клещи позади советских частей, с тяжелыми боями отступающих из пограничных районов. Час от часу противник проникал все дальше на восток.

Но в стенах старой русской крепости, стоящей на первых метрах нашей земли, на самом первом рубеже войны, с железной стойкостью и упорством в кольце осады продолжал драться маленький гарнизон советских войск.

Всю первую ночь при бледном мерцающем свете ракет в крепости шла тихая, но напряженная работа. Артиллерия противника постреливала лишь изредка, ведя ленивый, беспокоящий огонь, атаки автоматчиков прекратились, на некоторых участках гитлеровцы оттянули войска за внешний вал. Пользуясь этой ночной передышкой, командиры, предугадывавшие назавтра новый, еще более ожесточенный штурм, обходили свои участки обороны, расставляли бойцов, перераспределяя огневые средства, учитывая запасы патронов.

С утра все началось снова с удвоенной силой. С первыми проблесками рассвета артиллерия противника, теперь уже расставленная по всему кольцу осады, стала засыпать крепость снарядами, и пикировщики закружились над головами бойцов. Снова все вокруг заволокло дымом, опять здесь и там вспыхнули пожары, и вдоль всей линии обороны затрещали пулеметы, автоматы и винтовки. Штурм крепости возобновился.

И опять, как вчера, группы автоматчиков прорывались через валы, проникали в северную часть крепости и настойчиво атаковали центральную цитадель. Отряды противника вышли на северный берег Мухавца и засели в кустах по обе стороны моста, веду-

щего к трехарочным воротам. Их пулеметы непрерывно обстреливали оттуда окна и бойницы казарм, и несколько раз автоматчики форсировали вброд рукав Мухавца, врываясь на восточный угол Центрального острова. Тогда из-за бетонной ограды выходили бойцы и шли в штыковую атаку. Их громовое «ура!», их стремительный штыковой удар неизменно обращали противника в бегство. Каждый раз попытки фашистов закрепиться на северо-восточной окраине Центрального острова заканчивались потерей нескольких десятков автоматчиков.

Противник по-прежнему атаковал казармы и со стороны Южного острова через Холмский мост. Но здесь бойцы комиссара Фомина уверенно отражали этот натиск из окон первого и второго этажей. Теперь у них были не только пулеметы и винтовки. В одном из складов боепитания были найдены автоматы, которыми тут же вооружилась часть стрелков. Полковые минометчики нашли в этом складе небольшой запас мин и теперь стреляли из окон по расположению противника в районе госпиталя. Возникло даже своеобразное состязание в меткости стрельбы — минометчики били по большому флагу со свастикой, который был поднят над крышей главного госпитального корпуса. Дважды гитлеровцы устанавливали этот флаг, и дважды минометчики сбивали его.

С еще большим ожесточением, чем накануне, развернулись в этот день бои в северной части крепости. Роты майора, возглавившего борьбу на этом участке, окопавшись на валах, огнем отбивали одну атаку за другой, и все попытки автоматчиков форсировать обводной канал и взобраться на валы были тщетными. Каждый раз десятки трупов оставались на берегу канала, а уцелевшие гитлеровцы опрометью бросались назад, торопясь укрыться в зарослях кустарника на противоположном берегу, где они успели нарыть целую сеть окопов и траншей.

Несколько раз из этих кустов выходили танки. Их подпускали вплотную к валу и забрасывали гранатами. Одну машину удалось подбить, и гитлеровцы оттащили ее назад на буксире.

И все же группа танков прорвалась через северные ворота. Хотя пехота была отсечена от них огнем стрелков, две или три машины прошли в район домов комсостава и затем, проскочив через мост у трехарочных ворот, появились в центральном дворе крепости. Остановившись неподалеку от ворот, один из танков стал прямой наводкой обстреливать казармы.

И тогда из подвала здания 333-го полка выбежали два смельчака. Они решили принять бой с немецкой машиной. Это был какой-то старший лейтенант и неизвестный старшина-артиллерист.

Прямо на площади перед подвалом находился артиллерийский парк 333-го полка. Большинство орудий было исковеркано и разбито взрывами немецких снарядов, но одна из пушек казалась еще исправной. Ее-то и решили обратить против прорвавшегося

танка двое смельчаков, тем более что рядом с орудием на земле валялись ящики со снарядами.

Во дворе рвались мины, но, невзирая на обстрел, старшина и старший лейтенант лихорадочно работали, доворачивая ствол орудия в сторону танка. Панорама оказалась разбитой, и старшина целился прямо через ствол. Старший лейтенант подал снаряд. Пушка выстрелила, и у самых гусениц танка взметнулось черное облако разрыва.

Гитлеровцы заметили орудие, и башня танка стала медленно поворачиваться в его сторону. Но уже второй снаряд был заложен в казенник, и, прежде чем наводчик в фашистском танке успел прицелиться, этот снаряд ударил прямо в башню, заклинив ее. Потом последовало еще два выстрела, и машина беспомощно задергалась на месте. Цель была достигнута — вражеский танк уничтожен.

Так в этих непрекращающихся трудных боях прошли вторые сутки обороны. Крепость по-прежнему держалась, а потери врага росли и росли.

Утром на третий день гитлеровцы предприняли сильную атаку из северной части крепости на центральные казармы. У моста и трехарочных ворот завязался упорный бой. Атаку удалось отбить.

Гитлеровцы, откатившись назад, больше не атаковали, но вскоре над Центральным островом загудели «юнкерсы», начавшие долгую и методическую бомбардировку казарм.

У защитников крепости бомбежка считалась как бы временем отдыха. Атаки немецкой пехоты прекращались с появлением самолетов, и тогда почти все бойцы спускались в глубокие подвалы, где они были в безопасности от бомб. Только дежурные пулеметчики неизменно оставались на местах и лежали под бомбежкой, зорко следя, чтобы противник нигде не воспользовался ослаблением нашей обороны.

В этот день, 24 июня, бомбежка была особенно длительной, и такая долгая «передышка» позволила группе наших командиров, возглавлявших участки обороны в центре крепости, собраться на совещание. Обсудив обстановку и приняв необходимые решения, участники совещания составили приказ, который один из лейтенантов, сидя у подвального оконца, тут же набросал на нескольких листах бумаги.

Много лет спустя, уже после войны, при разборке крепостных развалин были найдены под камнями эти маленькие полуистлевшие листки. Из них впервые стали известны имена людей, взявших на себя в те страшные дни руководство обороной крепости.

В этом «Приказе № 1» от 24 июня 1941 года говорилось о том, что создавшаяся обстановка требует организации единого руко-

водства обороной крепости для дальнейшей борьбы с противником и что собравшиеся командиры решили объединить все свои подразделения в одну сводную группу.

Опытному боевому командиру, старому коммунисту, в прошлом участнику гражданской войны и участнику боев с белофиннами, капитану Ивану Николаевичу Зубачеву было поручено возглавить эту сводную группу. Его заместителем по политической части стал комиссар Фомин, а начальником штаба группы — старший лейтенант Семененко. Приказ предписывал также всем средним командирам произвести учет своих бойцов и разбить их на взводы.

Дописать этот приказ не удалось: бомбежка кончилась, автоматчики снова кинулись в атаку, и командиры поспешили наверх к своим подразделениям. А затем бои приняли такой ожесточенный характер, что казалось просто невозможно составить списки сражающихся бойцов: и состав подразделений, и расположение наших сил все время менялись в зависимости от постоянно меняющейся обстановки и все возрастающего натиска противника.

Но хотя «Приказ № 1» во многом оказался невыполненным и неисполнимым, он сыграл важную роль в обороне крепости. Организация единого командования в центре цитадели укрепила нашу оборону, сделала ее более прочной и гибкой.

* * *

Давно смолк дальний гул пушек на востоке — фронт ушел за сотни километров от границы. Теперь в моменты ночного затишья вокруг крепости стояла тишина глубокого тыла, нарушаемая лишь ноющим гудением бомбардировщиков дальнего действия, проплывающих высоко в небе. Но затишье случалось редко — обстрел крепости и атаки пехоты не прекращались ни днем ни ночью: противник старался не давать осажденным отдыха, надеясь, что измотанный в этих непрерывных боях гарнизон вскоре капитулирует.

С каждым днем становились все более призрачными надежды на помощь извне. Но надежда помогала нашим воинам жить и бороться, и люди заставляли себя надеяться и верить. Время шло, но помощь не приходила, и становилось ясно, что обстановка на фронте сложилась пока что неблагоприятно для наших войск. И хотя люди еще заставляли себя верить в то, что их выручат, каждый в глубине души уже начинал понимать, что благополучный исход день ото дня становится все более сомнительным.

«Будем драться до конца, каков бы ни был этот конец!» Это решение, нигде не записанное, никем не произнесенное вслух, безмолвно созрело в сердце каждого из защитников крепости. Маленький гарнизон, наглухо отрезанный от своих войск, не получавший никаких приказов от высшего командования, знал и

понимал свою боевую задачу. И защитники крепости дрались с необычайным ожесточением, с невиданным упорством, проявляя удивительное презрение к смерти. Раненные по нескольку раз, они не выпускали из рук оружия и продолжали оставаться в строю. Истекающие кровью, обвязанные окровавленными бинтами и тряпками, они, собирая последние силы, шли в штыковые атаки. Даже тяжелораненые старались не оставить своего места в цепи обороняющихся. Если же рана была такой серьезной, что уже не оставалось сил для борьбы, люди нередко кончали жизнь самоубийством, чтобы избавить товарищей от забот о себе и в дальнейшем не попасть живым в руки врага. Много раз в эти дни защитники крепости слышали последнее восклицание: «Прощайте, товарищи! Отомстите за меня!» — за которым тотчас же следовал выстрел...

Все новые батареи подтягивались к берегу Буга. Без передышки, день и ночь, продолжался обстрел крепости. Мины дождем сыпались во двор цитадели, методично перепахивая каждый метр земли, кромсая осколками кирпичные стены казарм, превращая в лохмотья железо крыш. Яростно ревели крупнокалиберные штурмовые пушки врага, постепенно разрушая крепостные строения. С первых же дней гитлеровцы стали применять при обстреле снаряды, разбрызгивающие горючую жидкость, а вскоре в дополнение к ним в крепости появились немецкие огнеметы. Вперемешку с бомбами самолеты, то и дело налетавшие на крепость, сбрасывали бочки и баки с бензином, и порой некоторые участки крепости превращались в сплошное море огня.

Казалось, тут не могло остаться ничего живого, но проходило время, и из этих руин снова раздавались пулеметные очереди, трещали винтовочные выстрелы — уцелевшие бойцы, раненые, опаленные огнем, оглушенные взрывами, продолжали борьбу.

По ночам противник посылал к казармам группы своих диверсантов-подрывников. Таща за собой ящики с толом, они старались подползти к зданиям, занятым защитниками крепости, и заложить взрывчатку. Партии саперов пробирались в наше расположение по крышам и чердакам, спуская пачки тола через дымоходы. В темноте чердаков вспыхивали внезапные рукопашные и гранатные бои, здесь и там раздавались неожиданные взрывы, обрушивались потолки и стены, засыпая бойцов. Но и оглушенные, израненные, полузадавленные этими обвалами люди не выпускали из рук оружия.

Враг уже не гнушался никакими самыми подлыми средствами, стремясь скорее подавить упорство осажденных. Захватив госпиталь и перебив находившихся там больных, группа автоматчиков надела больничные халаты и попыталась перебежать в центральную крепость через мост у Холмских ворот. Но бойцы Фомина успели разгадать этот маскарад, и попытка была сорвана. В дру-

гой раз, атакуя на этом же участке, солдаты противника погнали перед собой толпу медицинских сестр, взятых в плен в госпитале, а когда наши пулеметчики огнем с верхнего этажа казарм отбили и эту атаку, гитлеровцы сами перестреляли женщин, за спинами которых им не удалось укрыться. Во время штурма Восточного форта фашисты выставили впереди своих атакующих цепей шеренгу пленных советских бойцов, и защитники форта слышали, как эти пленные кричали им: «Стреляйте, товарищи! Стреляйте, не жалейте нас!»

Каждый день над крепостью на смену бомбардировщикам появлялись маленькие трескучие самолеты, разбрасывающие листовки. В этих листовках говорилось о том, что германские войска заняли Москву, что Красная Армия капитулировала и что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Потом стали сбрасывать листовки с обращениями непосредственно к гарнизону крепости, где немецкое командование, отмечая мужество и стойкость осажденных, пыталось доказать бессмысленность борьбы и предлагало защитникам крепости «почетную капитуляцию». Но на все эти призывы крепость отвечала огнем.

Особенно сильную бомбежку крепости предпринял противник в воскресенье 29 июня. На этот раз на цитадель было решено обрушить самые тяжелые бомбы.

С утра жители Бреста обратили внимание на то, что на крышах высоких зданий города сидят офицеры, глядя в бинокли в сторону крепости. Гитлеровцы заранее хвастливо говорили горожанам, что сегодня защитники цитадели должны будут выбросить белый флаг. В ясном летнем небе над крепостью закружились десятки бомбардировщиков, и тотчас же раздались мощные оглушительные взрывы, от которых сотрясался весь город до самых дальних окраин и в стенах домов появились трещины, как при землетрясении. Крепость окутало дымом и пылью, и издали было видно, как там в страшных вихрях взрывов взлетают высоко вверх вырванные с корнем вековые деревья. Казалось, что и в самом деле после такой бомбежки в крепости не останется ничего живого.

Но когда бомбежка кончилась, а дым и пыль рассеялись, офицеры на крышах напрасно смотрели в бинокли: над развалинами и остатками зданий нигде не было видно белого флага. Можно было подумать, что там не осталось живой души. Однако прошло несколько минут, и снова послышались пулеметные очереди и трескотня винтовок. Люди, невесть как уцелевшие среди этого урагана взрывов, продолжали борьбу.

Тяжелейшие бомбежки, непрерывный артиллерийский и пулеметный обстрелы, нарастающие атаки пехоты, огромное численное и техническое превосходство врага — все это делало неве-

роятно трудной борьбу героического гарнизона Брестской крепости. Но это были трудности чисто военного характера, которые неизбежно сопровождают нелегкую профессию воина и к которым его загодя готовят. Только здесь они приняли свои крайние формы, возросли до высших степеней.

Однако с первых же дней осады ко всему этому прибавились трудности иного порядка, поставившие гарнизон в небывало тяжелые условия. Не только сама борьба, но и вся жизнь, весь быт осажденного гарнизона с самого начала обороны были отмечены сверхчеловеческим напряжением как физических, так и моральных сил людей. Эти особые условия и придают эпопее защиты Брестской крепости тот исключительный героический и трагический характер, который делает ее неповторимой в истории Великой Отечественной войны.

Даже бывалому фронтовику, прошедшему сквозь огонь самых жарких сражений Великой Отечественной войны, трудно себе представить ту невообразимо тяжелую обстановку, в которой с начала и до конца пришлось бороться гарнизону Брестской крепости.

В крепости горело все, что могло гореть. Эти пожары возникли на рассвете 22 июня и не прекращались ни на час в течение более чем месяца, то слегка затухая, то разгораясь в новых местах, и в безветренную погоду над крепостью всегда стояло, не рассеиваясь, густое облако дыма.

Огонь проникал даже в подвалы. Кое-где в этих подвалах от многодневных пожаров развивалась такая высокая температура, что впоследствии на каменных сводах остались висеть большие застывшие капли расплавленного кирпича.

А как только начинался обстрел, с пеленой дыма смешивались облака сухой горячей пыли, поднятой взрывами и пропитанной едким запахом пороховой гари. Пыль и дым сушили горло и рот, проникали глубоко в легкие, вызывая мучительный, судорожный кашель и нестерпимую жажду.

Не хватало пищи. Почти все продовольственные склады были разрушены или сгорели в первые часы войны. Но прошло некоторое время, прежде чем эта потеря дала себя знать. Сначала, в предельном нервном напряжении боев, людям и не хотелось есть. Только на второй день начались поиски пищи. Кое-что удалось добыть из разрушенных складов, небольшой запас продуктов оказался в полковых столовых. Но всего этого было слишком мало, и с каждым днем голод становился мучительнее. Начали есть мясо убитых лошадей, но жара вскоре лишила защитников крепости и этой пищи. Люди превращались в ходячие скелеты, руки и ноги — в кости, обтянутые кожей, но руки эти продолжали крепко сжимать оружие, и голод был не в силах задушить волю к борьбе.

2-1607

Не было медикаментов, не было перевязочных средств. Уже в первый день было так много крови и ран, что весь наличный запас индивидуальных пакетов и бинтов израсходовали. Женщины разорвали на бинты свое белье, то же самое сделали с оставшимися в казармах простынями и наволочками. Но и этого не хватало. Люди наспех перетягивали свои раны чем попало или вообще не перевязывали и продолжали сражаться.

Но самой жестокой мукой для раненых и для здоровых бойцов была постоянная, сводящая с ума жажда. Как это ни странно, но в крепости, стоящей на островах и окруженной рукавами рек и канавами с водой, не было воды.

Водопровод вышел из строя в первые же минуты вражеского обстрела. Колодцев внутри крепости не было, не оказалось и запасов воды. В первый день удавалось набирать воду из Буга и Мухавца, но, как только противник вышел к берегу, он установил в прибрежных кустах пулеметы, обстреливая все подступы к реке. Теперь все такие вылазки за драгоценной водой большей частью кончались гибелью смельчаков, и жажда стала самой страшной и неразрешимой проблемой.

Чтобы облегчить мучения, бойцы брали в рот сырой песок, пили даже кровь из собственных ран, но все это только обостряло страдания. Как о небывалом чуде они мечтали о дожде, но день за днем небо оставалось безоблачным, и горячее летнее солнце по-прежнему беспощадно жгло землю. Неистовая, доводящая до помешательства жажда становилась все более нестерпимой.

В непрерывных ожесточенных боях, в огне непрекращающегося обстрела и яростных бомбежек бесконечно длинной чередой проходили дни, похожие друг на друга. Каждое утро, когда со стороны города над крепостью, окутанной пеленой дыма и пыли, вставало солнце, оживали надежды людей на то, что этот день будет последним днем их испытаний и что, может быть, именно сегодня они наконец услышат на востоке долгожданный гул советских орудий. И каждый вечер, когда солнце садилось за оголенные пулями и осколками снарядов деревья Западного острова, вместе со светом угасали и эти надежды.

Но с первых дней защитники крепости решили не ограничиваться ожиданием помощи и не только отбивать атаки врага, но и попытаться самим прорвать кольцо осаждающих войск. За городом далеко на восток простирались обширные леса и непроходимые болота, тянувшиеся через всю Белоруссию, а в нескольких десятках километров к северо-востоку от крепости начиналась дремучая Беловежская пуща. Если бы удалось прорваться в эти леса, там можно было бы успешно продолжать борьбу, стать партизанами и с боями постепенно продвигаться к фронту.

Начиная с 25 июня почти на всех участках обороны крепости каждую ночь делались попытки прорыва. Но вражеское кольцо

было плотным, гитлеровцы держались настороже. Лишь отдельным небольшим группам бойцов удавалось выйти из осажденной крепости, и в большинстве своем ночные атаки захлебывались под огнем пулеметов, и уцелевшие участники этих прорывов после жаркого и безрезультатного боя вынуждены были отступать назад, к казармам, каждый раз недосчитываясь многих своих товарищей.

Ночью 27 июня очередная попытка прорыва была отбита немцами с особенно большими потерями для атакующих, и в казармы вернулась едва ли половина людей. И тогда боец Александр Филь, сопровождавший Фомина, при свете очередной немецкой ракеты увидел, что исхудалое, заросшее и закопченное лицо комиссара мокро от слез. Комиссар, все эти дни неизменно сохранявший спокойствие и уверенность, невольно передававшиеся бойцам, сейчас плакал слезами гнева и отчаяния, в которых как бы слились воедино и сознание своего бессилия спасти людей, и острая душевная боль при мысли о погибших, и щемящее предчувствие неизбежной и мрачной судьбы тех, кто пока еще оставался в живых.

Никто другой не заметил этих слез, и комиссар тотчас же справился с минутной слабостью: уже вскоре все услышали его обычный ровный голос, отдающий распоряжения. В конце концов, даже тогда, когда все надежды вырваться из окружения были потеряны и почти не оставалось веры в то, что на помощь подоспеют свои, борьба все-таки имела смысл. Цель была в том, чтобы продержаться как можно дольше, сковывая силы противника у стен крепости, и уничтожить в боях как можно больше врагов, дорогой ценой продавая свою жизнь.

С этой ночи попытки прорыва на участке 84-го и 44-го полков были прекращены. Такое решение было продиктовано не только большими потерями осажденных, но и нехваткой боеприпасов.

То, что вначале было найдено в уцелевших или полуразрушенных складах боепитания, скоро израсходовали, отражая непрерывные атаки врага. Бойцы ухитрялись пополнять запасы даже из тех складов, которые горели и где поминутно в огне рвались с громким треском запакованные в ящиках патроны. Люди бесстрашно бросались в огонь и, ежесекундно рискуя жизнью, выхватывали ящики из горящих штабелей. Но и этого не могло хватить надолго.

Постепенно становились ненужными и бесполезными пулеметы и автоматы советских марок, винтовки, наганы и пистолеты ТТ: патронов к ним не было. Большинство бойцов сражались с врагом его же собственным оружием — немецкими автоматами, подобранными на поле боя или захваченными во время контратак. Но все равно боеприпасов было слишком мало. И когда однажды

кто-то из бойцов в присутствии Фомина сказал, что он последний патрон оставит для себя, комиссар тотчас же возразил ему, обращаясь ко всем.

— Нет,— сказал он,— и последний патрон надо тоже посылать во врага. Умереть мы можем и в рукопашном бою, а патроны должны быть только для них, для фашистов.

Гитлеровцам удалось занять много помещений в юго-восточной части казарм, откуда ушли основные силы бойцов 84-го полка. Шли упорные бои за клуб и развалины штаба польского корпуса, и здания эти по нескольку раз переходили из рук в руки. Все чаще немецкие танки проникали через трехарочные ворота во двор Центрального острова. Они подходили вплотную к казармам и прямой наводкой в упор били по амбразурам окон, а иногда и врывались внутрь здания через большие широкие двери складских помещений первого этажа.

Как ни упорно сопротивлялись защитники крепости, враг постепенно одолевал их. С каждым днем перевес его становился все более подавляющим.

В этих условиях не имело никакого смысла дальнейшее пребывание в крепости женщин и детей. И как ни плакали женщины, готовые разделить судьбу своих мужей, как ни умоляли оставить их в крепости, приказ командования был категоричным, и они, взяв детей, вынуждены были выйти из подвалов и сдаться на милость врага.

Ожесточение боев все росло. Торопясь покончить с крепостным гарнизоном, противник, не считаясь с потерями, бросал на штурм все новые силы.

В последние дни июня особенно напряженная борьба шла на северном участке Центрального острова, около трехарочных ворот, где сражались бойцы Зубачева и Фомина — главное ядро осажденного гарнизона. Немцам удалось занять несколько казарменных отсеков, примыкающих к трехарочным воротам с запада, но затем группа, державшая здесь оборону, остановила продвижение автоматчиков внутри кольцевого здания. А бойцы Фомина и Зубачева срывали все попытки врага закрепиться в восточном крыле казарм. Это крыло было тупиковым, и, стоило противнику прочно занять первые помещения, примыкающие к трехарочным воротам с востока, автоматчики смогли бы теснить наших стрелков внутри здания в сторону тупика. Эту опасность сознавали все, и борьба за помещения, смежные с воротами, отличалась особым ожесточением. По нескольку раз в день автоматчики врывались туда, но тотчас же, передаваемый из отсека в отсек, по всей линии восточного крыла казарм проносился тревожный сигнал: «Немцы в крайних комнатах!» — и бойцы, не ожидая команды, дружно бросались отбивать эти помещения в бешеной рукопашной схватке. Так продолжалось изо дня в день,

и вскоре крайние помещения были до половины завалены убитыми гитлеровцами и телами советских бойцов, но и на этих горах трупов по-прежнему яростно дрались гранатами, штыками, прикладами, и всякий раз противнику не удавалось закрепиться в этих ключевых комнатах.

Тогда германское командование послало к воротам подрывников. Как только начиналась очередная атака автоматчиков, подрывники по крышам и чердакам пробирались в восточное крыло казарм. Мощные толовые заряды спускались по дымовым трубам в первые этажи, внезапные взрывы обрушивали на головы бойцов потолки и стены, и здание постепенно, метр за метром, превращалось в развалины, под которыми гибли последние защитники этого рубежа.

Здесь, отбиваясь от наседавших автоматчиков, был похоронен под грудой камней писарь штаба 84-го полка рядовой Федор Исаев, хранивший у себя на груди боевое знамя полка. Здесь, израненные и обессиленные, были захвачены в плен дравшиеся вместе с Фоминым и Зубачевым бойцы Иван Дорофеев, Александр Ребзуев, Александр Жигунов и другие.

Именно здесь 29 и 30 июня во время такого взрыва был завален обломками стен тяжело контуженный и раненый боец Александр Филь. Гитлеровцы извлекли его из-под груды развалин вместе с несколькими другими защитниками крепости и отправили в лагерь для военнопленных.

Что произошло с остальными его товарищами, в том числе с Фоминым и Зубачевым, он не знал. Лишь потом, в плену, ему рассказали, что Фомин, оглушенный взрывом, полуживой попал в руки фашистов и был расстрелян ими, а капитан Зубачев якобы погиб в бою. Но все это были только слухи, которые еще предстояло проверить.

* * *

К 1 июля было разбито и рассеяно главное ядро защитников центральной цитадели — группа капитана Зубачева и полкового комиссара Фомина.

Но борьба продолжалась, несмотря на то что главные группы защитников центральной цитадели перестали существовать как организованное целое. Только характер этой борьбы изменился. Уже не было единой обороны, не было постоянного взаимодействия и связи между отдельными группами обороняющихся. Оборона как бы распалась на множество мелких очагов сопротивления, но само сопротивление стало еще упорнее и ожесточеннее. Люди поняли, что вырваться из кольца осады им не удастся. Осталось одно: держаться во что бы то ни стало, драться до тех пор, пока не придут на помощь свои войска, либо до тех пор, пока будешь не в силах держать оружие.

Солдаты и офицеры противника с удивлением видели это совершенно непонятное, необъяснимое для них упорство последних защитников цитадели.

— Их так трудно взять в плен,— говорил однажды немецкий офицер группе наших женщин.— Когда нет патронов, они бьют прикладами, а если у них вырвут винтовку, кидаются на тебя с ножом или даже с кулаками.

Все это казалось невероятным. Убитые советские бойцы и те немногие, которые живыми попадали в плен, были до предела истощены. Пленные шатались от голода и выглядели какими-то ходячими скелетами. При виде этих живых мертвецов трудно было поверить, что они в состоянии держать оружие, стрелять и драться врукопашную. Но такие же, как эти пленные, измученные, истощенные люди продолжали борьбу в крепости — стреляли, бросали гранаты, кололи штыками и глушили прикладами дюжих автоматчиков отборных штурмовых батальонов 45-й дивизии врага. Что давало им силы — это было непостижимо для врага.

Да, силы их были на исходе! Защитники крепости с трудом держали в руках оружие, с трудом передвигались. И только неистовая, сжигающая сердце ненависть к врагу поддерживала их в этой борьбе, перешедшей уже за грань физических сил человека. Длинная череда страшных дней, проведенных среди огня и смерти в кипящем котле Брестской крепости, была для каждого из них школой ненависти. На их глазах в огне, под бомбами и снарядами гибли беззащитные женщины, маленькие дети, умирали, сражаясь, их боевые товарищи. Этого нельзя было забыть, как нельзя было забыть ночь на 22 июня, когда неожиданное нападение фашистских полчищ разом смяло и растоптало жизнь каждого из них. Столько неудержимой, яростной ненависти к убийцам в зеленых мундирах скопилось за эти дни в душах бойцов, что желание мстить стало сильнее голода, жажды, физического истощения.

И в этом чувстве ненависти, как в жарком, злом пламени, сгорело все мелкое, личное, свое, что было в душах людей, и осталось одно, самое важное и главное — та смертельная и до конца непримиримая борьба с врагом, в которой они стали первыми воинами своего народа. Рядом с этой борьбой и ее возможным трагическим исходом собственная жизнь казалась уже неважной, недостойной особой заботы. Эти чувства станут ясными, стоит только задуматься над несколькими словами, выцарапанными неизвестным защитником крепости на стене каземата: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина! 20/VII-41».

Посмотрите — здесь нет подписи. Он не думал, этот умирающий солдат, о том, чтобы оставить истории свое имя, донести сквозь годы свой подвиг до потомства, быть может до близких,

родных ему людей. Он, видимо, вообще не думал ни о подвиге, ни о героизме. Почти месяц тут, в адовом огне Брестской крепости, он был простым «чернорабочим» войны, рядовым бойцом первого рубежа Отчизны, и в час смерти ему захотелось сказать ей, своей Родине, что он сделал для нее самое большое, доступное человеку и гражданину,— отдал жизнь в борьбе с ее врагами, не сдавшись им.

Сколько гордости, не хвастливой, а величавой, полной высокого достоинства и спокойной скромности безвестно погибающего, вложил он в свое «Я умираю, но не сдаюсь!» Пусть начал он со слова «я», но ведь это «я» — безыменное. Даже для самого себя он уже был не столько личностью, человеком с именем и фамилией, с собственной биографией, сколько маленькой частицей, атомом этой яростной борьбы, как бы человеческим кирпичиком в стене старой русской крепости, ставшей на пути врага. И поистине удивительно звучит это безличное «я», с такой простотой уходящее в небытие.

А его «Прощай, Родина!»... Вслушайтесь в эти два слова! В них и отчаянно упорный возглас сраженного, но непобежденного борца, и как бы невольный тихий вздох, полный тоски преждевременного ухода из жизни, и пронзительный крик боли за судьбы родной страны,— ведь он не знает и не узнает никогда, что происходит с ней там, на востоке. И не матери, родившей и вскормившей его, не любимой жене, не детям, если они у него были, посылает он свой последний привет. Умирая, он произносит то слово, что выше и шире всех других, что вмещает в себя и человека, и семью, и его прошлое, настоящее и будущее,— бесконечно дорогое слово «Родина». Так в короткой этой надписи, сейчас хранящейся в музее, как бы настежь распахнулась перед нами великая и простая душа нашего народа.

День за днем, методично и последовательно немецкая артиллерия и отряды автоматчиков гасили последние очаги сопротивления в крепости. Но происходило нечто непонятное: эти очаги оживали вновь и вновь. Из подвалов казарм и домов, из глубоких темных казематов в толще земляных валов то здесь, то там вновь раздавались пулеметные очереди, винтовочные выстрелы, и кладбище 45-й гитлеровской дивизии в Бресте продолжало расти. Казематы и подвалы тщательно обыскивали, в домах, где оборонялись советские бойцы, помещения взрывали одно за другим, но спустя некоторое время стрельба возобновлялась из развалин. Отдельные группы бойцов пробирались на участки, где немцы давно считали себя хозяевами, и пули настигали фашистов в самых неожиданных местах. Защитники крепости спускались в глубокие подземелья и по неиз-

вестным немцам подземным ходам покидали занятые врагом участки крепости, продолжая борьбу уже на другом месте.

Еще 8 июля командование 45-й дивизии послало вышестоящему штабу донесение о взятии крепости, считая, что оставшиеся очаги сопротивления будут подавлены в ближайшие часы. Но уже на следующий день число этих очагов увеличилось и стало ясно, что борьба затянется.

Продолжали драться группы бойцов в западном секторе казарм и в подвалах 333-го полка, и вся эта часть Центрального острова оставалась недосягаемой для врага. На Западном острове еще раздавались пулеметные очереди и выстрелы пограничников. В северной части крепости продолжал стрелять дот Западного форта, и отчаянно дрались у восточных ворот последние оставшиеся в живых артиллеристы во главе с Нестерчуком и Акимочкиным. В одном из казематов внутри северного вала засело несколько стрелков, которыми командовал политрук Венедиктов. Немцы забрасывали этот каземат гранатами, но бойцы хватали на лету немецкие гранаты и кидали их во врагов.

Кто же были последние защитники Брестской крепости и как они погибали? Мы не знаем этого и, быть может, не узнаем никогда. Говорят, что борьба продолжалась еще долго и группы советских бойцов и командиров скрывались в глубоких подземных убежищах, подстерегая врагов. Фашисты опасались ходить в одиночку по уже занятой ими крепости. Как рассказывали потом гитлеровские офицеры жителям Бреста, германское командование отдало приказ затопить крепостные подземелья водами Буга. Так, непокоренными, погибли последние герои Брестской крепости.

Мы даже не знаем, когда это произошло, когда прозвучал в Брестской крепости последний выстрел и закончилась ее удивительная оборона.

Как вы помните, в немецком донесении, которое было захвачено в 1942 году на фронте в районе Орла, говорилось, что крепость сопротивлялась девять дней и пала к 1 июля. Позднее выяснилось, что борьба продолжалась гораздо дольше, а потом на стене казармы нашли надпись, датированную 20 июля,— доказательство того, что на двадцать девятый день обороны защитники крепости еще вели бой.

Впоследствии выяснилось, что более месяца сражался в крепости командир 44-го стрелкового полка майор Гаврилов. Оглушенный, потерявший сознание, он был схвачен гитлеровцами только 23 июля, то есть на тридцать второй день войны.

Услышав первые взрывы на рассвете 22 июня 1941 года, Гаврилов сразу понял, что началась война. Быстро одевшись, он попрощался с женой и сыном и побежал в центральную цитадель, где

находился штаб полка. Ему удалось благополучно перебежать мост через Мухавец, который уже обстреливали немецкие диверсанты. Прибежав в штаб, Гаврилов принялся собирать своих бойцов, чтобы вести их из крепости на рубеж обороны, назначенный полку. Собрав кое-как несколько десятков людей, он повел их перебежками к трехарочным воротам и дальше — к главному выходу из крепости. Но выход уже был закрыт — у туннеля северных ворот шел бой. Немцы сомкнули кольцо вокруг крепости.

Подбежавший боец доложил майору, что по соседству, в казематах восточной «подковы», собралось несколько сот человек из разных полков. Гаврилов поспешил туда. Так он оказался в Восточном форту, где и разместил свой командный пункт. Заместителем Гаврилова по политической части стал политрук из 333-го полка Скрипник.

Весь первый день отряд Гаврилова удерживал свои позиции, отбивая атаки врага. В боях действовала даже артиллерия отряда — два зенитных орудия, стоявших около «подковы». В первой половине дня зенитчикам то и дело приходилось вступать в бой с немецкими танками, прорывавшимися в крепость через главные ворота, и каждый раз они отгоняли машины врага.

На второй день положение усложнилось. Противник отрезал от отряда Гаврилова роту, дравшуюся в Западном форту. В последующие дни под нажимом врага вынуждены были отойти с крепостных валов и остатки двух других рот, поредевших в этих боях. Теперь весь отряд Гаврилова был сосредоточен в Восточном форту, а сам форт окружен вражеским кольцом. Немцы начали осаду.

Несколько раз сюда подходили танки. Тогда Гаврилов вызывал добровольцев, и те со связками гранат в руках ползли вдоль подножия вала навстречу машинам. После того как один танк был подбит во дворе, немецкие танкисты уже не отваживались заезжать сюда и лишь вели стрельбу издали. Но обстрел из танков и орудий не приносил врагу успеха. И немцы стали все чаще посылать свои самолеты против этой маленькой земляной «подковы», где так прочно засела горсточка советских воинов.

День ото дня усиливался артиллерийский обстрел, все более жестокими становились бомбежки. Противник наседал. Время от времени автоматчики врывались на гребень внешнего вала и кидали оттуда гранаты в подковообразный дворик. С трудом немцев выбивали обратно.

В воскресенье 29 июня гитлеровцы предъявили защитникам Восточного форта ультиматум — в течение часа выдать Гаврилова и его заместителя по политической части и сложить оружие. В противном случае немецкое командование угрожало снести укрепление с лица земли вместе с его упорным гарнизоном.

Наступило часовое затишье. И тогда Гаврилов созвал бойцов и командиров на открытое партийное собрание. В тесном полутемном каземате собрались не только коммунисты — сюда пришли все, и только дежурные пулеметчики и наблюдатели остались на постах на случай внезапной атаки врага.

Гаврилов объяснил людям обстановку, сказал, что рассчитывать на помощь извне уже не приходится, и задал коммунистам вопрос:

— Что будем делать?

Все разом зашумели, заговорили, и майору уже по их лицам стал ясен ответ товарищей:

— Будем драться до конца!

Это не было обычное собрание, это был последний митинг, взволнованный и единодушный. А когда Скрипник объявил прием в партию, люди бросились искать бумагу. Короткие горячие заявления писали на каких-то обрывках, валявшихся кое-где в казематах, на кусках старых газет, даже на обороте немецких листовок, призывавших сдаваться в плен. В этот час, когда наступило последнее, самое трудное испытание, когда впереди были смерть или вражеская неволя, люди хотели идти в свой смертный бой коммунистами. И тут же десятки беспартийных были приняты в ряды партии.

Они не успели даже спеть «Интернационал» — время кончилось, и в форту загремели взрывы снарядов. Враг шел в решительную атаку. Все заняли места у амбразур.

Но сначала появились самолеты. Они летели низко, один за другим, и первый сбросил над фортом ракету, указывая цель остальным. И дождем посыпались бомбы, причем на этот раз самые крупные.

Гулкие, тяжелые взрывы громовыми раскатами непрерывно грохотали вокруг, прочные кирпичные своды казематов ходили ходуном над головами людей и иногда рушились. Там и здесь происходили обвалы, и бойцы гибли, засыпанные земляной массой осевшего вала. Это продолжалось долго, но никто не мог бы сказать, сколько времени прошло,— слишком были напряжены нервы людей. А потом сразу за последними разрывами бомб раздались крики автоматчиков, ворвавшихся на внешний вал, загремели гранаты во дворике, а в центральный двор «подковы» толпой вливались солдаты врага.

В этот день и на следующее утро в рукопашных боях сопротивление защитников Восточного форта было окончательно сломлено, и те, кто уцелел, оказались в плену. Автоматчики обшаривали один каземат за другим — искали Гаврилова. Офицеры настойчиво допрашивали пленных об их командире, но точно о нем никто не знал. Некоторые видели, как майор уже в конце боя вбежал в каземат, откуда тотчас же раздался выстрел. «Майор

застрелился»,— говорили они. Другие уверяли, что он взорвал себя связкой гранат. Как бы то ни было, найти Гаврилова не удалось, и немцы пришли к заключению, что он покончил с собой. Неизвестной осталась и судьба политрука Скрипника.

* * *

Гаврилов не взорвал себя и не застрелился. Он был застигнут автоматчиками в темном каземате внутри вала, где последнее время находился его командный пункт. Майор был вдвоем с бойцом-пограничником, который все дни обороны исполнял обязанности адъютанта и порученца командира. Они оказались отрезанными от остального гарнизона и, перебегая из одного помещения в другое, бросали в наседавших гитлеровцев свои последние гранаты и отстреливались последними патронами. Но вскоре стало очевидно, что сопротивление гарнизона сломлено и немцы уже овладели почти всем фортом. Боеприпасов у Гаврилова и пограничника осталось совсем мало, и командир с бойцом решили попробовать спрятаться, чтобы потом, когда немцы уйдут из форта, выбраться из крепости и идти на северо-восток, в Беловежскую пущу, где, как они надеялись, уже, наверное, действуют наши партизаны.

К счастью, им удалось найти надежное убежище. Как-то, еще в самом начале боев за форт, его защитники по приказанию майора пытались прорыть проход сквозь толщу вала. В кирпичной стене каземата была пробита дыра, и несколько бойцов поочередно стали прокапывать в валу небольшой туннель.

Работу пришлось вскоре прекратить: вал оказался песчаным, и песок все время осыпался, заваливая проход. Но осталась дыра в стене и глубокая нора, идущая в глубь вала. В эту нору и забрались Гаврилов и пограничник в то время, когда уже совсем рядом слышались голоса гитлеровцев, обшаривавших соседние помещения.

Оказавшись в узком проходе, прорытом когда-то бойцами, майор и пограничник начали прокапывать руками себе путь вправо и влево от этого прохода. Сыпучий песок легко поддавался, и они постепенно стали продвигаться вперед по ту сторону кирпичной стены каземата, отходя все дальше от пробитой в ней дыры, причем Гаврилов копал влево, а пограничник — вправо. Они работали с лихорадочной быстротой и, подобно кротам, отбрасывали за спину вырытый песок, засыпая за собой путь. Прошло около получаса, прежде чем в каземат вошли солдаты противника, а за это время командир и боец успели уйти каждый на два-три метра в сторону от дыры, пробитой в кирпичах

Сквозь стену Гаврилов ясно слышал, как фашисты переговариваются, обыскивая каземат. Он притаился, стараясь ни одним движением не выдать себя. Видимо, автоматчики заметили отвер-

стие в стене — они несколько минут стояли около него, о чем-то совещаясь. Потом кто-то из них дал туда очередь. Гитлеровцы помолчали, прислушиваясь, и, убедившись, что там никого нет, пошли осматривать другие казематы.

Гаврилов провел в своей песчаной норе несколько суток. Ни один лучик света не проникал сюда, и он не знал даже, день или ночь сейчас на воле. Голод и жажда становились все более мучительными. Как ни пытался он растянуть два сухаря, оказавшиеся у него в кармане, они вскоре кончились. Жажду он научился немного успокаивать, прикладывая язык к кирпичам каземата. Кирпичи были холодными, и ему казалось, что на них осела подземная влага. Сон помогал забыть о голоде и жажде, но он спал урывками, опасаясь выдать себя во сне неосторожным движением или стоном. Враги еще были в форту — их голоса слышались то дальше, то ближе, и раза два солдаты заходили в этот каземат.

Он не знал, жив ли его товарищ пограничник, отделенный от него слоем песка в несколько метров толщиной. Он боялся окликнуть его даже шепотом: фашисты могли оказаться поблизости. Малейшей неосторожностью он мог испортить все. Теперь важно было только одно — выждать, пока солдаты уйдут. Лишь в этом было спасение и возможность снова продолжать борьбу. Мучимый голодом и жаждой в этой подземной норе, он ни на минуту не забывал о борьбе и не раз заботливо ощупывал в кармане несколько оставшихся гранат и пистолет с последней обоймой.

Голоса гитлеровцев слышались все реже, и наконец все вокруг, казалось, затихло. Гаврилов уже решил, что наступило время выходить, как вдруг над его головой, на гребне вала, затрещал пулемет. И по звуку выстрелов он безошибочно определил, что это ручной пулемет Дегтярева.

Кто стрелял из него — наши или немцы? Несколько часов он пролежал, мучительно думая об этом. А пулемет время от времени посылал короткую скупую очередь. Чувствовалось, что пулеметчик экономит боеприпасы, и это вселило в Гаврилова какие-то смутные надежды. Зачем было бы немцам беречь патроны?

Наконец он решился и шепотом окликнул пограничника. Тот отозвался. Они вылезли в темный каземат и прежде всего напились из вырытого тут колодца грязной затхлой воды. Потом с гранатами наготове осторожно выглянули в узкий дворик. Стояла ночь. Чьи-то негромкие голоса доносились сверху. Это была русская речь.

На валу оказались двенадцать бойцов с тремя ручными пулеметами. Как и Гаврилову, им удалось укрыться в одном из казематов, когда форт был захвачен, а после ухода автоматчиков

они вышли и снова заняли оборону. Днем они прятались в каземате, а ночью вели огонь по одиночным солдатам противника, появлявшимся поблизости. Гитлеровцы полагали, что в форту никого не осталось, и пока не успели обнаружить, что именно оттуда раздаются пулеметные очереди, тем более что вокруг повсюду еще шла перестрелка. Еще бил пулемет из Западного форта, стреляли в районе домов комсостава, и то затихающая, то возобновляющаяся пальба вперемежку со взрывами мин и снарядов доносилась с Центрального острова.

Гаврилов решил попытаться вывести эту группу в Беловежскую пущу. Но для этого надо было пока что не обнаруживать себя. Вокруг крепости еще стояло много войск врага, и сейчас выбраться за валы было невозможно даже ночью.

Днем на валу оставляли только наблюдателя, а ночью наверх поднимались все и, если представлялся удобный случай, вели огонь. Так прошло несколько дней. Бои не затихали, поблизости по-прежнему то и дело появлялись группы немецких солдат, и выйти из крепости все еще было нельзя. И самое страшное заключалось в том, что защитникам форта уже нечего было есть. Небольшой запас сухарей, оказавшийся у бойцов, кончился, и голод давал себя чувствовать все острее. Люди теряли последние силы. Гаврилов уже подумывал о том, чтобы сделать отчаянную попытку прорыва, но внезапные события нарушили все его планы.

Наблюдатель не заметил, как группа автоматчиков днем зачем-то пришла в форт. Здесь они и обнаружили советских бойцов. Гаврилов дремал в углу каземата, когда рядом во дворике послышались крики: «Рус, сдавайся!» — и громыхнули взрывы гранат. Автоматчиков было немного, и их почти всех тут же перебили, но нескольким солдатам удалось удрать, и час спустя «подкова» снова была окружена.

Первые атаки были отбиты. Но гитлеровцы подтянули сюда орудия и минометы, и вскоре среди немногочисленных защитников форта появились раненые и убитые. А затем последовала атака одновременно со всех сторон, и враг одолел числом — автоматчики взобрались на вал и забросали двор гранатами.

И снова пришлось укрываться в норе. Только теперь они забрались в нее втроем — Гаврилов, пограничник и еще один боец.

К счастью, в это время уже наступила ночь, и фашисты не решались в темноте обыскивать казематы. Но Гаврилов понимал, что с наступлением утра они обшарят форт сверху донизу и на этот раз, возможно, обнаружат его убежище. Надо было предпринимать что-то теперь же, ночью, не откладывая.

Они посовещались и осторожно выползли в каземат. Там никого не было. Не было гитлеровцев и во внутреннем дворике. Но когда они ползком пробрались к выходу из форта, то уви-

дели, что совсем близко горят костры, вокруг которых сидят солдаты.

Надо было прорываться с боем. Решили, что по команде Гаврилова каждый бросит по одной гранате в сидящих у костров немцев и все трое тотчас же кинутся бежать в разные стороны: пограничник — на юг, к домам комсостава, боец — на восток, к внешнему валу, а Гаврилов — на запад, в сторону дороги, ведущей от северных ворот на Центральный остров. Его направление было самым опасным, так как по этой дороге часто ходили и ездили гитлеровцы.

Они обнялись и договорились, что тот, кому посчастливится остаться в живых, будет пробираться в заветную Беловежскую пущу. Потом Гаврилов шепотом скомандовал: «Огонь!» — и они метнули гранаты.

Гаврилов не помнил, как он пробежал линию постов. В памяти остались только грохот гранатных разрывов, испуганные вопли солдат, вспыхнувшая вокруг стрельба, свист пуль над головой и глубокая темнота ночи, сразу сгустившаяся перед глазами после яркого света костров. Он опомнился, когда пересек дорогу, на счастье оказавшуюся в этот момент пустынной. Лишь тогда он на секунду приостановился и перевел дух. И тотчас же над его головой просвистела пулеметная очередь.

Это стрелял неизвестный советский пулеметчик из дота Западного форта. Привлеченный криками и стрельбой, он начал бить длинными очередями, целясь, видимо, по огню костров. Гаврилову пришлось упасть ничком у стены какого-то полуразрушенного дома, чтобы не угодить под его пули. Но пулеметчик невольно спас его: фашисты, бежавшие за майором, попали под огонь. Гаврилов слышал, как они, что-то крича, побежали обратно.

Прошло с четверть часа, и все стихло. Тогда Гаврилов, прижимаясь к земле, пополз в сторону внешнего вала крепости, постепенно удаляясь от дороги.

Ночь была непроглядно темной, и он почти наткнулся на стену. Это была кирпичная стена одного из казематов внешнего вала крепости. Он нащупал дверь и вошел внутрь.

Целый час он ходил по пустому помещению, ощупывая осклизлые стены, пока наконец не догадался, где находится. Здесь перед войной были конюшни его полковых артиллеристов. Теперь он понял, что попал на северо-западный участок крепости, и это обрадовало его: отсюда было ближе добираться до Беловежской пущи.

Он выбрался наружу и осторожно переполз через вал на берег обводного канала. На востоке уже светлело небо, занималась заря. Прежде всего он лег на живот и долго пил стоячую воду канала. Потом вошел в канал и двинулся на тот берег.

И вдруг оттуда, из темноты, донеслась немецкая речь. Гаврилов застыл на месте, всматриваясь вперед.

Постепенно он стал различать темные очертания палаток на том берегу. Потом там вспыхнула спичка, и малиновым огоньком затлела папироса. Прямо против него вдоль канала раскинулся лагерь какой-то немецкой части.

Он бесшумно вылез назад, на свой берег, и отполз к валу. Здесь была маленькая дверь, и, войдя в нее, он попал в узкий угловой каземат с двумя бойницами, глядящими в разные стороны. Коридор тянулся из каземата в глубь вала. Он пошел по этому коридору и снова оказался в помещении той же конюшни.

Заметно светало. Надо было найти надежное убежище на день, и Гаврилов, подумав, решил, что лучше всего укрыться в маленьком угловом каземате. Стены его были толстыми, а две бойницы, выходящие в разные стороны, могли пригодиться: если бы гитлеровцы обнаружили его, из них он мог отстреливаться, держа в поле зрения большой участок канала.

Он снова обследовал этот каземат, и только одно обстоятельство смутило его — там негде было спрятаться, и, стоило немцам заглянуть в дверь, его немедленно обнаружили бы.

И тогда он вспомнил, что у самой двери каземата, на берегу канала, свалены кучи навоза — его выносили сюда, когда чистили конюшни. Он торопливо принялся таскать этот навоз охапками и сваливать в углу каземата. Прежде чем рассвело, его убежище было готово. Он зарылся в эту груду навоза и завалил себя снаружи, проделав небольшую щель для наблюдения и положив под рукой оставшиеся пять гранат и два пистолета — свой «ТТ» и подобранный в форту немецкий «вальтер», каждый с полной обоймой.

Весь следующий день он пролежал тут.

Ночью он снова вышел на берег канала и напился. На том берегу по-прежнему темнели немецкие палатки и слышались голоса солдат. Но он решил ждать, пока они не уйдут, тем более что стрельба в крепости, как ему казалось, мало-помалу затихала; судя по всему, противник подавлял один за другим последние очаги сопротивления.

Три дня Гаврилов провел без пищи. Потом голод стал таким острым, что терпеть дольше было невозможно. И он подумал, что где-нибудь рядом с конюшней должен быть цейхгауз, где хранился фураж,— там могли остаться ячмень и овес.

Он долго шарил по конюшне, пока руки его не нащупали сваленные в одном из углов каземата какие-то твердые комки.

Это был комбикорм для коней — смесь каких-то зерен, мякины, соломы... Во всяком случае, это утоляло голод и даже казалось вкусным. Теперь он был обеспечен пищей и готов ждать

сколько понадобиться, пока не сможет бежать в Беловежскую пущу.

Дней пять все шло хорошо — он ел комбикорм, а ночью пил воду из канала. Но на шестой день началась острая резь в желудке, которая с каждым часом усиливалась, причиняя невыносимые страдания. Весь этот день и всю ночь он, кусая губы, удерживался от стонов, чтобы не выдать себя, а потом наступило странное полузабытье, и он потерял счет времени. Когда он приходил в себя, то чувствовал страшную слабость — он с трудом шевелил руками, но прежде всего машинально нащупывал рядом с собой пистолеты и гранаты.

Видимо, его выдали стоны. Он внезапно очнулся оттого, что совсем рядом с ним раздались голоса. Через свою смотровую щель он увидел двух автоматчиков, стоявших здесь, внутри каземата, около груды навоза, под которой он лежал.

И, странное дело, как только Гаврилов увидел врагов, силы снова вернулись к нему и он забыл о своей болезни. Он нащупал немецкий пистолет и перевел предохранитель.

Гитлеровцы, казалось, услышали его движение и принялись ногами разбрасывать навоз. Тогда он приподнял пистолет и с трудом нажал на спуск. Пистолет был автоматическим — раздалась громкая очередь,— он невольно выпустил всю обойму. Послышался пронзительный крик, и, стуча сапогами, немцы побежали к выходу.

Собрав все силы, он встал и раскидал в стороны прикрывавший его навоз. Гаврилов понял, что сейчас он примет свой последний бой с врагами, и приготовился встретить смерть, как положено солдату и коммунисту,— встретить ее в борьбе. Он положил рядом свои пять гранат и взял в руку второй пистолет — свой командирский «ТТ».

Фашисты не заставили себя долго ждать. Прошло не более пяти минут, и по амбразурам каземата ударили немецкие пулеметы. Но обстрел снаружи не мог поразить его: бойницы были направлены так, что приходилось опасаться только рикошетной пули.

Потом донеслись крики: «Рус, сдавайся!» Он догадался, что солдаты в это время приближаются к каземату, осторожно пробираясь вдоль подножия вала. Гаврилов выждал, когда крики раздались совсем рядом, и одну за другой бросил две гранаты — в правую и левую амбразуру. Враги кинулись назад, и он услышал чьи-то протяжные стоны — гранаты явно не пропали даром.

Через полчаса атака повторилась, и снова он, расчетливо выждав, бросил еще две гранаты. И опять гитлеровцы отступили, но зато у него осталась только одна, последняя граната и пистолет.

Противник изменил тактику. Гаврилов ждал нападения со стороны амбразур, но автоматная очередь прогремела за его спиной — один из автоматчиков показался в дверях. Тогда он метнул туда последнюю гранату. Солдат вскрикнул и упал. Другой солдат просунул автомат в амбразуру, и майор, подняв пистолет, дважды выстрелил в него. Дуло автомата исчезло. В этот момент что-то влетело в другую бойницу и ударилось об пол. Блеснуло пламя взрыва — и Гаврилов потерял сознание.

Первое, что увидел Гаврилов, придя в себя, был штык часового, дежурившего у дверей комнаты. Он понял, что находится в плену, и от горького сознания этого снова лишился чувств.

Из фашистского плена майор Гаврилов был освобожден в дни победы Советской Армии над гитлеровской Германией. Все обстоятельства его подвига в крепости были прояснены много лет спустя. В январе 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Петру Михайловичу Гаврилову «за доблесть и мужество, за выдающийся подвиг при обороне Брестской крепости» было присвоено звание Героя Советского Союза.

* * *

Память человека слабеет с годами. Память народная, наоборот, крепнет. Чем дальше мы отходим во времени от Великой Отечественной войны, тем выше и значительнее становится в нашем представлении подвиг борцов против гитлеровского фашизма. Так, нельзя оценить высоту горы, если стоишь слишком близко к ней, и надо отойти на расстояние, чтобы увидеть ее в цепи других вершин.

Я помню, как накануне двадцатого Дня Победы, в мае 1965 года, переполненный зал Кремлевского Дворца съездов гремел бурной и долгой овацией в ответ на оглашение Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской крепости звания «Крепость-герой». Я помню, как взволнованно притих зал Брестского городского театра и влажно заблестели глаза бывших защитников крепости, собравшихся на сцене, когда в том же году, несколько месяцев спустя, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР белорусский партизан Кирилл Трофимович Мазуров по поручению правительства прикрепил к крепостному знамени Золотую Звезду. Эта высокая оценка партии и государства была выражением любви и благодарности поистине всенародной.

В конце октября 1971 года состоялось открытие мемориала Брестской крепости, сооруженного по проекту группы скульпторов и архитекторов во главе с народным художником СССР, лауреатом Ленинской премии А. П. Кибальниковым. На это открытие были приглашены почти все известные из оставшихся в

живых защитники крепости, делегации от городов-героев, от всех областей Белоруссии.

Под гром оркестра подъезжали к перрону вокзала поезда, и толпы брестчан гостеприимно встречали приезжих.

Гостей сажали в машины и везли через город в новые кварталы Бреста, туда, где за Московским шоссе на берегу Мухавца еще недавно стояли деревянные хибары, а теперь поднялись многоэтажные дома, и среди них высотная, вполне современная гостиница. А те из защитников крепости, которые приехали сюда впервые после войны или давно не были тут, с удивлением оглядывались вокруг. Они не узнавали прежнего Бреста. Теперь это был город крупных заводов и комбинатов, институтов и техникумов, город рабочего класса и молодежи, многолюдный, нарядный и оживленный.

Но особенно всех поразила совершенно преобразившаяся крепость. Широкая, как проспект, выложенная бетонными плитами дорога, продолжая собой прямую асфальтовую ленту Московского шоссе, вела в центр крепости сквозь новые парадные ворота — пятиконечную звезду, затейливо прорезанную в бетонном массиве. А в самой середине Центрального острова, вырастая из невысокого холма развалин инженерного корпуса, поднялась над всей цитаделью огромная, почти 35-метровая, серая глыба — как бы увеличенная во много раз часть разрушенной крепостной стены. Наверху этой глыбы, слитая с ней и в то же время будто в могучем усилии пытающаяся отделиться от нее, нависла над развалинами чуть склоненная гигантская голова воина с лицом суровым и мужественным, со взглядом, исполненным выражения твердой и отчаянной решимости.

В стороне, неподалеку от этого горельефа, взметнулся в небо на 100-метровую высоту узкий четырехгранный обелиск из облицованной титаном нержавеющей стали — словно выступающий наружу штык исполинской винтовки-трехлинейки, скрытой в глубинах этой политой кровью земли. Внизу у основания штыка полыхало на ветру пламя Вечного огня.

А между штыком и глыбой с головой воина, связывая их воедино, протянулись один над другим три ряда надгробий с именами павших тут героев, и среди них часто повторялась надпись «Неизвестный» — в крепости за последние годы были раскопаны и перезахоронены останки многих безымянных героев обороны.

В день, когда происходило торжественное открытие мемориала, тысячи людей заполнили крепостной двор. Окруженные этим пестрым и шумным людским морем, рядом с трибунами тесной толпой стояли защитники крепости. Я видел, как ошеломленно и растерянно смотрели они вокруг, словно не веря своим глазам и не узнавая свою старую крепость. Ее новый облик вызывал у них сложные и противоречивые чувства.

Но подвиг их уже не принадлежал им — он стал драгоценным достоянием Отчизны. И возведенный в крепости мемориал больше всего адресован будущему, нашим потомкам. Как воспримут его, с какими чувствами будут стоять перед этими памятниками наши правнуки через пятьдесят, сто, двести лет?

Отгремели залпы орудийного салюта, прозвучавшего над крепостью в тот день, погасли огни праздничного фейерверка, закончились торжества, и бессмертный гарнизон Брестской крепости-героя, рассыпанный сейчас по всей стране, вернулся к своей обычной жизни.

Героический гарнизон Брестской крепости стоит в трудовом строю народа, он живет и борется.



«Битва под Москвой имела поистине историческое значение, оказав решающее влияние на ход Великой Отечественной и всей второй мировой войны. Красная Армия одержала под Москвой крупную военно-политическую победу.

Победа под Москвой означала, что советский народ под руководством партии сумел преодолеть трагические последствия внезапного нападения фашистской Германии, изменить в ходе тяжелого единоборства соотношение сил. Она показала, что война, несмотря на ее неудачное для советских войск начало, будет неизбежно выиграна Советским Союзом. Разгром гитлеровцев под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной Армии».

«Под Москвой произошел полный и окончательный крах «блицкрига», перед всем миром была развенчана легенда о «непобедимости» гитлеровской армии».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 242, 243.

МИХАИЛ
БРАГИН

МОСКВА–БЕРЛИН



Близился октябрь 1941 года.

Армия германского фашизма стояла на дальних подступах к Москве.

Немецкие фельдмаршалы и генералы собрались на станции Смоленск в штабном салон-вагоне группы армий «Центр», чтобы обсудить план операции «Тайфун» — план захвата Москвы.

Никогда еще не было ставлено столько на стратегическую карту.

Никогда еще с октября 1917 года вопрос «кто-кого» не стоял так остро, как в октябре 1941 года.

История войн числит немало грандиозных битв, решавших судьбы армий, народов, государств. Оценивая значение одной из них — битвы под Аустерлицем, Ф. Энгельс писал, что она не будет забыта до тех пор, пока существуют войны.

Сравнивая эту битву с битвой за Москву, можно утверждать, что последнюю будут изучать вечно, потому что человечество всегда будет интересоваться своей историей, а под Москвой решались судьбы не только народов СССР, но и всего человечества.

Еще летом 1940 года Гитлер собрал в своей резиденции Оберзальцберг высший генералитет германской армии и приказал готовить войну против СССР. Генералов и фельдмаршалов приказ фюрера вполне устраивал.

Тогда же, 31 июля 1940 года, начальник генерального штаба германской армии генерал-полковник Франц Гальдер записал в своем служебном дневнике: «Россия должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года. Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним ударом разгромим государство».

В этой записи сформулирована цель войны — уничтожение СССР, определена основа стратегии войны со Страной Советов — наступление должно быть молниеносным.

Руководствуясь идеей «блицкриг», гитлеровские стратеги, возглавлявшие генеральный штаб сухопутной армии (ОКХ) и штаб вооруженных сил (ОКВ), и разработали план, получивший наименование план «Барбаросса». План требовал, чтобы войска «быстро достигли Москвы». «Захват этого города,— было записано в плане,— означает как с политической, так и с экономической стороны решающий успех».

Руководители вермахта считали, что внезапный страшный удар всей германской армии, сосредоточенной на Восточном фронте, приведет к разгрому Красной Армии на приграничных театрах военных действий и откроет пути для безостановочного движения к стратегическим центрам Советского Союза — Москве, Ленинграду, Киеву.

«Русские,— говорилось в плане,— должны быть уничтожены в России в смелых операциях с продвижением танковых частей...» Тем самым гитлеровское командование отводило танковым соединениям главную роль в предстоящей войне. С помощью этой ударной силы армия в считанные дни должна была выйти на линию Архангельск — Астрахань (линия А — А). А далее нацистским стратегам мерещился путь через Кавказ в британские владения, на мировые коммуникации — к господству над миром.

Оставалось... победить СССР.

И они были уверены в своей победе. 11 июня 1941 года, за одиннадцать дней до начала войны, уже были запланированы действия гитлеровских войск после разгрома Красной Армии.

В СССР должно было остаться 60 дивизий для оккупационной службы и один воздушный флот для карательных налетов на неспокойные районы.

Гитлеровские генералы, объясняющие сейчас свое поражение пространствами СССР, знали, какова территория страны, с которой они собирались воевать. Для этого не нужны были специальные данные разведки, достаточно было школьной географической карты.

Они, конечно, знали, что армия Наполеона погибла в России, но рассчитывали, что моторы танков и автомашин успешно и быстро преодолеют до зимы те сотни километров, которые на своих ногах одолела французская пехота и конница.

Фашистские генералы исходили в своих расчетах из опыта войн в Польше и Франции, где их войска наступали со скоростью 30—50 километров в день. Они делили расстояние от границы до Москвы на эту скорость и получали, казалось бы, искомое число дней, нужных для победы над Советским Союзом.

В декабре 1940 года план «Барбаросса» был утвержден. Отборные войска сосредоточились вдоль границы с Советским Союзом. Штабы групп армий передислоцировались в Польшу и Восточную Пруссию. Эти войска возглавляли опытные, профессионально подготовленные генералы. Десятилетиями служили они в вермахте, прошли путями войн от Марны и Соммы в 1914—1918 годах к Марне и Сомме в 1940 году.

Небывалая по силе, более чем пятимиллионная гитлеровская армия, вооруженная новейшей боевой техникой, изготовилась к вторжению. Позади нее в Германии и оккупированных странах Европы стояли еще три миллиона войск

Войска проверяет главнокомандующий сухопутными силами Германии генерал-фельдмаршал Браухич. Вывод: «Общее впечатление хорошее. Войска превосходные. Разработка операции штабами соединений продумана хорошо».

5 мая генерал-полковник Гальдер записал, что вернувшийся из Москвы помощник военного атташе полковник Кребс доложил о состоянии Красной Армии. Начальник генштаба сделал вывод: «Русский офицерский корпус плох. Потребуется двадцать лет, пока он сравняется с немецким офицерским корпусом...»

Все, что мог германский империализм породить, обучить, воспитать для руководства своими вооруженными силами, он породил, обучил, воспитал и эти свои кадры военачальников послал на СССР, на Москву. Все новейшее в области смертоносной техники, что могла дать промышленность Германии и оккупированных гитлеровцами стран, она дала на вооружение фашистской армии. Войсковые соединения всех родов оружия — эти отборные силы войны — были двинуты к границе Советского Союза.

День за днем вел свой служебный дневник Франц Гальдер. Вот выдержка из записей тех дней.

«... Подготовка операции «Барбаросса» продолжается, не встречая на своем пути никаких особых трудностей.

... Движение по плану «Барбаросса» — около 17 000 поездов.

... Утверждено положение о смертном приговоре для военнослужащих.

Планируется, что в пограничных боях потери составят 275 000 человек. В связи с этим к 1 августа надо призвать в армию родившихся в 1922 году — девятнадцатилетних немцев.

В сентябре потери составят 200 000 человек — они будут возмещены за счет...» и т. д. и т. д.

В тиши кабинета теоретик и практик убийства миллионов людей спокойно вел свой кровавый баланс.

Согласно плану-балансу десятки тысяч поездов повезут на убой людей, которые обязаны быть убитыми или искалеченными. Иначе быть не может. Если они уцелеют в первых боях, их будут гнать и гнать на смерть, пока план не будет выполнен. Эти люди обречены. У них нет выхода. Не зря ведь разработана инструкция о смертной казни для военнослужащих.

И в том же дневнике учета пушечного мяса, в этом реестре массовых смертей за три дня до войны отмечается: «Берлин. День немецкой матери». Ничего не ведавшие матери отмечали в Германии день материнства. Страшна их судьба. Поколения немок рожали сыновей, растили их, чтобы в генеральном штабе Германии планировали их убийство.

В ночь на 22 июня 1941 года последовал сигнал «Дортмунд», означавший приказ на вторжение, переданный из генштаба не-

мецко-фашистским войскам, и на спящие советские города и села с тяжким грохотом обрушились снаряды и бомбы.

Генерал-лейтенант фон Манштейн, командир 56-го моторизованного корпуса, придвинутого к границе, посмотрел на часы и, рисуясь перед штабными офицерами, произнес: «Кости брошены».

Фашизм начал кровавую игру, в которой ставками были свобода и гибель государств, жизнь и смерть народов.

Первые недели войны создали у гитлеровцев иллюзию, что прогнозы немецкого генштаба подтверждаются. Франц Гальдер уже 3 июля 1941 года записал, что кампания в России будет выиграна в течение четырнадцати дней — быстрее, чем во Франции.

Но шли недели, месяцы, а решительной победы не было. В августе 1941 года группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба вплотную приблизилась к Ленинграду, но город Ленина был неприступен. Группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала фон Рундштедта подошла к Киеву, но столица Украины стойко отражала атаки врага. Сильнейшая в вермахте группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока рвалась через Смоленск к Москве, но была остановлена в 300—350 километрах от столицы Советского Союза.

Гитлеровским войскам удалось продвинуться от границы в глубь советской территории на 500—700 километров на разных направлениях. Но если в первые полтора-два месяца они наступали со скоростью 25—35 километров в сутки, то затем темп их продвижения замедлился до 5—2 километров, и наконец противник вынужден был остановиться. На всех участках гигантского фронта от Мурманска до Одессы гитлеровские части несли невосполнимые потери.

Чтобы лучше уяснить ход войны, следует обратить особое внимание на характер боевых операций, проявившийся уже в первые месяцы войны.

Да, в ту пору Красная Армия отступала из приграничных районов, но далеко не всем тогда дано было видеть за дымом пожарищ оставляемых сел и городов зарницы будущих побед. А проглядывались эти победы в характере сопротивления, которое оказывала врагу Красная Армия.

Характер боев в СССР резко отличался от того, какой навязала немецкая армия армиям Франции и Англии в 1940 году. Там развитие операций определялось стремительным наступлением немецких танковых и моторизованных дивизий, которые прорывались в глубину обороны англо-французов, окружали их соединения и, оставив окруженных на уничтожение пехотным корпусам, устремлялись к стратегическим центрам Франции.

Такой характер наступательных операций разрушал оборону на всю ее глубину, не оставляя времени и средств на ее восстановление, лишал штабы обороны возможности управления войсками, обеспечивал перерастание оперативно-тактических успехов в успехи стратегические, ведущие к выигрышу войны в целом. Такой метод действий предполагал нестойкость войск обороны, готовность их командования к капитуляции при первых поражениях, что, собственно, и произошло в Польше и Франции.

Но вот гитлеровская армия вторглась в СССР. Пользуясь подавляющим перевесом сил, особенно танковых, заранее сосредоточенных на избранных выгодных направлениях, армии группы «Центр» (те самые, что пойдут на Москву) углубились в первый день войны на 60 километров, а к исходу второго дня — на 130 километров в стыке наших Западного и Северо-Западного фронтов. Здесь действовала 3-я танковая группа генерала Гота и сильная 9-я полевая армия генерала Штрауса.

И вот что произошло уже на третий день войны. Перед нами документ штаба 9-й армии, говорящий о многом:

«В тяжелые бои 24 и 25 июня командованием 9-й армии были введены в действие все имеющиеся в его распоряжении силы, в это же время в пройденных армией лесных районах, позади фронта, оживились действия русских частей, и этим была создана серьезная угроза армии. При создавшейся обстановке командующий 9-й армией просил разрешить ему, вопреки приказу главного командования сухопутных сил, использовать для этих срочных и необходимых задач части СС по ту сторону границы...»

Посмотрим, что происходило в полосах наступлений других немецких армий.

Начальник штаба 4-й армии генерал Блюментрит писал: «Поведение русских даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские войска продолжали упорные бои».

О героизме защитников Брестской крепости много писали советские авторы, а вот что признал враг: «Подтверждается, что 45-я пехотная дивизия понесла в районе Брест-Литовска большие потери... Сопротивление фанатически сражавшихся войск противника было очень сильным, что вызвало большие потери 31-й пехотной дивизии...» Ни одна пограничная застава не сдавалась без ожесточенных боев до тех пор, пока были живы ее защитники.

28-я танковая дивизия под командованием полковника, впоследствии генерала армии, дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского на второй день войны истребила мотори-

зованный передовой полк и потрепала другие части 4-й танковой группы генерала Хепнера.

21-й механизированный корпус генерала, впоследствии генерала армии, дважды Героя Советского Союза Д. Д. Лелюшенко нанес тяжелый урон корпусу генерала Манштейна у Двинска.

1-я Московская мотострелковая дивизия, которой командовал полковник, впоследствии генерал армии, Герой Советского Союза Я. Г. Крейзер, остановила передовые дивизии танковой группы Гудериана на Березине.

В неравных боях у Минска покрыла себя славой 100-я стрелковая дивизия генерала И. Н. Руссиянова, ставшая первой в Красной Армии гвардейской дивизией.

24-я Самаро-Ульяновская железная дивизия генерал-майора, впоследствии генерала армии, Героя Советского Союза К. Н. Галицкого, умножая славу времен гражданской войны, прошла по тылам врага сотни километров, уничтожила много танков и бронемашин, тысячи гитлеровцев.

1-я артиллерийская противотанковая бригада генерала, впоследствии маршала, Героя Советского Союза К. С. Москаленко, отходя с боями от границ, уничтожила сотни вражеских танков. Мы еще не знаем всех имен советских летчиков — героев первого дня войны, сражавшихся при господстве фашистской авиации в воздухе, но сейчас известно, что командир немецкого авиационного корпуса генерал фон Грейм, прочитав в фашистской газете статью о слабости советской авиации, возмущенно сказал: «Кто это пишет такую глупость, если русские самолеты сбили в первый день войны двадцать семь самолетов моего корпуса».

Нет, не на такое наступление рассчитывали генштабисты Гитлера.

Вот что писал тогда генерал-полковник Гот:

«Командный пункт 3-й танковой группы.

Оценка положения на первую половину 13.7.1941 г.

Состояние: большие потери. Войска сильно изнурены. Жара. Пыль... Повсюду противник переходит к обороне.

Оценка русских: русский солдат борется не из страха, а из убеждения. Он против возвращения царского режима. Борется против фашизма, уничтожающего достижения русской революции. Потери превосходят успех».

В те же дни, когда казалось, что враг успешно наступает, что выполняется план «Барбаросса», когда казалось, что подтверждаются теоретические положения фашистской доктрины, советские войска нанесли первые очень чувствительные удары по врагу.

В начале второй недели войны —30 июня, в 13 часов 30 минут, было отправлено «Особое внеочередное донесение для главного

командования сухопутными силами... Ориентировка генерал-фельдмаршала фон Клюге», в котором сообщалось: «...русское танковое наступление с использованием мощных танков имело место сегодня утром западнее Шара в направлении Слоним против сосредоточившихся там частей 10-й танковой дивизии... Пехотный полк «Великая Германия» сегодня утром севернее Барановичи отразил атаку противника, проводившуюся танками... На фронте 17-й танковой дивизии части противника между Койданов и Столбцы прорвались в лесную местность...»

Генерал-полковник Гальдер тогда же вынужден был записать: «...противник отходит с исключительно упорными боями, цепляясь за каждый рубеж. Своеобразный характер боевых действий обусловил необеспеченность тыла, где нашим коммуникациям угрожают многочисленные остатки разбитых частей противника. Одних охранных дивизий совершенно недостаточно для обеспечения занятой территории».

И тогда танковые группы Гудериана и Гота получили по радио приказ: «Стоп!»

Что произошло? Оказывается, советские войска, окруженные западнее Минска, у Белостока, не сдаются.

Гудериану и Готу приказ остановиться показался невероятным. Оба генерал-полковника сделали вид, что они такого приказа не получали. Были временно выключены радиостанции, державшие связь со штабом группы «Центр» и штабом 4-й армии фельдмаршала Клюге, которому тогда подчинялись танковые группы.

Фон Клюге пригрозил генералам судом за невыполнение приказа, присовокупив, что приказ остановиться исходит от самого фюрера.

То, что совершалось у Белостока и Минска, совершилось впервые и было явлением непреходящего значения. Мы должны на этом остановиться, потому что то же самое повторится в сражении под Вязьмой. И тогда будет яснее смысл событий, имевших место в самый критический момент битвы под Москвой.

Здесь, в Белоруссии, в первые же недели войны стала раскрываться природа боев на Восточном фронте. Окруженные советские войска не только стойко оборонялись — они с небывалой силой прорывались из окружения и сами еще атаковали. Армейские пехотные корпуса 9-й и 4-й армий не могут с ними совладать. На борьбу с окруженными направляются еще два армейских корпуса, но и этого оказывается недостаточно. Вырывающиеся из окружения советские войска бьют по тылам и флангам наступающих немецких войск.

Гитлер заявил, что ему нужна не столько захваченная территория СССР, сколько прежде всего полное уничтожение совет-

ских войск. Чтобы в такой борьбе уничтожить окруженные войска, мало одной пехоты, необходима и артиллерия, и авиация, и танки. И наконец, на такую операцию необходимо время, а за за это время с востока подходят резервы Красной Армии, восстанавливают фронт обороны и сами наносят контрудары.

Удары советских механизированных корпусов по флангам группировки противника, рвавшейся к Киеву, героические контратаки частей и соединений 5-й армии отвлекали силы врага, сковывали их, не давая возможности быстро прорваться к Днепру и захватить столицу Украины. Это и не позволило повернуть танковую группу Клейста вдоль Днепра, на юг, чтобы отрезать от Днепра и уничтожить все советские войска, действовавшие на Правобережной Украине, как это предусматривалось планом «Барбаросса».

Не менее значительные события произошли и на северо-западном направлении. Здесь в составе группы армий «Север» наступали 16-я и 18-я полевая армии и 4-я танковая группа генерал-полковника Хепнера. Последняя форсировала Западную Двину и устремилась к Ленинграду, оставляя далеко позади пехоту 16-й и 18-й армий, действуя все по той же методе — вперед без оглядки на свои тылы и фланги. В авангарде действовал 56-й моторизованный корпус генерал-лейтенанта Манштейна, того самого, который предложил Гитлеру план вторжения во Францию. Манштейн гнал свои танковые и моторизованные дивизии вперед через города Остров, Псков, к Ленинграду. И вдруг русские нанесли здесь контрудар.

«15 июля,— писал Манштейн,— на КП командира корпуса, западнее Сольцы, поступили малоутешительные сведения. Противник большими силами с севера ударил во фланг вышедшей на реку Мшага 8-й танковой дивизии и одновременно с юга перешел реку Шелонь. Сольцы — в руках противника. Таким образом, главные силы 8-й танковой дивизии, находившиеся между Сольцы и Мшага, оказались отрезанными от тылов дивизии, при которых находился и штаб корпуса. Кроме того, противник отрезал нас и с юга большими силами перерезал наши коммуникации».

Манштейну пришлось под прикрытием нескольких танков бежать. Его корпус на ленинградском направлении был отброшен на сорок километров назад, остатки 8-й танковой дивизии были выведены на переформирование и целый месяц приводились в порядок.

До́роги, очень до́роги были эти сорок километров нашей земли. Враг понес серьезные потери. Особенно важно было то, что Манштейн вынужден был прекратить наступление до подхода пехоты 16-й и 18-й армий, до того, как они прикроют тылы и фланги танковых дивизий. А это определи-

ло совсем иной характер действий группы «Север» и задержало ее наступление к Ленинграду почти на месяц.

Итак, все четыре танковые группы, вторгшиеся в СССР, испытали фланговые удары, их наступление задерживалось.

Под ударами оказались танковые группы, на действиях которых был основан план «Барбаросса». И это вынуждало противника отказаться от излюбленного способа наступления, который в Европе приводил к победам.

Красная Армия показала врагу, что по территории СССР не наступают без оглядки на фланги и тылы, что тут гитлеровским танкистам не выдают «сквозных билетов» для проезда до конечных целей войны, как это им пообещал Гудериан.

Все это победоносно скажется позднее, когда возможности Красной Армии в новой технике сравняются с возможностями гитлеровской армии, когда развернутся резервы, но пока на стороне врага все еще оставались выгоды, которые позволили ему продолжить наступление.

Как в такой обстановке не порисоваться перед зеркалом истории. Гальдер не может не отметить: «24.VI. 41 г. (третий день войны). Середина дня: наши войска заняли Вильно и Каунас. Историческая справка: Наполеон занял Вильно и Каунас тоже 24 июня».

Генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, фиксирует: «3 июля штаб 4-й армии переместился в г. Борисов (на Березине). Здесь мы обнаружили следы армии Наполеона... До сих пор видны опоры мостов, некогда построенных французскими саперами».

Гудериан вспоминает: «Я выехал со своего командного пункта, располагающегося в Толочине, который еще в 1812 году служил штаб-квартирой Наполеону I, и отправился на Днепр к Копысь...», где принял гостей из итальянского генерального штаба.

А вспомни они, что через эти же города отступали войска Наполеона из России, тогда бы и записи, может быть, были бы иными.

У Копыси партизаны Дениса Давыдова отбили последний обоз французских войск; на Березине были разгромлены последние дивизии великой французской армии, и Наполеон бежал по мосту, замшелые сваи которого умилили Блюментрита, а на Немане французский император бросил жалкие остатки своих войск.

Но Гитлеру и его генералам было тогда не до плачевной участи Наполеона — они мечтали о его славе.

Пренебрегая уроками войн, гитлеровцы рвались на Восток. К Москве. Впереди их ждало Смоленское сражение, также ставшее частью битвы за Москву.

В этом двухмесячном сражении, вернее, в серии сражений, группа армий «Центр» понесла новые тяжелые потери. Она должна была вести бои на широком фронте от Великих Лук до Гомеля и уже 30 июля была вынуждена перейти к обороне на главном, московском стратегическом направлении.

Все ее армии и танковые группы были скованы боями с отошедшими из Белоруссии советскими войсками и прибывшими с востока резервами Красной Армии. Это привело к тому, что 3-я танковая группа генерала Гота, которая по плану должна была повернуть на Ленинград, чтобы помочь группе армий «Север» овладеть им, не смогла этого сделать. Группа армий «Север», не овладев Ленинградом, не повернула на Москву, как это планировалось, и не поддержала группу «Центр» в ее наступлении на московском направлении.

Так под руководством Ставки Верховного Главнокомандования герои Смоленского сражения помогли защитникам Ленинграда, а мужество последних помогало выстоять Москве.

Героическая защита Киева сковала группу армий «Юг», и последняя, задержавшись западнее Киева, отстала от группы армий «Центр», достигшей Рославля. Между группами «Центр» и «Юг» образовался разрыв, и южный (правый) фланг группы «Центр» оказался обнаженным — открытым для ударов советских войск со стороны Брянска, Гомеля и киевского направления. Под угрозой оказался и северный (левый) фланг группы «Центр». Наступать на Москву с обнаженными флангами гитлеровское командование не решалось, оно было уже проучено контрударами советских войск. Сложившаяся в ходе борьбы конфигурация фронта была опасна для всех групп армий. Они действовали в расходящихся направлениях: на Ленинград, Москву, Киев и теряли оперативное взаимодействие.

Нельзя преуменьшать опасность, угрожавшую нашей стране летом 1941 года, но надо заметить, что ни одной стратегической цели, поставленной планом «Барбаросса», гитлеровцы к концу августа не достигли. Ни Ленинградом, ни Москвой, ни Киевом они не овладели, Красную Армию не уничтожили, мобилизацию резервов не сорвали.

Стратегия молниеносной войны («блицкриг») проваливалась: уже тогда правительство Японии, учитывая силу сопротивления Советских Вооруженных Сил, отложило намечавшиеся агрессивные действия против СССР. Одно это нужно считать успехом Красной Армии, имевшим большое политическое и стратегическое значение.

Армия фашистской Германии заползала в стратегический тупик. Гитлер и его генералы оказались перед необходимостью искать новые решения, как вести войну дальше, вносить в план войны серьезные изменения.

Именно тогда возникли разногласия между группами генералов и, главное, между Гитлером и генералами из ОКХ и группы «Центр». Часть генералов настаивала на возобновлении наступления на Москву, а Гитлер и его приближенные генералы из командования вермахта (ОКВ) решили сначала овладеть Киевом, обезопасить группу армий «Центр» от удара с юга — юго-востока, завладеть стратегическим сырьем Украины, открыть пути к бакинской нефти, а затем уже продолжать наступление на Москву.

Гальдер, Гудериан и их единомышленники объявят впоследствии это решение главной причиной поражения немцев под Москвой, сделают его одной из основ фальсификации истории всей войны, но тогда генералы тут же приступили к выполнению директив Гитлера, которые, казалось, открывали единственно возможный выход из стратегического тупика.

К середине сентября 1941 года условия обороны юго-западного направления для советских войск резко ухудшились.

В полосе Юго-Западного фронта группе «Юг» удалось форсировать Днепр севернее и южнее Киева, и с плацдармов, захваченных на восточном берегу, угрожать флангам Юго-Западного фронта, оборонявшего киевское направление.

Группа армий «Центр», выдвинувшись к Рославлю, нависла над Юго-Западным фронтом, угрожала его северному флангу и глубокому тылу восточнее Киева с рославльского и гомельского направлений. С этого нависающего «балкона» Гитлер и решил прорваться восточнее Днепра в тыл Киевскому оборонительному району.

2-я танковая группа Гудериана перешла в наступление с рославльского направления на юг, к городу Ромны. Туда же с плацдарма у Кременчуга на северо-восток двинулась 1-я танковая группа Клейста. На Гомель и далее на Чернигов наступала 2-я полевая армия генерала Вайхса.

15 сентября дивизии 1-й и 2-й танковых групп, наступавшие навстречу друг другу, соединились в районе Лохвицы. Войска Юго-Западного фронта оказались окруженными восточнее Киева. Ожесточенные бои продолжались до 27 сентября. Отдельные отряды прорвались из окружения, часть воинов ушла в партизаны, многие пали смертью храбрых. Киев был захвачен врагом.

С отходом войск Юго-Западного фронта резко изменилась обстановка на московском направлении — оно открылось для фланговых ударов противника с юго-запада и юга. Оперативное взаимодействие войск, защищавших Москву, с войсками юго-западного направления нарушилось. Изменилась обстановка и

на всем советско-германском фронте. Вынуждены были отступать и войска Южного фронта. Пали Полтава, Харьков, противник ворвался в Донбасс, в руки фашистов попали богатства Украины, имевшие стратегическое значение. Выход гитлеровцев к Ростову угрожал Кавказу, Баку. С прорывом в Крым 11-й армии Манштейна, ставшего к этому времени генерал-фельдмаршалом, пришлось эвакуировать Одессу, враг угрожал Севастополю. Продвижение гитлеровской армии к границе Турции могло вызвать ее выступление против СССР.

Наступление группы армий «Север» не завершилось, как рассчитывал враг, захватом Ленинграда, но город был блокирован и, по расчетам Гитлера, должен был пасть, изнуренный беспощадными налетами авиации, артиллерийскими обстрелами. Населению грозила голодная смерть.

Правый фланг группы «Север», нацеленный на Бологое, угрожал смежным флангам Западного и Северо-Западного фронтов: противник мог обойти Москву с северо-запада, выйти в северные районы страны.

Эта обстановка требовала от Ставки Верховного Главнокомандования решения новых труднейших задач, от Красной Армии, от всего советского народа — новых героических усилий. Резервы истощались в операциях под Ленинградом, куда была направлена 54-я армия, и в сражениях за Украину, куда Ставка передала более двадцати свежих дивизий для укрепления обороны Киева и рубежа Днепра и бросала для спасения окруженных частей Юго-Западного фронта свежие стрелковые дивизии, воздушно-десантные бригады, кавкорпус, мотострелковую дивизию, крупные силы авиации.

С продвижением противника в глубь страны усилилась эвакуация предприятий на восток; большая часть оборудования была в пути. Советская экономика переживала в октябре — декабре 1941 года самые большие трудности за всю войну.

«Тайфун»

В таких неслыханно тяжких условиях предстояло организовать оборону на московском направлении, защиту Москвы.

Командование вермахта считало, что с победой у Киева открываются новые возможности глубоких стремительных операций. Еще в ходе сражений на юго-западном направлении, когда обозначился успех группы армий «Юг», генерал Гальдер и начальник оперативного отдела генштаба генерал Хойзингер разработали план наступления на Москву, получивший кодовое название «Тайфун». Он был доложен генералам ОКХ и группы «Центр» на совещании в Смоленске, и никто в его реальности не сомневался.

3-1607

13 сентября 1941 года, в самый разгар подготовки наступления на Москву, Гальдер писал: «В случае, если кампания на Востоке в течение 1941 года не приведет к полному уничтожению сопротивления советских войск, как рассчитывает верховное командование, то это окажет следующее военное и политическое влияние на общую обстановку:

а) может задержаться нападение Японии на Россию;

б) нельзя будет помешать соединению русских и английских войск в Иране;

в) Турция очень неблагоприятно для нас расценит такое развитие обстановки. Кроме того, она займет выжидательную позицию до тех пор, пока не убедится в поражении России;

г) осада Англии при участии достаточного для этого количества авиации может быть начата после того, как в основном будет закончено проведение «восточной кампании».

Чтобы обеспечить успех в наступлении на Москву, гитлеровское командование приняло ряд мер. С ленинградского направления на московское, к Рославлю, была переброшена 4-я танковая группа, все танковые группы получили пополнение, полевые армии были усилены армейскими пехотными корпусами, на аэродромах у Смоленска сосредоточена авиация.

По плану «Тайфун» группа «Центр» [1] должна была окружить советские войска в районе Брянска и Вязьмы и, оставив их на уничтожение пехотным армиям, танковыми группами охватить с флангов Московский оборонительный район, окружить его и ударами с севера, юга и запада овладеть столицей Советского государства.

План был разработан по всем канонам немецкой военной науки. В нем предусматривались и «большие клещи», охватывающие Москву с юга, в направлении Тула — Кашира — Рязань, и с севера на Ржев — Калинин; и «малые клещи», охватывающие центр расположения советских войск на вяземском направлении. На основных операционных направлениях, по которым предстояло действовать гитлеровским ударным группировкам, почти не было крупных естественных рубежей, и это затрудняло оборону. Здесь пролегали дороги, которые, как кровеносные сосуды, вели к Москве с запада, северо-запада, юга, юго-запада.

Наступление было обеспечено и материально-технически. Пройдет время, и немецкие генералы сошлются на трудности снабжения, на растянутые коммуникации, на неготовность тылов

[1] В группу «Центр» входили 3 полевые армии и 3 танковые группы. Всего на московском направлении готовились к наступлению 77,5 дивизии, в том числе 14 танковых, 8 моторизованных, что составляло 38 процентов пехотных и 64 процента танковых и моторизованных дивизий противника, действовавших на всем советско-германском фронте. Группа насчитывала более миллиона солдат, 1700 танков, 14 тыс. орудий и минометов. Наземные войска поддерживали 950 самолетов.

и плохие дороги... А тогда Гальдер писал о том, что Вагнер (отдел тыла генерального штаба) доложил: «Положение со снабжением всюду является удовлетворительным... Работа железных дорог превзошла все наши ожидания... Автотранспорта достаточно настолько, что часть его выводится на отдых».

Между командованием групп армий и командованием сухопутных сил и между последними и Гитлером к началу битвы за Москву вновь установилось полное единомыслие [1].

Всех их объединяла надежда на скорое вступление в Москву, которое одинаково предвкушали и фон Браухич, и Гудериан, и Гальдер, и фон Бок, и все генералы, и, конечно, сам фюрер.

Близость Москвы, близость победы, обещанной войскам, создавала и у немецких солдат известный подъем. Москва притягивала фашистских мародеров как магнит, они готовы были на отчаянные усилия в борьбе с советскими войсками.

С самого начала Великой Отечественной войны Ставка Верховного Главнокомандования правильно оценила значение московского стратегического направления. Генеральный штаб Красной Армии верно определил операционные направления, на которых противник будет искать решения своих оперативно-стратегических задач. Здесь было сосредоточено 40 процентов всех сил действующей Красной Армии.

В первые недели войны, когда выявились неудачи наших войск в приграничных районах, Государственный Комитет Обороны мобилизовал строительные организации, инженерные войска, сотни тысяч трудящихся на сооружение оборонительных рубежей в Подмосковье. Рабочие, колхозники, служащие, студенты, школьники, домашние хозяйки откликнулись на призыв Центрального Комитета защищать столицу. В жару, в осеннее ненастье, под бомбами и пулеметным огнем вражеской авиации они возводили блиндажи, доты и дзоты, рыли окопы, противотанковые рвы, прокладывали тыловые коммуникации. Московский, Смоленский, Тульский, Калужский, Калининский обкомы партии и Советы областей возглавили этот массовый порыв патриотов.

Московское направление обороняли три фронта — Западный, Резервный и Брянский.

---

[1] Через два-три месяца между ними в результате упорной обороны и контрнаступления советских войск возникнут разногласия и споры, которые завершатся впоследствии смертью генералов, уничтоженных Гитлером. Эти разногласия будут афишироваться во множестве военно-исторических книг и мемуаров о второй мировой войне, будут демонстрироваться перед всем миром как высшая мудрость германского генералитета, противостоявшая тупому упрямству фюрера. Но тогда, в решающий период войны, в сентябре — ноябре 1941 года, не было и тени разногласий между генералами и Гитлером.

По численности и вооружению эти фронты [1] уступали группе армий «Центр» — они имели около 800 тысяч человек, 782 танка (в том числе тяжелых и средних — 141, легких — 641), 545 самолетов во фронтовой авиации, 6800 орудий и минометов.

Слабостью обороны было и то, что ее рубежи защищали разные по своим боевым качествам войска. Наряду с боеспособными были и истощенные в затяжных боях соединения и части.

Расположение рубежей Западного и Резервного фронтов и Можайской линии обороны предполагало создание глубокой (более двухсот километров) обороны московского направления. Но обстановку осложняло то, что к моменту прорыва противником обороны войск на московском направлении в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандования непосредственно в районе Москвы стратегических резервов, способных занять и удержать эти рубежи, не было.

Недостатком организации обороны надо считать и то, что во главе войск московского направления не было одного ответственного лица за его оборону, командующего со штабом, объединяющим в одном фронтовом управлении войсками Западного, Резервного фронтов и Можайской линии обороны. Объединение войск Западного, Резервного фронтов и Можайской линии обороны было сделано Ставкой уже в ходе начавшейся битвы.

30 сентября 1941 года 2-я танковая группа генерала Гудериана перешла в наступление на Брянск, Орел, Тулу, Москву. Советские войска контратаковали противника и вынудили его 9-ю танковую дивизию отступить, остановили продвижение 48-го танкового корпуса. Весьма ощутимы были удары нашей авиации по колоннам 24-го танкового корпуса и по штабу группы в Севске. Но у советского командования на этом участке фронта оставалось очень мало войск; 13-я армия Брянского фронта, занимавшая здесь оборону, не смогла противостоять массированным танковым атакам, и 24-й танковый корпус, обойдя фланг этой армии, стал угрожать ее тылу. За ним двинулись другие корпуса 2-й танковой группы. За два дня они прошли около 100 километров, овладели городом Кромы, 3 октября немецкие танкисты ворвались в Орел.

Перед 2-й танковой группой (переименованной с 6 октября в танковую армию) открывалось шоссе на Мценск — Тулу к

---

[1] В составе фронтов было 80 стрелковых дивизий, 9 кавалерийских, 1 танковая, 2 мотострелковых, 12 танковых бригад. На западное направление выдвигались дивизионы гвардейских минометов («катюши»), на важнейших участках были установлены орудия большой мощности, в том числе батареи морской артиллерии. Ставка сосредоточила на защите Москвы с воздуха лучшие силы истребительной авиации.

Москве. С захватом Орла и Брянска противник образовал плацдарм для наступления на Москву с юга и юго-запада.

2 октября перешли в наступление все войска группы армий «Центр». Это наступление поддерживали сотни бомбардировщиков и истребителей.

Неглубокая оборона наших стрелковых дивизий не могла отразить таранных ударов танковых дивизий, нанесенных на узких участках. Они прорвались в центре Западного и на левом фланге Резервного фронтов и устремились на их тылы. На всем остальном фронте наступление противника успешно отражалось нашими армиями.

Остановить танковые корпуса противника могли такие же танковые корпуса обороны, опирающиеся на свою артиллерию, поддержанные своей авиацией, но крупных танковых соединений в распоряжении командования Западного, Резервного и Брянского фронтов не было. Подвижные части врага обтекали участки противотанковой артиллерийской обороны и, маневрируя, двигались дальше.

3-я танковая группа генерала Гота прорвалась на Белый — Сычевка, перерезала железную дорогу Вязьма — Ржев, затем повернула на юг в тыл нашим войскам, оборонявшимся западнее Вязьмы.

4-я танковая группа генерала Хепнера, наступая на восток, прорвалась к городам Спас-Деменск — Юхнов, затем повернула на север и также вышла в тыл войскам у Вязьмы. Соединившись, эти танковые группы 6 октября рассекли пути, идущие от Вязьмы на восток к Москве, и замкнули кольцо окружения вокруг вяземской группировки советских войск. Кольцо сжимали 28 вражеских дивизий, из них шесть танковых. Господство в воздухе принадлежало противнику, его самолеты безнаказанно бомбили обороняющихся, расстреливали их из пулеметов.

Между районом окружения у Вязьмы и Москвой у советского командования не было резервов.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих воспоминаниях писал: «В 2 часа 30 минут ночи 8 октября я позвонил И. В. Сталину. Он еще работал. Доложив обстановку на Западном фронте, я сказал: «Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской линии. Бронетанковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой»».

В «Истории Коммунистической партии Советского Союза» сказано: «...Пути для врага на Москву оказались открыты» [1].

Кто, где, когда и как их закрыл?

---

[1] «История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 229

Враг был уверен, что победа им одержана. Группа армий «Центр» получила 12 октября директиву: «Фюрер решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, если она даже и будет предложена противником. Всякий, кто попытается оставить город и пройти наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно... Ко всем остальным городам также должно относиться то, что перед захватом они должны быть уничтожены артиллерийским огнем и бомбардировочной авиацией... Следует как можно скорее отрезать город от путей, соединяющих его с внешним миром».

14 октября танковые дивизии 3-й танковой группы Гота захватили Калинин. 2-я танковая группа Гудериана рвалась к Туле.

15 октября Совинформбюро сообщило, что «положение на западном направлении фронта ухудшилось».

Октябрьские дни 1941 года были самыми грозными и тяжелыми в истории нашей Родины.

Войска Западного и Резервного фронтов были окружены, и казалось, что кратчайшие пути Вязьма — Москва, Рославль — Москва открыты, но двинуться по этим путям на восток ударные силы группы армий «Центр» не смогли, они были скованы боями у Вязьмы. Окруженные войска, атакуемые со всех сторон танками и пехотой противника, под массированными ударами его артиллерии и авиации продолжали неравную борьбу.

Героически сражалась против ударной группировки противника, обходившей наши позиции севернее Вязьмы, 19-я армия генерала М. Ф. Лукина. Войска этой армии вместе с 32-й армией генерала С. В. Вишневского десять дней и ночей вели контратаки фронтом на запад и на восток. Об этих боях мало осталось документов. Немного о них рассказали участники героического сопротивления. Крупица за крупицей восстанавливают историки картину сражения под Вязьмой.

В «Истории Великой Отечественной войны» сказано об исторической заслуге наших войск, задержавших противника под Вязьмой, вырвавших у него десять суток, в течение которых Ставка Верховного Главнокомандования сумела подтянуть к фронту резервы.

Герои Вязьмы сковали 28 отборных дивизий, но на московском направлении наступало 77,5 дивизии группы армий «Центр».

Кто задержал и остановил еще почти пятьдесят дивизий врага?

На это обычно отвечают: их остановили прибывшие по приказу Ставки 32-я стрелковая дивизия полковника В. И. Полосухина на можайском направлении, 316-я стрелковая дивизия генерала И. В. Панфилова, занявшая оборону на волоколамском направлении, 1-я мотострелковая дивизия полковника А. И. Лизюкова, преградившая врагу путь на наро-фоминском направлении, 93-я

и 312-я стрелковые дивизии, подразделения артиллерийского и пехотного подольских училищ, отряды Военно-политической академии и курсов политруков, сорок артиллерийских полков, дивизионы РС («катюши») и другие отдельные части, отряды, подразделения. Их заслуги велики.

Но 32-я стрелковая дивизия вступила в бой на Бородинском поле 13 октября, 316-я — 15—16-го, 1-я мотострелковая — 22 октября, другие еще позже.

Кто же отражал атаки врага на всех направлениях, и особенно на кратчайшем вяземско-можайском, в течение недели между 7 октября, когда восточнее Вязьмы замкнулось кольцо окружения, и 13 октября, когда разведывательные части врага завязали бои на рубеже Можайского укрепленного района — на Бородинском поле.

Ведь от кольца окружения восточнее Вязьмы до Москвы оставалось двести километров, и танковые дивизии врага могли пройти это расстояние за четыре-пять дней (дивизии Гудериана, например, шли к Орлу со скоростью 50—60 километров в сутки).

Почему же они не достигли Москвы?

Бессмертие танковых бригад

Многое до сего времени еще неизвестно, но последние изыскания дают право утверждать, что танковые дивизии врага были задержаны советскими танковыми бригадами. В этом их бессмертная заслуга. Большую роль в организации бригад сыграл командовавший бронетанковыми войсками Красной Армии генерал Я. Н. Федоренко, впоследствии маршал бронетанковых войск.

В первые месяцы войны, когда танкисты остались без танков, они продолжали сражаться в пешем строю, и там, где они оборонялись, фашистам приходилось плохо. Но и танкисты несли потери. И вот тогда последовал приказ отозвать танкистов из пехоты, отправить на танковые заводы собирать боевые машины, затем в специальные танковые лагеря, формировать бригады, готовиться к новым боям. Этот момент наступил.

Может возникнуть вопрос: что могли сделать немногочисленные отдельные бригады, по предназначению своему выполняющие обычно тактические задачи, против головных наступающих дивизий противника? Оказывается, многое, и решать им предстояло задачи не только тактического, но и оперативно-стратегического значения.

Надо иметь в виду, что в динамике даже грандиозных маневренных операций бывают моменты, когда хороший полк, боевая бригада могут сделать сегодня то, что завтра не сделает

ни корпус, ни армия. Все дело в условиях боевых действий. Такие условия сложились в первой половине октября 1941 года.

Танковые бригады, распределенные на ряд направлений, не смогли бы повлиять на ход событий в тот момент, когда все армии группы «Центр» только что перешли в наступление. Но бригады вводились в бой на исходе первой недели битвы за Москву. К этому времени двадцать восемь дивизий противника были скованы у Вязьмы, около двадцати дивизий были заняты боями с армиями Брянского фронта, героически пробивавшимися из окружения на восток, а на Москву после 6 октября немецкое командование смогло направить отдельные дивизии и корпуса в расчете, что главные силы группы «Центр» подойдут к Москве после ликвидации окруженных.

Передовые части головных корпусов, спешившие к Москве, и встретились с танковыми бригадами, о действиях которых докладывалось непосредственно Сталину.

О подвигах 4-й танковой бригады полковника М. Е. Катукова, ныне маршала танковых войск, дважды Героя Советского Союза, бригады, ставшей тогда 1-й гвардейской, хорошо известно. Это она, поддержанная 11-й танковой бригадой подполковника А. В. Бондарева, остановила у Мценска 4-ю и 3-ю танковые дивизии армии Гудериана, когда они, захватив Орел, двигались к Туле. Маневрируя на поле боя огнем из засад, бригада Катукова подбила и сожгла более ста вражеских танков, заставила танковые дивизии развертываться для боя, терять время, переходить к обороне.

Уже 8 октября Гудериан стал ссылаться на непогоду и грязь, вынуждавшие его остановить наступление; путь на Москву через Тулу был закрыт.

Но вот на калининском направлении, где дороги хуже, чем под Тулой, и по осени более вязкая почва, прорвалась 1-я танковая дивизия группы генерала Гота; она захватила Калинин и до 16 октября продолжала наступление к Вышнему Волочку, создавая угрозу флангу Северо-Западного фронта. Но и ее остановила не грязь, а 8-я танковая бригада полковника, ныне Главного маршала танковых войск, Героя Советского Союза П. А. Ротмистрова. Последняя, вопреки осенней распутице, совершила 200-километровый марш и отбросила 1-ю танковую дивизию к северо-западной окраине Калинина.

В то же время танки и мотопехота противника стали сосредоточиваться на южной окраине Калинина для броска через Клин на Москву, и тогда в рейд по тылам врага к южной окраине Калинина была направлена 21-я танковая бригада полковника А. И. Лесового. Ее танковым полком командовал Герой Советского Союза майор Михаил Лукин, головным танковым батальоном — Герой Советского Союза капитан Михаил Агиба-

лов. Оба отличились в боях у Халхин-Гола, оба стали слушателями бронетанковой академии и в дни боев за Москву добились направления на фронт. Оба погибли в боях у Калинина, но их танковые подразделения уничтожили во время рейда десятки танков, сотни автомашин с пехотой, сожгли на аэродроме десятки самолетов, нагнали на врага панику. Один из танков 21-й бригады под командованием сержанта Степана Горобца, управляемый механиком-водителем Литовченко, ворвался в Калинин с юга, прошел его насквозь до северной окраины и вернулся оттуда на южную, к своим.

Мало известен и подвиг танкистов 18-й и 19-й танковых бригад, сражавшихся на можайско-гжатском направлении, которое было особенно ответственным в те дни.

Здесь пролегали почти рядом и параллельно автомагистраль Минск — Москва и Можайское шоссе, что позволяло противнику при успешном прорыве, пользуясь отличными дорогами, быстро развить наступление танковыми и моторизованными дивизиями.

Еще продолжались бои у Вязьмы, а на Гжатск — Можайск двинулся 40-й моторизованный корпус в составе 10-й танковой дивизии и моторизованной дивизии СС «Рейх» («Империя») с ее полками головорезов «Фюрер» и «Дойчланд». За ними выдвигалась одна из самых опытных — 7-я пехотная дивизия.

40-му корпусу удалось 9 октября захватить Гжатск, и его дивизии устремились к Можайску. Против него командующий Западным фронтом генерал-полковник И. С. Конев двинул 9 октября 18-ю и 19-ю танковые бригады А. С. Дружинина и С. А. Калиховича и отряд Лебеденко.

Прибывший сюда представитель Ставки маршал К. Е. Ворошилов сказал танкистам, что за ними до Москвы сил нет, они должны задержать врага до подхода резервов Верховного Главнокомандования. Советские танкисты выполнили требование Ставки. Они сдерживали врага до тех пор, пока не подошли полки 32-й дивизии полковника В. И. Полосухина, прибывшей с Дальнего Востока на защиту Москвы. Именно эта дивизия стояла насмерть на славном Бородинском поле, по западной окраине которого проходил передний край Можайского укрепленного района. Здесь в те дни формировалась 5-я армия.

Пути на Москву на можайском направлении были закрыты.

Бородино 1941 года

Но пути к Москве закрывали не только танковые бригады. У Волоколамска занимали оборону части 16-й армии.

К Калинину отошли поредевшие, но боеспособные стрелковые дивизии 30-й армии, южнее Тулы развернулся 1-й гвардей-

ский стрелковый корпус; туда же отходила 50-я армия; к Калуге была переброшена 49-я армия; у Малоярославца развернулась 43-я армия; у Наро-Фоминска восстанавливалась 33-я армия; на Варшавском шоссе, западнее Малоярославца, дрались подразделения пулеметного и артиллерийского подольских училищ и десантный отряд капитана Старчака, на можайском направлении вели бои отряды Военно-политической академии, Военного политического училища. На важнейшие участки бросали дивизионы гвардейских минометов («катюши»).

Нельзя недооценивать действия наших Военно-Воздушных Сил в битве за Москву. В начале октября, когда господство в воздухе принадлежало противнику, от всех советских летчиков требовалось исключительное мужество и высшее мастерство в воздушных боях. В сложнейшей и неясной обстановке, когда надо было восстановить взаимодействие войск, летчики в дождь, в снегопад отыскивали отступавшие части, передавали приказы командования, ориентировали в обстановке, доносили о положении на фронте.

Ставка Верховного Главнокомандования с каждым днем наращивала силы авиации, перебрасывала на подмосковные аэродромы из глубин страны, с других фронтов авиаполки и авиадивизии, включила в операции бомбардировочную авиацию и по мере приближения противника нацеливала на его войска авиацию Московского военного округа и ПВО столицы.

Воины всех родов войск, выполняя свой долг, сдерживали наступавшего врага.

Группа армий «Центр» перешла в наступление на Москву 30 сентября, и только 13—15 октября ее передовые части подошли к можайской линии обороны.

За эти две недели Государственный Комитет Обороны мобилизовал все силы страны и столицы на отпор врагу.

Москва за первые месяцы войны уже дала фронтам сотни тысяч воинов, десятки тысяч москвичей вступили в дивизии народного ополчения, истребительные отряды, строили укрепления.

Партийный актив столицы, собравшийся 13 октября, заверил Центральный Комитет партии, что коммунисты, все трудящиеся Москвы готовы отстаивать Родину не щадя жизни. Город стал прифронтовым, преобразился, ощетинился противотанковыми «ежами» и надолбами, баррикады преградили улицы и въезды, на окраинах встали военные посты. Сразу за Ленинскими горами, на высотах Кунцева, в районе Химок заняли позиции войска Московской зоны обороны, отряды Военной академии имени Фрунзе, учебные части.

Москва стала ближайшим тылом фронта. Она не только снабжала его оружием, боеприпасами, резервами, она вдох-

новляла его воинов на подвиги, укрепляла веру в победу, была незыблемым центром руководства обороной страны и столицы.

20 октября Москва была объявлена на осадном положении. Все войска на подступах к ней были объединены в Западный фронт под командованием генерала армии Г. К. Жукова, а отошедшие со ржевско-вяземского рубежа армии — в Калининский фронт под командованием генерал-полковника И. С. Конева.

С боями отходили через Малоярославец, Боровск, Тарусу дивизии народного ополчения Ленинского, Куйбышевского, Дзержинского районов Москвы. Они заняли оборону на фронте 33-й и 49-й армий.

Из окружения пробивались части, подразделения, отряды, группы, одиночки. Они шли из Смоленщины и Брянщины сотни километров, шли под осенним дождем и мокрым снегом, по бездорожью, преодолевая вброд и вплавь разлившиеся реки, неся раненых, чаще всего без еды, шли, чтобы снова стать на защиту Москвы. Это был «железный поток» 1941 года.

Еще полностью не подсчитано, сколько воинов вышло из окружения, но сводки формирований за октябрь — ноябрь 1941 года свидетельствуют, что вышедшие из окружения и отступившие с вяземского и брянского направлений бойцы пополнили армии, составили полки, дивизии, ставшие вскоре гвардейскими.

Герои не только уничтожали живую силу врага, но и сокрушали его дух. Генерал Г. Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, которая наступала против центра Западного фронта, писал: «Когда мы вплотную подошли к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось. С удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила... Все это было для нас полной неожиданностью. Мы не верили, что обстановка могла так сильно измениться после наших побед, когда столица, казалось, была в наших руках...»

Но гитлеровцы не отказались от своих замыслов.

С утра 14 октября на всем фронте, и особенно в полосе вновь формируемой 5-й армии, завязались ожесточенные бои. Главный удар противник наносил вдоль Минской автострады. Там, над деревнями Верхней и Нижней Ельней, появились десятки пикирующих бомбардировщиков. Волна за волной они бомбили передний край обороны и автостраду. Тактика обычная: подавить авиацией, пробить брешь танками и прорваться в глубину обороны, а для этого не жалеть бомб, снарядов и солдат, уничтожать все, что мешает продвижению.

Здесь показали свои способности советские артиллеристы и пехотинцы. Батарея ПТО под командованием старшего лейтенанта Петра Полибина уничтожила шесть танков, комиссар батареи 17-го стрелкового полка политрук Григорий Сазонов подбил четыре танка; исключительным по темпу и точности огнем командир орудия Иван Харинцев поджег и подбил еще шесть танков. Одиннадцать часов не покидал в тот день огневой позиции командир орудия 367-го артполка Андрей Хатомченко.

Убедившись, что пробиться по магистрали трудно, противник стал обходить район деревень Верхняя и Нижняя Ельни по Бородинскому полю, чтобы снова выйти на автостраду; удар был нацелен на район бывшего Шевардинского редута. Здесь оборонялся батальон капитана В. А. Щербакова, поддерживаемый батареей старшего лейтенанта Н. П. Нечаева. Командир батареи поставил орудия, где когда-то находились флеши Багратиона, а сам выдвинул свой наблюдательный пункт к Шевардину, в боевые порядки пехоты.

После массированного налета авиации под прикрытием минометного огня немцы пошли в атаку на Шевардино с юго-запада — там, где некогда ходила в атаку кавалерия Мюрата. Нечаев открыл беглый огонь, уложил сотни гитлеровцев, но, накапливаясь в лощинах, новые их сотни бросались к редуту. Все решал темп огня. И его дали артиллеристы. С огневых позиций докладывали, что орудия перегреваются от непрерывной стрельбы. Противнику пришлось отказаться от массированных атак пехоты. Пользуясь разреженными боевыми порядками батальона Щербакова, враг стал просачиваться от Шевардина к деревне Семеновской и к станции Бородино. И на переднем крае, и в глубине обороны одновременно завязались рукопашные схватки. Щербаков сам водил роты в штыковые атаки, был ранен, но остался в строю и продолжал руководить боем.

Во второй половине дня противнику удалось ворваться в Верхнюю и Нижнюю Ельни. Но к участку прорыва быстро подтянули 36-й мотоциклетный полк майора Т. И. Танасчишина.

Получив задачу, мотоциклисты на предельных скоростях устремились в бой, ворвались в расположение пехоты противника, забросали ее гранатами, расстреливая в упор из пулеметов и автоматов, и, наведя панику, сорвали наступление.

Немецкое командование со свойственной ему настойчивостью искало новые лазейки. Части 7-й пехотной дивизии, продвигаясь на открытом фланге 5-й армии южнее автострады, снова вышли на нее и ворвались в деревню Артемки, что восточнее деревень Верхняя и Нижняя Ельни.

На помощь пехоте и артиллерии подоспела из резерва 20-я танковая бригада. Деревня Артемки осталась в наших руках, о чем командующий фронтом Жуков донес в Ставку.

15 и 16 октября бои продолжались с нарастающей силой. Остановленный на автостраде противник снова нанес удар танками в центр Бородинского поля. На огневых позициях в районе оборонявшейся здесь в 1812 году батареи Раевского стали артиллерийские дивизионы капитана Беляева и старшего лейтенанта Зеленова.

Уже выпал первый снег, и на белом поле, исполосованном гусеницами, четко были видны десятки темно-серых танков с крестами на броне, идущих в атаку.

Загремел огневой бой. Танковые пушки вели дуэли с нашими орудиями, поставленными на прямую наводку. Гибли расчеты советских орудий, горели фашистские танки, и черный дым плыл рваными облаками над полем великой битвы.

Накануне войны автор этих строк, работая над книгой о Бородинском сражении, прочел в воспоминаниях одного из участников о том, как русский прапорщик, посланный передать приказ войскам, указал им направление атаки и в этот момент ему оторвало ядром руку; тогда он поднял другую и показал, куда следовать войскам. Автор не внес этот эпизод в свою книгу, опасаясь, что читатели не поверят в такие возможности человека.

Наводчик одного из орудий 32-й стрелковой дивизии комсомолец сибиряк Федор Чихман не знал о подвиге того прапорщика. Он подбил три вражеских танка, когда снарядом ему оторвало руку. Чихман нашел в себе силы подбить четвертый танк и остался у орудия, пока не подоспели товарищи, его заменившие. Превозмогая страшную боль, Федор спустился с Курганной высоты в Бородинский музей, где в медпункте ему сделали укол от столбняка, перевязку и отправили в госпиталь.

Рассказ об этом внимательно слушают сейчас посетители музея, глядя при этом в окно на Курганную высоту, где совершился подвиг. Но автор видел и глубоко потрясенных учителей и школьников 583-й московской школы, когда им рассказывал о боях на Бородинском поле могучий и статный, спокойный и обаятельный с орденом Ленина на груди Федор Чихман, приехавший с Дальнего Востока на слет ветеранов 32-й стрелковой дивизии.

Дивизия несла большие потери. Погиб во время танковой атаки врага батальон капитана Зленко, погибали целые расчеты орудий, был ранен на поле боя командующий 5-й армией генерал Д. Д. Лелюшенко, его заменил генерал Л. А. Говоров.

Бои шли очагами, на автостраде у Ельни и у Артемок, у Шевардина и гораздо восточнее — на станции Бородино и Можайском шоссе. Полки и батальоны дрались, не имея порой локтевой связи. Необходимо было во что бы то ни стало сохранить управление ими. В этих условиях подлинный героизм проявляли связисты, штабные командиры всех степеней.

Остановленный на автостраде противник решил еще глубже обойти фланг армии и захватил село Борисово, расположенное в шести километрах южнее Бородинского поля. Противник мог выйти оттуда в тыл 5-й армии и двинуться по автостраде к Москве.

Находясь на перекрестке дорог, что ведут из Можайска в Борисово, узнав о его захвате, Л. А. Говоров приказал организовать контратаку на село Борисово. Командующий танковыми войсками армии полковник Дмитрий Заев собрал танки, мотоциклетный полк, мотострелковый батальон 18-й танковой бригады и поставил им боевую задачу. Член Военного совета армии генерал П. Ф. Иванов разъяснил бойцам, что от их действий зависит судьба обороны на можайском направлении.

Танки с десантом автоматчиков на броне и мотоциклистами впереди скрытно продвинулись к Борисову и, прикрытые снегопадом, обрушились на расположившихся в селе фашистов. Крупный подвижной отряд противника был разгромлен.

Но успех на фланге армии совпал с прорывом ее обороны в центре. Сил там становилось все меньше. 32-я стрелковая дивизия была растянута на фронте в сорок километров и резервов не имела. Противник обошел восточнее район бывшей батареи Раевского и повел наступление от станции Бородино к Можайской дороге, атаковал штаб дивизии в деревне Кукарино. Вражеские танки 18 октября ворвались в Можайск.

Положение на можайском направлении резко ухудшилось. 5-я армия, выиграв у противника шесть суток и выбив из его боевых порядков более ста танков и тысячи солдат, сама оказалась в очень опасном положении. Обстановка в центре Западного фронта сложилась крайне тревожной: в тот же день, 18 октября, противник овладел Малоярославцем и Тарусой, пробивался на Волоколамск и Тулу.

Последняя декада октября была насыщена напряженными боями на всем центральном участке Западного фронта.

20 октября противник прорвался южнее Можайска к Наро-Фоминску. Достаточно взглянуть на карту Подмосковья, и станет ясно, что он оказался далеко восточнее рубежа 5-й армии, получил возможность по шоссе Наро-Фоминск — Кубинка выйти ей в тыл и отрезать от Москвы.

27 октября, несмотря на упорное сопротивление 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова и всей 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского, противник овладел городом и станцией Волоколамск.

24 октября неожиданно была сдана Руза. Дорога на Звенигород, к правому флангу 5-й армии и левому флангу 16-й армии, оборонявшейся на Волоколамском направлении, для войск противника была открыта. Генерал Говоров бросил свой резерв на

правый фланг армии, и в это время в ее центре противник захватил Дорохово, а резервы в 5-й армии иссякли. На можайском направлении противник угрожал ближним подступам Москвы.

Но задолго до этого, в один из трудных для Западного фронта дней, в далеком тылу был по тревоге собран командный состав 82-й мотострелковой дивизии — она директивой Ставки направлялась на оборону Москвы. Советские железнодорожники «зеленой улицей» повели десятки эшелонов почти через всю страну, и 25 октября последний эшелон разгрузился восточнее Дорохова. Военный совет 5-й армии, встретив дивизию на марше, поставил ей задачу с ходу атаковать противника.

Дальневосточники, прославившиеся в боях у Халхин-Гола, ворвались в Дорохово, разгромили пехотный полк и штаб противника, остановили его продвижение.

5-я армия, заняв выгодные позиции западнее Кубинки, на 71-м километре автострады Москва — Минск, дальше не пропустила врага.

Устойчивость обороны стала характерной для всех армий западного направления. В то же время, когда 82-я мотострелковая дивизия останавливала противника в Дорохово, 1-я Московская мотострелковая дивизия под командованием Героя Советского Союза полковника А. И. Лизюкова отбросила противника в Наро-Фоминске за реку Нару и дальше к Москве его не пропустила. Восточнее Волоколамска сдерживала врага 316-я стрелковая дивизия генерала И. В. Панфилова. Противник был остановлен западнее Серпухова. Неприступной оставалась Тула.

Войска Калининского фронта под командованием генерал-полковника И. С. Конева сковали в октябре все левое крыло группы «Центр» и правофланговые дивизии группы армий «Север». Пути на Москву были закрыты. Октябрьское наступление войск Гитлера на Москву было остановлено.

На ближних подступах к Москве

И все же, готовя второе генеральное наступление на Москву, гитлеровское командование не сомневалось в успехе.

Гальдер записывал в своем дневнике: «19 ноября в 13.00 были на докладе у фюрера, где определили задачи на будущий год. В первую очередь — Кавказ. Цель — русско-южная граница. На севере овладение Вологдой и Горьким. Вопрос о том, какие цели можно будет поставить перед собой после этого, остается открытым. Это будет зависеть от провозоспособности наших железных дорог...»

Итак, Москва, надо считать, уже взята, вслед за ней падет Ленинград, сопротивление Красной Армии не имеет никакого

значения, все будет зависеть в дальнейшем от провозоспособности железных дорог.

Осталось спланировать штурм самой Москвы.

Еще 30 октября штаб группы «Центр» отдал «приказ на продолжение операции». В этом приказе войска ориентировались на то, что «вся подготовка для новых операций должна быть организована с таким расчетом, чтобы использовать без замедления и в полном объеме непродолжительное время бесснежной морозной погоды...»

За недели затишья между первым и вторым наступлением войска группы «Центр» были пополнены, резервы подтянуты.

Готовя второе наступление, группа «Центр» заняла оперативно выгодное исходное положение, удобный, как ей казалось, трамплин для прыжка на Москву.

По плану гитлеровского командования 3-я и 4-я танковые группы генералов Рейнгардта (сменившего Гота) и Хепнера должны были наступать на Москву с северо-запада, 2-я танковая группа Гудериана — на Тулу с юго-запада и восточнее столицы должна была встретиться с 4-й танковой группой и замкнуть кольцо окружения; 4-я полевая армия генерал-фельдмаршала Клюге должна была ворваться в столицу с запада.

К середине ноября все было готово, и 16 ноября войска противника повели наступление на флангах, а тремя днями позже, 19 ноября, начались атаки в центре Западного фронта.

Второе наступление гитлеровских войск началось на фронте 5-й армии в 10 часов утра 19 ноября после полуторачасовой артиллерийской подготовки атаками пехоты и танков на всем фронте армии. Противнику удалось оттеснить боевое охранение и овладеть несколькими населенными пунктами на переднем крае.

С утра 20 ноября неприятель ввел в бой два армейских корпуса (7-й и 9-й, всего пять дивизий) с танками и прорвался в глубину нашей обороны. В штаб 5-й армии стали поступать тревожные сообщения: противник занял села Локотня, Андреевское, Улитино, Власово. Но ему не удалось прорвать фронт армии.

Бои шли за каждую деревню, за каждую железнодорожную станцию, за дачи, куда выезжали на лето москвичи, за дома отдыха, которых так много в Звенигородском районе.

24 ноября бои продолжались с переменным успехом. Наши части севернее Звенигорода перешли у дома отдыха «Коралловое» в контратаку и потеснили врага, но противник прорвал фронт на правом фланге армии и продвинулся вперед, нависая над Звенигородом с севера и охватывая город с северо-востока. Опасность грозила не только Звенигороду. Продвигаясь севернее Звенигорода, гитлеровцы вышли в район города

Павловская Слобода. Далее были уже Тушино и Москва. Войска неприятеля на звенигородском и истринском направлениях устанавливали тактическое взаимодействие, их удары нарастали, становились крайне опасными. Наступление противника здесь рассекало фронт 5-й армии Говорова и в то же время отрезало эту армию от 16-й армии Рокоссовского.

И хотя положение 5-й армии было очень серьезным, командующий фронтом генерал армии Жуков отдал командарму-5 Говорову приказ: «Срочно от каждой дивизии выделить по одному взводу, вооруженному положенным оружием и огнеприпасами. Взводы выделить уже участвовавшие в боях. Собранные взводы не позднее 17 часов 29.11 автотранспортом направить в распоряжение командарма-16».

16-я армия во время второго наступления гитлеровских войск на Москву отражала главный удар противника. Против нее были сосредоточены шесть дивизий и наибольшее число танков. Здесь северо-западнее Москвы наступали 3-я и 4-я танковые группы. Им удалось оттеснить с Ленинградского шоссе 30-ю армию, охватить правый фланг 16-й, овладеть Клином, Солнечногорском, Истрой. 7-я танковая дивизия генерала Функа форсировала канал Москва — Волга, угрожая тылам столицы.

К концу ноября противник прорвался северо-западнее Москвы в район Крюково и Красная Поляна, приблизился к Москве на выстрел дальнобойной пушки.

30 ноября Гальдер решил установить тринадцать тяжелых дальнобойных батарей для обстрела советской столицы.

В то же время, когда нарастала угроза Москве с запада и северо-запада, грозная опасность назрела с юга. Гитлеровское командование продолжало наступление на Тулу и Каширу.

Передовым отрядам врага удалось прорваться к Кашире. Далее была река Ока. За ней открывалось широкое пространство для маневра. От Каширы шли пути на Москву и на Рязань. Гитлеровским генералам казалось, что они у грани победы.

Печать Геббельса оповестила весь мир, что немецкие офицеры видят улицы Москвы в полевые бинокли.

Последние прорывы

Кризис борьбы нарастал. Гитлеровское командование решило, что теперь, когда 2-я танковая армия Гудериана охватывает Москву с юга, а 3-я и 4-я танковые группы Рейнгардта и Хепнера с севера, пора ударить 4-й полевой армией фельдмаршала Клюге с запада и ворваться в Москву с флангов, с тыла и с фронта.

Успех представлялся гитлеровцам возможным, тем более что 9-й армейский корпус армии Клюге уже достиг Павловской Сло-

боды, охватил правый фланг 5-й армии. Стоило обойти ее левый фланг, выйти к станции Голицыно, как рукой подать до Кунцева.

Удары нацеливались и на левый фланг 33-й армии генерала М. Г. Ефремова южнее Наро-Фоминска, вдоль Киевского шоссе, ведущего через Внуково к столице, и на ее правый фланг в стыке с 5-й армией. Таким образом, охватывалась и 33-я армия.

На рассвете 1 декабря 1941 года две пехотные дивизии 4-й армии с семьюдесятью танками атаковали 222-ю стрелковую дивизию 33-й армии. Вся тяжесть удара была обрушена на ее правофланговый полк, оборона которого смыкалась с обороной 32-й стрелковой дивизии 5-й армии.

Батальоны полка не могли отразить натиск врага.

Гитлеровские танки и автоматчики окружили штаб полка. Командир полка был убит, комиссар, отстреливаясь до последней возможности, чтобы не попасть в плен, застрелился.

Фронт дивизии был прорван, колонны танков и пехоты противника вышли на шоссе, соединявшее Наро-Фоминск с Кубинкой.

На подступах к Кубинке фашистов встретили саперы. Колонна вражеских танков двигалась, прикрываемая танком Т-34, который гитлеровские провокаторы захватили в начале октября и теперь поставили в голове колонны. Но сапер Петр Карганов пропустил этот танк, несмотря на пулеметный огонь, остался у заложенных фугасов и взорвал их в центре колонны, уничтожив три танка. А вскоре перед гитлеровскими танками возникла сплошная стена огня. Это бойцы под руководством полковника Шалвы Брегвадзе заблаговременно возвели вал из хвороста и бревен, облили его горючим и теперь подожгли на пути танкистов. Гитлеровцы повернули на восток и все же прорвались в расположение штаба 32-й дивизии.

Против них поднялся в атаку комендантский взвод под командованием коменданта штаба Василия Кильмаева, и в ближнем бою бойцы сожгли бутылками с горючей смесью пять танков, уничтожили десятки автоматчиков и отстояли штаб, где хладнокровно продолжал управлять боем командир дивизии полковник Полосухин.

К участку прорыва прибыли резервы дивизии и армии.

Герой бородинских боев майор Куропятников, командуя гаубичным дивизионом, уничтожил шесть танков и сотни фашистов; водил спецподразделения в атаку политрук Виталий Чупров — любимец дивизии, вожак ее комсомольцев. Противник на левом фланге армии был отброшен.

Но большая часть прорвавшейся группировки вышла к Апрелевке на тылы 33-й армии и угрожала тылам 5-й армии. Командарм-33 генерал Ефремов лично возглавил сводный отряд войск 33-й и 5-й армий и резерва фронта у Бурцево и Юшково. Под его

ударами, неся тяжелые потери, бросая раненых, орудия, танки, остатки гитлеровских частей поспешно отступили.

Последний прорыв противника к Москве был отражен. Борьба с врагом достигла крайней остроты на флангах Западного фронта, где продолжали наступление ударные танковые группировки гитлеровцев.

2-я танковая армия Гудериана, не сумев ворваться в Тулу с юга и запада, обошла город оружейников с востока и севера и перехватила дороги, связывающие его с Москвой.

Одновременно танковые и моторизованные дивизии врага приближались к Кашире. Развивая наступление на восток и северо-восток, они глубоко охватывали весь Московский оборонительный район. Их передовые отряды должны были перерезать важнейшие железнодорожные и автомобильные коммуникации и сомкнуться с 4-й танковой группой Хепнера, основные силы которой наступали вдоль Ленинградского и Волоколамского шоссе на Крюково, Нахабино, Химки. Бои шли в 25—30 километрах от московской окраины.

3-я танковая группа овладела городами Клин, Солнечногорск, вышла к Волге, Волжскому водохранилищу, прорвала оборону малочисленной 30-й армии генерала Д. Д. Лелюшенко, отсекла ее от 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского, угрожая последней с севера.

Командующий Западным фронтом Г. К. Жуков снимал силы с менее активных участков и перебрасывал на самые опасные участки, Ставка давала Западному фронту пополнения, требуя продержаться до подхода формировавшихся в тылу страны армий. Героический гарнизон Тулы отбивал атаки противника; зенитчики, прикрывавшие небо над Каширской электростанцией, перешли на стрельбу по танкам; танковая бригада Катукова, дивизии Панфилова, Белобородова, Чернышева, корпус Доватора отстаивали в подмосковных деревнях каждый дом. А. И. Лизюков лично водил в контратаки у Нахабино части формируемой 20-й армии.

В грозный час войны с каждым днем все шире развертывалась исполинская мощь советского народа, руководимого Коммунистической партией. На Волге и Урале, в Сибири, Средней Азии и Казахстане, на Дальнем Востоке — во всех краях нашей многонациональной Родины формировались полки, дивизии, армии.

В самой столице командование Московской зоны обороны по приказу Ставки формировало воинские части, готовило их к выдвижению на опаснейшие участки фронта.

Никакой мобилизационный аппарат любого капиталистического государства не справился бы с такой задачей в таких условиях, какие сложились осенью 1941 года для Советских Воору-

женных Сил: из западных и центральных областей страны на восток эвакуировались население, оборудование фабрик и заводов, колхозное имущество. Производство промышленной продукции опустилось до самого низкого уровня; снабжение войск и населения было затруднено, транспорт был крайне перегружен.

Газета «Фолькишер беобахтер» писала, что «последние боеспособные силы Советов уничтожены...», что «исход кампании на Востоке тем самым уже решен», что «восточная кампания теперь вообще не составляет более проблемы».

Гальдер, планируя войну против СССР, подсчитывал так: каждый миллион населения дает две дивизии, в СССР 200 миллионов, следовательно, Красная Армия может иметь 400 дивизий. А подсчитав количество дивизий, понесших поражение, Гальдер, произведя вычитание, получал в итоге небольшое число войск, оставшихся в распоряжении советского командования.

Но это способ даже не бухгалтера, а счетовода от стратегии. Ему не дано было понять, во-первых, что советские дивизии, понесшие потери, продолжают героически сражаться и выполнять, казалось, невыполнимые боевые задачи; во-вторых, защищают СССР не только его Вооруженные Силы, но и весь советский народ. В этот момент снова сказались всенародный патриотический подъем, организаторский гений и опыт Коммунистической партии. Гальдер не мог знать, что в глубине нашей страны полным ходом шла подготовка стратегических резервов, игравших важную роль в кризисные моменты войны.

В районы формирований стекались люди, подвозилось оружие, боевое снаряжение, на местах готовилось обмундирование, собирался провиант. Войсковые контингенты обучались военному делу днем и ночью — советские люди рвались в бой. В глубокой тайне грузились воинские эшелоны и мчались к фронтам.

Северо-восточнее Москвы сосредоточилась 1-я ударная армия генерала В. И. Кузнецова, юго-восточнее — 10-я армия генерала Ф. И. Голикова; близ северной окраины столицы развернулась 20-я армия, в район Москвы прибывали 26-я и 61-я резервные армии.

Ставка передала уже действовавшим на фронте армиям девять стрелковых и две кавалерийские дивизии, восемь стрелковых и шесть танковых бригад.

С приближением линии фронта к Москве в борьбу с наземным противником включилась авиация столичной противовоздушной обороны. Объединенные силы авиации ПВО, фронтов, Московского военного округа превзошли военно-воздушные силы противника и завоевали господство в воздухе.

К началу декабря 1941 года изменилось соотношение сил сторон на западном стратегическом направлении. Противник имел

под Москвой свыше 800 000 человек, около 10 400 орудий и минометов, 1 000 танков, более 600 самолетов.

На наших фронтах насчитывалось 719 000 человек, 5 908 орудий и минометов, 415 установок реактивной артиллерии, 667 танков (205 тяжелых и средних, 462 легких), 762 самолета (593 новых и 169 устаревших конструкций) [1].

Изменение в соотношении сил хотя и не обеспечило численного перевеса Красной Армии, но дало возможность советскому командованию принять решение перейти от обороны к контрнаступлению.

В этом проявилось не только различие возможностей воюющих государств, но и разница во взглядах на стратегию и роль стратегических резервов.

Генерал Функ, командир 7-й танковой дивизии, форсировавшей канал Москва — Волга севернее Москвы, писал после войны следующее: «Начались, как и следовало ожидать, упорные контратаки противника как на восточном берегу канала, так и на южном фланге... Однако вечером последовал тяжелый удар, разрушивший все надежды. Вышестоящее командование сообщило: сил для развития успеха и дальнейшего продвижения нет... Тот факт, что успех на канале Москва — Волга не мог быть использован, означал... поворотный пункт, который напоминал «чудо на Марне». Теперь стало ясным, что где-то была допущена крупная ошибка в расчетах, оценке обстановки, военных сил и других факторов... Из всего хода кампании,— заключает генерал Функ,— можно сделать один, хотя и общий, но основной вывод: в корне ошибочная оценка противника!

Она лежала в основе всех планов, касавшихся Востока, и отражалась на руководстве и войсках, на количестве и качестве, на всем военном потенциале в самом широком смысле этого слова...

Независимо от того, соответствовали или не соответствовали отдельные детали — общая картина, во всяком случае в основных чертах, была неверной... Совершенно игнорировался тот факт, что у противника имеется несокрушимая воля и способность преодолевать, устранять перебои и трудности, то есть то, что и произошло на самом деле.

Единая и монолитная воля к сопротивлению 200 миллионов человек — эта воля, исходившая из внутреннего фанатического убеждения, эта готовность к борьбе, которая во всех критических положениях оставалась непоколебимой, если не усиливалась еще больше, также полностью игнорировалась».

Мы можем сейчас пояснить, что 7-ю танковую дивизию стремительным ударом отбросили за канал стрелковые бригады

---

[1] См. «50 лет Вооруженных Сил». М., 1968, стр. 295.

добровольцев из дальневосточных дивизий и моряков Тихоокеанского флота.

Они входили в 1-ю ударную армию, которой командовал замечательный генерал, прошедший солдатскую школу первой мировой войны и революционную школу войны гражданской, Василий Иванович Кузнецов, впоследствии герой штурма Берлина.

В ходе боевых действий боевые порядки армий Западного фронта уплотнялись, оборона становилась более глубокой. Лучше организовывался общевойсковой бой, в котором взаимодействовали пехота, артиллерия, танки, саперы — все наземные рода войск, поддерживаемые авиацией. Оборона с каждым днем становилась активнее, сочеталась с частыми контратаками.

Армии группы «Центр» вынуждены были вводить в бои все силы, отражая контратаки, разбрасывать резервы, растягивать фронт наступления и тем самым терять ударную силу.

По карте немецкого генштаба можно видеть, например, как 2-я танковая армия Гудериана разбросала свои дивизии к Туле, Кашире, Коломне, на прикрытие тыла, флангов, и удары танковыми массами, дробящими, точно клиньями, оборону на всю ее глубину, никак не удавались.

Гудериан еще наступал, но навстречу его дивизиям из Каширы двигался 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П. А. Белова, а фланг атаковала 112-я танковая дивизия полковника А. Л. Гетмана. Со стороны Рязани выдвигалась 10-я армия генерала Ф. И. Голикова.

Перелом

После того как противник был отброшен от Каширы, полки Гетмана нанесли ему удар севернее Тулы, освободили автомобильную и железную дороги, восстановили связь Тулы с Москвой.

Днем и ночью шли бои северо-западнее Москвы, и там все чаще атаковали советские войска, все чаще гитлеровцы вынуждены были искать спасения в обороне.

В Ставке Советского Верховного Главнокомандования, в Генеральном штабе и в штабах фронтов внимательно следили за развитием событий. Ударные группировки противника создавали острейшую опасность обороне Москвы, но и сами явно заползали в «оперативные мешки» — подставляли свои фланги и тылы под удары советских войск.

Необходимо было переходить в контрнаступление — дорог был каждый день, каждый километр подмосковной земли, но следовало выждать, уловить момент, когда наступатель-

ные возможности врага уже иссякнут, а к обороне он еще не перейдет.

Выбор момента контрнаступления и определение направлений решающих ударов требовали от Ставки и командования фронтов искусства, расчета и смелости. Это было тем более трудно, что советские войска не имели перевеса сил и средств над войсками противника, хотя резервы Ставки продолжали подходить.

Не имея подавляющего перевеса сил на всем фронте, советское командование образовало группировки на флангах северо-западнее и южнее Москвы. Ставка поставила Западному фронту задачу разгромить 3-ю и 4-ю танковые группы Рейнгардта и Хепнера между Калинином и Москвой и 2-ю танковую армию Гудериана под Тулой, после чего охватить и разгромить 4-ю полевую армию Клюге на можайском, наро-фоминском, малоярославецком и серпуховском направлениях.

Калининский фронт получил задачу разгромить противостоявшую ему 9-ю армию Штрауса, освободить Калинин и нанести удар с севера во фланг группе армий «Центр» на ржевском и клинском направлениях.

Правофланговой группировке Юго-Западного фронта было приказано разгромить противника у города Ельца и наносить удары по южному флангу группы армий «Центр».

Гитлеровское командование угрожало Москве «клещами», но фашистские войска сами охватывались «клещами» советских соединений...

В контрнаступлении участвовали все военно-воздушные силы фронтов, бомбардировочной авиации и противовоздушной обороны Москвы.

Единое планирование и руководство Ставки обеспечивало оперативно-стратегическое взаимодействие Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов не только на московском направлении, но и на всем советско-германском фронте.

В ноябре противник был разбит под Тихвином, бежал из Ростова, оставил восточную часть Донбасса.

Но агентство Геббельса все еще передавало, что «германское руководство будет рассматривать Москву как свою главную цель, если даже русские попытаются перенести борьбу на фланги».

Гитлер заявил, что мир содрогнется, когда он наложит руку на Москву, и в этот момент началось контрнаступление советских войск.

С первых дней декабря бои на всех фронтах разгорелись с нарастающей силой и ожесточением. Атаки сменялись контратаками. Населенные пункты, высоты, узлы дорог переходили из рук в руки. Шла исключительно напряженная борьба за инициативу.

А Гальдер продолжает скрупулезно вести свой дневник и записывает: «... 154-й день войны.

Фельдмаршал фон Бок лично руководит сражением под Москвой со своего командного пункта. Его необычайная энергия гонит войска вперед.

Фон Бок сравнивает сложившуюся обстановку с обстановкой в сражении на Марне, указывая, что создалось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения». И фельдмаршал фон Бок, получивший от своих солдат кличку «Der Grosser Mörder» («Большой убийца»), беспощадно гнал войска под снаряды и пули.

А успеха не было, хотя были те же танковые группы, применялись те же методы наступления. Глубокие оперативные прорывы не получались.

Еще 5 декабря 4-я танковая группа врага делала отчаянные попытки прорваться через Крюково, Красную Поляну и Белый Раст к окраине Москвы, но в ожесточенном ближнем, порой рукопашном бою противник был остановлен.

Гитлеровцам видно было, как над Москвой рвутся зенитные снаряды, небо освещалось по ночам прожекторами, отчего она казалась совсем рядом, но в этом светящемся голубоватом нимбе иссекаемом молниями разрывов, грозной и неприступной оставалась советская столица.

5, 6, 7 декабря войска Калининского, Западного и правое крыло Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. Группа «Центр» получила 8 декабря приказ перейти к обороне. Гитлеровское командование все еще планировало войну посвоему. Предполагалось, что 4-я танковая группа блокирует Москву с северо-запада, что 3-я танковая группа перейдет к обороне на рубеже Калинин — Клин, а 2-я танковая армия зазимует на реке Оке. Москву стали сравнивать с Верденом и, объясняя переход к обороне нежеланием терять войска в боях, подобных верденским, рассчитывали позднее начать третье наступление на Москву.

Стратегической инициативой овладевало советское командование. 12 декабря 1941 года, на шестые сутки контрнаступления, человечество, затаив дыхание следившее за борьбой в России, услышало историческое сообщение «В последний час».

«6 декабря 1941 года,— говорилось в сообщении,— войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери...

После перехода в наступление с 6-го по 10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 насе-

ленных пунктов. С 6-го по 10 декабря захвачено: танков — 386, автомашин — 4317, мотоциклов — 704, орудий — 305, минометов — 101, пулеметов — 515...»

5 декабря повел атаки Калининский фронт, положив начало контрнаступлению на московском направлении.

Гитлеровское командование понимало значение Калинина — важнейшего узла обороны на левом крыле группы «Центр», откуда можно было угрожать смежным флангам Западного и Северо-Западного фронтов, Москве и северным районам страны.

9-я армия генерала Штрауса, закрепившаяся в Калинине, оказывала советским войскам упорное сопротивление. Но шесть дивизий армии были разбиты, и, охватываемый с флангов и с тыла, противник начал поспешное отступление.

16 декабря город Калинин был освобожден от фашистских оккупантов, очищены Ленинградское шоссе и железная дорога — важнейшие коммуникации, связывающие Москву с Калинином и далее с территорией Северо-Западного фронта.

На елецком направлении, действуя по единому плану Ставки, двинулись в наступление правофланговые соединения Юго-Западного фронта. Они разгромили 34-й армейский корпус, обеспечивавший южный фланг группы армий «Центр», создали угрозу ее тылам.

К середине декабря все войска центра Западного фронта перешли в наступление против 4-й полевой армии. Для нее контрнаступление не было таким внезапным, как для фланговых танковых группировок,— она успела перейти к обороне, и все же советские войска шаг за шагом, ломая сопротивление противника, развивали наступление на Дорохово, Можайск, Верею, Боровск, Малоярославец, Тарусу.

Это было не только поражением армии противника, сокрушением планов ее генерального штаба — это был крах немецкой военной доктрины.

Рьяный апостол безоглядного танкового наступления генерал Гудериан, все время требовавший наступления на Москву, похвалявшийся, что в его армии уже заготовлены указатели со стрелками «На Москву», уверявший, что она будет молниеносно взята, теперь упрашивал Гитлера разрешить 2-й танковой армии отойти от Москвы. Вопреки запрещению фюрера, армия начала отступать, теряя танки, автомашины, орудия, солдат.

Генерал Хепнер, наступавший со своей танковой группой к Ла-Маншу и на Париж, ближе всех подобравшийся к северной окраине Москвы, теперь настаивал на «молниеносном» отходе на запад. Он употребил все доводы оперативно-стратегического характера, доказывающие, что его группа не может больше обороняться.

На отступлении настаивал и командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал фон Лееб.

Настаивал на отступлении от Ростова и командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Рундштедт, один из старейших и самых почитаемых в Германии. Гитлер приехал к нему в штаб. Когда Рундштедт попытался настаивать на своем, фюрер в ярости стал срывать Железный крест с шеи респектабельного фельдмаршала. С присутствующим при этом генерал-фельдмаршалом фон Браухичем сделался сердечный приступ.

Гитлер назначил вместо старого Рундштедта своего любимца молодого генерал-фельдмаршала фон Рейхенау, но не успел фюрер прилететь из Донбасса в свою ставку, как Рейхенау телеграммой запросил разрешения отступить за реку Миус.

Гитлер прогнал с постов командующих группами армий «Север», «Центр» и «Юг» фельдмаршалов Лееба, Бока и Рундштедта, сместил командующего сухопутными войсками Германии фельдмаршала Браухича, командующих танковыми армиями Гудериана, Хепнера и многих других.

Если таково было состояние высшего генералитета, потрясенного ударами Красной Армии, то каково было настроение солдат?

Фашистская пропаганда убеждала, что армия совершает преднамеренное стратегическое отступление, но солдаты понимали, что при запланированном отходе офицеры не бегут в панике, войска не бросают машины орудия, раненых.

Больше всего пугали солдат страшные потери, которые несли их роты, батальоны.

16 декабря Гитлер отдал приказ, в котором, угрожая солдатам, офицерам, генералам смертью за оставление позиций под Москвой, требовал фанатического сопротивления русским. И генералы, даже те, которые понимали бессмысленность войны, по-прежнему вели на убой свои войска, вероломно предавая и солдат, и Германию.

Фашистская пропаганда пугала немцев страшными бедами, которые на них обрушатся, если война будет проиграна, и немцы шли за гитлеровцами, солдаты шли в бой и, терпя поражения, зверели еще больше. Отступая, они грабили, расстреливали мирных жителей, сжигали в запертых домах не только советских пленных, но и своих тяжелораненых солдат.

И много еще крови пришлось пролить, множество трудностей пережить пришлось советскому народу, его вооруженным силам, прежде чем они сокрушили фашистскую Германию и утвердили мир.

Фальсификаторы истории пишут, что армию Гитлера победила русская зима, что она спасла Москву, обеспечила победу Красной Армии. А было все наоборот.

Наибольшие тяготы испытывали войска зимой не в обороне, а в наступлении. Группа армий «Центр» наступала на Москву в ноябре, когда почва скована первыми морозами, снег не глубок и все рода войск передвигались без препятствий, а советские войска наступали в снежную зиму 1941/42 года, в лютые морозы, по сугробам, которые могли преодолевать только танки Т-34.

Зима давала возможность гитлеровскому командованию быстро строить оборону по рубежам рек, по опушкам лесов, превращать населенные пункты в мощные узлы сопротивления, запирающие дороги на запад, и лишать наступающие войска возможности широкого маневра вне дорог, вынуждать атакующих брать крепления в лоб, теряя людей, машины, время. А в это время из Германии и стран оккупированной Европы спешно перебрасывались самолетами, поездами дивизии пехоты, десантные части, танки, артиллерия, авиачасти.

Но это уже не могло остановить богатырский напор Красной Армии, громившей под Москвой хваленые войска нацистского рейха.

Фельдмаршал Клюге, теряя последние надежды остановить русских, собрал на Бородинском поле так называемый французский легион фашистских добровольцев из Франции, напомнил им, что здесь дрались под командованием Наполеона французские и немецкие солдаты, и призвал их оборонять Бородинское поле.

Как свидетельствует генерал Блюментрит, французского легиона хватило на один день боя, после чего остатки этого фашистского отребья бежали на запад.

Гитлеровские генералы так усердно равнялись на Наполеона, так прямо сравнивали в дни своих побед свою судьбу с его судьбой, что теперь, в дни поражений, они приняли как рок, как само собой разумеющееся неизбежную гибель в снегах России. Тень погибшей армии Наполеона зловеще распростерлась над армией Гитлера.

Блюментрит рисует мрачную картину, как фельдмаршал Клюге ночью, потеряв сон, накинув халат, с фонариком в руках склонялся над картой, изучал пути, по которым бежали французы из России. И то, что это было в районе Малоярославца, там, где окончательно был остановлен, разбит и начал свое отступление Наполеон, очевидно, усугубляло тяжкие размышления фельдмаршала. Именно здесь Наполеон, боясь попасть в плен казакам, потребовал у своего врача яду, и Клюге, следуя примеру императора, запасся ядом.

Сейчас последователи тех генералов обвиняют Гитлера в том, что он не пошел по пути Наполеона к Москве, а повернул часть сил на Украину, как Карл XII,— они не хотят признать, что на

великом распутье стратегических дорог, по которым шли и Наполеон, и Карл, и Гитлер, захватчиков ждал один и тот же конец — гибель, а Москва извечно и грозно преграждает пути претендентам на мировое господство.

Берлин (Вместо послесловия)

Глубокие закономерности проявились в том, что защитники Москвы с победой пришли в Берлин. Это стало возможным потому, что побеждали мощь социалистического государства, массовый героизм и боевое мастерство воинов Советской Армии полководческое искусство ее командования. А понесли поражение не только империалистическая Германия и гитлеровская армия, но и ее генеральный штаб с его военными доктринами, ее генералитет.

Действия немецких генералов, потерпевших сокрушительное поражение в битве под Москвой, казалось, могли дискредитировать саму идею глубокой операции, разработанной в Красной Армии, с ее рассекающими оборону ударами, стремительными прорывами в оперативную глубину и уничтожающими маневрами на окружение. Но эта самая идея полностью восторжествовала, когда во всю мощь развернулись расчетливо и твердо руководимые Вооруженные Силы СССР. Они, как уже отмечалось, взяли реванш за окружение наших войск восточнее Киева и под Вязьмой, и простой перечень окруженных и разгромленных, уничтоженных немецких дивизий не может не поразить воображение.

Советская Армия окружила, разгромила, уничтожила:

22 дивизии под Сталинградом;

13 дивизий в Острогожско-Россошанской операции;

11 дивизий в Воронежско-Касторненской операции;

10 дивизий и одну бригаду под Корсунь-Шевченковским;

8 дивизий под Бродами;

30 с лишним дивизий в Белорусской операции;

18 дивизий в Ясско-Кишиневской операции;

34 дивизии были отрезаны и до конца войны блокированы в Прибалтике;

40 с лишним дивизий были отрезаны и разгромлены в Восточной Пруссии;

188 тысяч солдат и офицеров были окружены в Будапеште;

62 тысячи солдат и офицеров были окружены в Познани;

400 тысяч солдат и офицеров были окружены в Берлине и южнее его;

800 тысяч солдат и офицеров были окружены в районе Праги.

Здесь не упоминается длинный ряд операций, в которых окружались и уничтожались пять и менее дивизий...

Со времени знаменитой битвы при Каннах окружение и уничтожение армии противника вот уже две тысячи лет считается вершиной военного искусства — его и проявило советское командование. С особенной яркостью оно было показано в наступлении на берлинском направлении. В этой операции командовали фронтами военачальники, руководившие войсками при защите Москвы,— Георгий Жуков, Иван Конев, Константин Рокоссовский.

Против них уже не действовали фельдмаршалы и генералы, руководившие немецкими войсками, наступавшими на Москву,— они потерпели полное банкротство и были изгнаны из армии или уничтожены Гитлером, но еще оставались генералы, покушавшиеся на советскую столицу в 1941 году, и среди них генерал-полковник Гудериан, фигура наиболее характерная и, кстати, подходящая для иллюстрации наших суждений.

Именно он был наиболее известным носителем и ярым проповедником танковой войны, которая, по его расчетам, должна была привести Германию к молниеносной победе над СССР; это он перед войной написал книгу «Внимание, танки!» — пугал танковой угрозой всю Западную Европу. И это он после поражения под Тулой был отстранен от командования танковой армией, затем призван Гитлером на пост генерал-инспектора танковых войск Германии, а к концу войны стал начальником генерального штаба германских сухопутных сил.

Гудериан планировал в 1945 году ведение операций, ему были даны стратегические карты в руки — дана возможность осуществить свои идеи на берлинском направлении. И едва началось в январе 1945 года наступление советских войск, как Гудериан отдал приказ остановить советские танковые армии на Висле, но это ему оказалось неподвластно.

Иные вооруженные силы, под командованием иных военачальников определяли ход борьбы; иной характер наступления победоносно действовал и в этом, последнем году Великой Отечественной войны.

Наступление Висла — Одер не было закодировано устрашающим наименованием «Тайфун», как кодировалась операция наступления на Москву, но в действительности советские войска, подобно буре, прошли по территории, занятой армиями врага.

На берлинском направлении между Вислой и Одером по плану Гудериана — Гитлера были сооружены семь укрепленных рубежей.

Они состояли из развитых инженерных сооружений, системы огня артиллерии, минометов, автоматического оружия; здесь были полосы траншей, ряды колючей проволоки, всевозможные противотанковые средства: противотанковые рвы, минные поля,

бетонные надолбы («зубы дракона»), неприступные доты, обводненные участки. Эти укрепления, по расчетам гитлеровского командования, должны были занять оперативные резервы и остановить советские войска, образовав в Польше неодолимое стратегическое предполье Германии.

Вся система обороны опиралась на модернизированные старые крепости, на множество городов и сел, на рубежи рек и лесные дефиле, и предполагалось, что Советская Армия будет безуспешно штурмовать эту оборону, истекая кровью, теряя время. Расчет был также на громадность театра военных действий между Балтийским морем и Карпатами, способного поглотить, растворить, ослабить натиск наступающих миллионных войсковых масс.

И вся оборона рухнула, и новые попытки навязать затяжную борьбу сорваны, потому что победоносно действовала теория глубокой операции Советской Армии, торжествовало ее военное искусство.

Стремительно и безостановочно наступали армии фронтов, и впереди них — подвижные войска. Танковые войска стали хозяевами полей сражений, придали ударную силу, размах, темп, маневренный характер и глубину наступлению.

Они тоже наступали, не имея своей пехоты на флангах, но обеспечивали фланги действиями оперативных резервов, они тоже сражались порой далеко впереди своих общевойсковых армий, но в этом не было ничего похожего на авантюрное наступление, которое вело гитлеровское командование. В этой операции, как и в течение всей войны, действовали законы общевойскового боя, по которым органически взаимодействовали все рода войск. Армии каждого фронта оперативно взаимодействовали, руководимые его командованием; фронты взаимодействовали, направляемые твердым руководством Ставки Верховного Главнокомандования. Достаточно вспомнить, что целому фронту — 2-му Белорусскому — Ставка поставила задачу громить восточно-прусскую группировку врага и вместе с этим надежно прикрыть фланг 1-го Белорусского фронта; стоит обратить внимание, как оперативно взаимодействовали армии смежных флангов 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, чтобы увидеть глубокую продуманность и строгую реалистичность руководства гигантским наступлением, а при этом, и потому именно, небывалую стремительность, дерзостные действия войск.

Операция «Тайфун» развивается классически, писал Гальдер, не предвидевший ее полного краха, а подлинно классическая наступательная операция, одна из грандиознейших и красивейших, развивалась советскими фронтами на берлинском направлении.

Все планы генерального штаба гитлеровской армии были сорваны. Противник не успевал отводить свои войска от Вислы на запад — они уничтожались в преследовании советскими армиями; он не успевал подводить свои резервы, спешившие с запада, чтобы занять подготовленные рубежи обороны,— резервы порой не успевали выгрузиться из эшелонов. Подготовленные рубежи захватывались передовыми отрядами танковых армий с ходу, зачастую без боев. Эти отряды врывались в города, жители которых стояли в очередях у магазинов или смотрели кино, а в одном из городов полицейский остановил трамвай, отрегулировал движение, чтобы пропустить советских танкистов, которых он никак не ожидал, на центральную площадь.

Снова и снова действовали огромные силы социалистического государства, впервые в истории показавшего, что на исходе войны армия страны, подвергшейся нападению, не ослабела, а окрепла и что на базе возросших возможностей победоносно творчество наших маршалов и генералов.

На всей территории в пятьсот километров по фронту и пятьсот километров в глубину между Вислой и Одером войска противника были разгромлены силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Передовые их части форсировали Одер, в тяжелых боях удержали плацдармы на западном берегу, твердо стали на подступах к Берлину.

Гудериан давно уже понимал, что война проиграна. Однако это не мешало ему требовать от войск продолжения борьбы, гнать на гибель солдат, подвергать новым страданиям немецкий народ, но теперь, увидев, что гибель грозит ему самому, он инсценировал споры с Гитлером, добился своей отставки и бежал на юго-запад Германии, куда подходили американские войска.

Гудериана на посту начальника генерального штаба сменил генерал Кребс, тот самый, что был начальником штаба армейского корпуса, прорывавшегося к окраине Москвы. Группой армий, прикрывавших Берлин, командовал генерал Хейнрици, наступавший в 1941 году вместе с Гудерианом на Тулу. Немало было еще генералов, нацистов до мозга костей, готовых по приказу фюрера не щадить войска, чтобы удержать Берлин и спасти самих себя. Это были опытные кадры. Они рассчитывали на укрепления, созданные на территории между Одером и Берлином, на подготовленную оборону самого Берлина — невиданного поля сражения в девятьсот квадратных километров, казалось неприступного для штурма и особенно опасного для танковых армий.

Советскими танковыми армиями на подступах к Берлину командовали военачальники, защищавшие Москву.

Начальник Можайского укрепленного района сражавшийся на Бородинском поле полковник Семен Ильич Богданов, ставший

впоследствии маршалом бронетанковых войск, командовал 2-й гвардейской танковой армией, которая прорвалась через оборону на Одере, обошла Берлин с севера — северо-запада — запада и в районе Потсдама соединилась с 4-й танковой армией Дмитрия Даниловича Лелюшенко, армия которого защищала Бородинское поле. Полковник Михаил Ефимович Катуков (его танковая бригада обороняла Тулу и была в резерве на можайском направлении), ставший впоследствии маршалом бронетанковых войск, командовал 1-й гвардейской танковой армией, которая охватила Берлин с востока — юго-востока и соединилась с 3-й гвардейской танковой армией Павла Семеновича Рыбалко — героя сталинградского контрнаступления, ставшего впоследствии маршалом бронетанковых войск.

Судьба войны привела к тому, что советские танкисты нанесли удар по городу Цоссену, расположенному близ Берлина, где находился германский генеральный штаб. Здесь вынашивались и разрабатывались планы агрессии, отсюда Гудериан руководил войсками на советско-германском фронте и сюда, в мозг гитлеровской армии, нанес удар передовой отряд 3-й гвардейской танковой армии под командованием генерал-майора, ныне Маршала Советского Союза, Ивана Игнатьевича Якубовского. Отсюда по тревожному сигналу «Внимание танки» бежали генштабисты германской армии, но бежать им было уже некуда: Берлин был окружен советскими танковыми армиями.

Девять армий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов штурмовали столицу фашистского рейха, прорывались к ее центру, где в бункере рейхсканцелярии укрылся Гитлер. И снова судьбе было угодно, чтобы к рейхстагу прорвалась 3-я ударная армия генерала Василия Ивановича Кузнецова. Это под его началом 1-я ударная армия, действовавшая северо-западнее Москвы, ликвидировала плацдарм противника на восточном берегу канала Москва — Волга и погнала гитлеровцев на запад. А бывший начальник оперативного отдела штаба 5-й армии, решительно и талантливо действовавший на бородинском направлении Семен Никифорович Переверткин в битве за Берлин командовал 79-м корпусом 3-й ударной армии, который, форсировав реку Шпрее, прорвался к рейхстагу. И воины 79-го корпуса водрузили Знамя Победы над ним.

Так сказались закономерности истории.

Фальсификаторы истории в своих книгах пытаются показать иные закономерности.

Этих книг множество.

Упомянем наиболее осведомленных авторов, чьи книги на Западе наиболее известны. Такими надо считать генералов, занимавших пост начальника генерального штаба гитлеровской армии.

Гальдера мы уже цитировали и видели, что его прогнозы не оправдались, а сам он был удален из генштаба в период Сталинградской битвы; его заменил генерал Цейцлер, ибо Гитлер решил, что ему нужен генштабист-практик. Но и этот практик долго не удержался на посту начальника генштаба. После войны он писал, что виновником поражений был фюрер. Гудериан оставил после себя ряд книг, и среди них «Записки солдата». Он настойчиво пытался доказать, что война проиграна потому, что Гитлер не слушал его, Гудериана, настоятельных советов. Кребс ничего не успел написать. Но именно он, будучи помощником военного атташе в СССР, докладывал Гальдеру о состоянии Красной Армии, после чего начальник генерального штаба так пренебрежительно отозвался в своем дневнике о советских командирах. За четыре года, минувшие с той поры, полковник Кребс стал генерал-полковником, начальником генерального штаба. Но 30 апреля 1945 года Кребс пришел в штаб 8-й гвардейской армии, которой командовал генерал-полковник Василий Иванович Чуйков, как парламентер с письмом от Геббельса, в котором сообщалось, что Гитлер мертв, и предлагалось вступить в переговоры о перемирии. Представитель советского командования генерал армии Василий Данилович Соколовский передал Кребсу категорический отказ и ультиматум, требующий полной безоговорочной капитуляции.

Стоя перед советскими генералами и офицерами в их штабе, за стенами которого в последних конвульсиях содрогался Берлин, Кребс понял всю страшную меру ошибки, которую он совершил, доложив, что офицерский корпус Красной Армии плох.

Кребс вернулся из штаба 8-й гвардейской армии в рейхсканцелярию, и вскоре автор этих строк увидел его мертвым. Он лежал ничком в комнате, головой в угол. Его мышиного цвета костюм был покрыт серой известкой, осыпавшейся со стен, и от этого генерал еще больше напоминал загнанную в угол крысу. В центре комнаты на столе лежал труп Геббельса, которого, как и Кребса, наши разведчики принесли в это здание для опознания.

А затем автор участвовал в допросе командующего обороной Берлина генерала Вайдлинга и спросил его, что сказал Кребс, вернувшись из штаба 8-й армии в рейхсканцелярию.

Вайдлинг ответил: «Когда Кребс вернулся в рейхсканцелярию с ультиматумом русских, Геббельс спросил его, что теперь делать, на что Кребс отозвался одним словом — стреляться».

Другого выхода Красная Армия врагу не оставила.

То, что успешного, выгодного для агрессора похода на Москву не бывает, понимают разумные, опытные военачальники и в капиталистическом мире. Английский фельдмаршал Монтгомери, выступая 30 мая 1962 года в палате лордов, говорил: «В книге

войны первым же правилом на первой странице является: «Не ходи на Москву!» Различные лица — Наполеон, Гитлер — пытались сделать это. Ни к чему хорошему это не привело».

Но рассудительных умов среди битых гитлеровских генералов маловато. Их предтеча кайзеровский генерал Макс Гофман утверждал, что большевики разрушили Россию и ее вооруженные силы и потому Германия может больше не считаться с русскими. Что из этого получилось, показала история: на месте старой России советский народ под руководством Коммунистической партии создал могучее социалистическое государство и победоносные Вооруженные Силы.

«...У нас есть все необходимое,— говорил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии, — и честная политика мира, и военное могущество, и сплоченность советского народа, — чтобы обеспечить неприкосновенность наших границ от любых посягательств и защитить завоевания социализма».

ВАДИМ
КОЖЕВНИКОВ

ДЕКАБРЬ ПОД МОСКВОЙ



В декабре 1941 года я был направлен на южный участок Западного фронта, в 1-й гвардейский кавалерийский корпус.

Оккупанты отступали по дорогам.

Кавалеристы волокли по целине орудия, поставленные на сани.

Они шли без обозов, к седлам были приторочены только тюки с прессованным сеном и ящики со снарядами.

На марше мне, как корреспонденту фронтовой газеты, было предоставлено почетное место в санях, на которых стояло орудие.

В те дни стояла жестокая стужа. Мы двигались в полной тишине, и только раздирающий кашель простуженных коней нарушал ее.

Рядом со мной на санях лежал раненый боец Алексей Кедров. Ему переломило ногу колесом орудия.

Он почему-то невзлюбил меня с самого начала нашего знакомства.

— Ты корреспондент? — спросил он меня. И когда услышал ответ, едко заметил: — Значит, про геройство факты собираешь? А сам все время руки в карманах держишь. Поморозить боишься, что ли?

— Мне сейчас писать нечего.

— То есть как это нечего? — возмутился Кедров. И вдруг пронзительно крикнул ездовому: — А ну, Микельшин, расстегнись!

— Это зачем? — спросил Микельшин, медленно, с трудом выговаривая каждое слово; видно было, что он смертельно продрог.

— Расстегнись, тебе говорят!

— А ну тебя, не вяжись,— равнодушно сказал Микельшин и еще больше съежился.

Кедров ухмыльнулся и довольным голосом пояснил:

— Видали, какой неприязненный, а гимнастерка и белье его на мне, шинель у него прямо на голом теле. Раненый сильнее здорового мерзнет, вот он и оголился.— И тут же прежним неприятным, едким тоном бросил Микельшину: — Только ты имей в виду: старшина с тебя за казенную вещь все равно спросит, а я, пока меня в теплый санбан не отправят, ни за что не сниму.— Оживившись, доба-

вил: — Да и не раненый я вовсе, так что никто тебе тут ничего не зачтет.

— Ладно, мели, Емеля,— сказал Микельшин и стал чмокать на лошадей застывшими губами.

— Есть хочешь? — вдруг с внезапной заботливостью спросил меня Кедров.

— Хочу,— сказал я нерешительно.

— Все равно, хочешь или не хочешь, тут тебе сейчас никто хлеба не даст, свои люди уже двое суток куска не видели,— заявил он с таким торжествующим видом, словно был рад, что действительно ни у кого нет куска хлеба.

Я уже хотел с обидчивой горячностью заявить ему, что я не первый день на фронте и меня такими вещами не смутишь, но лицо Кедрова вдруг перекосилось в плаксивую гримасу, и он, повернув перекошенное лицо к проезжавшему мимо политруку, заныл голосом страдальца:

— Что же это такое, товарищ политрук, бросили раненого бойца, вторые сутки не евши, на что же похоже!

Чувство боли и смущения исказило почерневшее от стужи лицо младшего политрука Павлова. Он суетливо стал шарить у себя по карманам. И когда я увидел, как он вывернул из платка на руки Кедрова остатки черного сухаря, не нужно было слов, чтобы понять, что эти крохи были хранимы для самого крайнего случая. Павлов, отдав сухарь, отъехал, пробормотав, что он спросит у ребят, может быть, у них еще что-нибудь сохранилось. А Кедров, ухмыляясь мне в лицо, держа на ладони куски сухаря, ликующе произнес:

— Видали, последнее отдал. А мне ребята сала собрали, сказали: «В бою не до тебя будет, так ты питайся». Мне одного сала на неделю хватит.— И похвастал: — Сам командир вторые сутки не курит, а у меня табаку оба кармана, пощупай.

— Знаете, Кедров,— я уже больше не мог сдерживаться,— хоть вы и раненый, но ведете себя как самый последний!

— А я вовсе не раненый,— каким-то противно-радостным тоном сказал Кедров. Потом глухо выговорил: — Меня за то, что по суетливой своей дурости сам себе ногу отдавил, бросить на месте надо было. Я действительно тут человек самый что ни на есть последний. А ты не горячись обо мне, ты горячись, что кругом такие люди хорошие, а то руки в карманы засунул и сидишь себе барином — ему столько-то фрицев подавай, а до остального дела нет. Да из-за этого одного тебя нечего было в сани класть, коней от тебя мучить!

Последние слова он произнес с такой болью и гневом, что я невольно растерялся. И в таком неожиданном свете представилось мне вдруг все, что я начал довольно-таки нелепо просить извинения у Кедрова.

Но он прервал меня и с отчаянием, с предельным человеческим отчаянием сказал только:

— Я же мучаюсь из-за глупости: в такое время, как кукла, здесь лежу. Ведь оккупанту переворот души делаем, а я — кукла. Что ж, выходит, я только топать от него мог, а как он от нас, так мне за ним бежать не на чем?

Кедров заскрипел зубами, приподнялся, но Микельшин, до этого молчаливо слушавший весь разговор, сердито и громко сказал:

— Не бунтуй! Ты покури, от головы и отойдет.

— Возьми гимнастерку, Микельшин, надоели вы мне,— с жалобным отчаянием попросил Кедров.— Мне она в подмышках режет.

Микельшин выпрямился, гикнул на лошадей, потом, обернувшись ко мне, со слабой улыбкой сказал:

— Вы не оскорбляйтесь на него, он парень хороший, он только боится, чтоб вы про него в газету не дали как про небрежный случай, вот и задирается. Сам, конечно, виноват: нечего было, когда орудие завалилось, одному удерживать. Разве один человек может! Горячий больно. Но вы его в газете не трогайте. Он и так переживает.

Ночью мы остановились в белом застывшем лесу. Снег здесь был плотный, фарфоровый и проламывался только под копытами коней.

С шоссе, которое находилось в двух километрах от нас, доносился гул боя.

Разведка доложила, что передовой отряд врезался в танковую колонну и несет большие потери.

Командир приказал выбросить поскорее вперед артиллерию. Потом и вся часть подтянулась ближе. Спешившиеся кавалеристы уходили в цепи. Коноводы, поставив коней в овраг, растирали им спины и бока, покрытые инеем, и потом накрывали всем, что было, боясь, как бы кони не простудились.

Звук выстрела танкового орудия, резонируя на броне, достигает какой-то особенно звонкой силы. Холодный и чистый воздух усиливает звук.

Кажется, что ты стоишь в гигантском стеклянном колоколе и почти слепнешь от его звона.

Вырыть щели в твердой как камень земле было невозможно.

Снаряды, задевая вершины деревьев, разрываясь вверху, осыпали осколками. И уже кричала раненая лошадь.

Я стал за стволом дерева и, чтоб не думать, что могут убить, вздрагивающими пальцами пытался записать, как выглядят снег, и лес, и люди, освещенные пламенем разрывов. Это была какая-то чепуха из наспех набросанных слов, но мне это было нужно, чтобы не поддаваться тому, чему поддаваться нельзя.

Несколько раз я слышал, как звали санитара, а потом услышал, как крикнули:

— Корреспондент, сюда!

Я вышел из-за прикрытия.

Возле командира полка подполковника Тугаринова стояли навытяжку пять спешившихся бойцов, держа под уздцы своих коней.

Обратившись ко мне, подполковник сказал:

— Вынимайте блокнот и пишите. Сначала всех по фамилиям. Записали? Теперь так... Вы покрупнее, чтоб разобрать легче... Пишите! Вышеназванные бойцы совершили героический подвиг, подорвав лично гранатами четыре вражеских танка, которые оказывали бешеное сопротивление нашим кавалеристам. Они отдали свою жизнь за Родину. Слава героям!.. Еще что-нибудь сильное припишите. Люди ведь на смерть идут.

И, отвернувшись от меня, подполковник скомандовал:

— По коням, товарищи!

Четверо бойцов взлетели в седла, но пятый замешкался и тревожно шагнул ко мне.

— Ты что, Баранов? — удивленно спросил подполковник.

Боец смутился и почти шепотом произнес:

— У нас в эскадроне два Барановых, я бы хотел попросить товарища корреспондента проставить, что я Виктор.

— Хорошо,— сказал подполковник.— Запишите.

Мы долго следили, как между белыми деревьями, озаренными розовым, нестерпимым блеском разрывов, удалялись пятеро всадников.

Раскрыв портсигар, подполковник протянул его мне, но тут же досадливо захлопнул и сказал:

— Хоть бы покурить им перед этим делом было что, а то вот, видите, пусто.— И задумчиво добавил: — Вызвались атаковать в обход на конях и забросать противотанковыми гранатами. Вы уж, пожалуйста, про них напишите. Ребята очень обрадовались, когда я им сказал, что у нас корреспондент имеется. Если хотите, я могу вам фонариком посветить. Время есть, зачем же откладывать.

И так трогательно проста была эта просьба, и такое человеческое величие было в том, что я сейчас видел... Какими же словами нужно писать об этом? Да и есть ли они на свете, такие слова?

Можно ли встретить более благоговейную веру в высокое предназначение напечатанного слова?

Я писал стынущими пальцами, а командир, склонившись, перечитывал написанное мной и осторожно вносил поправки.

— Вы и обстановку опишите,— просил он.— Ведь если мы шоссе сейчас не перехватим, остальные силы подойдут, а нам их

же танками шоссе заклинить надо. В обход они идти не смогут: лес, танкам не пройти. Нам шоссе только оседлать. Ведь результат всей нашей операции от этих бойцов зависит, вот как высоко их подвиг поднять надо.

Наша работа была прервана промчавшимся мимо всадником. Одна нога его стояла в стремени, а другая — толстая, завернутая в обрывки плащ-палатки, свободно болталась.

Рядом со всадником бежал Микельшин, пытаясь поймать коня за уздцы. Но это ему не удалось.

Нетрудно было догадаться, кто был этот всадник.

Немного погодя со стороны шоссе послышалась частая автоматная стрельба, орудийные выстрелы и глухие, тяжелые взрывы противотанковых гранат.

Меж деревьев поднялось медленное маслянистое красное пламя, и поющий звук русского «ура» проник в самое сердце.

Когда я добрался до шоссе, здесь все было кончено.

Темные, развороченные взрывами укладок со снарядами танки стояли в талых лужах. Здесь же лежали мертвые кони.

Артиллеристы поспешно долбили каменную землю, устанавливая вдоль шоссе орудия. Бойцы также готовили себе окопы. Минеры впереди укладывали мины.

Шоссе, таким образом, было перехвачено, враги оказались в мешке.

Я обратил внимание на то, что немецкие танки были выкрашены в ярко-желтый цвет. Подполковник объяснил мне, что это те самые танки, которые были переброшены Гудериану из Африки для нанесения последнего, решающего удара по Москве. Их даже не успели перекрасить.

Потом мне сказали, что меня хочет видеть один раненый боец.

И я снова увидел Кедрова. Он лежал на снегу, полушубок его был расстегнут. Микельшин стоял на коленях, осторожно продевал ему под спину бинт и озабоченно спрашивал:

— Не туго? Ты тогда скажи.

Увидев меня, Кедров усмехнулся какой-то удивительно доброй и ласковой улыбкой и с трудом, тихо проговорил:

— Вот видите, теперь уже не совестно, теперь и я свою руку как следует приложил.— Помедлив, он по-особенному проникновенно сказал: — Началось, а?

Потом попросил:

— Покурить не найдется?

— У тебя же только у одного табачок есть,— укоризненно сказал Микельшин.— Если хочешь, я сверну?

— Нету у меня табаку,— сказал Кедров,— я его тем ребятам отдал, попроси, может, они одолжат на закрутку.

— Хорошо,— глухо согласился Микельшин,— я сейчас сбегаю. Но не тронулся с места, потому что знал: тех ребят уже нет.

В сумерках наступающего дня мы видели красное зарево горящих впереди нас деревень, которые, отступая, сжигали фашисты.

Скоро голова разорванной немецкой колонны показалась на шоссе. Наши орудия открыли огонь. Бросая машины, гитлеровцы пытались обойти засаду по целине, но здесь их встречали пулеметным огнем цепи спешившихся кавалеристов.

Никогда еще я не видел, чтобы наши люди сражались с таким восторгом и упоением, как это было в декабрьские дни разгрома немцев под Москвой.

Говорят, что на войне нельзя испытать ощущение полного счастья. Неправда! Мы тогда чувствовали себя самыми счастливыми людьми, потому что победа — это счастье. А это была первая большая победа и, значит, первое ощущение огромного, всепокоряющего счастья.

* * *

В сентябре 1941 года на юхновский аэродром приехали военные корреспонденты. Здесь базировались бомбардировщики ТБ-3. Эти пожилые машины уже во время финской кампании летали только во фронтовые тылы.

На первый взгляд машины поразили меня своей огромностью. Они были монументальны. Экипажи состояли из старейших летчиков. Движимые привязанностью, они приписывали своим самолетам самые сверхъестественные качества.

Вначале я принял это как беззастенчивое хвастовство и только потом понял, что это было также проявлением безграничного мужества.

В то время мы, молодые военные корреспонденты, чувствовали себя стесненными тем, что не подвергаем себя повседневно всем опасностям, которым, как нам казалось, необходимо было подвергать себя, чтобы заслужить уважение бойцов и офицеров к нашей профессии. И многие из нас, руководимые этим чувством, ходили в боевые операции, и не все возвращались из них.

Мне нужно было написать очерк о летчике, капитане Филине. И я старался убедить командира части, что для очерка мне нужны художественные детали, а их можно добыть только из личных ощущений.

Командир колебался, но потом сказал:

— Хорошо, летите. Только придется снять одну бомбу. Хочется, чтобы правдиво о нас написали, сейчас это очень важно.

Это была высокая цена правды, и для того, чтобы понять ее, нужно вспомнить те дни.

ТБ-3 летали только ночью. Зенитный огонь им был почти не страшен. Немецкие зенитчики работали с упреждением,

рассчитанным на скорость современных машин. Небольшая скорость ТБ-3 пугала немецких артиллеристов.

Для встречи с ночными истребителями имелось два пулемета, третий, дисковый ручной, лежал в проходе возле правого пилота.

До вылета у меня оставался впереди почти целый день.

Скитаясь по аэродрому, я встретился с московскими ребятами, добровольно вступившими в десантные группы.

Они ждали сегодня своего первого вылета на боевую операцию.

Выглядели они очень живописно. Гранаты заткнуты за пояс, из карманов торчат ручки пистолетов. Большие кинжалы в черных ножнах.

Они напоминали своим видом партизан времен гражданской войны и, видимо, гордились этим.

Им было приказано отдыхать до вылета. Но отдыхать они не умели.

Здесь было то взволнованное веселье, которое бывает за кулисами во время постановки спектакля силами самодеятельного клубного кружка.

Да, пожалуй, у них у всех было такое чувство, будто они должны играть роль героев и единственная опасность, которая угрожает им,— это забыть слова, которые нужно произносить при этом.

Здесь находились также две девушки. Только они послушно старались спать и каждый раз поочередно возмущались, требуя тишины.

Но когда возникала тишина, какая-нибудь из них стаскивала с головы ватник и, приподнимаясь, тревожно спрашивала:

— Что, уже пора?

Вечером я наблюдал, как десантники усаживались в самолет, торопливо, как в трамвай, цепляясь друг за друга парашютами. И перекликались, словно боясь, как бы кто-нибудь не отстал и не остался на земле.

Летчики были раздражены этими пассажирами, а командир корабля, «миллионщик», заявил, что за все время ему не приходилось ни разу иметь дело с такой «неорганизованной публикой».

Когда самолет с десантниками улетел, на аэродроме сразу стало как-то очень пусто, грустно и тихо.

Пришла и моя очередь вылетать.

И в небе, в самолете, меня сопровождало это чувство внезапного тягостного одиночества.

Вернулись мы на аэродром, когда уже поднималось солнце.

А часа через два на командный пункт позвонили из штаба стрелковой дивизии, находящейся на линии фронта, и сообщили,

что в их расположении упал самолет, принадлежащий юхновской авиачасти.

Судя по номеру, это была машина, на которой вылетели десантники.

На следующий день я был в госпитале, и командир корабля, летчик-«миллионщик» Алексей Григорьевич Хохлаков, рассказал мне, как было дело.

Через сорок минут после того, как перелетели линию фронта, на самолет напал немецкий ночной истребитель. Левый мотор был поврежден. Самолет мог дотянуть обратно через линию фронта, только освободившись от пассажиров. Командир отдал команду прыгать. Но бортмеханик пришел и доложил, что четверо парашютистов ранены.

— Хорошо,— сказал командир,— раненые пусть остаются, а остальным прыгать.

Бортмеханик вернулся в свой отсек, открыл бомболюки и знаками приказал прыгать.

Когда четыре человека выпрыгнули, командир сообщил, что остальные могут остаться, авось удастся дотянуть до линии фронта. Но тут выяснилось, что четыре человека, выбросившиеся из самолета, как раз и были раненые десантники.

Они решили пожертвовать собой, чтобы сохранить жизнь тем, кто не был ранен и мог сражаться с врагом. Но спустя полминуты на корабле не осталось ни одного десантника: все они пошли вниз за ранеными товарищами, чтобы спасти их, помочь им.

В те дни было совершено столько человеческих подвигов, что поступок московских десантников как-то растворился в волнах народного героизма.

В декабре того же года я находился в морской бригаде. Моряки ходили в атаки на оккупантов, сбрасывая на бегу каски и доставая из карманов смятые бескозырки.

И вот здесь, у начальника штаба бригады, мне пришлось снова встретиться с этими первыми московскими десантниками.

Их привели разведчики. Они нашли их в лесу полузамерзшими.

На самодельных салазках лежало трое раненых (четвертый был тогда ранен смертельно). Они были в теплой одежде. Шестеро остальных полураздеты. Как оказалось, полтора месяца они пробирались через леса к своим. Начальник штаба приказал всех их отправить в госпиталь.

Но через два дня эту шестерку я снова застал у начальника штаба.

Они стояли, как стоят по команде «Смирно», и лица у них были такие сияющие, точно их наградили орденами, хотя никто никаких наград им не выдавал.

Начальник штаба сипло кричал в трубку:

— Слушай, Береза, тут у меня ребята-десантники, они просятся к нам, так ты зачисли пока что к себе. Именно те самые. Они сторонкой прошли... Девушки?.. Да какие же они санитары! С ними куда хочешь можно пойти... Ну вот, точно, лучше десять раз в атаку сбегать. Я и говорю, хорошие ребята.

Я вгляделся в лица этих четырех юношей и двух девушек, похудевшие, словно после тяжелой болезни. Их покрывали черные пятна — следы обморожения, но каким удивительным светом лучились их глаза! Можно многое забыть на свете, но нельзя забыть эти глаза.

И я вспомнил, как они, отправляясь на задание, готовились к красивому и упоительному подвигу, и немало в этом, думалось, шло от книги, от живого воображения, почерпнутого из романтики первого поколения комсомола.

И, наверное, они совершили бы удивительные подвиги. Но то, что они сделали, было не менее, а может быть, и более героично. Теперь они знали, из какого простого железа куется негнущаяся воля советского человека.

И они снова были готовы к подвигу, зная, по какой трудной тропе им предстояло пройти.

Мне больше не пришлось встретить ни Александра Полунина, ни Виктора Одинцова, ни Сережи Грекова, ни Дмитрия Баранова. Майю Свешникову и Лизу Мигай я тоже больше не видел.

Но когда становится трудно и кажется, что уже нет сил и невозможно справиться с тем, что предстоит сделать, я вспоминаю этих, да и многих еще людей, которых приходилось встречать на войне, и сразу до боли в сердце становится стыдно за свою слабость и добиваешься, чего нужно добиться.

НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВСКИЙ

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ



Лунин в разных измерениях

...Часто за двумя строчками сообщения Совинформбюро о потопленных нашими моряками в Баренцевом море вражеских транспортах скрывалась напряженная драматическая история поисков, атак, побед и поражений.

В годы войны бригада подводных лодок была в центре жизни маленького городка Полярное. И конечно, мы, журналисты, наведывались туда каждый день и были в курсе если не всех, то очень многих событий. Провожали корабли в море. Встречали их. Когда лодка входила в гавань, с нетерпением ждали традиционных выстрелов, сообщающих число потопленных кораблей. А у командира базы Морденко в сараюшке визжали поросята, которые вечером — тупорылые, с тонкой коричневой корочкой — будут поданы на стол в кают-компании.

Я писал о многих известных подводниках — Иване Колышкине, Федоре Фидяеве, Григории Щедрине, Израиле Фисановиче...

И еще одно имя не раз фигурировало на страницах «Правды». Имя, не нуждающееся ни в каких рекомендациях, ибо эта личность историческая, и любой, кто берется сегодня писать о подводниках Севера — беллетрист, мемуарист или военно-морской историк,— не пройдет мимо этого имени, не оставит его в тени.

Николай Александрович Лунин! О нем шла разноречивая молва. Говорили, человек он сложный, капризный, захваленный и перехваленный и потому страдает зазнайством. «Обрежет — и больше не сунешься»,— предупреждали меня братья по перу. Однако все мнения сходились на том, что моряк он отменный, выдающийся воин...

Увидев его впервые — сурового, недоступного, с грубым мужественным лицом, зная, что при виде журналистского блокнота и карандаша он может прийти в ярость, я долгое время не решался к нему подойти и представиться. Ходил «вокруг да около», смотрел, «принюхивался», ждал удобного случая для знакомства. Время уходило, а фортуна мне явно не улыбалась.

Тогда я решил посоветоваться с членом Военного совета контр-адмиралом А. А. Николаевым, хотя понимал, что, если даже он позвонит Лунину и прикажет меня принять, ничего хорошего из этой принудительной затеи не получится. И все же

я посвятил Александра Андреевича Николаева в свои сомнения. Он слушал меня, и я читал в его глазах сочувствие: «Да, не просто разговорить Лунина». И вдруг глаза Николаева заблестели; я понял, что у него созрел какой-то план. Не делая от меня секрета, Александр Андреевич сообщил, что он пригласит Лунина к себе в гости и познакомит со мной, не открывая сразу, кто я и что мне от него нужно...

— Вы только не бросайтесь с ходу в атаку с традиционными вопросами. Он этого не любит,— предупредил Николаев.

«Операция» эта состоялась. В назначенный час в дом на берегу бухты, в холостяцкую квартиру члена Военного совета, явился Лунин, как всегда суровый и недоступный. При виде гостеприимного хозяина он все же потеплел, вежливо улыбнулся, поблагодарил за приглашение и вошел в комнату, где стоял скромно сервированный столик. Глядя на меня подозрительно, он спросил:

— Вы, наверное, корреспондент?

Пришлось сознаться.

— Я с корреспондентами дел не имею,— наотрез заявил он. Но тут же неожиданно улыбка осветила его лицо.

— Поймали как-то моего сигнальщика, побеседовали с ним и такую чепуху написали — только для «Крокодила»... С тех пор наша дружба врозь...

— Учтите! — подхватил Александр Андреевич, обращаясь ко мне поучающим тоном: — Надо начинать с командира, а не с сигнальщика.

Домашняя обстановка всегда располагает к дружеской, откровенной беседе. Александр Андреевич, будучи человеком общительным, наделенным чувством юмора, умел поддержать любой разговор. А в данном случае встретились подводники, товарищи по оружию, у которых масса тем для разговоров. Пройдя службу «насквозь и даже глубже», начиная с учебного отряда подплава имени Кирова, где он получил первую специальность дизелиста, Николаев потом много плавал, прежде чем попал в Военно-политическую академию. Он знал на лодке каждый уголок, мог с завязанными глазами пройти по отсекам и сказать, где какой механизм. И хотя далеко ушли те времена, но он всегда гордился своей принадлежностью к подводному флоту.

Разговор у них с Луниным катился по накатанной дорожке. Я прислушивался. Лунин рассказывал о своих походах. Александр Андреевич слушал не перебивая, а потом высказывал свое, вполне компетентное, суждение, к которому Лунин (я это заметил!) относился уважительно.

Во всяком случае, когда мы поднялись и поблагодарили Николаева за гостеприимство, я почувствовал, что «лед тронулся». Выйдя вместе со мной и прощаясь, Лунин сказал:

— Приходите. Поговорим. Только в самом деле не начинайте с сигнальщика. Поймите меня правильно. Я не принижаю своих людей. Сигнальщик у нас геройский парень, мы в море рядом на мостике, он не однажды спасал нас от опасности. Но все-таки командир корабля больше знает и может лучше оценить действия в целом.

После знакомства с Луниным мне постепенно становилось понятно, откуда взялась эта резкость, которую кое-кто принимал за гордыню, зазнайство, высокомерие.

Я понял многое. И понял правильно. Да, он был в ореоле славы, его снимали для газет, кино, зарисовывали и описывали взахлеб, и он откровенно признался, что ему претит эта слава и вызывает чувство внутреннего протеста. А кроме того, сказывалась усталость. Безумная усталость от долгих изнурительных походов. Если бы он командовал «Малюткой», ушел в море на сутки-двое, сделал свое — и опять дома. А тут крейсерская лодка К-21 — одна из самых крупнейших в советском подводном флоте. И если уж он уходил в поход, то на долгие недели. Недели боевых действий на самых дальних коммуникациях противника, недели предельного напряжения, бессонных ночей. И естественно, что, вернувшись домой, он спешил в баню, потом сваливался в кровать на несколько суток, и ему было не до корреспондентов...

Во время новых встреч на плавбазе разговоры с Луниным не носили характера интервью: блокнот из кармана даже не показывался. Я старался запомнить все, что услышал. А рассказывал Лунин мастерски. В том, что он говорил и как говорил, чувствовался большой ум и наблюдательность.

По возвращении домой я многое старательно записывал. Теперь, когда Николая Александровича нет в живых, эти записи послужили материалом для документальных рассказов о нем, которые я и предлагаю вниманию читателей.

Так начинались победы...

Есть правда в словах восточного мудреца: путь к истине лежит через муки и страдания. Если бы я писал книгу о Лунине, то эти слова, вероятно, могли стать эпиграфом.

...Он ушел в море в канун войны и больше десяти дней находился в дозоре, не видя берегов, не имея никакого представления о трагических событиях, приближавшихся с каждым часом.

На одиннадцатые сутки, во время зарядки аккумуляторов, на лодке приняли шифровку: «Яблоко».

Лунин вскрыл пакет, хранившийся в сейфе под девизом «яблоко», и прочитал: «Усилить внимание».

На следующий день новая шифровка: «Вишня». В пакете под таким девизом хранилось приказание: «Останавливать корабли противника, пытающиеся прорваться в Кольский залив».

«Учения начались!» — решил он и стал думать, какие еще задачи будут поставлены его кораблю. А тут новая вводная: «Виноград». Она означала: «Если противник не останавливается — применять оружие». Тут уж закралась мысль: неужели война?

Еще через сутки приказали вернуться в базу. На пирсе встречали командир бригады, флагманские специалисты, товарищи. Строгие, мрачные, полные тревоги лица. Даже известный всем командир дивизиона «Малюток», или, как он сам себя называл, «Малюточный дед», Николай Иванович Морозов — неутомимый шутник, рассказчик, знаток бесчисленного множества анекдотических историй из морской жизни, которые лились из его уст неутомимым потоком,— даже он притих, обрел совсем не свойственную ему степенность и молча стоял в стороне.

— Ты еще толком ничего не знаешь, а страна уже воюет...— сообщили Лунину, и по всему телу его прошел холодок...

— Сколько нужно вам времени на пополнение запасов? Четырех часов хватит? — осведомился командир бригады капитан 1-го ранга Николай Игнатьевич Виноградов.

— Хватит,— не задумавшись, ответил Николай Александрович. Глянул в сторону, а там, за забором, стояла жена с маленькой дочуркой. Обе плакали... Свидание с ними, разговор «через забор» продолжался считанные минуты. Лунин не успел забежать домой, переодеться, потому что четыре часа пролетели, как четыре минуты. Отдали швартовы, лодка отошла от пирса и легла на курс в открытое море.

Прошли Кильдин и дальше, дальше, навстречу неизвестности с одной мыслью, с одним желанием — топить фашистские корабли. Не о наградах думали, не о почестях. О долге! И только о нем. Других мыслей быть не могло, когда и здесь, на Севере, кипела битва и каждый потопленный корабль с войсками или боеприпасами был ударом по немецко-фашистской армии генерала Дитла, нацелившейся на захват Мурманска и наших военно-морских баз.

Тянулись долгие летние дни. Ходили, искали, выслеживали... Не покидали район, где, по наметкам штаба флота, должны идти конвои. И ничего не попадалось. Пустынное море, туманы над водой. Днем находились в подводном положении. По ночам всплывали и уходили подальше от берега заряжать аккумуляторные батареи. Старались не раскрыть себя. При появлении самолетов по сигналу «Срочное погружение» мгновенно уходили на глубину.

Мрачно было на душе у Лунина от мыслей, что так бездарно проходит день за днем и неделя за неделей.

В то хмурое прохладное утро только что закончили зарядку. Смолк шум дизелей. Погрузились — и опять на позицию. «Ищите да обрящете»,— пошутил инженер-механик лодки, справившись со своими делами, передавая эстафету мастерам поиска и атаки. Не успел Лунин пустить в ответ острое словцо, как из акустической рубки послышался голос: «Шумы винтов...» Лунин скомандовал подвсплыть, прильнул к перископу и увидел все то же пустынное море. Между тем акустик продолжал докладывать, что слышит шумы.

Снова погрузились и двигались по акустическому пеленгу на сближение с невидимой целью. Лунин то поднимал перископ, то снова погружался с мыслью, как бы не прозевать эту долгожданную возможность. Лодка шла полным ходом.

В ушах акустика шумы винтов нарастали. Это был верный признак того, что не зря сыграли боевую тревогу, подняли всех, кто отдыхал.

В преддверии неизвестной встречи — первой встречи и первой атаки Лунин и все остальные внешне сохраняли спокойствие, и только не терпелось узнать, что там за корабли?

И вот в очередной раз, подняв перископ, Лунин увидел три огромных транспорта с высокими мачтами, точно упиравшимися в небо, а кругом маячили сторожевики, рядом с великанами казавшиеся букашками. Вся эта армада держала путь в Киркинес.

«На ловца и зверь бежит»,— обрадовался Лунин. Лунин начал маневрировать. Он был убежден в том, что залп из носовых аппаратов обеспечит полный успех — можно потопить два транспорта из трех. И это неплохое начало.

Все было рассчитано, все готово. Руки торпедистов лежали на рычагах. Достаточно Лунину произнести короткое «пли», чтобы торпеды помчались к цели.

А он не торопился. Для верности еще раз направил глазок в сторону конвоя и обомлел при виде картины, неожиданно представшей его взору: корабли совершали поворот, оставляя за собой широкую кильватерную струю. И стало быть, все надо начинать сначала.

— Право на борт! Так держать! — скомандовал он, радуясь ненастью, клочьям тумана, проносившимся низко над водой, надежно маскировавшим головку перископа. Можно надеяться, что до атаки его не обнаружат.

Лунин неотрывно следил за темными громадами транспортов. Маневрирование слишком затянулось, а тем временем транспорты стали удаляться. Тогда он решил пуститься вдогонку. Но лодка под водой имела слишком малый ход и никак не могла состязаться с надводными кораблями.

Конвой уходил. Расстояние между лодкой и гитлеровскими кораблями быстро увеличивалось. Теперь в перископ виднелись

лишь одни верхушки мачт. С каждой минутой шум винтов заглушался привычным рокотом моря...

Было горько сознавать свое бессилие: из-под самого носа ушла ценная добыча. Лунин никак не хотел в это поверить. Был дан отбой. Никто не сошел с места. Всем казалось совершенно невероятным, что упущена такая счастливая возможность. Точно опасный морской зверь, пойманный в сети, снова вырвался на свободу.

— Прохлопали атаку,— признался Лунин своим товарищам, на лицах которых отразилась досада.

Никто ему не ответил, потому что все знали: на исходе двадцать седьмые сутки плавания.

Соляр, пресная вода, продукты — все уже кончается, и надо возвращаться в базу. Только торпеды остались целехоньки. Длинные металлические сигары лежали в своих желобах, напоминая о непростительной ошибке...

Пришли ни с чем в такое страшное время, когда пал Смоленск и армия врага катилась к Москве. А другие лодки вернулись с победами. Столбов первым открыл счет...

Стыдно было смотреть в глаза начальству и друзьям, встречавшим на пирсе с уверенностью, что Лунин тоже пришел «не пустой».

Молча выслушал доклад Лунина командир бригады, сообщил: «Завтра доложите Военному совету» — и направился к себе на КП. С ощущением боли и досады расходились все остальные. Как всегда, нашлись злые языки. Одни с ехидством поговаривали: «Конечно, Совторгфлот, что от него ждать?!» (А Лунин, действительно, в прошлом был штурманом на судах торгового флота.) «Швартоваться умеет. Ему бы буксиром командовать — в самый раз». Другие предсказывали, что разбирательство на Военном совете ничего хорошего не сулит: «Признают трусость и взыщут строго...» Да, время было тяжелое, и невыполнение боевого приказа каралось беспощадно.

При мысли, что ему предстоит держать ответ перед Военным советом флота, он вспоминал нечто подобное, случившееся с ним до войны.

На флоте проводились большие учения. Лунину поставили, прямо скажем, нелегкую задачу: точно в определенный час прорваться в маленькую бухточку и атаковать там условного противника.

Никаких кораблей там не было. Но зато выставили усиленное охранение. На дальних и ближних подступах несли дозорную службу катера-охотники. У входа в бухту денно и нощно наблюдатели не отрывали глаз от биноклей.

И все же Лунин прошел. Прошел так ловко, что его никто не заметил. Но, оказавшись в бухте, он задержался там, не успел

выйти обратно и всплыть в условленном месте. Всю ночь лодка пролежала на грунте.

А на берегу поднялась тревога. Особенно волновался командующий флотом Головко. По всему флоту передали извещение о том, что пропала подводная лодка, вероятно, потерпела бедствие...

И вдруг к утру лодка обнаружилась.

Лунина немедленно вызвали к командующему. Он докладывал, а из головы не выходила мысль: «Не бывать мне больше командиром корабля». Головко крепко разгневался. Еще никто не видел его в таком состоянии. Но, слушая Лунина, он смотрел на кальку и в душе, вероятно, все больше восхищался искусством молодого подводника; лицо его смягчилось, жесткость уступала место горячей заинтересованности.

К концу разговора у Головко было уже совсем другое настроение. И все же он строго сказал:

— За невыполнение графика учений объявляю вам выговор,— и тут же, улыбнувшись, добавил: — А за прорыв в гавань — благодарность в приказе по флоту.

Теперь не то время. И спрос другой...

Тревожные мысли бродили в голове Лунина. И все же он держался молодцевато, с достоинством, не давая повода думать, что в самом деле струсил. И не искал себе оправданий, готовый ко всему, что сулит судьба.

В назначенный час явился в Военный совет. В руках вахтенный журнал, карта, свернутая в трубочку, и схема маневрирования.

Увидев хмурые, сосредоточенные лица Головко, Николаева, других командиров из штаба флота, он догадался — разговор будет серьезный.

Ему предложили подробно доложить о походе. И он доложил. Посыпались придирчивые вопросы, на которые он отвечал спокойно и обстоятельно, хотя внутри все горело от волнения.

Самый коварный вопрос задал Головко:

— Как вы рассматриваете результаты своего похода? Трусость это или неудача?

При слове «трусость» Лунин не смог сдержаться. Обида и негодование разом выплеснулись наружу.

— Я решительно отметаю ваши подозрения,— чуть дрогнувшим голосом произнес он.— Что угодно, только не трусость. Лучше смерть принять, чем услышать здесь «трус, изменник». Ведь это одно и то же...

Разбирали подробно, придирчиво все связанное с походом и особенно неудачной атакой: десятки глаз пристально изучали документы, особенно кальку маневрирования, после чего поднялся командующий и высказал свое мнение:

— Я не допускаю мысли, чтобы такой командир, как Лунин, мог струсить. В данном случае мы расплачиваемся за недостатки боевой подготовки мирного времени...

Он говорил о многом, чему не учили людей и что потребовалось на войне.

И навсегда запомнились Лунину последние слова командующего, обращенные к нему:

— Военный совет вам верит. Надеемся, вы учтете свои ошибки и больше их не повторите. Вы остаетесь командовать кораблем. Готовьтесь к новому походу.

А новый поход завершился потоплением немецкого транспорта. Потом еще и еще... За несколько походов он пустил на дно семь вражеских кораблей и из рук Головко получил первую высокую награду — орден Ленина.

Дерзкий рейд

В один из июльских дней 1942 года Головко приказал адъютанту никого в кабинет не впускать. Пусть по всем делам обращаются к замначштаба, а он вместе с членом Военного совета, начштаба и начальником оперативного отдела крайне занят. Это можно было понять и по их озабоченным лицам, и по тому внутреннему напряжению, которое всегда передается окружающим.

Перед ними лежала карта. Глядя на нее, они пытались разгадать чужой замысел. Конвой, состоявший из тридцати семи транспортов,— самый большой из тех, что посылали к нам союзники во время войны, вышел из исландского порта Рейкьявик в Мурманск и Архангельск. Англичане заверили: транспорты пойдут в охранении эскадренных миноносцев. А кроме того, учитывая большую ценность грузов, направляются две группы крупных кораблей оперативного прикрытия: линкоры «Дьюк оф Йорк», «Вашингтон», крейсеры «Лондон», «Норфолк», «Вичита», «Тускалуза», «Кумберленд», «Нигерия», девять миноносцев... К мощной артиллерии кораблей, крупнокалиберным пулеметам и чутким радиолокаторам, помогающим своевременно обнаружить вражеские самолеты и подводные лодки, следует добавить и десятки истребителей: они готовы будут по первому сигналу подняться с палубы одного из самых совершенных английских авианосцев «Викториес».

Казалось, не было оснований волноваться. Тем более глава британской военно-морской миссии на Севере контр-адмирал Фрезер заверял:

— Операция полностью обеспечена, господин адмирал... Мы воюем не первый год и кое-чему научились. Для нас проводка транспортов — самое обычное дело...

— Не спорю,— ответил Головко.— Но меня удивляет, почему британское адмиралтейство выбрало столь неудачный маршрут? Почему на карте проложен курс на острова Ян-Майен, Медвежий и дальше, в горло Белого моря? Ведь несколько прошлых конвоев шли тем же самым курсом. Немцы изучили эту трассу и, что называется, оседлали ее. У них там подводные лодки и даже имеются плавучие базы торпедоносной авиации. Учитывая опыт войны, британское адмиралтейство обязано было выбрать другой путь, ввести в заблуждение противника, заставить искать конвой, затрачивать на это время и боевые средства...

— Какое значение имеет маршрут, если наши транспорты пойдут в круговом охранении? — возражал Фрезер.— У нас сильная противовоздушная оборона. Кроме зениток и «эрликонов» вы увидите нечто новое, необычное — аэростаты заграждения и змеи... Смею вас уверить, немецкие летчики не захотят идти на верную смерть.

— Вы все же передайте мои соображения,— попросил Головко.

— Я это сделаю непременно,— пообещал англичанин.

Головко предвидел, что этот разговор ничего не изменит, путь конвоя останется прежний. И все-таки считал нужным высказать свое мнение.

Разве можно не считаться с тем, что у норвежских берегов, в районе Тронхейма, укрываются линкор «Тирпиц», тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер» и «Лютцов»? Видимо, неспроста немцы перебросили сюда самую сильную и боеспособную эскадру. Англичане слишком опытные «морские волки», чтобы не понимать возможных последствий...

Подготовка к встрече каравана развернулась давно. Корабли Беломорской флотилии протраливали горло Белого моря, проверяли фарватеры Двинского залива и Северной Двины. На аэродромах в боевой готовности стояли десятки самолетов, главным образом истребителей. Как только выйдет караван, придется непрерывно вести разведку с воздуха и передавать данные в британскую миссию. И крейсерские подводные лодки были развернуты на дальних позициях. В том числе задолго до прохождения конвоя ушла в море и лунинская К-21 — «катюша». Прощаясь с Луниным, командующий напомнил, что в Норвежском фиорде стоит гроза гитлеровского флота — линкор «Тирпиц».

— С ним не так просто расправиться,— предупредил Головко.— Помните, англичане в Атлантике всадили в «Бисмарка» девять торпед, и то он, проклятый, держался на плаву. Пришлось добивать из орудий главного калибра. Но если удастся «Тирпица» хотя бы повредить — положение будет спасено.

Конвой еще не вступил в операционную зону Северного флота, а в Полярный потоком шли тревожные радиограммы. По

совершенно непонятной тогда причине корабли прикрытия повернули обратно в Англию, в результате беззащитные транспорты подвергаются непрерывным ударам торпедоносцев противника. Многие транспорты уже на дне. Уцелевшим британское командование приказало рассеяться. И они идут поодиночке, «куда глаза глядят», спасаясь от опасности. Почему британская эскадра повернула обратно? На этот вопрос трудно ответить, и не было времени на догадки. Требовались срочные меры для спасения уцелевших судов. И эти меры выработало командование Северным флотом: все корабли, авиация, подводные лодки, находившиеся в море, были брошены на помощь транспортам.

Но впереди маячила еще большая угроза: на перехват конвоя спешила немецкая эскадра — «Тирпиц», «Адмирал Шеер» в сопровождении миноносцев. Вот тут-то Лунин и получил радиограмму: идти навстречу эскадре, решительно ее атаковать!..

* * *

...Он стоял на мостике в своей темно-зеленой куртке на меху и старенькой черной кожаной ушанке с барашковым верхом, которую моряки называли шапка-счастливка.

Несмотря на опасность, лодка бо́льшую часть времени находилась в надводном положении: под водой быстро расходуется электроэнергия, иссякают запасы воздуха, и может случиться, что в нужный момент ни того, ни другого не останется.

Атаковать «Тирпиц»! Эта мысль завладела умами людей. Чуткий слух командира улавливает донесения акустика, корабль совершает маневр за маневром, прорываясь внутрь эскадры. В перископ замечен немецкий эскадренный миноносец, за ним второй, а там дальше за миноносцами — верхушки мачт больших кораблей. Они идут строем при внушительном эскорте. Лунин, хорошо изучивший их по фотографиям и рисункам, узнает головной корабль — крейсер «Адмирал Шеер», а вслед за ним еще более внушительная крепость — линкор «Тирпиц». Вот он идет, широко рассекая воду, а рядом с ним вьются большие и малые корабли охранения. Целая армада надвигается на подводную лодку.

Все готово для атаки. Только бы не обнаружили! Только бы не засекли! Люди в лодке — одновременно охотник и дичь. Подводный корабль занял удобную позицию, сейчас он атакует, но... эскадра неожиданно делает поворот влево, и опять следуют команды, опять нужно маневрировать, прежде чем выйти в атаку. И неотвязно сверлит сознание мысль, что там, наверху, чутко и настороженно прослушивают лодку. Там ее ищут самолеты, за ней охотятся быстроходные катера. Небольшая ошибка или даже чистая случайность — и лодку забросают глубинными бомбами. Тогда на карту будет поставлена судьба

конвоя, судьба многих транспортов с грузами для наших солдат, быть может из последних сил сражающихся сейчас где-нибудь в районе Орши или Смоленска...

Но вот маневр, кажется, удался. Снова в поле зрения мачты линкора и взвившиеся сигнальные флаги. Только бы снова не повернул, тогда все расчеты — в который раз! — полетят к черту. Лодка не успеет выйти в нужную точку и выпустить торпеды.

Так оно и есть. Как и в первом походе, корабли поворачивают. Но это не сорок первый год. Лунин уже совсем в другом качестве. С тех пор сколько было разных ситуаций... За спиной бесценный опыт, умение быстро маневрировать, безошибочно атаковать противника.

Вот и сейчас он занимает новую позицию, оставаясь внутри конвоя. Идет неторопливая игра со смертью. Игра, в которой охотник и дичь в любую минуту могут поменяться местами.

Лодка снова заняла исходное положение для атаки. Акустик непрерывно докладывает пеленг на линкор. Из центрального поста к торпедным аппаратам несется команда: «Аппараты, пли!» Корпус лодки дрожит от выстрела двух торпед. Взрыв! Второй взрыв! «Теперь только бы уйти...»

Так был торпедирован линкор «Тирпиц». Он лег на обратный курс, и вся эскадра ушла вместе с ним, отказавшись от нападения на английский конвой.

* * *

Спустя несколько дней Головко снова принимал главу британской военно-морской миссии.

— Я уполномочен от имени британского адмиралтейства передать вам поздравление,— улыбаясь, заявил Фрезер.— О, это такая победа! «Тирпиц» у них главная сила на море. Не дай бог, если бы он прорвался к конвою. И я думаю, что сейчас сам Гитлер кусает себе пальцы от досады.

— Благодарю за поздравление,— сдержанно отвечал Головко.— Я очень рад, что удалось избежать этого нападения. Но не могу понять, зачем понадобилось соблазнять гитлеровцев возможностью безнаказанных ударов по транспортам?

Англичанин насторожился:

— Был бы благодарен, если бы вы пояснили свою мысль.

— Пожалуйста! — Головко передал ему радиограмму: «Командиру эскорта, командующему отечественным флотом от адмиралтейства. Ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника необходимо рассредоточиться и следовать в русские порты».— Я не представляю, как можно было разрешить кораблям охранения бросить на произвол судьбы десятки транспортов с материальными ценностями и экипажами...— возмущался Головко.

— Не нужно волноваться. Берегите здоровье, господин адмирал. Война — сплошная лотерея. Не знаешь, где выиграешь, где проиграешь.

— Это слабое утешение, особенно, если учесть, что вместо спасения подбитые английские транспорты расстреливали с английских же кораблей артиллерийским огнем и топили. Зачем? Ведь наш танкер «Донбасс», несмотря на пожар и тяжелые повреждения, дошел до Мурманска? Дошли бы и ваши.

— Поверьте, нам очень жаль, что такая печальная судьба постигла назначенные для вас грузы. Вы не располагаете сведениями относительно уцелевших судов? — спросил англичанин.

— Располагаю. Удачная атака Лунина вынудила немецкую эскадру повернуть обратно, а мы, пользуясь этим, смогли бросить значительную часть нашего флота на поиски и конвоирование всех уцелевших транспортов. Постепенно они собираются в наших портах,— в Мурманске, Архангельске, на Новой Земле...

Англичанин встал, поблагодарил за информацию и собрался уходить.

— На войне все случается, господин адмирал. Это боевой опыт, за который приходится приносить в жертву и корабли, и человеческие жизни...

— Возможно. Однако на сей раз слишком дорогой ценой пришлось нам расплачиваться,— сердито произнес Головко.

Все это происходило во время проводки конвоя PQ-17, получившего весьма печальную известность. Об этом конвое написано немало у нас и за рубежом. В частности, в Англии вышла серьезная и обстоятельная книга Ирвинга «Разгром конвоя». Я не ставлю перед собой задачу рассказать об операции в целом, а беру лишь ту часть ее, которая касается действий экипажа подводной лодки К-21 под командованием капитана 2 ранга Николая Александровича Лунина. Тогда английская разведка сообщала: «Тирпиц» стал на ремонт вследствие атаки советских подводников». Ни у кого это не вызвало сомнений, в том числе и у английских историков... Теперь, стараясь принизить роль наших Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской Германии, английская пропаганда многое отрицает, в том числе и торпедирование «Тирпица» советскими подводниками.

Да, времена меняются. Однако что было, то было. Недаром говорится: факты — упрямая вещь...

«Погибаю, но не сдаюсь»

Запали мне в память слова, однажды сказанные Луниным: «Подводники совершают коллективный подвиг. У нас или все побеждают, или все погибают». В этой связи я вспоминаю мало-

известный поход, который, кажется, подтвердил справедливость суждений Николая Александровича.

После «Тирпица» было долгое и трудное автономное плавание. Лодка находилась совсем близко от берегов противника. Даже не требовалось бинокля — простым глазом можно было рассмотреть довольно большой отрезок побережья.

Лунин после успешного потопления транспорта принял решение прорваться в базу противника, но прежде, не торопясь, изучал обстановку в районе, подходы к гавани, береговые сигнальные посты, режим движения судов...

Ранним утром, когда первые лучи солнца еще не разорвали тяжелый и влажный туман, на корабле заканчивали последние приготовления.

Лунин стоял на мостике внешне спокойный, стараясь скрыть от других волнение, которое всегда бывает у человека, принявшего смелое решение, а стало быть, и ответственность за все возможные последствия...

Он хорошо знал свою команду и не сомневался, что, как бы трудно ни пришлось, люди не подведут. И все же сейчас особенно пристально вглядывался в сосредоточенные лица моряков, готовивших лодку к погружению, словно выверяя силы каждого из них. Вот совсем молодой, почти мальчик, недавно зачислен в экипаж, и этот поход — боевое крещение юноши. Он наклонился над перископом, усердно протирая до блеска зеркальное стекло, которое после погружения станет единственным глазом лодки.

Лунин смотрел на ершистые светлые волосы, выбивавшиеся из-под черной пилотки, и в вереницу мыслей — строгих и деловых — вдруг теплой, заливающей волной ворвалось воспоминание о своем ребенке.

Усилием воли Лунин стряхнул с себя воспоминание, тревожащее и мешающее обычному размеренному ходу его мыслей.

— Товарищ Харитонов, как у вас дела? — спросил Лунин.

— Мое заведование в полном порядке, товарищ командир.

— А как настроение?

— Настроение тоже в порядке, товарищ командир,— улыбаясь, проговорил молодой моряк.

Через несколько минут Лунин скомандовал погружение. В утренней тишине глухо зашумела вода в кингстонах, заработали электромоторы, и лодка начала уходить под воду.

Все было хорошо. Прошли несколько миль. И вдруг донесение: «В пятом отсеке нарушились контакты, кабель расплавился, случилось короткое замыкание на электроподстанции. Пожар!..» Ничего другого не оставалось, как срочно всплыть.

Багровое пламя, заключенное в металлических стенах, металось как живое, уклоняясь от направленных на него струй пены

из огнетушителей. А когда борьба оказывалась бесплодной, оно шипело от недостатка кислорода и исчезало в одном месте, но появлялось в другом и ползло дальше. В багровых отсветах пламени, как быстрые тени, двигались фигуры в особых костюмах и масках...

Лунин, находившийся в центральном посту, понимал, с какой предательской быстротой распространяется пожар и какая угроза нависла над экипажем. Резко повернулся он к инженер-механику Браману и, показывая рукой в сторону горящего отсека, спросил:

— Сколько у нас там народу?

— Семь человек,— ответил Браман.

У Лунина шумело в ушах и что-то тяжелое давило на мозг. Сбрасывая с себя оцепенение, он скомандовал: «Герметизировать горящий отсек!» Металлические клинкеты плотно прихватили водонепроницаемые переборки и закрыли их наглухо.

Сразу стало тихо. Жизнь на подводной лодке шла своим чередом для всех, кроме тех семи, оставшихся за горящим отсеком.

Лунин смотрел на показания приборов. В переговорной трубе что-то зашумело, и затем донесся молодой спокойный голос одного из оставшихся по ту сторону отсека:

— Товарищ командир! Докладывает краснофлотец Харитонов. Мы живы. За нас не беспокойтесь!

Положение с каждой минутой осложнялось. Лодка потеряла ход и теперь дрейфовала по воле волн.

Лунин отдает приказания одно за другим, и прежде всего — привести в готовность артиллерию. Он понимает, что, если в надводном положении лодку обнаружат самолеты или корабли противника, тогда придется вступить в бой. Вызывает на мостик шифровальщика и приказывает:

— Быстро записывай!

Шифровальщик открывает книгу, берется за карандаш. Лунин диктует шифровки.

Первая: «Возник пожар, потерял ход».

Вторая: «Веду артиллерийский бой».

Третья: «Погибаю, но не сдаюсь».

— Зашифруй и держи наготове! По моему приказанию будешь передавать в базу.

Шифровальщик захлопнул книгу и поспешил на свой пост.

Борьба за жизнь корабля продолжается, но никакие меры не помогают. В закупоренном отсеке продолжает бушевать огонь. На мостик поступают тревожные донесения: накаляются переборки.

Лунин смотрит на приборы: ртутный столбик термометра достиг цифры 70. Семьдесят градусов! А выше подволока, «на втором этаже»,— бак с соляром. Велика опасность... Лунин

решает открыть отсек и продолжить борьбу с огнем. Знающий и находчивый инженер-механик Владимир Юльевич Браман, не раз побывавший в разных переделках, и мичман Сбоев торопливо натягивают маски, костюмы.

Переборка открыта. Густой черный дым валит наружу. Двое бросаются в огонь.

Минута, две, три... Их нет. И тогда в огонь идет следующая партия моряков. Они выносят из дыма и пламени потерявших сознание друзей и возвращаются обратно, сбивают пламя струями жидкости.

Пожар постепенно затихает. Лодка спасена. Спасены и люди, которые остались по ту сторону переборки. Они стоят на своих постах, и только краснофлотец Харитонов пробирается в центральный пост, по всем правилам докладывает Лунину о том, что произошло, как действовали. И заключает такими словами:

— Мы, все семеро, были комсомольцами, а теперь хотим подать в партию.

Для Лунина и комиссара корабля Сергея Александровича Лысова это сообщение было несколько неожиданным, но оба обрадовались, подумав о благородных помыслах отважной семерки. Для них звание коммуниста — самая высокая награда за подвиг...

— Добро! Будем вас принимать по боевой характеристике,— объявил Лысов.

Тем временем вступают в строй ходовые механизмы, и с мостика слышны команды:

— Малый... Средний... Полный вперед!..

Корабль оживает. Глаза людей полны радости. Лодка погружается и снова всплывает.

После такой беды вполне законно было бы возвращаться в базу — никто бы за это не осудил, но тут еще раз сказался характер Лунина. Он решил продолжить поход: ночью осуществить прорыв в базу противника.

Дело было рискованное... Предстояло форсировать минное поле. Часами стоял Лунин на ходовом мостике, всматривался в темную воду, приглядывался к мельчайшему подозрительному гребешку на волне.

Впереди желанная цель. И вдруг с мыса подают световые сигналы, лодку обнаружил немецкий пост наблюдения. Оттуда запрашивают: «Кто вы?» Сигнальщик докладывает Лунину. Как рассказывал мне Николай Александрович, он сразу опешил, не зная, что ответить. И вместе с тем нельзя медлить. Промедление смерти подобно. «Как принято у нас, русских людей, я решил взять их на бога...»

— Передай им «наш»,— приказал Лунин.

На посту, вероятно, произошло замешательство, но ответной

реакции не последовало. Видимо, гитлеровцы решили: произошла какая-то путаница. И пропустили лодку.

В темноте чуть вырисовывались контуры бухты. У причалов — мачты и силуэты нескольких кораблей. Пора в атаку! Четыре торпеды веером помчались к причалу. Взрывы и языки пламени взлетели к небу. За ними взметнулись громады обломков...

Лунин торопился уйти. К счастью, откуда ни возьмись, налетел снежный заряд, и на обратном пути немецкие посты наблюдения лодку вовсе не обнаружили.

Подводники выполнили задачу и теперь продолжали путь к родным берегам.

В Полярном их встречали командующий флотом Головко и член Военного совета Николаев. Они спустились вниз, осмотрели сгоревший отсек, приказали всех отличившихся при тушении пожара представить к правительственным наградам.

— Что произвело на вас самое сильное впечатление во время вашего длительного похода? — спросил Николаев, когда они с Луниным сидели в кают-компании и пили чай.

— Самое сильное? — повторил Лунин и после короткого раздумья добавил: — Как в этой трагической обстановке семь моряков во главе с Харитоновым решили стать коммунистами.



«По своему размаху и значению Сталинградская битва превзошла все битвы и сражения прошлого. В течение шести с половиной месяцев на огромной территории шли ожесточенные бои, в которых участвовало одновременно свыше двух миллионов человек. Вражеские войска потеряли около 1,5 миллиона солдат и офицеров — свыше четверти всего состава своей армии, действовавшей на советско-германском фронте».

«Победа под Сталинградом — крупнейшее военно-политическое событие в ходе борьбы народов против германского фашизма. Она внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне».

«С победой под Сталинградом стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки Советского Верховного Главнокомандования. Советские войска перешли в генеральное наступление, которое продолжалось до конца войны. Развернулось массовое изгнание оккупантов, широкое освобождение нашей великой социалистической Родины».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 343, 344—345.

ВАСИЛИЙ
КОРОТЕЕВ

СТАЛИНГРАДСКОЕ КОЛЬЦО



На переправе

Впервые генерал Вольский увидел свой корпус на переправе у Волги, чуть выше Камышина.

К переправе нескончаемым потоком шли колонны автомашин, бронетранспортеров. Сильные грузовики мчали мотопехоту с ручными и крупнокалиберными пулеметами, автоматами, минометами, противотанковыми ружьями; двигались к Волге гвардейские минометы, укрытые брезентовыми чехлами, рации, бронеавтомобили, пушки различных калибров.

Наблюдая за потоком машин, генерал Вольский вспоминал эволюцию механизированных войск. Конечно, и раньше в армии понимали значение механизированных войск, но техника, структура этого рода войск были иными. Мог ли он, старый танковый ветеран, даже мечтать тогда о такой громадине, как механизированный корпус со своей пехотой и артиллерией, минометами всех калибров, средними и тяжелыми танками, бронемашинами, рациями, своим ремонтно-восстановительным хозяйством?..

Стоя у крутого спуска к реке и глядя на движущийся без конца поток могучей техники, созданной советским рабочим классом, Василий Тимофеевич почти физически ощущал ее мощь и ловил себя на мысли, сумеет ли он управлять такой махиной?

О многом думал бывший слесарь Золоторожского трамвайного парка в Москве, генерал танковых войск. Вспоминал Вольский трагические дни начала войны, когда он, командующий бронетанковыми войсками округа, выводил танковые соединения из окружения; вспоминал долгие разговоры в Ставке Верховного Главнокомандования о структуре механизированных соединений...

...Механизированные и танковые части были сведены в корпус всего несколько дней назад. Корпус еще не был сколочен, а командиры знакомились друг с другом у переправы на Волге.

— Командир энского танкового полка подполковник Черный прибыл в ваше распоряжение,— представился Вольскому коренастый офицер с открытым энергичным лицом и седыми волосами.

— Командир энской мотомеханизированной части подполковник Белый,— подошел с рапортом такой же плотный, как и Чер-

ный, офицер средних лет с глазами стального цвета на краснощеком, чуточку рябоватом лице.

Вольский захохотал. Белый недоуменно смотрел на высокого, голубоглазого, с крупными чертыми лица генерала. Что же смешного нашел командир корпуса в его рапорте?

— Познакомьтесь, пожалуйста, подполковник Белый,— дружески взял его Вольский за руку,— с подполковником Черным.

Белый рассмеялся.

Потом командиры частей сидели у берега реки, и Вольский обстоятельно расспрашивал каждого — сколько моточасов «наводили» механики, какие задачи танкисты прошли из курса стрельб, что отработали по тактике, умеют ли хорошо стрелять с ходу по движущимся целям, откуда люди, сколько коммунистов... Командир танковой бригады Ази Асланов рассказывал, как его механики-водители — саратовские, пензенские, горьковские, ростовские парни — ломали дубы в приволжских лесах, когда учились водить боевые машины точно по заданному курсу.

Штаб корпуса состоял из людей, давно знакомых Вольскому. Василий Тимофеевич хорошо знал своего заместителя — генерала Шарагина, старого ревностного служаку, начавшего свою жизнь в армии еще в дореволюционное время, толстого и добродушного человека. Еще больше он знал начальника штаба полковника Александра Адамовича Пошкуса — сухощавого, средних лет, невозмутимого и педантичного латыша. За плечами Пошкуса была многолетняя служба в армии, бои с Махно и Врангелем, учеба и преподавательская работа в академии. Это был опытный штабист, человек высокой танковой культуры.

Командиров частей — Родионова, Белого, Карапетяна, Асланова, Черного — Василий Тимофеевич знал мало. Ему с первой встречи понравились маленький худощавый азербайджанец Ази Асланов, по-военному красивый, подтянутый, белорус Дорошкевич, рослый, могучий армянин Карапетян... Все они знали Вольского по академии. Но и тем, кто не учился в академии, Вольский был известен как крупный теоретик и практик танковых войск.

— Грамотен как черт,— с уважением говорил о нем Дорошкевич.

...Переправа началась с вечера 3 ноября и продолжалась несколько ночей; днем машины укрывались в населенных пунктах, в оврагах, в лесах.

Теперь предстояло пройти сто пятьдесят километров по левому берегу, вновь переправиться с левого берега на правый у Светлого Яра и сосредоточиться в степи южнее Сталинграда.

В эти дни все было подчинено тому, чтобы движение машин не заметил противник. Всей громадной колонне танков, пушек

и автомашин предстояло незаметно дойти до места сосредоточения. Если бы противник обнаружил движение и сосредоточение мехкорпуса, это поставило бы под угрозу всю операцию.

Генерал объявил командирам, что будет весьма строго взыскивать за нарушение маскировки и, ежели днем заметит где-нибудь незамаскированный танк, будет снимать с машины командира.

Днем Вольский объезжал свои части, укрывшиеся в лесу. Он был в наглухо застегнутом кожаном пальто, скрывавшем генеральские звезды на петлицах.

— Здравствуйте, товарищи! Откуда будете? — спрашивал он.

Танкисты смущенно переглядывались: они угадывали в Вольском старшего командира, но не все еще знали его в лицо и потому уклончиво отвечали:

— А вот пойдемте, товарищ, к нашему командиру, у него все узнаете...

Вольский объявлял бдительным солдатам благодарность, а со слишком болтливых строго взыскивал.

Темными ноябрьскими ночами мехкорпус двигался к Сталинграду по дорогам Заволжья и хмурым утром подошел к переправе против Светлого Яра, ниже Сталинграда.

Шел мелкий дождь, дул пронизывающий ветер с Каспия. На Волге звенели льдины, река посинела и, казалось, вспухла. Суровая картина великой реки тревожила душу солдат, вызывая у них предчувствие близкого боя. К пристани подходил пароход «Громобой», он тащил огромную баржу. Капитан Шугаев, пожилой, сутулый человек, измученный несколькими бессонными ночами и совсем лишившийся голоса от крика, мог, видно, лишь шепотом поругивать юных, еще неопытных матросов, недавно присланных на судно. Ноябрьская ночь темна, и, хотя в небе непрерывно рыскали воздушные разведчики, сбрасывавшие осветительные ракеты, гитлеровцы не обнаружили движения массы танков.

Три ночи на переправе стоял неумолчный лязг гусениц и рев моторов...

У Василия Тимофеевича трещала голова. Вместе с командирами бригад он неотлучно пробыл на пристани три ночи без сна, до тошноты наглотался отработанного газа. Нередко он срывался на крик, когда видел, что вот еще мгновение — и танк, идущий на баржу, сорвется с пристани в реку. Наблюдая за переправой, генерал думал о том, какие части пойдут вперед...

По раскисшим дорогам, в пургу и гололедицу танки наконец вышли в район сосредоточения. Кругом была голая, чуть занесенная снегом степь, без куста и деревца; лишь на горизонте кое-где маячили скирды почерневшего от осенних дождей сена. Ве-

тер гнал по степи пыль и снег. Хмурились танкисты, невесело оглядывая унылый степной пейзаж.

Выйдя из «эмки» и закрывая лицо от ветра меховым воротником кожанки, Вольский тоскливо осматривался вокруг и думал, как же тут, в голой, без единого кустика степи, можно замаскировать такое скопище танков.

Поразмыслив, он отдал приказ укрывать танки в земле. Двое суток танкисты и мотострелки рыли капониры, накрывали машины чернобылем, полынью да кустами перекати-поля. Вскоре самый внимательный глаз не мог обнаружить на степной равнине ничего подозрительного...

Первая и очень важная часть подготовки к наступлению — скрытность сосредоточения танков — была выполнена.

Полторы недели корпус стоял в степи. Трескучие морозы да пронзительный ветер морозили души танкистов, хотя они были хорошо экипированы в меховые полушубки, валенки, рукавицы. Спали в обнимку в тесных землянках, вырытых тут же, у танков, либо в танках.

— Ревматизмом обеспечены на всю жизнь,— полушутя-полусерьезно говорил старый полковник Шаталин, у которого, в сущности, ревматизма и так хватало.

Однажды утром танкисты проснулись и с трудом вылезли из машин: их завалило снегом.

Днями и ночами Вольский уточнял мельчайшие детали операции, вместе с командирами бригад изучал местность, дороги, неутомимо ездил из одной части в другую, проверяя боеготовность корпуса. Он заметно нервничал в ожидании приказа о контрнаступлении. Его беспокоило, как бы противник не разведал место расположения корпуса. Человек темпераментный, пылкий, Василий Тимофеевич не умел скрывать свои переживания, он мог вспылить и сказать резкое слово, но всегда был справедлив, никогда не грубил, не обижал подчиненных. Его знали как хорошего собеседника, любителя шутки.

Первое время Вольский имел о предстоящей операции самое общее представление. Но когда он наконец познакомился с ее планом, у него захватило дух. «Подобного в истории войн еще не было»,— вновь и вновь приходили ему на память слова генерала (ныне маршала) Василевского.

Верно выбрано направление удара — в наиболее уязвимом участке обороны противника на флангах, где находились наименее боеспособные дивизии противника.

Но блестяще задуманную операцию предстояло провести на труднейшем театре военных действий — в удалении от железных дорог, в степи, зимой. К этому нужно было добавить бездорожье, отсутствие воды, невозможность маскировки во время движения и многое, многое другое.

В ночь накануне контрнаступления части корпуса совершили марш и сосредоточились в 15—20 километрах от противника. Мехкорпус занял исходное положение, он стоял словно напруженный, готовый обрушиться на врага всей массой огня и стали.

Танки идут в прорыв

Местом прорыва вражеской обороны был избран восьмикилометровый перешеек между сарпинскими озерами Цаца и Барманцак.

Ввод танков в прорыв именно в этом месте давал возможность выйти в тыл сталинградской группировке противника и перерезать основные его коммуникации, подходящие к Сталинграду с юго-запада и запада. А в сочетании с ударом другой группы советских войск к северу от этого района операция имела целью взломать вражеский фронт протяжением более чем в сто пятьдесят километров и окружить группировку противника в районе Сталинграда.

Западнее межозерного перешейка противник занимал на высотах сильно укрепленные позиции. Весь межозерный перешеек был густо минирован. Скаты и гребни высот на несколько километров в глубину были густо усеяны дзотами, тщательно укрытыми огневыми позициями артиллерийских и минометных батарей. С заозерных высот неприятель простреливал открытую местность на несколько километров в сторону к Волге.

Эти высоты, занятые врагом, являлись ключом к степным дорогам на юго-запад. Предстояло овладеть ими.

День и ночь наши разведчики не спускали глаз с противника, разведывали его оборону, кропотливо наносили на карту замеченные огневые точки. Все цели заранее были пристреляны.

...Приказ Военного совета Сталинградского фронта с желанными словами «В наступление, товарищи!» получен лишь перед самым выходом в бой. Как и все военные документы, он строг и скуп на слова, но многодневная мечта солдат о долгожданном наступлении сделала его торжественным и праздничным.

Глубоко волновали солдатские сердца заключительные слова приказа:

«Великая честь выпала сегодня нам — идти в сокрушительный бой на проклятого врага. Какой радостной будет для нашего народа каждая весть о нашем наступлении, о нашем продвижении вперед, об освобождении нашей родной земли! Мы сумели отстоять волжскую твердыню — Сталинград, мы сумеем сокрушить и отбросить вражеские полчища далеко от Волги.

Приказываю: войскам Сталинградского фронта перейти в решительное наступление на заклятого врага — немецко-фашист-

ских оккупантов, разгромить их и с честью выполнить свой долг перед Родиной».

Этот приказ Военного совета танкисты и мотострелки услышали в ночь на 20 ноября 1942 года. В те дни защитники Сталинграда находились на северной и южной окраинах города либо в каменистых кручах у Волги, недалеко от центра. Они были изнурены мучительной и долгой обороной. Лишь немногие из защитников города знали о том, какие могучие свежие силы накоплены южнее Сталинграда для перехода в контрнаступление.

Вечером накануне наступления танкисты собрались по ротам. Механики, водители, башенные стрелки, радисты дарили друг другу немудреные вещи — кисет, зажигалку, запасные рукавицы, иные — фотографии. Настроение у всех было приподнятое. Только помпотехи ходили как шальные: день и ночь они проверяли машины и у них болела голова от отработанного газа.

Вольский приехал на собрание в танковую часть Черного, который первым шел в прорыв.

— Вы должны помочь пехоте прорвать оборону неприятеля,— сказал он в своей речи.— Танки прорыва должны открыть путь главным силам, а потом преследовать противника. Враг не должен уйти живым от Волги и Дона.

Ночью накануне наступления ударил мороз. Он сковал льдом болота и озера.

Холодным хмурым утром 20 ноября приволжскую степь разбудил артиллерийский гром неслыханной силы, он не утихал два часа. Это Сталинград перешел в наступление. Пехота с танками прорыва заняла исходное положение вблизи противника.

И вот прозвучала команда: «По машинам!» Танки с пехотой на броне двинулись к месту, намеченному для прорыва.

Туман помешал действиям авиации, но зато прикрыл движение танков по открытой ровной местности до подошвы высот, занимаемых неприятелем. А когда туман рассеялся, пехота с танками прорыва уже была в районе межозерья и начала пробивать «ворота» для подвижных частей. Рота старшего лейтенанта Маркова, первой ворвавшаяся на высоту 87, водрузила на ней Красное знамя.

Пехота вела бой уже в глубине главной полосы вражеской обороны. В два часа дня Вольский с наблюдательного пункта командарма по радио отдал приказ главным силам своего корпуса двинуться в прорыв.

Грохот артиллерии уменьшился, она накрывала уцелевшие огневые точки неприятеля, но к ее грохоту прибавился шум моторов, лязг гусениц: в прорыв входила масса танков.

Вольский стоял у стереотрубы на наблюдательном пункте и неотрывно следил за движением танков, идущих в горловину

прорыва. Вслед за легкими, средними и тяжелыми танками в пробитую во вражеской обороне брешь двинулись колонны авто- и бронемашин, они несли в бой батальоны моторизованной пехоты с ее разнообразным оружием — автоматами, ручными, станковыми и крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми ружьями, минометами различных калибров, противотанковой и гаубичной артиллерией и гвардейскими минометами.

Танковая лавина стремительно двигалась вперед, с ходу вела огонь невиданной ранее плотности, сметая на пути все живое.

И вновь, как на переправе через Волгу у Камышина, Вольский, глядя на развернувшиеся во всей своей грозной красе моторизованные части, почти физически ощутил их могучую силу. Василий Тимофеевич вспоминал кавалерийскую службу, где он научился умению быстро принимать решения, действовать стремительно; вспоминал учебу на трофейных танках Рено; свою «тракторную» часть, как тогда, пятнадцать лет назад, называли полушутя-полусерьезно его танковый полк; Вольский думал о грандиозности операции, в которую впервые была двинута такая громадная масса танков и мотопехоты. Много лет он учился управлять танковыми войсками, потом учил этому других. Теперь ему предстояло испытать в бою все, чему он научился сам, чему он учил других.

Вот танки уже прошли первые, а затем вторые линии немецких окопов и перешли на третью скорость...

Они ворвались в тылы дивизии 6-го армейского корпуса неприятеля, разгромили штабы и командные пункты, нарушили связь. Внезапность удара и быстрота действий парализовали противника, лишили его возможности сопротивляться.

Самые трудные 10—12 километров оборонительной полосы неприятеля были пройдены. Теперь нужно было как можно быстрее пробиться сквозь все остальные рубежи противника.

Наконец танки, протаранив оборону врага на всю глубину, вырвались вместе с кавалерией на простор и тремя колоннами стали растекаться по проселочным дорогам приволжской степи.

Темная ноябрьская ночь наступила рано. Маршрут проходил по местности, пересеченной глубокими балками, оврагами. Впереди на бронемашинах, мотоциклах и легких танках двигались разведчики.

Сказалась тщательная подготовка к вводу танков в прорыв. И в самом деле, стоило какой-либо из колонн потерять ориентировку, сбиться с заданного направления, не попасть в подготовленные для движения проходы через минные поля, как это нарушило бы дальнейший ход операции. Тщательность всей подготовительной работы, знание местности командирами, решительность действий обеспечили успех дела.

Тремя колоннами танки и мотопехота стремительно двигались в открытой степи, преследуя бегущего неприятеля, не давая ему закрепиться на новых рубежах.

В коротких боях и непрестанном движении прошла ночь, прошел день. Опять наступила темнота. Двигаться ночью по незнакомой местности, по бездорожью, чуть ли не на ощупь невероятно трудно. Зато ночь помогала скрывать направление движения танков. Связь поддерживалась по радио и через офицеров связи на бронемашинах.

К ночи танки и мотопехота достигли большого села Плодовитое. Неприятель оказал здесь сопротивление. Танки двумя колоннами обошли село, а третья после короткого боя подавила артиллерию, разгромила вражеский гарнизон и, не задерживаясь, устремилась дальше, на Абганерово — крупную станцию на линии, питавшей армию Паулюса.

«На Берлин!»

Второй день наступления. Погода пасмурная, низкие облака стелются над степью. Танковые части Вольского стремительно движутся на северо-запад, к Дону. Правее их, по более короткой дуге, с боями пробиваются танкисты генерала Танасчишина — они прикрывают части Вольского от возможного контрудара противника со стороны Сталинграда.

Танкисты зверски устали, однако никто не думает об отдыхе. Всеми овладело захватывающее чувство движения вперед, к победе!

В Бузиновке Вольского задержала колонна машин, вытянувшаяся по дороге. Василий Тимофеевич вылез из своей легковушки и разговорился с солдатами, ожидавшими, когда их танки пропустят вперед.

— Куда, ребята, двигаетесь? — спросил он у танкиста, высунувшего голову из башни.

Танкист с чумазым, закопченным лицом, широко улыбаясь, ответил:

— На Берлин, вот куда, товарищ генерал!

На Берлин! Так солдат раскрыл для себя великий смысл контрнаступления в сталинградской степи.

Сержант Озерин на вопрос генерала — как настроение — ответил:

— Ребята совсем потеряли аппетит, ей-богу! Даже к водке не прикасаются. Не до этого сейчас.

И счастливые глаза на усталом лице сержанта лучше всего передали настроение наступающих войск — вперед и вперед!

У танкистов было сало, хлеб, шоколад, водка, но, удивительное дело, никто не притрагивался к еде. Конечно, люди устали:

едва танк останавливался, Озерин сразу засыпал. У башенного стрелка Максима Сипягина тряслись руки от усталости. Но каждый торопил друг друга: «Жми скорее, не мешкай!»

Вольский видел, что солдаты познали счастье победы и изо всех сил стараются выдержать темп движения по бездорожью, через балки и полузамерзшие степные речушки, по дорогам, покрытым мокрым снегом или ледяной коркой. Опытные водители быстроходных, выносливых «тридцатьчетверок», вездеходных автомобилей искусно проводили машины по любой местности, старались избегать заминок и даже минутных остановок. Вперед и вперед, к Дону, к Калачу!

Лишь немногие знали, что навстречу им движутся танкисты генерала Кравченко и генерала Родина; они устремились к Калачу на день раньше, так как им предстояло пройти более длинный путь — около ста двадцати километров.

Словно две могучие руки великана, наши механизированные корпуса охватывали неприятельскую группировку на огромнейшей территории к югу от Сталинграда, в междуречье Волги и Дона.

И все же Вольский серьезно беспокоился, как бы сопротивление противника не задержало корпус. Если танки и мотопехота замедлят темп, мастерски разработанная операция будет загублена. Судьба операции глубоко волновала Василия Тимофеевича: он с нетерпением ожидал очередной шифровки из штаба фронта о движении механизированных корпусов генерала Родина и генерала Кравченко, идущих навстречу его корпусу. «Сомкнемся или не сомкнемся» — это не выходило из головы Вольского.

Генерал замечал, что командиры нередко старались бить противника в лоб, а обратив его в бегство, по инерции следовали по путям отхода неприятеля. По радио он приказывал частям не ввязываться в затяжной бой, а в тех случаях, когда на пути встречалась противотанковая артиллерия, обходить ее.

— Обходи, не лезь в лоб,— говорил он Дорошкевичу и Асланову, Карапетяну и Родионову.— Не вышло здесь — бери левее, правее. Учите танкистов дерзости. Не слышно? Дерзости учите, говорю. Без дерзости нет танкиста.

Всей силой своей воли Вольский старался быстрее двигать вперед огромную массу танков, автомашин с мотопехотой, орудиями, броневиками.

Я стараюсь догнать штаб Вольского, который должен находиться где-то за Абганерово. По степной дороге навстречу нашему газику идут нескончаемые колонны пленных с почерневшими от лютых ветров небритыми лицами. Они идут мимо лесов солдатских могильных крестов, стоящих как грозное предостережение другим завоевателям...

Женщины везут на тачках домашний скарб. Девочка, одетая в широкое мужское пальто, несет на руках большого петуха. На пепелище седой старик роется в груде обгоревшего железа.

На окраине степного хуторка стоят несколько танков и крытых грузовиков. Усталые танкисты в полушубках спят стоя, прислонясь к броне. Другие роют могилу павшему товарищу.

В крытой утепленной трехтонке радистка Маруся Чичкан, маленького роста стройная девушка, терпеливо повторяет: «Случай», «Случай», я «Заря»...

Начальник штаба полковник Пошкус ведет по радио разговор со штабом фронта.

— Советую не глушить машину,— сказал он мне, здороваясь. Больше он не добавил ни слова, но этого было достаточно. Подвижная группировка действовала в глубоком тылу противника, в условиях своеобразного окружения. Каждый час на нас мог обрушиться удар с фланга и тыла со стороны отходящих, бегущих групп противника. И трудно сказать, кто подвергался большей опасности — идущие ли впереди разведчики Смирнов и Сколота или штаб корпуса.

— Ощущение такое, словно мы стали партизанами,— сказал мне майор Белозеров.

Когда штаб корпуса вышел перед рассветом к Абганерово, штабные офицеры увидели на станции толпы вражеских солдат. Машины оказались на виду у противника. По приказу Вольского в бой вступили танки охраны штаба и мотоциклетная рота. Стремительно атаковав врага, танки заняли станцию. Следовавшие за штабом кавалеристы закрепили успех боя. Колонна двигалась дальше, на Зеты...

Кто же окружен!

Далеко впереди головного дозора, покачиваясь на рытвинах, мчится броневик. Экипаж его — три неразлучных друга: водитель маленький худощавый Сколота, киевлянин, большой насмешник; москвич Смирнов — красивый широкоплечий парень с сияющими глазами — и командир машины Кислов — толстый молчаливый сибиряк.

Чтобы видеть далеко вперед и вокруг, разведчику почти всегда кажется недостаточной броневая щель, рискуя попасть под пули, он подымает голову над башней броневика и оглядывает местность.

У околицы села разведчики слезли с броневика, осмотрелись. И вдруг из-за хаты вышли два немца: один, в очках,— высокий, худой, другой — маленький, рыжий. Оба с автоматами и гранатами. Не доходя шагов десять, закричали:

— Рус, положи ружья!

Кислов немного знал немецкий язык.

— Я поговорю с ними,— сказал он Смирнову,— а если что — открывай огонь и по мне...

И смело подошел к немцам. Очкастый предложил Кислову:

— Идем к нашему офицеру.

Кислов ответил:

— Нет, идем к нашему офицеру.

Очкастый вытащил пачку сигарет, протянул Кислову, тот закурил. Потом немец начертил на земле круг:

— Русские, вы окружены у Дона.

— Ни хрена ты не знаешь,— сплюнул Кислов.— Это вы окружены.— И он начертил на земле круг: — Вам капут.

— Найн,— запротестовал очкастый.

Пока они беседовали таким образом, Смирнов увидел, как дуло пушки, стоящей в кювете, повернулось к нему. Еще секунда — и выстрел... Сколота моментально развернулся и ударил из пулемета.

В этот момент из оврага показались наши танки. Из села навстречу им под огнем гитлеровцев бежала толпа ребятишек с красным флагом. На другой окраине хутора матери этих ребят, вооружившись вилами, топорами, лопатами, ловили гитлеровцев, отставших от своей части...

Под вечер, когда сопротивление противника было окончательно сломлено, разведчики искали среди пленных своих «знакомых». Очкастого нашли, другой — маленький, рыжий, оказалось, был убит.

— Ну, так кто же из нас окружен? — зло спросил Кислов у очкастого.

Тот опустил голову...

Кольцо сомкнулось

В небольшом степном селении Зеты стоял крупный гарнизон немцев и два резервных полка румын. Задача — захватить Зеты с ходу — была возложена на танковую часть подполковника Черного. В полдень, развернувшись, танки атаковали село. Черный направил часть танков на центр Зеты, а основные силы бросил в обход с задачей отрезать противнику путь к отступлению. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно.

Однако танкисты подполковника Черного сумели быстро смять заслоны, и гарнизон противника, попав в мешок, вынужден был сложить оружие.

— Надо сжимать танковые колонны в гармошку,— сказал Вольский Пошкусу,— надо держать их в кулаке, чтобы быстро развертываться. В любой час нам могут дать другое направление.

Действительно, к вечеру прилетел на самолете связной офицер из штаба фронта с приказом Вольскому повернуть часть танков и мотопехоты на хутор Советский при станции Кривая Музга.

Совершив шестидесятикилометровый марш, танкисты и мотострелки к утру вышли к большому аэродрому противника.

Вражеские летчики кружились над колоннами наступающих, но не бомбили, принимая их за свои отходящие части. Гитлеровские авиаторы не могли себе представить, что советские войска могут так внезапно появиться в тылу немецких войск. Танкисты и мотопехота атаковали село, в котором размещался штаб вражеской дивизии. Насколько внезапным был этот удар, можно судить по тому, что, ворвавшись в село, наши мотострелки и танкисты увидели мирную картину: вражеские солдаты тащили воду из колодцев, офицеры занимались утренней гимнастикой.

Штаб неприятельской дивизии был разгромлен и пленен.

Противник сдавался уже целыми полками и батальонами. По степным дорогам к Волге потянулись нескончаемые колонны пленных вражеских солдат.

С рассвета 22 ноября началась атака хутора Советского. Неприятельский гарнизон в Советском насчитывал более двух полков. Атаковать в лоб — значило ввязываться в длительный бой. Вольский принял решение наносить отвлекающий удар по северной окраине. А когда началась атака с южной окраины, противник понял свою ошибку и стал перебрасывать артиллерию, но было уже поздно. Танки в полдень ворвались в хутор и подавили артиллерийские батареи. Подошла мотопехота и закрепила успех танков. В хуторе было захвачено более полутора тысяч автомашин, склады снаряжения и боеприпасов.

С занятием Советского корпус перерезал вторую, и последнюю, железнодорожную магистраль, связывающую сталинградскую группировку неприятеля с его тылом.

Вольский допрашивал пленного немецкого полковника.

— На Канны, на Седан, говорите, похоже? — спрашивал он немца.— Нет, это почище!

— Мы думали,— говорил пленный полковник,— вы так истощены под Сталинградом, что вам не до наступления.

— Вот как, ядрена бабушка, вас обманули! — смеялся довольный Вольский. Он прижимал платок ко рту, стараясь сдержать мучивший его кашель.

Для него эта победа и этот разговор с пленным немецким полковником как бы подводили итог...

Вот ради чего Вольский неутомимо изучал военную науку, искусство вождения танковых войск!

Ночью в Советский в штаб мехкорпуса приехал генерал Новиков, старый друг Вольского, командующий бронетанковыми войсками фронта. Приятели обнялись, сели за стол, выпили по ста-

канчику водки. Глядя на усталое, осунувшееся лицо Вольского, командующий думал о том, какую же железную волю надо иметь его другу, чтобы в морозные дни ему, больному, преодолевать тяжкий недуг и управлять в этой сложной обстановке такой махиной, как механизированный корпус.

Теперь задача состояла в том, чтобы соединиться с танковыми корпусами генерала Кравченко и генерала Родина, шедшими на Калач, замкнуть кольцо окружения гитлеровской группировки.

Разведка сообщила, что в Калаче сосредоточены крупные силы противника. Весь день 22 ноября мотопехота укрепляла позиции в районе Советского. В это время танкисты генерала Родина уже переправились через Дон, заняли Калач, а танкисты генерала Кравченко шли на соединение с корпусом Вольского.

Полковник Родионов выслал разведку в направлении Калача; ее обстреляла группа немцев, по-видимому отбившихся от своей части. В два часа дня на горизонте показались танки: свои или нет — разобраться трудно. Завязалась перестрелка. Родионов дал зеленую ракету, неизвестные танки тоже ответили зеленой ракетой. Тогда Родионов отрядил броневичок с офицером связи, и он помчался навстречу танкам, размахивая красным флагом. Стрельба прекратилась. Через несколько минут танкисты полковника Житкова и полковника Родионова обнимали друг друга.

Это произошло морозным днем 23 ноября 1942 года в пятнадцать часов. Наши артиллеристы, танкисты и пехота вели бой с неприятелем у Дона. На фронтах Великой Отечественной войны солдаты и офицеры еще не знали, что совершилось великое историческое событие — крупнейшее в истории великих войн окружение неприятельской армии.

По рации об этом было сообщено в штабы Сталинградского и Юго-Западного фронтов, затем подтверждено по телефону офицерами связи, и на штабных оперативных картах сомкнулись две грозные стрелы. Окружение сталинградской группировки противника завершилось. Первая важная часть операции была выполнена.

Усталые батальоны занимали оборону, окапывались на берегах Дона и Чира. Позади них в гигантском котле находились двадцать две неприятельские дивизии.

Солдаты и офицеры почти не спали, не отдыхали. Под глазами Вольского набухли мешки. И хотя адъютант несколько раз доставал из машины консервы, колбасу, водку, Василий Тимофеевич не прикасался ни к чему.

Неожиданно у него вновь открылась старая болезнь — туберкулез горла. Василий Тимофеевич «нажил» эту болезнь давно, во время испытаний танков в суровых условиях Дальнего Вос-

тока. До войны он три года лечился в Крыму, затем правительство послало его на лечение в Италию. Он залечил недуг, но сейчас болезнь вновь обострилась.

Командиры частей прислушивались к каждому слову Вольского, даже если бы он говорил шепотом; но, управляя боем, Василий Тимофеевич не мог разговаривать тихо, он не умел говорить без страсти, не вкладывая в слова приказа командирскую волю, всю силу убеждения. Он волновался, когда обнаруживал малейшую неудачу, и радистка замечала, как после разговора генерал прижимал платок ко рту и платок становился красным. Он охрип, кашлял и все чаще просил горячего чая с консервированным молоком.

Оставив часть мотопехоты в хуторе Советском укреплять занятые позиции, Вольский повернул другую боевую группу на хутор Ляпичев с задачей овладеть районом хутор Ляпичев — станица Логовская, блокировать переправы и очистить от неприятеля восточный берег Дона.

Рейд к Калачу, безостановочное движение днем и ночью, в дождь, снег, слякоть, с боями конечно, потребовали невероятного напряжения физических и моральных сил мотопехоты. Трое суток — семьдесят два часа, четыре тысячи триста двадцать минут. И ни одной минуты отдыха! Моторы не глушились; лишь изредка, пока заправлялись горючим и пополняли боеприпасы, экипажи успевали вскрыть банку-другую замерзших консервов и, пожевав их вместе с куском такого же замерзшего хлеба, снова рвались вперед, а после трех суток рейда — еще пять дней трудных боев на восточном берегу Дона. Часть танкистов и мотопехоты очищала от противника восточный берег Дона, другая приводила в порядок машины, готовя их к новым боям.

Противник несколько дней не делал серьезных попыток пробить кольцо окружения с внешней и внутренней стороны, но успел укрепить свои позиции. И в тот момент, когда части Вольского после напряженных боевых действий осматривали и ремонтировали машины и готовились к перегруппировке, они были атакованы танковой группировкой фельдмаршала Манштейна.

У хутора Верхне-Кумского

Заснеженная равнина, пересеченная оврагами. Лютый мороз, густой туман. Пятый день корпус генерала Вольского ведет бои у хутора Верхне-Кумского.

Маленький, всего в полтораста дворов, степной хутор Верхне-Кумский стал местом ожесточенного сражения. Через Верхне-Кумский пролегал наикратчайший путь, по которому пытались прорваться к своей окруженной группировке гитлеровские войска.

По радио Гитлер передавал Паулюсу: «Держитесь, к вам идет поддержка. К рождеству мы выведем вас из окружения».

В район Котельниково были стянуты крупные силы врага, спешно переброшенные с Кавказа, из-под Брянска, даже из Франции. План противника состоял в том, чтобы одновременным ударом — с юга от Котельниково и с запада от Тормосино — разорвать кольцо советских войск вокруг 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии Гота.

Группой немецких войск «Дон», шедшей на выручку окруженным войскам, командовал фельдмаршал Манштейн. В состав группы «Дон» входили три танковые, четыре пехотные, одна моторизованная и две кавалерийские дивизии; она начала свое контрнаступление из района Котельниково 12 декабря.

Для отпора армии Манштейна советское командование двинуло на рубеж реки Аксай дивизии кавалерийского корпуса генерала Шапкина, войска генерала Труфанова и другие воинские соединения.

Они должны были встретиться с врагом, у которого имелся большой перевес в количестве людей и техники.

В основу замысла по разгрому группировки Манштейна была положена идея фланговых ударов. Стояла задача разрезать танковый клин Манштейна на две части и ликвидировать возможный прорыв неприятельских танков через рубеж реки Аксай. Необходимо было отрезать танки от пехоты и тылов наступавшего противника, а затем бить их порознь. Удар с правого фланга должны были наносить танки и мотопехота генерала Вольского, с левого фланга — танкисты генерала Танасчишина.

Первые бои с войсками Манштейна в районе Верхне-Яблочного завязала наша конница. Она приняла на себя удар танковой дивизии противника, которая оттеснила ее к Дону.

Но удар по правому флангу наших войск не принес противнику желанных результатов. Потеряв около ста подбитых и сожженных танков, он повернул на запад от железной дороги и двумя танковыми дивизиями двинулся на Верхне-Кумский.

Это потребовало быстрого выдвижения частей Вольского, разбросанных на стокилометровом пространстве по восточному берегу Дона, в район Верхне-Кумского.

События развертывались стремительно. Две танковые дивизии противника форсировали реку Аксай. Но к этому времени сюда вышли стрелковый полк подполковника Диасамидзе, танковая бригада подполковника Асланова и истребительно-противотанковая бригада.

Развернулись тяжелые бои, продолжавшиеся четыре дня. Активными контратаками продвижение врага было задержано.

Назрел момент фланговых ударов по неприятелю. С востока и запада одновременно пошли навстречу друг другу танковые

соединения Вольского и Танасчишина. Главные силы мехкорпуса Вольского были полностью повернуты на юг и подходили к полю боя в районе хутора Верхне-Кумского.

Не случайно главные силы Манштейна были стянуты сюда. На подходе к реке Мышкова, у хутора Верхне-Кумского, откуда Манштейну оставалось пройти 45—50 километров до зажатой в кольцо сталинградской группировки немцев, развернулось генеральное сражение. Оно продолжалось семь дней — с 15 по 21 декабря.

Потеряв до перехода реки Аксай свыше ста танков и в боях южнее Верхне-Кумского еще сто танков, дивизии Манштейна настойчиво продолжали рваться вперед. Немецкий фельдмаршал бросил в атаку все свои силы. Бои были ожесточенными и кровопролитными. Противник почти впятеро превосходил наши силы.

... Когда вражеские танки атаковали стоявшую в балке бригаду Асланова, он сказал своему заместителю по политчасти Тулину:

— Ну, если меня убьют, командуй частью, пожалуйста.

Командир бригады Ази Асланов — маленького роста, худощавый, на вид старше своих тридцати трех лет. Он ветеран танковых войск, в боях с белофиннами командовал взводом, а через три месяца после начала Великой Отечественной войны стал командиром танкового батальона. Воевал под Тернополем, Винницей, Белой Церковью, под Курском и Харьковом, был дважды ранен.

— Спокойный командир,— одобрительно говорил об Асланове полковник Пошкус, считавший спокойствие духа лучшим показателем мужества и разумности командира.

Бой шел на фронте шириной в 12—18 километров. Четыре из них приходилось на долю танков Асланова. Со дна балки, покрытой заиндевелым чернобылем и нагнанным ветром со степи перекати-полем, танкисты хорошо видели гребень холма и на нем неприятельские машины.

Балка стала для танкистов подполковника Асланова господствующей позицией, какой обычно бывает у пехоты господствующая высота. Единственным приказом Асланова в тот день был приказ вести бой из засады. Маневрируя вдоль балки и на обратных скатах высоты, танкисты были недосягаемы для прямых выстрелов врага. В то же время любая машина противника, появляющаяся над балкой, попадала под прицельный огонь наших танков.

Гитлеровцы совались вправо, влево, но не смогли пробиться сквозь наш подвижный танковый забор.

— Как на стрельбищах,— кричал оглохший от выстрелов башенный стрелок Максим Сипягин.

— Немец хитер, а наш подполковник еще хитрее,— отвечал ему механик-водитель Озерин.

За четверо суток непрестанных боев танкисты Асланова подбили около ста неприятельских танков.

Моторы не глушились и ночью. Танкисты дремали и ели, не покидая машин.

Самым тяжелым был день 20 декабря. Бригада Асланова, до этого находившаяся в резерве командира корпуса, была брошена в бой, чтобы сдержать прорвавшегося противника. Пехоты не было. Неприятельские автоматчики уже достигли северной окраины села.

Асланов снял по одному человеку с каждой машины и образовал пеший отряд для поддержки танков.

Неприятель непрерывно атаковал с воздуха. Заместитель командира корпуса генерал Шарагин все дни находился в штабе Асланова. Когда Вольский спрашивал его по радио, как дела, Шарагин отвечал:

— Пока ничего. Вот только «чушки» настроение портят.

«Чушками» Шарагин называл вражеских бомбардировщиков.

Лишь тогда, когда неприятель прорвался у соседа, занял Верхне-Кумский, Асланов получил приказ отойти, прикрыв отход соседа.

На другой день он вновь восстановил положение.

...Василию Тимофеевичу становилось совсем худо: болезнь его с каждым днем обострялась, и он, скрывая свои страдания от окружающих, прилагал неимоверные усилия, чтобы не свалиться.

Его целиком поглощали мысли о дальнейшей судьбе Сталинградской операции, о том, как устоять перед попытками вражеских танковых дивизий разрубить кольцо окружения, как парировать удары неприятеля то в одном, то в другом направлении.

Ах, как не хватало матушки-пехоты! Пехоты было совсем-совсем мало — один стрелковый полк Диасамидзе.

Беспокоясь за жизнь танков, Вольский приказывал создавать у дорог узлы сопротивления, поскольку нельзя было противопоставить неприятелю сплошной танковый забор, а также надежнее прикрывать танки мотопехотой и артиллерией.

Теперь даже те танкисты, которые раньше слегка задирали нос перед мотопехотой, лепились к ней: можно было поспать два-три часа, зная, что твою машину оберегают стрелки.

В эти тяжко трудные дни генерал внешне был спокоен, и окружавшие его офицеры не догадывались, насколько опасно болен их командир. Лишь внимательный Пошкус замечал лихорадочный блеск в больших голубых глазах Вольского и мелкую испарину, покрывавшую его широкий лоб.

18 декабря в разгар боя Василий Тимофеевич получил от генерала Василевского радостную весть: его корпусу, а также пехотинцам подполковника Диасамидзе объявлена благодарность за отличные боевые действия у Верхне-Кумского.

«Надеемся,— было сказано в телеграмме,— что вы сможете продержаться до подхода ударных частей».

Василевский сообщал далее, что корпусу присваивается звание гвардейского, подполковнику Асланову и подполковнику Диасамидзе присвоено звание Героя Советского Союза. Верховное Главнокомандование приказывало представить к наградам отличившихся солдат и командиров.

А Манштейн снова и снова пытался прорвать кольцо окружения. Мотопехота и танкисты выдерживали сильнейший напор танковых дивизий немцев. Высокая подвижность мотопехоты и танков позволила им выполнить труднейшую задачу активной обороны на широком фронте. Обнаружив стремление противника переместить направление своего удара на левый фланг, мехчасти ночью совершили тридцатикилометровый марш вдоль линии фронта, в непосредственной близости от противника, прикрыв себя боковым охранением. Утром, когда враг начал атаку, его встретил мощный контрудар наших подвижных войск. Гитлеровцы перенесли удар на правый фланг, но мотопехота и танки, переброшенные с одного фланга на другой, опять парировали вражеский маневр.

К 20 декабря сражение достигло наивысшего напряжения. Манштейн бросил в бой все танки, что он имел. Ценой больших потерь ему удалось захватить Верхне-Кумский. Наши войска были вынуждены отойти за реку Мышкова.

Но время германский фельдмаршал уже упустил. Гвардейские дивизии генерала Малиновского, совершив в невероятно короткий срок двухсоткилометровый марш, еще к 15 декабря начали сосредоточиваться на рубеже Громославка — Ивановка — Каптинский. В мороз и ветер гвардия шла без отдыха и сна. Населенные пункты на пути их движения были заняты под госпитали и тылы действующих войск. Короткие остановки совершались под открытым небом. Поэтому обогревать людей было невероятно трудно.

К 24 декабря войска Малиновского полностью сосредоточились в избранном пункте. Предусмотрительность Ставки, обеспечившей своевременный подход свежих сил к полю боя, решила судьбу группировки Манштейна. Наши силы возросли, а силы врага иссякли. Достаточно сказать, что за двенадцать дней, с 12 по 24 декабря, немцы потеряли у Верхне-Кумского около 300 самолетов, 500 танков, 376 орудий, 1000 автомашин. Только убитыми враг потерял 17 тысяч солдат и офицеров.

И вот настал момент уничтожающего удара по группировке Манштейна. Советская гвардия нанесла этот мощный удар на рассвете 24 декабря.

Немцы не смогли сдержать напора наших войск и в первый же день были отброшены на двадцать пять километров.

Темп наступления советских войск нарастал. Гвардейцы вышли на рубеж реки Аксай и продолжали гнать неприятеля дальше, к Ростову.

К утру 30 декабря танкисты генерала Ротмистрова ворвались в Котельниково. С группой Манштейна было покончено.

Войска генерала Малиновского форсировали Дон. 29 декабря донской рубеж преодолела еще одна группа войск в районе Потемкинский и Верхне-Курмоярской и 30 декабря овладела Тормосино, соединившись с левым крылом Юго-Западного фронта.

Так вместе с десятками тысяч вражеских солдат и офицеров были похоронены надежды и планы гитлеровского командования выручить свои 6-ю и 4-ю танковую армии, взятые в железное кольцо у Сталинграда.

Успешные действия советских войск южнее Сталинграда показали непреодолимую волю солдат и офицеров к победе над врагом. Победило высокое боевое мастерство наших солдат и командиров, а наша бронетанковая техника показала свое превосходство над техникой врага.

* * *

Штаб гвардейского мехкорпуса генерала Вольского расположился в Тингутинском лесничестве. Стоял трескучий мороз, дух захватывало от обжигающего восточного ветра. Танкисты и мотострелки отогревались в землянках, приводили себя в порядок, мылись, перечитывали письма от родных, готовились к встрече Нового года.

На открытом поле стоял наготове санитарный самолет, присланный для Василия Тимофеевича. Бледный, осунувшийся, он обнимал своих сослуживцев.

— Ну вот, друзья мои, собрались мы вместе после боев, каждому хочется многое сказать, а мы смотрим друг на друга и молчим.

Вряд ли Василий Тимофеевич подозревал, что коварная болезнь скоро уведет его в могилу. Сейчас он испытывал щемящее чувство сожаления, что расстается со своим корпусом, со своими солдатами и офицерами. И рядом с этим чувством в нем жила твердая убежденность, что его родной Сталинградский гвардейский мехкорпус, совершивший подвиг в великой битве, никогда не утратит своей славы, рожденной в степи между Волгой и Доном.

Так же, как и другие командиры, он еще не знал точно, но угадывал, какие большие и славные победы открывала всей Советской Армии сталинградская победа — мать этих грядущих побед.

Василий Тимофеевич оставался верен себе: он ни слова не говорил своим сослуживцам о болезни, гнал от себя мысли о ней. Его теперь занимало другое: надо осмыслить великую Сталинградскую операцию по окружению противника, изучить то, что сделано.

— Будут, друзья мои,— вслух размышлял Вольский,— будут изучать нашу операцию во всех военных академиях. Повсюду, всегда... Не все же Канны, да Седан, да Росбах... А нам самим следует особенно отчетливо выявить, что мы сделали поучительного. И выводы продумать, и уроки извлечь — крайне полезно на будущее. Нам ведь еще не один день пути до победы...

Санитарный самолет окружили командиры, солдаты, танкисты, мотострелки. Поднимаясь в самолет, Вольский прощально поднял руку и поклонился Черному и Белому, Ази Асланову, Белозерову, Андрееву, Шарагину, Пошкусу, старшине Сколоте, державшему под мышкой посылку с изюмом из Узбекистана, радистке Марии Чичкан, старшему сержанту Федору Озерину, лейтенанту Кислову, всем гвардейцам, кто внес вместе с ним свою долю тяжкого военного труда в великую победу у Сталинграда.



«С разгромом немецко-фашистских войск на Волге Красная Армия развернула наступательные действия от предгорий Кавказа до стен героического Ленинграда.

В январе 1943 года перешли в наступление войска Закавказского фронта. К этому времени гитлеровское командование, боясь нового «котла», начало отводить свои силы с Кавказа. Советские войска неотступно преследовали противника. За месяц боев на Северном Кавказе они продвинулись на 160—600 км. Враг, понимая опасность прорыва наших войск на Таманский полуостров, усиливал сопротивление.

Особенно ожесточенные бои шли в районе Новороссийска. Здесь в начале февраля в предместье Новороссийска — Станичке — высадился десант советских моряков под командованием Ц. Л. Куникова. Отважные десантники захватили небольшой плацдарм. Наше командование стало наращивать на нем силы и расширять его. В течение семи месяцев на этой «Малой земле» десантники отбили сотни вражеских атак.

Душой обороны «Малой земли» был мужественный коллектив коммунистов 18-й армии, возглавляемый начальником политического отдела армии Л. И. Брежневым. Широко проводимая коммунистами 18-й армии партийно-политическая работа обеспечила высокий моральный дух «малоземельцев».

«Малая земля» была примером мужества, массового героизма».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 346.

АРКАДИЙ
ПЕРВЕНЦЕВ

ОТ ВОЛГИ ДО МАЛОЙ ЗЕМЛИ



1

Генерал Герман Беме сидел перед нами в скромном кабинете начальника Красногорского лагеря для военнопленных высших чинов и, постепенно оправившись от опасливого смущения, не только отвечал на вопросы, но и, насколько считал возможным в его положении, вступал в слабую полемику.

Из группы генералов, предоставленных в наше распоряжение для уточнения тех или иных фактов недавней войны, необходимых для накопления материалов к летописному художественному фильму «Третий удар», генерал Беме был наиболее колоритной фигурой. И, кроме того, именно он командовал после генерал-лейтенанта фон Бюнау знаменитой в своем роде 73-й пехотной дивизией, входившей в состав 17-й немецкой армии, вторгшейся на Кубань и предназначенной для захвата Новороссийска, Туапсе и всей линии черноморского побережья до границы с Турцией.

Немцы считали эту дивизию знаменитой: она, видите ли, первой вступила в Париж, ее знамя украшали ордена, а Герман Беме вместе с Адольфом Гитлером участвовал в церемонии подписания акта о капитуляции Франции в вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу. Тогда же Беме получил золотой рыцарский крест.

А позже с дивизией Германа Беме дрались под Новороссийском и в Крыму наши стрелки — чекисты, морские пехотинцы, снятые с кораблей, казалось бы, обреченного на гибель Черноморского флота, дрались Цезарь Куников, Николай Сипягин, бесстрашный Ботылев, морские орлы Проценко, Глухов, Африканов и многие, многие другие...

После разгрома 17-й армии в Крыму и пленения ее остатков на дважды окровавленном мысу Херсонеса Герман Беме был схвачен возле не успевшего подняться в воздух «юнкерса». Всего на несколько часов опоздали мы к месту, и я не сумел там увидеть генерала, ограничился осмотром его последнего блиндажа и пришитого нашими асами-штурмовиками присланного из Констанцы «юнкерса».

Теперь генерал сидел на краешке стула, нервничал, курил предложенные ему папиросы «Казбек», и, чтобы скрыть волнение, рассматривал коробку с изображенным на ней джигитом на коне на фоне Кавказских гор.

— Вы шли захватить Кавказ, генерал?

— Конечная цель — да,— он кивнул головой, с коротко стрижеными волосами и глубокими залысинами на узком черепе. Щупленький, небольшого роста, остролицый, с круто вывернутыми черными бровями. Мне почему-то подумалось, что он саксонец. Такие лица характерны для юга Германии.

— Не удалось? — переводчик, молоденький капитан, постарался более подробно уяснить для понимания столь краткий вопрос. Поэтому генерал отвечал долго, что-то разъяснял, обращался то ко мне, то к режиссеру Игорю Савченко, то к равнодушно внимающему беседе коменданту.

— Ты их только задень, сразу пробита плотина, не слова, а поток, любят водолитней заниматься,— угрюмо сказал комендант. Он указал глазами в окошко. Там, на бывшем мусорище, были разбиты аккуратнейшие грядки с морковкой и свеклой, ближе к штакетнику уже цвели флоксы, а на одинокой клумбе, окантованной белыми камешками, поднимались высокие георгины.— Заставляю их поближе к землице... умеют... Тут у нас такая была неразбериха, а вот теперь мизинчик поцелуешь.

Переводчик постарался изложить суть речи генерала. Оказывается, он был сторонником эвакуации с Кубани и также оставления крымской западни. После Сталинграда русские умело применяли котлы. Имея в составе мобильной 17-й армии ненадежные румынские дивизии, трудно было надеяться на успех в сложных условиях гористой местности. Сравнительно легкое продвижение армии по азовскому побережью вскружило голову не только легко воспламеняемому генерал-полковнику Руоффу, но и более осмотрительному командующему 1-й танковой армией генерал-полковнику Клейсту, «увлеченному степями» до отрогов Кавказа.

— Как он расценивает штурм и взятие Новороссийска?

— Взяв с моря блестяще укрепленный Новороссийск, русские совершили очередное чудо! — переводчик с улыбкой добавил: — Он пошутил насчет того, что бог, в которого не верят коммунисты, почему-то помогает атеистам, а отказался помогать немецким солдатам, несмотря на то, что у немецкого солдата на пряжке ремня написано «с нами бог».

— Не ищите повсюду только чудес.— Пришлось привлекать близкие ассоциации.— Вам удалось вырастить морковь и флоксы на свалке, а советской власти пришлось выращивать абсолютно нового, в моральном и социальном отношении, человека на истощенной царским самодержавием почве. Этот новый человек и победил. Вас разгромили на берегах той самой исторической Цемесской бухты, где отцы героев новороссийского штурма затопили корабли Черноморской эскадры, чтобы они не достались немцам, пришедшим с огнем и мечом из империи

кайзера Вильгельма. В Компьенском лесу вы торжествовали победу над Европой, а бойцы из геленджикской Марьиной рощи разбили дивизию, вступившую во французскую столицу. Русские, казалось, побежденные вами в восемнадцатом году, разбили вас наголову и фактически спасли не только Францию, но и Германию от позорного гитлеризма. Подумайте, генерал, над этими историческими фактами...

Беме слушал с опущенной головой, бесстрастно, но внимательно, ловя каждый звук голосов как моего, так и переводчика, по-видимому, с еще большим пафосом излагавшего суть ответа.

Когда переводчик закончил, Беме поднял глаза, прищурил их, и мне показалось, усмешка тронула уголки глаз. Вывод, сделанный им, был несколько неожиданным для нас, но единственно возможным для трезво организованного ума профессионала:

— Дисциплинированные солдаты могут делать чудеса.

— Но немецкий солдат отличался самой высокой дисциплинированностью. Не подумали ли вы о сознании?

— Коммунистическом?

— Если хотите, да. В это понятие включается сознание справедливости борьбы за свои права, открытые революцией, за право быть свободным, за право защищать свое новое, социалистическое Отечество.

Генерал гитлеровского рейха, взятый в плен через восемь месяцев после новороссийского штурма, уклонился от прямого ответа и, судя по дальнейшему разговору, не пытался задуматься над значением нравственных качеств, приобретенных народами бывшей Российской империи в революции.

— Русские всегда отличались храбростью и повиновением своим командирам. Они сумели отвоевать огромную континентальную империю, первую в мире страну по территории,— генерал вздохнул, развел руками. Он нерешительно взял новую папироску, наклонился к зажженной Игорем Савченко спичке, поблагодарил кивком головы.— Только Германия могла решаться на борьбу с Россией... Только Германия...

Савченко тряхнул своим пышным пшеничного цвета чубом, нетерпеливо спросил, как всегда чуточку заикаясь:

— Ну и что же, господин генерал?

— Германия добивалась определенных успехов. В восемнадцатом году немецкая армия была в Ростове, у Дона, в эту войну мы добрались до Невы, Волги, Кубани и Терека...

— Зато наши войска дошли до Шпрее и Эльбы! — воскликнул Савченко.

Беме сокрушенно пожал плечами, ссутулился, погасил папироску, не докурив ее, как бы машинально сунул «бычок» в тот

карман кителя, где сохранились невыцветшие на сукне контуры от снятых «железных крестов».

— С горечью приходится сознаться. Так случилось...— он поднялся, тем самым подчеркивая необходимость закончить неприятный для него и затянувшийся разговор.

— Время обедать,— объяснил комендант, более верно истолковавший этот жест.— Они обед не пропустят. Помню, были на молитве, а тут кто-то шепнул, что привезли для раздачи сапоги — как ветром всех сдуло...

Все же мне хотелось до конца выяснить, поняли ли эти высшие чины, что же произошло, нашли ли они объяснение тому, почему русский солдат в семнадцатом году оставлял фронт, а в сорок пятом дошел до Берлина.

— По-видимому, это область политики, а я солдат...— уклончиво ответил Беме и в нерешительной позе утомленного беседой человека стоял в ожидании приказа на выход, поглядывая на коробку «Казбека».

— Возьмите, генерал.— Я протянул ему коробку.

Никогда не забыть мне, как он оживился, взяв эту коробку папирос, подобрел к нам, словно забыв проведенные с нами неприятные минуты очередного допроса; он, конечно, не поверил, что мы творческие работники, что ищем материал для нового фильма, ни на грош не поверил.

А вот в коробку «Казбека» поверил. Это была реальность. Он вышел почтительно, с улыбкой подобострастия, потому что «завладел» «Казбеком», всего-навсего картонной папиросной коробкой, а не тем самым Казбеком, к которому вожделенно неслись танки Клейста, Руоффа и шагала пехота 73-й дивизии, некогда маршировавшая по Елисейским полям...

— Такого и сними, Игорь...

Савченко улыбнулся, махнул рукой в сторону закрывшейся за Беме дощатой двери:

— Не нужен мне такой. И потом ты меня оставил без к-к-урева...— Свернув цигарку из табака, предложенного ему комендантом, он сказал: — Просто н-н-евероятно, п-п-ерерождаются, что ли, они?

— Перевоспитываются,— твердо заявил комендант.— А если бы он взял верх над нами, поглядели бы тогда на него! Это они сейчас ласковые...

— Да, сейчас они такие,— согласился я,— а если бы мы не повергли их знамена к гранитным ступеням Мавзолея?

Вспомнилось, как один литератор, которому было поручено писать сценарий о Сталинградской битве, звонил мне восторженно: «Говорил с Паулюсом, замечательный человек! Приятный, умница, деликатный...» и что-то еще наподобие этого. Мне пришлось прервать его восторги: «Не обманись! Тебе писать

о нем. Тебе увековечивать образ врага. Сейчас он деликатен, приятен, а посмотрел бы ты на него, если бы он стал комендантом Москвы, ведь к ней-то в конце концов рвалась его армия. Как бы он тогда беседовал с тобой, этот приятный человек?»

Поскольку память коснулась Сталинграда, разрешу себе описать картину, представшую моему взору в летние дни сорок третьего года.

2

К Новороссийску мы ехали до Грузии пассажирским № 47, кружным путем через Сталинград — Минводы — Баку. Нынешнему читателю факт поездки пассажирским поездом ничего не говорит, а тогда это была победа, радость. Шел поезд да где еще! Шел по недавним полям битв, куда раньше можно было бы добраться только с бомбогрузом. Шел мимо развалин станций, по хлипким мостам, положенным на сколоченные из бревен клетки вместо каменных опор.

Уже возрождалась жизнь. Даже харчишки на продажу выносили к перрону — нехитрую снедь,— но что-то все же было. Сюда уже не залетали «юнкерсы» и не слышалось орудийного гула, хотя еще готовилась битва на Курской дуге, кипели бои на Голубой линии, вгрызались в Миус-узел и Молочную гвардейские дивизии сталинградцев, еще были оккупированы Севастополь, Керчь, Новороссийск, Анапа и Тамань.

Утром, после суток пяти, я проснулся в Арчеде. Отодвинул шторку и увидел рядом обгорелую стену и змеевидные щели лопнувшей кирпичной кладки. Вышел из вагона. Железнодорожник в армейских сапогах и черной сатиновой рубахе охотно рассказывал осипшим голосом:

— Станцию смахнул сразу, а вон там был дом начальника дистанции — стесал фундаментально. Станцию держим пока там, где банк был, крышу слепили из всякой горелины, в дождь протекает, а в зной все же...

Поражало отсутствие всякой растительности, ничего, кроме лебеды, пробившейся сквозь окалину почвы по краям фугасных воронок. Во дворе, где жил начальник дистанции, разжеванные кусты сирени и единственная яблонька с несколькими уцелевшими веточками; на них зацепились кусочки рваного металла, — художнику, решившему изобразить зловещую сущность войны, не отыскать бы лучшей символической натуры.

Рельсы на отстойных путях разорваны, остовы пульманов словно побывали под ударами гигантских молотов, массивные колеса — казалось бы, их ничем не возьмешь — продырявлены, будто они из папье-маше.

Прошли три состава с ломом для Сталинградского металлургического: самолеты, танки, скелеты вагонов, гусеничные тягачи,

орудия — все то, что сгребается с полей брани. Все, что убивало, грызло, калечило, теперь пойдет в печи, в очистительный жертвенный огонь и снова в прокат, в стройные формы для нового боя.

Поезд полз медленно... Полустанки, сметенные подчистую, а под откосами трупы паровозов и вагонов.

Вчера пролился первый за лето дождь. Воздух посвежел. Вылинявшее небо заголубело и закурчавилось тучками. А поля такие же: рано постаревшие, низкий стебель, тощий колос. Одинокая косилка поднимает пыльцу. Кони худые, чахлые, на косилке старик в немецком мундире — трофейном ширпотребе.

— Ты, глянь, сумели же вспахать и засеять! — удивился моряк, высунувшийся из окошка. — Вот кому надо давать «За отвагу»!

Пашня кончилась. Последняя позолоченная гривка осталась за холмами. Началась степь, с матовыми кулигами полыней, молочаем, дурнослепом и проволочным от засухи пыреем. За Качалинской протянулся древний вал, наивный заслон против набегов на Русь. Столетия размыли его, а стада протоптали копытами свои письмена. По глинищам, мертвым как могилы, поднялся бурьян, сюда возвратятся пернатые хищники, улетевшие от войны в Казахстан.

У Котлубани засели надолго: пропускаем воинские эшелоны. Словно обрывки туч, неслись поезда к фронту, чтобы там сомкнуться в единую, грозную, градовую.

— Колдует Верховный большую полундру,— говорит один из матросов, наблюдая за эшелоном с реактивными минометами под темным брезентом,— ишь какие юбчонки надели «катюши»! Танцуют на ветерке!

Матросы держались вместе, веселые, красивые в их изумительной форме, от которой скисает в простоквашу самый изысканный армейский щеголь. Талии, затянутые ремнями, тонкие, гибкие, как у танцоров-джигитов, а плечи! На таких-то плечах только и к месту шикарный воротник фланелевки, а повернется матрос, непременно под самый кадычок рябая полоска неизменной тельняшки, будто вторая кожа, ее не отлепить, не отодрать. Моряки дрались под Москвой, под Тихвином, теперь их путь лежит к Черному морю.

За Котлубанью степь сражалась вовсю. Говори ни говори, сама степь развернет свиток летописи, недавно написанной огнем и мечом. Стрелковые и пулеметные ячейки — их разве не узнать! — зигзаги ходов сообщения в полный рост,— значит, стояли здесь долго и под смертельным огнем, иначе не заставишь по-кротовьи вгрызаться в скупую почву. Буро-желтые бугры капониров для артсистем, и много, очень много могил, со звез-

дочками на дощечках, имена, написанные карандашом, уже полузатерлись непогодой. Танки, тоже много, тоже мертвые. Записываю их имена: «Котовский», «Гастелло», «Клим Ворошилов», «Суворовец». Каски по всей степи, будто бахча с накатанными кавунами. Есть каски обгорелые — пекли в них картошку. Есть и немецкие могилы с прямыми крестами, их пока не трогают, да и некому.

В самой Котлубани станция — в вагоне. Село сметено. Над землянками трубы, свернутые из черной жести. Большое кладбище легковых немецких малолитражек. Как гончие псы, они добежали сюда и сдохли. У откоса приткнулся бортом некогда грозный КВ.

Среди обломков войны на самодельной тележке разъезжает мальчишка. Он весело объясняет, как ему оторвало бомбой ноги.

Эта веселость юного калеки вызывала надсадное чувство горечи, хотелось тоже улыбнуться ему, но губы как омертвели — не раздвинуть.

— Вот сколько наколотили... Мы их... мы их...— с азартом выкликивает мальчонка, захлебываясь смехом, и люди, жалея его, дают деньги, хлеб, вареные картофелины.

Какой-то солдат прихромал к нему, вытащил из кармана зеленых брюк шелковое кашне, наклонился и повязал ему через плечо, как ленту.

— Мне? Насовсем? — лепетал мальчишка.

— Тебе, а кому же,— отвечал расчувствовавшийся солдат,— мы с тобой кореши, на двух один отросток, ничего, малец, лишь бы головы целы...

А вокруг мотки колючей проволоки, вороха железных ящиков из-под патронов, останки гусеничных передач танков, нефтецистерны со вспученными от взрыва боками, обгорелые вагоны. Зато столбы новые, кажется, пахнут сосной, шлагбаумы — тоже, только кривые, сшитые железными шинами. Много металла, но нет деревьев и дерева. Степь! Все завезенное дерево в золе, остался металл.

Прежние зеленые посадки у полотна снесены, в жалких переплетениях кустарника и среди пней — окопы. Там, где были литые пулеметные гнезда, следы бетона на глине. На блиндажах рельсы. Пепел костров, тысячи оспин, выжженных на земле. Здесь грелась и варила пищу огромная армия. Огонь костров, согревавших кровь армии, прожег снега и проклеймил степь калеными пятнами.

В одном окопе вырос подсолнух, хотя здесь на десятки километров не сажают ни подсолнухов, ни зерновых. Семечко выпало из кармана солдата — откуда ему еще взяться — возможно, солдата убили, но семя проросло на скудной земле,

политой кровью. Желтая шапка, вылезшая из одиночной стрелковой ячейки, чутко следит за солнцем.

Опять станция, вернее, только ее название, и снова — блиндажи, рваная овчина, кости, котелки и ...каски. Русские и немецкие. Кабины серых германских машин, как гнезда хищников по всей степи, сколько их, стальных коней, прибежавших за смертью в равнинные древние степи России! Где их всадники, куда исчезла разноплеменная рать, под сухой стук барабанов, шедшие к краю гибельной бездны?..

И что еще? Неужели это песня мертвых машин, как бы замогильный голос, шелест, стоны и скрипы. Ветер, ничем не остановленный степовик, завихрялся в остовах машин и крутил лопасти вентиляторов. Нигде, никогда я не видел и не слышал такой страшной песни мертвого металла и не помню, кто бы рассказывал мне о таком. А это было в середине июня вблизи Разгуляевки, где степь сражалась особенно жестоко, где много могил и просто погребальных холмов, где земля была опалена пожаром и скрюченный дюраль отмечал места вонзившихся в землю самолетов.

Еще не умолкли в сознании страшные песни пустынной военной степи, и новые впечатления овладевают тобой. Влево по ходу поезда показалось крыло Сталинграда. Белые клыки разрушенных стен и пепелища мелких домов... Город открывался руинами заводского поселка тракторного завода, зданиями, которыми так гордились рабочие, когда я был здесь в прошлом году проездом перед Севастополем. Тогда я с невольной печалью думал: «Вот не будет меня, а город будет стоять, что ему!» Тогда мой друг, командир авиадивизии Иван Красноюрченко, герой испанских боев, разрушал строй моих мыслей своим оптимизмом, молодостью, желанием поскорее сразиться с врагом, а не скучать в облаках со своими хлопцами 110-й дивизии ПВО.

3

Сталинград. Рука отказалась ставить восклицательный знак. Что такое Геркуланум и Помпея в сравнении с этим истерзанным городом, опрокинутым навзничь зловещей силой варваров, а не бессознательной стихией природы. Город был перед нами, и города не было. Сердце сжималось от боли и глаза нельзя было оторвать. Пронзительно остро воспринималась героическая трагедия событий, коим еще не минуло и полгода.

Дома́? Нет ни одного дома, то есть нет тех домов, которые мы привыкли представлять в понимании слова «город». У разбитых стен продиралась жалкая растительность — бурьян и тот был истощенный, кривостеблистый, со следами царапин и над-

ломов. Кое-где поднимались черные трубы заводов, и за ними плоско блестела река. Отсюда были видны песчаные отмели правобережья, в миражной дымке островок Крит. Удивительно то, что город просматривался до Волги и оттого казался плоским. Будто пришла осень, ветры сдули листву, и вот обнажились деревья и открылось все, что пряталось за их густыми ветвями. Баков, характерных для приречного пейзажа Сталинграда, баков с горючим не было; казалось, близко текли воды реки; думалось — прислушайся и услышишь ее плеск и шорох.

И что еще поразило меня — звук клепки. На весь город, как в пустом цехе, слышался стук молотка, эхо свободно летало, приближалось и уходило и снова возвращалось.

Безмолвно стояли люди, высыпавшие из вагонов. Ни возгласов, ни слов, ничего: немо смотрели они на картину свершенного у берегов русской реки злодейства.

К тракторному тянулась подъездка. Насыпь, междушпалье заросли хилой травой пепельного цвета. Металл золотился от ржавчины, и такой же рыжей позолотой были тронуты сгоревшие вагоны.

Поезд остановили у семафора. Рельсы, положенные на израненную насыпь, сверкали, отполированные колесами вагонов, и это было единственное, что предвещало дальнейшую жизнь, возможность видеть будущее в некоем туманном отдалении, ибо тогда еще не верилось, что можно поднять и поставить на ноги этот смертельно израненный город и что это будет скоро — еще при нашей жизни.

У насыпи — ячейка стрелка. Немецкая каска с орлом на боку и кожаным сопревшим подшлемником. Ближе к заводу женщины на носилках перетаскивали кирпич. Уставшие, измученные женщины. Они часто садились отдохнуть, и не было радости на их изможденных лицах. И опять кругом мотки проволоки на еловых рогатках, вкопанные танки с открытыми люками, паровозы, отброшенные взрывом с крутизны, и руины, руины...

— Вот видишь,— сказал мой спутник,— невозможно описать. Когда меня спрашивали, как Сталинград, я отвечал коротко: города нет.

Но стучал одинокий молот, клепали баки на берегу. Это был звук возрождения, призыв, предвозвестник, скажем — символ... Пусть это пока одиночка, эхо, повторенное будто в жуткой сказке, но город будет, иначе к чему человек? Человек!

Поезд тронулся с кряхтением и шипением. Все бросились к вагонам, сгрудились на площадках, повисли на подножках. Тем, кто на крышах, было лучше, обзорней...

Депо без крыши, и потому видны стоявшие на промывке паровозы. Над депо флаг, развевающийся под ветром, дующим с бугра Мамая.

Кажется, станция, но никто не знает, где она теперь. Сошедшие с поезда женщины спрашивают: «А где же станция?» Прежнего вокзала нет, одни руины. Временный вокзал строят внизу, при выходе в город, из дерева. А пока вокзала нет. Люди получают справки в будке, поставленной у воронки, невдалеке от кладбища немецких машин. У разбитого фонтана пляшут цементные пионерки, асфальтовая улица уходит к площади Павших Борцов. Зеленеют израненные, стесанные огнем деревья.

У витрины «последних известий» сгрудились военные: «Наши войска перешли в наступление на орловском направлении».

Отдельно витрина «Правды». Пожелтевшая газета за 11 июля, здесь она еще свежая, сегодня 16-е. Гляжу, глазам не веря,— рецензия Федора Гладкова на мой роман «Испытание». Я не читал рецензию, жадно пробегаю ее глазами, а потом осторожно снимаю газету и прячу ее. Спасибо, Федор Васильевич! Я еду к твоей молодости, к Новороссийску, к цементным заводам, где стали насмерть и не сдвинуты с места мои боевые друзья, с которыми я был разлучен горькими месяцами страданий.

Анатолий Сафронов (он тоже едет на фронт) говорит:

— Подумать только, нужно же произойти такому совпадению. Ничего, теперь тебе будет сопутствовать счастье. Бомба не падает дважды в одну и ту же воронку. В прошлом году тебя сбили и бросили оземь, в нынешнем обойдется...

Действительно, в прошлом году, чуточку пораньше, а именно 2 июля, наш самолет врезался в землю в районе фронта Миллерово, Чертково. Тогда погибли писатель Евгений Петров и часть экипажа. Мне удалось выжить, несмотря на тяжелые ранения. В Сталинград тогда доставили меня с фронта, с хутора Маньково, где был похоронен Евгений Петров.

Это и имеет в виду мой друг Анатолий Сафронов, с которым мы едем на южный фланг советско-германского фронта.

Анатолий читает набранную мелким шрифтом статью Гладкова, возвращает мне, и мы молча идем к разбитому вокзалу, вернее, к яме на месте его, к яме, где валяются немецкие эрзац-валенки огромных размеров, пустые пулеметные ленты, скрученный металл. Двое мальчонок, типичные беспризорники, едят воблу. У них черные лица, и оттого выделяются ясные белки. Застеснявшись нас, мальчишки прячутся за выступ стены, где висят простреленные часы, время на них остановлено на половине первого.

— Зову их обмыться, не хотят, боятся, как одичавшие котята,— говорит подошедшая к нам женщина, худая, почерневшая, в рванье, но бодрая и словоохотливая.— Недорезова Ольга,— называет она себя.— Раньше работала буфетчицей на вокзале,

пережила под землей всю оборону на территории, захваченной немцами. Две трети оставшихся жителей было убито. Гитлеровцы забрали у нее все, что было в доме, мебель вынесли в блиндажи, сорвали с шеи медальон, с руки — браслет, отняли последний головной платок. Отнимали даже у детишек. Когда наши ударили, испугались, чуточку подобрели. Наш огонь был страшнее немецкого, сильней была и бомбежка. По поселку работали «катюши». Фашисты были убиты почти все: лежали, сидели на корточках, стояли на коленях — как застала их смерть.

Женщина говорила нервно, взахлеб, поламывая пальцы. На ее лице почти не менялось отрешенное, застывшее как маска, выражение боли и испуга. Нетрудно было понять душевное состояние столь много пережившего человека.

— ... Вот только последний дождь как-то смыл всю гадость, а то нельзя было поднести кусок хлеба ко рту. Все было опоганено. Весной по улице текли красные ручьи, кровь вымывало, когда таяло. Каждая щепотка земли была пропитана кровью...

Речь ее стала ровнее, успокоились руки, в глазах появилась уверенность, женщина говорила о будущем, она надеялась на тех, кто вернется сюда и возродит город.

Поезд неторопливо движется в некоем подобии ущелья из завалов свезенной на разбор и переплав военной техники. Особенно много авиационного лома, тут смешались обломки и советских и немецких самолетов, черные кресты и красные звезды. Иногда разборщики лома, как бы для наглядной агитации, выкладывают поверх груд только «кресты». Десятки верблюжьих упряжек, привезших из степной глубинки зерно, колоритно выглядят на фоне дюралевого лома.

Через два года герой Сталинграда В. И. Чуйков проведет по Берлину вместе с марширующими колоннами сталинградских дивизий верблюда. Но это будет только спустя два года, а пока...

Бекетовка, ее жилой массив цел. Это производит странное впечатление и невольно протираешь глаза, как при наваждении. Кирпичные корпуса, матовые крыши отсвечивают на фоне голубовато-опалового неба, накрывающего своим ясным пологом недалекие калмыцкие степи, восточный окаем Ставрополья...

— Бекетовку почти не бомбили, сюда они не добрались,— сообщает подполковник с лихо надвинутой на один бочок фуражкой.— Они рассчитывали здесь зимовать... В Бекетовке пока сосредоточены областные учреждения. Когда построятся в Сталинграде, переведут туда...

И Сарепта не пострадала. Над путями карьеры немецких касок. Что-то жуткое, верещагинское, в этой картине военного апофеоза. А еще более символично и предупреждающе — скирды мундиров, да, именно скирды, и на них солдаты с вилами

и грузовики, подвозящие сюда для складирования в длинные стога одежду некогда самовлюбленного гитлеровского воинства...

Глазами современника, со страниц дневника, разрешаю себе дополнить картину сражения у Абганерова.

Нечего придумывать или строить догадки — здесь шла жесточайшая схватка. Танки изуродованы, орудия измяты, даже стволы погнуты и запечены окалиной, скелеты коней, копыта и подковы... И никогда не забыть — телеги, дерево изгрызано конскими зубами, съедено, а не просто обглодано, съедено до предела, когда уж зубы не могли взять железную ковку бортов. Кони съели телеги, а потом люди съели голодных лошадей.

Поезд простоял у Абганерова до ночи, взошла луна и мертвенно залила своим равнодушным светом поле битвы. Под лунным светом, как море в Крыму, блестят, искрятся, вспыхивают и гаснут осколки стекла на черной выбитой земле. Стекло как бы впаяно в землю, втоптано подошвами, копытами, колесами...

Оказывается, немало стекла содержится в боевой технике.

Мы с гордостью и пронзительным чувством восторга и печали вспоминаем величайшую в истории войн битву, сражение у стен Сталинграда.

Начало этой битвы складывалось для Красной Армии нелегко, даже трагично.

Летом 1942 года с борта санитарного самолета, чуть приподняв голову — тяжелое ранение приковало меня к носилкам,— я видел россыпь отходивших на восток под ударами немецких войск полков нашей армии. Позже я видел пылавший город, чудовищные факелы зажженных нефтебаков, окутанного дымом бронзового Хользунова и, что было особенно страшно, горевшие воды могучей реки. Слышал пикирующий вой «юнкерсов».

Паулюс и Гот вели свои пехотные, моторизованные и танковые корпуса к Волге, стремясь перерезать центральную артерию России. К ней стремилось свыше миллиона неприятельских солдат с семью сотнями танков и десятью тысячами стволов артиллерии, прикрытых мощным воздушным флотом. За Волгой лежали заманчивые для врага просторы степей, раздолье для танков и мотопехоты — кати на восток до отрогов Памира! И враг стремился на восток. Ему удалось преодолеть оборонительные сооружения, созданные наспех перед Сталинградом невероятным напряжением защитников города. Но сам город стал неодолимой крепостью — уличные баррикады, завалы, ежи и полуразрушенные дома!

Защитникам Сталинграда не было места за Волгой. Родина не давала им этого права. Десятки тысяч известных и безвестных бойцов по воле сердца стояли насмерть. Каждый боец принял

6-1607

на себя куда больше металла и взрывчатки, чем весило его бренное тело.

Родина велела сынам своим любой ценой остановить врага, выстоять. И они стояли.

А тем временем Ставка Верховного Главнокомандования в глубочайшей тайне собирала мощные силы для того, чтобы нанести врагу ошеломляющий внезапный удар, расчленивший и окруживший войска группы «Б», сокрушивший надменный нацистский дух.

Ранним утром 19 ноября 1942 года сверхураганным тысячествольным огнем орудий и реактивных установок был рожден праздничный день могучей советской артиллерии. Для оккупантов начались «горячие» денечки, когда торопливые записи в дневниках обрывались на полуслове. Возмездие обрушилось на тех, кто осмелился поднять руку на суровую Русь. Еще недавно сражавшиеся с отчаянием обреченных солдаты врага бежали теперь с трусливой обреченностью. Но бежать было некуда. Три фронта — Юго-Западный, Донской и Сталинградский — окружили, а потом и разгромили армию Паулюса, пленили ее остатки.

У стен легендарного города, в бесконечных степях и буераках, в снегах Приволжья высоко взметнулась слава советского солдата, приумножившего подвиги суворовских чудо-богатырей, и на скрижалях военной истории были вырезаны имена полководцев и военачальников: Жукова, Василевского, Воронова, Еременко, Рокосовского, Чуйкова, Толбухина, Малиновского, Ватутина, Кравченко, Жадова, Батова, Родимцева, Ротмистрова... Всех не перечислить! Великая битва породила великих героев!

«Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию,— писал генерал Вестфаль.— Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск». Мог ли предполагать тогда этот генерал, что впереди гитлеровскую армию ожидают поражения на Курской дуге и в просторах Белоруссии, разгром в Восточной Пруссии и, наконец, капитуляция в Берлине!

Остались позади скирды немецких мундиров и поля великого сражения.

Повсюду мы видим следы «нового порядка» расы «господ». Все станции на железной дороге Сталинград — Сальск — Тихорецкая взорваны. Под откосами вверх брюшиной вагоны, паровозы.

Вот паровоз, подброшенный силой взрыва и застывший в какой-то воистину звериной позе, на раздавленных стенах станции. Какая невероятная картина! Словно разъяренный тигр с расставленными лапами. Все обращают внимание, высовываются в окна, провожают глазами.

«Немец прошел!» — говорят с суровой испепеляющей ненавистью люди. «Прошел, но не ушел!» — и глядят на плоскую степь с наваленными на ней трупами «железной конницы».

Поезд шел по равнине, залитой светом полной луны. Даже ночью тянулись обозы беженцев, возвращавшихся в родные места. На руках матерей дети. Над обозами пыль, где гуще, где реже, смотря по грунту дороги.

Утром появились поля пшеницы, низкой, хилоколосной. Убирают косами. Машинной тяги нет: война угнала технику на поля сражений. Пережидаем эшелоны, ведомые мощными паровозами серии «ЭУ». На платформах «доджи», танки, гусеничные трактора — окрашенные в темно-зеленый цвет.

Такую бы технику да на сельскую ниву! Распахала бы она затоптанные кладовые южного чернозема, но нет, мимо, мимо идут, мрачно насупившись, воинские эшелоны. На платформах солдаты в выгоревших гимнастерках — крестьянские и рабочие парни мчатся туда, к войне, им еще не приспело время заботиться о плодовитой земле, пока она еще долго будет служить им лишь защитой: зарыться поглубже, спрятаться от злого металла или лечь в ней навечно.

Трепетно жду родную мне станцию Ея. Близ нее, в станице Новопокровской, в доме моего деда по материнской линии, прошло мое школьное детство. Незаметно подъехали к Ее. Незаметно потому, что размылся знакомый пейзаж, срезаны лесопосадки, упала водокачка, приметный мост мягко прошипел под колесами — вместо каменных быков, шпальная клетка. Станции, конечно, нет, сохранилось багажное отделение. Ночь прохладна. На земле, тесно прижавшись друг к другу, спят женщины, их много, вероятно, не меньше ста. В чем дело? Ожидают поезда? Какого поезда? Куда им ехать по разоренной Кубани?

— Ожидаем двадцать шестой год,— отвечает одна из женщин, разбуженная свистком паровоза, поднимаются и остальные, отряхивают с одежды солому.

— Какой двадцать шестой?

— Призваны наши дети двадцать шестого года. Были в Прохладной, а теперь вроде должны направляться на Сталинград и дальше на фронт.— Женщина протягивает письмо.— Вот написали нам, проедем через Ею. Ждем...

— И давно ждете?

— Я недавно, всего трое суток, а некоторые уже по две, по три недели...

Горько защемило сердце. Матери. Оборванные крестьянки — на земле, возле мешков с нехитрой, приберегаемой для детей снедью, сколько материнского бесслезного горя, тоски...

Три недели на земле возле железнодорожных путей, прислушиваясь к каждому гудку, к отдаленному, приближающемуся

стуку колес. А когда зашипит паровоз и звякнут буфера вагонов, спрашивают, умоляют:

— Не из Прохладной?

— Не двадцать шестой год?

Много эшелонов проходит через станцию Ея. Спрыгивают танкисты, стрелки, они вначале шутят над женщинами, еще не разобравшись, в чем дело, а потом лица их становятся строги. Они утешают, дают сахар, галеты, кто банку консервов «второй фронт» — американской колбасы. А матери ждут своих сыновей.

Двадцать шестой! Сколько же им, этим ребятам? Только-только по семнадцать!

Оглянемся назад с вышки юбилейного тридцатилетия и еще раз поймем напряженное биение пульса, отвагу и скорбь юности, печаль матерей. Много ли их, семнадцатилетних, вернулось с войны? Я видел их, не по возрасту злых, в яростных атаках под Крымской, у Черного моря, опаленных, с потрескавшимися губами и полным равнодушием к обещанным наградам.

Луна залила мертвенным светом развалины Еи и человеческие фигуры на земле, за кирпичной стенкой багажного отделения.

Люди говорят почему-то негромко, шепотом, фашисты отсюда ушли, но еще не выбиты с Кубани. Они зацепились за бугры и балки, залегли за плавнями и тростниками, притаились у хребта Маркотха, и как знать, не разверзнется ли снова бездна: люди видели всякое и стараются не искушать грядущее словесным перезвоном.

Нет разъезда Ровного, нет Порошиной, нет Тихорецкой, Малороссийской, Мирской, нет Кавказской. Везде руины и преследующие по всему пути бесконечные остовы низвергнутых с откосов поездов.

Над обломками станции Кавказской, на фоне обгорелых стен черными буквами слова: «Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их «новому порядку» в Европе!»

Кавказскую бомбили месяц тому назад. Теперь долетают только самолеты-разведчики. В Отрадо-Кубанской много перевернутых вагонов, пригнанных, судя по надписям, из Франции и немецкого Рура. Вагоны «дойче рейхсбан» и «франсе» уже успели прорасти нашенской лебедой.

Девушка с косами, смуглая, красивая, смеется, лущит семечки, машет в ответ на приветствия.

Два дружка-кубанца на остановке делятся впечатлениями. Один, в комбинезоне танкиста, играя ямочками на полных щеках и сияя улыбкой, рассказывает, как он убил немецкого автоматчика, другой, с погонами лейтенанта,— как рубил под Матвеевым Курганом. Парни из одного колхоза и встретились на

скрещении путей. В их облике легко угадывалось казачье, лихое. Так — взахлеб, хвастались во времена моего детства казаки, вернувшиеся с турецкого фронта, из-под Сарыкамыша и Эрзерума.

Кубань перед Гулькевичами разлилась широко и мутно. Кружат ленивые от сытости водовороты, плывут коряги и еще что-то похожее... надо отвести глаза. Лучше глядеть на девчат в светлых гимнастерках, зенитчиц, охраняющих мост. Мосты все новые, восстановленные. Изумляешься великой силе наших военно-инженерных частей, здорово они поработали в войну, и все время почти без техники, под «Дубинушку». Мало о них пишем.

Меня очень обрадовало, что Маршал Советского Союза А. А. Гречко в своей книге «Битва за Кавказ» отдал должное нашим техническим войскам, саперам.

Трое суток едем по территории, опустошенной врагом. Армавир — Минеральные Воды — Беслан. Вдалеке показались Кавказские горы. И сюда докатились его танки. Какой восторг, какое звериное чувство доступности должны были испытать завоеватели, ощущая всем существом хищника близкие горы Кавказа, а за ними, может и Персию, и Индию, просторы, видевшие Александра Македонского.

И вот первая уцелевшая станция — Слеповецкая, хотя и здесь были немцы. Говорят, обошла казачья конница, и станцию не успели взорвать. Итак, через укрепленные завалы Махачкалы, по-над Каспием, на Баку и туда, куда тянет, присасывает, к родным черноморским окаемам, к Новороссийску, через Батуми и Поти.

4

Новороссийск оказался камнем преткновения для немецкой армии, вторгшейся через донские ворота на Северный Кавказ. Попытки отрезать наши войска у Новороссийска взятием Туапсе окончились неудачей. Танки корпуса Кирхнера, армейский корпус Де-Ангелиса и горные стрелки дивизионной группы Ланца, несмотря на двойное и тройное превосходство как в людях, так и в технике, захлебнулись на ближних подступах к Туапсе, встретив ожесточенное сопротивление нашей 18-й армии, позже покрывшей славой свои знамена и под Новороссийском.

Летом положение стабилизировалось, и вряд ли кто из немецких генералов рассчитывал вновь возобновить столь резво начатую в прошлом году кавказскую операцию.

В наших руках находилась железная дорога. Через Туапсе шло снабжение армии, действующей на побережье. Мы владели и морским путем, и караваны мелких судов могли проходить вдоль берегов под конвоем и прикрытием артиллерии до самого Геленджика.

Шоссе вдоль берега являлось также коммуникацией, связывающей Батуми, Поти, Туапсе с Новороссийским оборонительным районом.

Мы ехали из Батуми на военных машинах.

Туапсе раскинулся перед нашими глазами как повторение панорамы Сталинграда — досталось городу, очень досталось. Казалось, не к чему и прислониться, так велики разрушения. Все же жизнь есть жизнь: появились горожане, идут войска и грузы перевалки, хотя порт сильно пострадал и даже мол пробит в нескольких местах насквозь, и свободно гуляет в акватории знаменитый туапсинский «тягун».

От Туапсе начинаются фронтовые дороги, с их особым режимом. Указатели — «питьевая вода», «вода для скота», «щель», «съезды»,— траншеи и огневые точки. Лозунги на щитах: «Слава героям Малой земли», «Нашей Красной Армии слава». Села у побережья отрадно кипят хорошо экипированными войсками, слышатся залпы учебных стрельб, крики «ура», характерные по звуку разрывы гранат. Готовятся.

В порту грузят на транспорты снаряды, патроны, мины, муку и шанцевый инструмент для инженерных частей. На быстро оседающий ниже ватерлинии пароход весьма старой конструкции втаскивают орудия и минометы. Где-то в развалинах скрыты солдаты, их возьмут на борт в темноте. В дощатой столовке, куда проходишь по гибким доскам настила, знакомлюсь с командирами-моряками, легко запоминаю примечательные фамилии — Державин, Тимошенко. Эти офицеры водят корабли неутомимого «тюлькиного флота», как любовно окрестили сторожевиков и морских охотников. Им-то впоследствии пришлось обмануть немцев, тихонько и будто невзначай сосредоточиться в памятные сентябрьские дни и высадить дерзкий десант в ощеренной всеми видами смертоносного оружия Цемесской бухте. Офицеры перебрасывались короткими фразами, понятными только им, ели говяжий гуляш, а потом принялись за арбузы, шутили: «Зеленые еще, зато уже лучше огурца...»

Идти морем в Геленджик нам не рекомендовали: дольше и опасней. Лучше проскочить на машинах. «В Архипо-Осиповке зарядитесь яблоками,— рекомендуют ребята,— а то в Геленджике компот из сухофруктов». Никто не бравирует, о войне говорят исключительно по-деловому, ни единой выспренней фразы, люди втянулись в военный быт. Лица свежие, загорелые, одежда хорошая, чубы густые — молодежь.

Такая же обстановка и в Геленджике, куда мы попали чуточку за полдень, после прохладной, на росной траве, ночевки в Архипо-Осиповке.

Трудно узнать Геленджик — курортный, прежний. Его тоже покорежили, но не целиком, наполовину. Город типично при-

фронтовой. Слышен близкий гул орудий, рев барражирующих истребителей, кругом часовые, и окрик «стой!» не раздражает, а бодрит. Как правило, охрану несут матросы, бравые парни, картинно вооруженные: гранаты и кинжалы, фланелевки с выгоревшими гюйсами, бескозырки приспособлены лихо.

В эти дни в вечность вписывалась Малая земля, или, как ее называли, земля Цезаря, в честь Куникова. Его могила за морским госпиталем, на кладбище, в скупой земле среди проволочных кустарников.

В то время знаменитая Галина Петрова еще работала медсестрой в госпитале, а Николай Сипягин командовал дивизионом сторожевых катеров, держа штаб в небольшом кирпичном домике на Тонком мысу, на той стороне бухты. Еще не настало время Галине Петровой первой броситься на минное поле перед Эльтигеном в десанте морской пехоты на керченском побережье Крыма, а Николаю Сипягину дерзко ворваться в Новороссийский порт на своих отчаянных сторожевиках. Геройство и Золотые Звезды у той и другого были еще впереди, но жизни оставалось им немного. Последние два-три месяца ходили они по земле.

Первую ночь мы провели в подземном кубрике батареи береговой артиллерии Челлака на Тонком мысу. Кубрик оборудован двухэтажными сплошными нарами с притоком воздуха только через дверь. Вниз, пожалуй, десятка три ступенек.

В бухту, разводя рябоватую волну, садились «эмбээры» (морские ближние разведчики), словно утки на плес, вернувшиеся со жнивья после зерновой подкормки. Чем-то родным и близким повеяло от этих гидропланов. На них мне приходилось летать на боевые задания и познать дружный мир морских пилотов — разведчиков и бомберов, подружиться с ними еще на Тщикском водохранилище, в селах Ивановка и Николаевка.

Все последующие за приездом дни, как и положено, были заполнены одним, самым главным — изучением, познанием обстановки того времени, обстановки; которой предстояло войти в историю. И потому нельзя было упускать ни общего, ни частностей, внимательно проникать в сущность явлений и событий.

Фронтовые будни, из коих постепенно складывался праздник победы, скромные герои. Сколько их осталось безвестными? А ведь война была общенародным подвигом, мужественным делом миллионов, и пойди отличи, кто главный, а кто второстепенный.

Теперь, когда Новороссийску и Керчи присвоили звание городов-героев, хочется рассказать о том, что мне удалось увидеть в них тогда, не претендуя, разумеется, на широкий охват событий,— этому посвящены исследовательские книги наших полководцев.

Батарея Челлака, судя по расположению на крутых склонах бухты, предназначалась для обороны самого Геленджика и морских подступов к нему, а также для поддержки своими дальнобойными крепостными орудиями Малой земли и ударов по западным окраинам Новороссийска.

Ближе к фронту, на высотах у Кабардинки и севернее нее, располагались стационарные батареи Белохвостова, Давиденко и Зубкова. Все они, так же как и батарея Челлака, входили в 1-й гвардейский артдивизион гвардии майора Михаила Владимировича Матушенко, стяжавшего славу еще при обороне Севастополя.

Фронт уже стабилен. С опаской летают немецкие самолеты. Их безнаказанность кончилась. Наши асы, не смыкая глаз, ждут появления немцев. Чуть что, и началась, как подшучивают летчики, игра в кошки-мышки.

Немцы теперь чаще летают ночью. Их вышаривают прожекторами, бьют из зениток и атакуют истребители-ночники. Куда ни ступишь — все укреплено, пляжи заминированы, глубина обороны протянулась на сорок километров по кривой, которая отделяет передовые укрепления близ цемзаводов до базового Геленджика. Напрямик ближе. В сумерках появляются у пирсов кораблики «тюлькиного флота», быстро загружаются и идут на героическую Малую землю, как бы прикрытую с северо-запада сытой тушей горы Колдун.

Идет размеренная, некрикливая жизнь ночных причалов, дыхание моторов рыбачьих сейнеров, мотоботов, шхун и сторожевиков. Караваны небольшие, верткие, их прикрывает с суши береговая артиллерия, с воздуха авиация, с моря торпедные катера.

Не ищите у причалов ничего сверхгероического, все весьма обыденно, просто. Бойцы пополнения балагурят вполголоса, подтрунивая друг над другом, угощают фруктами, смачно хрустят яблоками. Прежде всего запасаются гранатами и дисками для автоматов. Нормы нет, сколько унесешь, столько и бери. Санитарки с туго набитыми сумками раздают индивидуальные пакеты, которые берут лишь потому с охотой, что можно перекинуться словом с девчонкой, пожать ей руку.

Матросы держатся с большим достоинством, плотными группами, каски надевают в самый последний момент, а так бескозырка, и у каждого по своему фасону надета, хоть изучай характер.

— Наши хлопцы труса не отпразднуют! — похваливает моряков, идущих на бешеную, тряскую землю Мысхако, один из провожающих офицеров. У него хриплый голос, белки глаз яркие, как у негра, на задубевшем от морского ветра лице вроде есть и усики, а может, это просто тень. — Для таких хлопцев са-

мая ценная в жизни находка,— продолжает он,— уважение своего народа... Живые выйдут со всей этой чертоскубии, поцелуют кормовой флаг и разлетятся веером...

Сипягин подхватывает меня под локоть:

— Пошли попьем чайку. А этого травилу Сашку не переслушаешь. Заметил вас — и пошел бурлить, как в кильватерном. На берегу болтун, а как станет за руль, сразу с него вся фанаберия слетает. Отчаянно умелый командир...

В домике, где штаб дивизиона Сипягина, дожидаются чайник и закуски. Начальник «Смерш», курчаво-рыжий офицер с плотным торсом гиревика, мудрует у приемника, ловит хрипы и шумы, немецкий лай: видно, там прокручивают Геббельса или Гитлера.

Сипягин недовольно хмурится и после второй чашки со вздохом советует:

— Шел бы к себе, парень. И так все полуоглохшие.

Когда тот ушел в другую комнату, Сипягин прислушался к гулу улетающих бомберов, к раскатистому, повторенному эхом залпу тяжелых стволов, сказал:

— Малая земля. Теперь, говорят, просто, а ведь мне пришлось ее прощупать перед десантом. Мне повезло — высаживал Куникова. Сколько мы вот на этом самом месте с ним проговорили. Ковали, как смастерить получше, пообходительней, чтобы и ладно, по заданию и не слишком резко по жертвам. Можно было создать такое кровавое месиво. Тяжелый принцип — любой ценой. Да и не могли мы любой ценой, в кишени у нас было маловато.

На основной десант у Южной Озерейки не поскупились, даже «союзничков» привлекли,— так Сипягин именовал крейсеры и эсминцы,— а нам швырь-брось оставили, что, возможно, и лучше, лишние люди под ногами не толклись на мысхаковском пятачке. Немцы не ждали, вот мы их и облапошили темной февральской ночью...

Сипягину было поручено высадить Куникова. Это ему удалось по морской части, как Цезарю Львовичу — по сухопутной.

Куников начал с Приазовья, где он принял командование над полутысячным отрядом, сформированным из моряков сторожевых кораблей и катеров. При рождении этого храброго отряда, названного Азовским батальоном, был командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Горшков.

Азовский батальон летом 1942 года беззаветно дрался за Темрюк и прибрежную станицу Курчанскую, бойцов батальона поддерживали огнем канонерские лодки и 40-й артиллерийский дивизион.

Комфронта С. М. Буденный высоко оценил героизм моряков, дравшихся за Темрюк, сравнил их с героями обороны Севастополя.

Пятясь и ожесточенно сопротивляясь численно превосходящему противнику, армейские части и морпехота дрались за Новороссийск, имея перед собой отлично оснащенную, кадровую 73-ю пехотную дивизию.

Фашистам пришлось подтянуть еще одну дивизию и кавалерию румын, чтобы добиться успеха, как и всегда в своей тактике, они не считались с потерями. Куников отходил вдоль побережья, через Анапу и не раз скрещивал оружие с наседающим врагом. Таким образом, батальон закалился, приобрел боевой опыт.

Известно, что десант на Южную Озерейку, считавшийся главным, по разным причинам не удался, а демонстративный, на Станичку, куда послали Куникова, удался. Конечно, имело значение то обстоятельство, что главные силы врага были отвлечены на Озерейку, где действовали и крупные наши корабли. Воспользовавшись этим, Сипягин сумел незаметно подобраться со своими катерами к берегу и выгрузить прямо в холодную воду смельчаков первого броска. Позже, когда обозначился успех, Куникову стали регулярно подбрасывать подкрепления и в конце концов создали надежный и прочный плацдарм площадью в двадцать четыре квадратных километра, источник будущих бед врага.

Куников в прошлом был журналистом, редактором газеты, но любил и знал военное дело, и эти военные знания пригодились ему, он умело использовал их на полях сражений.

Сипягин говорил о нем с большой теплотой: «Вот здесь, на вашем месте, сидел не раз Куников. Придет, постучится и робко войдет, милый был, приветливый человек, интеллигентный...— Сипягин вспоминал, морща круглый лоб и пристукивая пальцем по столу, словно выбивая морзянку.— Прежде всего дотошно разведывал местность, ту самую разнесчастную Суджукскую косу. Все огневые точки отмечал, вымерял действенный огонь и определял мертвое пространство. По лоциям изучал глубины у берега, грунты, осыпи, возможность самоокапывания; приучал своих ребят воевать с умом, не лихостью брать, не идти в атаку с криком «полундра», а тихо, смертельно тихо бросаться на врага. Однажды принес камышинки, спрашиваю его: «Зачем? Мундштуки будешь делать?» Он улыбнулся, присел, взглянул на меня, а глаза у него выразительные, умные, говорит: «А если по примеру древних славян, камышинки в рот и бесшумно, неожиданно, врасплох».— «Ну, браток,— говорю ему,— брось эти штуки, вода холодная, пока подплывут, зуб на зуб не попадет, погреться боем можно, а высушиться негде, сам знаешь...» Как был одет? Обычно, непритязательно, по-солдатски: ватник, шапка-ушанка. Когда шел в десант, захватил с собой автомат, две тысячи патронов и десять гранат.

— Товарищей его знали?

— Все были его товарищи,— ответил Сипягин.— Нераздельный с бойцами был человек. Возможно, свою роль сыграла и малочисленность подчиненных... Люди все в стальном комке были, куда ни повернешься, молекула... Возле него погибли храбрые офицеры, могу назвать Костикова, Тарана, его верного адъютанта Хоботова, прикрывшего его своим телом. Двенадцатого февраля Куникова, тяжело раненного, везли сюда на катере, спешили: вез его начштаба Иван Жерновой, бывший учитель. Он рассказывал, что Цезарь просил яблоко перед смертью, а где оно, яблоко-то? Значит, высадили мы его в ночь на четвертое февраля, а двенадцатого уконтрили, гады. Почитай, неделя всего прошла с небольшим... Похоронили мы его в Геленджике, на кладбище, за морским госпиталем, там в конце концов большое организовалось поселение...— Сипягин умолк, и вернуться к разговору мне пришлось позже, при посещении Малой земли, когда уже была налажена твердая плацдармная жизнь. Здесь действовала не только морская пехота, но и армейские соединения. Приходилось удивляться, услыхав слова: корпус, дивизия, бригада. Малая земля вырастала в опасный клин, который позже превратился в осиновый кол для армии Енекке.

Тело Куникова потом перенесли из Геленджика в Новороссийск. Рядом похоронили и Сипягина, героя сентябрьского штурма в Тамани. Сипягин был убит, когда возвращался на сторожевике после выброски десанта на Эльтиген. На этом корабле был его заместитель Попов, доставивший тело комдивизиона в станицу Таманскую.

Я не видел мертвого Сипягина. В моем воображении он остался живым. В фуражечке набочок, с лицом, смуглым от южного солнца и морского ветра, с лукавой улыбочкой в уголках рта.

Как и многие из офицеров среднего звена, Сипягин не знал о широких замыслах командования, связанных с бесстрашным прорывом десанта на Новороссийский рейд. Однако он не сомневался, что в скором времени «голубая линия» врага будет взломана. А наиболее мощный ее форпост — в первую очередь.

— Достаточно обогнуть тупым концом карандашика вот тут,— Сипягин провел кривую вдоль берега до Тамани,— чтобы понять, как хитромудро можно посадить гитлеровцев в мешок. Куда им деваться, кроме Керченского пролива? Некуда... Сломать здесь замок и быстренько обойти, до Чушки, и амба, как говорили на «Трансбалте».

Немногим больше двух месяцев нас отделяло от полулунной ночи 10 сентября, когда катера Сипягина бросили на дерзкий

штурм воздвигнутой Эрвином Енекке твердыни, бригаду морской пехоты Потапова, отдельный батальон изумительного Ботылева, стрелков Каданчика и пограничников Пискарева.

Бывший ставропольский школьник, моряк торгового флота, отчаянный, смелый Сипягин нетерпеливо готовился в любую минуту ринуться навстречу подвигу.

Немногим больше двух месяцев отделяло его, так же как его боевых товарищей Африканова, Ботылева, Райкунова от Золотых Звезд Героев.

— Уходил я одним из последних из Новороссийска, как и положено, морем, вывел свое хозяйство в первую очередь, огрызаясь и отплевываясь. А потом из-под самого носа фрицев вытащил необходимый нам, как воздух, плавучий кран, вытащил этаким туберкулезным буксирчиком. Посмеялись тогда хлопцы. А что? Как мог и чем мог...

Беседы с Сипягиным — мы называли его Колей — происходили не часто, а врубились в память. Года два тому назад поехал разыскивать тот штабной домик. Нашел. Даже удивительно, на Тонком мысу так и стоит.

5

С первого же дня нас прикомандировали к артиллеристам, они кормили нас, давали транспорт, помогали через их оптику изучать дом за домом, квартал за кварталом, где со зловещей осторожностью из каждой щели выглядывал враг.

Командовал гвардейским артдивизионом береговой артиллерии Михаил Владимирович Матушенко.

Конечно, прифронтовая полоса — это прифронтовая полоса, ни убавить, ни прибавить: не до удобств. Имелись пекарни, камбузы, провиантские склады, труба побудки, столовки, флотский борщ и компот, чистое белье, набитые соломой подушки, кипяток и дешевое виноградное вино, хотя большая часть виноградников раскорчевана под аэродромы.

Бойцы не только воюют. Они устраивают соревнования по бегу, прыжкам, перетягивают канат, проводят лекции, читки газет, собрания.

Активно ведется политическая работа. Нам сказали, что начальник политотдела 18-й армии Л. И. Брежнев отправляется на катере на Малую землю, выдает там партийные билеты, обходит траншеи, проводит политические занятия. Опасность, подстерегающая каждого, кто переправляется на Мысхако, его не пугала, хотя однажды их катеру попало, и контуженному начальнику политотдела пришлось тяжело.

По совету Матушенко мы поехали на крепостную батарею Зубкова.

Мыс Пенай, где стояла батарея, находится за Кабардинкой, селом, стоящим на половине сорокакилометрового пути между Новороссийском и Геленджиком.

У Кабардинки прибрежная долина несколько расширяется. Щели, впадины, характерные для всякого крутого водостока, а также густые заросли дикого леса, помогают скрытому накоплению резервов, отлично маскируют от воздушного глаза «фоккевульфов» до начала наступления.

С утра небо очистилось, заголубело, и Матушенко недовольно морщился, поглядывая вверх. «Разбойничье небо, — шурясь говорил он.— Вся надежда на «яки» — неусыпных часовых воздуха». Ночью артиллерия здорово молотила по противнику: уши у всех «заложило» от напряжения.

Шоссе прорезает низкоросльe, взбегая на голые высотки с рано побуревшей травой. В этот час, да еще при таком небе, оно почти пустынно. Едут по крайней необходимости, ведь враг, ко всему прочему, оборудовал оптические пункты на господствующей горе Сахарная Голова.

В придорожных лесках и под кустами спят намучившиеся за трудовую ночь водители.

За одним из крутых поворотов открывается Новороссийск: рассыпанные по взгорьям домишки, руины центральных улиц. Отсюда в миражной дымке видна Малая земля. Ее обстреливают. Дымки частых разрывов на всей площади и недалекие то одиночные, то дружные залпы.

— Эшелонами кладут металл,— хмуро говорит шофер,— после войны хоть домны ставь на земле Цезаря. А вон та мохнатая гора — Колдун. Желтые пятна — виноградники, рислинг, бывший, конечно. А вон те белые птички — бывшие домики Станички, радиостанция, кладбище, а у тех обрывов, где торчат притопленные корабли,— пирсы.

— Притопленные?

— Подбитые, вернее сказать. Когда высаживалась морская пехота. От пирса по траншее теперь можно добраться до любого капэ. Есть кое-какой виллисный транспорт, а больше ишаками... Перебросили туда горнострелковые своих вьючных ишаков.

Водитель-краснофлотец, в бескозырке, в застиранной тельняшке, ленточка на шапочке гвардейская, золотые буквы: «Береговая оборона Ч. Ф.». У водителя сильные плечи, крупные кисти рук с наколками, прижженный солнцем широкий нос и выгоревшие рыже-пепельные брови.

Ему приходится ездить здесь часто, и потому он до предела напряжен, в разговоры не вступает, особенно когда надо проскакивать открытые участки шоссе, наиболее опасные, судя по всему, при приближении к Кабардинке. Село разрушено. В нем

ни одного жителя. Кабардинке достается изо дня в день — лежит на коммуникации. Нас тоже засекли. Снаряды ложатся позади, один, другой, шофер выжимает все, что может дать машина. Скорее бы под бугровину.

— Проскочили,— шофер сдвигает на затылок бескозырку, снижает скорость и смотрит на безоблачное небо с неудовольствием.— Тут вначале была сплошная мясорубка, пока не запретили движение днем.

Наша неосмотрительность наказана, и вряд ли мы другой раз сунемся днем на это поковырянное, все в заплатах шоссе. Мы останавливаемся у стены разваленного дома. Водитель жадно курит, заглатывая дым и выпуская его небольшими порциями из уголка рта и широких ноздрей. Неожиданно появляется босоногий мальчишка, через плечо на веревке перекинут мешок.

— Ты чего здесь, пацан? — удивленно спрашивает водитель.

— Как чего? Житель был отсюда...— Мальчишка равнодушно смотрит, нисколько не оробев.

— Зачем сюда приходил?

— На огороды. Маманя послала, может, есть чего, сажали ведь...

— Добыл чего-нибудь?

— Добыл.— Мальчишка охотно развязывает мешок, показывает два рыжих огурца и несколько выдернутых с корнем кустов фасоли.

На северной окраине села забираем двух голосующих у дороги артиллеристов из Солуяновского дивизиона, с которым познакомимся позже. Артиллеристы в армейском обмундировании, но в тельняшках и с флотскими ремнями.

— Как дела у вас, солуяновцы? — спрашивает водитель.

— Либо бьем, либо поддерживаем. Днями наши подобрались к Сахарной. Жаркое было дело. До рукопашной доходило...

На выходе из ущелья, у мостика, артиллеристы распрощались с нами и пошли по мало приметной тропе в гору. Они быстро скрылись из глаз в высоком кустарнике и молодом дубняке.

Вскоре и нам пришлось затормозить, прижаться впритык к довольно крутой бурой гряде, где располагалась пока отсюда невидимая батарея Зубкова. Сравнительно недавно здесь рос густой крепкий лес, да и теперь, через три десятилетия, растет так, что я долго не мог найти эти места, памятные до мельчайших деталей. Продираясь через заросли разнодеревья, можно обнаружить несколько заросших ям и при желании отыскать, покопавшись, осколки снарядов и авиабомб.

Батарея залегла на высоте, продавленной сотнями воронок, с размятой до корневищ растительностью, с прогалинами и жалкой травой, скудно пробившейся из искрошенной каменистой почвы. Слово «залегла» употребляется мной не случайно. Ору-

дия не стоят, а как бы утоплены в каменистом грунте сопки. Прикрытые маскировочными сетями, орудийные наружные дворики, вероятно, просматриваются с воздуха, и потому их частенько беспокоит неприятельская артиллерия.

Лейтенант, высланный нам навстречу, был как нельзя кстати. Не зная расположения, мы скорей всего направились бы прямо по откосу, вверх, чего нельзя было делать. Несколько снарядов заставили нас переждать в глубоком траншейном ходу, пробитом на вершину сопки и снабженном укрытиями, вернее, нишами: они надежно оберегали человека от осколков.

И вообще, как позже выяснилось, сопка была так хитроумно, по-кротовьи разделена таким образом, что люди батареи могли выдержать и артогонь и бомбежки. Кубрики, склады боеприпасов, продовольствия находились в подземных помещениях. Можно представить, какого труда стоило людям зарыться в плитчатые известняки. И все это при помощи примитивных орудий — лопаты и кирки.

Артиллеристы живут здесь безотлучно, и потому у них сложился собственный мирок. Правда, со стороны им подвозят продукты, снаряды для их дальнобойных стационарных орудий весьма крупного калибра, эвакуируют раненых; им присылают газеты, листовки, приказания, они связаны с командованием и тылом телефоном и радио. Зато у них своя вода из перехваченного водовода, огород с грядками на принесенной из долины земле, свое кладбище, огороженное тесом.

Матросы могут назвать имена павших товарищей и указать их могилы. Вот здесь лежит старшина Борисенко, кубанец, и убитый вместе с ним астраханец Ладанов, рядом с ними врач Стрельников и комендор Каленов...

— Шел жаркий бой,— сказал один из матросов,— и салютовали мы только убитому командиру орудия Зинченко.

Обстрел прекратился, стало удивительно тихо. Из старых воронок повылезали собаки, продолжая прижиматься к земле или проползать, чтобы инстинктивно укрыться среди каких-то длинных жестянок, напоминающих солдатские умывальники.

— У нас их было больше сотни, теперь несколько поубавилось,— объяснил лейтенант,— прибежали к нам из города, когда тот горел, и кошки бежали. Собаки прижились, мы их подкармливаем, упрямо ждут, когда возьмем город... Ночами, когда ведем стрельбу, воют, сопровождая каждый снаряд. Вначале даже жутковато было, а потом привыкли... Однако пойдемте дальше. Сам командир вас встречает...

Мы прошли мимо матросов, сидевших в укрытии. Один из них мастерил портсигар из обломков самолета, второй писал письмо, положив листок бумаги на лопату, третий читал Жюль Верна «Таинственный остров». Позже именно он сказал, что их

кладбище напоминает ему кладбище капитана Немо, а сопка — «Наутилус».

Зубков недовольно похмурится, поправит тихим голосом: «Слишком мрачновато, Брызгалов. Капитан Немо похоронил весь свой экипаж и в конце концов остался один как перст, а нас не закопаешь».

Командир батареи Андрей Эммануилович Зубков — человек молодой, в звании капитан-лейтенанта. Прежде всего бросалась в глаза его суровость, отсутствие улыбки на плотно сомкнутых губах. Он невысокого роста, поджар, остролиц и держится как человек, понявший себе истинную цену после невероятных страданий. Никакого заискивания, жеманства, свойственного некоторым людям при появлении газетчиков, а особенно фотокорреспондентов. Казалось, ему надоели посетители, приносившие ему лишние заботы на его опасную батарею. А возможно, он просто устал.

— Вы извините, мне кажется, я немного одичал,— ответил он после моего откровенного вопроса,— вид у меня неважнецкий, а присылают сюда, как к какому-то... герою. Испытываю и от этого неудобство.

Мы стояли на площадке с бетонными стенками, рядом с круглым орудийным двориком, где в бетонной плоскодонной чаше установлено орудие, способное, несмотря на свою величину, вращаться на все триста шестьдесят градусов.

Здесь была крайняя точка советско-германского фронта. На севере такой же точкой была батарея Поночевного — сокурсника Зубкова по училищу.

Предварительные сведения о батарее Зубкова сообщил Матушенко, сообщил бегло, в общих чертах, и, естественно, хотелось подробнее узнать обо всем.

Зубков назвал цифры, их стоит привести, они убедительные свидетельства. На батарею было сброшено пять тысяч авиабомб, и по ней выпущено семь тысяч снарядов. Имелся в виду металл, выброшенный в первые дни, дальнейшие подсчеты уже не имели значения. Впереди сплотилась прочная оборона, и батарея перестала быть единственным барьером в разбеге немецких дивизий, пытавшихся прорваться в Геленджик и далее через Михайловский невысокий перевал на Туапсе и Сочи.

Никто не командовал здесь до Зубкова. Нечем было командовать, не было батареи. Пятнадцатого июля сорок второго года сюда, на сопку, заросшую густым лесом, пришла рекогносцировочная машина с инженером Кокиным и командиром огневого взвода Полушиным. Они прикинули местность, нашли ее удобной и сказали: «Вот тут ей и стоять». Девятнадцатого июля приехал Зубков и в тот же день принялся за работу со своими батарейцами.

В те июльские дни, наполненные драматическими событиями, когда судьба юга висела на волоске и взятие побережья угрожало гибелью Черноморскому флоту, строительство крепостных батарей Зубкова, Давиденко, Белохвостова, Челлака, то есть всей плеяды будущего славного гвардейского дивизиона Матушенко, расценивалось как жизненно необходимая мера. «Кровь из-под ногтей, потом умывайтесь, а надо, позарез надо»...

На строительство отпускалось немногим больше декады. Прежде чем завести орудия, надо было подготовить площадку. Крепостная артиллерия не может передвигаться ни на колесах, ни на гусеницах. Она стационарна — отсюда и ее мощь, и ее слабость. Уходить, менять позиции нельзя. Засеченная разведкой, скорректированная на вражеских планшетах, она становится объектом для уничтожения.

— Мы строили, я бы сказал, лихорадочно,— Зубков оценивающе окинул место,— грунт скалистый, шанцевый инструмент известный, взрывы не применишь. Надо было вырыть котлованы под основания, забетонировать, подготовить котлованы под дальномер, под кубрики, погреба, убежища, хозяйственные помещения. Есть такой истертый образ — закипела работа. Ну и у нас кипело, клокотало, я бы сказал. Сутки за сутками. Валились спать, когда мутилось в глазах от усталости. На площадке играл патефон. Не могу забыть этой странной детали... Да, патефон, самый обыкновенный, пластинки...— Зубков наконец-то улыбнулся, и по-мальчишески озарилось этой улыбкой его суровое лицо.— Дальше что же? К рассвету первого августа бетон застыл... Это был наш Магнитогорск, Днепрогэс, Волхов. Ни одного понукания, наказания. Вдохновение, самоотверженность, не знаю, как еще окрестить состояние духовного подъема. Никто не бросался на амбразуры, не шел врукопашную, не кричал «ура» и не произносил клятв и речей...

Орудия привезли из Новороссийска на специальных тележках, а вот как поднять сюда, задумались. Были исторические примеры: преодолевая Сен-Готард, Балканы, люди тащили на себе пушки через ущелья и горы... Так и здесь, «Дубинушкой», канатами, на катках, клинили, чтобы не сорвалось, втащили. Смекалки не хватило бы, помог опытом и советом полковник Семенов, он руководил установкой орудий. Вообще инженерные части — умницы, герои, мало о них пишут, их подвиг не броский, а без них нельзя вести современную войну...

Похвалив саперов, Зубков провел нас на орудийный дворик. Бетонный пол, назовем так площадку у орудия, расчерчивался четкими геометрическими тенями от натянутой поверху маскосети. Само орудие выкрашено традиционной шаровой краской «черноморского цвета», в отличие от шаровой краски северных морей, где она посветлее, применительно к более линя-

лой полярной природе. Сочетание света и теней делает их трудно различимыми, что подтверждено контрольными аэрофотосъемками.

Как уже говорилось раньше, батарея Зубкова стационарна, то есть вкопана намертво. Но есть и другая батарея, на ней мы побывали позже, Белохвостова, та кочует. Это, может быть, и безопасней, но, скажу прямо, адски трудно. Представьте себе изменение позиций стальных гигантов: надо вновь расчищать площадки, вырубать погреба и бытовки, заливать бетон, и все прочее, о чем уже говорилось.

6

Как же это было? Вернемся почти на десять месяцев назад. Вернемся к так называемой Новороссийской оборонительной операции. Военные историки определяют ее начало 19 августа, а конец, то есть стабилизацию,— 26 сентября 1942 года.

Немецко-фашистские войска имели свежие, хорошо экипированные и полностью укомплектованные дивизии. Мощный, пробивной клин встретил перед собой распыленные по обширной территории части 47-й армии и моряков Ейской, Темрюкской и Керченской баз.

Нетрудно представить себе тяжелое положение наших войск, сумевших к началу Новороссийской оборонительной операции накопить всего пятнадцать тысяч солдат и бойцов морской пехоты. К тому же и эти пятнадцать тысяч состояли из людей, по нескольку недель не выходивших из боя...

Мы с болью в сердце оставляли азовское побережье, Таманский полуостров, Керченский пролив, Анапу. Часть кораблей героически погибла, отстреливаясь до последней минуты, часть прорывалась через узкое горло пролива. Положение было неясное: ведь гитлеровцы атаковали высоты у самого горла Туапсе. Воздухом владел противник, поле боя принадлежало его танкам и кавалерии.

Когда непосредственная угроза нависла над поспешно и недостаточно укрепленным Новороссийском и ключи от этого важнейшего южного форпоста, казалось, забренчали в кармане самодовольного Руоффа, судьба Новороссийска и причерноморских коммуникаций, облюбованных вторгшимся противником, была вручена молодому полководцу Андрею Антоновичу Гречко. Неоднократно проявивший свою энергичную волю и способность к ориентации в самых сложных положениях, этот генерал, бывший буденновский боец-конармеец, сумел организовать оборону, задержать противника, пока подоспевшие части не заняли причерноморские дефиле, и вал вражеского динамичного вторжения с хрипом и лязгом не разбился о твердыню це-

ментного завода с символическим именем «Октябрь». Новый командарм принял командование в тот день сентября, когда танки противника прорвали перевал Волчьи ворота, узкое дефиле с отвесными обвалами скал, как бы отшлифованных тысячелетиями могучих северо-восточных ветров. С фашистами в ожесточенных уличных боях столкнулись морская пехота и моряки-артиллеристы, отстрелявшие последний боезапас и взорвавшие орудия.

Пять фашистских дивизий было брошено против храбрецов, дравшихся не на жизнь, а на смерть в горящем городе. Гитлеровцы захватили вокзал, элеватор, порт, кровопролитные бои переместились на магистраль, вдоль которой стояли цементные заводы «Пролетарий» и «Октябрь».

И все же атаки врага захлебнулись 11 сентября. Побережье осталось в наших руках. Противник залег напротив заводских корпусов «Октября» почти на полный календарный год.

Батарея Зубкова, имевшая номер 394-й, простреливала не только бухту и Цемесскую долину, но и перевал через гряду Маркотха в сторону станицы Неберджаевской, откуда наступала 9-я пехотная дивизия противника, имея своим соседом 73-ю дивизию, подкрепленную танками.

Шоссе, пролегавшее вдоль мыса Пенай, то самое шоссе, по которому в годы гражданской войны отступал «железный поток» Таманской армии, могло теперь показаться дорогой смерти: поток отходивших частей, беженцев пресекался взрывами фугасных бомб, гитлеровские летчики прочесывали шоссе из пушек и пулеметов.

Батарея Зубкова оставалась на своем месте, ибо был получен приказ «стоять». Молодой лейтенант, первым встречавший нас, рассказал, как вел себя командир батареи:

— Он выстроил личный состав, объявил приказ, добавив к нему, что береговые артиллеристы — севастопольцы знают, как надо встречать врага. Им не впервой... Напомнил о флоте, которому некуда будет уйти, если немцев пропустить дальше, к последним запасным базам — Туапсе, Поти и Батуми.

После прорыва Волчьих ворот из моряков сформировали батальон, и этот батальон, командиром которого был Голованев, под прикрытием тяжелой артиллерии выбил фашистов из цемзаводов, электростанции, вокзала. Но свежие вражеские полки, вливавшиеся через Волчьи ворота, сломили сопротивление отчаянных храбрецов. Новороссийск был взят, как вещали гитлеровские пропагандисты и как утверждал Герман Беме, с которым мы вели разговор после нашей окончательной победы.

Но был ли сдан Новороссийск?

Отступившие советские войска не стали укрепляться в неудобной части города. Они отошли на окраину, в район цемент-

ных заводов, и здесь, уплотнив боевые порядки, как бы сжали пружину обороны и закрепились, используя все, даже дома, стены сараев из дикого штыба.

Прибрежная часть Новороссийска в сторону Шесхареса и Кабардинки имеет примерно около трех с половиной километров сравнительно ровной площади и упирается в крутогорье западной, начальной ветви Кавказского хребта. Эта горловина ведет к приморской части Краснодарского края и дальше, за Сочи и Адлером и за рекой Псоу, к Абхазии и Аджарии, к этим двум цветущим республикам, входящим в Грузинскую ССР.

Вряд ли стоит кого-то убеждать в том, что немецкое командование давно уже знало о стратегическом значении этого причерноморского края.

Для нас потеря этого участка побережья была бы трагична. Можно понять, с какой отвагой пошли защищать перевалы матросы, собранные в боевые дружины по голосу колоколов громкого боя. Решалась судьба Кавказа, судьба Черного моря, судьба флота. Братски сомкнувшись с армейскими полками, беспредельно храбро дрались в горных проходах моряки.

Фашисты понимали, откуда можно смять береговую оборону Южного Крыма и фронта, и стремились расчленить советские войска. Специально подготовленные в альпийских условиях горнострелковые части, рекрутированные из уроженцев Тюрингии и Баварии, атаковали крутые ущелья с их серпантинными дорогами.

Застряв на огненном пятачке южной окраины Новороссийска, не сумев сделать ни шагу дальше серого блочного забора цемзавода, немцы вгрызлись в камни, прикрылись стенами завода «Пролетарий» и обратили свои надежды на горных стрелков с их символическими отличительными знаками цветка альпийских высот эдельвейса.

Крупные, напористые атаки повели гитлеровцы на наши горные фланги. Не иссякнет в памяти потомков титаническая битва за Туапсе, борьба не на жизнь, а на смерть, битва 18-й армии с противником, втрое превосходящим эту, казалось бы, жертвенно обреченную на разгром армию.

Сражение изобиловало драматическими эпизодами, где массовый героизм сочетался с невероятными лишениями. Студеные дожди заливали блиндажи и окопы. С гор обрушивались водопады и камнесбросы.

Оборона Туапсе еще ждет своих вещих певцов!

Под Туапсе выковался боевой костяк 18-й армии, впоследствии прославившей свои знамена в решающей битве за ключевой укрепрайон Новороссийска, битве, открывшей первую страницу летописи окончательного изгнания оккупантов с Кубани.

Но вернемся к мысу Пенай, к гвардейским высотам девятого километра, где стояли гвардейцы. Береговая артиллерия, как уже говорилось, не имела ни прав, ни возможности отступать. Всегда остаются на месте крепости, соборы, города. Гарнизон этих маленьких крепостей не обнаружил страха. Здесь была преимущественно молодежь, в основном комсомольцы, ни одного ветерана. Они были сынами своей Родины, воспитанниками великой эпохи.

К тому же они были еще и севастопольцами, больше того, моряками дерзновенного флота, освященного именами Ушакова, Нахимова, Корнилова, Истомина, Сенявина, матроса Кошки, инженера Тотлебена...

Гитлеровцы считали, что ничтожная группка безумцев вступила в неравный поединок. Как они заблуждались! Отвага и смелость были на стороне советских бомбардиров.

Немцы сбрасывали с самолетов листовки. Они взывали к советским морякам: «Сопротивление бесполезно. Германское командование во избежание лишнего кровопролития предлагает прекратить бесцельное сопротивление».

Но батарейцы поклялись стоять до последнего и презрели страх и смерть.

Орудия батареи Зубкова не остывали. Тщетно пикирующие бомбардировщики пытались уничтожить гарнизон Пеная. В район батареи попало девятнадцать бомб, из них только шесть точно. Только! Этого было достаточно, чтобы сжечь окружавший лес, базу прикрытия химзавода, склад бензина, грузовик. Батарейцы четвертого орудия тушили пожар. Санитары принесли первых двух убитых и троих раненых. Налеты продолжались систематически. Люди сражались круглые сутки.

— Опухли веки, лица почернели, одежда обгорела,— вспоминает Зубков.— Мы задыхались в дыму. Тогда мохнатые сопки превратились в лысые, под стать новороссийским высотам. Мы дважды меняли стволы орудий... Учтите, что именно в эти дни начала сентября противник ворвался в Новороссийск и торжествовал победу. Ему было еще невдомек, что его остановят, да и мы не знали, как дальше развернутся события. Знали одно: поскольку враг так настойчиво решил нас смести, значит, мы стоим того, значит, мы нужны нашим ребятам...

Еще были листовки именные: «Командиру батареи Зубкову. Если вы прекратите огонь, мы также оставим вас в покое»...

— Как ответили?

— Язык у артиллеристов один — огонь!

Противник был остановлен. Всего несколько километров не дотянули гитлеровцы до Пеная. Дивизион Матушенко стал гвардейским. Таким образом, севастопольская береговая расположилась на гряде приморских холмов южнее Новороссийска и

включилась в сражение, ставшее строго размеренной работой. Изменились окрестные пейзажи. Лес или сгорел, или был выворочен взрывами, всюду голые камни и воронки. Батарею будто раздели. Теперь был введен строгий режим существования, передвижение только скрытно, ходами сообщения, ночами пополняли боезапас, увозили раненых, хоронили убитых, чистили орудия и заменяли сгоревшие маскосети, их хватало ненадолго. Обедали в девять вечера, завтракали до рассвета, а ужинали днем, с перерывами между стрельбой и налетами.

7

— Нет, нет, не позволю излишне влюбляться в Зубкова,— сказал Матушенко,— ревную. Может сложиться впечатление, что все вертится вокруг одной батареи. Точно не могу знать, но, примерно прикинув, мы можем насчитать если не тысячу стволов, то что-то все-таки около этого! У нас, я беру общее артиллерийское обеспечение, имеются и гаубичные пушки, и двести три миллиметра, и тяжелые гвардейские минометы, и, конечно, наша береговая, гвардейская. Насыщение густое, и теперь через нас переступить трудновато. Поедемте на капе дивизиона.

— Предстоит?

— Пожалуй, не предстоит, если противник не проявит инициативу. А там, кто его знает...

Ночная поездка почти не представляла опасности, судя по напряженному дыханию шоссе. Пристроившись к корме плывшего впереди нас «студебеккера», служившего как бы проводником в режимной трассе, мы проехали, вероятно, километров десять, а потом свернули влево, на горнолесную грунтовку. «Виллис» все с большей натугой карабкался куда-то вверх и, наконец, остановился в явной беспомощности. Дальше следовало идти пешком.

Матушенко шел впереди, предупредив нас, чтобы не отставали и шли точно в след, так как можно угодить в пропасть. Постепенно становилось виднее, контуры деревьев четко вырисовывались на фоне ночного неба; мы были на вершине сопки. Фонарик Матушенко осветил вырубленный в плитчатом известняке проход и каменные скользкие ступеньки, ведущие вниз.

Они-то и привели нас к подземному блиндажу, обшитому пахучим сосновым тесом, над головой — бревенчатый накат. Помещение оказалось вместительным и для фронтовых условий комфортабельным. Кроме стола с телефонами и светильником из сплющенной поверху гильзы снаряда, в комнате была койка для сменного вахтенного офицера, табуретки, анкерок с водой, пирамида с автоматами, ящик с гранатами-лимонками, которые

напоминали о диверсионных группах, иногда забрасываемых немцами в наши тылы.

В блиндаже находились двое — миловидная девушка, сидевшая за отдельным столиком у телефона, и мрачноватого вида мужчина, вставший при появлении Матушенко по стойке «смирно». Матушенко махнул рукой, разрешая сидеть. Начальник штаба сел на прежнее место и, склонившись над столом, продолжал что-то чертить на листе бумаги. Мигающий свет коптилки просвечивал золотистые волосы связистки. Повернув к нам голову, она сказала, что на проводе «Краснодар».

— Позывные батареи,— ответил Матушенко на мой немой вопрос,— отсюда до города Краснодара не дозвонишься.

— Будем сегодня воевать с катерами? — обратился он к девушке.

— Как дежурю, не везет, товарищ гвардии майор.

— Два дня назад наши торпедные сцепились с немецкими,— объяснил Матушенко,— о них речь. Хотели прорваться в бухту, шли из Феодосии. Мы удачно поддержали наших торпедников.

— Все же три катера не дотопили,— сказала девушка,— их добили «юлы», где-то у Озерейки...

— А ты откуда знаешь? — Матушенко приподнял брови.

— Откуда? — Девушка склонила голову, посмотрела на телефон, улыбнулась.

— Понятно, Валя. Нельзя девчатам доверять телефон. Тут же заведут знакомства...— пожурив ее еще немного с отеческой снисходительностью, Матушенко подвинулся к начальнику штаба, и они принялись тихими голосами что-то обсуждать, чертить; так продолжалось минут десять.

Закончив дело, ради которого Матушенко, вероятно, и приехал сюда в обычную ночь, не предвещавшую особенных событий, он, как бы вспомнив о нас, пригласил на командный пункт.

Командный пункт располагался еще выше — на самой вершине сопки. Отсюда можно было зрительно, или, как выражаются военные, визуально, наблюдать за местностью, включая и море, и город, и отчасти горы. Маскировка была естественной: скалы, деревья с достаточно пышной кроной.

Собирался дождь. Луна словно подныривала под облака, низко припадающие к горам, так что создавалось впечатление второго, более высокого хребта. В стороне Мысхако прояснилось, и были отчетливо видны разрывы зенитных снарядов, пытавшихся зацепить наши самолеты «эмбээры» 119-го авиационного краснознаменного полка.

Там из прежних моих друзей остались еще Коля Анисимов, Бердичевский, Либерман, Лобазов. Мусатов, комполка, улетел по вызову в Москву, штурмана Телегова отослали в отпуск. Пичугин, Грибко и еще человек пять наших севастопольцев

погибли. Полк «добавил» старенькую матчасть, собранную со всех флотов, ждал гвардейское знамя, и, вероятно, должен был вскоре пересесть на «илы» или «бостоны».

На Тонком мысу гудели самолеты. Как и всегда, с потушенными огнями уходили, взмывая за окантовкой леса, бомберы. Противник обстреливал Кабардинку и батарею Давиденко. Небо потемнело, упали первые капли дождя из сгустившейся над горами тучи, подул ветер. В одних кителях было холодновато, и мы спустились в боевую рубку, примерно так же устроенную, как на крейсерах, когда во время боя командование корабля оставляет ходовой мостик и переходит за бронированные переборки. Побыв там недолго, снова вернулись в блиндаж командного пункта.

Валя озабоченно вызывала «Грозный» — Давиденко.

— Вышла линия — «Грозный» обстреливают, товарищ гвардии майор. Сто снарядов положили. Связь была, а вот оборвалась...

— Сто снарядов,— повторил Матушенко и присел к телефону.— Дайте радиорубку. Кто на вахте? Вера? Вера, с «Грозным» нет телефонной, свяжись по радио, доложишь мне. — И, обратясь к Вале, добавил: — Ничего, бывает. Связь восстанавливают.

Матушенко называл работавших в дивизионе девушек по именам. Он похвально отзывался об их прилежности, исполнительности и надежности. В отличие от Зубкова, Матушенко был улыбчив, невозмутим. Трудно сказать, что было у него в душе, но внешне он казался спокойным, уравновешенным. Редко его можно было увидеть расстроенным или крайне озабоченным.

— Офицера должно надолго хватить,— говорил он,— нам нельзя кипятиться, всуе нервничать, таскать себя за чуприну, а тем более колотиться лбом о стол. Есть, правда, и такие, клапаны всегда открыты, и пар так и свистит. Подчиненные не любят нервных начальников, и я, сам как подчиненный, тоже таких не перевариваю.

Дежурный лейтенант доложил, что дождь перестает, но Давиденко продолжают бить, связисты на исправление линии ушли.

— Давиденко им крупно насолил вчерашней ночью, вот они и долбят его,— сказал Матушенко.— Фашисты держат в своих руках Сахарную Голову, доминирующая гора, лопатой ее не сковырнешь.

— Бомбить ее надо побольше,— буркнул лейтенант.

— Бомбить? У Ермаченкова кроме Сахарной Головы ой-ой сколько объектов. Все просят: дай с неба, Вася!

Василий Васильевич Ермаченков командовал авиацией Черноморского флота.

Из-за занавески, прикрывавшей дверь в кубрик, вышла сменная связистка, попросила разрешения стать на вахту. Матушенко разрешил, и девушка, присев возле Вали, наклонилась к ней.

— С «Грозным» нет связи,— предупредила Валя,— командир приказал выслать для проверки.— Валя ласково прикоснулась к щеке сменщицы ладошкой и, перехватив взгляд Матушенко, по всем правилам попросила разрешения уйти.

Новую связистку звали Катей. Крепенькая, черноглазая дивчина. Матросская форма и синий берет шли к ней, и вряд ли можно было бы придумать более модную и красивую одежду для этого юного создания. Она чувствовала на себе взгляды мужчин, терялась, и то и дело ее смугловатые щеки вспыхивали темным румянцем.

— Ваша, краснодарская, — сказал Матушенко, — восемнадцать.

— Девятнадцать уже, товарищ гвардии майор,— поправила Катя.

— Девятнадцать? — Матушенко покачал головой.— Как же я не знал, подарок не приготовил. Хотя ты сама виновата, Катюша, на именины не позвала.

— Возьмем Новороссийск, тогда...— сказала она.— Я родилась здесь... Смотрю на наш дом, одни зубцы...

— А я думал, ты краснодарская.

— В Краснодаре я училась, там у меня тетя. Думала поступить в педагогический...

Выстрелы глухо сотрясали землю. Наконец, «Грозный» ответил. Матушенко поговорил с Давиденко: «Молодцы,— похвалил он.— Самое главное нет потерь, а ямки засыплем...»

8

Пятнадцатого августа, то есть меньше чем за месяц до секретно вынашиваемой в высших сферах командования Новороссийской операции, состоялось вручение гвардейского знамени ныне 8-му, а ранее 18-му штурмовому авиаполку, тому самому, который с таким героизмом сражался при обороне Севастополя под командованием капитана Губрия, Героя Советского Союза.

Из старых летчиков осталось немного, три или четыре человека. Бывший комполка Губрий теперь командует дивизией, полковник.

Полком командует Мирон Ефимович Ефимов, Герой Советского Союза, гвардии майор, храбрый летчик и хороший организатор.

Из штаба дивизии мы приехали на грузовике и попали к началу церемонии, происходившей на аэродроме, на прибрежной кромке Тонкого мыса.

Самолеты были выстроены в линейку, что не так давно считалось бы крупным воинским «чепе». В лощинке играл оркестр. Эскадрилья готовилась к параду, и потому летчики были в

суконных кителях, при всех регалиях. Кто-то зычным голосом построил эскадрилью в полковую колонну, командир полка проверил строй и повел колонну на аэродром. Заколыхались в такт ритмичному шагу темные квадраты эскадрилий. Построение прошло под жаркими лучами солнца. Полк ожидал приезд высокого начальства. Говорили, что будет не только комфронта И. Е. Петров, но и уполномоченный Ставки маршал С. К. Тимошенко.

Поднимая хвосты пыли, с рычанием ушли на барраж «яки» и «кобры». Мы остановились на шоссе, в тени жалких деревьев, сохранившихся лесопосадок молодежного дома отдыха, куда я приезжал из Тихорецка с группой наших комсомольцев еще в 1927 году.

Вместе с нами были Канарев, Кудин и Корзунов, уже достаточно прославленные авиаторы. Ждать пришлось недолго.

Автомобиль заграничной марки привез командующего И. Е. Петрова, комфлота Л. В. Владимирского и члена Военного Совета Н. М. Кулакова. Кроме них приехали адмиралы Н. Е. Басистый, Г. Н. Холостяков и командующий авиацией флота В. В. Ермаченков.

Нас представили тем, с кем мы не были раньше знакомы. Иван Ефимович Петров поговорил со мной о литературе, и не вскользь, а заинтересованно, с пониманием дела. Петров распорядился о порядке следования начальства и быстро направился к аэродрому.

Дойдя до назначенного места, Петров оглядел небо, из-под пенсне, блеснувшего тонкими стеклышками, смотрели утомленные светлые глаза.

— Только в этом году мы можем допустить такую роскошь,— сказал он,— столько начальства, парад, в непосредственной близости к фронту.

— Имеется охранение, — сказал Губрий, — на барражирование посланы истребители.

— Дело не в охранении. Дело в том, что только в этом году мы можем позволить себе такую роскошь,— многозначительно повторил он слова «в этом году» и «роскошь».

Я смотрел на Ивана Ефимовича Петрова, и в памяти моей вставал генерал, проведший тяжкие месяцы обороны Одессы и Севастополя, хронически испытывавший недостаток в людях, технике и все-таки отбивавший атаки крупных сил противника, человек, ни разу не потерявший веры в себя, в своих товарищей, доверия руководимых войск. Петрова можно было назвать генералом суворовской формации, и не случайно на его груди, на гимнастерке цвета хаки, подпоясанной широким ремнем, блестел орден Суворова.

— Смирно! — Мирон Ефимов, командир этих бесстрашных людей, именуемых противником «черной смертью», направился

навстречу генералу Петрову. За спиной командующего фронтом было гвардейское знамя.

Петров слушал офицера, пытливо вглядываясь в его бледное, красивое лицо. Выслушав рапорт, Петров поздоровался с полком, взял поданное ему гвардейское знамя, утвердил его древком в землю возле левой ноги и, приподняв голову, щурясь под стеклами пенсне, обратился к полку с речью. Он говорил громко, отрывисто, будто командовал. Его фразы были коротки, редкие взмахи сильной руки как бы подчеркивали смысл его слов. Он хорошо знал полк, особенно по обороне Севастополя. Забазированные на плоскости Херсонесского мыса самолеты действовали в невероятно трудных условиях осады, под воздушным прессом и убойным зенитным огнем врага. Ефимов был одним из тех нескольких пилотов, оставшихся в живых, и командующий фронтом не забыл упомянуть и об этом, называя имена героев полка.

Петров, закончив речь, скомандовал: «Примите знамя!»

Ефимов принял знамя, опустился на колено, за ним последовал весь полк. Ефимов зачитал клятву гвардейцев, после чего поцеловал край знамени и поднялся.

Речи адмиралов Владимирского и Кулакова гвардейцы слушали стоя. Знамя пронесли перед строем и под духовой оркестр. Авиаторы торжественным маршем прошли перед высшим командованием.

В это время стремительно уходили на барраж истребители, как бы салютуя ревом моторов своим товарищам.

И опять-таки удивительно и обнадеживающе: концерт. Да, концерт, и не где-то в блиндажах или подземных убежищах, не под покровом ночи, а ясным, безоблачным днем, на расстоянии орудийного выстрела и двухминутки авиаполета от врага. Играла на баяне Розалия Симановская, на гавайской гитаре — Мирон Раскатов, пел пятидесятипятилетний Мелехов, читала стихи Оганесова, и плясуны выбивали чечетку в белых фраках и цилиндрах...

Командующий фронтом снял фуражку, обнажив коротко стриженную лысоватую голову. Его, по-видимому, радовало происходящее. Он думал, наверное, что недалек тот час, когда тайные планы штабов станут явными, теоретические расчеты воплотятся в физическое движение войск и ненавистный враг если не побежит, то, огрызаясь и отплевываясь кровью, попятится с оскверненных им земель Кубани.

Гнать врага будут и летчики Ефимова. Кто же такой Ефимов? Ровесник Октября, чуваш, учился он в школе крестьянской молодежи, а потом в Чебоксарах, в пединституте. Совсем недавно был учителем. По комсомольской мобилизации его направляют в Ейск, в знаменитое авиаучилище, откуда вышла большая груп-

па прославленных асов — Героев Советского Союза, список их высечен на мраморной доске в ныне имени космонавта Комарова Ейском высшем военно-инженерном авиационном училище.

Летчик-истребитель Ефимов стал летать на ильюшинском штурмовике. Летающий танк, или «черная смерть», как называли этот тип самолета фашисты, требовал высоких волевых и физических качеств человека, управляющего им. Внезапное появление, молниеносный уход от врага, визуально поражаемые цели, пушки и пулеметы и бронированная защита пилота.

Советские штурмовые «илы» оригинальны, ни с кого не списаны.

«Черная смерть» — гнев оскорбленной России.

Ефимов начал войну 26 июня сорок первого года. Триста боевых вылетов, из них половина на активную штурмовку. Первого «мессершмитта» Ефимов сбил на барражировании. Опустившись возле обломков поверженного им самолета, он увидел убитого им врага, пытавшегося полчаса тому назад прошить советского пилота своими пулеметами. Перейдя на штурмовик, Ефимов недолго переучивался. Вскоре он участвовал в налете на скопления транспортных «юнкерсов» невдалеке от Перекопа, а потом совершил изумивший всех подвиг. Гитлеровцы в полный рост, закатав рукава, шли в психическую атаку на морских пехотинцев, казалось бы обреченных на истребление; ни подмоги, ни патронов, ни гранат, одна смерть кругом. В это время над степью появился штурмовик и яростно бросился на атакующих немцев. Сто пятьдесят трупов! Таков был подсчет.

Зенитный снаряд попал в мотор. Ефимов пронесся на мертвом самолете над своими ребятами, бросавшими в воздух бескозырки, и сел в бурьян. А сколько подобных эпизодов!

В шатрах, скрытых в густом лесу, заканчивался товарищеский ужин в честь новых гвардейцев. Последними покинули столы летчики отчаянного командира эскадрильи Стрика. Он из полка Ефимова. Помню, рассудительный В. П. Канарев, командир авиационной дивизии, сам предельно храбрый боевой летчик, старался убедить кого-то из журналистов, что слово «отчаянный» неточно при определении качества воина, так как происходит от слова «отчаяние». Вопрос выходил за рамки лингвистики, каждый высказывал свое мнение, а Стрик стоял возле дерева, широко расставив ноги, покуривал и смотрел на небо.

— Что ты там увидел, отчаянный Стрик?

— Что? Посмотрите на луну, затмение. Проспорили в палатке такую редкость. Проужинали...

От луны к тому времени оставался только тонкий, светлый ободок. И везде, как на земле, так и на контурно очерченных деревьях, словно на ткани отпечатались эти тонкие мусульман-

ские полумесяцы. Таинственная темнота сопровождалась рокотом отдаленной орудийной стрельбы и рассекающими мечами прожекторов. С ревучим стоном уходили тяжело нагруженные бомбардировщики.

Мы стояли, каждый по-своему завороженный загадочной ночью, стояли, пока луна наконец-то не сбросила с себя черную тень нашей планеты. Помню друзей рядом, многие из них ушли навечно: Виктор Канарев, Петр Кудип, Иван Корзунов, Мирон Ефимов, Давид Нехамин, кто-то еще, молодые, здоровые, честные, преданные своему Отечеству. Надежно было возле них. Это было 15 августа сорок третьего года.

9

Разгрому немецких войск под Новороссийском способствовала длительная, упорная подготовка. Часть города, занятая немцами, была замакетирована и просвечена чуть ли не на рентгене. Где какие огневые точки, баррикады, укрепленные подвалы и этажи. Выверен профиль улиц для ведения боя, распределены участки и квадраты. Все бойцы, а не только саперы, были обучены распознаванию мин и их обезвреживанию, имели полное понятие о силе и дальнобойности оружия противника. В сторону «фальшивого» Геленджика было оборудовано специальное поле преодоления, а бухты использовались для тренировки высадки. Со стороны — нудная, утомляющая работа. А как же иначе? Нельзя бросать наобум прекрасных бойцов, выращенных в активной обороне близ Новороссийска. Малая земля также была своего рода университетом.

Новороссийская операция планировалась не только в общем масштабе, флажками на картах. Мы этих флажков, вполне понятно, не видели, зато видели, как струилось шоссе предельно груженными машинами, как набивались снарядные погреба, как рассредоточивались все предметы снаряжения, насыщая войска, сгруппированные в глубину до Геленджика.

Особое внимание уделялось артиллерии, что вполне естественно: созданные немцами долговременные укрепления необходимо подавить в первую очередь. Вал орудийного металла должен был обрушиться с особой мощью, когда хлынут волны десантных войск на набережные многострадального города, когда стрелковые части пойдут в атаку по узкой кромке прижатого к хребту побережья.

Надо было точно определить координаты дотов и всех огневых средств, особенно там, где должны были высаживаться десантники.

На этом восемнадцатикилометровом берегу, как доложила разведка, противник сосредоточил четыреста семьдесят мино-

метов, двести орудий, двести тяжелых пулеметов и двадцать танков.

Полковник Петруня обеспечивал своими шестьюдесятью тремя стволами высадку 255-й бригады морской пехоты полковника Потапова, которую десантировали по морю пятьдесят девять катеров капитан-лейтенанта Державина.

Полковник Малахов поддерживал второй отряд высадки на участке Импортной и Лесной пристаней. Сейчас тем, кто побывает в городе, этот участок, в то страшное время буквально омытый кровью знаменитого батальона Ботылева, порадует глаз белобортными кораблями с пестрыми флагами разных стран и пахучими, бесконечными штабелями прекрасно напиленного леса. Герой Севастополя капитан 3-го ранга Глухов высаживал десантников Ботылева на восемнадцати катерах.

Малахов располагал сорока семью стволами береговой обороны, о них мы уже говорили, о гвардейцах Матушенко. Это были наиболее крупные калибры с тяжеловесными снарядами, направленными по выверенным целям опытными комендорами.

Третий отряд, 1339-й стрелковый полк подполковника Каданчика, высаживал с двадцати шести катеров Масалкин, жаль, что фамилия этого морского офицера редко фигурирует в исторических материалах. Поддерживал Масалкина и Каданчика полковник Тарасов, командир армейского пушечного артполка.

Гвардейские минометы — их было пять полков и одна бригада,— как и положено, находились в распоряжении командующего артиллерией Кариофилли. Кроме того, артиллерия усиления имела восемь гаубичных и пушечных полков и бригаду большой мощности — 203-миллиметровые гаубицы.

Восемьсот орудий и минометов, двести пятьдесят пять установок «катюш» и — для непосредственной поддержки — сорок легких орудий, сто сорок семь минометов и противотанковые ружья.

Простое перечисление вряд ли может призвать воображение к зрительному представлению масштабов огневой мощи. Ведь в определенный час все это должно заговорить разными голосами, потрясти воздух, рокочущими раскатами повториться в горных ущельях, перенести по воздуху тысячетонные массы убийственного металла.

И этот металл, пока заключенный в формы тускло отсвечивающих снарядов, подвозился и накапливался. По фарватерам, проложенным в минных полях, подходили суда с глубоко осевшими бортами, в тайне ночи слышался скрип сходней, тяжелое дыхание сотен людей, негромкие команды, прогазовка моторов грузовиков, уходящих в геленджикскую ночь. Каждая авторота по своему курсу развозила по тайникам корма для бога

войны. Завозилось продовольствие, патроны, авиабомбы, мины, оружие...

Заехав на пристань, мы увидели, как сгружали тюки хлопка. Сипягин, с присущей ему лукавинкой, назвал тюки хлопка и бронелист «своим товаром». А спустившись к пирсу, мы поняли, в чем секрет. Коренастенький Леднев, будущий Герой Советского Союза, придумывал, как получше предохранить десантников от пуль и осколков. Ведь катера «тюлькина флота» не имели защиты, и людей на палубах можно было буквально скашивать, как рожь.

— Голь на выдумки хитра,— шутил Леднев,— премии за рационализацию не получим, зато людей сохраним. А то подвезем убитых да раненых, на кой ляд они там...

Операция готовилась по всем направлениям, но день и час высадки хранились в тайне. Узкий круг лиц знал так называемый час — «че».

Я видел, как Ботылев в который раз тренировал свой батальон на высадку. Катера подлетали к берегу и высыпали людей, пусть в воду, так в воду, только чтобы не терять драгоценные минуты. И не только живую силу, а оружие массового боя — пулеметы, минометы, петеэры, запасы патронов и мин.

Батальон имел опыт высадки, еще бы, куниковцы, малоземельцы! Однако приходило пополнение, правда, не юнцы, матросы с кораблей, лихие парни. Но все же опыта не было.

Ботылев стоял перед батальоном высокий, широкий в плечах, его воля ощущалась во всем, во взмахе мускулистой руки, в твердых интонациях голоса человека, привыкшего командовать в условиях смертного боя.

— Мы будем брать город с моря! Будем атаковать его неожиданно для врага! Мы не будем топтаться на одном месте.— Взмах кулаком, в сторону города, невидимого отсюда, из предгорного леса.— Нам помогут флот, армия. Дивизия четырех орденов! Я был в этой дивизии. Я был в полку пограничников, чекисты Пискарева, вы знаете их! Они служили здесь, знают каждый камень и улицу, они тоже с нами...— Батальон стоял вокруг своего командира, и люди жадно ловили слова его отрывистой речи. Триста моряков в армейской форме, но в бескозырках и с расстегнутыми воротами, чтобы видна была тельняшка, обязательно так. Триста парней любили своего командира и верили в него, как в Чапаева. Притаенное дыхание, напряженные лица, чтобы не пропустить ничего, одобрительные вспышки смеха. И снова тишина, такая, что слышна беззаботная птаха на крученой ветке карагача.

— Мы ворвемся в город с моря, на то мы и морская пехота. Но и они, армейцы, должны будут ворваться с моря. Мы должны научить их, на то мы их товарищи! И мы им поможем, как брать

врага с моря, брать за горлянку, под кадык брать! — прокатился смешок и погас.— Мы не боимся смерти! Она бежит от храбреца. Смерть будет валить их...— Снова взмах руки к городу.— Один человек кое-что значит, немало значит, а три сотни? Три сотни — сила! Мы все триста делаем так,— он показал, как швыряется граната,— триста гранат! Триста ударов штыков! Триста выстрелов точно в цель! Сколько их там? Садись, можно курить!

Моряки сели на траву, среди них командир. Солнце заходило. Люди представились мне частью какого-то будущего памятника Славы, подножием какой-то величественной статуи нашего великана-народа, давшего таких сыновей.

Командир курил медленно и вкусно. Постепенно унялось дрожание его век и притухли зрачки, все молчали, свершился тайный процесс сплочения людей, сцепления молекул; возможно, так в горниле мартена рождается сталь.

Перекур был закончен, продолжался разговор. Голос командира теперь не возвышался до крика. Командир говорил очень просто и задушевно, обращаясь то к одному, то к другому. Сильные кисти рук он сцепил на коленях, бинокль закинут за спину. Он один был в морском кителе и флотской фуражке с позеленевшей эмблемой. В этой фуражке он был с Куниковым, Сипягиным, штурмовал Станичку, много видела эта фуражка с черным верхом — белые чехлы не надевались в войну вблизи фронта.

— Мы, ребята, должны как бы открыть ворота города и ворваться на его улицы. Это трудно, и потому такую работу поручили нам. Если хотите послушать меня, перед делом поменьше есть и тем более пить. Имею в виду воду,— смешок прокатился и погас,— надо быть готовым к прыжкам, к бегу, переползаниям, перебежкам. Придется по трапам взлетать, с этажа на этаж, чтобы выковыривать их из любой захоронки. А потом уличный бой требует правильного дыхания и крепких мышц. Я осточертел вам подготовкой, но что делать — нужно, ребята...— Ботылев встал, и все поднялись.— Кто-то бережет ордена и медали. В бой всем надеть их, а предварительно протрите их мелком и суконкой. Чтобы фрицы знали, кто шарашит их подлые души, отправляет их к чертовой маме.

Солнце исчезло за горами. В лесу быстро густели сумерки. Батальон построился, по команде двинулся к своим шатрам. Ботылев кивком попрощался с нами и зашагал во главе колонны. Впереди был штурман, казалось бы, безнадежное положение в окружении немецких автоматчиков и танков, победный рывок и — Звезда Героя. Иван Васильевич Жерновой потом расскажет мне, как вез с Тамани тяжело раненного Ботылева, своего боевого друга. А пока за проволочным подлеском, среди корявых стволов возникла песня.

10

Положение на фронте стабилизировалось еще в прошлом году и позиции сторон намертво застыли с 27 сентября. Стрелковые части 318-й дивизии держали оборону от станицы Небержаевской и по перевалу, снабженному подвесной дорогой, и карьерам разработок мергеля до завода «Октябрь». Монументальный забор завода служил как бы разграничительной линией между нашими и вражескими окопами, расположенными очень близко, как говорили, на вытянутую руку, то есть на расстоянии одного гранатного броска.

Между подножием горы и морем было не более тысячи метров. Вполне понятная необходимость заставила командование дивизии надежно укрепить этот язык суши. Отсюда должен был наноситься удар по левому флангу противника, здесь был исходный район для наступления, для реализации оперативного плана сходящихся клещей, с запада — с Малой земли, и с востока — отсюда.

Десант с моря должен был вонзиться жестким клином и разломить подкову врага в центре, в то время как сухопутные войска будут сжимать ее от Мысхако и Маркотха. Кто-то назвал замысел операции «тройным нельсоном», перефразируя борцовский термин.

Любое иное решение привело бы к затяжному сражению, заставило бы метр за метром прогрызать многоярусную оборону врага. А это позволило бы ему выгадать время для переброски резервов.

Таким образом, главное в штурме — внезапное нападение с моря, то есть дерзновенный акт, не предусмотренный логикой привычного штабного мышления. Вторгнуться с моря в Цемесскую бухту, пристрелянную до последнего квадрата, нанести удар в лоб, имея, казалось, непреодолимое препятствие — гранитный мол и боносетевые заграждения, охраняемые мощными блокгаузами с огневым оснащением! Тот, кто бывал в Новороссийске или побывает в нем теперь, пусть оценит невероятный героизм решившихся на этот изумительный, бессмертный подвиг молодых людей того славного времени.

Вход в бухту был закрыт боносетевыми заграждениями. Следовало, расчищая путь катерам, уничтожить боны и их орудийно-пулеметную охрану.

И надо было создать достаточно широкий фронт для высадки десанта. Если катера вытянутся в кильватерный ордер, что стоит противнику поочередно расстрелять мелкие небронированные суденышки?

Характер заграждений узнал некий оставшийся безымянным разведчик. Вплавь он пробрался в порт. Две темные, бурно-

волновые ночи понадобились ему для разведки троса и бочек бонового заграждения. Двое суток в одних плавках, имея у пояса в резиновых мешочках немного воды и плитку шоколада, разведчик собирал столь необходимые сведения. Стало очевидно, что заграждения нельзя преодолеть ни торпедными, ни сторожевыми катерами десанта. Кто-то должен был их уничтожить. Будущий контр-адмирал Проценко, человек удивительной храбрости и тонкого оперативного расчета, командовал в ту пору бригадой торпедных катеров, и ему было поручено торпедировать береговые укрепления и расширить пробитые авиабомбами немецких пикировщиков дыры западного крыла гранитного мола, чтобы открыть дополнительные ворота для кораблей, десантирующих морскую пехоту.

«...Минерам нужно было впервые заставить торпеду взрываться при погашении инерции на пологом берегу, а не при лобовом ударе в цель...— вспоминает Проценко.— Было много споров и даже сомнений, когда торпедисты под руководством минеров Исаака Яновского, Семена Ладыженского и Нестора Гудкова сняли колпачок, ослабили пружину и подложили шайбочки в инерционный ударник. Из-за отсутствия учебных зарядных отделений пошли на риск — решили произвести испытания сразу на боевой торпеде. Их проводил лейтенант Иван Хабаров. И только тогда, когда выпущенная им из желобного аппарата торпеда с углублением ноль метров пронеслась по поверхности воды и, выскочив на пляж, взорвалась в пятнадцати — двадцати метрах от уреза воды, все вздохнули с облегчением».

Но чтобы пройти боновые заграждения, надо было разорвать коварные стальные сети. Эта задача отрабатывалась заблаговременно.

Остановились на тралпатронах, буксируемых лимузинами с пятидесятисантиметровой осадкой и сеткой с подрывными патронами для уничтожения «бачек».

О том, как была осуществлена эта сложнейшая операция, впоследствии рассказал мне командир дивизиона Месников. По его словам, сотовый мол торпедировали Проценко, Подымахин и Попов. По вестовому молу было дано семь торпед Месниковым, Левищевым и Хабаровым. Потом ворвалась группа торпедных катеров Африканова, после того, как туда проник Сипягин.

Проценко пишет: «Вслед за ударами по молу произвели торпедные залпы катера группы капитана 3-го ранга Довгая — по восточному берегу и капитана 3-го ранга Дьяченко — по западному».

Упоминая о боевом подвиге Ивана Хабарова, который выстрелил торпедой из объятого пламенем катера и потом выбросился на берег, Проценко называет имена Бориса Першина и Георгия Майстеровича, причисляя также и их к истории боевых дей-

ствий, при впервые примененном способе торпедирования не кораблей, а береговых и наземных целей. Ведь тридцать пять торпед буквально смели восемь дотов и дзотов и заставили замолчать девять дотов и дзотов, прожектор и ряд полуоткрытых огневых точек противника.

В истории флота обеспечение штурма укрепленного города со стороны моря с высадкой десанта можно по праву назвать классическим.

11

Но вернемся к непосредственным впечатлениям, в атмосферу фронтового быта того времени.

Дежурный в штабе дивизиона передал мне просьбу Сипягина позвонить ему непременно и обязательно сегодня. Я провел двое суток в селе Марьина роща, среди морских пехотинцев, наслушался всяких баек и приготовился зафиксировать их на пишущей машинке у себя в комнатке.

Но Сипягин для меня много значил, отношения с ним я высоко ценил и потому тут же созвонился с его дивизионом.

Матушенко погрозил пальцем: «Изменяете артиллеристам, то авиаторы, то моряки, а теперь тюлькин флот, смотрите, отпишем с жилплощади».

Сипягин отыскался минут через пятнадцать, говорил весело, по-видимому, торопился на вызов:

— Приезжайте немедленно, шикарно угощаю кефалью.

К моряцкому столу нельзя опаздывать, пришлось поспешить.

Сипягин повел меня туда, где собрались его орлы за столом, буквально заваленным горячей, с пылу с жару, кефалью.

— Упражнялись с глубинками, наглушили,— сказал он.

Как и обычно по морским правилам, за столом в кают-компании никаких служебных разговоров не велось. Того, кто забывался, штрафовали, заставляли выкладывать энную сумму на «тумбу», что потом шло на улучшение стола.

После обеда, оставшись вдвоем и поговорив на разные темы, уделив наибольшее внимание воспоминаниям о близком нам обоим Ставрополе, Сипягин сказал с обычной своей улыбочкой:

— Скоро начнем месиво...

— Подробности почтой?

— Да.

— Подождем.

— Недолго осталось.

— Пора, Николай, а то закефалились,— сказал я.

— Это разрядка, раз за столько дней, а то рубаха к спине прилипает, одна Малая чего стоит. Прожорливая, ненасытная... Ровно год толчемся возле Новороссийска. Пара не спустишь, котелок лопнет. Понял?

— Древние говорили: имеющий уши да слышит... Прощай, Коля, а то Матушенко обещал выписать...

— А ну его, твоего Михаила, ему-то лафа. Жарь, сади, только рот разевай, чтобы не повредить барабанные перепонки.

Сипягин, конечно, шутил. Ведь только благодаря артиллерийскому и авиационному зонтам он мог курсировать со своими юркими кораблями.

Я возвращался на грузовике, в кабине, по тряской, грунтовой дороге в кромешной темноте южной ночи. Раскатисто били орудия. Уже с неделю наша артиллерия постепенно, чтобы особенно не насторожить немцев, долбала разведенные очаги укреплений и вызывала ответный огонь для засечки новых точек. Музыка фронта стала настолько обычной, что на нее не реагировала ни нервная система, ни слух. После работы в частях (а выступать приходилось ежедневно) мы заваливались спать под любую симфонию и если нас не будили по боевой тревоге, полностью восстанавливали силы за шесть часов глубокого, здорового сна.

До Матушенко было около пяти километров. Плохая дорога удлиняла расстояние, да и шофер, парень в брезентовой робе и синем берете, не торопился, поглядывал на меня искоса, хотел поговорить.

Наконец уловив удобный момент, спросил:

— Нашего капитан-лейтенанта вы давно знаете?

— Только в этом году познакомились.

— В аккурат знаете, что он Куникова высаживал на Станичку?

— Ну, про это стыдно было бы не знать,— ответил я,— факт, как говорится, зафиксированный во всех документах.

Водитель кивнул, искоса, чтобы не потерять дорогу, взглянул на меня, судя по всему, ему хотелось продолжить разговор, чем-то поделиться. Я замечал, что люди на фронте склонны к общению. Мало ли что может случиться, глядишь — и уйдут в братскую могилу и человек и его слова.

— Важна не сама высадка, а подготовка,— раздумчиво заметил водитель,— можно доставить, спихнуть за борт — и давай винта на всю железку. А капитан-лейтенант Сипягин не такой.

— Какой же он?

— Душевно беспокойный,— эти слова он проговорил с особым смаком и не сразу.— Встречаются у нас военные начальники, как портной Проня, шьет и порет, а Сипягин, в аккурат, другой, не примерив, не отрежет. Когда готовили Куникова, вызывает он нас, семь краснофлотцев, и старшину Климова, говорит: «Надо разведать Суджукскую косу. Помните, жизнь одного разведчика равна тысяче тех, кто пойдет по его следу». Вывел Сипягин катер ночью в январе, накат баллов на пять вытягивал, дул низовой, простудный. Катер лег в дрейф, а мы в шлю-

пку. Тихо, дошли на веслах, выпрыгнули, шлюпку вытащили. Что же такое, хоть бы кто-то вякнул,— пустыня,— а чего хуже, когда враг молчит. Может, вот-вот просечет, может, из-за камней бросится и в аккурат на лопатки. Сцепил челюсти, боюсь, застучат зубы. Старшина шепчет: «Ребята, то, что мы сейчас будем делать, называется разведка жизнью».

Что же мы будем делать? Я-то впервые в такой разведке. Может, на бункер грудью бросаться, может, по минному полю пробежать, мало ли чего. Прошли немного, полкабельтова, не больше, легли, потому впереди что-то зачернело, поползли. Ну, как и положено, автоматы, гранаты, кинжал. Попали на зализину, мелко, переползли, вымокли,озноб прошел, жарко. Немцев нет. Решили идти до рыбзавода, но вода все глубже. Отставили. Старшина передал по цепочке «назад», повернули и пошли на полусогнутых. Может, притаились, что им наша кучка, вот когда тысяча, тогда косанут из всех возможных и невозможных...

Машина миновала кремнистый распадок и, потрескивая камешками, вскарабкалась вверх. Тугая ветка стегнула по ветровому стеклу. Глубже, в подлесье, мелькнули два фиолетовых зрачка, фонарики. Рассказ не был закончен, и потому я решил спросить, что же дальше? Почему разведка жизнью?

— А потому. Тут-то и яблочко. Старшина приказал идти не сгибаясь, взять ножку и с песней. Да, да, с песней, врать нельзя, Климов на месте и Гороховый, мой друг, тоже с Кировской. Рванули: «Легко на сердце...», из кинофильма. Три песни промаршировали по косе, хоть бы одна собака... На берегу ничего, а вернулись на катер, попросил воды, чуть зубы кружкой не повыбивал, трясло. Почему? Думаю, потому, что против естества пошли, не по линии, привыкли, враг так враг, а тишина хуже гроба...

— А капитан-лейтенант?

— С палубы не сошел, пушки и пулеметы в готовности, в случае чего, приказал прикрыть, на произвол не бросил бы...

— Как ваша фамилия? — спросил я.

— Михайлов, Сергей.

— На флоте давно?

— Четыре года в аккурат.

— А почему? — я кивнул на его руки, умело и крепко державшие в руках баранку машины.

— Потопили наш катер. А потом, в такой же разведке продырявили мне спину, а горло простудил, слышите, не с того камертона теперь пою, хрипатый стал. Вырезали мне гланды, пока перевели на машину, обещают снова на корабль, моторист я...

Тяжелый прихмур бровей, юношеская шея с тонкими выступами сухожилий — сколько ему? Пусть двадцать три. Где-то родители, ждет мать и не знает о его ранении, а если и знает,

постарается утишить свою сердечную боль, шутка ли, прострелили спину ее мальчику, давно ли выхаживала, выкармливала, отправляла в школу...

Пройдет несколько дней, и тысячи таких будут брошены в бой.

12

Подготовка к наступлению велась повсюду. Занятые по горло люди не поощряли праздношатающихся. Политическая работа сводилась к обеспечению конкретных мероприятий. Тренировки носили, как выразился Матушенко, направленный характер.

Сипягин и Глухов вернулись с горы. «Любовались видами Новороссийска и осенним убором горного леса»,— отшутился Сипягин, смывая тяжелую пыль. Командование возило на Маркотх, чтобы оттуда, как на учебном ящике с песком, разметить план атаки.

— Только бы штормяга не помешал,— Сипягин слюнил палец, подставлял его ветру, его губы вздрагивали, в глазах попрежнему держалась лукавинка. Каждый черноморский моряк обязательно на несколько процентов одессит, такова уж зараза этого своеобразного города-оптимиста.— Очень нужен нам этот норд-ост? Зарыскают мои мальчики на крутой волне, пойди собери их после такого танго...

Шофер Михайлов буркнул мне на ухо:

— Видел генерала Петрова и командующего че-эф Владимирского, двинули на девятый километр, к Леселидзе.

Заехав к Виктору Павловичу Канареву, узнал от него, что операция намечена на ночь на девятое сентября. Канарев сидел без кителя, в белой нательной рубахе, и от него пахло свежей баней. Он пил чай с блюдечка и прищуристо улыбался своими повосточному узкими глазами. Человек, рожденный в Коканде, он походил на монгола и обычно редко улыбался, что упрочило за ним славу сурового, нелюдимого человека. Возможно, характер был такой или жизнь добавила лиха, кто его знает. А вот в личном общении лучшего товарища поискать: чуткий, думающий, отзывчивый на малейшие движения души. Его полк, а потом авиадивизия считались первоклассными, бомбили и сухопутье, и проводили на море топ-мачтовое бомбометание, а также ходили в далекие семичасовые рейды ставить мины в устье Дуная.

Ночь на девятое неожиданно прошла спокойно, что ввергло в недоумение всех нас. Может быть, что-то не сработало в большом хозяйстве или помешала погода. Дул шквалистый ветер, с тугим посвистом пробиваясь сквозь деревья и швыряя сорванные листья. Недалекое море с грохотом било о скалы. Ветер то гудел где-то вверху, наводя тоску особенным норд-остовым гулом, то бросался к земле.

Небо затянуло облаками, срывался дождь, ветер, как всегда, будто размяк и подуспокоился.

День проходил напряженно, хотя и без сутолоки. К вечеру в бухту подтянулись так называемые плавсредства, заранее намеченные корабли «тюлькиного флота», и рассредоточились по четырем пирсам, куда подошли десантные батальоны с полной боевой выкладкой.

Каданчик привел свой полк в большем составе, чем планировалось, вот почему (об этом мы узнали позже) полк замешкался с посадкой. Надо было разместить свыше трехсот лишних бойцов.

Погода благоприятствовала, широкая, низкая зыбь после вчерашнего волнения как бы на качелях выносила тяжелогруженые суденышки. Ветер дул со стороны противника. Луны не было, ее появления ожидали во второй половине ночи, и это помогало замыслу внезапности.

Корабли десанта выстраивались в походный ордер, покидая удобную геленджикскую бухту и выходя на морской простор.

Противник держал обычный режим. Как правило, большая часть его солдат отдыхала. Дежурные батареи лениво постреливали по Кабардинке и Малой земле. В районе Озерейки можно было различить отдаленное свечение прожекторных лучей. Именно там они ожидали десант, предполагая, что русские, как азартные игроки, попытаются реваншировать именно там, где проиграли в прошлый раз.

Германа Беме томило предчувствие. К тому же он простудился, объезжая войска. Ему не спалось, и первый залп нашей артиллерии, обрушившийся на город, застал его на ногах.

— Неожиданность противопоказана генералу, если он хочет уважать самого себя, растерянность ведет к панике, а паника — верный спутник поражения,— так впоследствии говорил Беме, пытаясь все же оправдать допущенную беспечность.

Штурмовая операция, иначе ее не назовешь, как известно теперь в деталях, разворачивалась следующим порядком.

Десантный караван двигался к воротам порта около пяти часов. Скорость надо было согласовывать с самым тихоходным суденышком. Противник не проявлял беспокойства. Это показывало, что секретные сведения, даже в малой доле, не просочились за линию фронта. Так скрытно и так умело готовилась эта операция весьма широкого масштаба. А ведь опытный противник имел и разведсамолеты и наблюдательные пункты на высотах.

Темная ночь благоприятствовала десанту, который после различных недоразумений в сроках все же подтянулся к исходному броску. Положение чрезвычайно осложнилось бы и могло при-

нять трагическую кровавую окраску, если бы все сотни стволов немецкой артиллерии обрушились на утлые суденышки, до отказа переполненные бойцами.

И все же успех операции решался у ворот порта. Удастся ли разорвать заграждения, расширить проломы в молу при помощи торпед? Как захватить сам брекватер, его доты, его караулы? Действительно, надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы свершить те самые невозможные чудеса, о которых позже говорил, разводя руками, немецкий генерал.

Офицеры назвали нам продолжительность нашего огневого шквала — два часа сорок четыре минуты. Следует верить их точности, более чем своим часам и барабанным перепонкам. Представьте себе артиллерийский залп из восьми сотен стволов, залп, почти синхронно сопровождаемый феерическими разрывами осветительных снарядов, посланных к причалам порта артиллеристами Андрея Эммануиловича Зубкова, и тяжелым, сотрясающим воздух и, казалось, горы действием авиабомб, прицельно сброшенных на штабы, компункты и узлы связи противника. Это была красочная, стройная по звуковому оформлению симфония возмездия.

Столбы пламени и чуть позже долетевшие взрывы указали на действия торпед. Каждая торпеда по мощности равнялась полутонной фугасной авиабомбе. Торпедные катера, двинутые под глушителями и на небольшой скорости вдоль западного побережья, сумели подойти незамеченными и произвести не только первый залп, но и высадить с буксируемых катеров и лимузинов смельчаков, уничтоживших гарнизоны брекватера и боносетевые заграждения.

Эту смелую и блестящую операцию провели команды с катеров Куракина, Подымахина и Хабарова. Город, освещенный заревом пожаров, вскоре заволокло дымом. Но уже был поднят сигнал «Проход открыт», и десантный флот, прошедший также незамеченным вдоль восточного берега Цемесской бухты, ворвался в порт и высадил штурмовые отряды на фронте в пять километров, что растянуло боевые порядки врага.

Бригада Потапова встретила наиболее сильное сопротивление. Она разъединилась на части. Так сражались закаленные на Малой земле славные куниковцы. Тяжелый, неравный бой вели морские пехотинцы под командованием Ботылева и Райкунова. И все же они овладели военно-морской базой, клубом моряков, вокзалом и районом нефтебаков. Захватили электростанцию и цементный завод «Пролетарий», расчистив таким образом дорогу 318-й дивизии.

Захваченный врасплох немецкий гарнизон сумел все же оправиться, не побежал под натиском, полностью использовал свое оружие, долговременные укрепления. Поэтому путь борьбы для

наших войск был крайне тяжел, но храбрость советских воинов действительно творила чудеса!

Ботылев не только отчаянно и по-умному сражался, обосновавшись в клубе моряков. Он установил связь с командованием, корректировал стрельбу, что было весьма сложно. Ведь он вызывал поддерживающий огонь буквально на себя, на улицы, где упрямо метались немецкие танки, на немецкую пехоту, контратакующую захваченные нами здания. И как было не поражаться бережливой меткости наших артиллеристов, старавшихся не накрыть своих, выбиравших, куда положить тяжелые дальнобойные снаряды? Месяцы пристрелок, «регулировки уличного движения» не были потеряны напрасно. Батареи Матушенко не оставили товарищей в беде, с профессиональной ответственностью помогли им продержаться до подхода второй, более мощной волны десанта; к причалам Элеваторной, Импортной, Цементной пристаней были высажены пограничники Пескарева, морские пехотинцы Григорьева и стрелковый полк 318-й дивизии.

Противник постепенно слабел, уничтожаемый с моря, земли и воздуха. Двинувшиеся под мощным покровом реактивной и ствольной артиллерии батальоны 18-й десантной армии Леселидзе, жаждущие схватиться с врагом в кровавой битве возмездия полки «малоземельцев», могучие клещи охвата сломили психику противника и заставили его покинуть оскверненную оккупацией центральную часть города.

«Голубая линия», гордость немецких фортификаторов, была, наконец, взломана не только здесь, а на всем протяжении. Началось стремительное отступление оккупантов. Очищались последние районы Кубани.

16 сентября был освобожден Новороссийск, а уже 9 октября сорок третьего года последние остатки фашистских войск были сброшены в воды Керченского пролива.



«Контрнаступление под Курском было третьим крупным контрнаступлением, проведенным Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны».

«Величайшее сражение лета 1943 года продемонстрировало перед всем миром способность Советской страны собственными силами разгромить фашистскую Германию и ее союзников. Это было новое торжество могущества социалистического государства и его вооруженных сил, мудрой политики партии».

«После победы под Курском народы всего мира воочию увидели, что, несмотря на отсутствие второго фронта в Европе, фашистская Германия поставлена мощью советского оружия перед военной катастрофой. Дальнейшее развитие кризиса фашистского блока и начало его распада, выразившееся в крахе фашистского режима в Италии, явилось прямым следствием сокрушительного поражения гитлеровской армии под Курском. Политика реакционных англо-американских кругов, направленная на затягивание второй мировой войны и взаимное истощение СССР и Германии, зашла в тупик. Авторитет Советского Союза как решающей силы в борьбе с фашизмом был окончательно утвержден».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 354—356.

АЛЕКСАНДР КРИВИЦКИЙ

ГРОЗА ПОД КУРСКОМ



Как только послышались первые глухие толчки того огромного, что развернулось летом 1943 года на просторах Средне-Русской возвышенности и вошло в историю под названием Курской битвы, встрепенулся я всем существом, заволновался, не мог успокоиться. Собиралась гроза. Будущая операция получила у немцев кодовое наименование «Цитадель». Это название, как объясняет западногерманский историк Герлитц, означало гигантское наступление на «последний оплот русских». Теперь мы знаем: пятьдесят суток длилась страшная борьба на земле и в небе. Два миллиона человек участвовало в ней с обеих сторон. Противник довел здесь концентрацию техники до невиданной еще плотности: 10 000 орудий, 3000 танков и самоходок, более 2000 самолетов — три четверти всей авиации, действовавшей на советско-германском фронте.

Ни к одной операции второй мировой войны гитлеровское командование не готовилось так тщательно и всесторонне, как к битве под Курском.

«Вся наступательная мощь, которую германская армия способна была собрать, была брошена на осуществление операции «Цитадель»,— пишет немецкий генерал Эрфурт. Цель — вывести Советский Союз из войны, окончательно и бесповоротно. Реванш за Сталинград, захват в свои руки стратегической инициативы — все это поглощалось главной задачей — решительным сокрушением «всей военной силы русских».

Я выехал на фронт за полтора месяца до начала основных событий, не зная, конечно, когда именно они грянут. Но даже сквозь самодельные схемы, которые мы чертили в редакции, разыгрывая из себя стратегов, поступали прогнозы на ближайшее будущее. Достаточно было взглянуть на Курский выступ, или Курскую дугу, как называли этот район, чтобы понять, в чем суть дела.

Дуга занимала огромную территорию Российской Федерации и Украины. И сразу было видно: правое крыло немецкой группы армий «Центр» нависает здесь над войсками нашего Центрального фронта, а левое крыло немецкой группы армий «Юг» охватывает войска Воронежского фронта. Курский выступ находился как раз между этими крупнейшими группировками противника.

Конфигурация дуги, характер местности, расположение германских войск, возникшее в итоге зимней кампании, подсказыва-

ли противнику возможность осуществления здесь крупной операции.

Срезать Курский выступ, втянуть в него основные силы Советской Армии и раскрошить их там — все это представало воображению Гитлера только прелюдией. А затем — свободный, неостановимый уже выход на линию Волги, крах России.

Словно на театральную премьеру, германское верховное главнокомандование перед началом наступления пригласило в район выступа группы высших офицеров из стран-сателлитов и военную миссию Турции — своеобразного Гамлета международной политики тех дней, колеблющуюся, опасливо решавшую проклятый вопрос: воевать или не воевать?

В ночь перед началом наступления Гитлер обратился к своим войскам с приказом: «Вы должны знать, что от успеха этого сражения зависит все».

Противнику не удалось сохранить свои планы в тайне. Наша разведка установила и общий замысел и направления намеченных ударов, расшифровала противостоящие силы, узнала время — день и час — начала операции «Цитадель». Красная Армия обладала к тому времени необходимым потенциалом наступления. Она могла начать первой — сил хватало.

Но, несомненно, более заманчивой представлялась другая идея. Поскольку противник и сам готовился к мощному наступлению — и это стало точно известно,— открывалась возможность заставить его обломать зубы на заранее подготовленных рубежах обороны, чтобы в наиболее удачный срок перейти в контрнаступление с далеко рассчитанными целями. Этот план, предложенный военными советами фронтов, был одобрен Ставкой.

Битва на Курской дуге описана уже не раз. Я не военный историк и не стану повторять то, что, может быть, хорошо известно читателю.

На Курский выступ я попал в дни предгрозового затишья, когда наша оборона все более эшелонировалась в глубину, совершенствуясь так, как мне еще не приходилось видеть на фронте.

Дорога то поднимается вверх, почти отвесно, то падает вниз, в глубокую котловину. Гигантские овраги, редкие рощицы на гребнях высот, холмы образуют причудливый рельеф, похожий на следы вулканического извержения. Вокруг все тихо; изредка вдалеке можно увидеть путника, одиноко бредущего по тропинке, и снова по обеим сторонам дороги вы не заметите никакого движения. Но обманчивы эта тишина и безлюдье.

Стоит свернуть вправо или влево, проехать несколько метров, как перед радиатором машины, словно из-под земли, и действительно из-под земли, вырастает фигура часового.

Мы едем из штаба армии в дивизию и видим глубину армейской обороны как бы в поперечном разрезе. Не шелохнутся ветви махровой сирени, но командир, указывая на них рукой, говорит:

— Вот лучший миномет нашей батареи.

И среди идиллических цветов мая вы с трудом замечаете холодный блеск ствола, а рядом с ним — загорелые лица бойцов.

Прикрытые сеткой зелени, стоят в капонирах тяжелые гаубицы, длинные хоботы пушек увиты ромашками, в земляных «каютах», обложенных дерном, недвижно застыли танки. Одна за другой тянутся тщательно замаскированные огневые позиции артиллерии, широко раскинулись невидимые противотанковые районы. Две расположенные параллельно высоты и большая ложбина между ними — это мощный оборонительный узел, готовый извергнуть во все стороны море огня.

Мы часто останавливаемся, проезжая сквозь этот гигантский слоеный пирог с начинкой из железа и стали, и видим эшелонированную на большую глубину, многоярусную оборону армии. Огромное пространство покрыто инженерными сооружениями.

Земля здесь возделана тяжким трудом земледельцев войны — саперов. Вот противотанковый ров, напоминающий широкий среднеазиатский канал. Справа расстилается невинный луг — тут могут проскочить танки, но в центре его находятся ямы-ловушки, искусно замаскированные кустарником. Там, где сейчас проходим или проезжаем беспрепятственно, останавливаемые лишь окликом часовых, в нужную минуту встанет раскаленный стальной вал, ломающий зубы дракона.

В перелесках и ложбинах перед оборонительными рубежами полков и батальонов идет боевая учеба. Люди, построившие мощную оборону, учатся наступать. Они штурмуют собственный дзот, готовый встретить врага, отрабатывают боевые порядки атаки, режут колючую проволоку заграждения. В глубине обороны не прекращается деятельная подготовка ко всем видам боя, в том числе и к наступательному.

Минуя командный пункт дивизии, мы проехали дальше, в маленькую деревеньку, прилепившуюся к склону оврага. Отсюда начинается расположение стрелкового полка, одного полка 6-й гвардейской армии. Вместе с заместителем командира полка гвардии майором Василием Ереминым едем к переднему краю обороны.

— Ну-ка, дайте газ,— приказывает майор водителю, когда машина взбирается на каменистую высотку.

«Эмка» мчится вперед и спустя минуту ныряет в ложбину. Майор замечает:

— Проскочили. Дальше пойдем пешком. Вон там начинается ход сообщения. Подъехали почти к парадному крыльцу.

Мы опускаемся в подземное царство 3-го батальона, которым командует капитан Шапошников. Идем к первой линии траншей. Ходы сообщения полного профиля. На стенках этих коридоров можно прочесть главу о геологических напластованиях: вровень с плечами тянется полоса мирного чернозема, она переходит в бурую глину, а под ногами хрустит желтоватый песок.

— Семнадцать часов. Сейчас они начнут,— говорит майор Еремин.

И действительно, не проходит и минуты, как воздух сотрясается грохотом артиллерийской и минометной канонады. Немцы ведут огонь по деревне. Они обрушиваются на нее с такой яростью, словно там сосредоточена вся Красная Армия. В чем дело? Очень просто. Противник на этом участке в один раз выпускает всю положенную ему дневную норму снарядов. Ожесточенный огневой налет продолжается несколько минут и затем стихает. Но уже давно загремел тяжелый гром наших орудий. Осторожно выглянув из стрелковой ячейки, мы видим впереди на горизонте черный столб дыма.

— Перемирие не состоялось! — восклицает майор Еремин.— Который раз уже отклоняем! Интересно, что там разбили наши у него? Дым велик. А дыма без огня не бывает.

Ходы сообщения кажутся бесконечными. Они уводят в стороны — к дзотам, к взводным землянкам, к стрелковым ячейкам. Наконец мы в траншее 1-го взвода 9-й роты. Командует им младший лейтенант Григорий Куликов. Над окопчиком возвышаются рога стереотрубы. Они замаскированы рыжими ветками.

На переднем крае нашей обороны это место ближе других к неприятелю. От него до противника рукой подать. Магическая оптика вплотную придвигает к нам вражеское расположение. Мы видим полуобгоревшие строения. Они так близко, что кажется, нужно сделать только один шаг, чтобы очутиться там. Впереди этих черных скелетов поднимаются из земли проволочные заграждения. Можно даже различить их колючки. Дальше чернеет гряда немецких окопов. Картины, возникающие в стереотрубе, подрагивают, словно проекция кинематографической пленки на экране: чувствительные стекла отражают легкое дрожание воздуха.

В соседней ячейке возле ручного пулемета стоит сержант Павел Лисогор. У него могучий торс крестьянина, круглое лицо и хитровато прищуренные глаза. Ему, видно, хочется сказать что-то смешное, но рядом сам заместитель командира роты лейтенант Юшпаев и другое начальство. Лисогор переминается с ноги на ногу и молчит. Скрытый от противника бруствером, утыканным гроздьями черемухи, он смотрит вдаль.

Впереди зеленеет пустынное поле, но в сознании Лисогора оно до предела насыщено хорошо ему понятными приметами. И все

они сливаются с делениями прицела его пулемета. Прицел три — озимь и черный бугорок земли. Здесь Лисогор будет стрелять по подползающим гитлеровцам. Прицел четыре — темный куст у тропинки между минными полями. Здесь пулемет Лисогора обдаст свинцовой струей все живое, что появится перед ним. Лисогор охотно объясняет, как он думает управиться с противником, а потом, усмехаясь, говорит:

— Не идет он до нас! Может, мы до него дойдем, а?

Майор Еремин, прильнувший к стереотрубе, внезапно сделал знак пулеметчику. Среди темной гряды траншей противника в разных местах что-то посверкивало. Мы явственно различили блеск касок двух вражеских наблюдателей. Над ухом затрещала короткая пулеметная очередь. На мгновение в немецкой траншее мелькнула в судороге рука наблюдателя — и все исчезло. Майор Еремин пожал пулеметчику руку:

— Молодец! Верный глаз.

Мы идем из взвода в взвод, из отделения в отделение. Не выбираясь на поверхность земли, здесь можно пройти больше тридцати километров.

— Вот сколько воюю, а никогда мы так в землю не входили,— говорит старший лейтенант Глеб Ворончихин. Он снял каску, и мы увидели лысину, отполированную, словно артиллерийский снаряд.— Если бы все траншеи полкового оборонительного участка вытянуть в одну линию на запад, по ним можно было бы пройти далеко за Харьков, даром что он у немцев.— Помедлив малость, Ворончихин испытующе посмотрел на меня и с прозорливостью старого солдата добавил: — Из такой обороны назад не пойдешь никак. Вперед!..

Теперь к этому можно добавить: только в полосе одного фронта было отрыто свыше пяти тысяч километров траншей и ходов сообщений — это расстояние от Москвы до Иркутска.

Мы вошли в полутемную землянку отделения сержанта Дедюхина. Бойцы, свободные от работы, ужинали. Здесь были младший сержант Василий Дудкин — веселый здоровенный парень, узбек Сали Рагимов — молчаливый человек с быстрыми, порывистыми движениями, серьезный немолодой, с тяжелыми руками крестьянина Василий Катыхов, уроженец Западного Казахстана Каир Курманязов — лучший стрелок отделения.

Сидя на земляной ступеньке у входа в блиндаж, Курманязов подбрасывает на руке горсть высохшей фасоли.

— Это он гадает,— весело доложил Дудкин.— Что у тебя там по фасоли выходит? Разобьем фрицев?

— На это гадать не надо,— рассудительно ответил Курманязов.— Разобьем, конечное дело! Я гадаю на другое: будет мне письмо или нет?

— Письмо вам обязательно будет,— отозвался майор Еремин,— а вот вы погадайте, застегнут у вас воротничок или нет.

Курманязов быстро ощупал рукой пуговицу, смущенно улыбнулся и быстро застегнул воротничок. В это время в землянку вошел связной. Майор посылал его узнать результаты недавней стрельбы наших орудий. Оказалось, артиллеристы разбили батарею немцев и подожгли их склад.

— Я ведь говорил, дыма без огня не бывает,— довольно произнес Еремин.

В воздухе с резким свистом пронесся снаряд. Гитлеровцы, видимо обозленные меткостью наших артиллеристов, опять открыли огонь. На этот раз они били по пехоте. Мины и снаряды падали, неподалеку, в расположении 7-й роты этого батальона. Немедленно стали отвечать наши батареи. Завязалась сильная артиллерийская перестрелка. Зеленокрылую бабочку, порхавшую у бруствера, сдуло потоком воздуха. Посыпалась земля. Спустя полчаса я узнал: в 7-й роте один раненый. Один!

Два дня тому назад во время очередного артиллерийского налета тяжелый немецкий снаряд угодил в дзот, что находился в расположении 9-й роты.

— Давно мы стоим на этом рубеже,— рассказывает Ворончихин,— и первый раз фашистам удалось попасть в наш дзот. Снаряд разорвался в самом центре перекрытия, но пробить его не смог. Разворотил два верхних наката, повредил третий, а четвертый уцелел. Потери, конечно, были, все ж таки снаряд, а не букет цветов: упали со стены часы-ходики, разбилась керосинка... Люди как курили, так и курили. Так что дзотик оказался надежным. Вот мы его сейчас замаскировали и сделали ложным. А в сторонке построили другой. Этот, может, будет даже покрепче старого.

Справа от дзотов, о которых рассказывает Ворончихин, расположены блиндажи и огневые точки командира взвода Копылова. Они оборудованы также по всем правилам инженерной техники. Копылов — совсем молодой парень, белобрысый, с детски удивленными глазами. Но он, как и Ворончихин, бывалый солдат.

— Нам что обороняться, что наступать — все возможно. Как прикажут.— И он посмотрел на меня взглядом Ворончихина — испытующим, с той долей проницательного лукавства, когда ищут в собеседнике понимания без слов.

По характеру обороны люди армии давно поняли: она рассчитана не только на отражение противника, но и на другое. Иначе зачем бы прокладывать ходы для бросков из основных оборонительных сооружений. Хитер солдат. Помалкивает, дисциплинку соблюдает, а сам в полном курсе всех дел, хотя и не читает штабных документов.

Вместе с Копыловым мы ходим по его боевому участку. Вот крепкие укрытия от воздушных бомбардировок — глубокие

блиндажи. Там, впереди, для борьбы с танками гвардейцы поставили минные поля, проложили противотанковые рвы и эскарпы. Если танки все же прорвутся и начнут утюжить окопы, то и здесь им подготовлены сюрпризы. В боковых траншеях сидят гранатометчики.

Идем дальше. С окопами гранатометчиков перемежаются стрелковые ячейки. Из таких вот отдельных участков состоит оборона рот и батальонов всего 155-го гвардейского полка. Они представляют собой единый оборонительный район. Не только ротные участки, но и каждый блиндаж, дзот, стрелковая ячейка связаны между собой. Полоса обороны шириной в несколько километров разрезана одной глубокой траншеей. От нее во все стороны проложено множество ответвлений. Сверху эта система обороны выглядит как гигантское дерево, распростершееся вдоль фронта; траншея похожа на ствол дерева, а ее ответвления — на сучья. От сучьев идут мелкие отростки — это хода, соединяющие отдельные огневые точки.

Схема оборонительных сооружений полка давала возможность правильно организовать и огневую систему. Она была создана по принципу круговой обороны. Ее мог вести не только батальонный и ротный оборонительный район, но и каждая точка. Бой полон неожиданностей. Бывает — сколько хотите, даже и при крепкой обороне противнику удается вклиниться в ваш тыл. Но здесь, у белобрысого Копылова, ему придется круто, да и не у него одного. Круговую оборону смогут вести не только полки, батальоны, роты, но и отдельные дзоты.

Главная черта обороны гвардейцев полка как раз и состоит в том, что в ней каждое звено связано с другим и в то же время может действовать самостоятельно.

Подразделение младшего сержанта Николая Разумова, совсем еще молоденького парня, отпустившего себе рыжие усы, в случае наступления противника будет держать под огнем впереди лежащую лощину, но сможет вести и фланкирующий огонь в обе стороны. В то же время Разумов готов отбить удары с тыла, а в случае наступления танков его будут поддерживать с двух сторон орудия ПТО.

— Почему усы не сбреешь? — мимоходом замечает Разумову Копылов.

— Так ведь мы теперь сами с усами,— бойко отвечает сержант.— А фашистам — борода.

— Ну, это другое дело,— глубокомысленно откликается Копылов,— так бы и говорил.

Я оборачиваюсь. Разумов комически разводит руками. В этой перекидке репликами — хорошее настроение. Да, не сорок первый и не сорок второй год на дворе. Научились люди многому,

верят в себя, в свое оружие, в технику, военную инженерию. Оттого и шутят без горечи.

Кажется, все сделано, все готово, лучше не придумаешь. Но батальон продолжает работать. По ночам бойцы выходят вперед и расчищают секторы обстрела. В ротах и батареях пристреливают оружие по основным рубежам и точкам.

Передний край советской обороны... Мы видели только небольшой отрезок его — участок одного батальона. Много труда положено бойцами в эту черную благодатную землю. Здесь враг не пройдет. Бойцы и командиры зарылись в землю, но каждую минуту готовы оставить ее и устремиться вперед — наступать.

В батальоне, а вернее, в роте я провел два дня, а на рассвете третьего прощаюсь с Ворончихиным. Он снова снимает каску, вытирает пот со лба. Перехватив мой взгляд, говорит:

— А это я в обороне полысел, еще в начале войны. Вот пойдем наступать — может, отрастут, как думаете? — И он завистливо посмотрел на мои кудри.

Но не в зависти было дело. Он искал у меня подтверждения того, о чем думал весь батальон.

— Конечно, отрастут,— щедро заявил я.

— А скоро, как думаете? — И опять тот же лукавый прищур глаз, что у Копылова и Разумова.

Я понимал: его интересует ответ не вообще, не ходячая бодрость: «До Берлина немного осталось», а суждение странноватого офицера, словно бы вхожего «в верха» и, вероятно, твердо знающего то, о чем сам он, Ворончихин, может только догадаться.

— Очень скоро! Очень! — рискнул я, хотя толком знал еще меньше, чем Ворончихин.

После высказанного мною «прогноза» я было совсем собрался уезжать: хотелось добраться до танкистов, как вдруг меня окликнул капитан Шапошников, вынырнувший откуда-то из хода сообщения.

— Вы что же, бросаете нас? Не советую. Как бы вам по дороге не попасть в кашу: слышите, как тихо? Неспроста это. Если что — лучше переждать у нас в блиндаже. Ну-ка он захватит вас в пути — хуже будет. Здесь хоть и передний край, да сами видите, как крепко все устроено.

Это было произнесено полушутливым тоном, но в глазах Шапошникова можно было прочесть серьезность.

По давнему опыту я знал: боевой офицер не станет подвергать военного корреспондента излишней опасности.

Во-первых, если убьют человека с блокнотом, значит, ничего не напишет он, а ведь, как ни говорите, каждому хочется про-

честь и свое имя в газете, и имена товарищей. Зря, что ли, и Шапошников, и Ворончихин перечисляли мне бойцов, отличившихся в обороне.

А во-вторых, давай потом объяснения в вышестоящие штабы: как, почему и отчего произошло такое.

Ну а в-третьих, и это, по-моему, самое главное, в сердце настоящего военного всегда возникает такая мысль: я здесь стою — мне положено, выполняю боевую задачу; а корреспонденту, ему ж здесь фактически не положено, у него другая задача. А раз так, что ему зря голову подставлять?

С таким великодушно-трогательным представлением о миссии корреспондента на фронте я встречался всегда, а из бесед с коллегами знаю, что они постоянно испытывали на себе такое же, иногда до слез волновавшее участие. На самом деле оно не было продиктовано сентиментами, или, как я сказал, великодушием. Просто человек с «военной косточкой» не терпит напрасного риска и бесцельного геройства. Что ж лезть в пекло, если нет на то приказа? Наше дело — воевать, ваше дело — писать.

Но сколько раз, сколько раз военные корреспонденты, опрокидывая это представление, лезли в это самое пекло, брали на себя командование взводом, отделением, группой бойцов, когда выбывали из строя командиры, как это сделал Аркадий Гайдар; ходили в смертельные десанты, как Сергей Борзенко; штурмовали на «илах» немецкие колонны, как Леонид Вилкомир; поднимали в последний бросок «окруженцев», как милый Петр Огин; отстреливались до последнего патрона на пятачке, прижатом к горам и морю, как Лев Иш! Сколько их погибло, не дописав оперативного очерка, не послав жене прощальной весточки, не успев подумать, что куплет знаменитой корреспондентской песни, той, которую он пел еще вчера, еще сегодня «кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой», уже относится не к погибшему товарищу, а к нему самому, к нему, лежащему, широко раскинув руки или поджав колени, на мерзлой земле, в болотном, жадно чавкающем студне, среди груды темного покореженного железа...

Оставшись вроде бы один, я прислушался. Вокруг царила мертвая тишина. Обычно, несмотря на отсутствие активных действий, здесь дни и ночи идут огневые бои, происходят мелкие стычки, а сейчас неожиданно все смолкло. Не слышно треска пулеметных очередей, прекратились артиллерийские и минометные налеты. Даже снайперы и те замолчали. Все замерло в каком-то совершенно непривычном для здешних краев безмолвии, настолько непривычном, что, оглядевшись, перебросившись словами с солдатами, я почувствовал, будто людям стало как-то не-

ловко. В их движениях ощущалась какая-то осторожность, разговаривали они вполголоса.

Все находятся на своих местах, Взоры устремлены в сторону противника. Чуть позже Ворончихин, снимая и снова надевая каску, сказал мне, что еще с ночи наши разведчики заметили какую-то подозрительную возню. Ясно — гитлеровцы что-то замышляют, к чему-то готовятся. Боевое охранение доносило: ночью был слышен шум моторов.

Гнетущая тишина становилась все более невыносимой. И вдруг два поста воздушного наблюдения сообщили: приближается группа вражеских бомбардировщиков. Они летели на большой высоте. Не прошло и двух минут, как самолеты, подходя к нашей обороне, начали пикировать. Заговорили наши зенитки, открыли огонь пулеметчики. Сбрасывая бомбы, вражеские самолеты строчили из пулеметов. Оглушительные взрывы катились по широкой степи. Столбы дыма, смешанного с землей, подымались высоко к небу.

Это был массированный налет по всем правилам немецкой воздушной тактики. Группа пикировщиков бомбила расположение стрелкового полка в яростном стремлении уничтожить все живое, что есть на земле.

Сознание уже перестало отмечать отдельные взрывы бомб. Звуки слились в один бесконечный гул. Казалось, кто-то невидимый бешено колотил в гигантский барабан над самой твоей головой. Грохот стоял такой, будто на этом маленьком клочке земли гремела вся музыка ада, если она там существует. Какие-то стальные иглы вонзились в ушные раковины и давили на мозг. Это было жестоким испытанием нервов. Я хорошо помнил время, когда многие наши бойцы не выдерживали его, но теперь все вокруг проявляли полнейшее хладнокровие. Наша оборона, закопанная глубоко в землю, изрыгала море огня. Еще минута, две — и вражеские машины, уходя, начали набирать высоту.

Но не успели бойцы осмотреть оружие, как в воздухе появилась новая группа вражеских самолетов. Снова ожила наша оборона. Немцев встретил сильный огонь. Стреляли все — артиллеристы, пулеметчики, стрелки. Палил и я из своего трофейного «вальтера», вдавив себя во вздрагивающую стенку траншеи и крича что-то громко и однотонно, начинавшееся словами «Ах ты...». Противник прошел на большой высоте, не сбрасывая бомбового груза, и затем, быстро развернувшись, попытался прорваться через стену огня для пикировки. И опять с новой силой завязался жаркий бой пехоты с самолетами.

Опасность пугает меня, как и многих, только в первое мгновение. Потом, убедившись, что ты жив, ничего рокового не случилось, начинаешь вновь верить в свою «исключительность», в

счастливую планиду, а так как заветное и всегдашнее свойство характера заставляет тебя еще и подгримировывать остающуюся на дне души робость остротами, то, сколько себя помню, я всегда безудержно острил в моменты испытаний, что и давало мне возможность слыть более или менее храбрым человеком и уж во всяком случае не трусом.

Так и тогда, преодолев ощущение «конца света», я щелкал своим «вальтером», и, подобравшись к стрелковой ячейке, где примостился знакомый мне по вчерашнему разговору молоденький боец Сергей Кузнецов — худой, с галочьим ртом, немного испуганными глазами, но бойкий на язык, я прокричал ему на ухо: «Бей дробней — больше будет» — и только после этого увидел, что Кузнецов не стреляет, а скорчился, втянув голову в плечи.

Казалось, только мой крик пробудил его к действию. Он сделал движение, оглянулся, и его глаза, показавшиеся мне вчера чуть испуганными, на этот раз были полны ужаса. Меня он будто и не замечал. Я почему-то снова заорал ему на ухо, но уже без прежней уверенности: «Бей, говорю, дробней...» — но он, ничего не слыша, не видя, оттолкнул меня в сторону без преднамерения, а просто потому, что я стоял в устье ячейки, и, очутившись в самой траншее, вдруг судорожным броском выскочил из нее наверх.

Что там открылось его глазам? Поле, окутанное дымом, тяжелое дымное небо, упавшее на землю, сплетение вихря и огня. В первую секунду я даже не понял, что произошло. «Атака, что ли?» — мелькнуло в голове. Но нет, не похоже. Там, наверху, я видел лишь фигуру Кузнецова и комья земли, сыпавшиеся в траншею из-под его ног.

На память пришел старый рассказ времен первой мировой войны: пожилой бухгалтер, попав солдатом в окопы, вскоре с ужасом обнаружил, что вокруг него рвутся снаряды. Он поднялся на бруствер и, простирая руки в сторону противника, завопил:

— Вы с ума сошли! Что вы делаете? Здесь же люди!

... В следующее же мгновение Кузнецов кубарем свалился обратно.

— Ты что, свежим воздухом подышать захотел? — сострил я, наклонившись к нему.

Но Кузнецов ничего не слышал; стоя на коленях, он медленно, сонно-автоматически отряхивался. Рядом раздалась пулеметная очередь. Кузнецов поднялся и снова, словно не видя ничего вокруг, толкнул меня в сторону, бросившись на звук тарахтевшего пулемета. Он пробежал по траншее несколько шагов и заглянул в стрелковую ячейку. Я последовал за ним, решив до конца понять его полузагадочное для меня поведение.

В стрелковой ячейке, пристроив свой пулемет на бруствере окопа, бил по самолету тоже знакомый мне сержант Иван Васильевич Федоров. В моем блокноте уже была запись о нем. Про Федорова рассказывали бойцы, что вот он с первых дней на войне, десятки раз бывал в больших переделках — и ничего. Живой. А сколько он фашистов убил — и счет потерял. Удалось ему как-то и самолет сбить из пулемета.

Вчера я, глядя на него, записал: «Солдат, воюющий с первых дней войны,— источник смелости для других. Значит, не все гибнут, значит, и там, где беспрерывно косит смерть, нет места обреченности. Он уцелел, а чем же другой хуже? В этом ощущении столько же правды, сколько и иллюзорности, но без него трудно воевать».

Сейчас Федоров, укрываясь в стрелковой ячейке, возбужденный, быстрый, следил своими острыми глазами за небом, и, как только вражеский самолет направлялся в его сторону, он, изогнувшись по кошачьи, пускал из пулемета очередь за очередью. То же самое делали его соседи — пулеметчики, стрелки. Еще дальше где-то ухали артиллерийские орудия. Всюду огонь, огонь. Федоров на миг оглянулся.

— Что бегаешь? — спросил он Кузнецова.

— Самолеты,— пролепетал тот и, потоптавшись на месте, в свою очередь растерянно спросил пулеметчика: — А ты что стоишь?

— Самолеты,— ответил Федоров тем же спокойным тоном.

Вдруг одна из немецких машин подпрыгнула в воздухе. Подпрыгнула, перевернулась и медленно пошла к земле. Кто подбил этот самолет, Кузнецов не видел, но, вероятно, был уверен, что это дело рук сержанта Ивана Васильевича. Кузнецов быстро повернулся, побежал в свою стрелковую ячейку, занял свое место. Я понял, что судьба послала мне наглядный и скоротечный пример формирования воинской психологии, и посмотрел на Кузнецова с нежностью.

Между тем бой земли и неба продолжался. Бомбовозы со свастикой еще несколько раз заходили то с запада, то с востока. Но вскоре появились наши истребители, завязались воздушные бои, они переместились куда-то вдаль, и все стихло.

Капитан Шапошников и группа командиров обходят участок батальона. В районе его расположения видны несколько воронок от взорвавшихся бомб. Много воронок обнаружено в тылу и, пожалуй, больше всего — за передним краем нашей обороны. Здесь артиллерийский и пехотный огонь был особенно интенсивен, и поэтому вражеские самолеты сбрасывали бомбовый груз, не доходя до цели. Немцам не удалось разбить ни одного блиндажа или дзота. Убитых не было, раненых — трое. Потери немцев — два самолета. Вот это и есть

оборона, оборудованная по всем правилам фортификации! Хорош был бы я, застань меня этот налет в открытом поле!

Главное, как я узнал потом в штабе дивизии, у немцев сорвалась атака наземных частей. Позднее было установлено: противник хотел отбить у нас первую линию траншей. Воздушный налет был началом атаки. Но сама атака не состоялась, поскольку советский огонь разжал авиационный кулак, занесенный над нами в облаках.

Скитаясь по Центральному и Воронежскому фронтам и прикидывая про себя увиденное, я с удивлением и восторгом установил, что наша оборона эшелонирована в глубину на 150—200 километров. А когда я думал, что за этой стеной бетона, стали и огня развернут еще могучий рубеж резервного Степного фронта, то душу переполняла гордость за наш народ — терпеливый, живучий, неутомимый, самоотверженный.

Триста тысяч моих земляков-курян — горожане и колхозники — строили оборонительные укрепления в полосе двух фронтов. А подступы к самому Курску они превратили в орешек из ста тридцати артиллерийских сооружений, девятисот дзотов, пятидесяти валов. «На всякий случай», как говорили куряне с ударением на «а», улицы города были перехвачены баррикадами, а здания превращены в опорные пункты. Курск решил драться не на шутку.

В средние века население осажденного города становилось и его гарнизоном. Жители втаскивали на закопченные крепостные стены бочки с кипящей смолой и поливали ею неприятеля, сбрасывали камни или какие-нибудь тяжелые предметы. И хотя при этом гибли люди, все же такие формы ведения боя в сравнении с тем, к чему человечество пришло сегодня, напоминают почти идиллическую ссору соседей в коммунальной квартире.

Но чудовищное развитие техники истребления не ослабило, а, наоборот, повысило значение морального фактора на войне. Духовный потенциал населения, нравственная стойкость людей играют все большую роль в лихую годину. В эпоху наемных профессиональных армий, кабинетных и династических войн вооруженные силы отгораживались от народа непроницаемой стеной.

Даже хитроумный лавочник Планше не мог разобраться в причинах той или иной войны, запутанных, словно колтун в давно не чесанных волосах бродячего монаха. Да и что говорить о причинах, когда ландскнехты с одинаковым рвением грабили «своих» и «чужих», селян и горожан.

В наш век — век массовых армий — процесс духовной диффузии совершается непрерывно, нити, соединяющие народ и

армию, невидимы, но, словно провода жизненной магистрали, всегда находятся под током высокого напряжения.

Парижские банки воевали во Вьетнаме, как впоследствии это делал Уолл-стрит. Французы называли эту войну грязной, настроение народа передалось войскам и поколебало штыки оккупантов, тем более что они наткнулись на гранит сопротивления. Такой же процесс со все возрастающей силой происходил в армии Соединенных Штатов. Примеров сколько угодно.

Я не хочу сказать, что в наши дни немного найдется охотников воевать за неправое дело. Военная дисциплина, испытанные приемы муштры, злокозненная пропаганда, шовинистический угар могут еще ослепить людей, поднять их на страшные злодеяния. Вспомним гитлеровскую агрессию или рев милитаристских труб в США в дни агрессии во Вьетнаме. Но мысль моя о другом. Ныне градус морального состояния всякой массовой армии держится на том же примерно делении, что и в самом народе. (Я говорю «примерно», так как следует сделать поправку на офицерский корпус, который в буржуазных армиях большей частью отделен от народа имущественно и сословно и поднимает этот градус в сторону реакции.)

Разве грабительскую армию Гитлера не поддерживала алчность немецкого мещанства, хищность баварского «хозяйчика», самодовольство рурского металлурга, чье классовое сознание сначала истерзали социал-реформисты, а потом растлили в «трудовом фронте» Лея?

Во всяком случае, не было большой разницы между прусским учителем, вдалбливавшим в головы своих питомцев бредни о расовом превосходстве, и этими отроками — они выросли, вдосталь погорланили «Хорст Вессель», взяли автоматы и пошли вешать нашу Зою. Точно так же не надо искать существенное нравственное различие между домашней хозяйкой Амалией, жадно перебиравшей содержимое трофейной посылки, присланной ее благоверным с Восточного фронта, и пишущей ему письмо: «Давай, давай еще, мой любимый...» — и ее мужем-грабителем. Бывает, как это мы видели не так уж давно в гитлеровской Германии, что немалая часть народа, пусть подавленная годами физического и психологического террора, но все-таки идет, идет же за своими фюрерами-злодеями.

Военные теоретики империализма, носившиеся в свое время с идеей малого, но вышколенного, натренированного, не рассуждающего, кастового войска и написавшие на эту тему многочисленные труды, ныне вынуждены отказаться от радужных иллюзий периода между двумя мировыми войнами. Теперь они хлопочут насчет могучих вооруженных сил. Их военно-политическая база — атлантический договор. Их моральный оплот? Это еще сложнее. Антикоммунизм скликает своих пророков и шаманов.

Беснуются генералы в отставке — от американского Риджуэя до западногерманского Штайнхофа. Не отстают от них и генералы на действительной службе. Военно-промышленный комплекс действует. Узурпируются средства пропаганды. Фабрики лжи работают на полную мощь.

Враги мира и разрядки напряженности хотели бы искусственно подогнать температуру страны к точке кипения, укрепить основу массовой армии, призванной воевать за чуждые ей цели. Так вожделения привилегированных групп выдают за национальные интересы и снова хотят переспорить историю.

Но народы не хотят таскать для них каштаны из адской печи войны. Программа мира, провозглашенная на XXIV съезде Коммунистической партии Советского Союза, завоевала миллионы сторонников на земном шаре. Задача теперь в том, чтобы сделать разрядку напряженности, как сказал Л. И. Брежнев, «явлением стойким, прочным, более того — необратимым». Такова воля народов.

В нашей Отечественной войне градус настроения армии и народа был единым. Этот общий уровень морального духа происходит от полного слияния интересов населения и его войска.

Отечественная,— значит, кровная, своя, народная. Такой и была та незабываемая война.

Немалыми прорехами зияла наша жизнь. Были в ней всякие неустройства и беды. А все же людей никогда не покидало ощущение своей неотторжимости от Советской власти. Великая сила — вести дело без буржуазии, без проклятых собственников, топящих в ледяной воде эгоистического расчета все человеческое. В ней корень всего, в этой силе, в нашей системе. Дает она народу чувство, не оставляющее его в любых испытаниях: за свое терплю, за свое борюсь, свое защищаю. И «свое» впервые в истории нашей цивилизации обозначает здесь «общее».

И когда я говорю: «Курск решил драться не на шутку», я имею в виду не то, что жители города составили его гарнизон. Так в современной войне не бывает, хотя, случись что, куряне не испугались бы и уличных боев. Суть в другом. Если перечислить все, что переделали мои земляки на Курском выступе в месяцы подготовки к решающей битве, станет ясно — речь идет о подвиге. А ведь кто были эти люди? Пожилые уже мужчины (молодые в армию ушли), колхозницы, служащие, домашние хозяйки, подростки. Они строили траншеи, дзоты, расширяли аэродромы, чинили дороги.

Я уже рассказал об их вкладе в инженерное оборудование позиций. Теперь послушайте дальше. Они восстановили железнодорожную магистраль Воронеж — Касторная — Курск, разрушенную гитлеровцами. Они построили новую линию Старый Оскол — Ржава протяжением 100 километров. И это дало Воро-

нежскому фронту самостоятельную железнодорожную коммуникацию. Государственный Комитет Обороны установил для строительства этой ветки жесткий срок — два месяца. Двадцать пять тысяч курян сократили этот срок в два раза. Первый состав пошел по рельсам через тридцать два дня после начала работ, а спустя еще четыре дня эта линия уже питала боевые действия фронта.

Кто и когда опишет все это, и мы еще раз увидим и вечерние огни на трассе, и людей, варивших себе в чугунках кулеш после рабочего дня, чтобы поесть, поспать час-другой и снова браться за дело. Да, большинство строителей ночевало вдоль будущего железнодорожного полотна. Здесь люди работали, разговаривали друг с другом, плакали, радовались — жили.

А двести пятьдесят мостов в прифронтовой полосе, поднятых населением из руин! А завод — база ремонта танков, созданная в Курске рабочим-пенсионером Дивулиным! Началось с малого. Он разыскал старых товарищей, сплотил монтажную бригаду. Она нашла оборудование — там станок, там инструмент, там горн. И заводик заработал. Но вот что поразительно — к началу летних боев на дуге этот курский заводик, не значившийся ни в каких списках государственных предприятий, дал средний и капитальный ремонт тремстам танкам!

А сколько армейской обуви и обмундирования починили курские сапожники и швеи! Об этом и говорить не надо. По таким делам в Курске всегда сноровистые мастера были. Мало кто мог сравниться, может быть, только Кимры — тоже обувщиками славились.

А десять полностью оборудованных госпиталей, развернутых силами города! Все медсестры в них были курянки. Этот дополнительный лечебный фактор спас, я уверен, жизнь не одному тяжелораненому. Курянка, знаете, что такое? Мертвого на ноги поднимет. Ловка и прилежна, терпелива и скромна, а уж певунья, сказочница... Вот в одном из этих госпиталей и случилось мне вспомнить Курск моего детства и друга отроческих лет Петьку Найденова. Уже в дни оборонительного сражения снова заехал я в Курск, собственно, не в самый город, а на окраину. За Московскими воротами стоял автобат, и водителю понадобилось завернуть туда за новой резиной. Ну и я не очень сопротивлялся этому маршруту, рад был радешенек лишний раз потолкаться в своем гнезде. Я оставил водителя в автобате, приказал ему там меня и дожидаться при любых обстоятельствах и тронул в город сначала выгоревшей травой, потом пыльной шоссейкой и, наконец, плиточным тротуаром.

Я шел по Московской улице, почти не обращая внимания на коричневые провалы в стенах полуразрушенных домов, на курившуюся в порывах ветра щебенку, шел, охваченный блажен-

ной уверенностью, что вот сейчас встречу кого-нибудь из своих друзей.

Я знал, куда иду,— на Гоголевскую улицу. Там, в доме № 10, до эвакуации жили мои родители.

Кто там живет теперь? Разрешат ли мне войти в квартиру, хотя бы посмотреть на дверные косячки, о которые я бился чуть не до смерти, когда бежал на свист вызывавших меня товарищей? Пустят ли в сад, где отец сидел за пузатым самоваром, попивая знаменитые своей заваркой чаи?

Дома № 10 на Гоголевской улице не было. Дом № 8 был. И дом № 12 был. А ведь между ними стоял такой небольшой одноэтажный краснокирпичный домишко, с обыкновенными серыми воротами, с калиткой на легкой щеколде, такой легкой, что ее открывали соломинкой, сложенной вдвое.

Где же этот домик? Где его короткий забор, прятавший узкий двор и сад, расположенный в глубине, за домом? Ничего этого не было.

На месте дома № 10 возвышалась невысокая, не выше метра, горка ржавого щебня — и больше ничего. Там, за мысленной чертой, где начинался сад, виднелось что-то голое, обугленное — деревья, словно нарисованные черной тушью.

Вот и все. «Добрались, значит, сюда»,— подумал я. На всей улице был разрушен только этот дом, он один. Соседи объяснили: фашисты, выбитые из города, возвращались к нему по воздуху несколько ночей подряд, и в первую же ночь фугаска прямым попаданием раскрошила дом № 10; небольшая, говорят, фугаска. А много ли ему нужно было? Как бритвой, его сбрило. Будто и не сверху она упала, а откуда-то сбоку по земле подобралась, попрыгала, примерилась, да и резанула начисто.

Мысль о гибели родного угла не прибавила мне ненависти к гитлеровцам. Я такого насмотрелся за два с половиной года войны, что эта груда щебня не могла ничего усилить в том страшном, что раз и навсегда взбудоражило сознание, захолодило сердце горечью и злостью. И все же стало грустно, как и всякий раз, когда смотришь в свое прошлое и прощаешься с дорогими тебе кусками жизни, уходящими, растворяющимися в пелене времени. Вот и кончился Курск для меня. Ничего не осталось в нем моего сокровенного — ни друзей, ни даже знакомых, ни дома, где я играл, читал книжки, тревожился пустяками и, еще не видя уже поджидавших меня за углом терний жизни, наслаждался простодушными снами юной поры.

Охваченный спокойствием печали, шел я по Гоголевской обратно, снова свернул на Московскую и едва сделал несколько шагов, как был остановлен громким восклицанием:

— О господи, ты ли это?

Я остановился, поднял глаза. Передо мной стояла женщина лет двадцати семи в простенькой кофточке, грубошерстной юбке, с серым утомленным лицом и резко-синими прекрасными глазами, спорившими с ранними морщинками в их уголках.

Это была Лида Раевская — непременный участник нашей школьной компании. Я не сразу узнал ее, но глаза нестерпимой синевы остались прежними.

Мы шли теперь по Московской улице, приближаясь к собору в глубине площади, на которую выходил и городской сад с летним театром, куда мы бегали по вечерам на свидания. Лида что-то говорила, а я вспоминал и ее с косичками, и Веру-фантазерку, ту, чей магнетический взгляд привораживал мои смутные чувства, и четырнадцатилетнего Тиграна, которого его отец, усатый старик, посылал в любую погоду чистить обувь на угол Георгиевской, возле цирка. Возвращаясь из школы, мы останавливались около его ящика, раскладывали учебники и заставляли «проходить» с нами заданные уроки, готовили его на вечерние курсы. Вспомнил Петьку Найденова с его веснушками, умением все сделать, починить, выручить в любом случае — дома и в школе.

Лида рассказывала о себе. Жизнь ее не баловала. Родители давно умерли. Тетка оказалась грубой и жадной — Лида ушла из дому, начала работать. Вышла замуж, и неудачно. Муж, человек уже в возрасте, поживший неряшливо и эгоистично, пьянствовал, пробовал даже избивать ее. Она ушла и от мужа.

— Где Тигран? — спросила Лида.

— Тигран далеко, в Киргизии, на партийной работе. А ты не знаешь, куда девался Петька? — спросил я.

— Какой?

— Найденов.

— Господи, Петька Найденов! Как, ты не знаешь? Ах, да, откуда же тебе знать! Петька здесь.

— Здесь? Где здесь?

— Да здесь, в Курске, в госпитале. Я же за ним и хожу. Перевелась специально в палату, где он лежит. Что ж я тебе сразу не сказала... Ну и голова у меня — вы же дружили. Здесь Петька, здесь,— она говорила, захлебываясь, глаза ее болезненно-ярко блестели.

Через полчаса мы были в госпитале, одном из тех, что оборудовали куряне средствами города. В сумрачной палате, лавируя среди множества железных коек, Лида провела меня к той, на которой лежал человек со сплошь забинтованной головой. В белой завесе бинтов зияли узкие щели для ноздрей и рта.

— Кто это? — спросил я.

— Петька,— ответила Лида и беззвучно заплакала, затряслась всем телом.

Я сел на табуретку возле его койки.

— Петя, это я. Ты помнишь меня, Рыжего? — Я взял его руку в свою.

Петька повернул спеленутую голову на мой голос. Из щели рта раздался тихий смешок, и его рука несильно пожала мою.

— Вот это да,— засипел он в щель.— Откуда ж ты взялся? И какой ты — не вижу.— Он сделал усилие, чтобы приподняться.— Где же Лида? Помнишь Лиду нашу? Она тоже здесь. Позвать бы ее.

— Я тут, тут я,— выдохнула Лида.— Это я его и привела.

— Ну вот, смотри, как народ собирается. Они, куряне, свое дело понимают.

Через час я узнал всю Петькину историю — со дня его отъезда из Курска до того мига, когда так тяжко ударила его война, положив на эту койку.

После школы судьба занесла его на Урал. Учиться дальше не смог: умер отец, надо было кормить мать, двух братишек, сестру. Работал он в Челябинске слесарем. Призвали в армию. Когда первый раз открыл люк тяжелого танка, заглянул внутрь, только и сказал: «Вот это да, целый завод». Отслужил действительную, вернулся на производство и потом, с первых дней войны,— механик-водитель танка. Горел и не сгорел под Смоленском, отступал, переформировывался, получал новую технику, наступал, и вот — Курская дуга. Был счастлив, что попал в родные места.

...Тяжелый удар потряс танк, и малиновый сноп пламени повис над смотровой щелью. Снаряд угодил в нижнюю часть КВ. Петька на секунду выпустил из рук рычаги управления: загорелся шлем. Он снял шлем и погасил огонь. Теперь он почувствовал острую боль в глазах, словно его резко хлестнуло по переносице. Но могучий танк жил, его стальной корпус чуть вздрагивал — мотор работал. Петька осторожно провел пальцем по закрытым глазам. Он не ощутил трепетания ресниц — их не было. Он хотел ощупать брови, но не нашел их — под пальцами была голая опаленная кожа. Первая вспышка боли угасла, и он с усилием поднял отяжелевшие веки.

Нужно было немедленно двигаться дальше. Танк находился почти в центре противотанкового района. Петька посмотрел в смотровую щель. Там, где мгновение назад были видны вспышки разрывов и сверкала залитая солнцем рожь, сейчас зияла черная бездна. Тоскливое предчувствие непоправимой беды хлынуло в сердце Петьки. Он силился пошире раскрыть глаза, на лбу его выступили крупные капли пота. Ветерок скользнул в смотровую щель и остудил горячую голову, но мрак, сгустившийся вокруг, не рассеивался, и Петька, сам не веря своим словам, выкрикнул, полуобернувшись к товарищам:

— Ребята, я, кажется, ослеп!

Еще не услышав ответа, Петька подумал: «Что же это такое? Танк не должен стоять неподвижно, не должен!»

Где-то рядом бухнулся снаряд, и осколки глухо забарабанили по броне. Найденов нажал рычаги, и танк легко сдвинулся с места. Слепой механик-водитель повел машину вперед.

В это время недалеко от места боя, в деревне, где расположился политотдел, секретарь парткомиссии танкового соединения читал заявление Найденова о приеме в партию. Оно было написано наспех, перед атакой. На краю стола лежали два листка, покрытые неровными строками,— автобиография механика-водителя.

...Незадолго до этого дня в бригаду приехал генерал-лейтенант П. А. Ротмистров, командующий 5-й гвардейской танковой армией, будущий маршал. Экипажи выстроились перед машинами. Тяжелые КВ были полускрыты высокой, в человеческий рост, рожью и сверху закамуфлированы захваченными по дороге ветвями. Поле цвело, и легкий ветер раскачивал колосья, унизанные бледно-желтыми сережками. Рядом с Найденовым стояли командир машины лейтенант Шургин, башенный стрелок, старший сержант Непринцев, младший механик-водитель Рубцов и радист Клеткин.

Генерал обходил экипажи. Танкисты вытянулись по команде «смирно», но возле тех машин, где останавливался генерал, раздавались восклицания, звучал раскатистый смех. Смотр перед боем походил скорее на встречу со старым другом. В бригаде служило немало сподвижников генерала по прошлым боям, и он знал их всех наперечет. Генерал остановился перед Найденовым. Механик-водитель заметил на его груди рядом с орденами значок «За отличное вождение танка».

— Как будешь драться, Найденов? — спросил генерал, подавая ему руку.

— Пока глаза видят, товарищ генерал-лейтенант,— сказал механик-водитель, краснея от смущения и уже досадуя на свой, как ему казалось, напыщенный ответ.

— Молодецкий ответ! — одобрительно кивнул генерал.

...Теперь, когда ослепший механик-водитель тронул вперед свою машину, он вдруг отчетливо вспомнил и сережки, украшавшие ржаные колосья, и значок на груди генерала, и все, что произошло час назад, когда начался бой.

Скрытно, по оврагам группа танков КВ подошла почти вплотную к расположению противника. Оставалось лишь пройти большое ржаное поле, точь-в-точь похожее на то, в котором вчера скрывались наши танки. Поле имело вполне мирный вид. Разве что в нем прятались фашистские автоматчики и гранатометчики, но это для КВ — сущие пустяки. Однако танки напоролись

на сильную противотанковую оборону: во ржи было укрыто множество пушек врага. В первой половине ночи, когда наша разведка побывала на этом участке, их еще не было, но до рассвета противник успел густо насытить поле противотанковыми средствами. Потом подсчитали: на территории в пять километров по фронту и два в глубину было расставлено до ста пушек.

Уже по первым снарядам, рвавшимся впереди танка, Найденов определил тактику противника. Вражеские артиллеристы старались пропускать танки мимо себя и открывали огонь с коротких дистанций, целясь либо в боковую стенку машины, либо в корму. Как бы не замечая ближайшей пушки, Найденов уже почти проскочил мимо нее, а потом, на полном ходу сделав резкий поворот, мгновенно стал к ней лобовой частью. Рывок вперед — и вот уже хрустнуло колесо пушки. Так танк лейтенанта Шургина раздавил четыре противотанковых орудия и три миномета.

И вот этот дурацкий снаряд, угодивший в основание башни. И эта внезапная слепота. Петька несколько секунд вел машину в полном мраке, еще не решив толком, что же будет дальше. В это время лейтенант Шургин наклонился к нему и прокричал: — Найденов, друг, ослеп? Уступай скорее место Рубцову. Сейчас забинтуем тебе глаза.

Решение Петьки созрело в то же мгновение, как он услышал голос лейтенанта.

— Я сам, я сам, товарищ командир,— умоляюще произнес он.— Все равно лучше меня машину никто не знает. У меня сил много. Я поведу. Вы управляйте, товарищ командир, управляйте.

Найденов кричал торопливо, повторяя одно и то же, словно боясь, что его слова покажутся лейтенанту малоубедительными.

Но едва он замолчал, как ощутил толчок в правое плечо. Петька понял. Ему сразу стало легко, и он свободным движением плавно повернул машину вправо. Тренированным чутьем водителя он почувствовал под гусеницей что-то металлическое — пушка. Слепой, он внутренним зрением угадывал положение, в котором она стоит. Петька развернул танк, безошибочно накрыл пушку гусеницей и пошел дальше, подминая танком расчет. Толчок в левое плечо, и танк идет влево. Легкий удар в спину, и КВ устремляется вперед. Прикосновение к голове — значит «стоп», и танк останавливается.

Ослепший механик-водитель, повинуясь руке лейтенанта, бросал машину из стороны в сторону, ловил пушки и минометы, вгоняя в землю фашистских артиллеристов. Он видел поле боя глазами своего командира. Слух Петьки необычайно обострился. Водителю казалось, будто сквозь рычание и грохот КВ он слышит все звуки боя, каждый в отдельности, и, когда Шургин направлял его в нужное место, Петька не только ушами, но еще обострен-

ными нервами, всем своим существом улавливал лязг столкнувшихся масс металла и знал, что нужно делать дальше. У него было такое ощущение, словно он сам шел впереди своего танка и, невидимый, указывал стальной громаде путь среди поля. Тьма, окружавшая Петьку, теперь как бы не существовала для него. Он уже не напрягал обгоревшие веки, не старался увидеть. Все его чувства растворились в заполнившем сердце и мозг настороженном внимании. И это делало его зрячим.

Петьке казалось, что прошло всего несколько минут с того момента, как непроницаемая темная пелена окутала его. На самом деле танк со слепым водителем действовал на поле боя целый час. КВ раздавил еще четыре пушки и три миномета, давно прошел ржаное поле, протаранил тяжелый танк противника, выстрелами из пушки разбил два средних танка. И когда Непринцев был ранен и иссяк боевой комплект, Петька по знаку лейтенанта вывел машину из боя.

Петька вылез из танка. Пошатываясь, стоял на лесной поляне и держался рукой за плечо Рубцова. Золотой шар солнца ослепительно сиял в чистом небе. Петька запрокинул голову — небо было черным. Вокруг него стояла ночь. И только теперь он вспомнил свой ответ генералу: «Буду драться, пока видят глаза». Он дрался и после того, как они перестали видеть.

— Ты помнишь хоть, какого цвета у меня глаза были? — спросил Петька, и сердце мне сдавила его тайная, невысказанная мука.

— Не помню, брат,— сказал я.

— Серые,— сказала Лида и закусила губу.

Сейчас, когда я пишу это, на память приходят недавно читанные строчки:

Он был в бинтах и в гипсе белом,
Как неживое существо.
И смерть белогородским мелом
Весь месяц метила его.
Но выдержал орел-курянин,
Кость курская — она крепка...

Не про Петю Найденова эти стихи. Про другого курянина, летчика, а не танкиста. Где сейчас Найденов — не знаю. Жизнь снова разбросала нас в разные стороны. Знаю только, что из Курска на Урал поехал он не один, а с Лидой.

Колеся по Курскому выступу, я видел землю, закованную в броню. Всюду в войсках можно было ощутить веру в свои силы, в технику, в счастливый исход того, что надвигалось неотвратимо и грозно.

А пока на всем гигантском протяжении советско-германского фронта царило затишье. «На фронте ничего существенного не произошло» — гласили ежедневные сводки Совинформбюро. Поиски разведчиков, артиллерийские налеты с обеих сторон, бомбардировки с воздуха, подобные той, какую я наблюдал из траншеи в батальоне Шапошникова, не входили в понятие существенного.

И вот 2 июля командующие фронтами в районе Курского выступа получили предупреждение Ставки: противник может перейти в наступление 3—6 июля. 4 июля в районе Белгорода немецкий сапер, по национальности словен, рискуя жизнью, пробрался через линию фронта, сдался в плен и заявил, что его часть, исполняя приказы, начала делать проходы в минных полях и снимать проволочные заграждения. Солдатам выдан сухой паек и шнапс на пять дней. Как он полагает, наступление начнется 5 июля.

В ночь на 5 июля разведка стрелковой дивизии Центрального фронта наткнулась на группу саперов противника, занятых именно тем делом, о котором говорил перебежчик. В короткой схватке разведчики взяли в плен солдата саперного батальона. Он уточнил: наступление назначено на 3 часа 5 июля, войска сосредоточены на исходных позициях.

Верить этим данным или нет? Командование фронта приняло решение провести предусмотренную планом артиллерийскую контрподготовку. За десять минут до ожидавшегося артиллерийского удара противника 600 орудий и минометов обрушили на него огонь.

Над степью южнее Орла вставал рассвет в громе и молниях страшной канонады.

Так началось сражение на Курской дуге.

Не моя задача описывать его в целом. Восемь суток, днем и ночью, войска Центрального фронта грудь в грудь бились с наступавшими дивизиями Гитлера, вышибли из них дух, остановили. С севера дорога к Курску была закрыта наглухо.

На южном фасе Курского выступа в полосе Воронежского фронта, где я находился тогда как спецкорреспондент «Красной звезды», шла не менее ожесточенная борьба.

Я смотрю сейчас на карту, расчерченную синими и красными стрелами, и читаю знакомые еще с детства названия: Драгунское... Богородское... Васильевка... Зеленая, утопающая в дремучих садах Обоянь... Главный удар противник наносил на Обоянь. На подступах к ней развернулась танковая битва неслыханного еще масштаба. От ее исхода зависела судьба всей операции.

Именно в те дни в штабе танковой армии говорили: «Ближайшие сутки, двое, трое, от силы неделя — самые страшные. Либо пан, либо... немцы в Курске».

Решающие атаки противника отбивались огнем наших танковых соединений с места. Бронированные машины превратились в сотни дотов, стали бронированными узлами обороны — на них опирались пехота и артиллерия. Обоянская дверь к Курску также оказалась на прочном замке.

Тогда противник в кровавом поту, с диким упорством решил пробиться к городу сквозь Прохоровскую щель. На узком участке фронта перед Прохоровкой, шириной в 8—10 километров, немецкое командование сосредоточило свои главные танковые силы — семьсот танков и самоходных орудий, да и на вспомогательном направлении еще триста. Впервые за время войны противник создал такую чудовищную плотность техники — сто стальных громад на один километр фронта. Но резервы его уже иссякли, а этой концентрации танков он добился за счет ослабления флангов.

5-я гвардейская танковая армия, которой командовал тогда генерал П. А. Ротмистров, приняла на себя основную тяжесть этой не имевшей в истории аналогий танковой битвы. И здесь, у Прохоровки, окончательно треснул механизированный клин противника, надломленный в районе Обоянского шоссе.

Дорога к Курску была закрыта со всех сторон.

Западногерманский историк Герлитц пишет о событиях на южном фасе Курского выступа: «Между 10 и 15 июля фельдмаршалу Манштейну с его наступающими соединениями удалось достигнуть водораздела между Сев. Донцом, Пселом, Сеймом и Ворсклой, затем силы здесь истощились. На высотах у Щебакино и около леса у Гонки на шоссе Белгород — Обоянь наступление остановилось». Генерал Конев позднее говорил о «лебединой песне» немецких танков. Последние способные к наступлению соединения догорали и превращались в шлак, была сломана шея гитлеровским бронетанковым силам.

Противник начал отходить, и 18 июля по приказу Ставки в дело были введены свежие войска Степного фронта. Поднималась заря нашего гигантского контрнаступления на Курской дуге.

«Гигантская битва на Орловской дуге летом 1943 года,— сказал Л. И. Брежнев,— сломала хребет гитлеровской Германии и испепелила ее ударные бронетанковые войска».

С тех дней условия вооруженной борьбы диктовало Советское Верховное Главнокомандование. Курской битвой началось стратегическое наступление Красной Армии на фронте в 2 тысячи километров — от Великих Лук до Азовского моря. Страстное желание Гитлера — взять реванш за Сталинград — не осуществилось. В битве под Курском уже тогда, в 1943 году, наша армия громко постучала в берлинскую дверь. После этой битвы фашистская Германия оказалась на краю бездны.

Прошли годы и годы. Желание многих западных военных историков умалить роль событий на советско-германском фронте для всего хода и исхода войны становилось все более очевидным.

В книге «Проигранные и выигранные битвы» военный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Х. Болдуин вообще не упоминает о Курской дуге. Бой за атолл Тарава в Тихом океане в том же 1943 году, где пятнадцать тысяч американцев сражались с тремя тысячами японцев, этот бой был, а битвы под Курском не было. Сборник статей американских авторов «Важнейшие решения» ни словом не упоминает о ней. В «Истории второй мировой войны» К. Типпельскирха ей отводится два абзаца. В исследовании английского военного теоретика Фуллера — один абзац, в работе его соотечественника известного историка Лиддел Гарта — несколько строк. Происходит какой-то странный аукцион — кто меньше?

Но это кажущаяся странность. Такая тактика многих официальных и полуофициальных военных ученых вызвана отнюдь не их слабой осведомленностью. Не упрекнул бы я их и в непонимании истинного значения событий. Совсем не в том дело. Речь идет о планомерных попытках сместить, принизить масштаб всего, что происходило на Восточном фронте, и выпятить боевые действия на Западном. Правда о Курской битве, где с огромной силой проявился дар военного предвидения советских полководцев, где блестящее искусство нашего генералитета с огромным эффектом направило к стратегической цели мужество и отвагу советских войск, — эта правда обладает красноречивой силой исторического урока. Именно поэтому она и не нужна фальсификаторам истории.

Дело в том, что наша победа под Курском показала всем, кто мало-мальски разбирался в проблемах войны, что судьба гитлеровской Германии была предрешена, даже если бы и не было второго фронта в Европе. Еще раз скажу: молнии советских пушек с Курской дуги вонзались в берлинские ворота.

Вернемся, однако, к историкам второй мировой войны. Один из них, западногерманский теоретик Э. Клинк, в пухлом томе «Закон действия. Операция «Цитадель», 1943 год» захлебывался от восторга, говоря об англо-американских операциях в бассейне Средиземного моря, до такой степени, что главным методом его исторического исследования становится гипербола. Что же касается битвы под Курском, то ей он отводит чуть ли не «местное значение», толкует о ее «ограниченном характере». Его коллега М. Домарус выстраивает ту же теорию. Создается как бы сплошной фронт фальсификации, где толстенные книги, словно доты, ведут огонь по сознанию массового читателя, желая разрушить его представление об историческом подвиге Советских Вооруженных Сил.

Зададим себе вопрос: может быть, авторы подобных книг опираются хоть на какие-либо документы? Нет, конечно. Трудно поверить, но перед нами действительно хладнокровное извращение правды истории. Это можно доказать с помощью немецких же первоисточников. Известен оперативный приказ Гитлера — приказ № 6 из реестра распоряжений на проведение операции «Цитадель». Вот строки из него: «Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года». В этих словах определена гигантская стратегическая цель действий, задуманных гитлеровским генштабом. А вот вам характеристика самого хода битвы. Она принадлежит гитлеровскому генералу Меллентину: «Два месяца огромная тень «Цитадели» покрывала Восточный фронт, и все наши мысли были заняты только этой операцией».

Фронт фальсификаторов истории оказывается неустойчивым. Он еще не разгромлен в той мере, как это произошло на Курской дуге с армейским фронтом Гитлера, но прорван во многих направлениях. Советские историки давно уже опрокинули измышления историков на службе НАТО. В западной буржуазной историографии мы тоже слышим голоса ученых, для которых исторический документ — реальность, а желаемое идеологами агрессии не равно действительному. Французский историк П. Константини устанавливает небывалый разгром вермахта на Курской дуге. Английский исследователь Дж. Джукс в книге «Курск. Битва танков» признает, что поражение немцев под Курском предопределило исход второй мировой войны. И наконец, соотечественник Клинка и Домаруса западногерманский историк П. Карелл в книге «Сожженная земля», изданной в 1970 году, найдя удачную, хотя и неполную аналогию, пишет: «Подобно тому как битва при Ватерлоо в 1815 году решила судьбу Наполеона, покончив с его господством и изменив лицо Европы, победа русских под Курском ознаменовала поворотный пункт в войне и два года спустя непосредственно привела к падению Гитлера, взятию Берлина и поражению Германии, тем самым изменив облик всего мира».

Да, как видно, названия этих городов — Курск и Берлин — связаны между собой не только в сознании одного немолодого курянина.

Недавно был я в родных местах. Едем по мирной курской земле. Следы воины. Они здесь повсюду и вновь и вновь возращают память к тем страшным и героическим дням. Невдалеке от зеленой рощицы, среди квадрата цветов и деревьев, стоит обелиск. Такого мемориала я еще не видел. Это памятник селу Большой Дуб. Село сожгли гитлеровцы, жителей расстреляли всех до одного, а трупы их тоже сожгли. И были довольны. Считали, что

уже не уйдут с этой земли никогда и никто никогда не узнает об их преступлении. Курская дуга, распрямившись, отбросила гитлеровцев в тупик поражения.

Тихое июльское утро. Тихо у памятника. Подходят люди. Подъезжают машины. Долго-долго стоит человек, читая мартиролог, высеченный на камне. Простые русские фамилии. Такие же, как и у тех, кто сегодня работает здесь в карьерах, добывает и обогащает руду.

Воистину тысячами нитей связана курская руда с Курской дугой. Процесс народной истории — неразделимое целое. И здесь, где преображение России, ее древнейших земель предстает вашему сознанию так весомо и зримо, еще раз проникаешь в связь времен советского летосчисления.

От первых наметок Ленина сквозь все преграды и невзгоды, сквозь ад войны к этому синему небу, к этой марсианской чаше карьера, со дна которой роторные чудо-экскаваторы добывают сталь нашего будущего. Курскому поэту эта связь времен подсказала развернутую метафору:

Из вен отворенных ручьями шла руда.
Минули битвы — и земля ее впитала...
Под нашим городом за долгие года
Руда собралась сгустками металла.
Кровь запеклась железною рудой.
А по полям курганы да окопы,
Земля моя! Твои сыны с тобой!
Магнитный край,
Ты мой извечный компас!

ЛЕОНИД
ПЕРВОМАЙСКИЙ

ПЫЛАЮЩАЯ ДУША



Есть в нашем народе могучая сила, которая пробуждается каждый раз, когда опасность угрожает его существованию. Эту силу, таящуюся в груди миллионов, можно назвать героизмом, хотя это не только героизм. Можно назвать ее любовь к источнику человеческой радости — к родной земле. Но это не только любовь. Все лучшее, что родилось и созрело в человеческой душе в течение столетий труда и борьбы народа, живо в этой силе, имя которой — величие народного духа. Это свойство всего народа. Но есть люди, в которых дух народного героизма воплощается наиболее ярко. В дни испытаний такие люди выходят из безвестности, чтобы совершить свой подвиг и умножить славу Родины.

Я говорю об одном таком человеке, садоводе по призванию, который в годину войны стал танкистом, вошел в мир скрежещущего, воющего и орущего металла, как в дикий незнакомый сад, в котором нужно было все познать, изведать и подчинить своей воле, потому что таково веление времени — судьбы садов зависят теперь от мужества солдат.

Капитан Сергей Илларионович Величко вернулся в свою бригаду в полдень 4 июля. Около года он пробыл в тыловом госпитале, и мало кто из друзей надеялся с ним когда-нибудь свидеться. Величко был отправлен в госпиталь в состоянии, оставлявшем мало надежды на выздоровление. Ожидали, что в лучшем случае он останется инвалидом, однако в бригаду вернулся вполне здоровый, даже несколько располневший человек. Величко был назначен командиром батальона тяжелых танков и сразу же принял свой батальон.

На фронте царило полное затишье, но танки, как полагается, стояли в укрытиях в полной боевой готовности, а их экипажи в ожидании своего часа усердно проходили ежедневные учения.

День ушел на знакомство с людьми и осмотр материальной части, а вечером в блиндаже капитана собрались старые друзья.

Начальник штаба бригады, пожилой майор Иванов, принес фляжку трофейного рома. Седой юноша, командир мотострелковой роты, старший лейтенант Вася Гришаев пришел со своей гитарой. Капитан Петрунин, лихой разведчик, своими усами и бородкой похожий на Николая Щорса, выложил на стол пучок молодого лука...

Когда выпили по первой — в круговую из одной жестяной кружки,— Вася Гришаев тряхнул своим седым чубом, тронул струны гитары, и танкисты, презрев различия возраста и званий, спели любимую песню бригады, ту, что пел капитан Величко на Дону в осажденном немцами танке:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра...

О многом говорили в блиндаже, много воспоминаний разбудила встреча. Выцеживая последнюю каплю из фляжки, пожилой начальник штаба сказал раздумчиво, как бы прислушиваясь к своим словам:

— О тебе, Сергей Илларионович, мы столько тут нарассказывали за этот год и своим людям, и гостям, и газетчикам, что стал ты в некотором смысле личностью легендарной...

Капитан помрачнел и сказал неохотно:

— Зря, я ведь и повоевать не успел... и героем не был. Попал бы ты в мою шкуру, о тебе то же самое говорили бы.

Гости разошлись. Капитану Величко плохо спалось на новом месте. Он несколько раз выходил из блиндажа покурить, а когда уснул наконец-то, как ему показалось, сразу же проснулся... Еще не открывая глаз, он понял, что произошло. Блиндаж трясся, и сухая кора падала с бревен перекрытия на постель. Он натянул на ноги сапоги, накинул шинель на плечи и вышел.

Ночное небо на юго-западе освещалось вспышками, догонявшими одна другую и сливавшимися в одно сплошное жуткое мерцание. Земля содрогалась, глухо стонала и вздыхала, как будто она была большим живым существом, мучительно переживавшим боль сыпавшихся на нее ударов.

— Видать, началось, товарищ капитан? — сказал автоматчик, стоявший у блиндажа. Его молодое лицо в темноте казалось старым и серым, а голос прозвучал неуверенно и робко.

— Не трусь,— ответил Величко.— Давай-ка воды, будем умываться...

Автоматчик нырнул куда-то в темноту и вернулся с ведром воды. Величко фыркал и ухал, вода была холодная, ключевая, а молодой боец, глядя на его тело, светящееся в темноте молочной белизной, говорил будто сам с собою:

— Слыхать, немец на нас «тигров» пустит?

— Лей сюда! — прикрикнул Величко, отводя руку за спину и хлопая себя тыльной стороной ладони по хребту.— А мы сами чем не медведи? Вода еще есть? Нету — и шут с ней...

Он долго растирал тело шерстяной рукавицей, бормотал что-то, подшивая свежий воротничок к гимнастерке, насвистывал лю-

бимую песню и, когда его вызвали к командиру бригады, был уже одет и гладко выбрит.

Полчаса спустя капитан Величко садился в свой командирский танк. Он был уже полон того напряжения, какое обычно появляется у людей перед боем, хотя знал, что должно пройти еще много времени, прежде чем его батальон встретится с врагом.

Танки шли по дороге, растянувшись колонной. Он стоял, высунувшись по грудь из башни, и наблюдал за дорогой, за движением, за воздухом...

Кусты, поля, деревни в предрассветной дымке кружились и летели вспять по сторонам дороги.

Жизнь мчалась, как стремительная река, и жаркий поток ее нес его с собой.

...Было на днепровском правобережье местечко Млиев, известное садоводам всего мира. Величко вспоминал о Млиеве в прошедшем времени, потому что сам был свидетелем его разрушения и гибели. До войны он работал в садах Млиевской опытной станции. Знойная тишина украинской осени приносила плоды, которые были настолько же делом природы, насколько творением молодого садовода. У Величко была жена, ее звали Лизой, и шестилетний сын Сережа.

Летом первого года войны танковая часть, в которой Сергей Величко служил командиром взвода, отходила на восток. Кривая сабля Днепра должна была преградить дорогу врагу. На подступах к реке шли ожесточенные сражения, и судьбе было угодно, чтобы Сергей Величко, садовод, вел бой с немецкими танками у развалин горящего Млиева, среди отягощенных обильным урожаем своих садов.

Пламя ночного пожара освещало танки, стоявшие под деревьями. Танкисты, не выходя из машин, срывали ранние яблоки, но, кажется, никто не знал, что среди них находится человек, трудившийся в этих садах, творец этих крупных сочных плодов, свежестью своей пробуждающих воспоминания о детстве.

Сергей Величко сидел на броне своего танка. Обстановка не позволяла ему отлучиться, хотя в двух-трех километрах находился его дом.

Тяжелые мысли одолевали танкиста в ту ночь. За ним были его сады, жена, чье ласковое имя будило в нем печаль и тревогу, сын, вихрастый шалун и непоседа. Впереди, освещенные отблес-

ком пожара, лежали большие участки саженцев выращенных им сортов яблонь. Перенесенные в колхозные усадьбы, через несколько лет они стали бы плодоносить.

Сергей Величко в ту ночь понял, что фашистское нашествие не только уничтожает уже совершенный труд народа, но угрожает уничтожением всему, что народ и каждый человек могут совершить в будущем.

На рассвете немецкие танки возобновили атаку. Они выползли из-за холмов на участки саженцев. Тоненькие молодые деревца гибли под гусеницами, оставались лежать в колее, напоминавшей бесконечный складень, вдавленный в землю, как будто препарированные для гербария.

Величко ничего не видел перед собой. Он стал протирать триплекс рукавом гимнастерки, но лучше ему было бы вытереть слезы, застилавшие глаза.

Танкисты встретили немецкие машины огнем.

Грохот боя разбудил охваченного смертной тоской вчерашнего садовода. Он взял себя в руки вовремя — снарядом заклинило башню его танка, пушка вышла из строя, а немцы были уже совсем близко от их засады. Сергей Величко приказал механику-водителю пускать мотор. Он еще не знал, что пойдет на таран, за него действовали сложные человеческие чувства, из которых он громче других слышал одно... ему на мгновение показалось, что ослепительно отполированная гусеница немецкого танка, который двигался навстречу ему через саженцы, подминает под себя не молоденькое, едва развившееся деревце, а что это хрупкое тельце его Сережи хрустнуло в страшной тишине, внезапно наступившей в мире.

— Газу,— закричал он механику-водителю,— давай газу, сержант!

Сергей Величко, раздавивший корпусом своей машины немецкий танк вместе с экипажем, и с этого времени стал настоящим солдатом.

Он был весел, пел песни, но никогда ни с кем не говорил о семье. Отходя на новый рубеж, он остановил свой танк у полуразрушенного дома. Стекла были выбиты, потолок упал. Кусок еще горячего железа лежал в кроватке сына. Он снял со стены карточку, на которой Сережа был снят вместе с Лизой, и прикрепил ее перед собой в танке.

О чем было толковать? Теперь он жил только войной. Он жил в ней спокойно и уверенно, слеза, даже слеза ярости не застилала больше его глаз. Иногда только, на привале в придорожной деревеньке, он подолгу мог стоять у какой-нибудь захудалой яблоньки, трогать ее ветки почти неслышными прикосновения-

ми пальцев, снимать с листьев каких-то жучков и долго рассматривать их, держа на ладони.

Он был уже лучшим командиром роты в бригаде, когда в жестоком бою на Дону летом незабываемого сорок второго года немцы подбили его танк.

Ночь спустилась мгновенно и укутала мягкой мглой холмы.

Величко рассчитывал в темноте исправить гусеницу и пробиться с машиной к своим. Танк стоял на высотке, тут же, где его настиг снаряд.

Немцы ползли на высотку, осыпая танкистов горячим ливнем свинца и забрасывая гранатами. Величко со своим экипажем закрылся в танке. К рассвету все боеприпасы были израсходованы. Немцы стучали прикладами в броню и кричали:

— Сдавайся, рус!

Сергей Величко радировал:

— Всем, всем! Танк окружен. Отбиваться нечем. Умираем, но не сдаемся!

Затем он перечислил имена танкистов, бывших с ним в машине, и затянул свою любимую песню.

Немцы втолкнули в ствол пушки гранату, она разорвалась в казенной части орудия.

Когда утром наши войска отбили гряду придонских холмов, из танка вытащили мертвых бойцов и чудом уцелевшего Сергея Величко.

В госпитале танкиста, как говорят на войне, заново сшили из лоскутков. Врачи бились над ним около года.

Когда Величко выписался из госпиталя, он был совершенно здоров, только шрамы от многочисленных ранений свидетельствовали о том, что перенес этот могучий человек.

Что сыграло решающую роль в победе над смертью — искусство врачей или воля к жизни, не побежденная страданием, сказать трудно.

Еще в госпитале, задолго до полного выздоровления, Величко начал заново учиться. Война требовала знаний, и, хотя это были не совсем привычные для бывшего садовода знания, он овладевал ими с помощью книг и опытных командиров, которые находились вместе с ним на излечении.

Дорога окончилась. Танки остановились в небольшой роще. Воспоминания улетели, улеглись на дне души, как улеглась пыль, поднятая на дороге танками. Жизнь была неотложным

делом. У капитана Величко на руках было много машин и живых людей.

Дыхание боя чувствовалось здесь уже совсем близко. Над горизонтом вздымались черные фонтаны земли, смешанной с клубами дыма разных оттенков, от темно-лилового до светло-серого и даже розового и голубого. Над рощей все время кружились самолеты.

С одной стороны, у горизонта, наши самолеты штурмовали колонны наступающих немецких танков; с другой — немецкие бомбардировщики пытались смять наш передний край; в центре небосвода, оглушительно воя на крутых виражах, наши истребители вели бой с «мессершмиттами»; немецкие летчики опускались на парашютах, их игрушечные фигурки нелепо болтали ногами и были похожи на картонных паяцев, двигающихся на нитке; сторонкой, ныряя в ослепительно-белых кучевых облаках, пробирались через линию фронта в ту и другую сторону звенья тяжело груженных бомбардировщиков, непрерывно били зенитки, трещали счетверенные пулеметы, раздавалось звонкое тявканье нацеленных по самолетам противотанковых ружей...

Мимо рощи, по дороге в тыл, шли легкораненые, этот вернейший барометр боя. Они отмахивались от расспросов о ранениях, зато охотно рассказывали о том, что происходит на переднем крае. Они совсем не были похожи на тревожных раненых первого года войны. Танков они не боялись, об окружении говорили презрительно — они сами этой зимой окружали немцев. Новый немецкий танк, именуемый «тигром», они называли «лампой на колесах», потому что он горел не хуже других немецких танков.

— Вы не сомневайтесь, товарищ капитан,— весело улыбаясь, рассказывал пожилой усатый гвардеец, раненный в правую руку выше локтя, — горят, как проклятые... И от бронебойки горят, и от снаряда горят, а бутылкою подпалишь — тоже горят... Аж чад стоит!

— Только много еще у немца танков, и авиация дуже бомбит,— прощаясь, сказали раненые, но капитан Величко и сам отлично знал об этом.

Его не смущало большое количество вражеских танков и то, что авиация «дуже бомбит», потому что из слов раненых и по самому виду их он почувствовал, что перед ним только что прошли бойцы новой, родившейся в жесточайших испытаниях армии, люди нового закала, веселые, задорные, презирающие смерть и уверенные в победе солдаты 5 июля.

Весь день и часть следующей ночи батальон стоял в роще. Боевой приказ был получен за полночь. Предстояло контратаковать немцев и выбить их из деревеньки, рассыпавшейся по косогору в нескольких километрах от шоссе.

Сама по себе деревенька эта не имела никакого значения. Было в ней не больше двадцати дворов, и жители ушли из нее, как только поблизости начались бои. Но то, что она была ближе к шоссе, чем все другие деревеньки, захваченные немцами, делало ее сейчас особо важной.

Во всех вышестоящих штабах она была отмечена на картах особыми значками. К ней подтягивались войска: на карте они выглядели цветными полукружьями, квадратами и стрелами, а в действительности это были живые люди, располагавшиеся со своим оружием в рощицах, оврагах и чистом поле. Это было великое множество людей, направляемых единой разумной волей, и среди этого множества пехотинцев, артиллеристов, минеров в одной из многочисленных рощиц, отмеченных на карте зеленой краской, находился капитан Величко со своими танкистами.

И хотя он не мог охватить всей широты событий, происходивших на фронте, так как взгляд его был прикован к одному только участку и к одной только задаче, однако он понимал, чувствовал эту свою задачу как самую главную.

Действительно, на его долю, точно так же как и на долю всех остальных войсковых начальников и рядовых бойцов, большим полукружием стоявших вокруг деревеньки, выпала в этот день главная задача, состоявшая в том, чтоб вышибить немцев из деревеньки, не допустить до шоссе и отбросить как можно дальше от цели, которую немцы себе поставили.

Разумная воля, собравшая сюда столько людей и столько разного оружия, делала это все не ради какой-то деревеньки, которую ничего не стоило разрушить и снова выстроить, не ради шестиметровой полосы земли, засыпанной щебнем и называемой шоссе, а ради других, высших целей, которые так же хорошо были известны капитану Величко, как и многим тысячам других командиров и солдат. Капитан Величко чувствовал себя частью этих грозных сил, чувствовал на себе разумную руководящую волю, и ему было легко и радостно выполнять свою задачу именно потому, что она была огромной и трудной...

Чем ближе подходил час, назначенный командованием для штурма немецких позиций у деревеньки, тем спокойнее становился капитан.

Он присматривался к лицам своих танкистов, прислушивался к их разговорам, и постепенно им овладевало убеждение, что эти люди, которых он знал всего лишь один день, мыслят и чувствуют точно так же, как он, что каждый из них — командиры рот и взводов, водители и башенные стрелки и все другие — понимает свою задачу как самую главную, как бы узка и маловажна на первый взгляд она ни была.

В назначенное время, когда танки пошли в атаку, капитан Величко не сомневался в победе, как, впрочем, не сомневался он в

ней никогда. Но в отличие от прошлых боев, когда он верил в победу, сегодня капитан Сергей Величко твердо знал, что победа будет, потому что ей невозможно не быть, коль скоро родилась и созрела для победы такая армия, какую он узнал и почувствовал перед нынешним сражением.

После артиллерийской подготовки танки капитана Величко прошли через боевые порядки нашей пехоты и ринулись на штурм немецких позиций.

Пехота вышла из окопов и пошла за танками под страшным огнем немецких пушек и минометов, под ливнем пуль, под жестокими ударами с земли и с воздуха.

Были минуты, когда солнце, уже высоко поднявшееся в небе, окутывалось мглой, будто в неурочный час на землю возвращались сумерки, но ветер разгонял пелену туч, и солнце, словно и оно участвовало в битве, яростно ослепляло немецких артиллеристов, как будто хотело выжечь их оловянные глаза.

Да, в это утро, несмотря на огонь немецких пушек, несмотря на то что навстречу нашим танкам вышли немецкие «тигры», победа шла в наших рядах, и жаркий ветер боя развевал ее огненные волосы... Капитан Величко, выглянув из танка, почувствовал у своего лица дыхание победы, он увидел, как из-за холмов в деревеньку врывается рота танков, которую он послал в обход.

— Газу! — крикнул капитан Величко, снова ныряя в машину.— Давай газу, сержант!

В это мгновение снаряд угодил в гусеницу танка, танк развернуло на ходу, поставило боком к немцам, и второй снаряд разорвался в его бензобаках.

Пламя вспыхнуло, как шаровая молния. Горящие танкисты один за другим выпрыгнули из машины.

Чувствуя, что сейчас начнут взрываться снаряды в танке, Величко лег на землю и сразу же услышал грохот и треск над головой. Поднявшись с земли, он увидел, что пехота, шедшая за танками, лежит на земле, так как не только его танк, но и несколько других стоят, подбитые немецкими снарядами...

Победа ускользала. До деревеньки было не больше трехсот метров. Нужен был последний бросок, чтобы завершить исход боя...

Пехотинцы, лежавшие за танками, увидели вдруг, как с земли поднялся горящий человек, повернулся к ним лицом и, подняв над головой автомат, прокричал что-то. Они не сразу поняли, что кричит горящий человек, но зато они увидели, как он повернул в сторону немцев и двинулся вперед, весь охваченный пламенем.

Бой как бы затих в это мгновение, которому суждено было стать решающим мгновением дня.

Сотни глаз, смотревших на горевшего танкиста, словно зажглись от его пламени; люди легко отрывались от земли, танкисты выпрыгивали из подбитых танков и, охваченные восторгом и яростью, под железным ливнем бежали вперед и вперед, словно пылающая душа штурма встала в строй и вела их по полю, вспаханному железными лемехами войны...

Деревенька была взята, потому что каждый выполнил свою задачу — маленькую задачу величайшей важности, верно понятую капитаном Величко и всеми, кто был в этом бою.

Капитан Сергей Илларионович Величко жив, пехотинцы, накрыв его своими телами, потушили огонь.

ЯКОВ
ХЕЛЕМСКИЙ

НЕСКОЛЬКО ВОЗВРАЩЕНИЙ



Если бы меня спросили, какой из фронтовых рубежей запомнился мне больше всего, я бы ответил, не задумываясь,— рубеж перед Мценском.

Почему?

Прежде всего потому, что из четырех лет, проведенных мною на войне, почти полтора года пришлось на эти места.

В феврале сорок второго Брянский фронт, освободивший Елец и Ливны, Ефремов и Плавск, Скуратово и Чернь, подошел к берегам Зуши.

С ходу форсировать Зушу и взять Мценск не удалось. Но в результате жестоких атак в разное время было захвачено несколько заречных плацдармов. Наши части, закрепившиеся там, отбивали все попытки врага столкнуть их с этих важных позиций. Но и дальнейшее продвижение фронта тогда приостановилось.

Лето и осень сорок второго, наступление немцев на юге, Сталинград — все это притянуло главные силы к другим, решающим рубежам. Но и под Мценском сохранялось напряжение. Активная оборона, разведка боем, стремление отвлечь на себя внимание противника, нанести ему наибольший урон — вот чем жили мы на Брянском.

Где б ты ни был сегодня, соратник и друг,—
Под осенним дождем и в погожий денек,
В обороне, в разведке ли,— помни про Юг.
Чем ты Югу помог, чем ты Югу помог?

Пусть на фронте твоем поутихли бои,
Но в жестоком огне Сталинград и Моздок.
Там сражаются кровные братья твои.
Чем ты Югу помог, чем ты Югу помог?

За рекою в окопе хоронится враг,
Точной снайперской пулей он будет убит.
Пусть твой выстрел услышат в Кавказских горах,
Пусть над Волгою эхо его прозвучит...

Я привожу эти строки из моего тогдашнего стихотворения, напечатанного в нашей фронтовой газете «На разгром врага», только для того, чтобы напомнить о том, что воодушевляло нас на берегах Зуши.

Враг в окопах за рекой понес тогда немалые потери.

Естественно, что нам, военным корреспондентам, чаще всего приходилось бывать на этом участке.

Сменялись времена года, сменялись части, действовавшие здесь, но постоянная готовность оставалась неизменной. Мценск, израненный, зовущий, открывающий дорогу на Орел, был хорошо виден с переднего края.

Мы были полны ожидания, нетерпеливого и трудного.

Так продолжалось до лета сорок третьего, когда после Сталинграда и Курской битвы изменился климат войны. Брянский фронт, при поддержке соседей, перешел в наступление, начав сражение за Орел.

И первый удар был нанесен на Зуше левее Мценска.

Полтора года боев и ожиданий на этом рубеже незабываемы еще и потому, что дело происходило в тургеневских местах. Обаяние здешней природы и бесценные памятники русской культуры вызывали в каждом, кому выпало здесь воевать, особое чувство.

Спасское-Лутовиново и его обширные окрестности были вырваны из плена еще в феврале сорок второго. Вся заповедная округа сильно пострадала в пору оккупации. И все же многое было спасено от огня и разора благодаря стремительности наших частей и отваге мценских партизан.

Полтора года передний край проходил вблизи этих мест. В зоне обстрела оставались уцелевшие усадебные строения, старинный парк, ближние деревни, леса и овраги, воспетые в «Записках охотника»...

О длительных боях в районе Мценска много написано. Пытался рассказать об этом рубеже и я в нескольких главах своей книги «На темной ели звонкая свирель».

Но вот книга завершена, опубликована в журнале «Знамя», вышла двумя отдельными изданиями. А я время от времени возвращаюсь к своему архиву, к старым корреспондентским блокнотам, газетным вырезкам, фотографиям, письмам. И обнаруживаю, что материал далеко не исчерпан.

Вот несколько таких возвращений.

Я предлагаю читателю три небольших очерка, основанных на давних записях, на моих публикациях в газете «На разгром врага».

Все они связаны одним местом действия — мценский рубеж. И на людей, о которых пойдет речь, на их подвиги падает отсвет поэзии, которая тогда осеняла всех нас среди израненных рощ, над грозными водами Зуши, под могучими кронами тургеневских лип.

Многие герои тех боев широко известны. Мне хочется ввести в прославленный круг еще несколько имен, громко прозвучавших на фронте в сорок втором и сорок третьем и достойных того, чтобы мы с благодарностью повторили их сегодня.

1. Рота Фомина

Высокий человек в овчинном офицерском полушубке, подпоясанном узким солдатским ремнем, вооруженный автоматом, стремительно вошел в избу. С фронтовой лихостью приложив ладонь к шапке-ушанке, он четко доложил о своем прибытии.

Полковник Нечаев, командир дивизии, давно и успешно, но с немалым напряжением наступавший, поднял на вошедшего глаза, покрасневшие от бессонницы, и тихо, совсем по-штатски сказал:

— Здравствуйте, старший лейтенант. Проходите, раздевайтесь.

Он тяжело поднялся из-за стола, коренастый, чернявый, очень усталый, и сердечно поздоровался с вошедшим.

Когда старший лейтенант снял полушубок и шапку, оказалось, что он по-мальчишески худ, что лицо у него совсем юное, все в порезах от поспешного бритья,темное от многодневного пребывания на холоде, под открытым зимним небом. Красный шрам над губой. И еще обнаружилось, что на его петлицах нет никаких знаков различия.

А когда он по приглашению комдива сел на табуретку и строевая собранность его чуть ослабла, сразу почувствовалось, что он тоже смертельно утомлен. И его глаза, так же как и у комдива, налиты краснотой от постоянного недосыпа.

— Ты почему задержался, Фомин? — спросил Нечаев, переходя на «ты».— Да сиди, сиди,— он остановил гостя, который было привстал.

И Фомин ответил:

— Дел много, товарищ полковник...

Это прозвучало так, словно речь шла о каких-то мирных занятиях, о хлопотных, сложных, но все же обычных делах.

Между тем пришел он в Спасское-Лутовиново из снежных окопов за рекой Зушей, в которых держалась его рота, закрепившаяся на плацдарме. Немцы стремились выбить Фомина оттуда и почти не давали ему передышки. Ни головы поднять, ни обогреться. Мороз и обстрел, немецкие контратаки и бомбежка. Днем и ночью.

— Ну-ка, покажи, что там у вас? — сказал Нечаев.

Фомин встал и обошел стол. Тут стало заметно, что он прихрамывает — еще не зажила недавняя рана. Оба склонились над картой, и командир роты стал показывать командиру дивизии, как там обстоит у них дело на данный час, что выяснила разведка. Нечаев потребовал подробностей сегодняшнего боя, и Фомин кратко рассказал, как с наименьшими потерями отразил очередную контратаку.

— Толково,— кивнул головой Нечаев,— людей своих бережешь. Это хорошо. А вот себя беречь тебе еще надо поучиться.

Ординарец принес чайник и кружки, нарезал хлеб, свинину, достал печенье.

Но перед тем как пригласить к ужину, комдив выдвинул ящик стола, вынул из него шесть защитного цвета кубарей и протянул Фомину:

— Держи, старший лейтенант!

И стал объяснять смутившемуся гостю, как прикреплять их к петлицам. Фомин мог этого не знать, поскольку еще недавно числился в звании рядового.

* * *

В те дни со страниц фронтовой газеты «На разгром врага» не сходили имена храбрецов, умелых и смекалистых солдат, проявивших в наступлении свой характер, талант и готовность к самопожертвованию.

Им посвящались короткие заметки и передовые статьи, очерки и стихи. Они делились с читателями своим ратным опытом. Если выпадала свободная минута и позволяла обстановка, они сами, как могли, излагали свои мысли на бумаге. Печатая статьи солдат, редакция старалась сохранить бесхитростность и самобытность этого изложения. А чаще всего мы, корреспонденты, записывали устные рассказы. Потому что обычно бойцу и письмо домой написать некогда. Другое дело, если часть отвели на короткий отдых. Ну и в медсанбате — если рана не очень тяжелая и если при этом не пострадали руки, можно взяться за карандаш и бумагу.

В феврале сорок второго чаще других можно было встретить на наших страницах имя Михаила Фомина. Рядовой боец, он был произведен в офицеры, представлен к награде, а командование обратилось к нему с благодарственным письмом.

Подвиг его был прост и в то же время исключителен.

Шел бой за орловскую деревню Большая Малиновка. Рота продвигалась под огнем. Командир роты лейтенант Кравцов упал. Фомин подполз к нему. Кравцов был тяжело ранен в грудь. Увидев растерянные лица товарищей, Михаил поднялся:

— Рота, слушай мою команду!

Он приказал вынести лейтенанта из-под обстрела, а сам повел бойцов в атаку, проявив при этом не только удаль, но и командирское мастерство.

После этого Фомин провел еще несколько успешных боев. В одном из них, у хутора Безымянного, он был ранен в ногу. Тут же, под огнем, ему сделали перевязку, и он продолжал руководить ротой. Через несколько часов Фомина задело вторично. Рана была неопасная, и он снова остался в строю. А два дня спустя пуля, пройдя по касательной, рассекла ему губу и

выбила два зуба. Но он, преодолевая нестерпимую боль, кое-как уняв кровь, опять возглавил атаки.

Эти образцы фоминской храбрости и многотерпения оказали удивительное влияние на солдат.

В газете то и дело появлялись сообщения о его роте, ставшей на фронте почти легендарной.

«...Фомин, отражая со своими бойцами контратаку фашистов, лично уничтожил из трофейного автомата десять гитлеровцев».

«...Немцы перешли в контратаку. Дружный огонь красноармейцев роты Фомина преградил путь фашистам. После часа перестрелки они вынуждены были отойти. По приказу Фомина рота от активной обороны перешла в наступление. Немцы потеряли в этом бою более двадцати солдат, оставили пять пулеметов, три автомата и пять винтовок».

«...Когда ранило комвзвода фоминской роты Федотова, сержант Зимин заменил его, правильно развернул отделения и вышиб немцев из окопов».

Солдаты подражали Фомину и безраздельно верили ему, потому что он оказался не только смельчаком, но и на редкость одаренным командиром.

К тому же он был многоопытным ветераном. И вообще в свои двадцать три года многое успел повидать в жизни.

Родился он в Курской области, в селе Никольниково Рыльского района. В детстве батрачил, был пастухом. Потом работал в колхозе. А в тридцать восьмом ушел в армию.

За его плечами был штурм линии Маннергейма. В начале нынешней войны он выходил из окружения. Причем на родной курской земле. Однажды он оказался в трех километрах от своего Никольникова. Но не завернул домой. Шел дальше. Выполнял долг. А дома были мать и молодая жена...

Пройдя через многие испытания, Фомин стал первоклассным солдатом. Он безупречно владел всеми видами стрелкового оружия. Природная сметка, умение быстро и точно ориентироваться, четкость действий — эти качества Фомина были замечены в полку и в дивизии. О лучшем командире роты не приходилось и мечтать. И ему присвоили звание старшего лейтенанта. А он изо дня в день подтверждал все новыми и новыми удачами, что решение это справедливо.

* * *

До того, как стать свидетелем свидания Фомина с комдивом, я уже встречал Михаила.

Бригада газетчиков приехала в полк майора Гордиенко, где служил Фомин, вскоре после того, как храбрец заменил тяжелораненого командира и обратил на себя внимание первыми победами.

Даже нас, видавших виды корреспондентов, поразило спокойное достоинство солдата, ставшего офицером, сочетавшееся с юношеской порывистостью. Он был предельно скромен и в то же время уверен в себе и своих товарищах, мальчишески прост и не по годам умудрен месяцами, прожитыми на войне, в преодолении непрестанных опасностей и лишений.

Понятным и в то же время удивительным было то уважение, с которым солдаты — иные из них годились Фомину в отцы — относились к своему командиру. То, что он, не имея военного образования, заслужил в бою нынешнее звание и чин, лишь усиливало эту уважительность.

«Если сражаешься рядом с Фоминым,— писал в своей заметке для газеты автоматчик Л. Дмитриев,— то всегда можешь рассчитывать на его совет и помощь. Когда он был красноармейцем, вся рота признавала за ним авторитет опытного автоматчика. Нам часто приходится действовать ночью, небольшими группами. У нас уже выработались определенные навыки. Фомин старается изо дня в день прививать их новому пополнению. Теперь у Фомина, ставшего командиром роты, опыт еще выше. Воевать он умеет, дело знает хорошо, как же не уважать такого?»

Ручные пулеметчики А. Рычков и С. Коненко видели в Михаиле Фомине человека, мастерски владеющего их оружием: «Командир Фомин научил нас, как на всю мощь использовать пулемет, научил выбирать цель и подавлять ее».

Красноармеец А. Хорьков, рассказывая о том, как была отбита сильная контратака численно превосходящего противника, видел причину успеха в командирском искусстве Фомина. «И тут я еще раз убедился, что значит умелое управление ротой в бою».

Наш очеркист В. Викторов описал на страницах газеты жизненный и боевой путь Михаила Фомина.

Наконец, появилась статья самого командира, дельная и точная. Называлась она «Рота в наступлении».

А я написал стихотворение, постаравшись приблизить его к простоте солдатской песни:

Кто, в сраженье трижды ранен, продолжает бой?
Кто привык на поле брани рисковать собой?
Кто врага разит сурово, точен и удал?
Кто в бою из рядового командиром стал?
Кто в атаке не боится вражьих пуль и мин?
Кто грозой идет на фрицев?
Михаил Фомин!
Кто всегда с отвагой дружит, кем горда страна?
Кто нам всем примером служит?
Рота Фомина!

* * *

Теперь Фомин пил чай с комдивом и с корреспондентами, порозовевший от непривычного тепла.

У него было хорошее лицо, крупный, но прямой нос, резко очерченные брови, светло-карие умные глаза.

Слава, внезапная и громкая, существовала как бы отдельно от него.

Должно быть, курная изба, где мы сейчас сидели, казалась ему дворцом. Фомин сказал, что почти месяц провел на стуже, лишь изредка обогреваясь в блиндаже, что спать под крышей целую ночь, как предстояло ему сегодня, не приходилось уже очень давно. Посреди разговора он попросил разрешения связаться со своей ротой и, подойдя к нечаевскому телефону, справлялся о сиюминутной обстановке и давал указания.

— Завтра с утра в санбат, в санбат. Это приказ! — сказал Нечаев.— Давно надо заняться ногой.

Он и вызвал Фомина сегодня не столько для того, чтобы вручить кубари — их можно было переслать,— сколько для того, чтобы дать Михаилу выспаться, а утром показать его хирургу.

Нечаев смотрел на командира роты, откровенно любуясь этим парнем, его выносливостью и спокойствием, его отвагой и рассудительностью. Он знал наперед, что, побывав у врача, Михаил все равно постарается тут же вернуться за реку, на плацдарм, где огонь и стужа, где бой длится непрестанно и жизнь может оборваться ежеминутно.

И от этого Фомин был еще дороже комдиву.

* * *

На другое утро перед «флигелем изгнанника», в котором Тургенев когда-то работал во время ссылки, я снова увидел Фомина. На фоне терраски, чьи выбитые стекла были заменены фанерой, происходила съемка.

Наш фотокорреспондент Юрий Иванов, шумный и подвижной, как все его собратья по профессии, нацеливал объектив своего «Контекса» на старшего лейтенанта.

Было ветрено и снежно, на щегольских усиках фотографа появился иней, а он все командовал:

— Теперь на крылечке. Так сказать, у входа в тургеневскую обитель.

— А сейчас перейдем сюда, снимемся под этой лиственницей, ее видел Иван Сергеевич! Минуточку... Перезаряжу пленку.

Иванов работал основательно, словно действовал не по соседству с передовой, а в хорошо оборудованном ателье. При этом он суетился и шумел, как и положено репортеру, но примеривался долго, делал бесконечные дубли, менял экспозицию, предельно испытывая терпение фотографируемого.

Фомин терпел, хотя все это явно было ему не по душе. Полушубок его уже был опоясан широким офицерским ремнем с дву-

мя портупеями. Лицо посвежело, видно было, что он малость выспался. Автомат по просьбе Юры он держал наизготовку.

— Это для первой полосы, — пояснил Иванов, — снимаю, так сказать, в полной боевой.

Наверное, Фомину эта просьба казалась наивной. Он ведь все равно не расставался с оружием. Этого требовали повседневные условия. На плацдарме автомат в руках — не эффектная поза, а сама жизнь. И торжественность, которой обставлялась съемка, была ему непонятна.

Я смотрел на старшего лейтенанта, безропотно и дисциплинированно выполнявшего указания фотографа. К происходящему он относился не то чтобы безразлично. Нет людей абсолютно равнодушных к славе. Но Фомин все-таки здорово устал. И его одолевали сегодняшние и завтрашние заботы. Ведь он пришел из-за реки.

Мне довелось несколько дней спустя с нашим заместителем редактора старшим батальонным комиссаром Иваном Березиным пробраться ночью по речному льду на другой плацдарм, за Оку, в полк майора Груздова, провести там только одни сутки под сплошным огнем, собирая материал. Вот тогда я по-настоящему понял, что значит прийти оттуда.

А ведь Фомин воевал на заречном пятачке не одни сутки.

Сейчас, в Спасском, он внутренне слегка оттаял, осмотрелся. И ко всему окружающему относился с трепетным почтением. Перед съемкой, увидев в парке бюст Тургенева, изувеченный шомполами оккупантов, он снял шапку и молча постоял. Ствол знаменитой лиственницы бережно погладил рукой. У «флигеля изгнанника» Михаил тихо сказал: «Домишко скромный какой...»

* * *

Подъехал на «виллисе» комдив. Юра сфотографировал его с Фоминым. Но тут съемка была короткой. Нечаев торопился. А по дороге хотел завезти Фомина в медсанбат.

Портрет старшего лейтенанта с автоматом в руках действительно появился на первой странице несколько дней спустя. Появился рядом с приказом о награждении Михаила Германовича Фомина орденом Красного Знамени. Приказ был подписан командующим Брянским фронтом генерал-полковником Черевиченко и членом Военного совета корпусным комиссаром Колобяковым.

А фотографию, запечатлевшую героя с комдивом, напечатали в том же номере на третьей странице.

Подпись под снимком звучала скромно — «Командиры тт. Нечаев и Фомин».

Помню это изображение. Знаков различия на полушубках, естественно, нет. Погоны еще не ввели. У полковника поверх

полушубка — полевой бинокль, в руке — сложенная карта-двухверстка. И это тоже не для антуража — комдив отправлялся на передний край и взял с собой необходимые вещи.

Вообще надо сказать, что имя полковника появлялось в газете нашей чуть ли не ежедневно. Дивизия его в труднейших условиях действовала превосходно. Но должность комдива и тут не указывалась.

Мы писали: «Бойцы Нечаева» — и все.

Это же относилось к его ближайшим помощникам командирам полков Гордиенко и Груздову.

Все они заслуживали очерков, стихов, подробных корреспонденций, посвященных лично им. Но фронтовой газете полагалось славить солдат и младших офицеров. Старшие военачальники лишь упоминались, и притом так, чтобы противник не мог уяснить, чем они командуют...

* * *

А Фомина мне больше встретить не пришлось..

Не долечив до конца ногу, он вернулся на передний край. А через некоторое время снова был ранен в бою. На этот раз тяжело, безнадежно тяжело. Его сразу же отправили в госпиталь. Врачи приложили все усилия для того, чтобы спасти его. Это оказалось, увы, невозможным.

Покоится Фомин, как мне сообщили недавно, в братской могиле в деревне Дерюжкино Арсеньевского района Тульской области. Видно, в тех краях находился госпиталь, в котором он скончался.

История его жизни, короткой, но емкой, стремительной и непреходящей, простой и необыкновенной, наспех запечатленная когда-то во фронтовой газете, полна драматизма и света. Это одна из биографий, составляющих летопись того военного поколения, при мысли о котором вспоминаются строки Александра Твардовского:

Наш год, наш возраст самый тот,
Что службу главную несет.

На долю фоминского поколения выпали, пожалуй, наибольшие утраты.

Почему я рассказал именно о Михаиле Германовиче? Ведь на Брянском фронте были и другие его ровесники, заслуживающие очерка, баллады, песни.

Может быть, я выбрал его потому, что все-таки не каждый день рядового солдата с ходу производят в офицеры, хотя на войне это бывает.

Может быть, потому, что последняя наша встреча произошла в Спасском-Лутовинове?

Конечно, подвиг Фомина не стал бы меньше, если бы он воевал в других местах. Да и погиб он не здесь и лежит в тульской земле.

Но когда я бываю в Спасском, где в парке покоятся бойцы, павшие при освобождении тургеневской усадьбы, мне кажется, что Фомин похоронен рядом. А взглянув на тургеневский флигелек, я вижу старшего лейтенанта, живого, усталого, сосредоточенного, сжимающего автомат. И он навсегда слит в моем сознании с этими старыми деревьями, со святым клочком земли за рекой Зушей, сейчас тихой и спокойной.

Может быть, не это главное в облике Фомина. Но таким он мне видится. И с этим я ничего не могу поделать.

2. Меркуловцы

— Значит так,— сказали нам в Меркулове,— фотографировать не следует. Имена для печати придется тоже изменить. Поскольку некоторые из товарищей решили продолжить свои действия в тылу врага. Ясно? При этих условиях можно с ними побеседовать и записать их рассказ.

Юра Иванов загрустил.

Мы прошли двадцать километров по снежной целине, в лютую метель, чтобы к сроку попасть в Меркулово, дважды сбивались с дороги в открытом поле. И вот, оказывается, Юра топал зря.

Вообще нам выпали три тяжелых дня. Дороги сплошь были занесены, пробки нарастали. Не доезжая Черни, в деревне Кожанка, мы бросили машину и продолжили путь пешком. Долго разыскивали командный пункт 3-й армии, который накануне переместился. Все попадались нам не те деревни, не те штабы. А метель продолжалась, и дорожники не управлялись с расчисткой. Февраль сорок второго задал им работенку. Только по вешкам, торчащим из сугробов, можно было угадать, где проходит большак.

Пережидали метель в каком-то поселке. Кажется, в Моховом. Потом все же побывали в штабе армии. И вот последний бросок — в Меркулово.

Правда, теперь у Иванова появилась возможность поспать, если найдется место в какой-нибудь избе. Было решено, что он с утра снова отправится в район Спасское-Лутовиново фотографировать разведчиков, отличившихся в недавнем ночном поиске.

Но он-то мечтал о партизанах.

Погоревав, Юра отправился на поиски ночлега.

Кроме него нас, «наразгромовцев», было трое — я, очеркист Борис Новицкий и корреспондент отдела армейской жизни Миша Шибалис. Кое-как утешив нашего фотомастера, мы, на ночь глядя, пошли беседовать с бойцами отряда «Смерть фашизму».

Меня пошатывало и знобило после трудной дороги. Я, видимо, простыл. Вообще-то, поскольку нас тут собралось сразу трое газетчиков, могли обойтись и без меня. Но как же пропустить такой случай!

И, посветив карманным фонариком, чтобы не удариться о низкую притолоку, мы вошли в просторную избу, где нас уже ждали.

О партизанах Брянщины и Орловщины написано много. Они начали действовать с самого начала оккупации и постепенно стали для гитлеровцев — особенно в лесных районах — настоящим вторым фронтом.

Лесная сторожка оказывалась штабом, сосна — наблюдательным пунктом, куст бересклета — гнездом снайпера, замшелое дупло — узлом связи.

Стратеги-самородки разрабатывали планы операций, врожденные умельцы трудились над изготовлением самодельных мин, шла непрестанная «рельсовая война».

Набрав полную силу, партизанская власть удерживала обширные пространства, равные иной европейской державе.

Туда самолетами перебрасывались люди, снаряжение, медикаменты, литература.

Я помню, как появился весной сорок второго в Ельце, в штабной столовой, коренастый круглолицый офицер с бородкой клинышком, с прищуренными умными глазами и хитроватой усмешкой. Был он не то кинооператором, не то фотокорреспондентом. В петлицах он, если не ошибаюсь, носил две шпалы, был мало кому известен, а звали его Петр Петрович Вершигора. Когда нас познакомили, он загадочно сказал, что находится у нас проездом.

Через несколько дней Вершигора исчез, а после войны я узнал, что именно тогда, именно у нас, был он переброшен через линию фронта и на Брянщине началась его знаменитая дорога по тылам врага.

Когда я вновь увидел его, Петр Петрович был уже легендарным генералом, героем, борода его достигла партизанских размеров, а написанная им книга «Люди с чистой совестью», появившаяся в журнале «Знамя», умножила его заслуженную славу.

* * *

Но все это было позднее.

А тогда, в феврале, даже мы, фронтовые газетчики, немного знали о партизанах.

Перед моим выездом в Спасское я и Борис Новицкий написали по заданию политуправления листовку, адресованную жителям оккупированных районов Орловщины. Писалась она на основании только что полученного боевого донесения.

Листовка эта хранится у меня по сей день — страничка малого формата, отпечатанная на зеленоватой бумаге. В ней есть такие строки: «Следуйте примеру колхозников села Меркулово Мценского района Орловской области. Колхозники села, узнав, что немцы, собираясь удрать, готовятся зажечь их дома, решили оказать организованное сопротивление. Они убили 12 фашистов, оставленных для поджога. Когда немцы прислали вторую команду, мёркуловцы уничтожили и ее. Тогда немцы в третий раз прислали в село конный разъезд в 70 всадников. Но колхозники и на этот раз не растерялись. Они захватили у немцев пулемет и рассеяли эту группу. Село было спасено. Так держались они до прихода Красной Армии.

Слава колхозникам села Меркулово! Громите же, товарищи, немецких оккупантов так, как меркуловцы!»

Когда мы трудились над листовкой, я сказал:

— Побывать бы у этих людей!

Новицкий улыбнулся:

— Старик, вы не оригинальны. Эта мысль уже осенила меня. Больше того, я беседовал в политуправлении с батальонным комиссаром Малковым. Видимо, речь идет не об одном эпизоде, а о постоянно действующих партизанах. Малков как раз этими делами занимается. Он уточняет возможность встречи.

Попав в освобожденное Спасское-Лутовиново, я узнал, что в районе действительно существовал партизанский отряд. Штаб располагался в Меркулове Первом. Но бойцы отряда спасли не только это село, они отстояли от поджогов и другие деревни.

Мне снова захотелось ринуться в Меркулово.

Но сперва надо было выполнить задания, тоже для меня очень дорогие, связанные со Спасским-Лутовиновым.

...И вот наконец нам предстояло впервые встретиться с партизанами. С несколькими бойцами из тех разрозненных отрядов, которые потом объединились в полки и бригады.

Помимо всего прочего, нас влекло к этим людям то обстоятельство, что группа, с которой нам предстояло познакомиться, стихийно возникла и сражалась не где-нибудь, а в тургеневской округе.

* * *

В избе на лавках расположилось несколько человек, и я не очень их разглядел, когда мы здоровались с ними. На столе, свежевыскобленном, прикрытом газетой, чадила снарядная гильза, сплющенная сверху,— распространенный фронтовой светильник. Жаркий блик лежал на раскрытом блокноте Новицкого, сидевшего рядом, на моей записной книжке. Видны были руки, иногда плечи наших собеседников, а лица оставались в тени.

Сюда бы Юру с его оптикой и магниевыми вспышками!

Первым поднялся с места и шагнул ближе к свету командир отряда — высокий человек в железнодорожном кителе, сильно потертом, в бесформенных стеганых брюках и добротных деревенских чесанках. Несмотря на эту сборную, довольно нескладную одежду, в каждом его движении ощущалась безупречная армейская выправка.

Когда командир для начала кратко рассказал о себе, оказалось, что он и правда когда-то закончил военное училище в Москве, служил в кадрах, но потом уволился в запас и все последние годы работал в железнодорожной милиции. Прошлой осенью был направлен сюда, в места, где рос. Ему было дано горькое задание — подрывать при отходе мосты. Выполняя приказ, он оказался отрезанным. Пришел в родное Меркулово, где все его знали, где он всех знал. Здесь легче было начать то, что он задумал и в чем он мог проявить свой военный опыт.

Командир помолчал, собираясь с мыслями, и добавил:

— Мы вам доложим о наших делах, и пусть это будет как бы отчетом нашего отряда перед воинами Брянского фронта, перед всеми бойцами Красной Армии.

Эти его слова, кстати, определили название будущего материала, занявшего через некоторое время две страницы газеты «На разгром врага». Страницы так и были озаглавлены: «Отчет бойцам РККА партизанского отряда «Смерть фашизму»».

Командир представлял нам своих товарищей, но мы, как условились, записывали только начальные буквы фамилий, а в газетном отчете вообще были названы вымышленные имена.

Поэтому сейчас я не могу сказать, как в действительности звали тех меркуловских партизан, с которыми мы тогда беседовали. Ни моя память, ни старые записи не сохранили этого. И мне придется пользоваться именами, приведенными в газете.

Впрочем, в первый момент беседы я, должно быть по инерции, нарушил запрет и полностью записал имя и фамилию самого командира.

Василий Петрович Мозгунов.

Потом, спохватившись, я перешел на инициалы. И должен признаться, что в ту ночь меня захватила эта необычность обстановки, эта вынужденная секретность. Мне нравилось проставлять в блокноте вместо реальных фамилий — товарищ М., товарищ Л. И то, что люди с затененными лицами, сидевшие перед нами, вновь собирались идти во вражеский тыл, придавало всему необычную настроенность.

Кстати, передний край был за ближней рощей. А на улице гудела метель и где-то чуть левее ложились снаряды — гитлеровцы били «по площадям», на всякий случай, будоража нервы.

Привыкнув к полутьме, я стал различать детали.

Собравшиеся в избе выглядели, как и Мозгунов, в общем обыкновенно. Их ватники, гимнастерки без петлиц, армейского типа безрукавки на меху были привычны для глаза. Присутствовал здесь один бородач, остальные, насколько можно было рассмотреть, вроде бы чисто выбриты.

Словом, ничего такого романтического в их облике не обнаруживалось.

Действия свои они описывали с предельной краткостью, предпочитая привычный язык оперативных донесений обстоятельному рассказу. Подробности приходилось выспрашивать. Как водится, каждый говорил не столько о себе, сколько о товарищах. Но в общем они дополняли друг друга. Так что в итоге сложилась цельная картина. И картина удивительная по тем временам.

Я говорю «по тем временам» потому, что сейчас мы столько уже знаем о партизанской борьбе, что ничем нас не удивишь. А тогда я, хотя кое-что и читал в газетах о войне в тылу врага, впервые услышал об этом от самих партизан, впервые увидел их вот так, запросто.

Засиделись мы почти до рассвета.

* * *

Мне не хочется сейчас, тридцать с лишним лет спустя, делать попытку воспроизвести наш разговор. Пришлось бы сочинять, придумывать диалоги, инсценировать беседу.

Поэтому я делюсь прежде всего своим ощущением от той давней полночной встречи.

А чтобы возможно точнее передать суть сказанного тогда, я раскрываю подшивку газеты «На разгром врага» за 10 апреля 1942 года. Вот они — две внутренние страницы, на которых напечатан партизанский отчет, записанный со слов участников отряда. Их рассказу сопутствуют два крупно набранных эпиграфа. Первый — из Дениса Давыдова:

Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать.

Второй — строки знаменитой песни:

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города.

Я кратко перескажу газетный отчет о действиях земляков Ивана Сергеевича Тургенева в первые же недели немецко-фашистской оккупации.

* * *

Сперва отряд насчитывал всего несколько человек. Все они работали на железной дороге, точнее, на ближайшей станции, а жили в окрестных селах.

Вот некоторые фамилии — не настоящие, а те, что указаны в отчете. Обойдемся пока псевдонимами. Путевой обходчик Лисицын. Ремонтный рабочий Кузьмин. Железнодорожный служащий Степан Корнеев.

Они собрались и поклялись сделать все, чтобы захватчики не стали хозяевами в Меркулове Первом, Меркулове Втором, Спасском-Лутовинове, Голоплеках, Зеленом Холме, Прудище, Калиновке...

Старшим выбрали Степана Корнеева. Его подлинное имя мы уже знаем — Василий Мозгунов.

В газете упоминаются еще два Корнеевых. Видимо, в жизни тоже Мозгуновы — родичи или однофамильцы командира.

* * *

Начали с саботажа.

Когда вышел приказ мценского бургомистра погасить задолженность по сельхозналогу, партизаны обошли все хаты и посоветовали сжечь старые квитанции.

— Если спросят, скажите, что все уплатили еще при Советской власти, а второй раз платить нечем.

Крупу, соль, картофель, теплые вещи решено было зарыть в землю.

Сорок копен необмолоченных, оставшихся от колхозного урожая, разделили по дворам.

Когда потребовались люди на дорожные работы, немцам везде отвечали одно и то же: мужики и парни в армии, хозяйка больна, детей малых оставить не на кого...

На околицах были выставлены партизанские дозоры, чтобы фашисты не застали врасплох. Чуть что — села пустели, жители убегали в лес.

Бургомистр отдал новое распоряжение — к 15 октября 1941 года сдать всех коров и лошадей оккупационным властям. Срок — 24 часа. За невыполнение — расстрел.

В ту же ночь скот угнали в чащу и сдали под охрану партизан.

Отряд стал расти. Приходили и стар и млад. Управляющий совхозом и семнадцатилетний парень, приволокший раздобытый где-то пулемет. Продавец сельпо и стрелочник со станции Бастыево. Совхозный бухгалтер и еще один подросток с винтовкой, найденной в лесу.

Трактористы, письменосцы, деревенские сапожники, бригадиры, депутаты сельсовета...

Уже насчитывалось в отряде восемьдесят два бойца.

Разбились на несколько взводов. По месту жительства. Один взвод базировался в Меркулове Первом, другой — в Меркулове Втором, третий — в Прудище. Потом возникли боевые группы в Голоплеках, Борзенках, Калиновке...

* * *

Вдумайтесь в эти названия. Почти все эти села — место действия «Записок охотника». Голоплеки прямо упоминаются на тургеневских страницах.

А оба Меркулова и Прудище принадлежат к тем деревням, в которых в 1898 году семидесятилетний Толстой, обследовавший деревни Мценского района, организовал столовые для голодающих крестьян.

История мценской земли запечатлела на своих страницах не только долготерпение, но и героизм. Известны подвиги, совершенные мценскими партизанами еще в годы Отечественной войны 1812 года. Они действовали против наполеоновских войск в направлении Калужской дороги.

В содержательной монографии А. Макашова, изданной недавно в Орле, рассказано о действиях отряда, возглавлявшегося кузнецом Дятловым.

Вот несколько строк из этой книги: «В одной из схваток с отступавшими французами Дятлов и его боевые друзья захватили ценные документы, пленили французского штабного офицера. Дятлов был представлен Кутузову. Согласно преданию, великий полководец снял со своей груди орден и вручил его мценскому кузнецу».

Но вернемся к отряду «Смерть фашизму».

Кто-то донес гитлеровцам, что в Меркулове Первом скрывается старый машинист. В отчете он назван Грабиным. Пришли солдаты, увели старика.

15 декабря к партизанам прибежал мальчишка:

— Грабин велел передать, что в ночь на семнадцатое он поведет состав. Какой будет груз, неизвестно, но охрану ставят сильную.

Пошли двенадцать бойцов с двумя пулеметами, винтовками, гранатами. Залегли у полотна, как только стемнело. Ждали состава несколько часов. Намерзлись. И вдруг услышали гудок. Когда паровоз приблизился, забросали его гранатами.

Грабин успел перекрыть пар, столкнул часового, стоявшего рядом с ним в будке, на рельсы, а сам, к счастью не задетый осколками, кубарем скатился под насыпь.

Состав замер.

Партизаны перебили охрану. А груз оказался бесценный — 400 наших пленных. Босые, оборванные, голодные. Фашисты везли их в свой тыл.

Эшелон подожгли — восемь вагонов сгорело.

Бывших пленных переправили через линию фронта. Больных выходили, и они остались у партизан.

* * *

Потом взорвали мост через Зушу. Разгромили вражеские обозы — у Зеленого Холма и возле Меркулова Первого.

Когда лег снег, встали на трофейные лыжи, стали пробираться поглубже в тылы захватчиков.

Навязывали врагу бои в селах, выгоняя оккупантов из домов на мороз. Досаждали им и в Голоплеках, и в Спасском.

В конце декабря гитлеровцы, отступая, начали жечь деревни. Меркуловцы, как известно, оказали сопротивление поджигателям. После этого к Василию Мозгунову то и дело стали приходить связные — предупреждали о приближении факельщиков. Партизаны разошлись по своим селам, устроили засады в избах, стали встречать преступников свинцом и гранатами. Отстояли многие дома и нанесли большой урон фашистам. Помешали врагам полностью уничтожить тургеневский заповедник.

* * *

Когда беседа подходила к концу, Василий Мозгунов сказал:

— А теперь сообщим вам, товарищи журналисты, чем повстречали мы наших дорогих воинов-освободителей, какие передали им трофеи.

Он обернулся к начальнику штаба:

— Давай-ка, дорогой, раскрывай свой гроссбух!

И тот встал, опираясь на палку (ранен был еще во время советско-финляндского конфликта), придвинулся к огню, раскрыл какую-то папочку, пошелестел бумагами и простуженным голосом доложил:

— Дивизии, которой командует полковник Давыдовский, переданы следующие трофеи, захваченные отрядом «Смерть фашизму»: 7 танков, 2 тягача, 13 километров кабеля, 2 противотанковых орудия, 18 пулеметов, 1 миномет, около 800 винтовок, свыше 60 000 патронов, 2 рации, 29 лошадей...

Закончив перечень, он высоко поднял свою папку и добавил:

— На все это здесь имеется справка, выданная нам штабом дивизии с приложением печати.

* * *

Рассказ меркуловцев был записан в конце февраля. А номер газеты «На разгром врага», посвященный им, вышел в начале апреля

Это была для нас первая развернутая публикация о действиях партизан. Материал долго обдумывался, окончательный текст нашей записи надо было выверить, а главное, ознакомить с ним

самих участников отряда. Между тем у них были свои неотложные заботы. А к моменту публикации они уже снова действовали в тылу врага, о чем сообщалось в статье старшего батальонного комиссара В. Малкова «Сыны свободы», помещенной в том же номере.

Подпись под отчетом была простая и точная:

«Бойцы партизанского отряда «Смерть фашизму»».

Внизу следовало примечание:

«Не время еще опубликовывать подлинные имена меркуловских партизан. Поэтому в рассказе меркуловцев редакция заменила все имена вымышленными. Настанет час — народ узнает славные имена отважных партизан, с оружием в руках защищавших родные села от немецких захватчиков».

* * *

И вот через тридцать с лишним лет я держу в руках номер газеты «Заря», выходящей в районном центре Чернь. Помечен он 18 декабря 1971 года.

Прислал мне газету Василий Крылов, краевед, автор многих очерков о тургеневских местах, старый житель Черни, влюбленный в свой край, в своих земляков и сам человек замечательный.

Мы с ним давно переписываемся, и он время от времени присылает мне свои и чужие публикации.

Вот и в этом номере я нахожу воспоминания Н. Г. Трофимова, ныне учителя Долматовской восьмилетней школы. А в прошлом он — один из участников отряда «Смерть фашизму».

Помните, в отчете упоминается подросток, пришедший в отряд с раздобытой им винтовкой. Там он именуется Костя Щук. Прочитав воспоминания Трофимова, озаглавленные «С верой в победу», я убедился, что он и есть тот мальчик с винтовкой.

Значит, так. Подлинное имя командира отряда мы знали и раньше. (Кстати сказать, командование фронта тогда же наградило Мозгунова орденом Красной Звезды.)

Теперь мы знаем Трофимова. Но в его воспоминаниях названы и другие имена.

Стоит привести трофимовскую статью почти целиком. Я с удовольствием делаю это. Вчитаемся в его строки:

«В ночь с 25 по 26 октября 1941 года в деревне никто не спал. Я тоже не мог сомкнуть глаз. Днем 25 октября я видел всю ожесточенность боя при прорыве обороны наших войск северо-западнее Мценска. Я видел, как хищные «Юнкерсы-88» вереницей бомбили лесок, где укрылись наши танки Т-34, потом бегал смотреть воронки от бомб и убеждался, что результаты бомбежки не так уж страшны — русский лес надежно укрывал своих воинов и их технику.

...Но по разговору и торопливости, с которой передвигались, собирались, хлопотали, каждый со своим делом, бойцы, командиры, штабники, я понял, что у них что-то неладно. Нет-нет, да и скажет кто-нибудь: «Прорвал»...

Тревога запала и в меня. Еще больше она овладела мной, когда в сумерках наступающего вечера со стороны Меркулова послышался приглушенный незнакомый лязг танков. Достигнув деревни, не разворачиваясь, они начали пятиться назад. «Немцы»,— сообразил я.

Стало как-то ужасно тихо. А зарева пожаров, отмечая места жарких боевых схваток дня, еще больше подчеркивали эту томительную тишину.

Утром от Меркулова, грохоча гусеницами, ударяя в глаза свастикой, двинулись машины Гудериана. И снова тишина. За этой тишиной — понимал каждый — начиналась страшная оккупация.

Хотелось снова того шума, грохота вчерашнего боя, который был рядом уже почти месяц. За грохотом ведь была надежда на победу. Я знал о событиях на всех фронтах, знал, что Москва и Ленинград держатся. А теперь? Что там? Как узнать? Становилось страшновато и не по себе.

Но что бы ни было там впереди, каждый мужчина деревни Прудище припрятал найденную винтовку. Так лучше — тульская трехлинейка не подведет. Приподнял винтовку и я. До сих пор помню номер — 2753. И она скоро пригодилась.

Еще в ноябре мы, молодежь, замечали, что наши отцы иногда о чем-то ведут разговор. Они зачастили в Меркулово. Возвращались домой в одиночку и разными дорогами. А скоро мы узнали, что создан партизанский отряд, который назвали «Смерть фашизму». Отрядом командовал Мозгунов Василий Петрович, перед войной работавший оперуполномоченным на станции Скуратово.

С 1 декабря мы уже числились в отряде, выполняя роль связных и разведчиков.

Во второй половине декабря 1941 года мы стали замечать перемену в настроении немцев. Они реже произносили: «Рус капут», «Москва капут», чаще двигались на запад или в сторону Мценска, а потом хлынули сплошным потоком даже по железнодорожной насыпи. Командир отряда сообщил нам, что гитлеровцы под Москвой и Тулой разбиты и теперь драпают на запад. Нам было приказано оружие держать при себе, быть в сборе, иметь дозорных.

Однажды немцы зашли в нашу деревню, ночевали здесь, застрелив у нас на дворе корову и двух овец.

С 18 декабря, как и приказал Василий Петрович, мы постоянно находились в одном помещении, с оружием, несли круглосуточную дозорную службу по всем дорогам. С 20 декабря по ночам

на востоке и северо-востоке стали разгораться зарева пожарищ. С каждым днем они вспыхивали все ближе и ближе.

Наш отряд состоял из восьми человек: меня, моего брата Михаила, затем Кузнецова Алексея (работает инженером по автоблокировке на Московско-Донбасской железной дороге), Четвергова Петра (работник Чернской пожарной охраны) и других. Всем нам было тогда по пятнадцать. Нашим командиром был «дядя Витя», политрук, оказавшийся в окружении и пришедший к нам.

25 декабря, около трех часов дня, наш дозорный сообщил, что от железной дороги по Сафоновской балке на подводах показались немцы. Кругом все подожгли, значит, едут к нам. «Дядя Витя» приказал нам укрыться по всем крайним домам и вести огонь прямо оттуда, а также из дворов, из-за скирдов соломы.

Немцы не заставили себя ждать. Оставив лошадей на проселке, они почти бегом направились к деревне. Мы открыли огонь. Немцы сразу залегли и — ползком за пригорок. Мы торжествовали победу, думали, что немцы больше не посмеют и носа показать, как вдруг по деревне полыхнула пулеметная очередь, другая. Немцы, видимо, поняли, что оборону держат неопытные бойцы, и решили припугнуть нас пулеметом. На одном дворе уже билась раненая лошадь, во втором ревела задетая пулей корова. Немцы снова укрылись за пригорок, начали устанавливать миномет для обстрела деревни.

Разгоревшуюся перестрелку услышали дозорные в деревне Меркулово и с ручным пулеметом бросились к нам на выручку. Их пулеметный огонь во фланг немцев поубавил у них храбрости. Факельщики, оставив миномет, пустились наутек.

Деревня была спасена от огня. Мы с гордостью принимали благодарность односельчан. Правда, некоторые мамаши плакали: все же это был бой и они беспокоились за нас, но это были слезы радости.

На другой день фашистские факельщики предприняли новую попытку прорваться к нашим деревушкам, теперь со стороны станции Бастыево. Но их ждала хорошо подготовленная командиром отряда засада в Галаховом лесу. Короткая схватка — и шестеро убитых гитлеровцев остались лежать на заснеженной опушке русского леса.

...Так в пятнадцать лет завершилось наше детство. Мы по необходимости стали взрослыми и не уступали им ни в дерзости, ни в смелости».

* * *

В этих воспоминаниях учителя Трофимова немало живописных подробностей, дополняющих старый партизанский отчет. Вот так оно и было, уже в сорок первом. С самого начала оккупации.

Старый машинист и мальчишка с найденным оружием, кадровый военный и вчерашний стрелочник — они обороняли порог своего дома, свой двор, свой лес, свое Меркулово, свое Прудище, всю Россию.

К подлинным именам, открытым в строках Трофимова, можно добавить еще несколько. Я нашел их в уже упомянутой книге А. Макашова, посвященной Мценску. На странице, где описываются действия отряда «Смерть фашизму», им названы и другие партизаны — И. А. Баранов, С. Г. Чижиков, М. А. Волков, П. Давыдов.

Вероятно, некоторых из них вместе с Мозгуновым я видел тогда ночью в легендарном Меркулове, в избе, освещенной светильником из снарядной гильзы. Под свист метели и близкие разрывы немецких снарядов мы заносили в свои блокноты слова людей, чьи имена тогда еще оставались тайной.

Мне кажется, что я снова слышу хрипловатые голоса, вижу затененные лица. Если говорить о впечатлении зрительном, больше других врезался мне в память облик одного меркуловца, хотя этот человек оказался самым неразговорчивым. Конечно же все дело было в его внешности — это он, единственный из всех, не сбрил бороду. И вероятно, поэтому больше всего отвечал моим тогдашним — и не только моим — представлениям о типе народного мстителя. Он смутно напоминал другого бородача, знакомого с детства по страницам хрестоматий и любимых книг, исходившего всю здешнюю округу.

Мне всегда казалось, что на этой земле, куда ни ступи, всюду след болотных сапог Тургенева, всюду колея, оставленная беговыми дрожками, на которых колесил он со своей двустволкой, вбирая в себя воздух, настоенный на листьях, травах и цветах, все больше привязываясь к этим рощам и лугам, оврагам и взгоркам, степным хуторам и лесным сторожкам. И зимой, расхаживая по старому парку, у «флигеля изгнанника», утаптывая чистейший снег, он размышлял о своих земляках, об их будущем.

Он сумел остаться в будущем настолько, что я вовсе не удивился бы, встретив его у сожженной Черни, на берегу Зуши и, конечно, в самом Спасском, у «рудинской беседки», у лутовиновского мавзолея, возле дуба, посаженного когда-то Иваном Сергеевичем, к счастью уцелевшего.

И вдруг я увидел Ивана Сергеевича в Меркулове, в полутемной избе, среди здешних партизан...

* * *

Это сходство, поразившее меня в метельную ночь, в недавно освобожденной партизанской деревне, вспомнилось снова года через полтора, когда я прочитал в журнале «Знамя» стихотворение Павла Антокольского, побывавшего на нашем фронте.

Видимо, ощущения наши совпали. Павлу Григорьевичу в каком-то другом человеке, встреченном на этой земле, почудился знакомый и любимый облик. Но в своем сюжетном стихотворении он придал этому сходству особую остроту, введя в рассказ гитлеровского оберста, который топит печку книгами, «испугавшись русских вьюг», и чувствует, что

...Нет уже спасенья
Ни у печи, ни в поле, ни в лесу.
Рванул кольцо, шагнул с размаху в сени
Тот великан с двустволкой на весу.
Был он, как встарь, осанист и спокоен,
Никем не остановлен и не зван.
Нам лучше не расспрашивать какой он,—
Товарищ Т. по имени Иван.
...Завыла вьюга, бешено запенив
Косматый снег. Услышав «руки вверх»,
Герр оберст вздрогнул:
— Кто это? Тургенев?
...И партизан его не опроверг.

3. Грамматика боя, язык батарей...

В Ленинской библиотеке, где я листал в зале периодики подшивку мценской районной газеты, надеясь найти и здесь материалы о меркуловских партизанах, меня ожидало внезапное открытие.

В одном из номеров я обнаружил портрет Арзуманяна.

Портрет был нынешний. Но насколько можно судить по газетному клише, Ерванд Аванесович не очень изменился. Немного располнел. Он и в молодости худобой не отличался. Виски поседели. Но брови по-прежнему как смоль, глаза все те же, горячие, веселые, излучающие доброту. Штатский пиджак. Вдоль всего левого лацкана — ордена и медали. Справа, на груди, тоже поблескивают.

Арзуманян, Арзуманян...

Я снова обратился к своей заветной папке и после недолгих поисков извлек любительский снимок, довольно тусклый. Да и не мог он оказаться иным — кадр этот был наспех отщелкнут в лесной чаще, в ненастную погоду. Снимал ординарец Арзуманяна моим «фэдом» на плохонькой пленке.

Но я, конечно, разглядел на этой фотографии то, что другому бы не удалось. При магнитной вспышке памяти возникли утраченные детали.

Снимок запечатлел группу военных на фоне темной листвы. В центре — Ерванд Аванесович, крепкий, коренастый. Козырек полевой фуражки надвинут на густые брови. Из-за этого чуть затенены глаза и мясистый нос. Зато улыбка вся на свету.

Рядом я — тощий, да еще туго затянутый ремнем и портупеей. Из нагрудного кармана торчит самописка. На носу круглые очки

в тонкой оправе. Ремень отягчен кирзовой полевой сумкой, туго набитой. Что в ней умещалось? Блокноты, карта-двухверстка, «Записки охотника» в дешевом издании для школьников, аккуратно сложенная плащ-накидка, табак, хорошо обкуренная запасная трубка, бритва-безопаска, трофейный фонарик с целлулоидной синей заслоночкой для затемнения, нож с самодельной ручкой из плексигласа...

Какие же мы были тогда молодые!

Остальных офицеров, оказавшихся в кадре, назвать не могу. Когда мы фотографировались у арзуманяновской землянки, мимо проходили два парня в пилотках, с лейтенантскими звездочками на погонах. Конечно же Ервaнд Аванесович пригласил их стать рядом. Они охотно подстроились. Сниматься все любят, а на фронте тем более — вдруг и вправду получишь карточку, разве плохо послать родным свое изображение?

* * *

А происходило все это в лесу за Спасским-Лутовиновым. Сейчас в районе усадьбы стояла 342-я дивизия, которой командовал полковник Червоний Логвин Данилович. Здесь, почти напротив Мценска, в начале третьего лета войны, все — от комдива до рядового — жили ожиданием предстоящих событий, верили, что именно им придется войти в многострадальный город на Зуше, давно взывающий к освободителям.

Так вскоре и случилось.

Но в начале июня еще никто не знал, как в подробностях обернется дело. Готовились к боям, непрестанно учились, принимали пополнение. И надеялись.

Я проводил тогда много времени в этой дивизии, в этих местах, где за долгие минувшие месяцы все было исхожено, исползано, изучено до самой малой тропки.

В дивизию Червония входил 313-й артиллерийский полк. В политотделе мне посоветовали побеседовать с майором Арзуманяном, замполитом этого полка, офицером во всех отношениях примечательным. Я отправился к нему и с ходу был покорен обаянием этого человека.

Мы подружились.

Как-то прибыв из Ясной Поляны, где стояла наша редакция, на попутной машине в Спасское-Лутовиново, я зашагал в 313-й.

В пути мне показалось, что началась артиллерийская дуэль. Это было дело привычное. Но оказалось — гром. Первая капля тяжело шлепнулась рядом. Плащ-накидку вытаскивать не хотелось. Я прибавил шагу. И в ту минуту, когда подошел к землянке замполита, в лесу грянул безудержный ливень. Низвергаясь, он пробивал мощные кроны, превращал тропинки в глиняную кашу.

Арзуманян писал, склонившись над колченогим столиком. Я осведомился, не помешал ли? Ерванд Аванесович засмеялся:

— Даже если бы и помешали, не оставаться же вам под ливнем! А творчество мое закончено — выбрал минутку, написал несколько слов жене. Заходите, дорогой корреспондент! Здесь, конечно, суше, чем под открытым небом, хотя кое-что просачивается. Сырости хватает. Но все обойдется. В ревматики нам записываться рановато. Милости прошу!

Стало совсем темно. Град застучал в крохотное окошко. Сквозь доски пола, кое-как настланные, стала проступать вода. Резко запахло влажной землей.

Ординарец майора, промокший до нитки, вбежал с брезентовым ведерком, готовый в случае чего вычерпывать скопившуюся в землянке воду.

— Сейчас уж не суетись, — обратился к нему Арзуманян, — отводную канавку надо было вовремя вырыть. Скоро ливень кончится, мы с корреспондентом пойдем в Голоплеки, а ты здесь протопишь как следует. Ну и лопаткой немножко поработай — сток все-таки нужен.

Пережидая непогоду, мы обменивались фронтовыми новостями, гадали, когда и где начнутся большие летние бои. А еще мы говорили о том, что до тургеневского имения рукой подать и я приехал не откуда-нибудь — из толстовской усадьбы, и вот все тут на стыке тульской и орловской земли переплелось — история и сегодняшний день, фронтовой быт и нетленная классика, мир и война.

Но Арзуманян, как всегда, свел разговор к своей армейской профессии, которую считал наиглавнейшей.

— Вот вы рассказываете о Ясной Поляне, живописуете дом Льва Николаевича,— говорил он,— а я Толстого представляю себе на бастионе. Граф в нашем деле разбирался, сам при пушках состоял. Начал, если не ошибаюсь, службу на Кавказе фейерверкером четвертого класса, а в Крыму уже командовал батареей. Иван Сергеевич — тот был человек глубоко штатский. Кроме охотничьего ружья, ничего огнестрельного не знал. А Толстой войну прошел, мог о ней судить. Прочитайте у него все описания боев. Сколько места уделено артиллеристам, их роли в сражении! Чувствуете?

Ерванд Аванесович стоял посреди землянки, рубил ладонью воздух и под раскаты грома развивал свою мысль:

— Толстой как бы предвидел, что в будущем этот род оружия станет решающим. Кавалерия? Прекрасно. Но война эта для нее — последняя. Танки? Уважаю. Тем более что на их базе появляются самоходные орудия. Это вещь! Пехота? Как можно без нее? Но кто бог войны? Артиллерия! Какая-нибудь сорокапяти-

миллиметровая пушечка — сколько она может в умелых руках! Хлипкий с виду миномет — все равно бог! А противотанковые орудия! Не говорю уже о «катюшах»...

Слушая майора, можно было подумать, что он потомственный артиллерист, кадровый военный, с юности влюбленный в то оружие, которому посвятил себя.

Между тем у Арзуманяна все обстояло иначе. Можно было только поражаться тому, как складывалась на войне его жизнь, полная резких перемен и неожиданных поворотов.

Вообще-то говоря, Ерванд Аванесович и до этого испытал на своем веку немало превращений. Начав жизнь подпаском где-то в Нагорном Карабахе, он, поднимаясь по жизненным ступеням, стал кандидатом сельскохозяйственных наук, крупным специалистом, теоретиком и практиком животноводства, любимым учеником академика Лискуна.

Но это произошло не сразу и было обусловлено всем строем нашей жизни. Последнее же его превращение поражало именно своей стремительностью. Но такова особенность войны, она убыстряет судьбы, ей некогда.

Добровольно вступив осенью сорок первого в народное ополчение, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства оказался бойцом 3-го Коммунистического батальона. Батальон вошел в состав дивизии, сформированной в Октябрьском районе Москвы. Пункт сбора был недалеко от института, в помещении школы, а базировалась и обучалась дивизия в Тушино.

Дальше все совершалось молниеносно. Фронт. Рядовой взвода разведки. Через месяц — парторг взвода. Еще через месяц — краткосрочные курсы политсостава. Февраль сорок второго — 349-я дивизия, младший политрук, партработник. К осени — старший политрук. Февраль сорок третьего. Переброшен в соседнюю дивизию, к Червонию. Заместитель командира артполка по политической части. Батальонный комиссар, а с введением новых званий — майор.

Всю свою боевую жизнь после курсов Арзуманян провел на рубеже перед Мценском. За полтора года, никогда прежде не имевший дела с орудиями, он стал прославленным артиллеристом, не только знатоком, но и убежденным сторонником этой новой для него, сугубо военной профессии.

...Ливень утих, и мы стали собираться в путь. Арзуманян направлялся в дивизион, расположенный у деревни Голопленки. Я загодя попросил замполита взять меня с собой.

Дивизион принимал пополнение, да и офицеры туда прибыли прямо из училища, совсем еще необстрелянные. Майор спешил познакомиться с новыми людьми. Времени для их подготовки к боям оставалось мало.

Когда мы вышли из землянки, уже начало проясняться. Я давно собирался сфотографировать Арзуманяна для газеты. И пока он давал какие-то указания ординарцу, я навел объектив. Заметив это, майор вдруг заупрямился. Он сказал, что не любит, когда «подлавливают» человека в движении. Всегда получается искаженное лицо.

— Если уж снимать, то по-настоящему. С выдержкой. Чтобы я видел аппарат. И фотограф видел меня. А вообще-то не нужен мой портрет для газеты. Что я такого сделал? Но вот, поскольку скоро начнутся боевые действия и мы можем разминуться, давайте лучше снимемся на память вдвоем. Ты умеешь обращаться с этой техникой, дорогой? — спросил он ординарца.— Я так и думал, что умеешь. Ты все должен уметь. Щелкни нас с моим другом корреспондентом.

Вот так и возникла фотография, которая сохранилась у меня. И мы двинулись в Голоплеки.

Шли через мокрый лес. В укрытиях стояли тягачи, громоздились прикрытые плащ-палатками снарядные ящики.

На стволе дуба висели умывальник и ручная сирена.

Лучи солнца уже вламывались сквозь чащу на просторную поляну, где у коновязей под брезентовым навесом топтались артиллерийские лошади.

Коротко бросив: «Простите, одну минутку...» — майор подошел к ним, потрепал по холке могучего рыжего битюга, пожурил за что-то ездового и вернулся ко мне:

— Осталось во мне от прошлого,— развел он руками,— неравнодушен к животным.

Стало еще светлее. Все вокруг пестрело голубыми цветами, сохранявшими дождевую влагу. Но над ними уже летали мотыльки, тоже голубоватые, везде мелькали ситцевые крылышки. Все казалось необыкновенно мирным. Но и воронок вдоль луговой тропки тоже хватало. Известно было, что место это пристреляно врагом, и лучше всего идти в Голоплеки ночью. Однако терять почти весь день замполит не хотел. Он должен был поскорее встретиться с новичками.

— Вообще, конечно, задерживаться на этой дороге не стоит, тем более что это не Бежин луг, а рядовой выгон,— шутил на ходу майор, — но и трусить не следует. Гитлеровцам перед боями разбазаривать снаряды тоже нет смысла. И вряд ли они станут стрелять из пушек по таким воробьям, как мы с вами. Вот если бы появилась техника или, на худой конец, выполз обозишко...

Да, смелости этому человеку было не занимать. Между тем походка его оставалась неистребимо штатской.

Я знал, что в конце февраля, при попытке захватить еще один плацдарм за рекой, Арзуманян был ранен осколком на огневой позиции. Рана была серьезная, в области позвоночника. Если бы не полушубок и ватник под ним — все. Перебило бы хребет. Одежда самортизировала удар. И все равно с таким ранением отправляют в тыл. А майор не сразу покинул поле боя, дальше санбата эвакуироваться отказался. Лечился в дивизии.

Ерванд Аванесович, как быстро мы ни шли, иногда нагибался и подбирал осколки покрупнее.

Когда достигли перелеска, он разложил на ладони свою добычу, коротко определил: «Подкалиберный, фугасный, опять подкалиберный» — и остался доволен. Видно, самому себе сдавал экзамен.

— Здорово вы стали разбираться в новой профессии.

— Тяга к точной классификации — привычка научного работника,— снова отшутился майор.

— Один из таких осколочков чуть не стоил вам жизни.

— Мне повезло,— тихо ответил Арзуманян,— повозку и двух лошадей рядом разнесло. Ничего не осталось. Меня только зацепило. Но это, пожалуй, входит в программу обучения.

Я спросил:

— Вы помните «Гренаду» Светлова?

— Помню и люблю, — кивнул майор.

«Мы мчались, стараясь постичь поскорей грамматику боя, язык батарей»...

— Вот именно! Грамматика боя, язык батарей. Превосходно сказано! Политический работник должен эту грамматику знать назубок. Еще опыт гражданской войны показал — уважают того комиссара, который умеет не только речи произносить, но и воевать! Какой может быть личный пример без профессионального умения? Болтунам на огневой позиции делать нечего.

Арзуманян бросил на землю куски металла и добавил:

— Учиться надо самому и учить других артиллерийскому искусству. Беседы беседами. Мы их проводим и газеты читаем. «Записки охотника» тоже пропагандируем. Как же здесь без этого! Да и все вокруг как-никак натуральное, тургеневское, само за себя говорит. При этом состояние временной обороны способствует обстоятельной агитации. Но когда все начнется и пехота попросит: «Прибавьте огоньку», надо суметь сделать это в полную силу. Тут уж будь добр, комиссар, выкладывай свое мастерство, будь образцом сноровки и точности, разглагольствовать некогда. На одной смелости тоже далеко не уедешь! Это вам говорит бывший штатский...

Внешне Арзуманян и сейчас, как уже сказано, несмотря на армейскую одежду, выправкой явно не блистал. Но в характере его ярко обнаруживалось то качество, которое может быть врожденным, а может и выработаться и которое принято определять словами «военная косточка».

Много встречал я на фронте таких интеллигентов, с удивительной естественностью прилагавших свои способности к непривычному для них боевому делу.

Должно быть, в свое время гениальным воплощением этого типа людей был севастопольский офицер Толстой, который в Крыму постигал артиллерийскую науку на линии огня.

Я послал в редакцию репортаж о том, как готовятся к боям в 342-й. Как совершенствуются пехотинцы, саперы, танкисты. Как встречают в артиллерийском дивизионе пополнение. Как беседует Арзуманян с будущими·мастерами огня.

Отправил я и два стихотворения. Написанные в Спасском-Лутовинове, они были объединены общим названием «На батарее». Над стихами стояло посвящение — майору Е. А. Арзуманяну.

Репортаж почему-то не появился. Возможно, слишком явно в нем говорилось о наступательной направленности учебы, об ожидании больших событий на фронте.

Зато стихи появились сразу же.

В них были такие строки:

У Спасского, в тургеневском лесу,
Деревья пьют июньскую росу.
Укромная поляна. Аромат
Цветов и трав, смолы, прохлады, мира.
Но гаубицы в круглых капонирах
Под сетками зелеными стоят.
Повернутые к высотам, к большаку,
Их жерла держат под прицелом запад.
Они, как бы присев на мощных лапах,
Готовятся к тяжелому прыжку.
В овраге перекопана земля.
Землянки, щели, ровики для связи.
В укрытьях тягачи и коновязи
И ящиков снарядных штабеля.
Здесь каждая былинка начеку.
Все жаждет той благословенной даты,
Когда на штурм идущие солдаты
Потребуют: «Прибавьте огоньку!»...

Первое двустрочие в редакции вычеркнули. И правда, стоило ли во фронтовой газете указывать точный адрес батареи — «У Спасского, в тургеневском лесу»?..

Стихи начинались со следующей строфы — «Укромная поляна, аромат цветов и трав...» Вполне можно было так начать.

К тому времени, когда вышел номер газеты со стихами, я уже перекочевал в соседнюю дивизию. И не знал, попались ли стихи на глаза Арзуманяну.

Но, вернувшись в редакцию, я застал коротенькое его письмецо-треугольничек. Был указан обратный адрес — полевая почта 49978. Письмо у меня сохранилось поныне.

Ерванд Аванесович сердечно благодарил за посвящение. «Когда придет час и понадобится прибавить огоньку, прибавим — это мы сумеем» — так закончил он свое маленькое послание.

Да, подумал я, сумеет, ничего не скажешь.

Вскоре Арзуманян блестяще подтвердил свои слова.

Военный корреспондент предполагает. Начальство располагает.

Когда все началось, я оказался левее Мценска, в другой дивизии, в 380-й.

12 июля, уже через неделю после того, как началась Курская битва, пришел и наш черед. Стремительные и жестокие бои на огненной дуге, в которых наша броня превзошла вражескую, потрясли мир. Они определили дальнейшее развитие событий.

Настал звездный час Брянского фронта.

Утром 12-го я был у Зуши, в районе Завершья, где располагался командный пункт 3-й армии. Отсюда генерал Горбатов управлял развернувшимся сражением.

За четверть часа до артиллерийского удара была поставлена дымовая завеса протяженностью в 10 километров. Зушу заволокло непроницаемой мглой.

В положенный срок тяжело грохнули гаубицы, «катюши» послали во мглу свои слепящие стрелы.

Многослойный гул разнокалиберных стволов был непрерывен и ошеломляющ. Все было рассчитано до секунды. Грамматика боя, язык батарей... Бог войны говорил во весь голос. И я подумал об Арзуманяне. Как он там сейчас? Что на их участке перед Мценском? Пока еще тихо?

В это время низко, над самой головой, прошли на штурмовку «илы».

Все заволокло густой черной пеленой. Сперва можно было лишь представить себе, как по мостам, наведенным понтонерами, штурмовым настилам и просто на плотах, связанных из штакетника, на лодчонках, на бревнах стремительно преодолевают неширокую Зушу наши стрелки, а также морские пехотинцы, участвовавшие в штурме, как, перебегая, залегая и поднимаясь

под встречным беспорядочным, растерянным огнем врага, точно ориентируясь в чуть редеющей тьме, врываются они в проходы, сделанные саперами, как идут танки с десантами на броне.

Когда посветлело, сквозь оседающую дымовую завесу, сквозь пушечный чад и последние пряди предутреннего тумана проступили прибрежные ивушки и ракиты. Видны были разрывы снарядов на заречной каменистой высоте. Тот, кто имел возможность приникнуть к стереотрубе, мог различить развалины кирпичной конюшни в деревне Вяжи, превращенной гитлеровцами в опорный пункт, и даже наших солдат на изрытом воронками и траншеями склоне.

Стало ясно — замысел удался. Передали, что и правее у Измайлова рубеж тоже прорван.

Но это было лишь начало дороги, трудной и кровопролитной.

Относительная тишина наступила на Зуше уже через два дня после прорыва.

За это время удалось продвинуться на 8 километров.

...Я выехал из Новосиля, совершенно разрушенного городка, где заночевал, найдя приют в бункере у связистов.

Вскоре, достигнув Зуши, я пересек ее.

Все утро лил дождь, было сумрачно и спокойно на рубеже, который столько месяцев оставался неприступным.

Только западный берег, изрытый снарядами, покрытый рваными глыбами бетона, искореженной арматурой и клочьями колючей проволоки, напоминал о бушевавшем здесь орудийном пламени.

Да еще штурмовой мостик, переброшенный саперами через речку, — тонкие бревна настила и связанные жерди, служившие перилами. И брошенные за ненадобностью плотики, плававшие то у берега, то посредине Зуши.

Я миновал Вяжи, сумрачные развалины конюшни, разбитые безглазые дома, дворы, заросшие лебедой. Сельская улица была изрыта траншеями, частично их кто-то уже засыпал, чтобы можно было проехать.

Передо мной открылась бугристая зелено-сизая мирная, как это казалось издали, равнина.

Западный берег Зуши. Наконец-то западный! Не плацдарм, не пятачок, а распахнутая глубина...

Я был отозван в редакцию на три дня — сдавать накопившиеся материалы — и лишь в ночь на 20 июля снова был направлен в наступающие части. На этот раз к Червонию, который только что

вошел в Мценск. Гитлеровцы, боясь охвата, стремительно отходили, наши их преследовали. И когда на рассвете я въехал на разрушенные, дымящиеся улицы многострадального города, только что освобожденного, он был уже глубоким тылом. Догонять наступающих я не мог, от меня ждали обстоятельного материала о Мценске.

Как выглядел этот город в первый день своего избавления, известно из многих описаний, писал об этом довольно подробно и я.

Хочу напомнить лишь одно обстоятельство.

Был я тогда в Мценске всего два часа. Но за этот срок город успел измениться. Поначалу пустой — войска прошли вперед, — обезображенный, взорванный, сожженный, он вдруг наполнился людьми и транспортом: стали возвращаться из окрестных деревень жители, прятавшиеся от угона в Германию. Появились гражданские власти, восстановительные отряды, машины с неотложными грузами.

Генерал Терпиловский, назначенный комендантом Мценска, на рассвете еще только осматривался, выбирал место, где мог бы обосноваться со своими помощниками, соображал, с чего начать. Был он в кожаной тужурке без погон, в полевой фуражке, не очень-то бритый.

Пока я осматривал руины и уцелевшие дома, где жили оккупанты, офицерские огороды и земляные щели, где гитлеровцы прятались от наших снарядов и бомб, пыльные сады и белые колокольни, подбитую и брошенную вражескую технику, наконец, огромное кладбище в конце Болховской улицы, уставленное березовыми крестами, все в городе приобрело иной облик.

По улицам уже ходили саперы с миноискателями, на станции люди в железнодорожной форме осматривали разоренное хозяйство и руины вокзала, мостостроительный батальон двигался к Зуше, мотопехота мчалась к западной окраине, в сторону Орла. На улице Ленина сержант срывал немецкую запретительную надпись с каменного сохранившегося здания, а рядом стоял человек в штатском, держа наготове фанерную дощечку с надписью «Амбулатория».

На стенах висел приказ № 1, изданный советским военным комендантом. А сам генерал, тоже преобразившийся, выбритый, в свежем мундире, при орденах, отдавал распоряжения многочисленным посетителям — военным и штатским. Речь шла о самых разных вещах, неотложных и насущных: о пуске хлебозавода, о подсчете трофеев, о медикаментах, о жилье, о бдительной охране, о подвозе стекла, о санпропускнике...

Я выехал за город на Орловское шоссе. Хорошо бы рвануть вперед, догнать дивизию Червония, поглядеть на то, как управляется со своими орудиями Ерванд Аванесович!

Но меня и нашего фотокорреспондента Анатолия Морозова ждали в редакции. Шутка сказать, сколько мечтали о Мценске! И вот свершилось. Мой очерк, беседы с жителями освобожденного города — все это требовалось сию секунду, в верстающийся номер.

И мы повернули назад...

А 342-я уже выходила на новые рубежи.

Позднее, в конце июля, у Станового колодца, на подступах к Орлу, разыскивая штаб 3-й армии, я встретил своего доброго знакомого — майора Александра Дружкова, инструктора политуправления.

— Слушай,— спросил он,— ты такого Арзуманяна знаешь?

— Ну как же! А что с ним? Жив?

— Жив-здоров. Передает тебе привет. Он здорово отличился со своими артиллеристами.

И Дружков рассказал о подвиге артиллериста, рассказал без особых подробностей, потому что оба мы спешили.

Когда началось наступление на участке Червония, Арзуманян находился в том самом дивизионе, куда перед самыми боями прибыли молодые необстрелянные офицеры.

По настоянию Ерванда Аванесовича дивизион был выдвинут на плацдарм за рекой и, сопровождая атакующих, вел точный огонь.

Заместитель командира полка все время находился у орудий. В трудные минуты он подбадривал молодых артиллеристов, а случалось, и заменял выбывших из строя...

Позднее, уже за Мценском, гитлеровцы сумели в какой-то момент собраться с силами и попытались нанести контрудар. Танки и мотопехота одновременно обрушились на артиллеристов, стремясь подавить досадившие им батареи, отсечь орудия от пехоты, а потом и обойти наступающих.

Но артполк выстоял.

Потом, когда пошли проливные дожди, а огневые позиции менялись непрестанно, майор изобретательно проводил батареи по бездорожью...

— Настоящий комиссар! — заключил рассказчик.— Огненное слово подкрепляет огненным делом!

Я поблагодарил Дружкова за добрую весть. Очень он меня обрадовал.

День был знойный, раскаленный. Рядом, на берегах реки Оптухи, шел упорный бой — противник сопротивлялся на этом последнем рубеже перед Орлом изо всех сил.

Трудно было дышать и оттого, что яростно палило солнце, и оттого, что воздух был весь пропитан пылью, поднятой танками,

запахом бензина, оплавленного металла, горелого дерева, дымящихся воронок.

А я вспоминал июльский мокрый лес, луг, покрытый голубыми цветами и острыми осколками.

Вспоминал коренастого улыбчивого человека в полевой фуражке с матерчатым зеленым козырьком, надвинутым на густые брови, восторженно говорящего об артиллерийском оружии, идущего штатской своей походкой в тургеневские Голоплеки, в дивизион, требующий его особого внимания. В дивизион, который он подготовит к испытаниям, отдав свой опыт и мужество, с которым разделит в бою и опасность, и утраты, и славу.

Стихи, написанные когда-то в Спасском и посвященные Арзуманяну, завершались строфами, рисующими картину боя:

Десятки вспышек, золотых, багровых,
В дыму рождались молнии быстрей,—
От сорокапятимиллиметровых
До гаубичных мощных батарей.

... А тем, что вслед за орудийным валом
Несли штыки в атаку на весу,
Кукушка долголетье куковала
В истерзанном снарядами лесу.

Не жалея себя, уберечь идущих на штурм — не в этом ли подвиг артиллеристов? Сопровождая огнем и колесами атакующие цепи, подавляя врага, даровать долголетие своей пехоте — не таков ли девиз бога войны?

* * *

...В том номере мценской газеты, который я обнаружил в библиотечной подшивке, был не только нынешний портрет Ерванда Аванесовича. Приводились там и слова бывшего комдива Червония об Арзуманяне. То, о чем я много лет назад услышал от Дружкова, здесь было повторено и подтверждено по-своему. Логвин Данилович был тоже краток. Но что может быть авторитетнее этого свидетельства, этого подтверждения. Вот оно: «Под прикрытием артиллерии, имея при себе подручные средства переправы, части дивизии устремились к Зуше, с ходу форсировали ее на участке Ильинское — Сомово 1-е... В этих боях неувядаемой славой покрыли себя артиллеристы 313-го полка и их политический руководитель гвардии майор Е. Арзуманян. Именно он, когда сложилось особенно напряженное положение в районе Апальково — Пахомово — Городище и над частями дивизии нависла угроза охвата противником с фланга, сумел обрушить всю огневую мощь на врага, вовремя органи-

зовать поддержку пехоте. Только благодаря этому наши части сумели удержаться на захваченном «пятачке», а затем перейти в наступление».

Военный газетчик не всегда имеет возможность видеть героя своей корреспонденции непосредственно в действии. Чаще всего довольствуешься его рассказом в относительно спокойной обстановке, когда событие уже миновало. Но если даже тебе посчастливилось быть с ним рядом в минуту его подвига, все равно о душевном состоянии этого человека ты пока что можешь судить лишь по своему собственному восприятию. А что испытывал герой, ты по-настоящему узнаешь позже, когда он будет вспоминать о происшедшем.

Но и в том и в другом случае ты только выиграешь, если встречался и раньше с этой индивидуальностью, с подобным характером.

Получилось так, что в те дни, когда Арзуманян отличился, я оказался на другом фланге. Но у меня такое ощущение, что я был с ним рядом. Потому что я находился в те дни пусть в соседних частях, но в обстановке предельно схожей. А во-вторых, потому, что хорошо знал майора до этого, беседовал с ним, наблюдал за ним, сумел ощутить его как личность.

Теперь, вспоминая устный рассказ о его действиях, читая о нем, я представляю себе, как все это было. Мне достаточно нескольких слов, по-военному лаконичных и простых, чтобы увидеть картину во всех подробностях.

На страницах газеты, где я нашел портрет Арзуманяна, была еще одна находка. Может быть, самая существенная.

Подпись под портретом сообщала, что Ерванд Аванесович после войны работает в Тимирязевской академии. При всей любви к артиллерии в мирные дни верх взяло основное жизненное призвание. Гвардии майор стал профессором, доктором наук, руководителем кафедры молочного и мясного животноводства, заслуженным деятелем науки.

Все ведь рядом! От моего дома до Тимирязевки и пешком-то пятнадцать минут ходу. Но кроме того, в наш цивилизованный век существует справочное бюро городской телефонной сети.

Через час я уже позвонил в академию, на кафедру, и услышал знакомый голос. Когда я назвался, Арзуманян сказал так, словно мы расстались совсем недавно:

— Дорогой мой, по-моему, нам надо повидаться. Либо в моей землянке, либо на командном пункте.

На другой день я был у него на кафедре. Коридоры и аудитории здесь были украшены цветными таблицами и муляжами.

Рогатые головы, черные, рыжие, пятнистые, с глазами то кроткими, то свирепыми, глядели на нас со стен. Все мировые породы были представлены здесь...

Я привез Арзуманяну старую любительскую карточку — ту, где мы сняты в лесу у Спасского-Лутовинова.

В ответ профессор извлек из стола старую, пожелтевшую вырезку. Это были мои стихи, посвященные ему, напечатанные в газете «На разгром врага» в ту давнюю пору.

— Храню, как видите,— улыбнулся Ерванд Аванесович,— а вот еще одна памятная фотография.

Снимок был совсем недавний, сделанный на территории Тимирязевки. За год до этого Арзуманян устроил в Москве встречу ветеранов своей дивизии. Я увидел большую группу людей, уже немолодых. И в центре сразу узнал Червония. Логвин Данилович постарел, но был все так же сухощав и строен.

— Комдив наш теперь на пенсии,— сказал профессор,— живет в Запорожье. Он специально приехал в Москву повидать старых соратников. Прекрасная была встреча. Вспоминали бои, тургеневские места, павших товарищей. Ну и, конечно, подняли бокалы за фронтовую дружбу.

Арзуманян встал. Глаза его под густыми бровями блеснули.

— А ведь и наше с вами свидание надо отметить. Как положено однополчанам. Поедем ко мне. Нет, уж вы не отказывайтесь. Нанесете кровную обиду. Я ведь родом из Карабаха.

И мы поехали к Ерванду Аванесовичу.

Не так уж часто мы видимся. Профессор — человек занятой. Да и у меня жизнь тоже довольно беспокойная. Оба мы к тому же странствуем. Он позвонит — я в Белоруссии или в Сибири. Я позвоню — он на Урале, у него там уже много лет опорные станции, где под его руководством создана и совершенствуется необыкновенно продуктивная порода черно-пестрого скота.

А то оказывается, Арзуманян поехал в Болгарию или в Польшу консультировать наших друзей.

В одну из встреч он потащил меня в ближайшую фотографию. Не давала ему покоя та старая любительская карточка, где мы с ним сняты в лесу у Спасского-Лутовинова. Он решил, что мы должны снова сфотографироваться вместе.

Фронтовой снимок расплывчат, но даже неясные очертания свидетельствуют о нашей молодости. Фотография, которую сделали недавно, по соседству с Тимирязевкой, отличного качества. Но это лишь подчеркивает, что мы, мягко говоря, уже не те... Впрочем, Ерванд Аванесович выглядит и сейчас молодцом.

На моем столе лежат сейчас обе фотографии.

Рядом — только что вышедший томик моих избранных стихов. Среди них строки, посвященные когда-то Арзуманяну. Я их много раз перепечатывал в разных изданиях. Мне приятно, что человек, которому они адресованы, живет и работает по соседству. Что он по-прежнему действует в полную силу.

Воспитатель воинов и наставник студентов, солдат с кругозором ученого и ученый с характером солдата, он всегда на своем месте.

На огневой позиции и на профессорской кафедре.

В тургеневском лесу и в Тимирязевской академии.



«Под руководством партийных органов сражались многочисленные партизанские отряды и соединения, героически действовали сотни подпольных патриотических организаций и групп. В срыве всех мероприятий гитлеровцев участвовали по призыву партии миллионы советских людей, временно попавших под гитлеровское иго. Благодаря руководству партии всенародная партизанская война в тылу врага стала важным стратегическим фактором разгрома немецко-фашистских захватчиков».

«История Коммунистической партии Советского Союза»,том пятый, книга первая, стр. 650.

ЮРИЙ
ЗБАНАЦКИЙ
ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

НА ПРИДНЕПРОВСКИХ БЕРЕГАХ



1

Уже давным-давно отгремели тяжелые бои Великой Отечественной войны. Для новых поколений стало чуть ли не древней историей то, что для нас, ветеранов, и до сих пор остается современностью. Однако еще и сейчас можно услышать спор между двумя седовласыми командирами партизанских отрядов: один доказывает, что настоящая партизанская война — это только рейдовая, а другой утверждает, что подлинными партизанами были те, кто сумел выстоять, уцелеть на одном месте. Спорить можно по любому вопросу, спорят иной раз и насчет того, на востоке или на западе восходит солнце.

Совершать подлинные рейды нам не довелось: наш партизанский отряд [1] предпринимал походы всего на какую-нибудь сотню-полторы километров. Поэтому, обосновывая собственную тактику, казалось бы, я должен стоять на том, что рейдовая партизанская война не что иное, как умышленное бегство от трудностей, бегство в такие места, где можно выжить. Но я считаю, что все способы ведения партизанской войны, которую не случайно назвали вторым фронтом, закономерны, нужны, достойны одобрения, и все же отдаю предпочтение рейдам. Но эта война все-таки была войной неравных сторон. Оккупанты бросали против партизан вооруженных до зубов, натасканных по всем правилам и приученных к беспощадному уничтожению карателей, в то время как партизанская армия состояла преимущественно из людей невоенных, к тому же вооруженных чем придется. Только и союзников было у партизан, что родная земля да родной народ.

Партизанским отрядам было трудно, а чаще всего и вообще невозможно вести войну позиционную. К такому способу ведения войны стремились принудить партизан оккупанты. И там, где им удавалось навязать свою тактику, они выходили победителями. Именно в такой позиционной борьбе гибли партизанские группы, а то и целые отряды.

В рейде партизан грозен. Напав неожиданно, нанеся короткий уничтожающий удар, он исчезает бесследно, чтобы неожиданно и ощутимо ударить в другом месте.

---

[1] Автор очерка командовал во время Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Щорса, действовавшим на Черниговщине.

Рейдовая война не выдумка, а выстраданная в повседневной борьбе тактика. И не случайно ее взяли на вооружение те отряды и соединения, которые родились в самую раннюю пору, и выстояли они именно потому, что в практике борьбы выработали тактику рейда.

Сама боевая жизнь вынуждала к рейдам. В этом я убедился еще в первые месяцы существования нашего отряда, совершавшего беспрерывные рейды по району.

В конце февраля 1943 года в отряде имени Щорса был уже сформирован батальон из трех полноценных рот, стали в строй и две роты 2-го батальона, не считая вспомогательных подразделений — рот или взводов: разведки, минеров, комендантской службы, хозяйственно-строительного, медслужбы и других. Старания оккупантов задушить партизанское движение не достигли цели, наоборот: чем больше усиливали они террор по отношению к мирному населению, тем больше людей шло в партизаны. В отряды приходили те, кто вообще не собирался партизанить. Шли не только из нашего района, но и из соседних.

Вырос и отряд «Перемога». Братья Науменко только и занимались формированием новых рот да ставили рядом со старыми новые бараки.

Нам стало тесно в междуречье Днепра, Десны и Припяти. Сложилась обстановка, когда по законам борьбы надо было отправляться в рейд.

Партизанское движение характерно тем, что даже если из определенного района уходит в рейд боевая единица, здесь, на месте, где она родилась, все равно остается бо́льшая или меньшая часть ее. Примеры? Пожалуйста. Ушел в рейд Ковпак на Правобережную Украину. А разве в Путивльском и соседних с ним районах не осталось партизан? Ушел Федоров из северной части Черниговщины, а на той же Черниговщине остался Попудренко. Ушел Науменко из Хинельских лесов в рейд по Украине, но на Сумщине остался Куманек. Да и в партизанском крае, где начал действовать Сабуров, не перевелись, как известно, партизаны.

Обстановка требовала от нас выхода за пределы района. Особенное наше внимание привлекал концлагерь в Яцеве.

Яцевский концлагерь снился мне каждую ночь. Из-за густого переплетения колючей проволоки на меня пытливо смотрели глаза моих друзей. Я обязан был торопиться. Однако действовать нужно было осторожно, осмотрительно, чтобы людей из неволи вырвать и не подвести под смертельный удар молодой, еще по-настоящему не обстрелянный отряд.

Операция по освобождению узников Яцевского концлагеря по сложности граничила с лихачеством. Для осуществления ее

нужна была точная выверка всех деталей. Больше всего меня беспокоил вопрос о подступах к лагерю, в особенности со стороны Чернигова. Напасть — это только полдела. Нашим союзником была ночь. Но как после боя отойти в партизанский край с большой группой обессиленных, полуголодных людей, не способных не только обороняться, но даже и самостоятельно передвигаться? А идти предстояло полями, пересекать шоссе и железные дороги. У оккупантов же было достаточно сил и техники, чтобы догнать нас и уничтожить.

Постепенно складывался план операции. Боевая группа прорывается через все препоны, врывается в лагерь, освобождает заключенных и выводит их на тот путь, по которому группа пришла. Спасенных подбирают подводы и вывозят в леса на запад, в сторону Репок. А уж оттуда они постепенно переправляются на юг.

Чтобы отвлечь внимание черниговского гарнизона, вторая группа должна была подойти со стороны железнодорожной станции и открыть минометный — у нас появилось уже и такое оружие! — и пулеметный огонь, вызвать тревогу, оттянуть в южную часть города силы врага. Яцев — в северной части Чернигова, немцы туда бросятся не сразу, а тем временем лагерь будет разгромлен. Операция была запланирована на начало марта 1943 года.

Но сложилось все не так, как мы предполагали. Узники Яцевского концлагеря начали восстание раньше срока. К этому их вынудили сами гитлеровцы.

Первую весть о восстании в Яцеве принесла Лида Алексеенко. Я был знаком с нею еще со времен моего пребывания в концлагере, из которого мне удалось вырваться. Вместе со мной там находился и ее муж. Это был человек скромный, смелый. Мы состояли с ним в группе подпольщиков лагеря.

Лида пришла в отряд без своего Алексея, с большой семьей халявинского подпольщика Бабарыки, пришла с печальной вестью: ее муж погиб во время восстания в лагере...

Подробностей она не знала. Знала только, что заключенные перебили охрану, убежали из лагеря, подожгли ненавистные им бараки. Фашисты бросились вылавливать беглецов. Село Яцево сожгли дотла, перебив всех, кто попался на глаза. Прошел слух, что и все ближайшие села также будут уничтожены.

Наши разведчицы, часто бывавшие в Чернигове, подтвердили эти сведения. Концлагерь в Яцеве перестал существовать. Узники в неравном бою одолели охрану и разбрелись по свету. Уже позднее стало известно, что многие из них перешли линию фронта и влились в Красную Армию, многие попали в партизанские отряды, иных переловили каратели и замучили, не одного встретила на незнакомой дороге фашистская пуля.

Некоторое время спустя попали и к нам узники этого лагеря. От них мы узнали об одной из героических страниц истории концлагеря.

В Яцевском лагере существовала мощная подпольная группа, которой руководили Степин, Молибога, Тарарака, Орлов. В группу входило еще много других смелых и решительных товарищей. Им пришлось поднимать восстание самостоятельно, исходя из принципа: лучше пусть спасется один из десяти, чем погибнут все.

Поражение армии Паулюса под Сталинградом сперва ошеломило оккупантов, потом разъярило. Они не могли примириться с очевидной мыслью, что разгром под Сталинградом для них означает начало конца. И фашисты с удвоенной злобой начали мстить. Мстили даже тем, кто еле таскал ноги за колючей проволокой.

Был издан приказ о поголовном уничтожении всех заключенных в концлагере. Об этом случайно услышал Шушпанов, парень, которого комендант концлагеря «удостоил» высокой должности чистильщика его одежды и обуви. Шушпанов неплохо понимал немецкий язык, но не подавал виду. Поэтому лагерные чиновники его не очень остерегались. Именно в его присутствии было приказано:

— Копать яму. Завтра прибудет команда на акцию.

— И много будет ликвидировано? — поинтересовался комендант лагеря Майстер.

— Все до единого.

В тот же день группа узников в указанном месте начала копать братскую могилу. Улучив момент, Шушпанов шепнул об этом Степину.

Жизнь в лагере шла заведенным порядком. За скудным обедом, уже перед вечером, участники подполья узнали о задуманной подготавливаемой расправе. Вонючая баланда не лезла никому в горло...

Подпольный комитет принял решение поднять восстание. Пусть, кому суждено умереть завтра, погибнет сегодня, чтобы тот, кому жизнь дарует судьба, уже сегодня оказался на свободе.

Узники сидели над стынувшей баландой, молча переглядывались. Но в лагере не ждут. Майстер уже кричит на стражников, а те командуют:

— Подъем! На работу!

Неторопливо расходятся по местам. Кузнецы, жестянщики и токари по дереву направляются к мастерским. Их путь — мимо конторы, где на пороге всегда в такие часы стоит Майстер, покачиваясь на тонких ногах, поигрывая плеткой со свинцовой пулею на конце.

— Бей гадов!! — закричали подпольщики и первыми бросились на охрану. Те, что стояли на вышках, не сразу сообразили, в чем дело, не сразу открыли стрельбу. А в лагере уже вовсю шла рукопашная — оккупанты расстреливали узников, а узники с голыми руками, с самодельными острякам бросались на своих мучителей. С вышек открыли стрельбу. Но поздно. У многих заключенных в руках уже были винтовки, уже стреляли не только часовые, но и по часовым, а поскольку они были вверху, ничем не прикрыты, то представляли очень удобную для поражения цель. Вскоре все вышки умолкли, затихла и стрельба в лагере. В проволочном ограждении зияли дыры, те, кто остался в живых, выходили наружу, рассыпались по заснеженному полю. Другие поджигали просмоленные деревянные бараки, наполовину зарытые в землю, предавали огню все, чтобы даже память об этом позорном месте исчезла навеки.

2

2 февраля 1943 года радио принесло радостную весть: в Сталинградском котле советские войска добили 6-ю армию Паулюса. Захвачены огромные трофеи. Это была грандиозная победа Красной Армии. Впервые в истории войн было окружено и разгромлено громадное количество войск, имевших в своем распоряжении мощнейшую технику. Если принять во внимание, что 18 января была прорвана блокада Ленинграда, что войска Воронежского фронта перешли в стремительное наступление, что Красная Армия успешно продвигалась вперед на 1500-километровом фронте, то можно себе представить, какой подъем испытывали советские люди на временно оккупированных землях.

Как ни велики были успехи Красной Армии в начале 1943 года, опасность нападения карателей на наш партизанский край от этого ничуть не уменьшилась. Оккупанты планировали одновременно нанести удары на север, юг и в центр междуречья. Рассчитывали на прибытие бронемашин, а возможно, и танков. На базу в Остре поспешно завозилось горючее.

В тот день у нас долго совещался командный состав партизанских отрядов междуречья. При организации боевых действий мы всегда советовались все вместе, составляли совместные планы.

Каждый из нас, командиров и комиссаров, вносил свой посильный вклад в общее дело. Нам хорошо помогал Гнедаш. В нем мы видели опытного разведчика, представителя могучей Красной Армии, человека, который связывал нас с Родиной, а это было неоценимо во всей нашей деятельности. Мы его любили, уважали, прислушивались к каждому его слову, так же

как и он прислушивался к нам, поддерживал полезные начинания. Он умел очень тактично что-нибудь подсказать, посоветовать, никогда не навязывал своей воли, не кичился своими знаниями, что было бы, может, и естественно, ибо в его руках была связь с Родиной. Он уже успел создать на оккупированной территории сеть своей разведки, умел через нее добывать необходимые сведения, своевременно информировать командование...

В тот вечер мы говорили не только о радостных событиях на фронте — все хорошее сразу приживается в сознании; нас беспокоили возможные действия противника. Разведданные свидетельствовали об одном: на днях следует ждать стычек, а возможно, и тяжелых боев.

Каратели перешли Днепр и вступили в приднепровские села Ошитки, Новоселки Днепровы и намеревались идти в лес.

В ту ночь мы не спали. На перекрестках дорог залегли партизанские засады. Им был дан приказ — первыми огонь не открывать, вести активное наблюдение. Все наше имущество уложили на подводы. Запряженные лошади в любую минуту готовы были тронуться в путь. В полном боевом снаряжении томились бойцы, на узлах с убогим своим скарбом замерли женщины и дети.

Уже во время завтрака стали поступать тревожные вести. Горел Выползов. Стлался дым за Десной, не то в Крехаеве, не то в Евминке, а может, сразу в обоих селах. Потянуло гарью от Днепра — горели Ошитки...

В обед эсэсовский карательный отряд появился возле Червонной казармы. Наши «секреты» наблюдали за ним из лесной чащи. Запылала лесная сторожка. Вражеский отряд разделился на две группы — одна двинулась по дороге мимо лагеря отряда «Перемога» в направлении Чернинского участка, вторая — в Винникову.

Мы с Науменко, командиром отряда «Перемога», в это время были у Гнедаша. Стало ясно: боя не избежать. Обстановка складывалась серьезная, похоже, противник угадывал, а может, и точно знал наше расположение, поэтому брал нас в кольцо, оставляя единственную лазейку — на Выдру, в те места, где даже от одного пешехода на снегу остаются лишь страшные ржавые пятна.

Договорились: щорсовцы перекрывают карателям путь на Выдру возле Винниковой сторожки. Стоять будем насмерть, чтобы дать возможность обозам возле Выдры выйти из леса Вышелубченского района, в восточном его краю. Здесь пока что спокойно, сможем маневрировать.

С тем я и прибежал в свой лагерь. Отделения, взводы, роты заняли возле дороги оборону. На ходу перестроились так, что-

бы правым крылом можно было выдвинуться вперед, перекрыть врагу путь к болоту.

Каратели не заставили себя долго ждать. Наезженной дорогой они приближались к Винниковой сторожке. Партизанская засада залегла в каких-нибудь ста метрах от дороги. Только теперь стало ясно — силы карателей превышали наши вдвое, а то и втрое. Врага держали на прицеле, помня, что первыми нельзя открывать огонь.

Гитлеровцы приблизились, достигли дороги, шедшей к сторожке, и свернули к ней. В это время со стороны Остра донесся глухой, но отчетливо различимый взрыв. Фашисты насторожились, в тревоге забормотали что-то. Наши «секреты» видели, как аккуратно, по-деловому готовились каратели к боевой акции. Сперва осторожно обследовали, как и надлежит, все закоулки. И только после этого подожгли со всех сторон хату и надворные постройки, забросали гранатами колодец. Чтоб не было откуда напиться «лесным людям».

Пожар набирал силу, бушевал, а они поспешно усаживались на сани: ведь на землю уже спускались сумерки, из лесу подкрадывалась ночь. Обходя Выдру, потянулись в сторону Барановой сторожки.

Мученической смертью погиб наш помощник и разведчик: живьем сожгли Самойлу Барана. Жена его уцелела случайно: из лесу видела, как горела сторожка, не зная, что вместе с ней пылает и ее Самойло.

В этот день кровавый разгул оккупантов распространился от Десны до Днепра. В Выползове эсэсовские головорезы поймали около двух десятков случайных людей, объявили их «активистами», загнали в одну из хат и сожгли живыми. В Евминке было сожжено семь хат и семнадцать человек, среди них дети нашего партизана Колиньки и его старая мать. Сожгли родителей Жука и Красика — тоже наших партизан. Пожгли хаты и людей в Крехаеве. Сожгли чуть не все лесные сторожки.

Страшную весть принесли разведчики Науменко из Ошиток. В небольшое село у Днепра — родом отсюда были Науменко — ворвались каратели. Основной базой отряда «Перемога» оставалось родное село, поэтому так люто каратели и отомстили ошиткинцам.

Около пятидесяти хат, главным образом семей партизан, вступивших в отряд Науменко, было сожжено дотла. Почти триста односельчан Науменко приняли мученическую смерть, а среди них и престарелые родители Науменко, их сестры и вся близкая родня.

Тяжелый смрад, непроглядная пелена дыма стояли в тот день над всем междуречьем. Прибыв вечером к Гнедашу, я застал там Науменко и его братьев в глубокой скорби. На-

шему гневу не было границ. Приняли решение назавтра же дать бой.

В тот день открыли свой счет минеры. Они поставили мины на дорогах — несколько вражеских подвод взлетело на воздух, не один оккупант нашел себе смерть. Но разве могло это оплатить кровь невинных мучеников?

На следующий день враг не появился. Каратели вдруг ушли из междуречья.

А в партизанские отряды влились сотни гневных, готовых на героический подвиг людей.

3

Враг не любит, когда ему наносят удар в солнечное сплетение. Таким ударом оказался взрыв в Остре. Это была, как говорится, проба пера. Два наших партизана — Игорь и Тимофей — осваивали специальность минера.

Склад горючего на бывшей усадьбе МТС между Остром и Старогородкой тщательно охранялся. Два громадных резервуара, доверху наполненных бензином и соляркой, возвышались на территории. Улица, к которой примыкал склад, освещалась. И днем и ночью вокруг обнесенных колючкой резервуаров ходили двое часовых.

Уже с первого подхода хлопцы поняли: к цели подступить не просто.

А нужно было во что бы то ни стало подползти вплотную и прилепить магнитки с заведенным часовым механизмом.

Хитроумный Тимофей велел другу залечь в снегу, а сам подался в Старогородку. Пробрался в хлев пана старосты, «одолжил» двух пеструшек, посадил их в мешок и подошел к бензоскладу с противоположной от Игоря стороны. Забрался на чье-то подворье, выходившее на освещенную улицу, и стал интриговать часового. Встряхнет курицу, а она недовольно закудахчет. Куриное кудахтанье в ночную пору далеко слыхать. Часовой насторожился, прислушался. Тут Тимофей выпустил на улицу одну пеструшку. С тревожным криком полетела за ней и другая. Почуяв добычу, часовой бросился за курами через улицу. Его напарник не выдержал и тоже показался из-за резервуара.

— Что там? — поинтересовался он.

Глядь: вдоль улицы гоняется за курами его приятель.

— Что, что! — крикнул запыхавшийся охотник.— Иди подсоби, никак не поймать...

Вдвоем они изловили старостиных пеструшек, а тем временем Игорь, перебравшись через ограждение, приложил к холодному металлу магнитки, замаскировал их снежком, да и был таков.

С нетерпением ждали хлопцы двенадцати часов ночи. Но прошел после этого час, второй, а в Остре было тихо. Приуныли минеры — зря курочек отдали.

В три часа — ошиблись, наверное, хлопцы, заводя механизм,— раздался взрыв. Он был несильный, так как мина довольно слабая, но когда взорвалось горючее, то гул слышен был в Евминке, докатился он и до Винниковой сторожки. Эсэсовцы сообразили: пока они жгли чужие хаты, загорелась их собственная. Из Козельца в Остер помчалась колонна автомашин и броневиков. Поспешали на помощь тем, кто чинил разбой за Десной. Но заправлять баки оказалось нечем. Наступление карателей провалилось.

4

В междуречье пришла весна. Весна 1943 года. Вскрылись Днепр и Десна. Быстро отшумел ледоход, очистились плесы. По-весеннему грело солнце.

Запестрели пушистыми белыми комками вербы. На березах повисли сережки. Кто-то надрезал березу, из раны закапал сладкий холодный сок. На солнцепеке возле госпиталя грелись раненые, бродили по березняку, лакомились соком...

Птицы возвращались в лес, наполняя его пересвистом. Поверх льда, на котором стояли наши бараки, выступила вода. Иван Евдокимович Токарь проложил между бараками тротуары. Но мало кто ходил по тротуарам, партизану — все нипочем.

Весна!

С юга наш партизанский край оберегался отрядом «Перемога» и отрядом Савки Радуки.

Мы не боялись немногочисленных эсэсовских и полицейских частей, осевших вокруг нашего края. Через разведчиков нам было известно, что оккупанты не знали, куда им броситься: не то против партизан междуречья, не то против нежинских, не то очищать переяславские леса, не то податься на Киевщину, где действовали многочисленные отряды соединения Хитриченко. А над Черниговом, в северных районах, навис, как туча, отряд Попудренко. Да тут еще и в Мокром Кутку, меж Припятью и Днепром, появилась главная и самая грозная сила — отряды Ковпака, по соседству с которым стоял Алексей Федоров. Из радомышльских лесов грозил фашистам, хозяйничавшим в Киеве, Михаил Наумов.

Действительно, для гитлеровского командования сложилась ситуация малоприятная. Киевский и черниговский гарнизоны бросали против партизан лишь небольшие, совсем не страшные нам карательные экспедиции. Основные силы оккупанты использовали на охране городских объектов: в Киеве и Чернигове действовала масса подпольщиков, готовых в любую минуту взять в

руки оружие. Подтверждением этому были действия киевских подпольщиков. Через партизан, прибывших в наши отряды из Киева, Гнедаш наладил тесную связь с подпольщиками города. Вырисовывалась возможность провести дерзкую операцию — взорвать в Киеве Дарницкий железнодорожный мост через Днепр.

То была рискованная и отлично подготовленная операция. Все наши запасы взрывчатки пошли на нее. Большое число киевских подпольщиков и несколько партизан, перебазировавшись в город, устроились на ремонтные работы. Они каждый день приносили к мосту малыми порциями взрывчатку, умело прятали ее, пока не набралось достаточно для взрыва нужной силы. Заряд пристроили к ферме. Один из смельчаков, Иван Анисимов, поджег бикфордов шнур, прицепился к последнему вагону поезда, проходившему по мосту, выехал из зоны охраны, спрыгнул и скрылся в кустах. Мощный взрыв оповестил всю окрестность о том, что дело сделано. Подорванная ферма надолго лишила оккупантов возможности пропускать поезда по этой дороге.

Весна отогрела на берегах Днепра и Десны многочисленные бурты картофеля, который с наступлением навигации немцы собирались вывезти через Киев и Чернигов в Германию. Чуть сошел лед, зашевелились у речных причалов застоявшиеся за зиму речные суда. Отправляться поодиночке они не отваживались. Комплектовались караваны. Первым тронулся караван из Киева на Остер: вереница пароходов и барж под охраной жандармов и полицаев. Но караван далеко не ушел. Одна из рот Адаменко встретила его против села Евминка. Застрочили пулеметы, ударили винтовки и противотанковые ружья. Охрана бешено отстреливалась. Но напрасно: огонь партизан был уничтожающим — около пятнадцати больших и малых судов поглотила река.

В тот же день партизаны из отряда «Перемога» перехватили возле села Ошитки на Днепре караван судов, идущий из Чернобыля в Киев. Завязался жестокий бой, в результате пошли на дно несколько пароходов и барж.

Одновременно чернобыльские подпольщики, которых всю зиму принуждали ремонтировать в затоне суда, воспользовавшись переданными им магнитными минами, вывели из строя все остальные суда, подготовленные к навигации.

На Припяти, между Новошепеличами и Чернобылем, прогремел в те дни бой ковпаковцев с военизированной флотилией, направлявшейся из Пинска в Киев и нашедшей себе пристанище на дне реки.

Огромные запасы картофеля и овощей, хранившиеся в буртах, оказались в руках партизан. Лишь незначительную часть их

10-1607

взяли для своего пропитания партизаны. Остальное было роздано населению.

То было время нашего торжества над врагом, время полного возмужания, ощущения своей силы.

5

В Сорокошичах собрали людей на митинг. Рассказали о больших успехах Красной Армии в зимнюю кампанию. Сейчас на фронтах затишье, но ведь фронт отсюда недалеко: Белгород, Курск, Орел — это все близкие и знакомые города. Мы имели право мечтать о том, что вот-вот советские войска после передышки и перегруппировки снова ударят по врагу, погонят его на запад, отбросят к Днепру, а уж мы тут поможем, ударим с тыла и этим ускорим час желанной победы. Тогда будем убирать посеянный своими руками хлеб уже для своих детей, для себя. Мы имели право высказывать гипотезы, предвидеть победу советского оружия в битве на Курско-Орловской дуге. И мы можем только гордиться тем, что наше предвидение оказалось верным, мы можем от чистого сердца благодарить советского воина за то, что он это наше предвидение из мечты претворил в живую действительность.

Трудно определить, кем мы в те дни больше были — командирами отрядов или лекторами-агитаторами. Бывали дни, когда я терял голос.

Митинг в Сорокошичах закончился тем, что небольшая группа бойцов самообороны превратилась в батальон, насчитывавший свыше двухсот человек. Получилось это очень просто и вместе с тем торжественно. Во время митинга вооруженные бойцы самообороны под командованием Василия Гриба, построившись, замерли возле трибуны, внимательно слушали речь, и на них были устремлены взоры всех присутствующих.

— К оружию, товарищи!

В толпе движение, от нее начали отделяться фигуры, а затем к строю бойцов двинулись сразу не только мужчины и парни, но и женщины, и девчата. И когда добровольцы построились, людская толпа заметно поредела, колонна вытянулась через всю площадь. И Василию Грибу пришлось кричать во всю глотку: «Батальон, смир-р-р-но-о!»

Уже к середине апреля на Остерщине были созданы боевые подразделения во всех селах района между Десной и Днепром.

Всего в отряды самообороны вступило около трех тысяч человек. У многих бойцов не было оружия, и к одной винтовке нередко прикреплялось двое.

У нас было очень мало боеприпасов. Мы надеялись, что к трофейному оружию раздобудем патроны в Реуновом Круге. Но где достать боеприпасы к отечественному оружию?

Проблема эта была решена неожиданно. Кто-то из ошитковских партизан отряда «Перемога» вспомнил, что в 1941 году на Днепре было потоплено судно с боеприпасами. Начались розыски этих сокровищ. Потопленный пароход лежал на глубине пяти-шести метров. Без специалистов-водолазов пробиться сквозь такую толщу воды нелегко. А еще труднее добыть из трюмов тяжелые ящики с патронами.

Но для партизан не существовало ничего невозможного. Необычную операцию возглавил Терешко Науменко. Он подобрал добровольцев, лучших пловцов, выросших на Десне и Днепре. Соорудили надежный плот, вывели его на середину реки, поставили на якорь над затопленным судном и принялись за дело. Изготовили специальное приспособление из тонкой проволоки и веревок, орудовали металлическими крюками на длинных жёрдях.

Это был каторжный труд. Труд, который можно сравнить разве что с трудом добытчиков жемчуга в южных морях. Добровольцы ныряли в начале апреля, когда вода была очень холодной, а полноводная река бурлила вовсю.

Работали несколько дней, на свет извлекли десятки цинковых ящиков с патронами. На водолазов обратили внимание с правого берега Днепра, и плот стали обстреливать. Пришлось работу перенести на ночное время и переправлять боевые подразделения за Днепр, чтобы отогнать врага.

Оккупанты пытались сорвать операцию с воздуха: на бреющем полете над рекой проносились самолеты, обстреливая смельчаков. Но все это не пугало их. Кроме патронов подняли много мин, даже снаряды для противотанковых пушек.

Успех этой операции имел немаловажное значение. Патронами в достаточном количестве были обеспечены бойцы всех отрядов, значительное количество передали группам самообороны.

Реунов Круг — лесное местечко, превращенное оккупантами в военно-производственную базу. Охранялось оно многочисленным гарнизоном — около четырехсот человек. С трех сторон к местечку прилегал лес. Возле самого местечка лес разреженный, в нем вырыто три ряда траншей, там и сям разбросаны доты и дзоты с таким расчетом, чтобы их огонь был уничтожающим для всего живого на расстоянии километра. Днем и ночью сидели фашисты в засадах, не спуская глаз с окрестных лесов.

На операцию в Реуновом Круге отряд имени Буденного выступил в полном составе.

В помощь ему прибыли боевые группы из Михайло-Коцюбинского партизанского отряда.

План операции был прост: внезапной атакой оглушить врага. Атаковали всеми силами: первая рота — справа от села Жидничи, вторая — в центре, из леса, третья — в обход, слева. Для отступления фашистам оставили северную сторону, где на расстоянии километра, за открытой поляной залегли в засаде михайло-коцюбинцы; их задача — добивать убегавших немцев и собирать трофейное оружие.

На исходные позиции роты выступили ночью, наступление же должно было начаться на рассвете. Предполагалось незаметно подойти как можно ближе к вражеским траншеям, а затем, когда после беспокойной ночи оккупанты улягутся спать, ворваться в гарнизон.

На рассвете 15 апреля роты поднялись в атаку. Расчет оказался правильным: за несколько минут до начала атаки большинство гитлеровских солдат ушло в караулку на отдых. Завязался бой. Буденновцы сначала обстреливали траншеи из минометов, после чего вторая рота бросилась вперед. Запылали казармы, заметались фашисты и, беспорядочно отстреливаясь, начали удирать. Несколько партизан было ранено и убито, однако рота достигла траншей, преодолела их и ворвалась в пылающее селение. И только третья рота под командованием Сорокина не смогла преодолеть препятствий. В этом бою было уничтожено 170 фашистов, 14 взято в плен, остальные прорвались между ротой Сорокина и михайло-коцюбинцами к Чернигову.

Пять часов длился ожесточенный бой. Был уничтожен патронный завод с оборудованием, привезенным из Германии, разрушены электрическая и железнодорожная станции, сожжено много автомашин, мотоциклов, продовольственный склад, сгорел лесопильный завод. В бою захватили шесть пулеметов, много автоматов, сотни винтовок, большое количество боеприпасов и продовольствия. Большая часть трофейного оружия была передана михайло-коцюбинским партизанам.

Когда бой уже закончился, из Михайло-Коцюбинска на помощь фашистскому гарнизону прибыло подкрепление. Свыше двухсот солдат с ходу пошли в атаку на партизан. На околице охваченного пожаром местечка вновь завязался бой, в котором активное участие приняли партизаны Михайло-Коцюбинского отряда. Бой вскоре утих: противник после первой же стычки повернул вспять.

Все окончилось тем, что Адам Мольченко, которому полюбился Михайло-Коцюбинск, через несколько дней после операции в Реуновом Круге в третий раз напал на недобитый гарнизон и разгромил его окончательно.

До самого мая не осмеливались фашисты появляться в этих местах.

Так закончилось почти полное уничтожение вражеских сил в междуречье Десны и Днепра — от Киева до Чернигова весной 1943 года.

Отряд Щорса — капля в море всенародной партизанской борьбы. Но и капля, как известно, имеет свой вес.

Своими самоотверженными действиями советские партизаны и подпольщики, все советские патриоты, весь непокоренный народ внесли весомый вклад в борьбу против смертельного врага человечества, ощутимо помогали доблестным Советским Вооруженным Силам громить гитлеровских захватчиков, способствовали победе Советского Союза над фашистской Германией.

Партия и правительство высоко оценили тот вклад в дело победы над врагом в годы Великой Отечественной войны, который внесли во всеобщую борьбу народа советские партизаны.

Авторизованный перевод с украинского А. Тонкеля.



«Деятельность Коммунистической партии и Советского правительства по организации иностранных воинских формирований на территории СССР, оказанию всесторонней братской помощи при создании регулярных армий Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии и Румынии явилась ярким проявлением интернационального долга, важным вкладом в укрепление антифашистского союза народов Европы, в достижение полной победы над фашистским агрессором».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 575.

АНАТОЛИЙ
БЕЛОЮШЕЕВ

ЕСТЬ В БЕЛОРУССИИ ТАКОЕ СЕЛО...



Пассажиров в раннем рейсовом автобусе Минск — Барановичи было немного, и все устроились с удобствами, какие только возможны в пути.

Одни листали свежие газеты, другие, откинувшись на мягкие спинки кресел, дремали. Кое-кто подкреплялся припасенным в дорогу завтраком.

Рядом со мной, у зеркального окна, сидел пожилой мужчина в сером, спортивного покроя, костюме. Прикрыв соломенной шляпой стопку книг на коленях, он, щурясь, смотрел на пробегавшие мимо поля, селения, перелески, на проносившиеся по шоссе встречные машины. Доброе задумчивое, не тронутое летним загаром лицо соседа с небольшими, тщательно подстриженными черными усиками выдавало в нем не то бухгалтера, не то сельского учителя. Руки спокойно придерживали стопку книг.

Попутчики обычно знакомятся быстро и просто. На мой вопрос: «Куда едете?» — сосед приветливо улыбнулся, с готовностью отозвался:

— Недалеко. Слыхали про Станьково? Это чуть в стороне от Дзержинска. Там я живу. Учительствую в школе рабочей молодежи.

— В Минск ездили, вероятно, за методическими пособиями? — кивнул я на стопку книг, прикрытую соломенной шляпой.

— Скорее, за знаниями. Решил на старости лет получить высшее образование. Возвращаюсь с сессии. Заочник третьего курса истфака Петр Давыдович Горпинченко, — представился он. — А вы?

Я назвал себя. И не удержался от нового вопроса:

— По фамилии вы вроде бы украинец. А живете в Станьково?

— Коренной полтавчанин, — подтвердил сосед. — Демобилизовался, приглянулась белорусская земля, вот и осел тут.

— Вы были военным?

— А кто в войну не был военным? — вздохнул попутчик, и по лицу его точно облачко пробежала тень. — Полковник запаса. Старые раны к погоде стали побаливать, и глаз у меня, если заметили, не настоящий. Вот и пришлось оставить службу...

Помолчали. Я с чувством некоторой неловкости от того, что невольно вызвал собеседника на такие откровения. Он, должно быть, перебирая в памяти не самые светлые страницы своей военной службы.

— Вы тоже фронтовик? — чтобы возобновить прерванный разговор, наконец поинтересовался Петр Давыдович.

— Да. И тоже осел в Белоруссии.

Принялись вспоминать места, где довелось воевать. При этом мой попутчик как-то вскользь, мимоходом назвал село Ленино — в боях под Ленино он был начальником штаба истребительного артиллерийского полка.

Ленино?.. Осенью сорок третьего года я прошел с наступающими советскими войсками значительно южнее его. Но после войны не раз бывал там; по документам, воспоминаниям старожилов и очевидцев событий знал историю этого села, боев за него. Случайно повстречав участника этих боев, я, естественно, попросил его рассказать самое памятное, волнующее.

— Да, право, даже не знаю, сообщу ли вам что-нибудь новое?— смущенно пожал плечами сосед.— Наш полк находился в противотанковом резерве 33-й армии. Стояли мы, помню, в тринадцати километрах восточнее Ленино, когда туда начали прибывать первые эшелоны дивизии имени Костюшко. Поляки размещались тут же, в мелколесье, рядом с нами. И с первых же дней между нами установились самые добрососедские отношения. Польские офицеры не раз бывали у нас на командном пункте полка, на наблюдательных пунктах и огневых позициях дивизионов и батарей, интересовались действиями артиллерийского противотанкового резерва в наступательном бою. Мы понимали, что у них еще не было собственного боевого опыта и охотно делились с ними своим.

— Вечерами,— неторопливо продолжал Петр Давыдович,— в шалашах и землянках подолгу вместе засиживались наши и польские солдаты. Разучивали русские и польские слова и песни, как могли, вели нескончаемые беседы, обменивались фотографиями, домашними адресами, памятными подарками. В ход пошло все: зажигалки и карманные блокноты, кисеты и бритвы, даже пуговицы с гимнастерок... 11 октября к нам приехали белорусские артисты, дали большой концерт. Потом состоялся митинг; наши и польские солдаты поклялись, что в бою не посрамят славу своих знамен...

Петр Давыдович говорил, а в моей памяти, точно кадры документальной кинохроники, мелькали лица и имена людей, даты и события, о которых я уже слышал раньше, не раз писал. И далекое мирное село со всей его большой и волнующей историей представлялось до того явственно, словно я был там в последний раз только вчера; нет, словно оно лежало прямо за окнами мчавшегося в Барановичи «Икаруса».

Ленино...

Там, где Белоруссию от Смоленщины отделяет только узкая болотистая речка Мерея, в стороне от шумных городов и больших дорог раскинулось это тихое селение, ныне центр сельского Совета Горецкого района Могилевской области.

Поля, редколесье, холмы да низменная пойма реки,— куда ни глянь, глаз остановить не на чем.

До революции, по словам старожилов, село называлось Романово и принадлежало князю Дондукову-Корсакову. Октябрь семнадцатого года принесли в село солдаты, возвращавшиеся

с фронта. Князь, прослышав о революции в Петрограде, бежал, а местные крестьяне, жадно слушавшие рассказы бывалых земляков о Ленине, большевиках, земле и Советах, с радостью встретили декреты о земле и мире. Первым председателем местного Совета крестьянских и солдатских депутатов они избрали демобилизованного фронтовика большевика Ивана Минакова, и вскоре Совет по единодушному требованию крестьян поставил вопрос о переименовании ненавистного Романово в село Ленино.

Игнат Остапович Комаровский, старожил села, рассказывал:

— В тот день все жители села, от мала до велика, с красными флагами, с алыми бантами на груди пришли на бывший господский двор. Слово взял председатель сельсовета Иван Трофимыч Минаков. Царя и князей, сказал он, помещиков и буржуев больше нету, сами рабочие и крестьяне теперь хозяева, власть. И потому глядите, говорит, вот я на ваших глазах зачеркиваю на карте бывшей Российской империи прежнее название села с царской фамилией и пишу новое. Взял со стола план-карту, зачеркнул на ней химическим карандашом «Романово» и тут же, рядышком, крупными печатными буквами, чтобы все видели, написал «Ленино»...

Просьбу крестьян удовлетворили: село Романово было официально переименовано в Ленино.

Почти два десятка лет — вроде бы не так уж мало для того, чтобы перестроить жизнь мирного села на новый лад. Но трудными были те годы, до всего разом просто руки не доходили. Сперва надо было покончить с нищетой и разрухой после двух войн и военной интервенции, потом с неграмотностью, темнотой, доставшимися в наследство от прежнего Романова. Потом освоить новую культуру земледелия, технику, что пришла на поля Ленино в помощь хлеборобу... Словом, только село стало прочно вставать на ноги, отстраиваться, крепнуть и богатеть, как нежданно-негаданно на него обрушилась новая беда — война.

В ночь на 13 июля сорок первого года в Ленино нагрянули фашисты. Ох, и лютовали они здесь! Одно название села, казалось, удваивало их звериную ненависть ко всему советскому.

Огнем и кровью мирных жителей утверждая «новый порядок», гитлеровцы на околице села прибили указатель с прежним его названием «Романово», только написанным теперь по-немецки, и строго-настрого приказали местному населению раз и навсегда забыть о том, что когда-то село носило имя Ленина. Только ведь из сердца-то, не с дорожной указки, дорогое имя не вытравишь. Тайком от оккупантов все крестьяне округи по-прежнему называли село Ленино, связывая это с верой в Советскую власть, с надеждой на скорое освобождение от ненавистных захватчиков.

В начале октября сорок третьего года через Ленино на запад потянулись отступающие гитлеровские войска, недобитые под Смоленском, Рославлем, Брянском. В дом солдатки Марфы Лазичной в те дни забежал напиться чех, санитар одной из немецких воинских частей.

— Уходите! — предупредил он.— Все уходите из села! Тут бой будет. Ваши такой силищей наступают, что немцу ни за что не устоять. Сожжет он со злости село. И детей, женщин, стариков не пощадит!..

Чех сказал правду. В тот же день фашисты заняли оборону на гребнях высот чуть западнее Ленино, выгнали из села всех жителей и стали готовиться к бою. Они минировали болотистую пойму Мереи, рыли окопы для орудий, сооружали дзоты, опутывали проволочным заграждением околицы села Ленино, соседних деревень — Тригубово и Ползухи. Все подтверждало, что противник задумал на этом участке фронта, чего бы это ни стоило, если не сорвать, то хотя бы остановить, задержать наступление советских войск...

Цветы, мрамор, гранит и бетон — вот, собственно, и все, что сегодня напоминает в Ленино о тех далеких событиях.

Живые, яркие неувядающие цветы.

И холодные камни мемориала братских могил.

Давно заново отстроены спаленные врагом дома. Перепаханы старые окопы. Подросли и весело шумят молодой листвой на ветру заложенные здесь парки дружбы. Мирно трудятся на полях и фермах совхоза люди.

А ведь осенью сорок третьего года в этой болотистой пойме Мереи, на этих поросших мелколесьем безымянных высотах, на той самой пяди земли, где воздвигнут сейчас мемориал польско-советской дружбы, скрепленной кровью храбрых сынов и дочерей братских народов, шел жестокий бой.

С точки зрения тактического замысла нашего командования это был обычный бой за населенный пункт Л. и прилегающие к нему высоты, бой еще за несколько десятков квадратных километров родной земли. Но было в том обычном на первый взгляд бою две волнующие особенности. Населенный пункт носил имя Ленина.

И в том бою впервые с оружием в руках рядом с советскими воинами, плечом к плечу с людьми в серых шинелях и краснозвездных касках, атаковали врага воины в желто-зеленых шинелях, с белыми орлами на касках бойцы сформированной на советской земле 1-й польской дивизии.

А предшествовали этому следующие обстоятельства.

Разгромив фашистские полчища под Сталинградом и на Курской дуге, Красная Армия успешно очищала родную землю от гитлеровских захватчиков. В это время в глубоком прифрон-

товом тылу, в лесах на берегу тихой Оки, антифашистский Союз польских патриотов с согласия Советского правительства приступил к формированию первого польского войскового соединения, готового бок о бок с Красной Армией сражаться против общего врага, за свободу и независимость своей многострадальной родины.

Со всех концов нашей страны в дивизию, названную в память о национальном герое Польши именем Тадеуша Костюшко, стекались добровольцы: поляки-эмигранты, лучшие сыны и дочери своего народа, в войну нашедшие приют и спасение от гитлеровцев на территории Советского Союза.

Советские люди дали польской дивизии первоклассное вооружение, снаряжение, боеприпасы. Наша армия выделила опытных офицеров-инструкторов. В августе сорок третьего года обучение польских воинов в Селецких лагерях на Оке было завершено, и 1 сентября, располагая всем необходимым для успешного выполнения боевых задач, дивизия выехала на фронт. 1 сентября — как раз в четвертую годовщину вероломного вторжения гитлеровских полчищ в пределы Польши.

...Четыре мучительно долгих года польские патриоты ждали встречи с врагом в открытом и правом бою. Четыре тяжких года их родина истекала кровью, дымилась зловещими трубами Майданека и Освенцима, стонала под сапогом фашистских захватчиков. Кратчайший путь дивизии имени Костюшко к родной земле, к Варшаве и Кракову, Белостоку и Познани лежал через белорусскую землю.

Так в начале октября дивизия оказалась в районе села Ленино, в оперативном подчинении командующего 33-й армией генерала В. Н. Гордова.

И вот — ночь на 12 октября. Ночь перед первым боем.

Сырая, зябкая, она тянется как-то нескончаемо долго и тревожно. Плеснет волна Мереи в прибрежных кустах ольшаника, вспыхнет и прочертит черное небо огненным следом одинокая ракета, протарахтит где-то глухая пулеметная очередь, и снова кругом темно и тихо — так тихо, что кажется, вслушайся, подсчитаешь удары собственного сердца, отчетливые и гулкие.

В такую ночь вся твоя жизнь проходит перед мысленным взором — то торопливо, сбивчиво, то медленно, во всех подробностях, и думается: вот тут ты прожил верно, поступил правильно, а тут пошел не той дорожкой и заплутал, да еще чуть было не оступился. Но если завтра в бою пощадит тебя вражья пуля, уж больше ты такого промаха не дашь и с верного своего пути не свернешь...

Брезжит туманный рассвет, кончается долгая ночь раздумий о жизни и смерти, и идет солдат в праведный бой за то, чтобы будущее его было краше и чище прошлого.

Вот так, наверно, и Анджей Клыш в ту ночь, прижав к груди автомат и пряча огонек сигареты в рукав шинели, сидел в сыром окопе на берегу Мереи, чутко вслушивался в ночные звуки переднего края и перебирал в памяти все, что успел прожить и повидать за свои двадцать семь лет.

Столяр-краснодеревщик из-под Белостока, призванный в польскую армию резервистом еще летом тридцать девятого года, он и пороха-то понюхать тогда как следует не успел, — страну за несколько суток оккупировали фашистские войска.

Вынужденным и оттого особенно горестным было расставание с родиной. Спасаясь от фашистского нашествия, по всем дорогам на восток, в Страну Советов, тянулись в те дни нескончаемые толпы беженцев. Из Белостока Анджей Клыш уехал в Архангельскую область, работал там и не терял надежды снова увидеть Польшу, верил, что есть в мире сила, способная остановить фашистов и начисто смыть коричневое пятно, зловеще разлившееся к тому времени по карте почти всей Европы.

В июне сорок первого гитлеровские полчища напали на Советский Союз. Анджей собственными глазами видел, как страна поднималась на священную войну, как уходили на фронт молчаливые, суровые, исполненные решимости с честью постоять за родную землю северяне — лесорубы, пахари, рыбаки, отцы семейств и безусые парни. Видел и в душе казнился: идут воевать пожилые люди и совсем еще юнцы, а он, молодой, здоровый, полный сил мужчина, у которого свои давние счеты с гитлеровцами, остается в тылу вместе со стариками, женщинами, детьми, словно бы за спиной гостеприимного соседа пытается отсидеться, укрыться от нагрянувшей беды.

Впрочем, скоро Анджея тоже призвали — в польскую армию генерала Андерса.

Он надел военную форму, встретил многих соотечественников такой же горькой судьбы, что сложилась у него. Но на фронт не попал. В то время как Красная Армия вела тяжелое единоборство с фашистскими полчищами, Анджей Клыш вместе с другими польскими солдатами разгружал в порту суда, что приходили в Архангельск с военными грузами из-за океана.

Может быть, тем Архангельск и оставил в памяти Анджея Клыша в общем-то добрый след: там он хотя в роли грузчика, но чувствовал свою причастность к общему делу разгрома врага. А вот другой советский порт всегда вспоминал с угрызениями совести.

Осень сорок второго года. Советская Армия, героически отстаивая каждую пядь родной земли, вела жестокие бои под Сталинградом. Анджей знал — люди на фронте, даже ранеными, не уходили из боя, люди в тылу сутками не оставляли заводских цехов, колхозных токов. Стране в эту грозную пору

была дорога каждая пара сильных мужских рук. А в это время на Каспии, в далеком Красноводске, армия генерала Андерса спешно грузилась на суда. Сформированная на советской земле, оснащенная советским оружием, она покидала дружественную державу в самую тяжелую для нее годину, она бежала от войны на Ближний Восток.

— На подмогу идете, братки? — остановил Анджея на причале красноводского порта раненый красноармеец, с помощью своих верных товарищей только что сошедший с госпитального судна.

Советский солдат полагал, что польские воинские части грузятся для отправки на фронт.

Что мог ответить этому раненому фронтовику обманутый Андерсом, поверивший посулам эмигрантского польского правительства, сидевшего в Англии, резервист Анджей Клыш? Он решительно повернул с причала, наотрез отказавшись ехать в Иран. Он не может, не имеет права покинуть страну, приютившую его, в пору, когда над ней, как и над его многострадальной родиной, нависла смертельная опасность. И резервист Анджей Клыш остался в Красноводске, продолжал честно трудиться, чтобы хоть этим помогать советскому народу в его самоотверженной борьбе с фашизмом.

А спустя некоторое время на страницах польской антифашистской газеты, издававшейся в Советском Союзе, он прочитал письма своих единомышленников. Особенно запомнилось Анджею письмо некоего Тадеуша В. «Мы знаем,— писал в газете этот Тадеуш В., словно бы повторяя мысли Анджея Клыша,— путь к родине и свободе прокладывается штыками, личным участием в борьбе. И вовсе не думаем, что для этого надо сражаться в песках Африки или фьордах Норвегии. От Великих Лук значительно ближе до Польши, чем из Тобрука...»

Любовь к родине, готовность бороться за ее свободу с оружием в руках, глубокая благодарность Стране Советов, возвратившей ему это оружие, — вот что в конце концов привело столяра-краснодеревщика из-под Белостока Анджея Клыша, как и многих других его соотечественников, в дивизию имени Костюшко, в этот сырой окоп на подступах к белорусскому селу Ленино. Как знать, может, где-то рядом с ним в эту ночь перед боем был и неизвестный Анджею Тадеуш В. А назавтра рядом с ним он шел в атаку на врага.

Бывшего капрала 1-й польской дивизии Анджея Клыша много лет спустя после войны я встретил в Ленино в составе делегации трудящихся Белостокского воеводства Польской Народной Республики. Вот тогда-то он и поведал всю эту историю. И еще рассказал, с какой сдержанной суровостью, с какой твердой

верой в победу готовились к боевому крещению все воины дивизии, как, подобно призывному набату, в ушах каждого в ту ночь звучали слова боевого приказа командира дивизии полковника Зигмунда Берлинга, зачитанные в ротах и батареях перед рассветом 12 октября. «Вперед, в бой, солдаты 1-й дивизии! — говорилось в этом приказе. — Перед нами великая, священная цель, а на пути к ней — смертельный враг... Вперед, в бой и к победе!..»

Ранним туманным утром 12 октября мощным артиллерийским налетом на этом участке фронта началось наше наступление. Вслед за огневым валом артиллерии на позиции противника устремились советские и польские танки, а за ними поднялась в атаку пехота.

Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно. Достаточно сказать, что село Ленино, соседние деревни Тригубово и Ползухи и господствующая над местностью высота 215,5 несколько раз переходили из рук в руки. Обнаружив, что совместно с советскими войсками за каждую пядь белорусской земли отважно сражаются польские воины, фашисты незамедлительно подтянули резервы, задавшись целью, чего бы это ни стоило, разгромить дивизию имени Костюшко, — это было выгодно противнику и с тактической и с политической точек зрения. Только в течение одного дня ожесточенных боев вражеские бомбардировщики совершили больше тысячи самолето-вылетов на боевые порядки и тылы советских и польских наступающих частей. Однако ничто не смогло остановить или задержать их высокого наступательного порыва. Наши и польские воины сражались с беззаветной храбростью...

— На поле боя, — время от времени поглядывая в окно автобуса, словно за ним и простиралось это самое поле боя, продолжал рассказывать мой попутчик Петр Давыдович Горпинченко, — слышались команды на русском и польском языках. С наблюдательного пункта полка я своими глазами видел, как фашисты в страхе бежали от дружного напора советских и польских солдат. Позже командир батареи полка капитан Мельников доложил мне о таком эпизоде. В жаркой схватке с врагом геройски погиб польский офицер командир стрелкового взвода. Польские солдаты тотчас же обратились к пробегавшему мимо советскому сержанту: «Друже, веди нас в бой!» И сержант без колебаний возглавил их взвод. Еще помню, все мы от души смеялись, когда узнали, как польские девушки — добровольцы дивизии — обратили в бегство около взвода фашистских автоматчиков, пытавшихся захватить в качестве ценного трофея полковую походную кухню наших боевых друзей. Кухня врагу так и не досталась, девушки отстояли ее с оружием в руках.

Слова соседа вновь увели меня к документам, свидетельствам очевидцев — участников боев под Ленино, с которыми в свое время довелось встречаться.

Житель села Иван Лазичный, в сорок третьем году мальчонкой прятавшийся вместе с односельчанами в овраге неподалеку от Ленино, собственными глазами видел, как геройски погиб польский капитан Владислав Высоцкий. Тогда он не знал имени героя, он только видел, как, отражая вражескую контратаку, польский офицер с горсткой подчиненных оказался в огненном кольце фашистов. Тяжелораненый капитан лежа отстреливался буквально до последнего патрона. Предпочтя смерть на поле боя позорному плену, польский патриот последним выстрелом из пистолета покончил с собой.

— Только позднее жители Ленино узнали его имя, — сообщил мне Иван Лазичный. — В газетах был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР с описанием подвига польского капитана. Владиславу Высоцкому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Ленино хорошо помнят и отважную польскую девушку-воина Анелю Кживонь, также посмертно удостоенную высокого звания Героя Советского Союза.

Стройную, в шинели, туго перетянутой армейским ремнем, в начищенных до блеска солдатских сапогах, живую и непоседливую, ее видели в дни боев на самых опасных и решающих участках. То она из снайперской винтовки вела огонь по вражескому наблюдательному пункту, то, чуть пригибаясь под свистом пуль и осколков, бежала в штаб с важным донесением, то бережно вела с передовой раненого товарища — польского или советского солдата.

В один из дней командир вызвал Анелю и приказал ей отвезти документы в Николаевку, а по дороге захватить нескольких раненых из 2-го полка и доставить их на газике в медсанбат. Командир предупредил, что дорога обстреливается...

Газик подпрыгивал на ухабах. Тихо стонали раненые. Вдруг раздался взрыв, машина загорелась. Анеля бросилась спасать раненых. Тяжело ей пришлось, но наконец в газике остался один раненый.

Анеля, пытаясь спасти и его, с трудом проникла в машину, охваченную огнем. В этот момент на нее сверху упал горящий брезент, накрывший ее и раненого.

Так погибла польская патриотка Анеля Кживонь.

А вот что рассказала «Правда» 12 ноября 1943 года о подвиге старшего сержанта Францишека Клыша, награжденного за этот подвиг орденом Отечественной войны 2-й степени. «Первым ворвавшись в траншею, Клыш забросал гранатами немецкий пулемет, затем, прорвавшись на окраину населенного пункта, под-

жег здание, в котором засели фашистские автоматчики. Во время боя выбыл из строя командир взвода польских автоматчиков. Не раздумывая, Клыш принял на себя командование и умело руководил подчиненными. По ходу сражения ему пришлось занять оборону. С группой солдат он отстреливался от наседающих немцев. Вскоре у польских воинов вышли все патроны. Тогда они начали отбиваться гранатами и держались до тех пор, пока не подошло подкрепление».

По сложившейся после войны традиции каждый новый учебный год в средней школе села Ленино начинается «уроком мужества» — рассказом о минувших боях вот на этой самой земле, о боях, в которых кровью было навечно скреплено содружество советских и польских воинов, братство советского и польского народов.

С непередаваемым волнением слушают дети рассказ педагогов, участников боев за Ленино, старожилов села — свидетелей отгремевших событий...

К исходу 13 октября войска 33-й армии и 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко не только полностью овладели селом Ленино, деревнями Тригубово и Ползухи (кстати, одна из этих деревень несколько лет тому назад переименована в Костюшково), но значительно продвинулись дальше на запад.

В этот день полковнику Зигмунду Берлингу — командиру польской дивизии — позвонил командующий 33-й армией генерал В. Н. Гордов и сказал: «Поздравляю вас с наступлением! Хорошо идут ваши бойцы!» Позвонил, когда бело-красные штандарты польских воинских частей развевались уже далеко от исходных позиций, от окопов на болотистых берегах Мереи и увлекали солдат на новые подвиги.

Каждая отбитая у врага сотня метров белорусской земли приближала польских воинов к желанной цели — границам родины. До Польши было еще далеко, это хорошо понимали все солдаты и офицеры дивизии. Но также хорошо они понимали и то, что фашист, сложивший оружие вот на этих сотнях метров белорусской земли, уже не встретит их огнем на Буге и Висле. Оттого и сражались наши боевые друзья с беспримерным мужеством и отвагой.

Подпоручика Анджея Чарковского санитары вынесли с поля боя тяжело раненным. «Где знамя?» — обратился он к ним, на минуту придя в сознание. Когда ему ответили, что знамя далеко впереди, что оно стало на десяток километров ближе к родной Польше, Чарковский спокойно закрыл глаза. Он так и умер с последней мыслью о знамени, родине и победе.

В роте польских автоматчиков тяжело ранило командира. Семнадцатилетний доброволец солдат Болеслав Заложицкий, на глазах которого это произошло, мгновенно оценил сложив-

шуюся обстановку: достаточно малейшего замешательства, вызванного потерей командира, и рота не выполнит боевую задачу, заляжет под губительным огнем противника. Ни минуты не раздумывая, смелый юноша принял командование ротой на себя. И, ведомые им, автоматчики в этот день отразили несколько вражеских контратак, успешно развивали наступление, беспрекословно повинуясь воле своего нового командира.

Весть о том, что его однополчане пошли в бой плечом к плечу с советскими воинами и громят ненавистного врага, застала капрала Леона Левинского в дивизионном лазарете. Примириться? Покорно томиться на госпитальной койке, принимать микстуры и выполнять предписания врачей, когда товарищи сражаются? Нет, это было выше его сил. Выкрав у кастелянши свое обмундирование, Левинский на рассвете 13 октября бежал из лазарета в свое подразделение и на протяжении всего дня геройски сражался наравне с товарищами, позабыв о собственном недуге...

О боевых действиях 1-й польской дивизии на советско-германском фронте сообщило Советское информбюро. Воздавая должное мужеству и воинской доблести польских патриотов, наша Родина трем из них присвоила высокое звание Героя Советского Союза. Двести сорок три солдата, унтер-офицера и офицера дивизии имени Костюшко были награждены боевыми орденами и медалями Союза ССР. Слава дотоле неизвестного белорусского села Ленино облетела весь мир. С тех пор оно навсегда вошло в историю Советских Вооруженных Сил и рожденного в боях под Ленино Войска Польского, в летопись дружбы советского и польского народов как символ братства, скрепленного совместно пролитой кровью в борьбе против общего врага — германского фашизма.

Обо всем этом, вспоминая подробности давно отгремевших событий, дополняя один другого, мы и говорили в автобусе, мчавшемся к Дзержинску, с моим случайным попутчиком и соседом Петром Давыдовичем Горпинченко.

— А после войны вы бывали в Ленино? — спросил я.

— Да нет, знаете, все как-то времени не хватает,— смутился он. И тут же добавил: — Нынче же соберусь и непременно съезжу. Спишусь с бывшим командиром полка Иваном Евгеньевичем Линьковым, с капитаном запаса Николаем Александровичем Смирновым, с другими своими сослуживцами, вместе все и съездим.

Я заметил, что села им теперь не узнать — отстроилось, похорошело. Каждый год поклониться памяти павших героев туда приезжают многие ветераны войны — наши фронтовики и гости из Польской Народной Республики, официальные делегации, родные и близкие советских и польских воинов, сражавшихся на

тех рубежах, а также туристы и экскурсанты. Это их руками заложен там Парк вечной дружбы советского и польского народов.

Здесь стало добрым обычаем: кто бы ни приезжал в Ленино, откуда бы ни приехал, увозит с собой на память горсть священной земли этого мирного белорусского села. Я сам видел, как бережно заворачивал в носовой платок горсточку земли бывший ездовой артиллерийской батареи, колхозник из Рязани Прохор Матвеевич Пономарев. На старой солдатской гимнастерке среди других боевых наград была и медаль «За освобождение Варшавы». Как в целлофановом мешочке увозил горсть земли из села Ленино к себе в Белосток капрал запаса, столяр-краснодеревщик Анджей Клыш. Как участники мотопробега советско-польской дружбы набирали во фляги воду Мереи, чтобы там, в Польше, вылить ее в Вислу и Одер,— пусть не только земля, но и вода Белоруссии скрепляет навеки дружбу братских народов, рожденную в боях...

«Икарус» мчался по асфальтовой ленте автострады. До Дзержинска, куда ехал мой попутчик, оставалось всего несколько километров. Кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь? И я снова вспоминал Ленино, думал о твердом решении соседа навестить места былых боев, о горсточках земли в руках рязанского хлебороба, польского столяра-краснодеревщика... Горсть земли... Ее, конечно, возьмет с собой из Ленино и мой сосед. Что в ней такого особенного? Но если вспомнишь, что полита она не только потом хлебороба, но и кровью солдата, беззаветно сражавшегося за свое отечество, какой дорогой вдруг становится эта обычная горстка чернозема или суглинка.

А земля Ленино, я знаю, видела и кровь, и дружбу, и свет победы двух сражавшихся за свое отечество братских народов.



«С думой о великом Ленине, о городе, носящем его имя, советские войска 14 января с Приморского плацдарма, а 15-го с знаменитых Пулковских высот перешли в решительное наступление. Две ударные группировки устремились навстречу друг другу. Советским войскам пришлось прорывать мощное кольцо бетонных и железобетонных дотов врага. Точный артиллерийский огонь советских батарей, стремительный бросок пехоты при поддержке танков сделали свое дело — вражеская оборона была прорвана на всю глубину».

«Никогда ленинградцы не забудут день 27 января 1944 года. С захватывающей дух радостью слушали город и фронт по радио приказ Военного совета Ленинградского фронта: «Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады». Вечером в честь победы прогремел артиллерийский салют.

Закончилась девятисотдневная героическая ленинградская эпопея. Величественный город, где «каждый камень Ленина знает», где площади и улицы овеяны дыханием революции, был окончательно освобожден от блокады. Вся страна гордилась этой победой. Общей была борьба за Ленинград, и все делили по праву радость его полного освобождения».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 512, 513.

ИВАН
ВИНОГРАДОВ

ПРОЩАЙТЕ И ЖИВИТЕ, БАТАЛЬОНЫ...



Не знаю, бывает ли это на других встречах ветеранов, но у нас, на нынешнем традиционном сборе бывших саперов 325-го отдельного армейского инженерного батальона, председательствующий вдруг предложил:

— А теперь, друзья, давайте расскажем о своих самых важных и самых памятных событиях минувшего года. У кого что случилось, кто чего достиг.

И начали подниматься один за другим ветераны — пятидесятилетние, и шестидесятилетние, и даже такие, кому уже под семьдесят. Самый молодой среди нас, Борис Иванов, которого все помнили мальчишкой с гитарой, первым долгом сообщил в своем «отчете», что через шесть дней оформляется на пенсию. Правда, он — литейщик, для которого пенсионный возраст наступает в пятьдесят лет, но все-таки, как ни суди, пенсионер... Быстро, неправдоподобно быстро пролетели эти три десятка лет, сильно подвинувшие нас к старости... и в то же время словно бы не затронувшие нашей фронтовой молодости. Она все еще как будто бы продолжается, едва только соберемся мы вместе.

— Как демобилизовался после войны,— рассказывал дальше Борис Иванов,— сразу поступил на завод «Электроаппарат» заливщиком в литейный. Так с тех пор и работаю, можно сказать не выходя из цеха..

— А теперь-то что будешь делать? — спросили его.

— То же самое, в том же цехе,— отвечает Борис с той самой улыбкой, которую мы видели на его лице в сорок первом году в Ленинграде, когда поспешно, за неполных полтора месяца, проходили весь курс военных наук, и потом, под Гатчиной, когда впервые вступали в бой с врагом, и под Псковом в сорок четвертом, пока не был ранен.

В ленинградское ополчение Борис пришел вместе с отцом, Павлом Ивановичем, с войны вернулся один.

Теперь он и сам отец. Так же как и все мы, бывшие мальчишки и молодые мужчины сорок первого года.

Вслед за Борисом поднялась Галина Дубовицкая, уже три года как бабушка, но для нас все еще просто Галя, «сестренка», сандружинница третьей роты. Работящая, скромная, не умеющая быть слишком заметной, она и сегодня отделывается двумя короткими фразами:

— Переехала в новую двухкомнатную квартиру. Воспитываю внучку.

Почти столь же лаконично рассказал о прожитом годе Вильгельм Овчинников, бывший взводный, «золото ребенок», как называл его, помнится, парторг роты. Вот что он «доложил»:

— У меня в этом году ничего не было. Работал в своем механическом. Получил медаль «За доблестный труд».

Немногим раньше отчитался комсорг батальона Матвей Якерсон; он защитил диссертацию, стал кандидатом исторических наук, преподает в Ленинградском институте культуры. Санинструктор и разведчица Саша Днепровская сказала, что завтра идет фотографироваться для нового партбилета; свой первый партийный билет она получила на фронте. Химинструктор батальона Аркадий Болотников поделился общей радостью своего коллектива — начато строительство нового учебно-производственного комплекса ПТУ, в котором он уже много лет подряд готовит рабочую смену для завода «Светлана». Двое из наших фронтовых товарищей вышли на пенсию, двоё тяжело переболели в прошлом году — и с этим тоже ничего не поделаешь.

Но были и другие доклады.

Военфельдшер Ольга Иванова:

— Работаю диспетчером Первого стройтреста. Не болею. Медицинской карточки в поликлинике на меня еще не заведено.

Старшина роты Георгий Гулевский:

— Мне шестьдесят четыре года. Сорок два из них, с небольшой отлучкой на войну, работаю в Ленинградском лесном порту, на границе двух миров.

Командир взвода Владимир Федоров:

— Всю жизнь работал гидрологом. Куйбышевская, Цимлянская, строящаяся Колымская — во всех этих гидростанциях есть и частица моего труда. Сейчас не работаю, но имею «Москвич-407», а вы знаете, что это такое. В своей партийной организации я избран заместителем секретаря...

Подходит очередь и самого председательствующего — заместителя командира батальона по строевой части Владимира Петровича Коробкина. Подобно Гулевскому, он тоже сорок два года работает в одной организации — «Ленпромстройпроекте». Проектирует заводы.

— В этом году наш территориальный институт закончил проект крупного промышленного объекта для Архангельской области — двух заводов, глиноземного и нефтеперерабатывающего. В качестве главного архитектора проекта я ездил недавно на защиту в Москву. Все прошло хорошо.

Заядлый охотник, Владимир Петрович не мог не сообщить и о том, что нынешней весной убил первого глухаря. Больше и не смог бы: трудно ходить стало.

— Через каждый километр приходилось останавливаться и растирать больную ногу...

Тут я невольно оторвался от своей записной книжки, в которую уже начал, по старой журналистской привычке, заносить «самоотчеты» своих однополчан. Оторвался, чтобы посмотреть на Коробкина. Он ли это? Мне еще не приходилось слышать, чтобы он на что-то жаловался. Я не слышал ни стона, ни жалобы, когда его, израненного, привезли на броневичке после подрыва моста через реку Ижору — когда мы отступали из-под Гатчины. В голодные годы ленинградской блокады он вдруг выходил на мороз в своей щегольской бекеше и хромовых сапогах и это как-то заставляло нас подтягиваться. Тогда это было необходимо.

Усталые и полуголодные, мы каждую ночь ходили на передний край — то минировать, то ставить бронеточки, отлитые на Ижорском заводе, то копать ходы сообщения, строить дзоты, оборудовать наблюдательные пункты. Не легко было даже просто держаться на ногах.

Потом мы ходили на тот же передний край летом сорок второго, и опять зимой, и еще раз летом.

Потом мы отправились в свой долгий и трудный путь от Ленинграда...

Наверное, можно было удивиться, что Коробкин нечаянно и непривычно пожаловался. Но вот уж не стоило дивиться тому, что болит у него нога. Было от чего появиться непроходящей, неотступной боли в наших ногах и в наших сердцах. Боли и гордости. Стоит лишь оглянуться...

Поэзия этих дней

25.I.44. Третьи сутки на льду реки Тосно. Взяты Пушкин, Павловск (24).
26—28.I. Московское шоссе. Саблино. Мост.
30—31. Вырица — Красницы. Болото. Гать. Двое суток без отдыха. На руках вытаскивали орудия.
1 февр. Мост в Межно.
2 февр. Ст. Сиверская. Здесь рассказывают немецкую прибаутку:

Руссиш артиллерий — гут!
Айн, цвай, драй — капут!

Выступили в район Кемска. Построена переправа в Кузнецово...

Так я записывал в своей крошечной, одетой в защитный переплет книжечке, приобретенной как-то в Военторге. Она вмещала только такие вот краткие заметки. Я держал ее в кармане гим-

настерки рядом с документами и, как только мы входили в новую деревню или начинали строить новую переправу, немедленно доставал и записывал. Она всегда бывала теплая, и ее приятно было подержать в руке.

Но тут же я прятал свою книжицу обратно, «в тепло». Я очень экономил чистые листки, реалистически настроившись на длительное отставание Военторга, а кроме того, мне уже тогда, наверное, слышалась какая-то особая, пусть еще не вполне осознанная поэзия названий освобожденных деревень. Все мои записи первых недель наступления состоят почти только из одних наименований. Я их копил, как скряга. Записывал и торопливо прятал.

Было еще и холодно, быстро замерзали руки.

Не очень-то много выпадало и свободных минут: все время приходилось что-то срочно делать, куда-то спешить.

Наконец, трудно было подобрать и соответствующее, подходящее слово. Слова вчерашние, привычные и пригодные в обороне, здесь вроде бы уже не годились. Когда начинается большое наступление, то все прежнее, бывшее до него, резко отодвигается назад, в прошлое, становится как бы несовременным, устаревшим. Только сегодняшнее значительно. Только оно настоящее... А все сегодняшнее быстро меняется: не успеешь назвать его, как впереди уже новое. Сегодня Вырица, завтра Красницы...

Может, о наступлении лучше было бы говорить стихами. Но и они, со своим ритмичным, рифмованным благозвучием, не всегда уместны, потому что наступление — это не ритмичный размеренный шаг, а, скорее, натужная пульсация. Трудная работа огромного, не слишком пластичного организма с неровно бьющимся сердцем. Удар... еще удар... еще... И остановка... Потом наполнение, и новый удар. А в промежутках между ударами — движение потока. На военном языке это называется преследованием.

Батальоны и роты свертываются в колонны и топают себе по дорогам и бездорожью, по большакам и проселкам, напрямую и в обход, напропалую и с осторожностью, через взрывы мин на обочинах и по черным пятнам разрывов на полях. Идут чаще с кряхтеньем, чем с песнями, потому что надо не только идти, но и тащить на себе все, что необходимо для неизбежного впереди нового боя.

Наши маршруты пролегали чаще всего в стороне от оси наступления и были нелегкими. Особенно же трудным оказался путь на Лугу. Мы сопровождали шедший в обход, по лесным дорогам, стрелковый корпус, проще говоря, «проталкивали» нескончаемые колонны машин и техники через непроезжие места. Где-то мы настилали гать, где-то строили мосты и расчищали дороги от

снега, а где-то и на руках переносили через дымящуюся зимнюю грязь груженые автомашины, пушки, камуфлированные штабные фургоны вместе с пребывающими в них девчонками-радистками.

— И-эх, да пронесем!

Работа была нечеловеческая, скорее, лошадиная, но никакого выбора ни у нас, ни у нашего строгого начальства просто не оставалось. Нас еще и беспрерывно подгоняли, возлагая на саперов всю ответственность за своевременный выход корпуса к Луге. В этом была известная логика. Корпус теперь не может ходить без дорог.

Отдыхали мы урывками, буквально час-два, прямо у дороги или около переправы. Разводили костер. Наверное, это было красиво — костер в зимнем лесу, но вряд ли кто-нибудь успевал воспринять сию красоту. Едва закипит на костре вода, едва запьешь горячим чаем промерзший, с лунными блестками хлеб и консервы, как тебя уже клонит, валит на хвойную подстилку. Вокруг и над тобой что-то летает, что-то витает... но ты уже далеко. Тебя уже просто нет. Тебе даже некогда позаботиться о себе. Ты еще успеешь подумать, что может подгореть полушубок на спине или отмерзнуть нос, однако что-либо предпринимать ты уже не в силах.

Впрочем, поднимались, не успев ни подгореть, ни отморозить носа, только застывала какая-то смазка в суставах, и в первые минуты люди двигались так, будто разучились ходить — не то живые, не то законсервированные. Костер давно потух. На дороге пробка.

— Двигайтесь, двигайтесь, саперики! Дома отдохнем.

И опять — до темноты в глазах.

На переправах беспрерывное «давай — давай!», на дорогах — «еще разик, еще раз!»

Вот и все наши песни тех дней.

Ну и, разумеется, вот эти:

Кузнецово —
Ящера —
Канск —
Верест —
Старица...

Не знаю, как все это звучит для других, но для меня песенно. И чем дальше идешь, тем веселее поется:

Старица —
Вяз —
Муравейно —
Красные горы...

Дороги, дороги...

В лесах мы шли словно бы по первопутку, но очень глубокому, труднопроходимому. Наступление, начинавшееся как праздник, становилось привычным... и утомительным. Потому что изо дня в день дороги, мосты, гати, колонные пути. Некогда разогнуть спину.

Каждый день происходили какие-то события, но далеко не все запоминалось. Только неожиданное... Вот проскользил по белому лесу весь белый, в маскировочных халатах, лыжный батальон и где-то впереди, совсем близко вступил в бой. А мы думали, что гитлеровцы далеко... Вот встретился в глухой чащобе, вдали от деревень, мальчонка с торбочкой через плечо, удивительно самостоятельный, рассудительный, скорей всего от партизан. Степенно поговорил с солдатами и ушел по какой-то боковой тропке... Попался старый партизанский лесной завал. Зацепили кошкой, потянули — взрыв! Слабенький, но все-таки взрыв... А в конце этого дня — 4 февраля 1944 года — первая ночевка в живой, несожженной (благодарение партизанам!) деревне Старице.

Приветливые люди, горячая картошка, доброе избяное тепло, доверительный, в самое ухо, шепот соломы на полу — все это было прекрасно! Как привет из детства...

Чем ближе река Луга, тем сильнее сопротивление врага. Все больше раненых. Все чаще появляются над дорогой гитлеровские самолеты.

Первая большая бомбежка — в деревне Вяз. Немцы успели прилететь дважды и при втором налете попали в большой дом, где расположился медсанбат. Девчонки в белых халатах вытаскивали из развалин и пожара изувеченных людей, закутывали их, окровавленных, в одеяла и оставляли на лютом морозе, спеша за другими.

Вражеские летчики сделали еще один заход и с каким-то удовольствием постреляли по девчонкам и по носилкам из крупнокалиберных пулеметов, в которых каждая пуля — как снаряд, потому что предназначена пробивать броню. Они стреляли почти с бреющего полета, так что хорошо видели тех, в кого стреляли.

А на земле — огонь, крики. Кровь на носилках и на белых халатах. И после всего — черное развороченное пепелище. Медсанбат опять где-то устраивается.

Еще помнится бомбежка в лесу, где саперы заготавливали бревна для переправы.

В лесу почему-то невольно жмешься к деревьям — как к старшим или как к более надежным, полагаясь на их прочность. В лесу вообще возникает иллюзия несколько большей защищен-

ности и неуязвимости. Тебя здесь не видят, а значит, могут и не попасть. Лес-то большой...

Но если ты осмелишься посмотреть вверх, на летящие бомбы, они и здесь падают, как в поле, прямо тебе в переносье. Так же медленно, долго, постепенно увеличиваясь в размерах. И ты также томишься ожиданием конца ее полета, ждешь каждой клеткой своего существа, когда же она ударит, рванет, колыхнет землю, вырвет изрядный кусок тела земли... и снова не тронет тебя.

Она и в самом деле падает несколько в стороне, ломает там дерево, распространяет вонь взрывчатки, немного подбрасывает тебя, немного глушит... но оставляет живым. Другая падает еще дальше.

Вот так и выживаешь на войне. Между двумя бомбами. Между двумя пулеметными очередями. Между вчерашним и завтрашним днем.

Кончилась бомбежка, и в лесу возобновляется работа: миролюбиво хрипят пилы, постукивают топоры, переговариваются люди. Подготовленные бревна скатывают с берега на лед и укладывают в ряд, одно к другому, словно складируют или играют в какую-то строительную игру. Сплошной настил из бревен присыпают по ходу дела снегом. Потом его зальют водой, приморозят ко льду реки — вот вам и переправа. Для разового употребления ее достаточно. Шагай себе, корпус, дальше, со всем своим «движимым» имуществом!

Луга

Мы входили в нее со стороны военного городка в ночь на 13 февраля. Она горела и взрывалась. Взрывались оставленные врагом мины замедленного действия — чаще всего в каменных домах, и саперам сразу пришлось начинать проверку этих домов — проверку на мины.

В центре города было как-то пустынно, черно и дымно от догорающих в разных местах пожаров. На одном перекрестке, там, где полагалось бы стоять регулировщице, теснились несколько перепуганных и пока что никому не нужных немцев. Они старательно отдавали честь нашим офицерам, солдатам, машинам и особенно танкам. Они исполняли это не просто по выработанной привычке, а именно со старанием, даже с подчеркнутым старанием служак, желающих обратить на себя внимание начальства. Они делали это так, как будто их специально для того и поставили на перекресток — отдавать честь победителям... При большом желании они, пожалуй, могли бы еще скрыться, удрать, пользуясь ночным временем, всеобщей занятостью победителей и несколько суматошной возбужденно-

стью вступающих в город войск. Наши наверняка удрали бы. Но немцы даже не пытались. Они не зря принадлежали к «самой разумной нации» и вот рассудили, что для них самое главное теперь, надежное — подождать здесь, на виду, пока кто-нибудь найдет время взять их в плен...

А саперы между тем уже прослушивали стены оставшихся зданий военного городка и северо-западной окраины Луги — искали мины замедленного действия (МЗД).

Это самая жуткая саперная работа. Входя в дом, ты никогда не знаешь, заминирован он или нет. Если заминирован, ты никогда не можешь знать, на какой час поставлен механизм взрыва.

Опасно ходить по дому, пока ничего не знаешь и ничего не слышишь. Но когда услышишь тиканье невидимых часов и начинаешь думать: где же она? И еще острее о том — когда же она? Может быть, как раз в тот момент, когда ты спускаешься в подвал, а может, и в тот радостно-тревожный миг, когда ты протянул руку к обнаруженной мине, чтобы извлечь из нее этот проклятый «тик... тик... тик...».

Каждая секунда здесь как бы предпоследняя в жизни.

Бежать без оглядки и как можно дальше от этого дома хочется саперу.

Но саперу надо оставаться в доме и все время идти на сближение с этими часами и с детонатором. Подбираться к ним с опаской, с осторожностью и с невольным поспешанием. Как можно меньше думать о взрыве... о котором не думать невозможно. Сапер, долго проработавший на таком разминировании, слышит потом тиканье часового механизма в каждом доме. Не может спать при ходиках. Особенно в каменных домах.

Правда, каменных домов в Луге оставалось немного, и нашим саперам не пришлось тут долго задерживаться. Две роты сразу ушли на дорогу, третья отправилась вслед за ними.

На пути в Серебрянку нас догнал приказ Верховного главнокомандующего по случаю освобождения Луги. Среди отличившихся войск в нем были названы и саперы майора Кульвинского. Тут же, у дороги, мы провели коротенький митинг, и кажется, у всех было такое ощущение, что это его лично поздравил и поблагодарил сам Сталин. И как же после всего этого возвысился, даже в наших собственных глазах, весь изнурительный, но вроде бы негероический труд на дорогах и мостах-переправах, все наши мозоли и ссадины и даже самые небольшие ранения, полученные в этом походе!

Каждый поход памятен сначала трудностями и ранами, затем похвалой и наградой.

Пришла вскоре и награда: батальону было присвоено наименование Лужского.

Луга — городок не такой уж большой и не слишком прославленный, если не считать, что его как-то упомянул в одном своем шутейном стихотворении великий Пушкин: «Есть на свете город Луга, Петербургского округа...» Не велик и не славен, если забыть, как самоотверженно встал он на пути немцев в сорок первом году, встал и лег под ноги врага, и задержал его, и прикрыл собою своего могущественного и многославного брата — Ленинград, отвел от него первый быстрый удар. Кто знает, каким бы он получился тот удар с ходу по Ленинграду.

Не велик и не очень-то славен городок Луга.

Наверно, и наши труды по его освобождению были скромнее, чем те, что выпали на долю войск, освобождавших более крупные города. И переправа через реку Лугу в районе дома отдыха Муравейно конечно же не идет ни в какое сравнение, скажем, с днепровской или волжской переправой. Но ведь как нет России без Волги, так нет России без Луги.

И у нас уже «собственная гордость».

Мы — лужские, мы все одолеем! — как-то само собой перефразировалось знаменитое суворовское изречение: «Мы — русские, мы все одолеем!»

И с тем пошли наши роты дальше. Сразу после митинга. Как стояли в строю, так и пошли, только повернулись налево. Впереди была деревня. Перед этой деревней кто-то в нашем строю — кажется, сержант Зеленский,— затянул надорванно-простуженным хриплым голосом:

Дальневосточная,
Опора прочная...

Из всех довоенных строевых песен самой популярной у нас, да и не только у нас, была почему-то знаменитая «Дальневосточная». Ее все знали. Она легко поется.

— Родные вы наши, сынки дорогие! И как только бог привел вас сюда! — приговаривали старики, вытирая глаза.

А на дороге продолжалась хрипловатая, совсем не звонкая, как обычно пишется о солдатских песнях, знаменитая «Дальневосточная»:

Прицелом точным
Врага в упор,
Дальневосточная,
Даешь отпор!
Краснознаменная,
Смелее в бой,
Смелее в бой!

И никому не заметно было, что эти люди прошли по дорогам наступления уже двести километров — и не просто прошли, а расчистили эти дороги, проложили колонные пути, построили мно-

жество мелких мостов. И что за весь этот месяц они не имели ни одной полной ночи на отдых, а теперь им еще и хлеба не подвезли (а без хлеба каково работать!). И что после каждой бомбежки, после каждого обстрела все меньше остается работников и больше возникает работы. А впереди еще столько дорог!

Никому это со стороны не заметно.

Никому здесь не ведомо и то, кто из нас дойдет, а кто не дойдет до конца военной дороги. Ясно только одно: надо идти дальше. И пока мы будем живы — будем идти, шагать, строить, чистить дороги и очищать землю. Живое думает о живом...

Стояла над рекой изба...

Никогда не думал, что между Ленинградом и Псковом так много рек. Не успевали мы построить кое-какой мостишко через одну, как впереди оказывалась новая. И оттуда уже летели по дорогам и бездорожью требования: «Давайте саперов! Нужны саперы! Присылайте саперов».

Мы не думали и не замечали, сколько рек на нашей земле, а вот немцы отметили своим разрушительным вниманием каждую из них.

Любой мост — бетонный ли, деревянный ли, даже самая неприметная труба, пролегающая под дорогой нашего наступления,— все было основательно, пунктуально взорвано. Ни одного пропуска, ни единой осечки.

Мосты взрывали вражеские саперы. Но доставалось теперь за это нам:

— Вечно эти инженеры не успевают! Интел-лигенция!

И вот «интеллигенция» вкалывала не разгибая спины. Не успевая как следует пообедать. Хронически недосыпая уже второй месяц. Изворачиваясь, как самый пройдошистый снабженец, чтобы найти лесоматериал.

Помню одну небольшую речонку в той части Псковщины, где нет лесов и не осталось деревень. Впереди за рекой дорога вздымалась на взгорье, и на нем стояла даже изба с оголенными ребрами стропил, а здесь, в ложбине,— разметанный взрывом мост, торчащие пальцы свай надо льдом и катастрофически нарастающая колонна машин на перебитой дороге. Вокруг — голое поле с темными заплатками весенних проталин. День был ясный. Колонна нарастала и роптала: «Вот прилетят немцы...»

Командир роты капитан Степанов, перейдя речку по льду, быстрыми шагами направился к единственной уцелевшей избушке на взгорье. У нас тогда было разрешение разбирать, в случае необходимости, любые постройки для наших мостов. Полагалось только выдать расписку, по которой Советская власть

должна была потом рассчитаться с хозяином — дать лес и помочь в строительстве.

Степанов за тем и шел, чтобы выдать такую расписку.

Вместе с ним — и я.

Изба оказалась битком набитой ребятишками и женщинами: одна ведь осталась из всей бывшей деревни! Люди уже как-то пообжились в ней. Несколько женщин покладисто, без ругани хозяйничали у топившейся русской печи, другие сидели, как в гостях, по лавкам вдоль стен. По полу ходили, ползали, бегали ребятишки разных возрастов, кое-как одетые и кое-как умытые. Было тесно и душно. В то же время в избе чувствовалась какая-то праздничность, будто здесь собралась вся большая родня по радостному случаю.

У этих людей не осталось ничего: ни жилья, ни хлеба, ни скота, ни семян к наступающей весне, но они не унывали.

— Теперь-то что-о! — услышали мы, входя в избу.— Советская власть поможет...

А Советская власть в образе изнуренного капитана-сапера сама пришла к ним за помощью. Точнее сказать, за жертвой. Советской власти нужна была эта последняя уцелевшая от вражеского огня изба.

До зарезу нужен был мост через реку — и Советской власти и в конечном итоге всему человечеству.

Капитан Степанов, как мог, высказал это и приготовился писать расписку.

Но тут заголосила пожилая, с темным лицом женщина. К ней подбежали — чтобы вместе плакать — сразу двое ребятишек. Середина пола очистилась, и на нее вышел хозяин.

— Сами видите, товарищи командиры, не моя она, общая, изба-то.

Запросили слезно женщины:

— Оставьте... От немцев же уцелела!..

Последние слова особенно больно ударили представителя власти. Он резко повернулся и вышел. За ним поспешил и я. Нас провожала какая-то задохнувшаяся тишина.

По дороге Степанов вслух прикидывал, из чего же будем строить мост. Ну, кое-что осталось от старого. Ну, привезет что-то наша полуторка, отправленная в дальний лесок... Потом вдруг вспомнил избу: «Не немец же я в конце-то концов!»

А у реки по-своему шумел военный народ.

К реке подошли танки.

Над нею косо, будто одноглазый, пролетел немецкий разведчик, явно обещая прислать кого-то еще.

И все шумел, все возмущался военный народ:

— Долго вы тут прохлаждаться будете, инженеры недоделанные?..

Да, у Степанова все-таки не было никакого другого выхода. В сотый раз проклиная свою саперную долю, он опять поплелся на взгорье, на свою неожиданную голгофу. Теперь он вел с собой и отделение саперов с топорами. И еще шел туда генерал, очень лихо ругавший Степанова...

Когда эта процессия поднялась на бугор, из избы выходили уже одетые женщины с ребятишками. Хозяин приставлял лестницу, чтобы лезть на крышу.

— Стропилины вам не понадобятся, а мне потом всякая палка пригодится...

Женщины расходились по своим пепелищам и где-то там исчезали.

— У них там у кого окопчик, у кого что,— пояснил нам хозяин.— Мы давно гореть приготовились. Я вон и солому снял с крыши — потому и не сгорела избенка...

Не прошло и часа, как избы не стало. Из ее обжитых, с вырубленными чашками и остатками жилого мха бревен саперы сколотили грубый временный мост. По нему осторожно, ощупывая настил гусеницами, прошли и понеслись дальше по дороге на Псков белые, в пятнах, танки, проковыляли вразвалочку тяжело груженные автомашины с прицепленными пушками, потащились медленно невоенного вида дровни и санки. Уехали на своей полуторке и саперы, которых ругали уже где-то впереди, на берегах других рек.

На взгорье, плоском теперь и неприметном, хозяин и хозяйка собирали в одно место все то, что осталось от избы: стропила, двери, дощечки, оконные рамы. Все, что не сгодилось для войны, но должно пригодиться потом, в мирной жизни.

Усики

По силе впечатлений и сознанию личной ответственности за успех операции день переправы через реку Многа (31 марта 1944 года) стал для меня чуть ли не главным днем войны. Я в общем-то немного горжусь собой тогдашним и поэтому не буду описывать все подробно, чтобы не заговорить о себе в каких-нибудь возвышенных тонах. Скажу только, что мост был построен и танки по нему прошли без всяких происшествий, а затем потянулись и всякие другие машины — «санитарки», полевые автокухни, машины со снарядами и машины с пушками на прицепе.

Во второй половине дня на переправу пришли наши майоры — комбат Кульвинский и его замполит Несучкин. Посмотрели работу, узнали о наших немалых потерях, потом комбат решил навестить еще и 2-ю роту, которая ушла вперед вместе с танками.

Почему-то он решил взять с собой и меня.

— Оставь на переправе Кулагина (это командир взвода), а тебе надо прогуляться,— сказал он.

Мы «прогулялись» до деревни Анисимово, где нашли наших саперов лежащими на земле. Танки пока что стояли, а по саперам почти беспрерывно бил вражеский крупнокалиберный пулемет. Нам с комбатом ничего не оставалось, как спрятаться за самоходку и, так сказать, перекурить. Лейтенант Васильев возбужденно, как это всегда бывает в бою, в момент опасности, рассказывал об отличившихся и погибших, о сопротивлении немцев и сложности обстановки. Танкисты потеряли много машин. В трудные минуты наши саперы показали себя прекрасными товарищами. Сержант Щетинкин, находившийся внутри танка, сумел заменить раненого стрелка, а когда машину подбили и ранило командира танка, Щетинкин вытащил его через люк и вынес из боя.

Тыловик Андреев (из электровзвода), посланный в роту в связи с большими потерями, тоже хорошо помог танкистам. Он шел с первой машиной. Когда в нее попал снаряд, все трое танкистов были ранены. Андреев вытащил их из танка, перевязал и не подпустил к ним гитлеровцев, пока не подошла наша пехота...

— Ты запиши-ка все это,— приказал мне комбат.

И я стал записывать, и все это очень пригодилось впоследствии, когда настало время оформлять наградные листы.

Потом мы отправились обратно. Выползли из-под огня и пошли в рост. Вошли в небольшую кочковатую лощинку. И тут остановились буквально как вкопанные.

— Усики! — показал комбат пальцем на ближайшую кочку.

— Усики,— повторил я.

«Кочки» на этой лощинке были вытаявшими из-под снега известными немецкими минами «S», или, как мы называли их, «прыгающими». Мы оказались почти что на минном поле, которое тянулось в обе стороны от нас в несколько рядов. Наступавшие здесь пехотинцы счастливо миновали поле — может быть, вовремя заметили и обошли,— а мы, саперы, чуть было не стали первыми жертвами.

— Ну что ж, придется поработать,— сказал комбат, обводя поле глазами, как бы подсчитывая мины.

Ни мне, ни комбату, как я определил по схожести наших реакций, интонаций, шевелений и приглядываний, снимать такие мины собственными руками еще не приходилось.

Устройство мины мы, конечно, знали: под Ленинградом разведчики принесли ее как-то в штаб, превратили в учебную, и мы там могли сколько угодно разбирать и собирать ее, катать в пальцах гладкие шрапнельные шарики.

Мина состояла из большого металлического стакана, примерно литровой емкости, на дне его лежал шелковый бублик с порохом, то есть пороховой заряд, а над ним располагался еще один металлический цилиндр, начиненный этими гладкими шариками,— настоящая шрапнельная граната. Венчалось все сооружение стальными усиками взрывателя, изящно отогнутыми в стороны. Наступишь на один из них или как-нибудь неосторожно заденешь — сработает взрыватель, уходящий стержнем своим к чистенькому и приятному на ощупь шелковому мешочку с порохом, заряд воспламенится и мгновенно выбросит вверх гранату с шариками, как бы выстрелит ею. Взлетев над землей до уровня человеческой груди, граната взорвется и разбросает вокруг себя три сотни убойных шариков...

Любая здешняя мина «S» в любой момент могла совершить весь этот недолгий цикл и в нашем присутствии, случись нам надавить при разминировании хотя бы на один усик. Ни наша принадлежность к саперному племени, ни даже начальственное положение комбата нас бы не спасло. Только бы еще раз подтвердилась известная поговорка о сапере и его единственной ошибке.

Конечно, мы могли бы дойти до нашей переправы и прислать сюда людей поопытнее, но там, кроме дежурной команды, все отдыхали, да и не так-то много осталось у нас саперов! Наконец, наша репутация, наш престиж...

Мы склонились каждый над своей ближней миной, хотя правильнее было бы разойтись в стороны и работать на безопасном друг от друга расстоянии. Я взялся пальцами за стерженек взрывателя, у самого основания усиков.

В это же время не так далеко от нас разорвался немецкий снаряд, поблизости от нас шлепнулись два или три осколка. В осколках, возможно, тоже таилась какая-то опасность, но об этом тогда почти не думалось. Всеми моими чувствами и вниманием завладел этот холодный металлический стерженек толщиной с автоматическую ручку. Он должен был повернуться — и не поворачивался.

— Куда только складывать будем эти взрыватели? — говорил за моей спиной более удачливый комбат; он вообще был житейски удачливым человеком и потому во всяком деле — более уверенным.

— Найдем что-нибудь! — отвечал я. И не мог больше миндальничать с этим проклятым взрывателем, который даже успел согреться в моих пальцах, а все не вывинчивался. Я взялся за него как следует.

И он поддался!

Затем было нестерпимо долгое, с ожиданием какого-нибудь сюрприза, вывинчивание. Мы очень хорошо знали коварные при-

емы вражеских саперов: и двойные взрыватели, и скрытые оттяжки, и установка мин на полную неизвлекаемость... Штырек взрывателя вывинчивался так долго, как будто уходил в самые земные недра.

Но, слава богу, все на свете кончается. Кончилась и резьба на взрывателе, и он, холодный, рогатенький, покорившийся, легко выдвинулся из черного, напрямую соединенного со смертью отверстия. Он был в моей руке, в которой, кстати сказать, тут же появилось превосходное ощущение опыта и уверенности.

— Сейчас я принесу немецкие каски,— сказал я комбату и почти рысцой побежал к этим каскам, которые валялись неподалеку.

— Под ноги гляди! — крикнул комбат.

Но теперь я, кажется, во всем был опытен, ловок и сноровист. Я принес две каски, держа их за ремешки,— и это была отличная тара для взрывателей.

Гитлеровцы, словно подозревая, чем мы тут занимаемся, все время постреливали и постреливали. Однако близких разрывов не было, и мы на них не обращали внимания. Куда опасней было наше азартное, увлеченное поспешание. Взрыватели вывинчивались теперь почти с легкостью, и это уже начинало походить на забаву, притупляя осторожность. И сильно потеряли чувствительность подзамерзшие от железа руки.

Но все обошлось благополучно; на войне это бывает тоже. Мы принесли с собой на переправу 83 взрывателя — полные две каски. Мы несли каски за ремешки, словно корзинки с грибами. Поставили их в нашей ротной землянке в угол у двери... и даже не похвастались. Ведь для всех наших саперов такое дело было слишком обыденным и не новым. А я, может, и помню о нем до сих пор только потому, что тогда не похвастал...

Встреча на ниве

На севере Псковщины за какой-то неприметной, вросшей в землю деревенькой увидел я женщин, впрягшихся в плуг. Их было человек пять в упряжке и одна — за ручками плуга. Они шли по серому весеннему полю, вдоль узенькой полоски вспаханной земли, молча и медленно, с какой-то унылой заведенностью. Вокруг в полях было пустынно и тихо, только жаворонки весело сверлили в разных местах серебром звучащее небо. И еще мне почудилось, когда я увидел эту печальную упряжку, что явственно слышу хруст земли и шорох тяжело переворачиваемых пластов ее.

За войну я привык к общению с любыми людьми, давно уже не стеснялся заговаривать с незнакомыми, но тут мне захоте-

лось пройти незамеченным. Я даже прибавил шагу, как невольно делаешь это на дороге под обстрелом.

Но меня заметили и окликнули:

— Эй, военный, нет ли закурить?

Я торопливо, застигнуто отозвался: «Есть, есть, конечно!» — и свернул с дороги на поле, немного довольный уже тем, что смогу хоть табаком угостить героических работяг.

Закурила только одна — та, что окликнула меня,— молодуха лет тридцати, ходившая в упряжке «коренной». Довольно умело свернула она самокрутку, затянулась разок-другой, потом без всякого стеснения растерла рукой, как видно, заболевшую от веревки левую грудь и принялась рассматривать меня с нескрываемым, чуть озорным любопытством. Глаза у нее были веселые.

— Значит, так и воюем? — спросила она.

— Когда воюем, когда марширует,— отвечал я, стараясь быть объективным и не задираться понапрасну; молодушка была явно языкастой.

— А мы вот весеннюю посевную на бабах разворачиваем. Аж пыль коромыслом! — Она лихо ударила рукой по колену, как будто замахнулась плясать «цыганочку».

— Лошадей, значит, не осталось?

— А вы много оставляли, когда уходили?

— Всякое бывало...

Остальные женщины, воспользовавшись передышкой, сели на землю, обвили худые колени свои старыми, все какого-то неопределенного серого цвета юбками, стали прислушиваться к разговору: авось что-нибудь интересное скажет военный! А у военного, как на грех, не было никаких интересных и веселых новостей. Весенняя распутица повсюду приостановила наше наступление.

Несколько отличалась от всех девушка-плугарь, которая продолжала стоять у плуга, держась за его ручки. Она была понарядней других — в белой кофточке из пупырчатого, будто продрогшего на ветру, парашютного шелка, в синей, вроде как из военной диагонали, юбке, а на голове — хотя и линялая, но все-таки еще голубоватая косынка, повязанная «по-рабочекрестьянски».

До войны девушка могла быть счетоводом или учетчицей, а может, и теперь исполняла «по совместительству» какую-нибудь полуруководящую должность в возрождавшемся колхозе. Во всяком случае, когда «коренная» стала очень уж наседать на «нонешних мужиков, которые налегке по дорогам маршируют», девушка остановила ее:

— Не дури, Маньк! Дали тебе покурить — дыми да помалкивай. А то я перекур твой быстро прекращу.

— Без меня, Тонюшка, не уедешь! — уверенно усмехнулась «коренная».

И опять пригляделась ко мне, готовясь сказать что-то задиристое.

А я тут задал, наверное, самый глупый вопрос, какой только можно было придумать на этом печальном поле.

— Тяжело? — кивнул я на плуг.

— А ты попробуй, миленький! — Глаза у молодухи разгорелись совсем уже игриво и озорно.— Давай становись рядом.

— Ну что ж, давай! — Мне ничего больше не оставалось.

— И не выдумывайте! — решительно остановила нас девушка-плугарь руководящим голоском.— Еще чего не хватало: офицера Красной Армии — в лямку! Гитлеровцам на радость.

— Ты, Манька, уймись, не озоруй,— заговорили и другие женщины, поднимаясь зачем-то с земли.— Ты что, забыла, каким делом наши мужики сегодня занимаются? Хоть про своего-то вспомни.

— Забудешь тут с вами! — усмехнулась молодуха. И сразу как-то утихомирилась. Все стали вдруг серьезнее и печальнее.

— Давай поменяемся, Мань, и поехали! — предложила девушка-плугарь.

— Да я еще не заморилась,— отозвалась «коренная».

Но девушка бросила плуг и пошла к постромкам, чтобы занять место «коренной». На белой пупырчатой кофте ее я тоже увидел след лямки... Ни у кого тут не было привилегий!

Женщины стали разбирать постромки, мне надо было уходить. Но я все еще стоял зачем-то, в растерянности и неловкости, на этой жгучей земле. Казалось бы, не солдату во время войны стыдиться своей профессии, а мне было стыдно. Я не знал, как уйти, не знал, что сказать.

— Может, оставить табачку? — наконец догадался я спросить у бывшей «коренной».

— А что ж, не откажусь,— быстро согласилась она.

И протянула свою темную, залоснившуюся от веревки ладонь.

— Ты откуда родом-то, командир?.. Так что же ты молчал, землячок дорогой! Если бы я знала, что ты скобарь, так, может, по-другому бы и встретила... Да хватит, хватит сыпать-то, себе оставь. На войне табак, говорят, важнее хлеба... Ах, ты в Ленинграде был? Стал быть, знаешь, почем хлеб на земле...

Вот когда мы с ней по-настоящему, по-человечески разговорились! Но перекур уже кончился. Женщины стояли в борозде.

Я торопливо попрощался и быстро пошел к дороге, боясь оглянуться. Но ведь когда боишься — обязательно оглянешься.

И на дороге я действительно не выдержал — остановился и оглянулся...

Так все это и стоит у меня с тех пор перед глазами. Серое прошлогоднее жнивье, темная, с желтоватыми песчано-глинистыми подпалинами полоска вспаханной земли и шестеро женщин с плугом, медленно, трудно тянущих свою долю по грани серого и темного. Первой теперь шла девушка в белой кофте, сильно склонившаяся к земле, похожая на какую-то невиданную рабочую птицу.

Ленинград, от вокзала до вокзала

Иногда мне хочется рассказывать о войне все подряд — о каждом нашем передвижении, о каждом привале, о каждом человеке, едва только промелькнет в памяти или встретится в короткой бивуачной записи его имя, жест, излюбленное словечко. Все мне в такие минуты представляется интересным и значительным. Я готов тогда говорить или писать неуемно, памятью всех чувств и ощущений восстанавливая малейшие подробности и оттенки тогдашнего нашего бытия. Кажется, я мог бы заниматься этим целую жизнь. Но вот что время от времени меня останавливает: интересны ли, нужны ли эти мои писания другим людям? Мне-то интересны и дороги, а другим?

Спросить бы, узнать бы...

Но у кого?

«Другие» ведь и не знают, о чем я тут, горбясь над столом, пишу, о чем думаю. Они пока что ничего не могут сказать мне. Они нередко умеют хранить молчание и после того, как что-нибудь прочитают, и ты не вправе на них обижаться. Бывает, проходят годы, прежде чем что-то услышишь, да и то не всегда обрадуешься. Так что остается, как видно, единственное: снова — сердцем на стол и писать, писать, на что-то надеясь, вдохновляясь самим процессом воссоздания прожитого и пережитого...

О чем же теперь-то?

Пожалуй, о том, как, протопав три сотни верст по непролазным весенним дорогам из-под Пскова под Нарву, мы неожиданно сели потом на поезд и приехали в Ленинград, на Варшавский вокзал. Первое, что мы здесь увидели, было поврежденное снарядом перекрытие вокзала. Там, наверху, топорщились разорванные, исковерканные переплетения стальных ферм, однако пострадавшая от того же снаряда надпись «Ленинград» была уже восстановлена. Это сразу порадовало. Значит, ведутся восстановительные работы, и хорошо, что слово «Ленинград» выглядит совершенно неповрежденным.

У входа в город — милиция. На платформах довольно много людей в невоенной одежде, по-городскому спешащих куда-то, озабоченных уже мирными делами. Мы же — не горожане и не

селяне, а нигде не прописанные обитатели лесов и землянок, окопов и дорожных обочин — толпимся, топчемся на платформе, поджидаем, пока выйдут из вагонов остальные, и вроде бы не знаем, что делать дальше. Все как-то непривычно, все подзабылось. Переживаем ощущение этакой провинциальной растерянности.

Несколько бывших ополченцев, у которых еще остались в Ленинграде родные и близкие, волнуются и суетятся особенно. Они пытались различными путями сообщить домой о своем прибытии в город, назначили встречу на вокзале, но почему-то никто их не встречал. Что же это? Не случилось ли чего уже теперь, когда нет ни обстрелов, ни голода?.. Николай Николаевич Нечай, наш добрый и чувствительный доктор, горюет, и даже недавно отпущенные «полугвардейские» усы выражают уныние. Почему не встречают? Неужели не дошла телеграмма, посланная с дороги?

Но вот он весь просветленно преображается, бежит к «Выходу в город», кричит на бегу:

— Ма шери! Ма шери! Бонжур!

— Ах ты, француз ты этакий! — смеется кто-то.

А «француз» бежит навстречу жене легко, как юноша, и вот они там целуются, словно молодожены, — кружась и смеясь. Счастливые!

Рядом со мной, не то улыбаясь, не то хмурясь, идет по платформе комроты-3 Степан Тимофеевич Степанов, строитель мостов и комендант переправ, надежнейший в деле командир. Его должна была встретить Лида, но пока что ее не видать. Он вряд ли что-нибудь выскажет по этому поводу, но даже мне очень хочется, чтобы они встретились...

Вся история их знакомства и тихой спокойной любви прошла у нас на глазах. Батальон наш часто оказывался на колпинском участке обороны, и саперы после ночной работы возвращались обычно в колпинские подвалы или дома. В красном кирпичном доме на берегу Ижоры как-то встретились и познакомились наш Степан и Лида, девушка из Колпинской городской больницы. Потом они встречались всякий раз, когда 3-я, степановская рота приходила в Колпино. Так и шло.

В большое январское наступление 1944 года Степан уходил молодоженом, Лида осталась «солдаткой». Она переехала в Ленинград, к матери Степана, и сегодня должна была встретить его на вокзале. Однако судьба, до сих пор к ним благоволившая, что-то слегка перепутала. Мы должны уходить, а Лиды все нет.

— Оставайся здесь и жди, — советую я Степану. — Вот увидишь, она придет!

Степан продолжает шагать, раздумывая.

Потом соглашается.

Вместе с другим командиром роты мы строим у вокзала нашу небольшую колонну по четыре человека в ряд, и только трогаемся с места, как я откуда-то слышу:

— Иван Иванович!

Оглядываюсь — Лида Степанова!

Мы останавливаем строй, я бегу вместе с Лидой к тому месту, где оставил Степана, и вот они тоже теперь целуются, и мне тоже почему-то радостно...

Мы шагаем по городу. С тротуаров на нас посматривают прохожие. Но не останавливаются и уж конечно не выстраиваются шпалерами, как это было летом сорок первого года, когда нас провожали на фронт и наказывали возвращаться с победой. Теперь люди привыкли к проходящим по улицам ротам и батальонам в потрепанных шинельках, в латаных сапогах, с тощими «сидорами» за спиной.

А мне все-таки хочется, чтобы нас заметили. Ведь мы — это те же самые. Мы вернулись! Пусть еще не с окончательной победой, но крупной местной победой под Ленинградом. Вот они — мы! Не смотрите на наши подпаленные у костров, побитые осколками шинели, взгляните нам в глаза — может быть, скорее узнаете!

Но тут я вдруг понимаю, что в нынешнем нашем строю почти никого нет из тех, кто маршировал на фронт летом сорок первого года. В тылах батальона старые питерцы еще остались, а в ротах теперь все больше сибиряки, люди из-за Урала. Есть узбеки, татары, казахи, и все они весело называют себя ленинградцами, но нет бывших ополченцев. Тогда, летом, весь наш батальон был ленинградским — 521 человек по штатному расписанию (включая комбата), — а сегодня не в каждой роте найдется человек, могущий показать соседу-сибиряку Исаакиевский собор.

Вот что такое война...

Привал мы устроили как раз на ступенях Исаакиевского собора, под его блестящими, гладкими, кое-где пораненными колоннами. Я стал рассказывать солдатам о соборе — благо успел в свое время кое-что узнать от профессора архитектуры Николая Михайловича Осипова. Свой предмет он преподавал нам и таким методом: сажал группу в кузов грузовика и четыре часа возил по городу. Возле особо выдающихся или чем-то примечательных строений грузовик останавливался, и профессор говорил:

— Исаакиевский собор. Построен архитектором Монфераном и российскими мастеровыми в первой половине девятнадцатого века. Стоит на сваях, забитых в болотистый грунт, поскольку собственный вес собора огромен...

Рассказывая о дворцах и соборах, Николай Михайлович нескрываемо гордился их великолепием, гордился так, как если

бы они входили в его собственную сокровенную коллекцию, к которой не каждого допускают... Он и умер среди этого великолепного архитектурного собрания в голодную и холодную зиму сорок второго года. Я не знаю, где он похоронен. Может быть, этого не знают и его родственники. Но мне думается, что его помнят все ленинградские дворцы и соборы и все вместе хранят о нем память...

После Исаакия были Адмиралтейство, Зимний дворец, Эрмитаж, а на другом берегу Невы — Петропавловская крепость. О них я тоже что-то на ходу рассказывал своим молчаливо шагающим слушателям, перебегая от одной роты к другой. Во мне постепенно накапливалась какая-то нервическая приподнятость, но я не осуждал ее в себе и не хотел подавлять. Я чувствовал себя словно на любительской сцене, когда в зале сидят хорошо знающие тебя люди и надо очень стараться, чтобы удивить и порадовать их.

Помимо всего прочего я, пожалуй, еще и надеялся на чудо: вдруг меня кто-то окликнет с тротуара, как недавно окликнула Лида Степанова. Я знал, что этого не может быть, однако я знал теперь и то, что на войне случается и совсем невозможное. Почему бы ему не случиться теперь и здесь?

Мы шагаем по набережной вдоль Летнего сада — может быть, лучшей из набережных. Саперы идут совсем тихо и нарочно замедляют шаг. Многие видят Ленинград впервые и хотят как можно больше увидеть, впитать в себя, унести с собой... Некоторые видят его в последний раз в своей жизни — и тут уж сам Ленинград, его камни и воздух должны будут сохранить, впитать в себя промелькнувший облик каждого из этих простых, в сером сукне, людей. Простых и вечных...

Впереди — Литейный мост и за ним — Финляндский вокзал; нам приказано прибыть к военной платформе.

Мы, конечно, прибываем.

Солдаты начинают по-хозяйски располагаться. Когда двинемся дальше — пока неизвестно, а дело идет к ночлегу, так что надо насобирать дровишек, приготовить ужин, приглядеть место для отдыха. Только одно теперь совершенно ясно для нас: впереди — Карельский перешеек, линия Маннергейма, о которой столько слышано еще во время «зимней войны»! Бетонные доты, великолепная система предпольных укреплений и заграждений, минные поля и мины-сюрпризы, неизбежные колонные пути по лесам, переправы. Щебенка, летящая от валунов вперемежку с осколками. Кукушки-автоматчики на деревьях. Война опять! Знакомое кровавое дело...

Все это будет продолжаться, наверное, не день и не два.

А вот сегодняшнее, ленинградское, промелькнуло — и уже нет его.

Да и ничего, в сущности, не произошло. Просто протопал по городу какой-то невзрачный батальон далеко не полного состава и не слишком бравого вида. Прошел и ушел дальше, в темно-зеленые леса. И в новый бой. В пока еще не раскочегаренное, но уже готовящееся пекло.

Интересно ли это кому-нибудь?

Прощайте и живите, батальоны

После форсирования Вуокси война в Финляндии заметно пошла на убыль. Еще ничего не было опубликовано или сообщено насчет перемирия, но солдаты — и финские, и наши — явно что-то «унюхали» своим безошибочным чутьем, и боевая ожесточенность их постепенно проходила. А потом бои окончательно затихли. Солдаты той и другой стороны, разделенные рекой Вуокси, уже промышляли по части рыбешки и даже, как говорят, делились уловом, когда рыбалка бывала удачливой. Дело тут явно шло к миру, и, стало быть, надо было помаленьку привыкать к другой, добрососедской жизни.

Помнится, стояли тогда отличные солнечные дни, полные лесных ароматов, птичьего пения и оживающих довоенных воспоминаний. Надо всем царил и властвовал густой хвойно-смолистый дух, исходящий от полнокровных розовотелых сосен, распарившихся на солнце. Не сгоревшие в войне финские деревни и мызы были богаты хорошим жильем, к тому времени освобожденным от мин-сюрпризов. Словом, если все это перевести на практический солдатский язык, тут теперь можно было неплохо «позагорать». Даже в буквальном смысле.

А мне предстояло уйти. Уйти совсем из батальона, вне которого я уже не мыслил себя.

Казалось бы, я должен был радоваться. Меня брали в газету, а газета в моих представлениях связывалась с литературой, а сам я чуть ли не с детских лет непонятно и необъяснимо болел мечтою о писательстве. И вот она сбывалась или обещала сбыться, моя мечта. Но я искренне горевал. Почему-то жалел себя. И жаль было всего того, что оставалось теперь в батальоне, как бы уходя в невозвратное прошлое. И страшновато было перед неясным будущим, перед неизвестной работой...

Но прежде чем начать описывать новые встречи и впечатления, я должен сказать хотя бы несколько прощальных слов о родном батальоне.

Еще долгое время батальон «загорал» на Вуокси, исподволь разминируя местность и занимаясь боевой подготовкой. Потом Генштаб вспомнил об этой отдохнувшей от войны единице. На-

конец был получен приказ — в эшелон! — и покатили наши ребята через всю матушку-Россию, с севера на юг.

«Ехали,— рассказывал Сергей Новоселов, командир взвода инженерной разведки,— весело и лихо».

Приехали в Венгрию, и прямо в дело. Там наша чаша весов некоторое время опасно покачивалась то вверх, то вниз, все время требуя добавлений. Какой-то крупицей дополнительного веса легли на нее и наши саперы. Они ставили мины перед наступающими вражескими танками, потом делали проходы в минных и иных заграждениях — для наших войск.

Потом начался рейд подвижной группы по тылам противника. Саперам выпала честь или доля сопровождать эту дерзкую группу.

Был сделан прорыв фронта. Была нарушена система вражеской обороны и коммуникаций.

Смело и далеко зашли. Группу нащупала гитлеровская авиация, ее начали окружать и со всех сторон сдавливать. Скоротечно-победные бои превращались в изнурительные.

Пришлось возвращаться.

Но теперь это было труднее, чем прорваться в тыл врага. Когда подошли к линии фронта, наши войска пробили навстречу героям рейда неширокую горловину.

По обе стороны ее, чуть ли не стеной, стояли и стреляли танки, не позволяя врагу перекрыть горловину.

Так вышли и саперы.

Сергей Новоселов, участник этого рейда, вышел чуть живой от усталости, с пустым диском автомата и с тем единственным в пистолете патроном, который эгоистически оставляется в трудной обстановке «для себя».

Где-то там же на юге, вскоре после окончания войны, наш обескровленный и больше не нужный батальон, именовавшийся в то время 175-м Лужским инженерным, был расформирован. Знамя, как полагается в таких случаях, сдали на вечное хранение, личный состав передали в другие части, а кого надо — демобилизовали. Батальон прекратил свое существование. Вроде как умер.

Батальоны, полки, дивизии умирают нередко и после войны — как исполнившие свой долг.

Но что-то от них все же остается неумирающее — так же, как от людей, героически исполнивших свой долг.

Прогулка по Лесному порту

Мы с ним долго ходили по территории Лесного порта, вдыхая прекрасные запахи свежей древесины и близкого, растопленного солнцем моря. Справа и слева тянулись целые кварталы

леса — пиленого и круглого, сложенного в аккуратные стопы, связанного в пакеты, открытого ветрам и солнцу, — просыхающего до кондиционной транспортной влажности.

По переулкам и улочкам этого города то и дело пробегали быстрые голенастые портовые лесовозы с пакетами досок в своем подбрюшье.

Людей что-то не виделось, а пешеходов здесь было, кажется, всего только два — Георгий Борисович Гулевский и я, его гость. Не замечалось большого оживления и на причале, где два «иностранца» одновременно принимали в свои трюмы лес — «Сикстус» из Дании и «Шарлотта» из Гамбурга. Лишь негромко жужжали портальные краны, неспешно шевеля своими стрелами, без малейшей натуги поднимая и перенося пакеты досок из склада прямо на борт «иностранцев». Пограничник в жарком шерстяном мундире у сходней, двое портовых рабочих на складе, три-четыре бронзовотелых на каждом лесовозе — вот и все.

Тихо.

Ни громких голосов, ни команд «майна-вира».

Все делается как бы само собой, в несколько замедленном сомнамбулическом темпе.

И жара стоит такая неленинградская (30 градусов в тени!), что невольно думается о южных морях, о курортных причалах, об отдыхе, о легких бездумных странствиях...

— Чувствуется отпускное время и у вас,— с пониманием говорю я Гулевскому.

Он улыбается с некоторой хитринкой.

Бывший старшина и должен так улыбаться, поскольку известно, что все старшины — хитрецы и жохи. Наверное, не был исключением и наш Гулевский, старшина 2-й саперной роты, а сегодня — начальник 2-го участка Ленинградского лесного порта.

— Приезжали к нам как-то портовики из Югославии, — начинает он издалека. — Большая делегация была — человек двадцать с лишним. Так вот они тоже: «Вы это специально для нас такую тишину в порту создали?» Мы говорим — у нас всегда так. Они вежливо благодарят за что-то — и не верят. А дело тут простое — техника! Вручную-то почти ничего не делаем. Когда я пришел сюда, тут тысячи людей кишели — и все носаки, катали, грузчики. Теперь и слова эти мало кто помнит, а я как раз носаком и начинал...

Вопрос ясен, и мы идем дальше.

Но Георгий Борисович еще не раз припомнит что-нибудь из своего здешнего прошлого. Зайдет речь о военных или первых послевоенных годах, и он скажет: «Тут, где мы сейчас по бетону идем, одни сплошные воронки были. Стояли тут артиллеристы, стреляли, конечно, ну и их бомбили. Мы, когда начали восстанавливать все это, поработали и руками...»

— Какие аккуратные стопы досок, — замечу я по пути.

И тут же узнаю, что они — своеобразное здешнее новшество. Называется оно — безреечная стопа. А внедрял его наш товарищ старшина.

На мой взгляд, это гениальная придумка, хотя бы уже потому, что на редкость простая.

Раньше доски складывали в стопы так: ряд досок — поперечные покладки из реек — новый ряд досок. Теперь вместо дополнительных реек кладут поперек те же самые доски. Получается красивая квадратная стопа. Хорошо стоит. Отлично вентилируется. А итог внедрения таков: помимо большой экономии за счет упразднения реек порча досок при хранении в новой стопе сократилась с традиционных одиннадцати процентов до полпроцента.

Вот так старшина!

Теперь я смотрю уже не на доски, не на краны, не на острый солнечный блеск воды, зовущий в южные края, а на своего фронтового товарища. Он, как помнится, не кончал институтов и техникумов, а вот сумел-таки высмотреть, сообразить, внедрить столь удачную новинку. И ухитряется уже два десятка лет толково руководить огромным, густо механизированным участком одного из современнейших портов мира. Мне так и хочется его спросить: «Как же ты сумел, старшина? В смелости и сообразительности, если вспомнить военные годы, тебе не откажешь, но ведь тут кроме смелости требуется много чего другого». Да и возраст у Гулевского послепенсионный. «Стариков» теперь не очень-то почитают, особенно руководящих. Молодежь видит в них помеху для своего роста, а нередко и помеху в делах и прогрессе.

Конечно, об этом у человека не спросишь. Но я пытаюсь разузнать кое-что через других. И вот что узнаю.

Оказывается, несколько лет назад, когда Гулевский справлял свое шестидесятилетие и собирался на пенсию, начальник Лесного порта от своего имени и от имени коллектива попросил Георгия Борисовича пока что не уходить. И коллектив тоже поддержал эту просьбу. Значит, не трудно с ним работать.

Даже наоборот — легко.

— Он так знает это дело, что, сколько ни учись, не догонишь его, — сказал мне один из помощников Гулевского. — А потом он все время следит за новинками, много читает. С людьми очень умеет...

Мне вспомнилось коротенькое совещание — летучка в середине дня, на котором невольно пришлось присутствовать. Докладывал главный диспетчер.

Не все было в тот момент благополучно и розово на участке. Кто-то не дал буксира. Где-то не хватало рабочих — об этом

сказала и настоятельно повторила единственная на совещании женщина. Наконец, что-то загорелось во время ремонтных работ на датчанине «Сикстусе», а завтра в 16.00 — окончание погрузки этого судна.

Наверно, тут можно было бы и пошуметь.

Но Гулевский слушал, спрашивал, давал короткие указания или советы совершенно спокойным голосом. Было заметно также, что почти обо всем здесь услышанном он уже знает. Может, потому и не удивляется, не возмущается. Все идет и заканчивается в тихих тонах. И я думаю, это уже стиль. Не слышно шума на участке, не должно его быть и в конторе.

— С людьми надо разумно и спокойно, — выскажет потом Гулевский свое непритязательное кредо. — Будешь сам грубияном — и в ответ получишь грубияна, да еще не одного. Увидят люди, что ты сам все время делом занят, делом живешь, и тоже делом отвечать будут. От крикунов, от показухи, от демагогии — большой вред народу.

Георгий Борисович сторонник простых и, я бы сказал, вечных истин. Выношенных и проверенных на опыте. Полезных для себя и для других.

Известно, что не все молодые любят заочную или вечернюю учебу. Известно, что и не все руководители любят, когда у них на производстве много студентов-заочников и вечерников: надо им давать дополнительные отпуска, и не тогда, когда производству удобно, а в самое неудобное время.

Словом, хлопот хватает. Гулевский сумел подняться выше интересов сегодняшнего дня, не говоря уже о собственных интересах и удобствах. Весьма доступно и убедительно звучали и его слова, обращенные к будущим студентам:

— Трудно, ребята, жить без образования. По себе чувствую, как трудно, и хочу видеть вас другими.

— Да что вы, Георгий Борисович! — затянут ребята свою вполне искреннюю, нельстивую песню.— Вы же настоящий профессор своего дела! Вы такую рабочую академию прошли!

— Прошел — и понял: нельзя без теоретического фундамента, — отвечал на это Гулевский. — Не то время. Поверьте старику, учитесь, потом не раз скажете мне спасибо.

И ребята поступали в вечернюю школу, шли затем в институты и техникумы...

— Теперь кто ни придет сюда, ему легче будет работать, — как бы соединяет Гулевский две эпохи — ту, что с воронками и запустением по всей территории порта, и сегодняшнюю — с кранами и лесовозами. Он понимает, что свое дело в жизни он в общем-то сделал. Сделал неплохо.

— Какие у тебя планы на ближайшее время? — спрашиваю я.

Гулевский недолго молчит, потом сообщает:

— Доработать пятилетку...

Мы снова на причале. Мирно жужжит и медленно поворачивается в жарком небе портальный кран, перенося со склада на иностранный лесовоз чистое, пахнущее свежей древесиной золото. И стоит, посматривая на все это, загорелый крепкий человек, словно бы выросший из земли старинного порта, у знаменитого «окна в Европу» — выросший и вросший в нее. Стоит и радуется, что хорошо идет торговля лесом и что все в мире постепенно идет к лучшему. Верный солдат и надежный труженик. Один из тех, кого издавна принято называть — простой русский человек.

ТАТЬЯНА
ТЭСС

ДОРОГОЙ МОЙ ГОРОД



Поезд Москва — Ленинград отошел от платформы, стал набирать скорость, и вот уже замелькали за окном огни — вначале крупные, броские огни фонарей, а за ними мелкая россыпь золотых, вздрагивающих огоньков в окнах.

В купе было тепло, чисто, и от всего: от пушистых шерстяных одеял, от настольной лампы с абажуром и полированных стен — веяло тем особым вагонным уютом, какой присущ поезду «Красная стрела». Я сидела в углу дивана, вглядываясь в ночную мглу за окном, и вдруг то сложное, тонкое устройство, которое мы называем памятью, как бы пробудилось во мне и вернуло далекий, однажды пережитый день, оживив все его подробности.

То был день, когда из Москвы в Ленинград, впервые после блокады, отошел скорый поезд «Красная стрела», и я оказалась одной из пассажирок этого поезда.

Он был так же удобен и чист, как сейчас, такие же в нем были пушистые теплые одеяла, так же топорщились на окнах белоснежные накрахмаленные занавески, напоминающие фартуки школьниц... И во всем: в вагонном уюте и чистоте, в выутюженной одежде пожилых проводников — ощущалась особая подтянутость, словно скрытый вызов врагу, с которым в то время еще продолжались бои. Первый поезд «Красная стрела», отправляющийся после блокады из Москвы в Ленинград, выглядел совершенно таким же, каким был до войны, в мирные дни, и как бы утверждал самим своим появлением непреложность победы.

Но до победы было еще далеко. Война продолжалась, и поезд отошел по военному расписанию — не поздним вечером, а около полудня.

Поезд шел мимо разрушенных станций, мимо сожженных сел, мимо покрытых снегом полей, где лишь по торчащим печным трубам, вокруг которых чернел битый камень да попадался иногда обгоревший железный остов кровати, можно было догадаться, что здесь раньше находился поселок или деревня.

Это были поля войны, горестные, пустынные пейзажи; все говорило о прошедших здесь боях, пролитой крови, о тех, кто тихо лежал в промерзшей земле под скромным военным обелиском с красной звездой наверху.

И вот наконец поезд «Красная стрела» прибыл в Ленинград.

Я стояла на площади перед вокзалом, вглядываясь в город, как вглядываются в лицо близкого человека. Это был Ленинград, могучий, красивый, чистый, посеребренный инеем, словно поседевший от всего, что сумел вынести, вытерпеть, пережить.

Враг хотел захватить город штурмом. Штурм был отбит.

Враг думал, что город сломит блокада, убьют морозы, голод, разрушенные водопроводные коммуникации. Ленинград устоял и здесь.

Враг рассчитывал как на союзника на весеннее солнце, когда потребует очистки все, что накопилось в городе за зиму; и ослабевшие от блокады люди не смогут справиться с уборкой: если их не убили голод и стужа, их убьют инфекции и грязь. Расчет провалился: ленинградцы убрали свой город раньше назначенного срока.

В письме из Ленинграда, которое Всеволод Вишневский весной сорок второго года прислал Эсфири Шуб, С. М. Эйзенштейну и другим своим друзьям по кино, он рассказывал о ленинградке, пожилой женщине, инвалиде семнадцатого года.

«Ей нельзя работать,— писал Вишневский.— Она требует работы,— и становится на колени, так как не может стоять на ногах, и на коленях начинает работы, — уборку, чистку города. (Воздушный и артиллерийский фон уже и в расчет не идут)...»

Сергей Михайлович Эйзенштейн рассказал мне об этой женщине, и я вспоминала ее, глядя на Невский проспект — широкий светлый и чистый.

...После моего приезда в Ленинград первой «Красной стрелой» прошло немало лет. За этот срок я не раз бывала там, видела город и весной, и летом, видела нарядным, мирным... Но не забыть первой с ним встречи в далекую военную пору, не забыть Невского, каким открылся он мне тогда.

С чемоданчиком в руке я медленно шла по Невскому проспекту, пока не добралась до Аничкова моста и здесь остановилась от толчка в сердце.

Мост был незнакомым. И я не сразу догадалась почему. Потом поняла: мост был пуст. На нем не существовало того, что делало его непохожим ни на какой другой: исчезли бронзовые кони Клодта. Кони уже не рвались с моста — могучие, мускулистые, с развевающимися гривами... Огромные скульптуры сняли, чтобы спасти их от обстрела.

Я долго смотрела на опустевший мост. Потом поглядела на знакомый большой дом по ту сторону моста и снова почувствовала толчок в сердце: дом тоже выглядел незнакомым.

Не хватало малого — солнечных зайчиков в его окнах. На этом здании уцелели стекла лишь в немногих окнах; осталь-

ные окна были аккуратно зашиты досками или забиты окрашенной фанерой.

Большой многоэтажный дом стоял, как ослепший гигант; я смотрела на него с состраданием, с уважением... И вдруг солнечный зайчик мимолетно и звонко сверкнул в уцелевшем окне, и дом сразу ожил, словно повеселел, словно улыбнулся прохожим. Ах, Ленинград, дорогой мой город...

Колоннада Казанского собора торжественно возвышалась под бледным небом, тронутым легкой северной голубизной. Я вошла в полутемный собор, в лицо повеяла ледяная тишина. Собор был безлюден, лишь худенькая девочка лет четырнадцати вошла вслед за мной.

Мы вместе подошли к могиле Кутузова; над прахом великого полководца, как и раньше, могучий орел держал в клюве бронзовый лавровый венок. Вековые бархатные знамена склонились над могилой, на стене поблескивали бронзовые таблички с надписями: «Ключ города Бремена», «Ключ города Любека». Но ключей не было.

— Ключики эвакуированы, — сказала девочка шепотом, поймав мой взгляд.

Она стояла рядом, в старой шубке и теплом капоре, тоненькая, бледная — уцелевшее блокадное дитя... Мы вышли из собора вместе, но девочка дальше не пошла, она осталась стоять у колоннады, греясь на холодном зимнем солнце. А я зашагала к гостинице «Европа», где не раз останавливалась до войны, когда приезжала из Москвы.

Гостиница оказалась закрытой. Как мне рассказали позже, одно время она была превращена в госпиталь: в гостиничных номерах размещали истощенных от дистрофии детей, врачи делали все, что было возможно в тех случаях, чтобы сохранить им жизнь. Когда я приехала в Ленинград, госпиталь уже не существовал, но не существовал и прежний отель «Европа». Двери гостиницы были еще закрыты.

На стене, слева от входа, возвышалась, как и раньше, гипсовая голова какой-то богини, рядом из окна торчала труба железной печурки, так называемой «буржуйки». Копоть от печурки оседала на лице богини, на антично крутых завитках ее волос; богиня стала черной, как негритянка. Лишь на щеках ее белели узкие полоски, промытые капающей с крыши талой водой; и казалось, что богиня плакала и это следы ее слез.

Я стояла, глядя на глухую, запертую дверь гостиницы, на почерневшую, заплаканную богиню, а перед глазами моими опять возникло тихое лицо девочки, которую я видела у гробницы Кутузова, вспомнилась тонкая, щуплая ее фигурка, напоминающая выросший без света росток. И я все думала об этой девочке.

Как перенесла она блокаду, как сумела выжить? Остались ли живы ее мать, отец? Училась ли девочка в школе во время блокады и какие школы существовали в ту пору?

Вечером я оказалась дома у военного корреспондента «Известий» Николая Гавриловича Дедкова. Его жена, работавшая тогда в райисполкоме, пережившая в Ленинграде всю блокаду, рассказала мне об одной из школ, ни на один день не прекращавшей свою деятельность. И на следующее утро я отправилась искать эту школу. Нашла быстро: в районе ее знали всё.

Когда я уже сидела в учительской, раздался звонок, хлопнула дверь, за нею захлопали другие, и вот уже весь дом наполнился топотом и гулом — высоким, рокочущим, с певучими перекатами.

Волна этого гула подкатилась прямо к двери тихой учительской комнаты; и учительница, подняв брови, внимательно прислушалась. Потом она удовлетворенно качнула головой.

— Бегают! — сказала она успокоенно.— Отлично бегают... Как ужасна была эта тишина, которая стояла раньше во время перемен! Дети были так слабы, что после урока отдыхали сидя, негромко переговариваясь, как старички... А первый день во Дворце пионеров... О, боже мой!

И она рассказала мне о дне, когда в Ленинграде после снятия блокады вновь открылся Дворец пионеров.

Еще свежи были в памяти дни голода, стужи, мрака: они минули совсем недавно. И вот снова открылся детский светлый дворец.

Дети вошли туда, закутанные, завязанные шарфами и теплыми платками, медленно передвигая худые, как палочки, ноги. В руках они держали корзинки и сетки с кастрюльками для супа. Они вошли, озираясь, в зал с белыми колоннами; навстречу им грянула музыка; и руководительница сказала волнуясь:

— Давайте танцевать.

И дети заплакали.

Они плакали, стыдясь своей слабости, привыкнув беречь свои маленькие силы и вдруг столкнувшись с громогласной радостью, летящей им навстречу. Они плакали, боясь танцевать, боясь этой музыки, вновь говорящей о мире и счастье, и прижимали к груди свои кастрюльки для супа, и руководительница тоже горько плакала, глядя на них.

Так начался этот первый день во Дворце пионеров.

Должно было пройти очень много дней для того, чтобы к детям вернулись не только физические силы, но и та живая радость, которая всегда была душою детства. Дети Ленинграда слишком многое увидели и узнали за годы войны. И вот сейчас пожилая учительница, прислушиваясь к обыкновенному, закон-

ному шуму и топоту, наполнившим во время перемены все здание школы, счастливо улыбалась и говорила:

— Отлично, отлично бегают! Превосходно, знаете, шумят!

Школа, в которую я пришла, действительно оказалась одним из тех учебных заведений, которые сумели ни на один день не прекратить работу даже в самую тяжелую пору блокады.

Сейчас это была обычная школа. Я побывала на занятиях, видела обычных девочек с косичками; они сидели в чистом и теплом классе, хорошо отвечали уроки, были одеты в новые, недавно сшитые платья. И если бы не то, что у большей части учениц были медали «За оборону Ленинграда», можно было бы подумать, что эти девочки ничего особого не видели в своей жизни.

Я узнала, как жила школа в дни блокады, и хочу об этом рассказать.

Жизнь города постепенно цепенела. Остановились трамваи. Перестал работать водопровод. В домах погас свет. С каждым днем все скуднее становились порции хлеба. Не было дров и угля, жестокий холод проник в дома.

Одна за другой закрывались школы в обледеневшем городе. Но эта школа продолжала работать.

Каждое утро в холодную учительскую со всех концов города приходили преподаватели. В учительской стоял самовар с кипяченой снеговой водой. Многим приходилось идти издалека, учителя, обессилев, садились отдыхать на диван. Они были так слабы, что уже не могли нести портфели в руках, и портфели висели на веревочке, обвязанной вокруг шеи. Так сидели усталые люди, отдыхая, полузакрыв глаза, тяжело дыша.

Но вот раздавался звонок, педагоги вставали и шли в класс.

В классе стояла маленькая печурка, ученики сидели вокруг нее кружком. Это были худые, ослабевшие дети, почти у каждого из них в доме была беда.

Одна из девочек накануне свезла мертвую мать на санках через весь город на кладбище, и одна похоронила ее. В классе был мальчик, отец которого умер, лежа рядом с ним в кровати, и мальчик всю ночь пытался согреть его своим телом.

Но дети вставали утром и шли в школу. Их держал на свете не тот скудный хлебный паек, который они получали. Им сохраняла жизнь сила души.

Любимец школы, кудрявый Лева, делал доклад о философии Гегеля. Он стоял возле печурки, исхудавший до прозрачности, стройный, гордый мальчик, первый ученик. Возможно, что если бы любой из этих школьников, поддавшись слабости, остался утром лежать в ледяной постели, укрывшись всеми тюфяками, коврами, одеялами, что были в доме, — он больше никогда бы с этой постели не встал. Но школьники вставали и шли в класс,

а вечером, при свете коптилки, надев на руки варежки, писали сочинение на тему «Образ Обломова».

Как вспоминаются строчки из поэмы «Блокада» Зинаиды Шишовой:

Пока ты улыбаешься стихам,
Пока иа память Пушкина читаешь,
Пока ты помогаешь старикам
И жеищиие дорогу уступаешь,
Пока ты ие вымаливаешь пищи
И ие бросаешься иа хлеб, как иищий,
Пока ребеику руку подаешь
И через лед заботливо ведешь
Старательными мелкими шажками,
Пока ты веру бережешь, как зиамя,—
Держись ее, и ты ие упадешь...

Учителю математики от дверей его дома до школы надо было пройти тридцать две трамвайные остановки. И однажды утром, когда он пришел в школу и сидел, отдыхая, на том диване, где всегда отдыхали учителя, он вдруг сказал спокойно и очень тихо:

— Наверное, я больше сюда не приду.

Больше он в школу не пришел.

С той поры директор школы, немолодая учительница, каждый день с тревогой ждала, не произнесет ли кто-нибудь из учителей эти горькие слова. Если утром воля не поднимет человека и не поведет через ледяной город, если он не станет утром у школьной доски в классе, если не скажет первые слова урока тихим, внимательным ученикам,— это значит, что он уже ничем не защищен от гибели.

Директором школы была Серафима Ивановна Куликевич; до войны она проработала там тридцать лет. В пору блокады она стояла во главе этого маленького мужественного отряда.

Каждый день после конца занятий ученики и педагоги отправлялись на разборку какого-нибудь разрушенного здания, чтобы приготовить на утро топливо для школьных печурок.

Надо было придать новые силы людям, чтобы они вышли на ледяной ветер, взяли в руки тяжелый лом, кирку, топор и потом принесли в школу на себе вязанки щеп и досок. И пожилая женщина с добрым лицом вела свой маленький отряд по пустым улицам, старалась шутить и весело говорила обессилевшему, задохнувшемуся от слабости подростку:

— Ты же мужчина, покажи девочкам, как надо работать!

И опускала глаза, не в силах более смотреть на это маленькое напряженное лицо с потной прядью на лбу, на худые руки, взмахивающие тяжелым топором...

В ту пору в школе занимались только старшие ученики — четыре последних класса.

В девятом классе училось пять учеников; позже четверо из них были эвакуированы. В классе осталась одна школьница — Вета Бандорина. Она продолжала занятия, и учителя проходили с нею положенный курс.

Вета должна была закончить девятый класс. Она должна была перейти в десятый. Она должна была потом поступить в институт. Что бы ни было, она продолжала учиться, и учителя занимались с нею. В холодном, содрогающемся от артиллерийского обстрела классе они готовили эту девочку к большой, мирной жизни.

Мать Веты, Анастасия Яковлевна, была учительницей в этой же школе. Каждое утро они вместе выходили из дому. Настал день, мать сказала:

— Иди одна. Я больше не могу.

Я вижу Вету сейчас; у нее крепенькое, упрямое лицо, ясные, храбрые глаза. Она посадила мать на саночки и повезла в школу через весь город. Она не захотела оставить мать дома одну.

Медленно везла девочка санки по городу, а мать сидела в санках, съежившись, завернутая, как узел, во все платки и одеяла, — худенькая, маленькая старушка.

Девочка привезла мать в школу и повела ее, поддерживая, в учительскую. Мать присела отдохнуть все на тот же диван.

Раздался звонок, учительница встала с дивана и пошла преподавать в свой класс.

Можно высчитать, сколько людей убьет один снаряд тяжелого орудия. Можно высчитать, на какой день должен умереть человек, если его лишить необходимого количества пищи. Но не могли фашисты высчитать силу души нашего человека. Они не знали, не понимали людей Ленинграда, которых пытались уничтожить.

Я думала об этом, стоя в чистом и теплом классе. За окном звенели трамваи, слышались гудки машин, — то был торжествующий шум возрожденного города. Обыкновенные девочки сидели передо мной, с любопытством разглядывая неожиданную посетительницу. После занятий они пойдут на Невский, во Дворец пионеров. Они услышат там хорошую музыку, раскроют в читальне книги.

Сейчас они еще находились в классе, шел урок истории — Франция, вторая половина XVI века, Варфоломеевская ночь. Отвечала самая маленькая ученица в классе — Лариса Новожилова. Она отлично знала предмет.

Во время блокады у Ларисы умер отец. Мать ее не успела выехать из Пушкина, когда город захватили гитлеровцы, и погибла. Девочку приютила дальняя родственница. Лариса стояла

перед доской, стройная, как свечечка, в коричневом платье, с боевой медалью на груди, и отвечала урок.

Если бы фашист посмотрел ей в глаза, он не выдержал бы ее взгляда, как зверь не выдерживает взгляда человеческих глаз.

Выйдя из школы, я зашагала по одной из длинных, прямых, как просека, ленинградских улиц, шла медленно, глядя по сторонам; и Ленинград открывался мне квартал за кварталом — полный достоинства Город Великого Порядка. Все вокруг было прибрано и ухожено строгими бережными руками ленинградцев.

Шагая по улице, я думала о том, как условно понятие расстояния,— едва человек начинает терять силы, как все словно отдаляется от него. Становится далеким и трудным путь к учреждению, где он работает, становится далекой дорога к булочной, дорога в библиотеку... Преподаватели и школьники, с которыми я только что говорила, узнали это на опыте собственной жизни: с каждым днем блокады путь к школе становился все более долгим и трудным...

И вот настал трижды благословенный день, когда эти же люди ощутили, что расстояние наконец начало уменьшаться. Школа уже не была так далеко, силы прибавлялись, и тот же самый, множество раз пройденный путь сделался короче, проще, легче...

Идя по улице, я вспомнила рассказ ленинградского профессора, давнего моего знакомого, с которым накануне встретилась.

Профессор, переживший в Ленинграде блокаду, сказал мне с удивительной простотой и спокойствием:

— Теперь я знаю: только работа сохранила мне жизнь.

И рассказал, как почти каждый вечер он отправлялся из дома в научную библиотеку за книгами.

Вначале он шел сравнительно быстро, потом с каждым днем все медленней и наконец еле двигался, но продолжал идти вперед.

Вначале библиотека была недалеко, потом стала такой далекой, словно ее перенесли на другой конец города.

Вначале была осень и дожди, потом зима и стужа.

Но что бы ни было, он шел в библиотеку за книгами.

Шел, закутавшись во все теплое, что было дома; шел, борясь с жестоким ветром, задыхаясь, пошатываясь от слабости, боясь, что потеряет последние силы и не дойдет...

И все-таки доходил до знакомой двери, открывал ее и входил.

Входил в свой мир, где все было знакомо. Библиотекарши, которых он знал добрый десяток лет, были на своих местах, словно часовые на посту.

Исхудавшие, легкие, как тени, закутанные в шали, платки и пледы, они бесшумно лезли на стремянки, чтобы разыскать

нужную ему книгу. Он знал, что они тоже добираются сюда с трудом, превозмогая слабость; их тоже, как и его, подчас застигает в пути воздушная тревога или артиллерийский обстрел. Он знал, что они тоже, как и он, потеряли за это время близких людей, похоронили многих друзей, пережили утраты, осиротели.

Но каждый день, что бы ни было, они шли сюда, в библиотеку, где в промерзшем воздухе витал слабый и тонкий запах книг, и приступали к работе, которая была им дорога. И так же, как ему, работа сохраняла им жизнь.

Я задохнулась от горечи и красоты этого вновь вспомнившегося мне рассказа и остановилась, чтобы перевести дыхание. И тут ноги сами меня понесли туда, куда я шла каждый раз, когда приезжала в Ленинград. И я направилась в Эрмитаж. У входа в Эрмитаж сидел вахтер — седая пожилая женщина со строгим лицом. Она была в мужской шубе и бархатном капоре; рядом с ней стояла винтовка.

Вахтер проверила мои документы, от ее дыхания вилась струйка пара. Главный хранитель музея, засунув руки в карманы, терпеливо ждал конца проверки. Потом сказал:

— Итак, пройдемся по объекту!

И пошел вперед, позвякивая ключами.

Я пошла вслед за ним, по той же лестнице, по какой ходила всегда, под расписным плафоном, мимо сверкающих колонн, по мраморным ступеням... И вот за большой, тяжелой дверью открылся Эрмитаж в ту пору его жизни, когда он стал называться «объектом».

Высокие окна забиты фанерой; сквозь узкую полосу стекла, уцелевшего под самым потолком, лился голубоватый свет. В здании стоял жестокий мороз. Резную дверь сторожили два манекена, с которых сняли их рыцарские панцири, кольчуги, забрала и оставили только порыжевшие трусики на тонких, набитых опилками ногах. Возле раздетых рыцарей — ящики с песком, клещи, топоры, ломы.

Раньше в этих залах, где были собраны редчайшие сокровища искусства, мы не замечали многого, что казалось нам всего лишь фоном для этих сокровищ.

Сейчас в пустом ледяном покое я по-новому видела рисунок паркета, хрустальные торшеры, шкафы с драгоценным мозаичным узором, люстры, нарядно поблескивающие под покрытым росписью потолком... Я шла, отражаясь в бесконечных зеркалах, и они повторяли мне всю пышность этого одинокого, мертвого убранства.

На стенах висели пустые рамы.

Они висели в том же порядке, в каком располагались раньше, и под каждой рамой можно было прочесть имя художника и название полотна.

Пустые рамы окружали меня, и память восстанавливала ушедшие из них картины, и я заставляла память повторить то, что я так любила.

Вот рама, в которой была «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи — мадонна, в которой столько земного полнокровия. Прославление жизни — в этом видел Леонардо призвание живописца. Полотно как бы озарено красотой материнства, цветущей и молодой его прелестью. Пухлый, крепенький младенец, упрямо упершись толстой ножкой, сосет материнскую грудь. И память восстанавливала каждую складочку этого здорового тельца, и кроткий овал лица матери, и синеву, глубокую, чистую синеву неба Италии...

Посредине вот этого зала сидел в кресле мраморный Вольтер работы Гудона. Помните губы скульптур Гудона, живые губы, чуть соединенные внутри нежной пленкой, как бы расклеивающиеся для того, чтобы произнести слово? Вот в этом зале были полотна Рембрандта, здесь видели мы блудного сына, вернувшегося в отчий дом. Сколько добра и силы, сколько волнения и мужества в старческих жилистых руках отца, лежащих на пыльном сыновнем рубище...

На этой стене с полотна Ван-Дейка глядели на посетителей блестящими темными глазами две девочки в длинных шелковых платьях. А там, за дверью, пировали горластые забияки Дирка Хальса, весельчаки с красными, дрожащими от смеха щеками...

Пустые рамы, пустые постаменты; красные огнетушители, отражающиеся в зеркалах. Большая бронзовая люстра сорвалась с потолка и лежала посредине зала, сплющенная силой падения, похожая на раздавленный цветок.

На стене поблескивала пустая квадратная рама из золотого багета. Ниже рамы — дощечка, на ней написано:

Абрахам Миньон
1640—1679
Корзина с плодами

И под этой надписью — громадная пробоина, сделанная в стене артиллерийским снарядом.

Кажется, здесь стояли часы с органом? Они стояли по-прежнему — огромные, диковинные часы с механизмом работы немецкого мастера Иоганна Георга Штрассера. Неподвижные стрелки показывали половину десятого.

Возможно, что часы остановились в тот самый миг, когда первый снаряд, выпущенный из немецкой пушки, разорвался над Эрмитажем.

Если бы был жив Иоганн Георг Штрассер, он, наверно, содрогнулся бы от горя и стыда, от боли за свой народ, опозорен-

ный фашистскими выродками... С каким благородством, с каким мужеством советские люди берегли создание рук немецкого мастера в те дни, когда фашистские орудия стреляли по Эрмитажу...

В годы войны наш народ защищал не только свою землю. Он защищал мировую культуру. Он защищал все прекрасное, что было создано искусством. Во имя мира и счастья народов сражались советские люди с врагом.

В здание Эрмитажа попало свыше двадцати снарядов. Тонны битого стекла сыпались в залы с купола и из окон, покрывая узорчатый паркет. За день до полного освобождения Ленинграда от блокады один из снарядов попал в Гербовый зал.

Силой взрыва вывернуло оконные рамы, они висели на петлях, обгоревшие, перекошенные.

Другой снаряд попал в карниз над самым Атлантом, и каменный великан стоял, присыпанный снежком, упрямо наклонив голову, приняв на свои плечи всю тяжесть пересеченного глубокой трещиной, прогнувшегося карниза.

Главный хранитель музея, шагая рядом со мной, рассказывал, что в самом начале войны все драгоценные коллекции были вывезены из Эрмитажа.

На восток ушли эшелоны с сокровищами искусства; в вагонах, бережно упакованные, лежали полотна, которые мы так нежно любили. В залах Эрмитажа были оставлены только экспонаты второстепенного значения и особо громоздкие коллекции, которые в ту пору было очень сложно перевезти, в том числе знаменитая коллекция исторических экипажей.

Хранить их осталась небольшая группа сотрудников.

Все коллекции были собраны, упакованы и перенесены в укрытия, в безопасные кладовые и подвалы.

С каждым днем пустели залы. Скульптуры переселялись в подвалы, размещаясь рядом с коронационными каретами, увенчанными золотыми гербами. Пожилые, уставшие от переноски тяжестей люди отдыхали, сидя рядом с ними на дворцовых креслах.

И вдруг здание сотрясалось от взрыва, раздавался грохот, высокий, пронзительный звон разбитого стекла. Хрустальное небо купола рушилось вниз.

Музейные работники, ученые с мировым именем, лезли на крышу и, привязавшись веревками к стропилам, заделывали досками пробоины. Немолодая женщина, специалистка по западному искусству, сидя на стропилах, жмурила от страха глаза и повторяла:

— Как во сне! Честное слово, как в страшном сне...

И все же взбиралась дальше на обдуваемую ледяным ветром крышу и приколачивала гвоздями доску поверх большой

пробоины, сквозь которую медленно падали вниз голубые снежинки...

Филиал Эрмитажа был сильно поврежден, все оставшиеся там коллекции надо было перенести сюда, в главное здание.

Коллекции везли на тачках, на тележках, несли в заплечных мешках и просто на руках. Их перенесли все, до последнего экспоната, и расставили в безопасных кладовых.

Но в это время лопнули от мороза водопроводные трубы, и кладовые залило водой.

Коллекции надо было переносить вновь.

Никогда раньше сотрудники Эрмитажа не задумывались над тем, сколько заложено в стенах музея всяческих труб — водопровода, канализации, отопления. Это была своего рода кровеносная система здания.

Как всегда бывает в здоровом организме, ни работа этой системы, ни даже само присутствие ее ранее не ощущались. Но вот разрушение начало поражать одну часть системы за другой.

Почти каждый день лопалась какая-нибудь труба, вода заливала кладовую или зал. Вода сочилась из стены, узкие ручейки ее ползли сквозь запертые двери, маленькие водопады обрушивались на фигурный паркет.

Вода стала врагом, ее ненавидели, с нею сражались.

Все холоднее, все морознее становилось в кладовых и залах, губительная сырость угрожала коллекциям. После очередного обстрела сквозь пробоину в стене или крыше летел снег. И снова надо было переносить коллекции в другое место, придумывать им новое безопасное пристанище в громадных покоях Эрмитажа.

Сотрудники несчетное количество раз перетаскивали экспонаты из одной кладовой в другую, из одного зала в другой. Понадобилась громадная, беспримерная по кропотливости и терпению работа над непрестанной инвентаризацией этого имущества.

Все трудней становилась жизнь в осажденном городе. Но люди берегли то, что было для них главным делом их жизни, — прекрасное искусство. Они защищали его от врага, они спасали его от гибели, не щадя слабых своих сил. Спасали и спасли.

За все время блокады ни один значительный экспонат в Эрмитаже не пострадал и не был уничтожен. Каждый такой экспонат стал дороже во сто раз: за него заплачено мужественным трудом, беспримерной стойкостью людей.

Еще до войны работниками Эрмитажа был начат большой многотомный труд — «История западноевропейского искусства». Эту работу продолжали те сотрудники, которые находились в эвакуации. Но ее продолжали и в осажденном Ленинграде.

Профессора занимались с молодежью, вели семинары, делали доклады; и молодежь шла на эти доклады по темному, холодному городу, как идет человек к теплу и свету очага. В дни самых жестоких артиллерийских обстрелов аспиранты возобновили изучение иностранных языков — французского и английского; занятия вела одна из старших научных сотрудниц.

В грозную пору блокады люди знали не только два полюса: жизнь и смерть.

Были и другие полюсы: жизнь и существование. Нужна была подлинная душевная сила, чтобы не существовать, а жить.

Об этих людях можно сказать: они жили.

Они сохранили не только произведения искусства.

Они сохранили чистоту и мужество сердца.

Я знала, что в глубоко и счастливо вздохнувшем городе эти же люди готовили Эрмитаж к его второму рождению, ко дню, когда начнется в нем большая восстановительная работа.

Мы всегда любили Эрмитаж и восхищались его сокровищами. Он всегда был радостью и гордостью нашей страны.

Фашисты стреляли из тяжелых орудий прямо в его сердце — стреляли, но не смогли убить. Он весь изранен, и видеть эти раны мне было физически больно.

Но Эрмитаж продолжал жить. Живы его сокровища, живы защитившие его люди.

И стоя в промерзшем зале, где вилась дымка от моего дыхания, я старалась представить тот прекрасный, тот солнечный день, когда полотна вновь вернутся в пустые рамы, подобно тому как человек возвращается в родной дом.

Этот день настал, мы все его помним. Ибо это был День Победы.

АЛЕКСАНДР
ШТЕЙН

НЕЗРИМАЯ НИТЬ



«Что вы видите в кадре!»

Игла Адмиралтейства...

Та самая, которая светла. Вознесенная над Петербургом царем Петром. И запечатанная, зашитая в дощатый футляр в годы блокады. Та самая, выдавленная в бронзе на медали, врученной защитникам Ленинграда, военным и штатским.

Черной, беззвездной ночью блокадной зимы сорок второго под этой самой запечатанной иглой в прокопченной башне Адмиралтейства, никак не годной для жилья и все-таки для него приспособленной, у камелька, вероятно петровской поры, грелся кинорепортер ленинградской хроники. Он пришел к флотским журналистам, базировавшимся здесь. Угли дотлевали, да их и немного было. Помешивал их носком порыжевшего сапога. Поверх своей промерзшей, колом стоявшей шинели накинул еще одну, чужую, а его все трясло. Выпил несколько кружек кипятку, а все трясло. Не мог согреться не только потому, что в башне был прочно устоявшийся холод, вечная мерзлота, но и потому главным образом, что несколько часов назад он снимал кадры для будущего фильма «Ленинград в борьбе»; и так случилось, что у бульвара Профсоюзов, близ Сенатской площади, где он снимал, начали падать снаряды; и он заснял несколько трупов, лежавших на снегу, в том числе и маленькой девочки, — прохожие, невзначай застигнутые внезапным артиллерийским огнем.

Тикал метроном. Колебался жалкий огонек самодельной коптилки, задуваемый порывами ветра,— взрывная волна выбила стекла, огромное окно залатали на скорую руку картоном и фанерой.

Потом я потерял из виду кинооператора — увидел его в сорок четвертом году.

Точнее, 27 января 1944 года.

Вечером на Марсовом поле.

При лучших обстоятельствах.

Марсово поле одно время называлось площадью Жертв Революции. Потом вернулось к нему старое название, кажется тогда же, когда переименованный Невский снова стал Невским и переименованный Литейный — Литейным.

На Марсовом поле под высеченными в граните надгробиями, под эпитафиями, написанными ритмической прозой и белым,

торжественным стихом, лежат не жертвы революции — ее борцы. И над ними горит Вечный огонь, такой же, как и на Пискаревском кладбище...

Вечером 27 января 1944 года весь Ленинград содрогнулся от артиллерийского грохота. Стреляли на этот раз не немцы — любая сторона любой ленинградской улицы отныне была не опасна при обстреле.

Давался салют из трехсот двадцати четырех орудий в честь освобождения Ленинграда. В честь конца блокады. В честь ленинградцев, выстоявших девятьсот дней. В честь живых и в честь погибших. В честь героических войск, наконец-то ушедших на запад.

В честь Дня Победы, пришедшего к ленинградцам на Неву задолго до Шпрее, до 9 мая 1945 года.

Оператор ленинградской кинохроники, снимавший тогда, в сорок втором году, у Сенатской площади, на бульваре Профсоюзов трупы прохожих на белом снегу, теперь снимал ленинградское небо — небо победы.

Гул салютов катился с набережных.

Лопались, разрываясь, ракеты.

Блеск их нисколько не походил на тот, неживой, немецких люстр, показывавщих «юнкерсам» во время налетов на Ленинград, куда кидать бомбы.

Огненно-красные, огненно-синие, огненно-зеленые букеты висели над ансамблями Растрелли и Гваренги, над темной громадой Мраморного дворца, над бывшими Павловскими казармами и, осыпаясь, падали на Летний сад, и в Лебяжью канавку, и на гранитные плиты Марсова поля, бросая странный отблеск на тысячи лиц ленинградцев, стоявших тут в молчании.

Ленинградцы следили за блестящим фейерверком и плакали молча.

Небо в алмазах — выстраданное, завоеванное.

В блокаде слезы были редки. Почти не было слез. Здесь плакали все — и женщины и мужчины.

Вкус победы солоновато-горький, как слезы и как кровь.

Столкнулись вновь со знакомым ленинградским оператором уже в мае сорок пятого в Берлине. Обстоятельства встречи, как видите, стали еще знаменательней.

Ветер гнал по Унтер-ден-Линден рыжую пыль, трупный, приторный запах, дым и гарь; на четвертый день после взятия Берлина рейхстаг, на куполе которого уже был водружен красный флаг, вновь загорелся. В его подвалах начали рваться не то неиспользованные фаустпатроны, не то мины замедленного действия, тогда еще ничего нельзя было понять.

Пламя показалось в безглазых окнах, в проломе разрушенной стены. Патрули, выставленные комендантом Берлина генералом Берзариным, уговаривали офицеров и солдат, бродивших по обгорелым залам, покинуть здание немедленно. Но те продолжали скакать, как серны, через трещавшие перекрытия, оставлять автографы на всем, что уцелело, или застывать в неестественных, напряженных позах перед объективами. Экскурсии в поверженный рейхстаг, равно как и фотографирование в нем, продолжались, хотя и с опасностью для жизни. Уговоры были тщетны, даже угрозы. Рвался боезапас, или фаустпатроны, или мины, наступало пламя, а солдатские и офицерские «фэды» все щелкали, руины покрывались вкривь и вкось новыми и новыми фамилиями, изречениями, названиями городов, откуда родом или откуда дошли до Берлина эти все повидавшие, все испытавшие люди.

Повторялся тут, в названиях, несколько раз Ленинград.

Рейхстаг горел.

А неподалеку от него, у Бранденбургских ворот, взгромоздившись на исковерканный артиллерийский лафет, приготавливался к съемке ленинградский оператор, тот самый.

Заметив меня, не выразил ни малейшего удивления, словно встретились мы где-нибудь на дачной платформе в Парголове или на трамвайном кольце в Озерках, в ленинградском пригороде.

Поманив пальцем, пригласил подняться к нему и заглянуть в глазок аппарата.

Кадр, который представился, в самом деле заслуживал внимания.

Вставшие цепочкой пленные передавали по конвейеру кирпичи, балки, доски. Пленные работали педантично и покорно; проезжая часть проспекта уже была очищена от завалов, уже летели по ней трофейные машины, полные наших воинов с автоматами, громыхали повозки с чешскими, польскими, французскими, сербскими, бельгийскими национальными флажками, в повозки были впряжены крупные немецкие лошади, а то тянули повозки сами люди,— угнанная Европа возвращалась домой. На велосипеде без шин, на одних ободах, проехал паренек с соломенными волосами, помахал в объектив флажком, а на флажке — серп и молот.

В кадр попал и дымившийся рейхстаг.

— Вы что видите в кадре? Там, позади? — спросил меня кинооператор.

— Рейхстаг,— ответил я.

— А я — бульвар Профсоюзов,— сказал оператор и, легонько отодвинувшись, принялся за работу.

Великое братство

Всякий раз теперь, когда я приезжаю в Ленинград, и хожу по его проспектам, и останавливаюсь перед подсвеченными памятниками, и вглядываюсь в искусные и изящные неоновые буквы над ровной линией Невского, и выхожу из-под арки Главного штаба на пустынную и залитую светом площадь у Зимнего дворца, я снова вспоминаю, непременно вспоминаю блокаду. Сугробы, проруби, ведра, порванные трамвайные провода...

И еще — саночки, саночки, саночки...

И мы идем с Всеволодом Вишневским по строгим, прямым ленинградским проспектам. Зияет пробоина в наружной стене дворца, созданного гением Растрелли. Тяжелый фугас прошел сквозь пять этажей массивного жилого дома: в одном из этажей уцелела комната и торчит одиноко концертный рояль, другой засыпан песком и обломками обрушившейся крыши. Изуродован снарядом розовый мрамор колонн елизаветинского особняка. Сняты кони Клодта с Аничкова моста. Чернеют выгоревшие ряды Перинной линии Гостиного двора.

Осколки стекла скрипят под ногами: час назад фашистский бронепоезд подошел к ближним подступам к городу и торопливо, вслепую открыл беглый огонь.

Ночь с субботы на воскресенье 22 июня 1941 года, прозрачная, теплая белая петербургская ночь, воспетая Пушкиным.

Пришел гунн. С квадратной челюстью. С пустыми, холодными глазами. Обрушил на счастливый город тысячи и тысячи бомб, оставил без отцов, без матерей тысячи ребят, зажег пригороды, запалил старинные дворцы, музеи, хранившие величие русского искусства, дворцы, парки, усадьбы, любовно оберегавшиеся народом. Нагадил, напортил, надругался. Двинул на город лавины танков с драконами и свастикой, сотни тысяч человекоподобных в касках, сеющих разорение, горе, нищету. Перерезал железнодорожные пути, по которым шли в Ленинград продовольствие и топливо, вышел к Неве, дошел до конечной остановки трамвая, обстрелял из минометов больницу Фореля.

А немецкое радио уже сообщало об уличных боях, якобы идущих на линиях Васильевского. И что греха таить, многие и многие друзья страны нашей во всех уголках земного шара с болью в душе отсчитывали минуты до неминуемого падения Ленинграда. Ведь Варшава пала, и Брюссель пал, и Амстердам, и Париж, и Белград, и Афины...

Нет! Ленинград сказал свое слово.

И слово «нет» прогремело как присяга.

Выстояли, отстояли — кровью своей, нервами, мускулами, волей, нечеловеческим напряжением, нечеловеческими лишениями — отстояли!

С Литейного моста спускались бесконечные вооруженные отряды. Кто идет? Выборжцы идут! Двигались рабочие батальоны с Васильевского, из-за Невской заставы, с Петроградской стороны. С кораблей уходили на сушу любимцы города — балтийские моряки — биться за Ленинград.

Провожали моряков на фронт ленинградцы, смотрели вслед уходящим черным шеренгам. Эти не сдадут, не уступят.

Крепла оборона города. Замедлялся натренированный прусский шаг фашистских армий — будто свинцовые гири нависли на ногах, будто под коваными сапогами не асфальт загородных шоссе, а вязкое, непроходимое болото. И счет шел уже не на десятки километров и не на километры даже — завоеванный метр почитался за огромную победу, хотя победа эта стоила жизни тысячам. А вскоре сводки штаба армии фон Лееба не могли зарегистрироваать продвижения даже на метр, даже на дюйм.

Встал гунн. Думал — на день. Оказалось — на долгие времена. И чем больше всматривались сквозь цейссовские бинокли гитлеровские генералы в смутные контуры расстилавшегося невдалеке Ленинграда, тем дальше был от них этот странный и непонятный город.

Отстояли!

Летопись времен и народов знает немало блистательных защит крепостей и городов, немало осад, вошедших в историю.

Но какими словами описать оборону Ленинграда 1941—1942 годов, равной которой нет и не было в истории? Оборону города, где право на бессмертие завоевали люди переднего края и женщины с грудными детьми?

Толстой писал о четвертом бастионе, где люди уже свыклись с беспрерывным свистом снарядов, где научились хладнокровно смотреть в глаза смерти.

Весь Ленинград за время блокады превратился в такой четвертый бастион. Это не преувеличение. На Невском рвались снаряды. Из ворот Кировского завода танки выходили прямо на фронт — в нескольких километрах от завода. И кировцы спокойно ковали оружие для фронта, когда по заводу непрестанно били полевые пушки. А старый русский Ижорский завод стал, по сути дела, передним краем обороны. В тревожную, полыхающую пожарищами ночь председатель Колпинского исполкома Совета большевик А. В. Анисимов собрал ижорцев, сказал им коротко:

— Кто слабый — пусть остается, сердиться не будем. Кто силен — бери оружие. Пришло для ижорцев суровое, трудное время.

И двинулись ижорцы. И остановили гитлеровцев. И спасли завод.

А в цехах Ижорского завода экипажи боевых машин ждали, когда кончится ремонт, и прямо с завода вели обновленные машины на фронт.

Это — ленинградцы.

И немецкий солдат Герман Фукс под звуки артиллерийской музыки писал своему брату:

«...Вчера и сегодня здесь, под Петербургом, опять начался настоящий ад. Вчера мы ходили в атаку на гигантскую линию укреплений. Артиллерия стреляла целый день непрерывно. В сплошном огне нельзя было отличить отдельных выстрелов. Сейчас опять начинается кромешный ад. В гавани Петербурга находится еще один линкор и несколько крейсеров. Трудно себе представить, какие воронки образуют снаряды кораблей при разрыве. Один из них взорвался в 200 метрах от меня. Могу тебе сказать: я взлетел на два метра в воздух и грохнулся в сторону. Хочешь верь, хочешь не верь. Вся местность усеяна воронками от бомб и снарядов. Здесь валяется рука, там — нога, там — голова, у другого сразу несколько ран — вечная память о русских. Их нужно уничтожать железом, иначе мы ничего с ними не сделаем...»

Сначала гунн жаловался, что мешает взять Ленинград «линия Мажино», якобы окружающая город.

Потом он все свалил на морскую артиллерию, потом все на мороз.

Да, мороз в этот год ударил особенно сильно. Выли метели, свистела пурга, термометр показывал минус 40. Тяжелая, беспощадная была зима. Но ведь и ленинградцам пришлось перенести эту зиму — и какая же это была зима! В трубах замерзла вода, в домах не было света, из-за нехватки топлива остановились трамваи. Каждый грамм хлеба минимальной нормы, полагавшейся на человека осажденного города, был на дорогом счету...

Дорого, очень дорого стоили каждому ленинградцу беспримерные месяцы блокады. Многие из нас не досчитались отцов, братьев, сестер, детей, матерей. У многих потемнели, глубоко впали глаза, лоб прорезали морщинки усталости, резче и жестче стали складки у рта.

Отстояли!

Долгие месяцы узкая полоска ладожского льда соединяла город с Большой землей, с любимой Родиной. Но всегда ленинградцы чувствовали ее заботливую руку, и никогда не было у людей нашего города ощущения оторванности, изолированности от страны, ее судеб, ее борьбы.

Чем тяжелее лишения, тем прекраснее победа, говорили когда-то солдаты армии Вашингтона, дравшиеся за независимость и свободу Америки.

— Да, чем тяжелее лишения, тем прекраснее победа,— могут повторить ленинградцы.

Солнце сияет над городом. В белые ночи дуют над заливом, над Балтикой теплые ветры с запада.

Есть города, имена которых давно перестали быть географическим понятием, большим или малым кружочком на карте мира.

Мы говорим: Ленинград, и это — стойкость. Мы говорим: Ленинград, и это — упорство. Мы говорим: Ленинград, и это — бессмертие.

Если спросить, что у тебя было в жизни самое страшное, не раздумывая, скажу: блокада.

Если спросить, что было самое мучительное, скажу: блокада.

Если спросить, что было в жизни самое прекрасное, скажу: блокада

Самое страшное, самое мучительное, самое прекрасное...

Да, так оно и было.

И по сей день, спустя десятилетия, так оно и есть.

И братство блокадное — нет его святей, драгоценней...

В своих старых военных записях нашел одну — меченную уже сорок пятым годом.

Перед самым концом войны.

О том же. О великом блокадном братстве.

Я прилетел тогда, вернее, перелетел с одного аэродрома военно-морской авиации на другой,— летчики Балтики, всю блокаду охранявшие Ленинград и барражировавшие ладожскую ледовую дорогу, с каждым днем меняли свои базы.

Эта новая база была тоже на Балтийском побережье, но уже на территории Германии, и еще вчера с ее взлетной площадки поднимались «юнкерсы» и «мессершмитты».

Они и сейчас еще стояли тут, на зеленом, казалось, нескончаемом поле,— их не успели взорвать при более чем поспешном бегстве.

Так и стояли: с одной стороны — целехонькие «юнкерсы» и «мессершмитты», а с другой — перебазировавшиеся наши «бостоны» со звездами на фюзеляжах по числу потопленных ими немецких кораблей, а с третьей — наши же ладные, графичные «петляковы»...

«Дуглас» приземлился, подрулил к командному пункту, пассажиры — моряки, летевшие по служебным надобностям или возвращавшиеся из госпиталей в свои части и на свои корабли, еще несколько часов назад ходившие по Невскому проспекту в Ленинграде,— впервые ступили на землю фашистской Германии, три года державшей наш город в голодном и холодном кольце.

Это само по себе было поразительно.

На командном пункте, в недавно, видимо, отстроенном, модернизированном здании с большими окнами, все еще осталось, как было при немцах,— и мемориалы из гранита или мрамора в траурных обводах с фамилиями убитых на Восточном фронте асов, и воинственные изречения Бисмарка, Мольтке, Геринга и Гитлера на стенах, и рельефные карты балтийского морского театра, и конечно же на них наш Кронштадт, и наш Ленинград, и Таллин, и Ханко, и силуэты наших самолетов всех типов, и силуэты наших надводных и подводных кораблей...

Даже расписание дежурств немецких офицеров сохранилось...

Но на командном пункте только что захваченного вражеского аэродрома уже по-хозяйски орудовали наши балтийские офицеры, они успели вполне обжиться и, как говорится, адаптироваться: рядом с расписанием на немецком языке уже висело наше расписание, и наши морские карты соседствовали с немецкими, и подле силуэтов наших кораблей чернели силуэты немецких, за которыми сейчас охотились наши истребители и бомбардировщики.

Один из летевших с нами пассажиров, ленинградец и балтийский политработник, догонявший воздухом свой корабль, пришедший сюда морем, вгляделся в дежурного на командном пункте, и тот вгляделся в моего спутника, и оба они, сияя, широко расставив руки, двинулись друг к другу.

Трясли друг другу руки — долго, молча.

Обнялись.

Но и этого было недостаточно.

Поцеловались — троекратно.

— Ну, вот и встретились, да где! — в полном возбуждении сказал мой спутник.

— Надо же! — в тон ему отозвался дежурный офицер.— А я гляжу, еще как вы шли по летному полю,— черт, знакомое лицо. Слушай...

Он не успел договорить: зазвонил полевой телефон; дежурный взял трубку.

Он произнес в трубку обыкновенные слова, чем-то был недоволен, даже сильно бранился из-за чего-то, но именно потому, что это были обыкновенные слова, какие говорят на всех советских аэродромах,— тут, где еще висели немецкие мемориалы в траурных обводах и немецкие карты с названиями наших городов, слова эти казались нам необыкновенными.

А когда он повесил трубку и обернулся к своему так неожиданно встреченному другу, зазвонили два других полевых телефона, и он снова занялся своим делом, жестами показывая другу полную свою беспомощность и сожалея о невозможности продолжить столь нужную сердцу беседу.

Чтобы не мешать, мы деликатно покинули командный пункт и вышли на крыльцо. В прозрачном майском небе неумолчно гудели машины, улетавшие на задания и возвращавшиеся с заданий.

Летчики, свободные от полетов, на прилегающих к летному полю аккуратных дорожках обкатывали трофейные велосипеды и мотоциклы.

Девушки-краснофлотцы старательно замазывали немецкие надписи-указатели.

— Надо же,— повторил я слова дежурного офицера,— не каждому так пофартит: перелететь на чужую сторону и первым встретить старого друга.

— Старого друга? — несколько удивился мой спутник.— А где?

— То есть как это? — теперь удивился я.— Вон же он.

— А-а... Да я ведь, если по правде, и фамилии-то его не знаю. Да и он моей, думаю, не знает, даже наверняка...

— Так вы же с ним обнимались?

— Обнимался.

— Поцеловались трижды.

— А вы бы не поцеловались? Вы ленинградец?

— Ленинградец.

— Чего ж удивляетесь? Знаете, где мы с ним в последний раз столкнулись нос к носу? Зимою сорок первого. В Адмиралтействе. В одной кают-компании столовались. Кашу пшенную ели, так сказать, блокадного образца. В завтрак, в обед и опять-таки в ужин. Ну вот. А теперь — Германия. Ясно?

— Чего же боле,— сказал я.

— А фамилия,— помолчав, заметил мой спутник.— Что же фамилия. Она в данном конкретном случае ровно никакого значения не имеет.

...Покачав крыльями, низко-низко над нами прошумел «бостон», он шел с моря, с задания; и дежурный офицер, завидев сквозь огромные стекла тень самолета, плывущую по зеленому полю, выбежал на крыльцо.

Он очутился рядом с моим спутником, задержался на мгновение, чтобы сказать что-то ему, но «бостон» уже садился, и дежурный успел только дружески помахать рукой человеку, фамилии которого он не знал, но с которым навеки спаяло его великое блокадное братство...

Захотелось сейчас привести эту запись из военных дневников, именно вот эту — о случае, в котором, как может показаться тем, кто не пережил все то, что пережили ленинградцы, не было ничего особенного...

Война кончилась

По главной улице немецкого заштатного городка, лежащего в стороне от больших фронтовых магистралей и чудом нетронутого войной, проходит на новые квартиры красноармейская часть. Война кончилась, бойцы почистились, умылись, постриглись, навели глянец на сапоги, пришили белые подворотнички. Над городком летит лихая солдатская песня скобелевских времен, с гиканьем и посвистом.

В боевых порядках пехоты следует артиллерия,— новенькие полевые пушечки колышутся на заново окрашенных зеленых лафетах, их тянут сытые першероны.

На тротуарах толпятся жители городка, снедаемые любопытством, впервые видящие красноармейскую часть на марше. На их лицах написано изумление. Где древние старики и двенадцатилетние мальчики из «последнего большевистского резерва», о котором еще две недели назад писал местный фашистский листок? Где грязные, не знающие бритвы, опухшие от голода лица с плакатов Геббельса? Где нестройные, беспорядочные «орды с Востока»?

Из окна двухэтажного дома напротив гостиницы, открытой нашим комендантом для проезжающих офицеров, следит за колоннами человек в штатском. На нем безукоризненно сшитый черный костюм, черный галстук, ослепительная белая крахмальная сорочка.

Стоит у открытого окна, отдернув легкую, колеблемую ветром занавеску, тщательно выбритый, сухой, прямой, негнущийся. У него седые волосы — прямые и твердые, как он сам. Один рукав его пиджака пуст.

Смотрит на улицу вот уж сорок минут. Губы сжаты. Солдаты идут и идут. Наконец часть прошла. Задернул занавеску. Но вновь летит над городком песня, другая — это идет на новые квартиры другая часть. И человек в штатском вновь раздергивает занавеску и опять вглядывается в этих бронзовых, скуластых, насмешливых и таинственных людей, шагавших по немецкому городу.

Из окна гостиницы — улица здесь узкая — отлично видно лицо человека в черном костюме. Пиджак сидит на нем, как мундир, манера стоять выдает прусскую надменную выправку. Где потерял руку? Может быть, под Ленинградом?

Встречаемся взглядами. Резким движением захлопывает окно, опускает занавеску.

Пехота прошла, теперь черед кавалерии; и живописные донцы гарцуют на нарядных, убранных лентами конях.

Спускаюсь вниз, спрашиваю у хозяина гостиницы, подобострастного бюргера в роговых очках, кто этот человек, живущий в доме напротив. Не успевает ответить — выстрел.

Стреляли в доме напротив.

Бежим в дом напротив, взбегаем по лестнице на второй этаж. Дебелая фрау в остроконечном чепце безмолвно впускает нас в комнату.

Там, на полу, крытом узорчатым линолеумом, лежит человек в черном костюме. Рядом, на линолеуме,— офицерский «вальтер».

С улицы доносятся звуки вальса, ритмичный цокот копыт. Дебелая фрау по-прежнему поражена безмолвием. Склоняюсь над трупом человека, в глазах которого я читал полчаса назад злобу, живую, неукротимую. Он застрелился, потому что эта злоба бессильна.

На Шпрее

9 мая, в День Победы, когда над руинами Унтер-ден-Линден, над рейхсканцелярией, охраняемой красноармейцами, над Аллеей Побед, по краям которой коробились остовы исковерканных немецких танков, бешено взметнулся цветистый пламень ракет, и трассирующие линии прочертились в дымном берлинском небе, и наполнилась до краев вечерняя тишина грохотом уже несколько дней молчавших пушек, к нам подошел скуластый капитан с эмблемами танкиста на погонах. На его кирпичном лице играли отсветы салюта, и от этого, казалось, глаза его излучали необыкновенное сияние. Он козырнул, сильно, от души стиснул нам руки, коротко сказал:

— С победой, товарищи моряки! Вы с Днепровской флотилии?

— Нет,— сказали мы.

— А...— разочарованно протянул он и, задрав голову, посмотрел на промчавшуюся над нами оранжевую хвостатую ракету.— А то хотел через вас поздравить одного человечка. С Днепровской. Суворов. Не слыхали? Не фельдмаршал, понятно. Лейтенант. Это и ему салют. За Шпрее.

И скуластый капитан отрывистыми, рублеными фразами стал рассказывать о том, какой смельчак этот Суворов, и о том, как качали Суворова танкисты и как даже сам командир гвардейской танковой дивизии, полковник, человек суровой породы и видавший виды, на глазах у сотен бойцов прижал к сердцу Суворова и накрепко поцеловал его и записал в книжечку его имя, отчество и фамилию.

Как случилось, что имя Гавриила Суворова, скромного политработника Краснознаменного Бобруйского соединения речных кораблей, после боев за Берлин стало известным за пределами флотилии? Я прочел впоследствии приказ армейского генерала, особо отмечавшего великолепные качества лейтенанта Суворова, инструктора политотдела.

Когда Суворов появился впервые среди комсомольцев флотилии, его встретили корректно, но сдержанно. Новый человек, никто не знал, каков он в бою. Правда, краснофлотцам понравилось то, что он умел без тени подлаживания или панибратства быстро сходиться с людьми, но этого было еще мало для того, чтобы быть принятым в боевую семью, прошедшую длинный и смертный путь и оценивавшую человека не только по тому, как он разговаривает, но и — прежде всего — по тому, как он воюет.

Корабли двигались вперед, менялись названия рек — русские, польские, наконец, немецкие. Именно здесь, в речных операциях, за Суворовым окончательно укрепилась репутация воина.

...Полуглиссера шли на автомашинах, в боевых порядках пехоты. С каждым километром, приближавшим краснофлотцев к Берлину, росло их волнение, беспокойство: успеют ли они принять участие в последнем сражении? Суворов говорил краснофлотцам о том, что им суждено представлять флот в боях за столицу Германии.

И вот они впервые увидели Шпрее. Она открылась морякам в сумрачный рассвет, в облаках проглядывали синие окна, в пожарищах над все еще сопротивлявшимся нацистским Берлином.

На берегу, у развалин, где цвели вишни и акации, накапливались воинские части, автоматчики, артиллерия, танки. С противоположной стороны нацисты вели огонь, и под огнем моряки начали спускать катера в воду.

Они спускали катера на руках.

Маленькие, хрупкие корабли брали на буксир понтоны с танками, бойцов десанта и летели к противоположному берегу. Первый бросок десанта вырвался на берег, на узенький плацдарм. Там уже завязался бой.

Катера шли во второй рейс. Река простреливалась в каждом дюйме. Стреляло все, что могло стрелять. Но катера шли и во второй, и в третий рейс. Перед боем Суворов написал краткую клятву-призыв. Каждый моряк поставил под ней свою подпись.

Тысячи бойцов на берегу ждали очереди на посадку. Внезапно на противоположном берегу, из-за дома, выскочила самоходная пушка противника — огонь прямой наводкой по переправе. Один из наших танков, переправлявшийся на понтонах, вспыхнул, подожженный снарядом. Экипаж танка и несколько автоматчиков, сидевших на броне, оказались в воде. Они ухватились за понтон руками, пытаясь удержаться на поверхности. Но пламя все больше охватывало танк, и людям грозила гибель.

Суворов побежал к переправе и прыгнул в стоящий у берега катер: «Полный вперед!»

Моторист запустил мотор с места. Полный ход! Танкисты с берега следили за маневрами маленького корабля. И гитлеровцы следили тоже. Они тотчас же перенесли огонь по катеру.

Но он уже был рядом с тонувшим танком. Надо было максимально быстро подобрать тонувших и раненых бойцов. В эти секунды, которые там, на берегу, казались часами, в танке начал рваться боезапас. Теперь уже с берега ничего не стало видно. Пламя, дым окутали и тонувших людей, и танк на понтонах, и катер лейтенанта Суворова.

Время измерялось секундами. Один за другим все двенадцать человек — экипаж танка и автоматчики — были взяты на катер.

И когда на берегу увидели бойцы благополучно подошедший катер и лейтенанта Суворова, утиравшего взмокшее и раскрасневшееся от дыма и пожара и от всего пережитого лицо, толпа танкистов, забыв об огне, об опасности, хлынула к катеру. Моряки очутились в кругу возбужденных, радостных людей, немилосердно трясших им руки, обнимавших их, и полковник, тот самый, о котором рассказывал нам скуластый танкист, подошел к Суворову и сжал ему руку изо всей силы.

— Все видел,— сказал полковник, волнуясь.— И наши воины видели все. Вы — моряк!

Вот почему танкист-капитан, встретивший нас на улицах Берлина в вечер Победы, так хотел поздравить Суворова еще раз, лично.

В Ораниенбурге

Наш «Штейер Грей», трофейная машина с очень низкой посадкой, застрял в центре Берлина, попав в воронку от американской авиабомбы. Вздохнув, я привычно взялся за скучное занятие, знакомое каждому автомобильному путешественнику: шофер, с несчастным лицом, бешено газовал, а я толкал машину вперед. На помощь вызвался проходивший мимо человек в полосатой арестантской пижаме. Наконец мы вытянули машину из воронки, но тут, как водится, зашалило зажигание, и, пока шофер, бормоча проклятия, возился с мотором, я разговорился с человеком в полосатой пижаме. Он неплохо объяснялся порусски, потому что, по его словам, жил несколько лет, до 1934 года, в Москве — он даже назвал свой прежний московский адрес: улица Горького, гостиница «Люкс» [1]. Потом он решил вернуться на родину, два года работал в антифашистском подполье, за ним гонялось гестапо, изловило его, и он провел более девяти лет в германских концентрационных лагерях. Он уже был близок к смерти, когда пришла Красная Армия.

[1] Теперь — гостиница «Центральная».

Были люди, которых мы встречали в Берлине и в Штеттине, в Кольберге и в Кезлине, на больших магистралях и в небольших городах и которые в первые же минуты знакомства уверяли нас, что они всегда были антифашистами, подвергались преследованиям гестапо, и после каждого такого разговора мы шутливо спрашивали друг у друга: куда же все-таки делись члены миллионной фашистской партии?

Сознаюсь, я отнесся с известным недоверием и к рассказу немца, проживавшего когда-то в московской гостинице «Люкс», хотя он и был одет в арестантскую одежду и на впалой груди его значился порядковый номер концлагеря. Словно почувствовав недоверие, наш новый знакомый сказал, болезненно улыбнувшись, что после всего того, что произошло, после этой, как он выразился, дьявольской катастрофы, у советских людей нет оснований верить на слово немцу, хотя бы и заявляющему о своем отношении к антифашистскому подполью. Больше того, сказал он, ему известно, что многие эсэсовцы, умерщвлявшие людей в ораниенбургском лагере, примерно за две-три недели до прихода русских переоделись в арестантскую одежду и сбежали в неизвестном направлении. В этой ситуации, сказал он, арестантская одежда не может служить антифашистским паспортом. «Меня звать Рудольф,— добавил он,— это было мое подпольное имя — товарищ Рудольф, меня знают многие антифашисты, если они еще живы. Но никаким документом удостоверить то, что я — это я, пока невозможно: я не взял документов из лагеря, так как документам из лагеря тоже нельзя верить: ведь эсэсовцам, бежавшим от кары, ничего не стоило смастерить фальшивые документы для самих себя».

Все то, что он говорил, было, к сожалению, справедливо.

У Рудольфа была мать, поэтому-то он и пришел в Берлин: она жила в Шарлотенбурге и она осталась жива. Сейчас он собирался назад в лагерь: там у него остался друг, вроде приемного сына, юноша из Киева, которому было пятнадцать, когда началась война. Он попал в лагерь за саботаж на военном заводе.

Юноша спал вместе с Рудольфом на одних нарах, они работали в одной мастерской, они дали зарок друг другу — уходить на волю вместе.

Большой ли это лагерь? Рудольф показал на порядковый номер, вышитый на его арестантской пижаме. Сорок пять тысяч шестьсот семьдесят пять. Самый большой номер был сто тридцать тысяч. К приходу Красной Армии осталось несколько тысяч заключенных, тех, которых не успели угнать в апреле... И сейчас еще в лагере есть люди — из тех, кто ждет очереди для отправки на родину или попросту не может двинуться в путь из-за истощения.

Я предложил Рудольфу составить компанию и поехать в лагерь вместе. Он весьма обрадовался оказии и на следующий день, минута в минуту, был у комендатуры Митте-района Берлина, где мы с ним условились встретиться. Он был все в той же арестантской одежде, в синем арестантском берете.

Разумеется, из лагеря он пришел в Берлин пешком.

Проехав около сорока километров, мы увидели лагерь, как и полагается, обнесенный высокой стеной, по которой проходили провода токов высокого напряжения. У ворот нас остановил патруль с винтовками — это были заключенные из русских и поляков. Рудольф поздоровался с ними, они узнали его. И вскоре нас окружила доброжелательная толпа русских, югославов, чехов, голландцев, французов, наперебой предлагавших свои услуги в качестве проводников по лагерю. Здесь были русские парни, попавшие в лагерь за саботаж и за антифашистскую агитацию; была девушка, сбежавшая от пытавшегося изнасиловать ее бауэра из Восточной Пруссии, ее избили и отправили в лагерь. Были здесь чехи, голландцы, участники движения Сопротивления, югославы-офицеры, сидевшие с 1941 года. Были немцы — коммунисты и социал-демократы. Словом, это был лагерь политических заключенных всех национальностей, лагерь особого назначения. Люди сидели здесь без срока.

Рудольф познакомил нас с юношей из Киева, своим другом. Он не знал, где его родители,— его разлучили с ними, когда фашисты оставили Киев,— вместе с другими молодыми людьми из Киева его угнали насильно на чужбину. Он трижды порывался бежать еще по дороге в Германию, его ловили и нещадно били.

Виктор, так звали юношу, предложил нам начать осмотр лагеря с заднего двора; и мы пошли туда, сопровождаемые все увеличивающейся толпой заключенных.

Первое, что мы увидели на заднем дворе, — были бочки с прядями женских волос. Три бочки уже были закупорены наглухо, на днищах стояли черные штампы. Другие две бочки не успели закупорить и проштемпелевать, так как пришла Красная Армия.

Из этих бочек вывалились на землю копны женских волос — льняных и каштановых, русых и черных, белых и золотисто-рыжих. Это были волосы умерщвленных женщин. Их стригли перед смертью. Этими волосами потом набивали матрацы. Ничто в Германии не пропадало даром.

Тут, на заднем дворе, были не только бочки с женскими волосами, тут было в меньших масштабах все то, о чем мы читали потом в описании Освенцима, Треблинки и Майданека.

Была свалка мужских ботинок, дамских туфель, пиджаков и кофточек, кальсон и сорочек.

Было углубление, ведущее к стене, где расстреливали,— в стене сохранились дырочки от пуль.

Была газовая камера — сюда водили осужденных на рассвете или когда темнело. Чтобы не поднимать в бараке, из которого уводили на убийство, излишнего шума, осужденным давали по кусочку мыла и сообщали, что их ведут в баню. У входа в газовую камеру мыло отбирали, вталкивали заключенного в камеру, герметически закрывали дверь. Из газовой камеры ход вел в комнату с печами, выложенными из красного кирпича. Этот путь заключенные проделывали уже мертвыми, на носилках. Кости выбрасывались из печей механизированным способом, по специальным трубам, в наружную яму. Мы видели эту яму и видели эти кости.

В молчании мы покинули задний двор, прошли мимо маленьких выкрашенных в зеленый цвет будочек — тут удобно и просторно жили сторожевые собаки эсэсовцев, мимо аккуратных, утопающих в зелени домиков эсэсовцев, мимо лежавших на земле и гревшихся на солнышке больных арестантов — вид их был ужасен — и вышли на гигантский заасфальтированный плац — место экзекуций и больших лагерных сборов. На этом плацу недавно был забит бычьими жилами до смерти и затем повешен заключенный, работавший в сапожной мастерской и вырезавший из кожи, предназначенной для шитья эсэсовских сапог, кусочек на заплату своих продравшихся ботинок. Десятки тысяч заключенных вывели на плац. Их заставили смотреть на то, как провинившийся был избит, как его, уже мертвого, подтащили к виселице и вздернули. Кажется, это был профессор, чех по национальности.

Рудольф повел нас в барак, в котором он провел девять лет жизни, если все это можно было назвать жизнью. С первого взгляда нельзя было поверить, что тут, в этом бревенчатом сарае, спали пятьсот человек — казалось, такое количество людей не уместилось бы тут и стоя.

Но тут спали пятьсот человек, именно пятьсот, и каждую ночь кто-нибудь умирал, и его место в следующую ночь занимал другой.

Мы видели в этот день многое, о чем неприятно писать и что не хочется видеть во второй раз,— карцер, где люди сходили с ума, лазарет, где доживал последние часы французский коммунист, бычьи жилы, которыми избивали насмерть.

Рядом с нами шел Виктор, юноша из Киева, и ровным голосом, как на экскурсии, объяснял нам назначение того или иного здания. Гревшиеся на солнышке изможденные люди, мимо которых мы проходили, приветствовали нас добрыми улыбками; и в глазах их светилась большая человеческая радость от того, что они видят, как по лагерю ходят советские офицеры.

Нельзя было не восхищаться этими людьми, сохранившими не только бодрость духа, но и элементарную способность улыбаться, шутить после всего, что они испытали.

Вечером мы покидали лагерь. Мы пригласили Рудольфа занять место в машине. Он покачал головой. «Теперь всем не уместиться». Я не понял. «Ведь уместились же мы, когда ехали сюда». «Теперь я не один». Он показал на Виктора, стоявшего в стороне.

— Тогда, в Берлине, вы отнеслись ко мне с недоверием,— медленно, подбирая слова, сказал мне на прощание Рудольф.— Мне было очень больно, но я на вашем месте, наверное, поступил бы точно так же. Поэтому я так обрадовался, когда вы собрались поехать в лагерь, где меня знают. Теперь вы верите мне?

Я ничего не сказал и только крепко пожал его руку. Да, этому человеку, просидевшему в таком лагере девять лет и не согнувшемуся, не сдавшемуся, можно было верить, хотя у него и не было никаких документов.

* * *

В конце шестидесятых годов, приехав в Германскую Демократическую Республику, на премьеру своей пьесы «Между ливнями» в Дрездене, я выбрал день, чтобы непременно съездить в Ораниенбург.

Ведь тогда, в сорок пятом, я и не знал, что там, в Ораниенбурге, находилась именно та самая фабрика смерти, которая войдет потом в самые мрачные анналы столетия под именем Заксенхаузен...

В 1961 году вышли в Воениздате воспоминания бывших узников Заксенхаузена, советских военнопленных.

«Незримый фронт». Так называется эта книга. Из нее я узнал, как готовилось вооруженное восстание в лагере, его возглавлял узник № 46 883 — генерал А. С. Зотов, схваченный фашистами 22 июня 1941 года на советско-германской границе в Литве после того, как он расстрелял все патроны. Его связали и швырнули в машину, которая привезла в концентрационный лагерь...

Там, в лагере, Зотов объединил вокруг себя все антифашистское лагерное подполье...

Память об этих днях, неделях, годах живет и сегодня в Заксенхаузене, превращенном в музей.

Я справлялся в канцелярии музея о моем старом знакомом. Ничего не удалось выяснить. Покинув музей, стал наводить справки в Берлине и после долгих поисков наконец узнал: Рудольф работал в послевоенном Берлине, но прожил, увы, после своего освобождения недолго, надломленный организм не выдержал, заболел и — не встал...

А в 1970 году ко мне в гости, в Москву, приехал профессор Кайзер — один из известнейших театральных деятелей современной демократической Германии. Он ставил мою фантазию на темы Всеволода Вишневского «У времени в плену» в драматическом театре Лейпцига.

Есть в этой фантазии сцена фашистской капитуляции сорок пятого года, на которой присутствует герой моей фантазии, Всеволод.

И профессор Кайзер попросил меня сделать «германский вариант» сцены — ввести в нее «от Германии» не только германского генерала и русского белогвардейца, но и германского антифашиста, из тех, кто в темную нацистскую ночь верили в будущее, боролись за него даже в самых немыслимых, невозможных условиях человеческого существования...

И я, спервоначала недоверчиво отнесясь к просьбе германского друга, профессора Кайзера, поскольку трудно было вводить в художественную ткань уже сложившегося произведения новое лицо, требующее нового сценического и художественного решения, припомнил другого моего германского друга, того, что помогал мне вытаскивать застрявший «Штейер Грей», и согласился...

И в сцену капитуляции фашистской Германии был введен германский антифашист в полосатой арестантской пижаме...

Легко вписался в пейзаж фашистской капитуляции этот антифашист, и он как бы принимал вместе с советским командованием ключи от берлинской столицы, ведь и перед ним капитулировал фашизм. И это была не формальная дописка, это был кусочек жизни, правда, которую я видел...

Небо в алмазах

Каждая встреча с ленинградцами тут, в Германии, приобретала в 1945 году значение почти символическое. Так было, например, когда я увидел в гавани Кольберга Василия Ильича Тройненко, командира торпедного катера, старшего лейтенанта. И сам его катер у причала среди других стоявших там балтийских катеров. И на его, Тройненко, катере, на серо-стальной рубке, белыми буквами аккуратную надпись: «Ленинград — Кольберг».

Эти два слова заключали в себе всю военную биографию старшего лейтенанта. Он прошел путь от Морского канала до гавани Кольберга за четыре года. Все вошло в эти два слова: и сопряженная со смертельной опасностью постановка мин в шхерах, и такое же опасное конвоирование кораблей из Ленинграда в Кронштадт и из Кронштадта в Лавансаари, и обеспечение наступления на Карельском перешейке, и высадка десантов на

Моонзундских островах, и скрытый прорыв зимой, во льдах, с самодельным ледяным тараном, через коммуникации противника в район действия либавской группировки гитлеровских войск, и, наконец, высадка первого броска десанта на датский остров Борнхольм, занятый двенадцатитысячным гарнизоном врага.

Представьте себе синеватые круги от многих бессонных ночей, красные, воспаленные и все-таки смешливые молодые глаза; представьте себе морского волка с хрипловатым, настоянным на всех ветрах голосом, при этом юное, почти мальчишеское лицо, а на нем борода, рыжая, полукружием, совсем как у джек-лондоновских шкиперов, а впрочем, и похожая на нынешние «стиляжные» бородки; добавьте к этому капковый бушлат, а под бушлатом потертый, видавший виды блокадных времен синий китель, а на кителе орден Ушакова, три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны и конечно же медаль «За оборону Ленинграда» — и вот вам портрет Василия Ильича Тройненко, которого в дивизионе окрестили «Базилем»,— портрет молодого человека сороковых годов двадцатого столетия.

9 мая 1945 года Базиль возвращался из операции — последней своей боевой операции во вторую мировую войну.

Стоял в рубке торпедного катера с надписью «Ленинград — Кольберг», всматривался в летящие навстречу готические очертания, а внизу, в крохотной его каюте, маялся морской болезнью несколько необычный пассажир. Пассажира выворачивало наизнанку — видно было, не моряк,— когда немного отпускало, сидел на узенькой койке, подбрасываемый свежей балтийской волной, посеревший, стиснув руки в коленях.

Пассажир, сидевший в каюте Тройненко, сутки назад был всесильным диктатором на острове, хозяином жизни и смерти его датского населения, немецкого многотысячного гарнизона. Четыре торпедных катера, в числе их и катер Базиля, на полных оборотах, не таясь, не ночью, открыто, при полном солнце ворвались в гавань города Ренне, миниатюрной столицы острова, игрушечного припортового городка с узенькими улочками и цветными домиками, похожими на акимовские декорации к пьесам Евгения Шварца. Молниеносная швартовка, и высадили десант — небольшой, всего сто восемь морских пехотинцев под командованием майора Антоника. Майор действовал стремительно, не давая оправиться оцепеневшему гарнизону, возможно и даже наверняка не зная о численности этого гарнизона. Незамедлительно обезоружили охрану гавани, заняли причалы, входы и выходы из порта, благо он был тут весь как на ладони. Теперь можно было ждать десанта второго броска, пехоту полковника Скребкова.

Лихой набег балтийских катеров был до некоторой степени уже подготовлен балтийскими же летчиками: заняв аэродром в Кольберге, летчики дважды Героя Советского Союза Мазуренко нанесли несколько ударов по немецкому гарнизону, чем сильно его деморализовали и загнали в борнхольмский лес. И все-таки набег был столь дерзостен, что генерал, командовавший двенадцатитысячным гарнизоном, и мысли не мог допустить, что перед ним всего сто восемь человек; с минуты на минуту ожидал высадки главных сил. Оттого-то он, выйдя навстречу Антонику, разом согласился на ультиматум Антоника и капитулировал.

Антоник приказал Тройненко взять на борт оглушенного генерала и доставить его в Кольберг немедля.

Когда катер Тройненко уже исчез из виду, взяв курс на материк, оставленный немецким генералом заместитель, некий полковник по фамилии Уннальд, которому Антоник приказал к вечеру сдать все оружие гарнизона и сложить его в специально отведенных для сего местах, несколько оправился от изумления, понял, что перед мощным гарнизоном ничтожная кучка десантников, каковых скинуть в море не составит труда. Уннальд вызвал в город из леса войска. Антоник узнал об этом от датчан-антифашистов, приехавших в порт на велосипедах. Майор окружил здание близ порта, где находился Уннальд и его штаб, навел орудия катеров на это здание, и Уннальд удрал из штаба на машине.

Моряки держались в Ренне до тех пор, пока не высадился на острове большой армейский десант.

А между тем, как говорится в романах, на борту катера «Ленинград — Кольберг» военный комендант острова Борнхольм мчался в плен.

Стоило идти сюда из Ленинграда!

Это было его, Базиля, небо в алмазах.

Так он отметил 9 мая, День Победы.



«С освобождением Правобережной Украины перед советскими войсками на юге страны непосредственно стала задача изгнания оккупантов из Крыма. Более двух лет враг возводил здесь мощные укрепления. Засевшая в Крыму вражеская группировка сковывала наши войска, осложняла базирование Черноморского флота. Владея Крымом, гитлеровцы могли контролировать черноморские проливы, оказывать давление на Турцию, Румынию и Болгарию. Немецко-фашистское командование намеревалось удерживать Крым до последнего человека. Солдатам объявили, что возведенная на полуострове оборона неприступна».

Разгром немецко-фашистских войск в Крыму означал, что ликвидирован последний крупный плацдарм врага, угрожавший тылу советских войск. Изменилась вся стратегическая обстановка на Черном море. Советский флот вновь получил первоклассные порты, что резко улучшило условия его базирования, облегчило совместные действия флота с сухопутными войсками в последующем наступлении на Балканах.

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 518, 520.

АЛИМ
КЕШОКОВ

ВКУС СИВАША



Линия на реке Молочной, считавшаяся чудом военно-инженерной техники, рухнула под ударами советских войск. Она не оправдала надежд гитлеровского командования, пытавшегося во что бы то ни стало прикрыть подступы к Крыму, предотвратить образование южного котла. Не помогли ни опорные пункты бункерного типа, в которых не было ходов сообщения в тыл, ни тройной оклад, выплачивавшийся офицерам, ни «железный крест», обещанный каждому защитнику Голубой линии.

«Не выпустить немца за Днепр. Прихлопнуть его в Крыму. Устроить гитлеровцам на юге второй Сталинград» — с таким аншлагом вышел 10 октября 1943 года «Сынок», как ласково называли читатели красноармейскую газету 51-й армии «Сын отечества». К этому времени и войска Северо-Кавказского фронта полностью очистили от врага Таманский полуостров.

За Крым гитлеровцы заплатили дорого — под стенами одного Севастополя нашли бесславный конец тысячи солдат и офицеров. И снова в панике гитлеровцы сами лезут в «мешок», горловина которого вот-вот будет затянута. И пусть. Им держать ответ за свои злодеяния в Крыму: за истребление десятков тысяч советских людей в Симферополе, Евпатории, Керчи.

Подвижные части, обгоняя отступающие войска противника, устремились к Крымскому перешейку, чтобы не дать врагу использовать ишуньские позиции — ворота в Крым. Тогда гитлеровцы спешно бросили к перешейку резервы. Мотопехоте и танковым частям врага удалось захлопнуть ворота, но часть Турецкого вала, перерезающего перешеек, оказалась в наших руках. Оставалось одно — форсировать Сиваш и выйти в тыл немецко-фашистским войскам.

И надо же такое совпадение. Двадцать три года тому назад в такие же пасмурные осенние дни к Сивашу подошли войска Красной Армии под командованием легендарного полководца Фрунзе.

Снова прибрежное село Строгановка наполнилось войсками, готовыми форсировать Гнилое море. Сложную операцию предстояло осуществить ночью. Но нужен проводник. Только он сможет провести передовые части по дну моря на противоположный берег. И тогда вспомнили об Оленчуке, том самом проводнике, который в гражданскую войну помог переправиться через

Сиваш войскам Фрунзе. Оказалось, что Оленчук до сих пор живет около Сиваша. Послали за ним. Иван Иванович догадался, зачем он нужен. Натянул сапоги, на свитер из грубой шерсти надел ватник армейского покроя.

Это был уже немолодой, с мужественным лицом, крепко сколоченный, несколько медлительный человек. Недлинная борода уже покрылась сединой, а брови и усы оставались темными. Ему с полсотни лет, но он из тех, кто не чувствует ни в движениях, ни в душе тяжести возраста.

— По вашему вызову, стало быть,— Оленчук пытался представиться по уставу, чтобы подчеркнуть, что и он считает себя воином, готов выполнить боевое задание командования.

Первым заговорил командир стрелкового полка подполковник Маслов:

— Товарищ Оленчук! Придется принять холодный душ. Купаться холодновато. Белые мушки летают. Снег. Потом будем отогреваться вместе.

— Мне не привыкать,— глухо произнес Оленчук.

— Вот и отлично.

Пошли вопросы.

— Пойдете с разведчиками. Не заблудитесь в рукавах?

— Фашисты не дадут.

— Как?

— Очень просто. Надо идти туда, откуда кудахчет пулемет. Верный ориентир.

Подполковник изумился:

— А ширина?

Иван Иванович виновато ответил:

— Це уже я вам не можу сказать, не мерял. Разно бывает. Где восемь, где четыре километра.

— По карте в этом месте три тысячи шестьсот метров,— подполковник посмотрел на карту, не вынимая ее из планшетки.— Погода благоприятствует. Дует западный ветер...

Оленчук знал, что значит «западный». Только при таком ветре море становится проходимым и Сиваш можно перейти вброд. Но командир полка опасался не только перемены ветра. Враг знает, что наши войска вышли к Сивашу и попытаются захватить плацдарм на противоположном берегу, поэтому нельзя было терять ни минуты.

Ночью войска двинулись пешком по морю.

Впереди, не отрываясь от Оленчука, шли артиллерийские разведчики. Их задача — передавать координаты вражеских огневых точек на свою батарею, вызывать огонь и корректировать его, пока не умолкнет огневая точка врага.

За ними шли бойцы; кроме своего снаряжения несли на себе через Сиваш снаряды, части минометов и пулеметов. Попробо-

вали использовать лошадей — не получилось: проваливались по самое брюхо. Орудия разбирали и грузили на лодки. На плацдарме предстояло их снова собрать и пустить в дело. И вот наконец Крымский берег.

Артиллеристы, минометчики и пулеметчики Маслова в ночной мгле, на ощупь, собирали разобранные орудия и минометы и тут же почти в упор начинали бить по огневым точкам врага. Пехотинцы пустили в ход «карманную артиллерию». Ошеломленные внезапным ударом, гитлеровцы, откатываясь назад, в ночной темноте теряли ориентировку в лабиринте сивашских рукавов, принимали холодные ванны, бросали технику.

Наши войска, захватив плацдарм, прочно обосновались в Крыму.

Подполковник Маслов приказал доставить Ивана Ивановича Оленчука на Большую землю так, чтобы этот человек не замочил ног. И проводника отправили в обратный путь на резиновой лодке.

— Упавшему в реку дождь не страшен,— отказывался Оленчук. Но приказ командира — закон.

Иван Иванович еще не знал, что где-то в штабе на него составляют реляцию: простой колхозник будет представлен к награде — ордену Отечественной войны.

На следующий день я получил задание дать материал с захваченного плацдарма. Падал редкий снег, дул холодный ветер. Подходили саперные войска. Появились надувные лодки. На них грузили боевую технику, боеприпасы, продовольствие, пресную воду и дрова: на плацдарме не было ни пресной воды, ни леса для строительства землянок и огневых точек и даже для растопки кухонь.

Я заметил пожилого человека в штатском, который что-то веселое рассказывал бойцам. Это Оленчук — проводник, «вылезший из воды сухим». Подошел поближе. Слышу:

«...Вижу длинный стол стоит, а за ним человек семь сидят. «Добрый вечер»,— говорю. «Добрый вечер»,— отвечают. Потом один встал и говорит: «Проходите, прошу вас, сидайте на стул» — и стул мне пододвигает. А дежурному приказывает засветить лампу. Засветили. Вижу — все военные. А один сидит красивый, с усами, в защитной гимнастерке. Перед ним большой лист бумаги, карта, стало быть. Это и был Фрунзе. Он расспросил мое прозвище, фамилию и отчество. Я отвечаю, а сам думаю, что же дальше? Сдрейфил немного. А Фрунзе молвит: «Вот что, Оленчук. Вы Сиваш знаете?» Как мне не знать Сиваш, если вся моя жизнь с ним связана. «Знаю,— говорю,— хорошо знаю». Фрунзе вынул из кармана коробок спичек, высыпал несколько спичек на карту. Складывал их, складывал, потом говорит: «Ширина ничего себе». А я ему: «Не ширина важна. На том

берегу пулемет на пулемете стоит, укрепления. Белые хотят зимовать в Крыму». Об этом Фрунзе и слушать не стал, обратился ко мне: «Вот что, дорогой Оленчук. Вам предстоит ответственное задание — показать Красной Армии путь через Сиваш. Мы вас хотим взять проводником». Видит он, что я задумался, стою и не знаю, что сказать, подошел, хлопнул меня по плечу: «Не робей, Оленчук. Мы знаем, что вы бедняк, а мы бьемся за бедноту, за диктатуру рабочего класса. Так вот, будьте добры, помогите нам».— «Хорошо,— говорю,— иду! Только с уговором: дайте мне винтовку». А он отвечает: «Не надо вам винтовки. Переведете нас на тот берег и обратно вернетесь».

К берегу подходили новые и новые подразделения. Минута на раздумье, на преодоление психологического барьера — и в воду. От самого берега шагов тридцать по илу, потом вода. Сначала по щиколотку, потом по пояс, а уж дальше по самое горло, если человек не очень высокого роста.

Оленчук взглядом провожает тех, кто уходит в море, и, помолчав с минуту, продолжает вспоминать события далеких лет: «Отряд уже выстроился у берега. Командир говорит: «Оленчук, вперед!» Только входим в море, белогвардейцы стали прожекторами шарить по воде, открыли артиллерийский огонь. А тут, вижу, меняется направление ветра. Не дай бог восточный нагонит столько воды, что потонем все. На счастье, спустился туман. Его прожекторами не пробить. Всю ночь шли. Не быстро, тихо шли. Вижу, вода мелеет. Значит, скоро берег. Приготовились к бою, чтобы, как только вступим на берег, ударить по врагу. Ночь с 7 на 8 ноября 1920 года раскололась от грохота, сквозь туман полыхал огонь, когда красноармейцы вышли на крымский берег».

Рассказ прерывается, но бойцы не выпускают Оленчука из круга.

— Как позавчера? — спросил паренек.

Оленчуку не удалось ответить: подана команда «строиться». Я остался еще несколько минут около Ивана Ивановича, чтобы познакомиться с ним. Уточнить некоторые имена, заглянуть в историю Южной Таврии.

Предки Ивана Ивановича пришли сюда по велению царицы Екатерины промышлять соль. Вдоль Сиваша выросли села из глинобитных, похожих друг на друга домиков. По утрам мужчины с лопатами выходили на белые от соли берега озер, а женщины осваивали земли.

Строгановка называлась соляной столицей. От нее расходились соляные дороги во все края. Говорят, соль, добытая невероятным трудом, вывозилась не только во все губернии России, но и в другие страны. По словам моего собеседника, в незапамятные времена из-за моря сюда пришли люди. Они про-

рыли глубокий ров на перешейке, из вынутой земли насыпали вал. На валу поставили резные ворота с висящим через ров мостом, за воротами — город, названный Тафросом.

Кто только не штурмовал вал! Но никто не пытался форсировать Гнилое море вброд. Только Красная Армия смогла сделать это.

Этот беспримерный подвиг повторился и в октябрьские дни 1943 года.

Подъехал командующий армией генерал Крейзер. Навстречу ему вышел командир дивизии, доложил обстановку. Не дав комдиву докончить, Крейзер предложил ему немедленно перенести КП на противоположный берег.

«Если генералов заставляют «освежиться» в ледяной морской воде, мне не на что рассчитывать»,— подумал я. Проситься в лодку бесполезно. Впервые я пожалел, что мой рост не метр сорок пять, а на пятнадцать сантиметров больше, ибо низкорослых вброд не пускали.

Но мешкать нельзя: направление ветра переменится, плохо будет.

Взял по примеру других длинный шест, чтобы прощупывать морское дно, нет ли воронок или ям, и пошел. Пройти надо было три тысячи шестьсот метров.

Пока море было «по колено», шел более или менее уверенно. Но чем дальше, тем глубже. Вон солдат впереди уже по пояс погрузился...

Рвутся снаряды, и ты невольно пригибаешься. И уже весь промок. Мокрая шинель сковывает тело. Чувствуешь, в воде теплее, чем над водой, на ветру.

То один, то другой боец под тяжестью груза увязнет в иле и зовет соседей на помощь. Иногда человек идет, идет — и вдруг исчезает под водой, потом, глядишь, всплывает. Воронки. Я не раз побывал под водой. Ноги проваливаются в ил, главное — не потерять сапоги. Если сапог увяз так, что не вытащить без рук, присядь под водой, возьмись за голенище и тащи. Так и раз, и два, и три. Люди падают, роняют ношу, ищут ее под водой.

Идем, а над нами стелется белым облаком пар. И вот уже над водой одни головы. Облачко пара словно прикрывает их от авиации, холода и вражеского глаза. В воде невозможно различить где кто, но каждый по голосу узнает своего командира.

На противоположном берегу, когда мы туда наконец дошли, нас ожидал приятный сюрприз — каждому, перешедшему Сиваш вброд, выдавали полкружки спирта. Запить его нечем, пресной воды нет. Закусывай рукавом, выжмись у костра, разведенного в яме, и топай дальше. Снимаешь одежду, выжимаешь ее, синеют губы от холодного ветра, не слушаются руки.

Выполнив боевое задание, я вернулся к себе «домой». Но через неделю пришлось повторить холодное купание. Приехал полковник, который должен был попасть на плацдарм. Мне, как уже «знающему дорогу», приказали перевести гостя через Сиваш.

Приказ есть приказ. Я вооружился шестом и пошел. Полковник едва поспевал за мной. Оказавшись по грудь в воде, он оглянулся назад, много ли пройдено. Впереди берега не видно. Туман. Сырой воздух пронизывает до костей. Я ему объяснил: следи за зенитчиками на берегу. Они стерегут переправу. Если зенитчики всполошатся, жди бомбежки. Хотя бомбы не так опасны для людей, стоящих в воде, все же это не очень приятно. Самолеты открывают огонь из пушек и пулеметов по живым целям. От него и вода не спасет.

Мое предупреждение произвело впечатление на москвича. Он не сводил глаз с зенитчиков, отставал, иногда не замечал места, где я обходил подводные воронки, и не раз с головой исчезал под водой. Мне приходилось возвращаться и протягивать ему конец шеста, чтобы вытащить его из ямы.

Измученные и посиневшие, мы выбрались наконец на берег. Вышли к землянке, из которой валил дым. Пункт обогрева. Раньше здесь была просто яма, теперь землянка. Она набита битком. Мокрые вперемежку с голыми. Протиснулись и мы в черную дыру.

Полковнику уступили место у огня. Старшина налил нам по полкружки спирта — «отходную» (выпил — отходи в сторону, дай другим место). Мой спутник был в хромовых сапогах, попробуй стащить — приросли к ногам, а шинель крутили вдвоем, чтобы выжать из нее воду. Меховая телогрейка раскисла. Из сапог выливать воду бесполезно: в землянке болотище по щиколотку, опять наберешь. И все равно — солдаты не унывают, шутят, особенно после чарки. Жаль — мало. Даже спирт не очень греет кровь.

Я залпом выпил свою долю, а мой спутник долго морщился, хоть зубы стучали о край алюминиевой кружки. Понюхав не очень чистый спирт, он не стал пить. Отыскал меня в дыму и протянул свою кружку, дескать, выпей,— видимо, не был приучен к такому напитку.

Я не хотел брать. Не потому, что мне было достаточно моей доли. Чарка спирта — единственное спасение от простуды, это понятно всем. А нас не ждала натопленная комната. На плацдарме негде и голову приткнуть, на ночь прикрываются лишь туманом. Лишь в полевом госпитале сухо и тепло.

В землянку заходили все новые и новые люди. В ней так тесно, что невозможно нагнуться, чтобы стащить сапоги или брюки. Прикосновение голых тел не вызывает брезгливости. Теп-

лее. Надо взять кружку у полковника, пока он не передумал.

— За ваше здоровье!

Двойная доза не спасла меня от страшнейшей простуды. В полку, куда мы прибыли, на ночь нам дали «постель» — по пять камышин, которые следовало класть под себя, чтобы лежать не на сырой земле. Свой камыш я отдал спутнику за спирт, который он мне уступил.

Полковник долго укладывался: с искусством спать на камышах он еще не был знаком. Камыши надо класть под бедро и плечи, а под голову сумку. Тогда ты лежишь на настиле, не касаясь земли.

В землянке, которую нам уступили, был страшный холод. Сверху она была прикрыта лишь брезентом. Землянка с накатом была только у комдива. Я устроился неплохо: под бедра положил планшетку, под лопатки армейский пояс,— какая ни есть — защита от сырости. Оба мы долго не могли заснуть, хотя смертельно устали. Все мокро, не греет...

Утром полковник не смог встать, у него была высокая температура. Врач определил: воспаление легких. Заболел и я. А ведь мне предстояла обратная дорога через Сиваш. От одной мысли об этом меня бросало в дрожь. Все обошлось неплохо. Моего спутника решили отправить в госпиталь, и комдив распорядился, чтобы нас перевезли на лодке.

Вернувшись к себе, я слег. «Полковой врач», как мы в редакции называли известного критика Вениамина Гоффеншефера, взял меня под свое наблюдение. Каждое утро, кладя мне на лоб ладонь, измерял температуру. Три раза в день давал таблетки из скудной аптечки. А так как все таблетки перемешались, он сначала сам пробовал таблетку на вкус, а потом предлагал мне ее проглотить.

Через несколько дней я смог встать и уже своим ходом пойти к «полковому врачу» за помощью. Гоффеншефер стоял на квартире у одинокой вдовы, суровой и неразговорчивой пожилой женщины. Ее хата торчала на самом краю хутора. Коровенку, которой хозяйка дорожила больше чем собственной жизнью, она держала в той же комнате, где жила сама,— «а то еще угонят». Корова занимала один угол, хозяйка — другой. «Постоялец» отгородил себе закуток напротив хозяйки и свыкся с запахом навоза.

Как-то вечером, когда я отправился на очередное «медобследование» к Гоффеншеферу, до моего слуха донесся молодой женский голосок. Откуда? Из кривобокой с одним маленьким окошком облупившейся хаты моего друга. Я переступил порог и увидел на полатях девушку в военной форме. Она пришивала белый подворотничок к кителю и пела.

Гоффеншефер был счастлив. Он сидел за столиком и правил корректуру. Песня ему нисколько не мешала. Он познакомил меня с «птичкой», залетевшей к нему: москвичка, лейтенант.

Гоффеншефер должен был идти на дежурство. Уходя в редакцию, он назидательно погрозил мне пальцем:

— Ни-ни, Алим...

Он иначе понял мое желание ближе познакомиться с девушкой. О ней мне просто хотелось написать стихи или лирический портрет, в голове уже возникло и будоражило ум название: «Гвардии Нина». Так назвал ее Гоффеншефер, но она не открывалась и тем больше интриговала меня ее короткая, но боевая, насыщенная фактами и событиями биография.

Вместо того чтобы рассказать о себе, девушка поведала мне о судьбе юной партизанки, которую она назвала Нелли Шилиной, до войны — студентки Крымского театрального института. Когда гитлеровцы ворвались в Крым, студентка, мечтавшая о театральных подмостках, а может быть, видевшая себя в роли героинь кинофильмов, попала на узкие партизанские тропы в горах и лесах Крыма. И здесь ее ожидало разочарование: ей не дали боевого оружия, не доверили медицинский пункт, хотя она в институте была отличницей в кружке медсестер.

Политрук отряда ей сказал:

— Будешь доить коров.

В отряде было три дойные коровы без телят: приплод пришлось прирезать на мясо, когда в отряде появились первые раненые. Коров берегли, потому что молоко было единственной пищей. Даже не всегда удавалось раздобыть муку на хлеб.

Нелли нелегко было осваивать профессию доярки. В первый же день корова лягнула, опрокинула подойник и ушла. Буренка не подпускала ее к себе.

Политрук, оказавшийся в прошлом завфермой, объяснил:

— Коровьим соскам больно от твоих ногтей. Не сцена, маникюр здесь ни к чему.— Через неделю коровы привыкли к доярке. Вскоре Нелли стала душой партизанского отряда. Она не только поила бойцов парным молоком, готовила пищу. В свободные минуты девушка пела, пела о родине, море, солнце, о бойцах и моряках, о родном доме, разоренном врагом. Партизаны полюбили свою повариху-доярку, ласково называли ее соловушкой-кормилицей.

Однажды гитлеровцы ворвались на базу в тот самый момент, когда отряд находился на задании. Соловушка попала в руки карателей. После пыток и истязаний, окровавленную и измученную девушку повели вешать. Тропа в горах проходила над обрывом. «Лучше погибну на дне пропасти»,— подумала она и

бросилась с обрыва в пропасть. Нелли не слышала автоматной очереди, прогремевшей вслед.

Вечером она пришла в себя. Оказалось, что упала на верхушки деревьев, росших почти горизонтально на каменных выступах обрыва, и это самортизировало удар. Превозмогая боль, Нелли пыталась искать своих. Но партизаны сами нашли ее и на руках принесли в лагерь. Через несколько дней отважную партизанку на самолете отправили в госпиталь.

Я слушал Нину, делал пометки в своем блокноте и думал: не о себе ли она рассказывает?! Может быть, она не та, за кого выдает себя? И зачем ей разыгрывать меня?

— Значит, ваша фамилия Шилина? — не выдержал я.

Моя собеседница залилась смехом. Вместо ответа она прочитала мне стихи Бориса Корнилова. Я запомнил строки:

И, помня наказ обстоятельный твой,
Я верен, как пули комочек,
Я снова в работе боец рядовой,
Товарищ, поэт, минометчик...

У Б. Корнилова последнее слово «пулеметчик», но девушка, зная, что я в прошлом был минометчиком, заменила «пулеметчик» на «минометчик».

После завтрака наша гостья, взвалив на спину вещмешок, пошла в сторону Сиваша. Кто она?.. Я так и не узнал...

«Полковой врач» поставил меня на ноги, значит — за дело. И я поехал на передовую. Даже не «поехал», а полетел на самолете.

День был нелетным, опасаться неприятных встреч в воздухе не приходилось. По крайней мере, так мне казалось. Вот мы и взлетели. Самолет сразу взял курс на юго-восток.

Под нами проплывали заснеженные соломенные крыши деревень. Справа — Сиваш, затянутый серым туманом, противоположного берега не видно.

Вдруг сверху — косой сноп трассирующих пуль, за ним второй. Летчик резко пошел на снижение, направил машину в залив, чтобы скрыться в балке. Я решил, что мы падаем прямо в море. Самолет ударился об илистый берег, покатился, и мы оказались в болоте.

«Мессершмитт» сделал над нами разворот, видимо, хотел убедиться, что он сбил самолет.

Летчик — к сожалению, я не догадался записать его имя — пошел искать буксир. Через некоторое время он пригнал мощный грузовик — и вот самолет уже стоит на дороге.

Вскоре мы снова были в воздухе, а через некоторое время приземлились около артиллеристов. Первое, что я увидел, было орудие. Как его переправили через Гнилое море? Лодка не

выдержит, а понтонного моста еще нет. Артиллеристы объяснили:

— Очень просто, как бурлаки тянули баржу! В одну пушку впряглась вся батарея, тридцать человек. Пришлось по домам собирать веревки.

Гитлеровцы пустили танки против смельчаков, захвативших плацдарм, в надежде на то, что у них нет противотанковых орудий. Просчитались. Ошибка стоила им двух танков.

Тридцать лет в моем блокноте хранились имена артиллеристов — чудо-богатырей, чья пушка первой оказалась на крымском берегу. Это был орудийный расчет сержанта Гаяса Хасанова, голубоглазого казанского татарина, с ним наводчик Иван Луценко, заряжающий Данило Хижняк и подносчик снарядов Василий Решетняк. Отважный расчет имел всего десять снарядов, когда вступал в неравный бой с танками противника.

В глубокой яме-конюшне стояли трофейные лошади. Надо менять огневую позицию. Пожалуйста, запрягут лошадей — и мчись на танкоопасное направление. Скоро перетащат сюда целую батарею, подбросят снарядов, и можно не тужить.

Прошло полгода. За это время саперы навели мост через Гнилое море: вывезли в море десятки тысяч кубометров земли и шестьдесят тысяч мешков с землей для укрепления краев дамбы. Море в самый решительный момент закапризничало, вскипело от восточного ветра, поднялись волны, и дамбу размыло. Но саперы одолели стихию; под непрерывным артиллерийским обстрелом и бомбежкой восстановили дамбу.

Однажды с поэтом Кайсыном Кулиевым подошли к переправе. Посмотрели по сторонам: зенитчики, охраняющие переправу, сидят спокойно. Значит, налет не предвидится. Пошли. Едва достигли середины, как загремели выстрелы и тут же — бомбовый удар. Пришлось прыгнуть в море. И на этот раз не удалось перейти море сухим...

По усилившемуся движению войск мы догадывались о предстоящем наступлении. Кулиев писал:

Глотая сухую колючую пыль в просторах степных,
Мы пойдем вперед.
Пыль Турецкого вала неся на шинелях своих,
Мы пойдем вперед!

Мы пойдем вперед!

В начале апреля 1944 года начались бои на участке соседней армии — на Перекопе. Войскам пришлось взламывать долговременные сооружения. В глубине обороны противника —

ишуньские позиции — орешек, который не сразу расколешь. За зиму враг укрепился еще больше в надежде превратить Крым в надежный плацдарм в нашем тылу.

Начало наступательной операции я наблюдал с КП стрелкового полка, оборудованного на небольшом холмике. Передний край противника проходил в полутора километрах от нас. В это апрельское утро гитлеровцы, видимо, не подозревали о готовящемся наступлении. А мы напряженно смотрели на часы. Через несколько минут начнется артподготовка — извержение пламени и металла.

На нашем плацдарме шириной в двенадцать и глубиной в восемь километров негде было гильзе упасть: всюду войска и боевая техника. К началу наступательных операций по двум понтонным мостам, охраняемым истребительной авиацией и мощной зенитной артиллерией, переправились через Сиваш новые подкрепления.

Мы были уверены: никакие долговременные укрепления не спасут фашистов. На земле хозяевами были мы, в небе — мы, на море затягивалась петля на шее запертых в Крыму гитлеровцев.

Победу чувствовали, как соль Сиваша на губах.

В небе описали дугу сигнальные ракеты. Пора!

Взревела земля. Вздрогнул, зашатался от грохота весь наш плацдарм.

Передний край врага в один миг превратился в море белых, серых, желтоватых, свинцовых цветов-колокольчиков — земля в цвету. Она вскипела, покрылась пузырьками разрывов снарядов и мин. Видно, как в глубине вражеских позиций вспыхивает слабый ответный огонь, словно то тут, то там кто-то пытается зажечь спичку на ветру.

Еще не закончилась артподготовка, как в небе появились самолеты. Они летели в три этажа: внизу «летающие танки» — «илы», выше бомбардировщики, а над ними истребители, то взмывающие высоко в небо, то снижающиеся к самолетам, которых они прикрывали.

Огонь артиллерии по сигналу перенесся в глубину обороны противника. Настало время атаки. Вперед двинулись танки, за ними пехота.

После артподготовки казалось, что все живое в стане врага смешано с землей, перемолото. Но передний край противника ожил: застрекотали пулеметы, автоматы, заговорили пушки, молчавшие до сих пор. Гитлеровцы, которые во время артподготовки отсиживались под землею, вылезли...

Мне пришлось вместе с батальоном форсировать вброд один из рукавов Сиваша. Вновь хлебнули соленой воды. Батальон атаковал противника с тыла.

Выбора у неприятеля не было: или погибнуть здесь, или через некоторое время кануть в морской пучине; поэтому сопротивлялся он с яростной силой и ожесточением.

За три дня наступления оборона врага была прорвана на всю глубину.

Гитлеровцы, теснимые и со стороны Керчи и со стороны Перекопа, откатывались к Севастополю. Наши войска на плечах противника врывались в города, преследовали его по пятам.

Мы с Сергеем Зыковым спешили в освобожденный Симферополь, где во время оккупации оставались его мать и тетка. Живы ли? В самом начале войны они уехали из Москвы в Крым в надежде, что там будет спокойнее. Целых два года Сергей ничего не знал о них и был готов к самому страшному.

Полдня мы носились по дымящемуся городу от развалин к развалинам, от центра к окраинам. Безрезультатно. Потеряв надежду, неожиданно напали на след. Какая-то женщина дала нам адрес, сказав, что раньше они жили там. Помчались по этому адресу, но вместо дома нашли руины. Кто-то дал нам новый адрес, на другой окраине города. Добрались, остановились у небольшого, одноэтажного, с высокими окнами дома. Пожилая женщина, стоя на подоконнике, мыла единственное уцелевшее в оконной раме стекло.

Сергей Зыков на миг замер. Женщина посмотрела на меня, потом на него и продолжала мыть окно.

— Мама! — вырвалось у Зыкова, и он бросился к дому.

Мать Зыкова вскрикнула, уронила тряпку и залилась слезами. Сергей, как пушинку, снял мать с подоконника. В дверях показалась еще одна женщина. Она взмахнула руками, запричитала. Мать все не могла поверить своему счастью, щупала сына, вглядывалась в его лицо. Из соседних домов и подвалов выходили женщины. От радости за соседку, дождавшуюся сына, они плакали.

Я смотрел на женщин и думал, сколько материнских судеб перевернула война, разлучила с сыновьями, дочерями, близкими и родными. Если и моя мать дождется меня, то встреча будет такой же.

Война еще шествует по земле, и не все матери дождутся своих детей. Предо мной возник образ многострадальной женщины Соломии Ивановны, с которой мы только что расстались в Джанкое, где еще дымились руины после скоротечного, но жаркого боя.

Соломия Ивановна и ее муж, шестидесятишестилетний Федор Александрович Танковский, когда гитлеровцы рвались к Севастополю, после очередной бомбежки, оказались под открытым небом. Они недолго искали пристанища. Их приютили на батарее краснофлотцы.

Старик подносил снаряды во время боя, выносил раненых с поля боя, а в дни затишья выполнял поручения — «кто куда пошлет». Старухе тоже хватало дел: то зашивала кому-то брюки, то стирала, штопала тельняшки, то разогревала пищу, а если удавалось найти продукты, сама готовила. Моряки ели и похваливали, а ее, старую женщину, ласково называли «мать». Она была счастлива.

Узнав, что северная часть Севастополя подверглась сильному артобстрелу, Соломия Ивановна пошла проведать дочь и зятя, которые жили на окраине города. Старуха торопилась, чуяла сердцем беду.

Так оно и случилось. В живых осталась только дочь.

Трупа зятя и опознать не удалось.

Соломия Ивановна поплакала-поплакала с дочерью и вернулась к краснофлотцам, а тут гитлеровцам удалось захватить северную часть города. Бои не затихали ни ночью, ни днем. Над городом висели черные облака. Началась эвакуация. С каждым часом становился ощутимей недостаток в боеприпасах. Старик и старуха оставили свои дела и занялись сбором гранат и патронов: забирали боеприпасы у тех, кому они уже были не нужны, подносили тем, кто еще сражался.

Фашисты захватили Севастополь. Погиб старик. Соломия Ивановна осталась одна. Она видела, как краснофлотцы, прикрывавшие эвакуацию войск из Севастополя, скрылись в тоннеле недалеко от Бензостроя. Гитлеровцы бросились за ними. Они хотели взять в плен последних защитников города, но поплатились жестоко: у входа в тоннель остались десятки трупов. Новые попытки также стоили им жертв. Тогда они решили замуровать тоннель с обеих сторон.

Вдруг Соломия Ивановна услышала песню. Это защитники Севастополя пели:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

Теперь Соломия Ивановна ждет не дождется дня, когда освободят Севастополь. Первое, что она сделает, это пойдет к тоннелю у Бензостроя, к тем, кто называл ее матерью, и положит у замурованного входа первые крымские цветы.

Бои за Севастополь достигли кульминации. Сергей Зыков, Кайсын Кулиев и я выехали в район Мекензиевых высот. На КП разделились. Мы с Сергеем отправились на передовую, а Кайсына оставили поговорить с командованием.

Спускались вечерние сумерки, когда мы вернулись. Надо было спешить в редакцию, но пришлось задержаться. Пока ла-

зили в окопах на переднем крае, Кулиеву здесь, возле КП, шальная пуля пробила правое бедро. Пришлось отвезти его в госпиталь.

Много раз мы с Кулиевым оказывались в сложных переплетах, но выходили из них живыми и невредимыми, и вот он попал в госпиталь. Наши фронтовые дороги разошлись.

Пять дней длился штурм Севастополя. Нужно было сокрушить неприступные оборонительные пояса. Наша артиллерия день за днем превращала скалы, а вместе с ними и железобетонные укрепления в щебенку. С моря ударили корабли, с воздуха город бомбила авиация. Спустились с гор и вышли из лесов партизанские отряды.

Нашим частям предстояло овладеть одной из самых мощных и неприступных крепостей.

В день штурма Сапун-горы я оказался в долине горной речки Черной. Перед нами высилась гряда гор, склоны которых уже были тронуты нежной зеленью. Предстояло форсировать речку и штурмовать Сапун-гору, буквально начиненную оборонительными укреплениями.

Парторг батальона где-то раздобыл красную скатерть. Посоветовавшись с политруками, он решил сделать из нее несколько флагов и раздать их штурмовым группам. Пусть каждая из них стремится первой водрузить свой на Сапун-горе.

После сигнала к штурму наши бойцы захватили небольшую высотку, простреливаемую со всех сторон. Дальше двигаться было невозможно. Бойцы втискивались в расщелины скал, долбили камни, вгрызались в известняк. Грохот орудий, разрывы бомб, снарядов и мин троекратным эхом повторялись в тесном ущелье. Впереди — Сапун-гора, напоминавшая вулкан, охваченный со всех сторон клубящимися облаками. Из ее недр извергался огонь.

С наступлением темноты начался штурм. Герои боев на Сиваше первыми достигли вершины Сапун-горы. Они водрузили там знамя. Противник обрушил на лоскуток красного кумача огонь из всех видов оружия. Но поздно. Высота, которую враг в сорок втором году штурмовал много месяцев, была взята в течение суток. Штурм Сапун-горы по праву считают одной из блестящих страниц в истории Великой Отечественной войны.

Враг был деморализован. Вражеская оборона прорвана почти одновременно в нескольких местах. В прорыв хлынули войска. Гитлеровцы, спасаясь бегством, устремились на мыс Херсонес. Их преследовали по пятам. Бой неожиданно вспыхивал и тут же угасал.

Севастополь был истерзан боями. Город-крепость походил на воина-богатыря, победившего в смертельной схватке. На нем изодрана стальная кольчуга, на шлеме вмятины от сабельных ударов, с меча стекает кровь. Воин, одержавший победу, великолепен в своей ратной усталости. У ног его грозно плещется море, катит тяжелые волны.

Материала для газеты было более чем достаточно: солдаты и офицеры, штурмовавшие город, проявили поистине массовый героизм. Я написал о стрелках, подобравшихся с тыла к вражеским минометчикам, которые вели огонь с высот Исторического бульвара. Спасаясь, они в панике бросились к бухте, где их факельщики пытались поджечь склады с военным снаряжением и продовольствием. Не вышло. Стремительно спустившиеся с гор бойцы затушили огонь, а факельщиков перебили.

Неожиданные удары наносились по врагу со всех сторон. Гитлеровский обер-лейтенант, руководивший минированием вокзала, был застигнут на месте преступления и взят в плен.

В порту спешно грузились войска противника. При появлении советских самолетов гитлеровцы прятались в трюмах, а на палубе оставляли женщин и детей, чтобы ими прикрыться от ударов авиации.

Наступающие войска настигли врага и здесь.

Земля еще не остыла от боев. Где-то идет бой, слышатся взрывы, выстрелы. На горе торчит скелет знаменитой Севастопольской панорамы, взорванной фашистами. Но деревья бульвара, засыпанные битым кирпичом, поднимаются, машут нам зелеными ветками.

Жмурясь от майского солнца, из щелей, подвалов, бункеров выходят люди, с пристани бегут женщины, которых гитлеровцы не успели угнать в Германию. Они бросаются к солдатам, целуют их. Все возбуждены, радостно взволнованны.

В город входят герои боев. Деловито идет ветеран войны старший сержант Константин Калинин. О нем говорят: отважный, потому и награжден медалью «За отвагу». Да, отваги ему не занимать. Расчетливая, обдуманная смелость — черта его характера. В сдержанной походке, немногословии, задумчивом взгляде, неизменной паузе перед решительным шагом и долготерпении, когда воин выжидает момент для нанесения верного удара,— во всем уверенность мастера.

Калинина и называли мастером боя. В этом — признание высоких его достоинств. Его завоевать нелегко. Старший сержант пришел в часть рядовым. Подтянутый, дисциплинированный, исполнительный. Такие сразу завоевывают авторитет.

Рядового Калинина назначают пулеметчиком. В первом же бою он из пулемета положил немало вражеских солдат. И вот

награда — медаль «За отвагу». Дальше — больше: рядового ставят командиром отделения. И это ему по плечу, а в трудном бою, когда командира взвода не стало, он подал свой голос:

— Взвод, слушай мою команду. Командование взводом беру на себя.

Рядом с медалью на груди героя появилась новая боевая награда — орден Славы.

Командир дивизии, вручая орден, сказал:

— Родина гордится тобой!

В боях на реке Молочной отделение Константина Калинина оказалось отрезанным от роты. Кончились патроны, а враг контратакует. Командир отделения не суетился. Он молча прошел по траншеям и нашел ящик гранат с длинной ручкой. Это уже спасение. Надо попытаться одними гранатами отбить контратаку врага. Соединить расчет и мужество — это он умеет. Бойцы отделения захватили два вражеских пулемета. Есть и ленты с патронами.

— Товарищ сержант, как стрелять из него? — обратился к командиру отделения новичок.

— Дай-ка сюда, помозгую.

Константин Николаевич пощелкал замком, посопел над пулеметом тут же на поле боя и вернул его бойцу:

— На, погляди. Только зря патроны не трать. Патронов к нему нам не подвезут.

После этого каждый раз, когда кто-то доставал оружие в бою, приходил к Калинину за консультацией, и не было случая, чтобы он не разгадал секрет оружия.

Первая ночь на крымской земле была памятной. Целый день бойцы вели неравный бой. Гитлеровцы хотели во что бы то ни стало сбросить в Гнилое море смельчаков, отважившихся вброд перейти море и захватить плацдарм. Во взводе осталось всего одиннадцать человек.

— Может быть, пользуясь ночной темнотой, податься назад,— у кого-то не выдержали нервы.

Калинин был старшим:

— Куда? На дно Сиваша? Пока хоть один из нас жив, будем защищать рубеж,— уверенно сказал он.

Утром снова бой. У Калинина под началом осталось всего восемь человек. Гранатами и ружейно-пулеметным огнем они отбили атаки врага.

При штурме Сапун-горы из строя выбыл командир взвода. Калинин его заменил и повел взвод вперед. По цепи передали: командир роты ранен. Калинин принял на себя командование ротой. Она оказалась в числе первых на окраине Севастополя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования и проявленное при том геройство и отвагу старшему сержанту Калинину Константину Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Как точно соответствует каждое слово Указа мужественным делам мастера боя, особенно «за образцовое». Да, он — солдат, мастер боя.

Со стороны мыса Херсонес доносилась артиллерийская канонада. Это домолачивали врага, пытавшегося спастись бегством. Корабли противника, объятые пламенем, уходили на дно моря один за другим. Только клубы черного дыма, висевшие в воздухе, напоминали о том, что несколько минут назад морская пучина поглотила корабль. Ноев ковчег был, пожалуй, менее заселен, чем некоторые вражеские корабли. Флот, пришедший на выручку обреченных войск, сам попал под убийственный огонь. Из города можно было видеть наших бомбардировщиков, пикировавших на темные точки военных кораблей противника. Это видели и гитлеровцы, скопившиеся на мысе Херсонес. Они держали руки поднятыми вверх и не решались опустить раньше, чем их возьмут в плен.

В один из майских дней улицы, бульвары, площади, набережные наполнились музыкой. Ветер подхватывает ее и несет далеко в горы, синие дали моря.

День великолепен. На митинг, посвященный освобождению города, пришли севастопольцы, отважные партизаны, воины армии и флота. На празднично украшенную трибуну, поставленную на центральной площади города, поднимаются прославленные советские военачальники, генералы и офицеры, партийные и советские работники.

Появление командующего фронтом генерала армии Толбухина участники митинга встречают бурей аплодисментов, с которой могут спорить лишь морские волны, приветствующие берег белыми фонтанами водяных брызг. Тысячеголосое «ура!» прокатывается над руинами города.

Толбухин долго не может говорить. Овеянные боевой славой войска неистово приветствуют своего полководца. Никто не может остановить неудержимо рвущееся из сердец солдатское «ура!», в котором выражены радость победы, гордость за землю свою и великое чувство исполненного воинского долга перед Родиной и народом. Его слова «Севастополь был, есть и будет городом славы русского оружия» тонут в громких криках «ура!».

* * *

После освобождения Севастополя мы оказались в глубоком тылу. Командующий армией генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер разъезжал по частям и соединениям, вручал боевые награды

освободителям Крыма. Из Москвы приехали концертные бригады. Куда ни поедешь — праздник под весенним крымским небом. Командарм не забыл и тех, кто в эти дни оказался в госпитале. Награды вручались прямо в палатах.

Все были пьяны от ощущения тишины, сердца переполнены чувством торжества победителей.

Враг был разгромлен. За пять последних недель на дне Черного моря у берегов Крыма оказалось 191 вражеское судно — огромное кладбище кораблей. Было уничтожено около 200 танков и самоходных орудий, 500 самолетов, 50 тысяч гитлеровцев нашли свой бесславный конец в Крыму. В плен было захвачено более 60 тысяч вражеских солдат и офицеров.

Как-то мы заехали в Бахчисарай. Единственный глаз бахчисарайского фонтана смотрел сурово. Казалось, за годы оккупации и он выплакал все свои слезы. Ханский дворец напоминал разоренный очаг. Экспонаты музея были разграблены, а то, что уцелело, разбросано по углам, как хлам. Лишь высокие зеленеющие тополя звонко шелестели, стараясь своими верхушками выглянуть из глубины ущелья, окруженного со всех сторон отвесными скалами.

* * *

Прошли дни. Войска получили новое пополнение, боевую технику, готовились к новым боям.

«Куда нас теперь?» — думали мы, готовясь к новому походу.

Перед дорогой начались войсковые смотры. На одном из них был и я.

Смотр проводил командующий армией. К ответственному дню войска готовились тщательно.

Перед невысокой трибуной, скромно украшенной цветами, проходят войска. Играет оркестр. В ритм музыки солдаты отбивают шаг. Идут красиво, с достоинством.

Идут стрелки, артиллеристы, минометчики, разведчики, саперы, санитары. На их груди знаки мужества и отваги — ордена и медали.

Узнаю сапера, которого прозвали скалолазом. Он в дни боев под Севастополем, перебравшись через отвесные скалы, перед носом гитлеровцев обезвреживал мины. За ночь со своими товарищами проделал проход в минном поле, а утром штурмовой отряд захватил вражеские позиции.

Вот во главе батальона идет знакомый комбат, ветеран войны. На его лице следы смертельной схватки с врагом: рубцы от штыкового удара, осколочного ранения. Когда он улыбался, свет озарял мужественное лицо его. Секрет его удач — маневр, умение держать резерв в кулаке, мгновенная реакция на изменения боевой обстановки. Враг прорвался — бей его в спину,

подставил бок — пересчитай ему ребра, заботься о герое, карай труса,— вот его неписаный боевой устав.

На смотре комсомольцы. Среди них молодой боец, водрузивший красный флаг на одной из высот у стен Севастополя, рядом с ним такой же безусый герой, который под ливнем пуль забрался на крышу севастопольской гидрометеостанции и там установил флаг.

Смотр войск не ради торжества. Он будничен, деловит.

После торжественного марша войска выстроились в одну линию. Вдоль строя проходит командующий. Испытанный в боях и походах генерал строг, требователен. Его острый глаз видит все.

Говорят, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если чуть перефразировать, пословица подходит и к солдату: покажи свое оружие, я скажу, какой ты воин. А оружие — первый друг бойца.

Командующий берет автомат бойца, осматривает внимательно и, не находя, к чему придраться, возвращает оружие.

— Масленка есть?

О, эти масленки. Кто их сохранит в боях и походах? Опытные старшины обычно запасаются ими.

— У кого есть шомполы, поднимите руки.

Бойцы поднимают.

— Покажи.

Тот, кто сумел воспитать в людях бережливость, аккуратность, заботливое отношение к оружию, пожинает приятные плоды, не краснеет перед генералом. Командир обязан в любой обстановке добиваться, чтобы у бойца оружие было безотказным.

— Молодцы! — похвалил командующий тех, кто сохранил масленку, протирку, шомпол.

В армии, тем более в боевой обстановке, мелочей нет. У артиллеристов орудия в порядке, все механизмы вычищены до блеска.

Генерал заглядывает в зарядные ящики и вынимает оттуда свежие цветы.

— Почему?

Артиллерист смущается, но надо признаться. По дороге на парад девушка преподнесла. Жалко выбросить. Командующий берет из букета цветочек и прикалывает его к груди бойца. Тот счастлив, улыбается во весь рот, словно к его гимнастерке прикрепили орден.

Командующий уходит все дальше и дальше. В конце колонны обоз. На повозках тяжелые пулеметы, минометы.

— Запасные колеса есть?

— Есть.

А вот ездовой не брит. Почему? Где старшина? Ездовой приводил лошадей в порядок, купал, чистил, расчесал гривы, хвост, а о себе позаботиться не хватило времени. За этим непорядком открывается и другой: в отделении нет ниток, пуговиц, чистых подворотничков.

— Чтобы завтра все было!

— Есть, чтобы завтра все было.

Командиры записывают все замечания генерала.

— Нас ждет трудная дорога,— напоминает он.— Готовиться к ней надо каждый день, каждый час. Совершенствовать боевую выучку. Нам еще идти и идти, до самого Берлина!



«Белорусская операция — выдающаяся операция Великой Отечественной войны — сыграла большую роль в ослаблении немецко-фашистской армии, приблизила час ее окончательного разгрома. Фактически перестала существовать одна из сильнейших ее группировок — группа армий «Центр»».

«В результате успешных действий Красной Армии вся территория Белоруссии была очищена от фашистских захватчиков. Белорусский народ, мужественно боровшийся в течение трех лет с оккупантами, снова обрел свободу, мог направить свои усилия на восстановление разрушенного хозяйства, на оказание помощи Красной Армии, вышедшей к границе фашистской Германии».

«История Коммунистической партии
Советского Союза», том пятый,
книга первая, стр. *526*.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ

ГЕНЕРАЛ АРМИИ



1

Полевое управление Западного фронта в основном состояло из «минчан» — генералов и офицеров штаба упраздненного в начале Отечественной войны Западного особого военного округа. С глубоким волнением слушали мы торжественный голос Левитана, сообщавшего об успехах Украинских фронтов. Было досадно, что о нашем фронте ни слова, будто бы его и не было, хотя и у нас то на одном, то на другом участке шли кровопролитные бои. В этих оборонительных боях основательно измотались, устали и войска и командование фронта. Хотелось дать отдых войскам, пополнить их и скорее двинуться вперед освобождать родную нашу Белоруссию.

Но когда же? Когда? Мы все нетерпеливо ждали этого дня. И вот ясным апрельским утром 1944 года появилась первая весенняя «ласточка»: наш фронт переименовывался в 3-й Белорусский, а командующий генерал армии Петров и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Мехлис ушли формировать 2-й Белорусский фронт. Слово «Белорусский» необыкновенно обрадовало нас. Мы ловили каждое сообщение и слух, ожидая назначения нового командования. Кто же будет командовать нашим фронтом? Хотелось, чтобы его возглавлял заслуженный, почтенный, с большим боевым опытом и славой полководец, который в своем лице воплотил бы военное искусство, боевые традиции прошлого, героику настоящего, несокрушимый дух советского воина и веру в победу.

Наконец пронесся слух: «Едет новый командующий». Не терпелось поскорее узнать — кто же? Я пришел к члену Военного совета фронта Василию Емельяновичу Макарову, полагая, что он-то уж наверное знает.

Из-за стены доносился голос, генерал Макаров говорил по телефону.

— Все готово? Хорошо. Встречайте. Как только появится, звоните!

Затем послышались шаги. Порученец, майор Вигушин, учтиво сказал: «Входите все» — и пропустил нас в кабинет.

— Здравствуйте,— генерал Макаров поздоровался с каждым за руку.— Выкладывайте наиболее срочное. А то вот-вот новый командующий приедет.

— А кто? — разом спросили мы.

— Генерал-полковник Черняховский.

— Черняховский?

— Да, командующий 60-й армией.— И, видя наши озабоченные лица, Василий Емельянович поспешил нас успокоить: — Я говорил с Генштабом, мне сообщили, что это боевой генерал. Его армия отличилась и под Воронежем, и при взятии Курска, и при форсировании Днепра...

«Черняховский? Какой это Черняховский? — напрягал я память.— Неужели тот подполковник Черняховский, который в тридцать девятом и в сороковом годах командовал учебно-танковым полком в Гомеле... Он совсем молодой. До войны пороху не нюхал». И я стал перебирать все то, что помнил из сводок и сообщений. Весной 1942 года в сводке Информбюро сообщалось: «Части полковника Черняховского показали примеры беззаветной храбрости и героизма при защите Новгорода».

Несколько позже до «минчан» снова дошел слух, что при форсировании Днепра проявили героизм и мужество войска генерала Черняховского. Я сомневался: он ли?

Приглушенно зазвучал телефонный звонок.

— Уже здесь? — удивился Макаров.— Иду... Командующий приехал,— объяснил он.— Заходите вечером, попозже.

Сидя у себя в хате, я вспомнил мартовскую ночь сорокового года, когда я в Гомеле расставался на вокзале с подполковником Черняховским. В Гомель тогда я приезжал с заданием подобрать кандидатов на должности командиров полков во вновь формируемые танковые и мотострелковые дивизии. Хотелось повнимательнее присмотреться и к самому Черняховскому. Надо сказать, что подполковник Черняховский произвел на меня сильное впечатление своей командирской собранностью, остротой мысли, широким военным кругозором, большой заботой о людях. Кроме этого, у него была хорошая военная биография. Мне запомнилось, как тогда, прощаясь со мной, Черняховский убедительно просил никого из полка не брать. Но в силу обстоятельств все-таки пришлось забрать у него двух командиров батальонов, перевести их на другое место службы, а его самого назначить на должность заместителя командира танковой дивизии.

Впоследствии, получая от меня предписание на новую должность, Черняховский не без сожаления промолвил:

— Полк жаль. Сколько в него вложено сил. Люди там, товарищ Алексеев, золото!..

Не успел я об этом вспомнить, как в комнате пропищал зуммер. В микрофоне послышался незнакомый голос:

— ...генерал Алексеев?.. Вас приглашает командующий.

Слово «приглашает» в нашей фронтовой обстановке звучало необычно, и я задумался: «А что, если он припомнит тебе и тех

двух комбатов, и вызов его в жарищу из Гомеля, да и то, что ты тогда направил его замкомдивом...»

КП фронта находился недалеко от деревни Нетяжи, в лесу, и минут через пятнадцать я уже был там.

Из-за стола поднялся и шел мне навстречу статный, с густой шевелюрой генерал-полковник Иван Данилович Черняховский. Его смуглое лицо было таким же, каким запомнилось с довоенных лет.

— Здравствуйте, товарищ Алексеев,— пожал он мне руку.— Давненько мы с вами не встречались.

— Четыре года, товарищ командующий,— в том же тоне ответил я.

— Да, четыре года! — Иван Данилович предложил сесть у стола. Сам сел против меня. На его груди сверкали Звезда Героя, три ордена Красного Знамени, два ордена Суворова, ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого.— Как здоровье? Что-то тяжело дышите? Замотались?

— Немного,— ответил я, а сам настороженно смотрел в его темно-карие, простые, открытые глаза.

Полчаса мы провели в непринужденной беседе. Затем Черняховский поднялся и перешел к длинному столу у окна, на котором широко лежала карта оперативной обстановки.

— С командармами, их начальниками штабов и командирами корпусов меня обстоятельно познакомили товарищ Макаров и Покровский. Я хочу теперь узнать от вас, начальника кадров, о командирах дивизий и полков. — Иван Данилович положил на карту большой блокнот.— Если не возражаете, то начнем от печки — с правого фланга.— Он опустил карандаш на красный кружок, обозначавший 251-ю стрелковую дивизию, входившую в резерв армии.— Биографические данные потом, прежде всего познакомьте меня с морально-боевыми качествами и особенно с характерами людей... А то попервоначалу и дров наломать можно.

Мне это понравилось, и я начал рассказывать:

— Командир дивизии — генерал-майор Вольхин. За неудачные бои в районе Рославля был снят с должности, понижен в звании до майора и направлен на наш фронт. Вскоре мы поставили его на полк, после назначили замкомдивом. Вслед за этим добились и восстановления ему прежнего генеральского звания.

— А как теперь он? — спросил командующий.

— Травма не прошла бесследно. Она отразилась на его сердце и нервах. Да немного и на характере.

— А воля?

— Воля? Вот за счет воли он и держится. Волей глушит все неприятное. Хороший, боевой комдив...

Так мы перебирали дивизию за дивизией, полк за полком. Командующий записывал в блокнот особенности характера каждого командира. Когда я закончил, Черняховский доверительно сказал:

— К середине июня надо укомплектовать все дивизии, да и резерв офицеров накопить с таким расчетом, чтобы их хватило на добрый месяц наступательной операции... вплоть до Минска, а то и дальше.— Затем он протянул руку.

Я шел к себе в приподнятом настроении. И повторял про себя слова, сказанные командующим: «Вплоть до Минска, а то и дальше».

2

Фронт перешел к обороне. Обескровленные дивизии поочередно выводились в тыл, чтобы там, в тыловых лесах, привести себя в порядок, отдохнуть и дней через десять снова на передовую. Пользуясь этой оперативной паузой, мы делали все, чтобы в кратчайшие сроки привести в боевое состояние фронтовые управления и войска. Каждое управление и отдел накапливали людей и средства для будущей битвы. Командование фронта хранило предстоящую операцию в строгой тайне. Развивая и совершенствуя оборону, отводя дивизии и части в тыл, мы стремились дезинформировать противника, заставить поверить его в то, что фронт не готовится к наступлению.

Новый командующий, изучая оперативную обстановку и состояние войск, нацеливал командиров на подготовку войск к прорыву, окружению противника и стремительному его преследованию.

Обычно через день он вместе с генералом Макаровым, с группой офицеров и генералов штаба выезжал непосредственно на передний край дивизий.

Находясь в частях на передовой, общаясь там с воинами, он, что называется, «щупал своими руками» ту землю, по которой полки дивизий пойдут в атаку.

— Чтобы быть уверенным в успехе, надо не только знать солдата, но и чувствовать его несокрушимую силу, его веру в победу, его всепобеждающий дух! — говорил он, смотря на солдат, добротно, по-хозяйски строивших в траншеях подбрустверные блиндажи, ниши, погребки.

Вот и сегодня потянуло командующего туда, где будет решаться судьба Витебска,— на правый фланг фронта, в гвардейскую дивизию. Умывшись до пояса после утренней зарядки, вытираясь полотенцем докрасна, он взглянул на часы и ахнул: стрелки показывали девять утра.

— Комаров! Как же так, дорогой? — бросил он укоризненный взгляд на порученца.

— Если будете до зари работать, то скоро и ног не потащите,— оправдывался подполковник Комаров.

Но командующий заторопился и позвонил генералу Макарову.

— Доброе утро, Василий Емельянович! Черняховский. Завтракали? Жаль. Кто у вас? Начальник политуправления генерал Казбинцев? Тогда после беседы с ним едемте на левый фланг хозяйства Людникова. А на обратном пути заглянем к Вольхину. Форма одежды,— полушутя-полусерьезно продолжал он, глядя на ползущую тучу,— кожаное пальто.

У этих двух людей с первых дней их совместной службы сложились прекрасные товарищеские отношения, впоследствии переросшие в настоящую боевую дружбу. И теперь во всех поездках в войска они были вместе. Это было очень хорошо, так как там, на месте, они сразу же решали все вопросы компетенции Военного совета.

Командир дивизии встретил их на Витебском шоссе, там, где за деревней Хмелево дорога уходит влево в лес, и провел прямо к себе на КП, куда были вызваны начштадив и начальник разведки.

Познакомившись с обстановкой и состоянием дивизии, Черняховский углубился в карту и, что называется, загонял разведчика, расспрашивая о поведении противника, о системе его обороны, о характере занимаемой им местности на всю тактическую глубину.

— Что собой представляет Суходровка? — Черняховский остановил карандаш на излучине реки.

— Суходровка сейчас разлилась... А так она неширокая...— докладывал майор.

— А берега топкие? — командующий хотел знать, пройдут ли танки.

— Сейчас трудно сказать: все залито водой. Берега низкие. Полагаю, топкие.

— Надо твердо знать,— промолвил генерал и повел карандаш дальше, через железную дорогу, шоссе.— А Лучеса?

— Берега Лучесы на нашем направлении обрывистые,— комдив поспешил выручить своего разведчика.

— Это достоверно? — Черняховский испытующе смотрел не на комдива, а на майора.

— Железнодорожники на разъезде это подтверждают,— доложил разведчик.

— Это направление,— командующий провел карандашом по дуге через Березучи, Островно к Западной Двине,— должно нас, генерал, интересовать. Вы находитесь на левом заходящем фланге армии, и, видимо, вам придется бить на Кузьменцы, Замосточье. Здесь,— стучал он карандашом по восточной излучине Лучесы,— форсировать реку, охватом с юга окружать витебскую

группировку генерала Гольвитцера. А после ее разгрома развернуть дивизию на запад и стремительно преследовать врага.

— Понимаю, товарищ командующий,— привстал генерал, довольный такой сложной и в то же время благородной задачей.

Черняховский перевел карандаш к деревне Языково.

— Откровенно говоря, я беспокоюсь за ваш левый фланг. Здесь можно ожидать от противника любой гадости. Гитлеровцы, наверное, давно разведали, что это стык армий.

— Вероятно, так, товарищ командующий.

— На вас, генерал, и на вашего соседа, командира 72-го корпуса,— продолжал Черняховский,— возлагаю персональную ответственность за этот стык...

Наконец командующий встал.

— Пока все! В шестнадцать ноль-ноль,— обратился он к комдиву,— соберите командиров полков, их заместителей и начальников штабов. Место — по вашему усмотрению. А сейчас вот сюда,— показал он на карте левый фланг левофлангового полка.

— Туда? — удивился комдив.— Не рекомендую. Туда никакая машина не пройдет. Распутица все дороги размочалила.

— Докуда можно, поедем, а там — пешком. Как, Василий Емельянович? — Генерал Черняховский подзадоривающе смотрел на генерала Макарова: мол, нам это не впервой!

Не проехали и полкилометра, как у разлившегося в лесу ручья их остановил одетый еще по-зимнему командир полка. Пришлось машины оставить, ручей перейти по скользкой бревенчатой кладке и, задрав полы, шагать по месиву грязи.

На КП полка командующий задерживаться не стал и предложил командиру вести его в левофланговый батальон. Долго они петляли по лесным топким тропам и наконец, измазанные, по колено в грязи, подошли к ходу сообщения, где их встретил человек, мало чем отличавшийся от бойцов, в таком же, как и они, полушубке и ушанке.

— Не жарко, майор, в полушубке-то? — приняв рапорт, протянул руку Черняховский.

— Жарковато, товарищ генерал,— ответил майор.— Но по этой грязи все же лучше, чем в шинели. — И, скользя по жердяному настилу, тонувшему в бурой жиже, повел начальство ходом сообщения. Вдруг сзади землянок НП сухим треском грохнул разрыв мины, за ним второй, третий. Осколки со свистом пронеслись над головой.

— В укрытие! — сдавленно скомандовал майор и сильно толкнул командующего в землянку, а затем генерала Макарова и комдива.

— У вас дом отдыха работает? — командующий обратился к комдиву, смотря на серое, как земля, лицо комбата.

— Так точно, работает,— не без удовольствия доложил генерал.

— Очень хорошо.— Черняховский посмотрел на комдива и кивнул в сторону комбата. Комдив понял командующего и безмолвно качнул головой, как бы говоря: «Будет отправлен в дом отдыха».

Обстрел затих. Командующий прошел на НП комбата и, вооружившись биноклем, стал рассматривать передний край. Там повесеннему широко разлилась и вплотную подобралась к окопам и заграждениям врага река Суходровка.

Командующего сейчас интересовало все, что было доступно взору. Комбат был на высоте — кому еще доведется такое счастье докладывать командующему фронтом на своем НП,— и он обстоятельно рассказывал об обороне противника, как будто только что сам вернулся из стана врага.

— А кто против нас?

— Позавчера ночью, вон там, за обрубленными елями, захватили рядового 197-го фузелярного батальона. А до этого оборонялся 347-й пехотный полк.

Командующему нравился этот боевой комбат, и он, передавая бинокль генералу Макарову, шепнул ему:

— Присмотритесь к нему, подходящий кандидат на полк.— Потом он обернулся к комбату.— Говорите, фузелярный? — и сам же ответил: — М-да! Это что-то значит, майор?..

— Так точно,— комбат с удивлением посмотрел на генерала Черняховского: такого простого в обращении и в то же время пытливого командующего он видел впервые.

Покинув НП, у развилки ходов сообщений группа разделилась: генерал Черняховский с командирами пошел налево, генерал Макаров с замполитами — направо. А вперед неведомыми путями уже понесся «солдатский вестник»: «У нас на передовой начальство с какими-то комиссарами».

Черняховский остановился у землянки, возле которой солдат, сидя на лавочке, старательно чистил ствол снайперской винтовки. Увидев начальство, солдат выпрямился, одним взмахом одернул гимнастерку и пятерней прошелся по рыжей голове.

— Здравствуйте, снайпер! Как жизнь? — с добродушной улыбкой поздоровался командующий.

— Здравствуйте! — выпалил солдат и замялся, не зная, как титуловать этого, в кожаном пальто, да еще без погон, человека. И застенчиво сказал: — Не знаю, как вас величать по званию...

— Генерал,— приветливо улыбнулся командующий.

— Жизнь-то, товарищ генерал, ничего...— начал было солдат и остановился, бросив растерянный взгляд на своих начальников.

Генерал Черняховский понял, что солдат чего-то не договорил, и, предполагая, что могло его волновать, спросил:

— Как с табачком?

Солдат обвел взглядом своих начальников и начал витиевато:

— Видите, как развезло — в окопе тонем. А уж там,— кивнул он головой в сторону НП,— ни проехать, ни пройти. Все боеприпасы и харч на своем хребте на передовую тащим...

— А с табачком все же как? — прервал это длинное повествование генерал Черняховский.

— С табачком-то?.. До табачка очередь не дошла...— Почувствовал, что подвел начальство, он поправился: — К вечеру обещали.

— Табак, товарищ командующий, будет,— поспешил ответить командир полка на суровый взгляд Черняховского. А стоявший за углом хода сообщения расторопный адъютант комдива со всех ног помчался к землянке комбата.

— Много гитлеровцев на счету?

— Немного, всего четыре,— виновато пожал плечами солдат.— Я здесь недавно, с... запамятовал, товарищ генерал.— Он торопливо вынул из кармана обложечку со справками о ранении и в одной из них вычитал: — С 14 марта.

— Давно воюете? — Черняховский взял у солдата эту уже основательно потрепанную обложечку. Его удивило: снайпер — и ни одной медали.

— Как вам сказать, товарищ генерал. Мы ведь пехота, в бою живем недолго, больше по госпиталям. Как видите,— солдат с душевным волнением смотрел, как генерал в кожанке листает эти дорогие ему бумажки,— лежал три раза по легкому ранению, два — по тяжелому.

— Вижу, дорогой Иван Васильевич, вижу.— Черняховский возвратил солдату справки. Ему хотелось сейчас наградить этого солдата орденом. Но это значило бы ударить по авторитету его начальников. И он, отойдя от солдата ходом сообщения подальше, повел разговор.

— Вот что значит пехота, товарищ майор. Пришел солдат на передовую, не успел еще как следует осмотреться, познакомиться с товарищами, как тревога, а там — атака. Ура! Вот первая, вторая, а может быть, и третья позиции взяты. Победа! А тут раз — пуля, и в госпиталь. Кажется, солдат ничем не отличился и награждать будто бы не за что. А в действительности он проявил в боях за Отчизну и волю, и доблесть, и отвагу, и мужество. Да не только проявил, а и кровь пролил! И такой солдат...— генерал Черняховский смотрел на комбата.

— Снайпер Грачев — прекрасный солдат, достоин награды, товарищ генерал,— доложил комбат.— Я с его справками знаком и решил представить его к ордену Красной Звезды.

— Очень хорошо,— сказал командующий и перевел свой взгляд на командира полка, как бы спрашивая: «А как вы?»

— Я за то, чтобы наградить снайпера Грачева орденом Отечественной войны.

— Командование дивизии ходатайствует,— добавил комдив.

— Прекрасно,— промолвил Черняховский и направился в первую траншею.

Начальники ушли, а порученец командующего записал все необходимые данные для оформления награды.

Командующий и член Военного совета, каждый на своем участке, обошли вторую и первую траншеи. Не преминули заглянуть и в землянки. Не заметили, как прошло время. Генерал Черняховский пообедал в землянке вместе с солдатом из одного котелка. Он с удовольствием ел основательно подперченный борщ и гречневую рассыпчатую кашу, поджаренную на сале с луком.

— Хорошо! Здорово! — сказал генерал Черняховский, возвращая ложку старшине.— Всегда вас так кормят?

Лица начальников насторожились, но затем расплылись в довольной улыбке, когда дружно и восторженно со всех сторон прогремело:

— Всегда, товарищ командующий!

Из этой дивизии выбрались в седьмом часу вечера и прямиком проскочили часика на два в хозяйство Вольхина, находившееся в резерве армии в лесу восточнее деревни Маклаки. Там задержались допоздна. Возвращались к себе на КП около полуночи. Первой по Витебскому шоссе неслась машина командующего, за ней — генерала Макарова и последней — «виллис» с охраной. Все сильно устали. Сзади послышалось резкое тарахтенье, похожее на звук нашего ПО-2. Так все и решили, что это возвращается наш самолет с ночного задания. И вдруг впереди со страшным треском краснопламенные вспышки взрывов разорвали темноту и разбросали машины, засыпая их осколками: машину командующего отбросило вправо, в кювет, и повалило набок; машину члена Военного совета — влево, сунув радиатором в ствол громадного дерева, а «виллис», крутнувшись и сделав несколько витков, стал нормально по своему ходу. Генерал Макаров, вместе с ним шофера и охрана бросились к машине командующего и мигом поставили ее на колеса. Макаров с силой рванул дверцу и помог командующему выйти.

— Ну как, цел?

— Цел, но вот глаз... что-то режет. Будто соринка попала.

— Беспалый! Свет! — прокричал Макаров.

Действительно, в правом глазу, ближе к виску, что-то чернело. Ничего не говоря, генерал Макаров взял командующего под руку и посадил его в свою машину.

— Поехали! — скомандовал он шоферу.

— Куда? — спросил Черняховский

— В медсанбат. Здесь недалеко, за лесом.

— Василий Емельянович, нужно домой, там нас люди ждут.

— Нет,— твердо ответил Макаров и сказал шоферу: — На перекрестке поворот направо.

В медсанбате все спали. Услышав, что приехал командующий фронтом, командир медсанбата растерялся:

— Как же так?.. — бубнил он.— Я не глазник... Я только хирург... Надо в Гусино, в госпиталь, там есть специалист...

— Доктор! Возьмите себя в руки,— строго сказал генерал Макаров.

— Конечно, конечно,— сдался командир медсанбата и прикаказал дежурному врачу: — Запустите движок и сюда, вместе с сестрой.

Дальше все шло с необыкновенной быстротой. Через минуту гулко захлопал движок, мгновенно появился свет, в операционной уже стояли в чистых халатах и шапочках дежурный врач и медицинская сестра.

— Товарищ командующий,— начал было рапортовать командир батальона, уже облачившийся в халат.

— Я сейчас больной,— прервал его командующий, а заботливая медсестра подхватила Черняховского под руку, посадила его в кресло под большой колпак лампы. Врач с ловкостью опытного хирурга-глазника извлек из глаза тоненький черный квадратик и положил его на стеклянную крышечку.

— Вы, товарищ командующий, под счастливой звездой родились,— и доктор квадратиком срезал кусочек бумажки.— Если бы он шел вот так, ребром, то было бы плохо.— Доктор завернул этот кусочек металла в бумажку, протянул командующему на память и предложил переночевать. Черняховский отказался.

— Спасибо. Некогда. Надо спешить.

— А вы боялись,— генерал Макаров пожимал руку командиру медсанбата.

— Забоишься, товарищ генерал. Ведь командующий!

3

Генералы и офицеры штаба и управлений фронта с нетерпением ожидали возвращения командующего из Москвы, куда он дней пять тому назад уехал вместе с генералом Макаровым на заседание Государственного Комитета Обороны.

22 мая они приехали и сразу, что называется, наглухо закрылись вместе с начальником штаба генерал-лейтенантом А. П. Покровским. Двое суток они никого не принимали, да

и в последующие дни — только по исключительно срочным вопросам. К генералу Покровскому тоже было трудно пробиться: либо он был у командующего, либо сидел у себя вместе с только что прибывшим новым начальником оперативного управления генералом П. И. Иголкиным и разрабатывал документы по принятому командующим решению.

В это время штаб фронта и все начальники родов войск и служб с очень ограниченным числом офицеров вплотную приступили к подготовке операции: к подсчету сил и средств, разработке мероприятий по обеспечению совместного наступления с 1-м Прибалтийским и 1-м и 2-м Белорусскими фронтами разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии из фашистской неволи.

Работали напряженно — днем и ночью, спали накоротке, соблюдали строжайшую тайну: писали от руки и написанное хранили в своих походных сейфах; никаких телефонных разговоров, только личное общение. Свои планы и расчеты докладывали непосредственно командующему фронтом в присутствии генералов Покровского и Макарова. И всегда доклады сопровождались детальным разбором. Командующий ставил докладчика в самые сложные ситуации. И с его уст не раз срывалось: «А если гитлеровцы прорвут здесь?», «А если вот здесь?», «А если там мы не пройдем?», «А что, если подвижные средства вводить тут?»

Черняховский своим обаянием, острым умом и логикой рассуждения умел подчинить, покорить бывалых и прославленных генералов. Его умные карие глаза всегда смотрели прямо, открыто. Каждый раз, когда мы, генералы, бывали у него, нам казалось, что командующий безмолвно спрашивал, умеем ли мы воевать «малой кровью» и предвидеть все, что враг может предпринять для срыва наступления, на опасных рубежах и этапах предусмотреть решительные контрмеры? Водя циркулем по карте, он задавал вопросы то начальнику штаба генералу Покровскому, то командующему бронетанковыми войсками генералу Родину.

— А если враг вдоль шоссе не пойдет, а пойдет здесь? — указал он циркулем на Богушевск.— А вдруг здесь ударит? А надо полагать, ударит и обязательно! — и циркуль резко прочертил невидимую линию удара гитлеровцев вначале с севера, со стороны Терешки, а затем с юга, из Высочаны.— Ударит! А какими силами?

И снова раздумье, решение за противника, подсчет его сил и средств. Потом такой же пристальный взгляд на Минскую автомагистраль и опять раздумья, подсчеты, выводы.

— На сегодня довольно! — выпрямился Черняховский. Собрал все черновые наброски, записки и протянул их началь-

нику оперативного управления.— Поручим все это спланировать генералу Иголкину: он оператор, ему и карты в руки! — И командующий вручил генералу Иголкину карту со своим решением.— Ну все, товарищи! Завтра?..— вопросительно глядел он на генерала Покровского. Тот понял его взгляд и сказал:

— В одиннадцать часов. Надо все это обдумать на свежую голову, да и текущие дела за эти дни подзапустили...

— Быть посему! Завтра в одиннадцать часов. А сейчас давайте на подпись. Только самое срочное...

— А остальное,— вставил генерал Макаров,— завтра, после часов двадцати ко мне. Терпит до вечера?

— Терпит.

Макаров, выпроводив генералов, предложил Черняховскому отдохнуть.

— Что вы, Василий Емельянович, сейчас как раз время подумать: никто над душой не стоит, телефоны не звонят и никаких тебе бумаг.

Он снял китель, повесил его на спинку стула и крепко сжал лоб.

— Комаров! — крикнул Черняховский в приемную.— Распорядись-ка чайку, да покрепче! — И, не отходя от двери, по-дружески сказал: — Тяжеловато мне, Василий Емельянович, и даже очень... Труда я не боюсь. Дебют этот для меня — тяжелый и по сложности и по масштабу операции.— Он перешел к столу, опустил пониже лампу, что висела у окна, и склонился над картой, испещренной красными и синими стрелами.

— Раньше, когда я командовал армией, мне, дорогой генерал, было гораздо легче. Как бы сложно ни решал операцию фронт, мне оставалось совершить прорыв и наступать в одном направлении. Ну и частично помогать соседу. А сейчас не один удар, а четыре! Четыре направления! — Он развернул лист карты небольшого формата — «Решение Ставки» — и положил рядом со своим решением.— Видите, как здесь решается. Двумя армиями правого крыла фронта из района Лиозно наносится удар на Богушевск, Сенно и частью сил этого крыла ведется наступление в северо-западном направлении на Гнездиловичи. Там, во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом, окружается витебская группировка и освобождается Витебск. Но это, Василий Емельянович, только просто пишется, а делается?.. Здесь легко с витебской группировкой не разделаешься.— И Черняховский красным карандашом еще сильнее подкрасил стрелку на Гнездиловичи и две — на Витебск, из которых одна упиралась в него через Дудаки с запада, а другая — с востока, со Смоленского шоссе.— Так что, видите, получается совершенно два самостоятельных удара и два самостоятельных направления. Поэтому я решил на окружение и уничтожение витебской группировки и

освобождение Витебска назначить не часть сил, а целиком армию Людникова. А армия Крылова, усиленная конно-механизированной группой, будет прорывать фронт в направлении Богушевска, Сенно и обеспечивает ввод в прорыв этой конно-механизированной группы.

Подполковник Комаров распахнул дверь, и стройная Юзя с восточными чертами лица внесла на подносе два стакана крепкого чая. Генерал Черняховский посмотрел на Комарова:

— Что, ординарцев нет? — и тут же обратился к девушке, показав на маленький столик, стоявший в углу: — Поставьте, Юзя, здесь и идите отдыхайте. Дальше мы сами справимся. Вам, Комаров, тоже надо спать. В приемной оставьте кого-нибудь из охраны...— Черняховский снова перевел взгляд на Макарова и, отпив глоток чаю, продолжал:

— Теперь, Василий Емельянович, мне не дает покоя вопрос, где вводить танковую армию маршала Ротмистрова и танковый корпус генерала Бурдейного? Ставка решила — вдоль Минской автомагистрали. А получится ли? Сможем ли мы здесь надежно прорвать фронт и создать им условия для выхода на оперативный простор?.. Вы не подумайте, что я излишне перестраховываюсь. Если бы я был на месте командующего 4-й немецкой армией, то я здесь черт знает что нагородил бы.— И карандаш Черняховского забегал по Минскому шоссе, чертя невидимые линии, круги и квадраты.— И противотанковые районы, и дзоты кинжального действия, и капониры, и минировал бы все мосты и дефиле. Думаю, что там не дураки, наверное, все это сделали, да еще для встречи нас кое-что и про запас припрятали.

Черняховский присел к столу и записал в блокнот: «Поговорить с нач. РО!»

Генерал Макаров смотрел на Черняховского, удивляясь его необыкновенной работоспособности.

— Вы знаете, Василий Емельянович,— продолжал Черняховский,— эту операцию я решил бы еще смелее — по-суворовски. Я бы сосредоточил основное усилие не вдоль Минской автомагистрали, а здесь,— его глаза были полны решимости,— в полосе армии Крылова.

— Но здесь же сплошные леса и болота? — удивился Макаров.

— Зато здесь нас враг не ждет,— объяснил Черняховский.— Богушевск у гитлеровцев — слабое место — стык 3-й танковой и 4-й армий... Эх, если бы можно было пропустить на Богушевск армию маршала Ротмистрова и вывести на Минскую автомагистраль у Толочина или Крупок, то мы дней через десять форсировали бы Березину, а затем дня через два-три освободили бы и Минск... Но пока что это только моя мечта...

Генерал Черняховский торопливо отошел к письменному столу, сделал пометку в блокноте: «Переговорить с генералом Барановым об инженерном обеспечении на Богушевск».

Было уже светло, когда генерал Макаров возвращался к себе в домик, тонувший в густой тени берез.

4

Когда утром генерал-полковник Барсуков — командующий артиллерией фронта — переступил порог рабочей комнаты генерала Черняховского, чтобы доложить ему план артиллерийского наступления, тот встретил его радужным, немного с лукавинкой взором:

— Здравствуйте, Михаил Михайлович, как раз кстати. Мы вот сидим с Василием Емельяновичем и размышляем, как бы обмануть Гольвитцера и всех вышестоящих его военачальников. Меня всю ночь мучила эта мысль. Ведь на витебском плацдарме шесть вражеских дивизий — не фунт изюму! Так вот я до чего додумался. 22 июня мы ведем бой передовыми батальонами по всему фронту, а вместе с нами и 2-й Белорусский фронт, а на витебском направлении — на участке армии Людникова — тишина! Эта тишина, безусловно, удивит Фридриха Гольвитцера, «надежно» сидящего в Витебске, и даже самого главного — фон Буша, и заставит их задуматься: «В чем дело?» Зато 23 июня мы неожиданно начнем артиллерийскую подготовку под Витебском, на участке армии Людникова, на час раньше, а левее, на всем громадном пространстве нашего и соседнего фронта,— тишина! Это еще больше удивит Гольвитцера и его шефов. Они будут гадать, что это значит — наступление или провокация? И, конечно, начнут рассуждать: «Если через час-полтора начнется артиллерийская подготовка по всему фронту, значит, здесь, под Витебском, провокационная демонстрация...» И вдруг им, как сон в руку, через час на всем нашем фронте — от Языково до Днепра и южнее — мощно заговорит артиллерия и авиация. «Ага! Все ясно»,— скажут Гольвитцер, Рейнгардт и фон Буш, и все свое внимание они обратят на армию Крылова и Галицкого... И вот в этот-то момент мы корпусом Безуглова трахнем,— Иван Данилович дугообразно черкнул карандашом по карте,— витебскую группировку прославленного генерала Гольвитцера под ее правое ребро.

— Заманчиво,— размеренно произнес генерал Барсуков.— Разрешите немного подумать? — он хотел было идти, но Черняховский его удержал:

— А вы садитесь вот здесь,— указал на большой стол у окна.— И вместе подумаем. Ведь я когда-то тоже был артиллеристом.

* * *

Солнце уже перевалило на другую сторону дома и своими лучами заиграло в противоположном окне. Черняховский по-прежнему был бодр, в то время как Макаров от усталости помрачнел.

— Что вы такой грустный? Нездоровится? — не без тревоги спросил Черняховский.— Надо, Василий Емельянович, положить конец нашим ночным бдениям. Еще не наступаем, а уже измотались. Тяжелое-то, дорогой, впереди...

— Измотаешься. Сегодня на сон грядущий, словно обухом по голове, огрел меня Добряков,— Макаров потряс бумагой, свернутой в трубочку.— Из-за него так и не спал. Все вагоны да исковерканные пути в голову лезут. Даже и сейчас очухаться не могу.

— А что такое?

— А то, что не хватает пропускной способности по железной дороге. Для перевозки только одних боеприпасов нужно свыше пятнадцати тысяч вагонов! Это, примерно, около четырехсот поездов. А ведь еще нужны многие тысячи вагонов для перевозки людей, продовольствия (обмундирование я в расчет не беру), боевой техники, горючего!

— А вы, Василий Емельянович, не отчаивайтесь. Горшки не боги обжигают! — промолвил Черняховский и взял у генерала Макарова эту «страшную» таблицу.— М-да! Загвоздка! — произнес он.— Ее так просто, за один присест, не решить. Надо подумать и с карандашом в руках рассчитать, что везти по железной дороге, что автотранспортом, а что просто положить на грунт...

— Обо всем этом я, Иван Данилович, думал основательно и пришел к выводу, что надо не вообще везти «всем сестрам по серьгам» — пять боекомплектов, а определить какой-то минимум — кому три, а кому и полтора...

— Ну что ж, давайте.

Генерал Черняховский, вооружившись карандашом, занялся расчетом.

Так они сидели часа два, никого не принимая.

Решив эту сложную задачу, Черняховский поехал с Василием Емельяновичем Макаровым и группой офицеров штаба к генералу Крылову.

Прибыли они на КП армии как раз к «началу артиллерийской подготовки».

Вокруг громадного ящика с песком, устроенного на площадке под тенью вековых сосен, разместились командарм, его штаб, начальники родов войск.

Здесь были и командиры корпусов со своими начальниками штабов и командиры дивизий.

* * *

На песке в ящике, как на ладони, простиралась лесисто-болотистая часть Витебщины. Город Богушевск входил в полосу 5-й армии.

От края до края этого ящика синими и красными линиями, специальными значками была обозначена оборона армии генерала Крылова и войск противника.

Оперативное построение войск резко делило фронт армии на две далеко не равные части: на левом фланге, на пятнадцатикилометровом фронте от Юлькова до Рублева, была растянута одна стрелковая дивизия, в то время как на одиннадцатикилометровом участке правого фланга в первом эшелоне находились четыре дивизии, усиленные 252 танками, самоходками, большим количеством артиллерии и «катюш», и еще им в затылок стояли две дивизии.

Это генералу Черняховскому нравилось, так как в таком построении он видел выполнение своего замысла: мощный удар на Богушевск, стремительный выход на Сенно, в результате разобщение и разгром 3-й танковой и 4-й полевой армий противника!

— Молодец, Николай Иванович,— шептал Черняховский на ухо Макарову, восхищаясь умелым руководством генерала Крылова.

Желая, чтобы командиры корпусов, их штабы да и штаб армии основательно отработали все сложные вопросы проведения операции, Черняховский в течение всего проигрыша создавал сложную обстановку: то вдруг части армии нарывались на промежуточную или отсеченную позиции, то на скрытую противотанковую артиллерию, то вдруг их контратаковали с фланга или тыла. В заключение, на «четвертый день боя», когда правофланговый корпус генерала Казарцева продвинулся далеко за Сенно, в его тылу «появилась» десятитысячная группировка немцев, вырвавшаяся из окружения в районе Островно.

Понимая свою ответственность за великое дело освобождения Белоруссии, генерал Черняховский провел такие же «операции» и в других армиях. Он присутствовал на подобных учениях в корпусах и дивизиях, побывал на всех направлениях главных ударов.

Возвратясь к себе, Черняховский принял генерал-полковника Т. Т. Хрюкина — командующего воздушной армией. Рассказав ему о движении войск, о местах сосредоточения прибывающих армий и корпусов, он просил надежно прикрыть их авиацией.

Расставшись с командармом, Черняховский сел за стол, чтобы подписать все бумаги и приказы. Но беспокойная мысль о вводе в прорыв вдоль Минской автомагистрали танкового корпуса и танковой армии остановила его.

— Да-а! — многозначительно протянул он и задумался. Затем подошел к соседнему столу, склонился над оперативной картой. Густая сеть траншей и заграждений, противотанковых районов и артиллерийских позиций представилась ему по обе стороны Минской автомагистрали, по ту сторону фронта.

— А сколько еще не раскрыто?.. — горестно прошептал он. В голове, как назло, гудело: «Здесь не прорвешься со своими танками». И Черняховский уже в который раз переводил взгляд на полосу наступления армии генерала Крылова: Лиозно — Богушевск, наводившую на всех страх своими лесами, болотами и реками, текущими на север. Не торопясь, он подошел к радиоприемнику и настроил его на наш радиомаяк. Тихо полилась мелодичная песня, напомнившая Ивану Даниловичу далекое детство. Склонившись над картой, он тихо вторил:

Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю,
Чому ж я не сокіл, чому ж не літаю.

Положив карандаш на карту, он еще раз прошелся по комнате. «Надо на всякий случай отработать второй вариант ввода в прорыв танкового корпуса севернее шоссе через остров Юрьев, Межево, а танковой армии — в полосе войск генерала Крылова». Решил и сразу же подумал: «Как про все это доложить Сталину?.. Чтобы он понял и утвердил мое решение... А если не поймет?! Надо доказать свою правоту»,— и, решительно махнув рукой, по телефону пригласил к себе начинжа фронта генерал-лейтенанта Н. П. Баранова.

Долго командующий сидел с ним, внимательно слушая соображения по инженерному обеспечению этого второго варианта.

— Большое спасибо, Николай Парфентьевич! — Черняховский с признательностью посмотрел на Баранова.— Вы укрепили во мне веру в реальность нашего плана наступления на Богушевск.

5

Последние дни Черняховский часто спрашивал себя: что же скажет Сталин? И хотя Иван Данилович и не показывал виду, все же, в ожидании решения Верховного, озабоченность появлялась на его лице. И как он по-человечески был рад, когда Сталин согласился с его предложением, а Ставка утвердила два варианта нанесения главного удара на Оршу: вдоль Минского шоссе — и здесь вводится 5-я гвардейская танковая армия маршала Ротмистрова; если же будет очевидно, что успеха достигнуть нельзя, то разрешалось нанести главный удар из района Лиозно на Богушевск. Здесь же ввести конно-механизированную группу генералов Обухова и Осликовского, а следом за ней и танковую армию маршала Ротмистрова, которой за Богушевском повернуть

на юг, на Талочин, и там наступать вдоль Минского шоссе — на Борисов.

И теперь штаб и командующие армиями, не покладая рук, приступили к разработке и обеспечению второго варианта.

* * *

В ночь на 20 июня командующий, член Военного совета и командующие родами войск фронта с оперативной группой, возглавляемой генералом Иголкиным, убыли на передовой командный пункт. Он размещался в блиндажах на малозаметной высотке «208,5», немного севернее Минского шоссе, примерно в двух с половиной километрах от переднего края. Здесь же был построен блиндаж для представителя Ставки — Маршала Советского Союза А. М. Василевского. На основном КП, в лесу южнее Гусино, остался штаб во главе с генерал-лейтенантом А. П. Покровским, на плечи которого легли немалые заботы по осуществлению решений командующего и боевому обеспечению операции.

В эту же ночь перебрались на свои передовые КП и командармы. Теперь управление войсками фронта шло с этой, ничем не примечательной высотки.

Если до сих пор враг, считавший, что на этом фронте не может быть наступления крупных сил, вел себя относительно спокойно, то за последние дни он стал заметно активничать, стремясь всеми видами разведки разгадать наши намерения. Поэтому командующий еще раз потребовал от войск строгого соблюдения маскировки, полного молчания радиостанций. К середине июня были завершены все перегруппировки, и войска армий заняли на фронте свой предбоевой порядок согласно первому варианту, утвержденному Ставкой. Подвижные войска развития прорыва сосредоточились и притаились в своих районах.

Казалось, сделано все и можно было последние два дня перед операцией отдохнуть. Но не таков был Иван Данилович. Вот и сейчас, склонясь над картой, он размышлял, как поведет себя противник, когда войска армии генерал-лейтенанта В. В. Глаголева захватят Оршу, а войска соседнего фронта, форсировав Днепр южнее Могилева, перехватят пути отхода немцев на Слуцк.

— А это может быть,— произнес Черняховский, звонко шлепнув карандашом по карте.

Макаров, корректировавший здесь же только что прочитанное им «Обращение Военного совета к войскам», широко раскрыл глаза:

— Что такое?

— За левый фланг боюсь,— причмокнул губами Черняховский и по телефону пригласил к себе генерала Иголкина.

— Как вы думаете,— встретил он его вопросом,— куда бросится противник, когда мы возьмем Оршу, а 2-й Белорусский займет Осиповичи?

— Естественно, на Минское шоссе, а там на Минск или на север...

— ...По тылам наших армий,— добавил Черняховский.— И наделает нам такой тарарам, что мы вместо Минска на Друти застрянем... А чтобы этого не произошло,— он многозначительно обвел всех лукавым взглядом,— я решил левый фланг фронта прикрыть танковым корпусом Бурдейного. Поэтому до меридиана Коханово он наступает, как было решено, а там резко поворачивает на юг — на Староселье. В Староселье делает поворот на девяносто градусов — на запад, на Чернявку, там форсирует Березину, а затем прямиком на Минск! Ну, как?

Такое оригинальное, смелое и неожиданное решение на какое-то мгновение озадачило и Макарова, и Иголкина: его надо было как-то взвесить, сопоставив все «за» и «против». Наконец генерал Иголкин произнес:

— Правильно, товарищ командующий. Это самое рациональное решение. Только Бурдейного надо усилить пехотой.

— Согласен,— ответил Черняховский.— Как, Василий Емельянович?

— Я — за! — произнес генерал Макаров.— Сейчас созвонюсь с партизанским штабом Белоруссии и попрошу, чтобы они помогли корпусу Бурдейного.

— Быть посему! — удовлетворенно воскликнул Иван Данилович.

Часа через три Черняховский и генерал Макаров уже мчались по бетонному Минскому шоссе в направлении Красного, в корпус Бурдейного. Проехав немного, они обнаружили, что по магистрали и через нее перемещалась тяжелая артиллерия, сотрясая воздух сильным грохотом тягачей. Насколько командующий фронтом обычно был спокоен, настолько же иногда был и гневен. Вот и сейчас он резко обрушился на низенького подполковника — кавалера двух орденов Красного Знамени и ордена Суворова, командира тяжелого артиллерийского полка, нарушившего приказ о маскировке и о запрещении дневного перемещения. Тот стоял перед генералом ни жив ни мертв. Пот крупными каплями катился по его загорелому лицу.

— Виноват, товарищ командующий. Я выполнял приказ старшего начальника.

— Это не оправдание, подполковник! Вы должны были набраться смелости и доложить, что этого делать нельзя,— рубил командующий.— Безобразие! Враг наверняка уже засек ваше передвижение и грохот. Судить вас надо. И судить сурово. Сейчас же в лес и дотемна замереть!.. Ясно?

— Ясно, товарищ командующий,— ответил перепуганный подполковник. И, тяжело ступая, зашагал к колонне, словно нес на своей спине неимоверную тяжесть.

Генерал Черняховский насупился: он вспомнил себя в должности комдива и то, как сам тяжело переживал подобный разгон со стороны начальников.

— Нехорошо,— бормотал Иван Данилович.— Этак с маху и человека убить можно... Вот после такого срыва я всегда себя корю: «Перво-наперво разберись, а потом, если заслужил, разноси...» Задержитесь здесь, Василий Емельянович,— продолжал Черняховский,— ободрите этого подполковника. Может, он и в самом деле не виноват. Ведь всякие начальники бывают. А я погорячился...

6

Ранним утром 23 июня 1944 года началось то великое, чего так тревожно ждали войска четырех фронтов.

Еще не было шести, как командующий и член Военного совета вышли на НП. Несмотря на ранний час, солнце грело и предвещало хорошую погоду. Даже не верилось, что ночью в районе Витебска — Лиозно шел проливной дождь. По всему фронту было тихо, как будто бы фронт спал. Лишь со стороны врага изредка, видимо для острастки, доносилось тарахтение автоматов.

Но наш фронт, как и соседние фронты, не спал: войска готовились к сражению.

Иван Данилович и Василий Емельянович смотрели в стереотрубы на позиции, прикрывавшие Минское шоссе, а сами мысленно были под Витебском, на НП генерала Людникова, армия которого, по плану Черняховского, в пять сорок должна была начать операцию «Багратион» артиллерийской подготовкой, а в восемь двинуться на штурм укреплений витебской группировки противника.

Ровно в пять сорок зашипел телефон «ВЧ», звонил Людников. Командующий взял трубку. Разговор был коротким. Пожелав ему успеха, Черняховский обвел всех многозначительным взглядом:

— Ну, друзья, Людников начал...— И, немного помолчав, как бы собираясь с мыслями, обратился к генералу Иголкину и находившимся здесь направленцам: — А теперь, товарищи, по местам и все внимание боевой готовности армий.

Часом позже по всему фронту — вместе с ними и два соседних фронта — 1-й Прибалтийский и 2-й Белорусский — начнут артиллерийское и авиационное наступление, а в девять нольноль на четырехсоткилометровом пространстве — от озера Нещердо до реки Сож, что у Славгорода,— поднимутся войска

этих фронтов и двинутся на штурм укреплений полосы «фатерланд». А на другой день на рубеже Славгород — Мозырь вступит в сражение за освобождение Белоруссии и 1-й Белорусский фронт.

Наконец наступил торжественный момент, когда огневой вал налетел сплошным огнем на передний край врага. И вот в эту самую минуту дежурный по НП офицер доложил Черняховскому, наблюдавшему в стереотрубу огневой налет артиллерии, что его просит к телефону генерал Людников.

— Людников? — удивился командующий и прошел к телефону. Судя по лицу Черняховского, слушавшего доклад командарма-39, можно было понять, что там случилось что-то чрезвычайное: брови Ивана Даниловича сдвигались к переносице.

Выслушав доклад, Черняховский произнес:

— Ну что ж, теперь не остановишь. Так что немедленно перенацельте артиллерию и авиацию, а то шарахнут по своим... Перенацелили? Прекрасно. Действуйте! Почаще информируйте меня.

— Что случилось? — спросил Макаров.

— Случилось, Василий Емельянович, то, чего не мог предвидеть и сам всевышний. Пехота самостоятельно поднялась в атаку, и вся 39-я армия перешла в наступление.

— Как же это так? За час до конца артподготовки? — удивился Макаров.

— Не выдержали нервы комбата 61-го полка. Ему показалось, что противник отходит, и чтобы его не упустить, он, не дождавшись конца артподготовки, запустил ракету, поднял батальон и повел его в атаку. Смотря на него, ринулась вперед группа захвата мостов и соседние батальоны, а за ними поднялись и полки. Так что Людникову ничего не оставалось, как отдать приказ на наступление...

— Но ничего,— Черняховский дружески положил руку на его плечо,— будем делать все, чтобы шло, как надо.— И тут же он прозвонил командующим ВВС и артиллерии и поставил их в известность о случившемся.

Пока Черняховский объяснял Макарову, артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника и перешла к уничтожению уцелевших дзотов, дотов, НП и блиндажей. За 15 минут наступления фронтовая авиация нанесла мощные бомбовые удары по боевым порядкам, штабам и резервам противника. А за пять минут до атаки, когда гитлеровцы вновь заняли траншеи, по ним снова ударили артиллерия и авиация. Это был для врага кромешный ад: над передним краем врага стояла черная стена вздыбленной земли.

Черняховский и все, кто с ним находился, вышли в ход сообщения, чтобы своими глазами видеть всю мощь и широту наступле-

ния и сердцем почувствовать это необыкновенное величие и силу духа наступающих войск.

Ровно в девять рванулись вперед танки, за ними дружно пошла пехота. Окрест загремело могучее «ура!». Началась грандиозная битва за Белоруссию. В это утро на шестисоткилометровом пространстве, от озера Нещедра до Мозыря, поднялась могучая армада четырех фронтов и стремительно двинулась освобождать многострадальную Белоруссию от фашистских захватчиков. Вместе с ними поднялась более чем 370-тысячная партизанская армия Белоруссии.

Расчеты генерала Черняховского оправдались. Успешнее всего наступали войска правого крыла фронта. За первый день армия генерала Крылова, несмотря на дождь, прорвала всю глубину тактической обороны противника, на второй день форсировала Лучесу, перехватила шоссе Витебск — Орша, отрезала витебскую группировку врага от главных резервов армии и обеспечила ввод в прорыв конно-механизированной группы (мехкорпус генерала В. Т. Обухова и конный корпус генерала Н. С. Осликовского), которая совместно с дивизиями генерала А. А. Казаряна и полковника А. А. Донца стремительно ударила на Богушевск и в этот же день овладела им.

В направлении Витебска события тоже развивались успешно. Войска левого фланга армии генерал-лейтенанта И. И. Людникова за первые сутки наступления форсировали Лучесу и продвинулись на 10—15 километров.

Зато здесь, по обе стороны Минского шоссе, насколько могла охватить стереотруба, шло упорное и кровопролитное сражение. Впереди все тонуло в крутящемся дыму разрывов и пожарищ. Земля, а вместе с ней и НП командующего, нервно вздрагивая, тряслись, как в лихорадке. И казалось, что войска сражаются все на том же месте. Но командующий не падал духом. Он надеялся и верил, что танковый корпус генерала Бурдейного прорвется внезапно там, где гитлеровцы его не ждут, грозно нависнет с севера над флангом 78-й штурмовой пехотной дивизии врага и, наконец, вынудит генерала Траута на Минском шоссе отступить.

В хорошем настроении Черняховский вошел утром в блиндаж оперативной группы.

— Что нового, товарищ Иголкин?

— Есть новое, товарищ командующий.— Генерал Иголкин раскрыл карту полосы армии генерала Галицкого.— Первое — корпус Бурдейного обходит с севера мощный узел обороны Орехи и идет на Белобородье. Пока что идет медленно...

— Зато верно,— вставил командующий.

— Генерал Галицкий просит помочь корпусу и ударить авиацией по Белобородью.

— Поможем,— сказал Черняховский и сразу же связался с командующим воздушной армией.

— Второе,— продолжал генерал Иголкин,— генерал Алешин только что докладывал, что сегодня ночью в районе Бурдюки,— ножками циркуля он указал на Минскую автостраду,— подобран тяжелораненый солдат 25-й зенитной артиллерийской дивизии. Он показал, что их дивизии кроме противовоздушной обороны поставлена задача борьбы с танками в полосе Минской автострады.

— Калибр?

— Большой. Раненый говорит, что они ждут здесь, вдоль шоссе, танкового наступления.

— Ждут танкового наступления? — повторил командующий.— Выходит, немцы не дураки, правильно определили и припрятали зенитную артдивизию, да еще крупного калибра,— это серьезный сюрприз... Все ясно.— Его черные брови нахмурились. Подумав, командующий неторопливо сказал: — Это еще раз нас убеждает, товарищ Иголкин, что здесь вводить танковую армию нельзя.

— Так точно, товарищ командующий, нельзя.— Генерал Иголкин давно был готов к ответу. Он еще ночью с тщательностью опытного оператора глубоко проанализировал и обстоятельно взвесил сложившуюся на этом направлении обстановку.

— Раз «так точно», то готовьте директиву маршалу Ротмистрову: к утру 25 июня передислоцировать танковую армию в район Мсов и ввести ее в прорыв в районе Толочина. Выйти на Минскую автостраду и развить успех на Борисов.

7

Солнечное утро 25 июня было необыкновенно радостным. Над КП фронта уже не громыхали трескучие разрывы, да и воздух стал чище без этой пороховой гари. Даже на израненной и ободранной березке приветливо засвистела синичка.

— Ц-сш-ш! — Командующий предупреждающе приложил палец к губам, показав глазами шагавшему по ходу сообщения генералу Иголкину на эту первую предвестницу фронтовой тишины. Генерал Иголкин, увидев Черняховского, патетически произнес:

— Лед тронулся, товарищ командующий!

Они вошли в блиндаж. Иголкин, развернув карту, начал докладывать:

— Бурдейный прорвался и набирает темп. Его передовой отряд уже вышел на Витебское шоссе и овладел Клюковкой. На Минской автомагистрали Траут начал отводить свои войска и ведет сдерживающие бои. 26-я и 84-я гвардейские стрелковые

дивизии наконец овладели рубежом Шалашино и успешно продвигаются вдоль Минского шоссе к рубежу Юрцево — Бурдаки.

— Большое спасибо за радостную весть,— глаза командующего заблестели. Ему хотелось как можно скорее ввести в прорыв главные силы танковой армии. Ее передовые отряды уже двинулись с исходного положения в полосу армии генерала Крылова, войска которой дрались за Сенно и овладели Алексеничами. Армия генерала Людникова во взаимодействии с войсками 1-го Прибалтийского фронта к этому времени с восточной и южной сторон обложила Витебск.

Потом генерал Черняховский и генерал Макаров под охраной бронетранспортера направились на автомашинах по Минской автомагистрали туда, где дивизия гвардейского стрелкового корпуса вела решающий бой. К фронту шли машины с боеприпасами. Навстречу один за другим мчались, волнуя командующего и члена Военного совета, зеленые автобусы с красными крестами. Казалось, им не было конца. И в этот момент, как бы в отместку за та́кой длинный эшелон тяжелораненых, со свистящим ревом низко пронеслись три звена «черной смерти» (так гитлеровцы называли наши штурмовики). Они прогремели над головами первой на этом шоссе партии пленных. Многие из них, видимо еще не отошедшие от страха, навеянного боем, бросились на обочину и утонули в зелени кювета. И тут до слуха генерала Черняховского долетело грозное: «Встать!» В этом «встать» почувствовалась сила духа нашего солдата, который решает там, в бою, судьбу многострадальной Белоруссии.

Впереди показалось дымящееся от только что прошедшего боя селение Перед въездом в него командующий остановил машину и обратился к раненому солдату, который, пошатываясь, шагал к передовой:

— Гвардеец! Куда путь держишь?

— Туда,— махнул солдат рукой в сторону фронта,— в полк.

— В полк? — удивился командующий и вышел из машины. За ним вышли и остальные. Шоферы мгновенно загнали машины в кусты.

— Да что ты, дорогой мой. Ты ж еле на ногах держишься. Садись-ка лучше в машину, и шофер тебя в медсанбат отвезет. Здесь недалеко.

— Нельзя, товарищ генерал,— качал головой солдат.— Я — белорус. Там,— он поглядел туда, где грохотало,— за мою родину народ сражается.

— Садись, дружок,— вмешался генерал Макаров,— командующий тебе хорошего желает...

— Командующий? — прошептали губы солдата, обросшие щетиной. И он покорно сел в машину.

Черняховский и Макаров вышли на пригорок, где их должен был встретить представитель комкора.

Рядом еще дымился подбитый немецкий танк. Во всю стену полуразрушенного кирпичного здания белела надпись: «За героическую смерть Юрия Смирнова ответим тройным ударом по врагу. Вперед, товарищи!»

Из-за стены навстречу шагал полковник, в котором генерал Макаров узнал замполита командира корпуса.

Полковник рассказал, что он только что из деревни Шалашино, где нашли распятым в блиндаже рядового гвардейского стрелкового полка Юрия Смирнова. Каждое слово полковника дышало возмущением и гневом:

— Мало того, что распяли, еще зверствовали: лоб пробили гвоздями, штыком исполосовали лицо, руки, живот. Изверги!

Генерал Макаров уже наставлял своего порученца майора Беспалого: «На НП комкора сразу же запишите все, что нужно для представления Юрия Смирнова к званию Героя».

НП комкора был расположен на опушке соснового леса. Наблюдая бой, здесь Черняховский ощутил то, что так радостно волнует душу всякого полководца. Пусть враг еще бешено сопротивляется, пусть танковая армия еще только-только входит в полосу прорыва, но командующий уже видел, что еще один удар артиллерии и авиации, еще один натиск танков и пехоты — и враг побежит. Черняховский щедро дал из своего резерва все, что просил комкор: и один вылет дивизии штурмовиков, и два дивизиона «катюш», и лишний боекомплект, и даже людей на пополнение основательно поредевших дивизий.

— Теперь, дорогой генерал, решимость, мужество, быстрота и натиск! — произнес он, прощаясь с комкором.

9

Утром следующего дня 158-я стрелковая дивизия полковника Гончарова 39-й армии генерала Людникова ворвалась в Витебск.

А во второй половине дня войска генерала Людникова, взаимодействуя с армией Белобородова, вошли в Витебск и к концу дня освободили его; передовые дивизии 5-й армии Крылова захватили железную дорогу Орша — Лепель, конно-механизированная группа продвинулась еще дальше — вышла на реку Улла и с помощью партизан форсировала ее; войска генерала Галицкого за эти сутки прошли далеко за шоссе Витебск — Орша и вышли на рубеж Зубов — Смоляны; танковый корпус, как решал генерал Черняховский, пересек железную дорогу Орша — Минск, его передовой отряд овладел Староссельем и повернул прямиком на Березину; гвардейская танковая армия маршала Ротмистрова на-

конец-то вырвалась на Минскую автомагистраль и при поддержке авиации в четыре часа дня овладела местечком Толочин и развивает успех вдоль Минского шоссе на Крупки.

— Ну, товарищ Иголкин, кажется, все! Теперь перед нами прямая дорога на Минск! — Командующий вручил этому неутомимому, но все же основательно уставшему генералу подписанное им и генералом Макаровым донесение в Ставку о взятии Витебска.— Мы сейчас с Василием Емельяновичем едем вперед, к маршалу Ротмистрову. А вы тут подумайте о новом КП.

Проводив генерала Иголкина, Черняховский как-то особенно восторженно хлопнул в ладоши и воскликнул:

— Комаров! Собирайся!..

Через полчаса по Минской автомагистрали мчались две легковые машины-вездеходы, газик и бронетранспортер. За вторым виадуком, перекрывающим железную дорогу Орша — Лепель, там, где Минская автомагистраль прячется в небольшой выемке, машины остановились. Все вышли.

Из-за придорожных кустов появился бородатый старик в рубище и со слезами на глазах взволнованно заговорил:

— Добры дзень, дороженькие товарищы! Наконец-то мы вас дочакалися, аслабадители наши. Дзякуем вам...

— Здравствуйте, отец! — Черняховский крепко пожал руку старику.— Тяжело было под фашистами-то?

— Тяжко, ой, як тяжко, сынки мои! — И полилась речь старика, полная горечи и печали.

— Чем же тебя, отец, порадовать? — вопрошающе окинул всех взглядом Черняховский.

Генерал Макаров крикнул своему порученцу:

— Беспалый! Посмотри, не найдется ли у ребят табачку для старика.

Солдаты с полуслова поняли, бросились к бронетранспортеру и притащили весь свой НЗ.

— На, возьми, отец,— Василий Емельянович протянул старику хлеб, а солдаты — консервы, сахар и пачки махорки.

— Что ты, сынок,— замахал руками старик и наотрез отказался взять что-нибудь.— Я тут тоже, как бы на варте. Коли што, то повинен хутка своим поведамить. Они там,— старик показал в сторону Орши, где за лесом беспрерывно грохотал бой.— Им ваш командир боевую задачу поставил.

— Как тебя, отец, величать? — спросил командующий.

— Меня? Рыгор Яхимчук, товарищ командир.

— А по батюшке?

— Ничипорович.

— Так вот, Рыгор Ничипорович, берите все это. Чем богаты, тем и рады. А своим товарищам передай,— продолжал Иван Данилович,— что командующий и член Военного совета фронта

шлют им свой боевой привет и желают сегодня же освободить Оршу.

— Дай бог, дай бог...— растерянно лепетал старик, кулаком вытирая слезы.

Вернулись на КП как раз к передаче «В последний час». Торжественно звучал голос Левитана. Командующий, слушая его, отмечал на карте лишь большие пункты: Жлобин, Горки... Его интересовало, как двигаются соседние фронты. Порученец подробно записывал сведения.

Распахнулась дверь, и вошел сияющий майор — секретарь Военного совета. Этот по природе своей штатский человек четко, по-военному подошел к командующему и хрипловатым голосом — такой он у него был — доложил:

— Товарищ генерал армии!..

Услышав эти слова, командующий сделал большие глаза. Майор продолжал:

— Имею честь вручить телеграмму Верховного главнокомандующего о присвоении вам звания генерала армии и его поздравление.

— Спасибо, товарищ Бабаев,— улыбнулся Черняховский и протянул ему руку.

Поздравили Макаров и Комаров.

— А теперь, Василий Емельянович, за работу! Надо сделать так, чтобы завтра прикончить «котел» под Витебском, освободить Оршу и на Минском шоссе захватить мосты через Бобр раньше, чем успеет это сделать танковая дивизия врага,— и он пригласил Макарова к большому столу, где лежала карта с нанесенной на нее оперативной обстановкой фронта.

— Начнем с Витебска,— и Иван Данилович опустил ладонь, там, где клещи армий с севера — генерала А. П. Белобородова и с юга — генерала И. И. Людникова ударом на Гнездиловичи и Островно зажимали тридцатитысячную группировку генерала Гольвитцера.— Здесь Людников справится сам, только ему надо помочь авиацией и «катюшами».— И он скользнул пальцами на Оршу. Там дивизии 31-й армии В. В. Глаголева рвались вдоль обоих берегов Днепра к городу, а с севера, со стороны Минской автострады, наступали две гвардейские дивизии армии генерала К. Н. Галицкого.— А вот здесь положение посерьезнее. Если с запада не прикрыть, то Траут отсюда свое войско уведет. Поэтому...— задумался Черняховский,— надо одну танковую бригаду корпуса Бурдейного повернуть на сто восемьдесят градусов и ею внезапно ударить вот сюда! — поставил он палец на юго-западную окраину Орши.— Теперь?..— смотря на Минское шоссе, где наступала 5-я гвардейская танковая армия, Иван Данилович замолчал.— Тут, Василий Емельянович,— наконец заговорил он, водя карандашом по линии Игрушки — Крупки,— неми-

нуемо разыграется встречное танковое сражение...— И опять раздумье.— Вывод один. Еще на марше разгромить танковую дивизию немцев... А если все-таки будет назревать танковый бой, то армию маршала Ротмистрова следует поддержать с воздуха да и противотанковой артиллерией. Артиллерией? А как?..— Черняховский задумчиво зажал ладони.— Знаете что? Давайте немного отдохнем, попьем для бодрости чайку. А потом снова за работу.

27 июня, пожалуй, был самый радостный день: в полдень сообщил Людников, что капитулировал генерал Гольвитцер; вечером доложили генералы Глаголев и Галицкий, что их войска совместно с 26-й танковой бригадой освободили Оршу. Армия маршала Ротмистрова форсировала Бобр, а армия генерала Крылова вместе с гвардейскими корпусами — конным и механизированным — к исходу дня вышли на линию озер Лукомльское — Селява. Дальше всех продвинулся танковый корпус генерала А. С. Бурдейного. Он, с помощью партизан, форсировал южнее Минского шоссе реку Можа и ходко продвигался к Березине.

* * *

... Танковый бой на Минской автомагистрали начался в полдень 28 июня. Танкисты маршала Ротмистрова после короткого, но мощного артиллерийского налета смяли силы передового отряда 5-й танковой дивизии немцев и с боем взяли Крупки. А на другой день при эффективной поддержке авиации обрушились всей мощью армии на главные силы этой дивизии, наголову их разбили и остатки погнали к Борисову. Преследование было таким стремительным, что гитлеровцы еле-еле успели взорвать бетонный мост через Березину. Но на их плечах, еще до взрыва, прорвалась в Борисов «тридцатьчетверка», ведомая лейтенантом П. Н. Раком. Она навела панику на гарнизон, подавила зенитную батарею, разгромила комендатуру и штаб гитлеровской части, прорвалась на станцию и освободила советских людей, угоняемых в Германию. Экипаж сражался весь день и героически погиб, окруженный танками врага.

В этот день командующему исполнилось тридцать восемь лет. Первым его поздравил, вручив телеграмму от семьи и новые погоны генерала армии, подполковник Комаров. Глаза Ивана Даниловича блестели ласковым огоньком, когда он читал эту долгожданную весточку. В тот момент, когда Черняховский надевал китель с новыми погонами, вошел генерал Макаров и тоже поздравил с днем рождения.

— Комаров! А ну-ка быстрее завтрак! — скомандовал Иван Данилович и пригласил Василия Емельяновича за стол.

За завтраком они позволили себе выпить водочки за день рождения и «обмыли погоны». А после командующий и член Военно-

го совета помчались на КП Павла Алексеевича Ротмистрова. Туда прибыл и маршал Василевский. В это время Березина, выбрасывая столбы воды, кипела от артиллерийского огня и взрывов авиабомб. Василевский, Черняховский, Ротмистров и Макаров с восхищением смотрели, как бойцы стремительно выбегали из леса, таща за собой надувные или складные лодки, бесстрашно бросались на них в кипящую огнем реку и, стреляя по врагу, плыли туда, где сплошь дымил берег, трещали пулеметы и автоматы. Не меньшее восхищение вызвали у командования и саперы, которые в этом аду строили переправы для танков 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова.

Сюда же, на берег, через рацию Черняховского со всех участков фронта шли приятные и ободряющие сообщения. Они действительно были радостными: севернее, на фронте Бегомль — озеро Палик, с помощью партизанских бригад «Железняк», «Дяди Коли» и «имени Пономаренко» конно-механизированная группа и передовые отряды 72-го и 65-го стрелковых корпусов уже форсировали Березину, а южнее гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного, тоже при активном содействии партизан, полным ходом шел к Березине в направлении Чернявки.

* * *

28 июня пришла директива Ставки, которая приказывала фронту с ходу форсировать Березину и во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского фронта не позже 7—8 июля занять Минск, а правым крылом — Молодечно.

И теперь командующий занялся вместе с генералом Иголкиным разработкой мероприятий и организацией боевого обеспечения с целью овладения Минском: до этого Минск был в полосе 2-го Белорусского фронта.

... В поздний погожий вечер за занавешенными наглухо окнами стоял за длинным столом командующий и обдумывал, как бы взять Минск не 7—8 июля, а 3 июля... На Минск он назначил целиком армию генерала Глаголева, гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного и часть сил гвардейской танковой армии маршала Ротмистрова, которая после взятия Борисова должна была наступать на Логойск. Наряду с этим он возложил на генералов Глаголева и Бурдейного прикрытие левого фланга фронта, особенно со стороны Волмы, где совместно с войсками 2-го и 1-го Белорусских фронтов окружалась большая группа немецко-фашистских войск.

Утром, как всегда, генерал Черняховский в майке и трусах выскочил в сад на физзарядку и поежился от неприятного озноба и душившего кашля.

— Что за чертовщина? — но все же заставил себя сделать упражнения. Несмотря на плохое самочувствие и кашель, он все

же не удержался и во второй половине дня вместе с генералом Макаровым «выскочил» вперед, туда, ближе к Минску. Его волновало то, что армия маршала Ротмистрова, согласно его новому решению, уже подалась с автомагистрали вправо и наступала на Острошицкий Городок, а на автомагистраль вот-вот должен был в районе Смолевичей выйти один из передовых отрядов корпуса Бурдейного. Ожидание этого события задержало генерала Черняховского там допоздна. Возвратясь на КП, в Крупки, он почувствовал себя совсем плохо. Его тянуло прилечь, но боевая стихия фронта так захватила, что даже ночью спать почти не пришлось. Да разве можно было спать, когда весь фронт стремительно шел вперед! Командующему почти беспрерывно звонили командиры, приходили с телеграммами то шифровальщики, то дежурные по связи, да и он сам был в напряжении, ожидая сообщения о Минске.

И вот на рассвете 3 июля раздался долгожданный звонок. Звонил командарм Глаголев:

— ... В три ноль-ноль передовой отряд 4-й гвардейской танковой дивизии корпуса Бурдейного ворвался в Минск со стороны обсерватории...

Это сообщение настолько обрадовало командующего, что он забыл про свою болезнь и начал звонить генералам Макарову, Покровскому и Иголкину, восторженно сообщая им эту новость.

— У вас, товарищ генерал армии, острый бронхит, и вам надо полежать. Баночки поставить...— сказал врач штаба, годами моложе больного.

— Это, Сергей Петрович, невозможно,— возразил Черняховский.— Наши уже в Минске.

— Наши в Минске? — повторил Савлуков. Его настолько поразило это сообщение, что он даже не проронил и слова, когда генерал Черняховский, обнаженный до пояса, пошел к звонившему телефону. Врач «очнулся» только тогда, когда командующий, чтобы порадовать его новыми сообщениями уже из Минска, отвернул трубку от уха, из которой громко звучал радостный голос командарма Глаголева.

— Товарищ генерал армии, наденьте...— шептал Савлуков, протягивая рубашку.

«...Войска продвинулись за Свислочь,— докладывал генерал Глаголев.— Наблюдаю с НП — на Доме правительства красный флаг».

— Сердечно благодарю, Василий Васильевич! От имени Военного совета фронта поздравляю вас и ваши войска с победой!.. Но смотрите, не столкнитесь с танкистами маршала Ротмистрова и частями 1-го Белорусского фронта,— предупредил генерал Черняховский.

— Никак нет. Я уже связался с теми и другими. Танкисты маршала Ротмистрова дерутся за северную и северо-западную окраины города, а на южной, в Красном Урочище, ведут бои передовые части Рокоссовского — танковый корпус генерала Панова. Завтра окончательно очистим Минск от фашистской нечисти.— И генерал Глаголев пригласил командующего к себе на новый НП — на самом верху Дома правительства.

— Большое спасибо, Василий Васильевич. Пожалуй, не смогу. Сегодня войска фронта, воодушевленные вашей победой, продвинулись далеко на запад. Корпус генерала Обухова уже овладел Вилейкой, а генерал Галицкий — Красным. Так что мне надо спешить вперед. А здесь я всецело полагаюсь на вас. Желаю завтра успешно завершить эту историческую операцию.— И командующий положил трубку, с улыбкой посмотрев на Савлукова.

— Теперь, дорогой доктор, я в вашем распоряжении до самого утра. Делайте все, что требуется, чтобы завтра утром я был практически здоров...

И действительно, Иван Данилович по совету Василия Емельяновича послушно весь день и ночь выполнял назначения врача, а утром уже был на ногах.

— ... Мехкорпус генерала Обухова форсировал реку Нарочь в направлении Сморгонь,— докладывал генерал Иголкин.

Командующий, весело посматривая то на генерала Макарова, то на генерала Покровского, по карте измерил, насколько корпус за сутки продвинулся вперед и как это далеко от Минска. Выходило — от Минска свыше восьмидесяти километров.

— Войска маршала Ротмистрова овладели Раковом и Волмой,— продолжал генерал Иголкин.

Командующий измерил и здесь расстояние от Минска: получилось что-то около тридцати. Оказалось, что общевойсковые армии за сутки продвинулись километров на двадцать — двадцать пять.

— Прекрасно, товарищи! Теперь только вперед! — восторженно произнес Иван Данилович, когда Иголкин закончил свой доклад.— Теперь, Александр Петрович, нам здесь делать нечего. Сворачивайте КП и переносите его в Логойск. А мы,— посмотрел он на генерала Макарова,— едем к Крылову.

Но не успел он закончить как вошел офицер и вручил командующему телеграмму.

— Ну вот, директива Ставки на новую, Вильнюсскую операцию,— произнес Черняховский и зачитал ее.— Так что, Василий Емельянович, наша поездка на сегодня отменяется.

Если до этого времени Черняховский не сомневался (так ему хотелось!) в направлении фронта на Варшаву, а там — на Берлин, то теперь, с переносом оси наступления несколько правее, по-

чувствовал, что фронт нацеливается на Восточную Пруссию. И, надо сказать, немного загрустил.

— Все ясно,— Черняховский огорченно стукнул костяшками по столу,— упремся во Фриш-Гаф или Куриш-Гаф, и нашему фронту конец!..

Он любил свой фронт и свой штаб, и ему очень хотелось, чтобы 3-й Белорусский завершил войну победой в Центральной Германии.

— Приказ есть приказ! Так вот, друзья, садитесь и за дело! А в Логойск,— Черняховский обратился к генералу Покровскому,— пошлем квартирьеров.

8 июля, после неудачной попытки прорваться у Самохваловичей, через Птичь, на Дзержинск, окруженная под Минском группировка 4-й немецкой армии капитулировала.

* * *

... 16 июля, оторвавшись от боевых дел, Черняховский и Макаров поехали в Минск на парад партизан.

Горем и смертью веяло от руин Минска. Но не смерть и горе, а народная радость во всем властвовала здесь в этот жаркий день. И в горожанах с цветами в руках, и в этих колоннах мужественных и отважных народных мстителей, и в их звучных песнях, и в их красных боевых знаменах. Находясь на трибуне большого луга, простиравшегося на берегу Свислочи, генерал Черняховский с волнением смотрел на нескончаемое движение партизан, тех, кто, рискуя жизнью, сообщал фронту ценные сведения о противнике, тех, кто громил фашистские гарнизоны, подрывал пути и пускал вражеские эшелоны под откос, тех, кто встречал и провожал части дивизии фронта по дорогам лесов и болот, захватывал мосты и вместе с саперами строил для наступающих войск переправы. В этой массе людей Черняховский увидел бородача Рыгора Ничипоровича. Теперь это был не тот, замученный горем, забитый старик. По-строевому шагал, гулко отбивая шаг, бравый и бывалый воин с винтовкой за плечом.

Ивану Даниловичу казалось, что этот старик олицетворяет собою весь могучий белорусский народ. И Черняховский замахал ему рукой.

Старик в ответ сдернул с головы фуражку и что-то прокричал, и вслед за ним раздался чей-то мощный голос:

— Освободителям Минска — ура! — и сразу же загремело еще более раскатистое «ура!».

— Какая великая сила, Василий Емельянович! — взволнованно прошептал Черняховский.

— Эта сила — наш резерв,— ответил генерал Макаров.— С нею, Иван Данилович, мы будем громить фашистское логово...

— И побеждать! — добавил Черняховский.

* * *

Возвращались самолетом. Руины Минска, навеявшие на И. Д. Черняховского и В. Е. Макарова тяжелую скорбь, остались далеко позади. Теперь там, внизу, совсем как в мирное время, широко простирались белорусские леса, еще недавно наводившие страх на врага; по-мирному поблескивали своими водами речки и озера, а между ними, радуя душу, яркой желтизной спелых хлебов отливались поля.

«В какой героической борьбе с оккупантами выращен этот хлеб,— думал Черняховский. А тут, внизу на пожнях излучины реки, косцы — похоже женщины да ребята — замерли. Женщины, сорвав с голов платки, махали ими, приветствуя самолет; а ребята, задравши руки и подпрыгивая, сломя голову неслись за тенью самолета.

Иван Данилович, силясь рассмотреть, кто же там, вплотную прильнул лбом к стеклу иллюминатора и беззвучно бросил косцам:

— Спасибо вам, дорогие труженики полей и за хлеб и за помощь Красной Армии!

Косцы уже скрылись, а изгиб излучины все еще тянулся через поле к лесу, напоминая Ивану Даниловичу недавно пережитое.

— Что-то интересное увидели? — окликнул его Макаров, сидевший по левому борту.

— Да вот излучину речки. Идите, посмотрите. Она что-то вам напоминает?

Генерал Макаров подошел к правому борту и взглянул в иллюминатор, но самолет уже летел над лесом, и речка тонула в лесной чащобе.

— Ничего не напоминает,— Василий Емельянович пожал плечами.

— А помните нашу радость — это было 8 июля уже на новом КП,— тогда мы с вами поставили на карте, на излучине реки, что километров двадцать южнее Минска, большущий черный крест?

— На Птичи? У Самохваловичей? Как же, помню.

— Так вот эта излучина мне напомнила тот радостный день, когда генерал Мюллер сделал там, у Самохваловичей, последнюю роковую попытку вырваться из минского «котла», но был наголову разбит и капитулировал. И этим закончился первый этап Белорусской операции «Багратион»!.. В этой операции, Василий Емельянович, я, как никогда, почувствовал силу нашей партии, армии, партизан и тружеников тыла и вообще единство всего народа нашей великой страны. И это, Василий Емельянович, нам надо довести до каждого воина. Ведь им придется прорывать сильно укрепленные линии обороны Восточной Пруссии.

— Я тоже так думаю,— сказал генерал Макаров.— Но нам следует должное отдать и нашему Верховному Главнокомандо-

ванию, в делах которого олицетворяется единство партии, армии и народа. По-моему, этот тезис вам следует раскрыть в сегодняшнем выступлении, когда вы будете ставить задачи на Каунасскую операцию.

— Да,— согласился генерал Черняховский.— Но тогда надо хотя бы кратко подвести итог первого этапа операции «Багратион»...— и, обернувшись к порученцу, сидевшему за его спиной, взял у него планшет, из которого вынул блокнот, авторучку и стал писать.— Перво-наперво, как вы сказали,—взглянул он на Макарова,— надо должное отдать Ставке Верховного главнокомандования и, конечно, Генеральному штабу. Ведь ими разработан план грандиозной по масштабу и глубокой по целям наступательной операции четырех фронтов. Выполняя этот план, разом поднялись четыре фронта и рядом частных операций — Витебской, Бобруйской, Могилевской и Оршанской — взломали «неприступную» оборону «восточного вала», а затем, с помощью белорусских партизан, двумя сходящими мощными ударами на Минск — нашего фронта из района Витебск — Лиозно на Борисов и фронта маршала Рокоссовского из района Быхов — Озаричи на Бобруйск — намертво окружили восточнее Минска и разгромили стопятитысячную группировку врага во главе с известными нам генералами Траутом и Мюллером. Причем взяли в этом минском «котле» пятьдесят тысяч пленных, в их числе двенадцать генералов. Здорово? А это ведь почти шесть полнокровных дивизий! Но это еще не все,— Черняховский приподнял руку, так как генерал Макаров хотел что-то сказать.— В результате во фронте «прославленного» генерал-фельдмаршала Моделя, «льва обороны»,— усмехнулся Иван Данилович, образовалась от Западной Двины до Припяти четырехсоткилометровая брешь, и для наших четырех фронтов и соседей открылась широкая стратегическая возможность в кратчайший срок освободить Белоруссию, затем Литву и приступить к освобождению Прибалтики и Польши. А там — вперед, на разгром логова фашизма. Здорово? — и сам же ответил: — Прекрасно! Операция «Багратион»! — Ее, Василий Емельянович, друзья, недруги будут изучать в веках.— Тут генерал Черняховский поднялся, так как глухой стук колес самолета, бежавших по бетонке, возвещал, что летный путь окончен.— А пока что, дорогой боевой товарищ, нам надо на каунасском направлении форсировать Неман и наступать на Каунас.



«Красная Армия, продвигаясь на запад, непосредственно приступила к осуществлению своей исторической миссии — освобождению народов Европы от фашистского рабства. Позади остались годы борьбы; позади лежали длинные, трудные фронтовые дороги, израненная земля, сожженные, разрушенные войной города и села. Красная Армия пришла к заключительному этапу войны как грозная, могучая сила, как олицетворение мощи социалистического государства, как армия — освободительница народов Европы от фашизма.

Великая освободительная миссия Красной Армии закономерно вытекала из природы советского общественного строя, марксистско-ленинской политики социалистического государства, из его интернациональных обязанностей».

«Советские воины избавили от фашистской оккупации народы Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Норвегии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. От фашистской тирании был избавлен и немецкий народ».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 588, 654.

МАРК
ЧАРНЫЙ

В БОЛГАРИИ



Румынскую часть Добруджи мы проехали за несколько часов. Краснофлотец-шофер, с которым я сидел рядом в кабине, не проронил за эти часы почти ни слова. То ли это была природная угрюмость, то ли особая шоферская недоступность, свойственная многим шоферам, которые настолько преисполнены важности, что вообще смотрят на род людской с некоторым пренебрежением.

Впрочем, мой водитель был пожилым человеком, пришедшим из запаса, и всем своим обликом походил больше на колхозного бригадира, чем на удалого матроса из прославленного батальона морской пехоты.

Я знал, что шофер этот уже не раз путешествовал по пути Румыния — Болгария и обратно, но в ответ на мои попытки завести разговор он произнес только одну фразу:

— До границы доедем... там другое...

Я с нетерпением ждал границу, отделяющую Румынию от Болгарии, но заметить ее было нелегко. Ни заставы, ни даже столба у дороги. В стороне стоял румынский солдат в своей двурогой пилотке и что-то записывал в книжку. Мы проехали не останавливаясь.

Те же кукурузные поля. Та же грустная пустота и печаль одиноких домиков, раскинутых в отдалении, дорога, давно не видевшая катка. Многострадальная земля Добруджи! Сколько войн гремело на ее полях в одном только двадцатом веке. Наступления, отступления, дележ, передел и переход от одного государства к другому; массовые выселения и переселения.

Но мой шофер действительно повеселел как будто и решительнее нажимает на акселератор. Идут крестьянские мальчишки с сумками. Похоже,— школьники. «Ура!» — кричат они, завидев нашу машину, и в знак приветствия подымают вверх сумки. Угрюмый водитель скосил чуть улыбнувшимся глазом и поднял от руля руку в знак ответного салюта.

Едет телега совсем старороссийского образца, в ней мужчина с русой бородой, тоже старороссийского образца. Подымает картуз с красным околышем вроде нашего казачьего, мы тотчас же козыряем в ответ.

Вдруг шофер резко нажимает на тормоз и, скрипнув рычагом скоростей, останавливает машину. У дороги стоит крестьянин.

Он в пиджаке, но бос, кудрявая голова не покрыта. У ног его — корзина с виноградом. Шофер выскакивает из кабины, здоровается, берет кисть винограда и кладет в бескозырку. Болгарин улыбается. Я тоже беру кисть винограда. Она оттягивает руку. Болгарин улыбается большими мягкими глазами. Он, по-видимому, рад, что виноград хорош и сочен и что мне это нравится. Я вынимаю кошелек и протягиваю крестьянину деньги.

— Нет,— говорит он, улыбаясь.

— Как же? — недоумеваю я и с сожалением думаю о винограде, который не продается.

— Нет, другарь,— повторяет болгарин и отклоняет мою руку с деньгами.

— Не возьмет,— коротко бросает шофер и направляется в кабину. Он заводит мотор и, кажется, думает, что напрасно я стараюсь нарушить уже установившийся добрый обычай гостеприимства болгар в отношении русских.

Мы въезжаем в населенный пункт. Справа — каменное здание, выделяющееся простором окон. Большая вывеска «Училище». Боже мой, это же по-русски. Но и совершенно по-болгарски. У-чи-ли-ще. Наши буквы, наше слово.

Никакое абстрактное знание болгарской истории, никакие рассудочные доказательства не могут сравниться с силой этого непосредственного впечатления. Близкое, знакомое, родное.

Мы в центре поселка. К машине приближаются болгары. Они приветствуют нас и останавливаются рядом без всякого видимого дела и с очевидным намерением поговорить, но из вежливости молчат. Некоторые, судя по внешнему виду,— крестьяне, некоторые — городские жители, один в полувоенной форме с винтовкой и нарукавной повязкой «О. Ф.».

Я спрашиваю: что это означает?

— Отечественный фронт,— отвечают сразу несколько голосов.

По улице идет человек в рабочей одежде. Это, очевидно, маляр, идет он с работы: штаны, блуза, руки у него в краске. Заметив нашу группу, он быстро приближается, идет прямо ко мне и решительно протягивает руку: здравствуй, другарь. Маляр жмет мне руку с такой значительностью, что все стоящие вокруг и весь городок должны видеть: вот я, маляр, здороваюсь с советским офицером, знай наших...

Это политическое рукопожатие.

Шофер возится у машины, иногда поглядывая в нашу сторону. Он по-прежнему молчит, но в его смягченном взгляде я ловлю чуть ироническую усмешку: что, брат, я ж говорил, что там другое...

Покончив с машиной, он направляется в гостилницу. Гостилница — это придорожный трактир. Шофер входит, как свой чело-

век, уверенным жестом снимает бескозырку и вешает ее на гвоздь, садится к столу и заказывает обед. Блюда ему известны, болгарская водка тоже. Называется она «мастикой», но сущность у нее все та же.

На стене гостилницы портреты покойного царя Бориса и малолетнего царя Симеона. Рядом — листовка. Это «Другарска жалейка», траурное извещение, сообщающее о том, что шесть месяцев тому назад, то есть во времена господства фашизма, в Варне, в тюрьме, был замучен и повешен «борец за свободата на българския народ другарь Сава Ганчев Стойчев».

Официант гостилницы в перерыве между одним блюдом и другим подходит к стене с «Другарска жалейка» и, сокрушенно качая головой, хочет разъяснить мне печальное содержание листовки. Но все понятно и без разъяснений.

Закусив, крякнув и с полным удовлетворением вытерев губы тыльной стороной ладони, мой шофер пустил машину в дальнейший путь на хорошей скорости. До Варны оставалось уже немного.

Варна. Чистенькие улицы центра. Уют небольшого города, уже знакомого с основными благами цивилизации. Порт необыкновенно тихий и пустой. Недавно здесь было более чем шумно. Гитлеровские пираты, изгнанные из Констанцы, их основной базы на Черном море, перебрались в Варну и Бургас. Но ненадолго. Дальше бежать было некуда. Остался один путь — на дно. Вблизи болгарских портов потоплено немало гитлеровских кораблей, и кое-где до сих пор торчат над водой верхушки мачт — унылые памятники бездарно провалившейся фашистской претензии господствовать на Черном море.

Но советскому человеку, впервые попавшему в болгарский город, не до прелестей прекрасного приморского парка Варны... Кто бы он ни был по своей специальности, он в первые часы полностью поглощен неожиданно и на каждом шагу открывающимися прелестями... филологии.

Вот большая надпись: «Колбасница». Это означает, что здесь продают колбасу. Рядом вывеска: «Сладкарница». Сладкарница... да кондитерская, ясно же! Чудесное слово. В болгарском языке есть какая-то непосредственность, открытое разумное начало, исходящее из корня вещей. Книжный магазин — «книжарница»; там, где печатают, то есть типография,— «печатница». Портной, тот, кто шьет,— «шивач».

Эта непосредственность слова приятна и радует своей понятностью и на каждом шагу говорит о глубокой внутренней близости двух народов, двух культур.

Непривычные для нас функции выполняет в болгарском языке твердый знак. Он стоит не только в конце слов, откуда изгнан у нас революцией, но вторгается в середину слова, в самое,

казалось бы, малоподходящее место, между двумя согласными. Например, «българския народ». Это создает такое затвердение, с которым едва справляются наши ухо и язык.

Но все это препятствия, которые шутя, с дружеской улыбкой, преодолевает любой краснофлотец. И, может быть, ни в какой другой стране так не легко севастопольцу и туляку, костромичу и украинцу договориться с местными людьми, как в Болгарии.

Освоившись с вывескáми, уличными объявлениями, заголовками газет, советский человек может заглянуть в жизнь болгарского города поглубже. В осенние недели 1944 года болгарский народ переживал поистине общественную весну. После событий 9 сентября — свержения фашистов и перехода власти к Отечественному фронту — народ, прежде задавленный и придушенный, заговорил полным голосом. Из подполья вышла рабочая партия (коммунисты) и ремсисты (члены Союза рабочей молодежи). Ожили демократические группы интеллигенции. С гор спустились партизаны. Появились свободные газеты. Зашумели собрания.

Это был праздник общественного обновления. Одна печальная нота вплелась, однако, в общее мажорное звучание болгарской жизни. В душные дни фашизма лучшая часть болгарского народа тоже не прекращала борьбы. Это была ожесточенная война героических подпольных групп против всей мощи фашистского государства. Революционеры, рыцари свободы, партизаны, они бросали вызов ненавистной фашистско-гитлеровской своре, которая отвечала расправами по известным берлинским образцам. Уничтожая в своих застенках захваченных ими лучших людей Болгарии, фашисты обыкновенно не смели сообщать народу о своих зверствах.

И вот только сейчас, в дни свободы, вся Болгария смогла узнать о своих героях. Стены в городах и поселках заклеены многочисленными траурными извещениями. Софийский адвокат Гого Топин, видный деятель Болгарской рабочей партии, участник партизанского движения, был зверски замучен жандармами 3 июня. Только 8 октября его смогли достойно похоронить. Пришло все население родного города, делегации от всех поколений, гроб пронесли по городу на руках.

Из траурных рамок глядят лица столичных интеллигентов, железнодорожных рабочих, юных девушек, недавно окончивших среднюю школу. Длинный мартиролог. Тысячи жертв...

Среди всех многочисленных запретов, которыми была скована жизнь болгар при фашистах, один из основных относился к России, к Советскому Союзу. Строжайше запрещено было любить русское, вспоминать о русских, думать о русском. Смешно и страшно узнавать, какие необыкновенные усилия употреб-

ляли фашисты, чтобы искоренить многовековую родственную близость двух славянских народов, общность их культур.

Однажды, сидя в полумраке переполненного железнодорожного вагона и переговорив уже со своим спутником о всем, о чем хотелось говорить, я стал вполголоса читать:

«Я вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать...»

Вдруг из темноты с верхней полки послышался женский, чуть акцентирующий голос:

«...Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать...»

Это была болгарка, девушка, служащая в депо железной дороги. Русская литература, как и вся русская культура, имела всегда огромное, фундаментальное значение для развития болгарской культуры. Но, посещая в первые дни освобождения книжарницы в Варне, Бургасе, Софии, я почти не нашел русских книг. Несколько отдельных книжек классиков, старые издания. Сколько угодно о «Тайнах любви», произведений в красочных обложках стиля незабвенного Ната Пинкертона, всякой нацистской макулатуры, в оригинале и переводах, и почти ни одной книги советской.

А что касается всякой антисоветской агитации в газетах, то болгаро-фашистские лакеи в своем усердии побили, как известно, все рекорды чепухи и глупости. Софийский гитлеровец был более роялист, чем сам... нацист.

В купе железнодорожного вагона мы познакомились с тремя молодыми людьми, которые направлялись, как выяснилось, на профсоюзную конференцию. Это были молодые люди, уже несколько лет связанные с рабочим движением и полные сейчас энтузиазма, надежд и радужных перспектив. Их приветливость и дружеская предупредительность в отношении нас, двух советских офицеров, оказавшихся их случайными спутниками, была исключительной. Особенно старался один из них, банковский служащий. Чувствуя себя хозяином в этом основательно потрепанном вагоне военного времени, он прокладывал нам путь в переполненном коридоре; помогал доставать чемоданы, едва я протягивал руку; настойчиво угощал нас всеми видами продовольствия, которыми снабдила его на дорогу заботливая жена.

Часов через десять такого дружеского общения, когда мы переговорили уже о многом, отведали все блюда, имевшиеся в наших чемоданах, и не раз хлопали друг друга по колену, болгарин вдруг спросил тихим, совершенно доверительным голосом:

— А жена у вас есть в Советском Союзе?

Я покорно признался.

— Может быть, и дети есть?

— Есть дочь.

Болгарин был, кажется, весьма доволен этим обстоятельством.

Среди прочей заплесневевшей антисоветской чепухи фашисты усиленно распространяли сообщения о том, что в Советском Союзе никакой семьи нет, что детей отбирает государство. Наш собеседник слышал об этом сто раз. Конечно, он не верил фашистам. Конечно, он презирал их и ненавидел, как огромное большинство болгарского народа. Но, встретив сейчас двух живых советских людей и убедившись, что у них есть семьи и дети, «как полагается», он был счастлив утвердиться в собственной правоте.

Чем больше фашистские власти пытались искоренить всякое воспоминание о русском, тем сильнее зрело в болгарском народе чувство глубокой привязанности, близости и симпатии к России, к Советскому Союзу, тем ярче это чувство проявилось теперь, когда народ обрел свободу. Раньше только очень смелые люди, укрывшись в укромном уголке, ловили в эфире московскую волну и потом, волнуясь, передавали друзьям политические новости и мотивы новых советских песен. «Три танкиста, три веселых друга...» Наша песня, исполняемая полушепотом, звучала как призыв к борьбе, как гимн освобождения. Теперь вся Болгария поет советские песни.

Партизаны спустились с гор, и все с восторгом повторяют, что один из вождей партизан — «болгарский Чапаев». Действительно похож — и общий облик, и усы, и папаха, сдвинутая на затылок...

Театры, в которых идут советские фильмы, неизменно переполнены. В маленьком городе Карнобаде мы пошли с приятелем в кино и обнаружили там «Девушку с характером». Старый советский фильм, хорошо известный всем нашим бойцам. Но в зале находилось несколько десятков наших товарищей. Не отрываясь смотрели они на столь хорошо знакомые виды совхоза, на дальневосточный экспресс, на мощный размах московских улиц и мостов, и все это величественное творчество нашей жизни было радостным приветом с Родины, и здесь, издалека, казалось еще более милым и бесконечно могущественным. И Валентина Серова, исполнительница главной роли, никогда не казалась столь хорошей, умной и обаятельной.

Большинство зрителей были болгары. Их восприятие фильма несколько отличалось от нашего. Фильм демонстрировался с пояснительными надписями на болгарском языке, но, очевидно, не все местным жителям было понятно. Например, в фильме два почтенных директора двух предприятий уговаривают девушку поступить к ним на работу. Каждый старается привлечь девушку к себе на службу. Это совершенно непонятно. Вот если бы сто девушек приходили к директору и просили его принять их на работу — это ясно.

Зато другой эпизод картины вызывает в зале бурную реакцию. Девушка с характером проявляет в глухом месте Дальнего Востока смелость и находчивость: она ловит диверсанта. Когда этого диверсанта вытаскивают за шиворот из воды, восторг в зале принимает характер бурной демонстрации. Люди аплодируют, и кричат, и вскакивают с места, точно это здесь, в Карнобаде, поймали сейчас диверсанта, и деверсант этот, конечно, гитлеровец, и им невозможно усидеть на месте, не принимая в деле непосредственного участия.

Болгары знают, чем они обязаны Советскому Союзу. Газеты называют русских своими двойными освободителями. В прошлом веке Россия освободила Болгарию от многовекового султанского ига, в нынешнем — от более кратковременного, но еще более жестокого фашистского ига. Появление советских войск население праздновало как величайший праздник. Женщины нарядились в лучшие платья, переплели волосы красными лентами. Несколько дней на улицах гремело беспрерывное «ура!» и звучали песни в честь наших воинов. Их засыпали цветами, наперебой угощали фруктами: «Братушки, братушки...»

Как могли подлые фашистские прислужники рассчитывать на то, что болгары забудут о русских, если существует Плевна? Плевна — это болгарский город и Плевна — это символ, это вечное напоминание о крови, пролитой русскими в борьбе с угнетателями болгар. Здесь в 1877 году оказался центральный нервный узел русско-турецкой войны. Трижды шли русские войска на штурм Плевны, где засела турецкая армия.

Русские солдаты были поставлены преступно-бездарным царским строем в тяжелые условия. Войска даже султанской Турции были вооружены более совершенным оружием, чем российская армия. И Лев Толстой, гениальный изобразитель русского народного героизма в 1812 году, певец севастопольской славы, в дни Плевны записал следующие горестные слова: «Мысль о войне застилает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне становятся все яснее и яснее».

Но русские солдаты шли на один штурм за другим. Тысячи легли у стен Плевны, и тогда началась многомесячная осада города, которая закончилась капитуляцией турецкой армии во главе с Осман-пашой. Сорок три тысячи турок сдались в плен.

Каковы бы ни были цели царского правительства в этой войне, истиной является то, что благодаря самоотверженности русских солдат, благодаря их отваге и жертвам Болгария обрела свободу и независимость. И в Плевне стоит величественный храм-мавзолей, где покоятся останки русских воинов-освободителей. И каждый болгарин, вспоминая о Плевне, не может не проникнуться

чувством глубочайшей признательности к великому русскому народу, братскому народу по крови, по культуре, народу, не первый раз протянувшему руку для спасения.

Я бродил по Софии, основательно разрушенной воздушной бомбардировкой, по улицам, загроможденным камнями обвалившихся зданий, но тем не менее оживленным, полным людей всех возрастов, встречающих улыбками каждого проходящего в форме советских войск. На шумной улице, вблизи вокзала, я почувствовал чей-то пристальный взгляд. В открытом окне первого этажа полуразрушенного дома сидел старик с большой белой бородой и смотрел на меня такими ласковыми вопрошающими глазами, что я невольно остановился и сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, здравствуйте...— закивал головой старик и что-то быстро заговорил, но потому ли, что он говорил по-болгарски, а вернее, потому, что у старика совсем не было зубов и речь его сливалась в сплошной порывистый шепот, я ничего не понял.

Спохватившись и радостно улыбаясь, он замолчал и поднял руку, как бы говоря: подожди, подожди, я тебе сейчас покажу кое-что... Опираясь на подоконник, старик просунул дрожащую руку за борт пиджака и извлек из кармана пачку каких-то бумаг.

Через несколько секунд торопливых поисков он торжествующе поднес мне фотографический снимок.

С облупленной по краям пожелтевшей карточки глядел генерал старой русской армии, генерал совершенно традиционного вида: с пышными эполетами, со стремительными усами, направленными, как пики, в противоположные стороны.

Улыбаясь беззубым ртом и необыкновенно живыми глазами, старик полусловами и жестами объяснил, что он служил под командой этого русского генерала.

Хотелось сказать старику что-то приятное, но говорить с ним было трудно. В двух метрах от окна краснел пролом трехэтажной каменной стены, часть крыши повисла над проломом, и, указав на нее, я спросил: не опасно ли старику находиться в этом помещении, лучше сменить комнату. Но старик, чуть взглянув на крышу, пренебрежительно промычал и снова ткнул пальцем в карточку. Его больше всего интересовал разговор о войне, в которой он принимал участие.

Я ушел от этого старика, размышляя об удивительной солдатской верности и о народных традициях, которые не всегда поддаются учету, но являются силой, далеко не последней в истории.

Фашисты, с их пренебрежением к массе, с отрицанием всего демократического, пытались приказом и репрессиями удушить традиционное чувство доверия болгар к русскому народу.

Они добились обратных результатов. К старым воспоминаниям и неизбывному чувству благодарности к России-освободительнице прибавилось новое: огромный моральный авторитет социалистической державы, общества, построенного на новых началах, могучей силы, сокрушающей чудовище фашизма.

И вот она пришла, обновленная Россия, Советский Союз, и второй раз избавила Болгарию от ига — фашистского. Удивительно ли, что появление советских людей в Болгарии превратилось в народное торжество.

К одному советскому офицеру подошла на улице болгарская женщина и, волнуясь, блестя глазами от радости и слез, сказала:

— Что я могу сделать для вас полезного?

Девушки-ремсистки узнали, что в местную больницу привезли несколько раненных и больных красноармейцев. Они направились к ним с подарками и словами любви и признательности. В больнице оказалось, что среди красноармейцев имеется несколько с медалью «За оборону Сталинграда», более того, два воина — девушки. Ремсистки были совершенно потрясены такой встречей.

— Сталинградцы! Настоящие сталинградцы! Девушки-солдаты! Советские героические женщины!..

Болгарки забыли о своих подготовленных приветствиях. Они жали красноармейцам руки, заглядывали им в глаза, говорили что-то нежное и взволнованное и только через несколько минут наладили более или менее связный разговор.

В Варне, в центре приморского парка, там, где стоят памятники лучшим деятелям болгарской культуры, борцам за освобождение Болгарии,— свежая могила. Любовно сделанная скромная башенка с якорем и красной звездой, аккуратная ограда. Надпись на памятнике гласит: «Вечная память русскому моряку, участнику Отечественной войны 1941 г., трижды орденоносцу, главному старшине Красюку Гаврилу Порфиловичу. Рожд.—1920 г. Погиб — 1944 г.»

Мы уезжаем из Болгарии, и нас увозит паровоз, любовно расписанный железнодорожниками знаками серпа и молота.

ВАСИЛИЙ
СОКОЛОВ

В ЮГО-СЛАВИИ



Проводник

Горы, горы... Они громоздятся скалистой грядой, загораживая пути в Югославию. Вдоль перевала, то исчезая между скалами, то появляясь в долине, покрытой дубравой и буковыми рощами, катит свои пенные воды река Тимок. Это — пограничная река, отделяющая болгарскую землю от югославской.

Долго по горным тропам и лесным зарослям шел отряд советских разведчиков, пока не достиг реки Тимок. Взглянув на часы, командир разведки лейтенант Степан Гурарий удивился: время еще не позднее, а уже смеркается. В горах не то что на равнине — день меркнет скоро. Густеет воздух, плотно ложатся тени. Разведчики поднялись на прибрежное взгорье и остановились, зайдя в широколистые кусты виноградника.

Лейтенант Гурарий выдернул из плетневой изгороди длинный шест и опустил его в воду, пытаясь измерить глубину реки, но дна не достал.

Стали решать, как переправляться через реку.

Одни предлагали связать плоты, другие намеревались преодолеть студеную осеннюю реку вплавь. Но плоты вряд ли удастся сразу сбить, а плыть в ледяной воде не каждый отважится.

На краю виноградника послышался шорох. Лейтенант оглянулся и в сумеречной мгле разглядел человека в овчинном кожухе, в шляпе.

— Подойди сюда, товарищ,— позвал Гурарий.

Человек не сдвинулся с места и даже не отозвался. «Наверное, испугался нас»,— подумал Гурарий и сам подошел к нему.

Это был высокий тощий старик, на скуластом лице которого резко выделялся крупый нос с горбинкой и обвислые усы. Из-под мохнатых бровей настороженно щурились глаза.

Гурарий ожидал, что если он не обрадуется, то по крайней мере хоть что-то скажет, увидев советских солдат. Но старик попрежнему молчал.

— Будем знакомы, папаша. Мы — солдаты. Из России,— сказал Гурарий. Он отвернул сползший на лоб капюшон пятнистого халата и хотел присесть на камень. Старик шагнул к нему.

— Друже! — воскликнул он и, порывисто обняв лейтенанта, уткнулся в его плечо лицом. Всхлипывая, приговаривал едва слышно: — Друже, друже!

Немного погодя, старик — это был серб Душан Теодорович — повел разведчиков мимо ограды в свою хату. Она скорее походила на погреб: крыша выложена тонким плитняком, вниз вели каменные ступеньки.

Душан зажег свет — плошку с торчащим на проволоке фитилем. Потом придвинул к столу грубо сколоченные из досок скамейки и усадил на них солдат.

— Обычай у нас, друже, угощать,— проговорил Душан, глядя на лейтенанта, и помедлил, насупившись: — Но чем я смогу угостить? Чем? Ай, нет, постойте... Еванка, а Еванка! — позвал он как-то рассеянно, словно в забытьи.

На его голос никто не отозвался. Да и странно было бы услышать чей-то голос, когда в помещении, кроме солдат, никого не было. Душан забеспокоился, сам полез в погребок, вырытый тут же, в углу хаты. Вскоре на столе появился сыр, сладкий мясистый перец. Нашлась и ракия в глиняном кувшине. Степан Гурарий извлек из своего вещмешка, который прозвали заменителем военторга, две банки рыбных консервов, галеты, кусок сала. Душан улыбнулся и совсем неожиданно опять нахмурился и, словно ища кого в доме, проговорил:

— Светозар! Принеси дров и растопи печь... Ты слышишь меня, Светозар?

Но, как и прежде, никто не ответил на его зов. И Душан сам пошел к печке, сложенной из камня, растопил ее, поставил медный чайник. И опять, точно в забытьи, угрюмо звал то Еванку, то Светозара.

— Кого вы зовете, папаша? — не утерпел Гурарий, проникаясь жалостью к этому угрюмому сербу.

Душан потер узловатыми пальцами лоб, иссеченный глубокими морщинами, и с придыханием стал рассказывать о себе.

До войны у него были свой дом и отара овец. Нагрянули фашисты и перерезали все стадо, даже ни одного ягненка на приплод не оставили. Потом оккупанты забрались в дом и подчистую выгребли из кладовой муку, зерно. А ведь командир Гурарий и его солдаты, наверное, знают, как трудно добывать хлеб насущный.

— А где же ваш дом? — спросил Гурарий.

— Был дом,— ответил серб.— Нет теперь дома. Сожгли усташи [1].

— А семья?

— Была семья,— тихо промолвил Душан.— Нет теперь семьи. Сына Светозара поймали усташи. «Партизан, партизан»,— говорят. И повесили.— Душан на время замолк, помрачнел и затем

---

[1] Усташи — члены хорватской фашистской террористической организации в Югославии.

добавил: — А жена Еванка не выдержала горя и тоже сошла в могилу.

Вот почему так печален и угрюм Душан. Забудется на миг, и все чудится ему, что и жена, и Светозар сидят с ним у родного очага.

Степан Гурарий подсел к сербу.

— Дорогой Душан, у нас с вами одна судьба.

Тот удивленно вскинул брови.

— Много бед мы перенесли в войну,— продолжал Гурарий.— И враг у нас общий.

— Истина,— кивнул Душан.— Но все-таки ты воюешь, а я сижу...

— Ты не прав, Душан. Ты сможешь сделать не меньше, чем я.

Старый серб смотрел на лейтенанта немигающими глазами.

— Да-да, можешь,— подтвердил Гурарий.— Почему бы тебе не помочь нам?

— Как это? Не понимаю.

— Проведи нас через горы. Если, конечно, можешь. Мы ведь не неволим.

— Хорошо, пойду с вами!

Дождались ночи. Душан повел разведчиков берегом реки. Путь им скоро преградил глубокий ручей. С горы по камням сбегал, сердито ворча, поток воды. Во впадине лежали две лодки, заваленные корягами и водорослями.

Лодки спустили на воду, поплыли. Темнота в горах кромешная. Шли долго по течению, прижимаясь к своему берегу. Это заняло много времени, но у Душана были свои соображения.

— Там вражьи посты, есть пулеметы...— показывая на тот берег, тихо говорил он.— А мы уйдем в самые горы... Орлы нападают со скал.

Спрятав лодки в камыше, они стали пробираться в тыл врага. Двигались медленно и осторожно. Ветер завывал в ущельях, и темнота была такая, что слепила глаза. Цепляясь за корневища деревьев, за выступы скал, разведчики взбирались все выше.

Душан шел впереди отряда. Он мягко ступал в своих постолах, подбитых сыромятной кожей. Гурарий поглядывал на него и думал: «Откуда только у него силы берутся?»

Незадолго до рассвета разведчики стали спускаться с горы. Душан предупредил, что на пути — шоссейная дорога, она ведет в селение. Идти по горным кручам трудно и слишком долго, поэтому лучше перейти через дорогу. На той стороне по долине тянется редколесье.

Едва вышли на дорогу, как из-за поворота, из-под нависшей козырьком скалы, вынырнули мотоциклы. Увидев гитлеровцев, разведчики бросились в лес. И сразу предутреннюю чуткую тишину вспороли очереди автоматов.

Стрельба длилась с полчаса. Фашисты на мотоциклах носились взад-вперед по дороге, простреливали заросли. Но разведчики как в воду канули. Они притаились в лесу и, чтобы не обнаружить себя, в перестрелку не ввязывались.

Вражеские мотоциклы уехали. Только теперь Гурарий обнаружил, что старый серб исчез. Неужели перепугался и сбежал? Обшарили кусты, выползали на обочину, даже на дорогу — тщетно.

Разведчики уже хотели было идти дальше, как услышали слабеющий голос из придорожной канавы. Подбежали и увидели: весь обсыпанный листьями лежал Душан. Ногу зашиб.

— Что ж, папаша, придется тебя с солдатом отправить домой,— сказал Гурарий.

Душан хмуро поглядел на командира.

— Как можно, друже офицер,— запротестовал он и попросил перевязать ему ногу.

Уже было утро. Разведчики подошли к селу. Оно находилось в низине, стиснутой горами. На площади посреди села стоят танки, автомашины. Видно, фашисты приготовились уходить.

В полку ждали сведений о противнике, и лейтенант Гурарий немедля передал их по радио.

Когда разведчики снова собрались в путь, старый серб запротестовал.

— Друже офицер, бить, бить надо фашистов!— отчаянно жестикулируя, говорил он.

Гурарий понимал его нетерпеливое желание.

— Нет, мы не можем выдавать себя. Мы — разведчики. А вот наши войска нагрянут и скрутят их в бараний рог.

Разведчики продолжали свой трудный путь. Снова взбирались на горы, шли звериными тропами. И опять впереди отряда, прихрамывая, шагал Душан. Ему говорили, чтобы отдохнул, дорога-то трудная, устал, но старик возражал:

— Нет, мне не тяжело. Когда к свободе идешь, совсем не тяжело.

Новый мост

С крутого откоса виднелись и дальний лес, пламенеющий в лучах солнца, и угрюмые скалы, и река, воды которой переваливались по каменистым порогам.

Стиснутая прибрежными скалами, река невольно убыстряла свой бег, вода набрасывалась на обломки плит, на камни-валуны и, не в силах одолеть преграду, сердито шумела.

Еще неделю назад тут был мост. Но однажды перед заходом солнца налетели вражеские самолеты, повисли над рекой, посыпались бомбы. В воздухе стоял оглушительный грохот, будто само небо раскололось.

Каменный мост тяжко вздрагивал, но удары выдерживал. А воздушным пиратам хотелось свалить его, превратить в мертвые глыбы, и они опять — в который уж раз — срывались вниз с безоблачного неба, сыпали бомбы. И только на четвертом заходе мост тяжело качнулся и с грохотом рухнул в реку.

— Я видел, друже, как погибал мост. Видел и плакал,— говорил крестьянин Любомир.

Майор Глебов, армейский инженер с проседью на висках, сутулый, будто вечно несший на своих плечах тяжесть, молча глядел вниз и хмурился. Кроме этих бесчисленных воронок от бомб да каменных глыб, глаза его ничего не видели, и он огорченно думал, что этот мост, творение рук человеческих, за какие-нибудь минуты был разрушен.

Любомир, не выпуская изо рта погасшую трубку, жаловался, что их деревня лежит в глухих местах, оттеснена от всего мира горами, а крестьяне нуждаются в одежде, в соли, в керосине, и они не могут жить без города, куда теперь им не проехать. Узнал Глебов, что этот разрушенный каменный мост строился года два, много средств и труда вложили в него люди.

— Я понимаю вашу беду,— сочувствовал Глебов.— Но потерянного не вернешь. Надо строить новый мост.

Любомир удивленно взглянул на него, потом на груды развалин и мрачно проговорил:

— Долго нам не видеть моста. С силами не соберемся.

Инженер промолчал.

В полдень повалил мокрый снег. Но советский инженер не уходил от реки, он спускался вниз, шагал по берегу. Любомир ходил следом, не понимая, зачем инженер осматривает уцелевшие каменные быки, лезет по колено в воду, берет в руки гальку, вымеривает шагами прибрежные подходы. А мокрый снег валил и валил. Инженер мерз, полы его шинели покрылись ледяшками, он то и дело потирал посиневшие руки.

Любомиру было жалко этого пожилого, но беспокойного человека.

— Друже офицер, айда до моей куча [1],— взмахнув рукой, сказал Любомир.

Инженер кивнул в ответ, но попросил обождать до вечера. По-прежнему он был озабочен, что-то записывал, едва держа карандаш в коченеющих пальцах, а потом уехал на своей маленькой и юркой машине, пообещав вернуться только к утру. Приехал инженер на рассвете, но не один, а с целой вереницей автомашин; на них лежали металлические фермы. Машины, не останавливаясь в деревне, проехали прямо к реке. Потом прогремели по выложенной камнем дороге тракторы.

---

[1] Куча — дом (сербск.).

Глебов зашел в хату знакомого серба. Радушно встретив его, Любомир удивился: что это с майором? Лицо осунулось, под глазами припухшие круги. И сильно кашлял, звуки хрипло вырывались из простуженного горла. Любомир настаивал, чтобы он выпил чаю с малиновым вареньем и посидел в тепле, но инженер наотрез отказался. Крупными глотками он опорожнил кружку выдержанного виноградного вина и, собираясь уходить, попросил Любомира, чтобы он позвал всех, кто желает помочь строить мост.

— Фронту нужен и вам, конечно,— добавил Глебов.

— Момент-момент! — с готовностью ответил Любомир.— Сейчас придем на помощь.

На улице было холодно и сыро. Мокрые хлопья снега не переставали падать. Глебов поспешил к реке.

Югославских крестьян недолго пришлось ждать. С пригорка, на котором лепились дома под черепичной кровлей, шли толпы людей, неся лопаты и топоры. Немного погодя к реке стали съезжаться подводы, груженные бревнами, досками, камнем.

Инженер распределил людей по участкам, и они тотчас же взялись за дело. Не жалея сил, сносили к реке каменные глыбы, рыли ямы для раствора цемента. Далеко по реке разносился перестук топоров, кувалд, молотов. Примостившись верхом на гранитных валунах, с ног до головы белые от пыли, работали камнетесы.

Работа шла не только на берегу, но и в самой воде. Вода была жгуче-ледяной, но саперы как ни в чем не бывало погружались в нее, цепляли тросы за искореженные глыбы старого моста. Тракторы, натужно ревя, вытаскивали их на берег. Вместо этих ненужных обломков тесали новые гранитные камни. Вскоре начали собирать железные, похожие на ажурные ворота фермы моста.

Жители деревни не могли нарадоваться: то, что сооружалось, вовсе не было похоже на старый мост. Думалось, что новый мост будет и красивее, и несравненно прочнее, чем прежний, разрушенный.

Третий день уже шла стройка, когда к реке неожиданно подъехала еще одна колонна автомашин. Под брезентами лежали ящики с патронами, снаряды, продукты в мешках.

И едва остановилась головная машина, как из нее выскочил водитель, чумазый, рассерженный.

— Ну и попали в переплет! Придется загорать!

Майор Глебов беспокойно поглядел на реку и сквозь зубы произнес:

— Трудно, знаю... Боеприпасы везете, хлеб... Но что поделаешь? Ведь не полезете в реку.

Поспрашивали крестьян: может, они знают объездные пути? Но где там! После дождей река будто вспухла и бурлила, готовая вырваться из берегов. Да и горные тропы расползлись, по ним ни пройти, ни проехать.

— Вот что, братки,— обратился майор к водителям.— Мост нужен срочно, а людей не хватает. Засучивайте-ка рукава и беритесь за дело!

Трудились с отчаянным упорством. Сбросили с разрушенных быков негодные камни. Самое трудное было водворить на эти быки только что обтесанные гранитные камни. Их тащили волоком к реке, грузили на плоты, подвозили к быкам, тросами и веревками втаскивали наверх.

Начало смеркаться. Казалось, сгустившаяся темнота вот-вот приостановит работу. Прошлой ночью из-за снегопада не смогли работать. Но мост нужен фронту. Это понимают все. Вдруг кто-то предложил зажечь костер.

Глебов подумал, прислушиваясь, глухая тишина в горах, низко плывут тучи. В такую погоду вряд ли прилетят вражеские самолеты. Можно зажечь! Есть и дрова, и бензин.

Вскоре яркий свет озаряет переправу. Постройка моста ведется и ночью.

Озябшие, продрогшие на ветру люди по очереди грелись у костра. Любомир, не выпуская изо рта трубки, рассказал, как он впервые увидел советских солдат.

— Гляжу из окна овина, а они с горки прямо к моему дому спускаются. Эх, думаю, чего я-то сижу. Воевать так воевать! Один фашист с перепугу зарылся в моем стогу сена... Выбегаю из овина — и навстречу русским. Говорю им: так и так, мол, врага сейчас живьем вам доставлю, можете поглядеть. Подвожу их к стогу, раскопал сено. Поймал фашиста за ноги, тащу, а он упрямится. Потом уж сам выполз, как рак из норы. Сажусь на него верхом и говорю: «Вы на нашей спине четыре года сидели, а теперь дай-ка я посижу!» — заканчивает Любомир под общий хохот.

...Шум стройки не стихает. Постепенно обуздывается река. Каменные быки уже легли вровень с берегами. На них уложены металлические балки, сделан настил. От берега к берегу через весь мост пролегли рельсы. С помощью двух тросов, повисших над рекой, тракторы начинают тянуть металлические фермы, и они всей своей громадой ползут, надвигаются прямо на мост...

На рассвете мост был готов, и люди не могли нарадоваться. Казалось, оба берега потянулись друг к другу и по перилам из железных, будто витых, прутьев соединились. Да и сама проезжая часть полотна, покрытая бетоном, сомкнулась с обоими концами прямой и гладкой шоссейной дороги.

А внизу, под сводами моста, спокойно текла меж камней укрощенная река.

К инженеру подходит Любомир. Он восхищенно смотрит на майора и говорит, потрясая в воздухе рукою:

— Хвала Црвеной Армии! У нас едно сердце, една кровь, една свобода,— говорит он.

— Правильно,— одобрительно кивает инженер.— Мы сюда затем и пришли, чтобы помочь вам прогнать врага. А теперь вот сообща мост построили.

— Много добар мост, много добар! — живо произносит Любомир.

— Постарались солдаты. Делали так, чтобы вечно стоял,— сказал Глебов и, помедлив, добавил: — Ну, а ежели поломка случится, что-либо разладится... так вы позовите нас, починим...

Любомир слушал внимательно, потом прищурился, понимающе глядя на советского офицера.

— Поломки не будет, друже. Не допустим! — заверил он.

Над горами встает огненно-яркое солнце. Головная машина проезжает через реку. На подножке стоит инженер Глебов. Он машет югославам рукой, а они в ответ кричат: «Браво! Браво!» И вся колонна устремляется по новому, с железной вязью перил, белокаменному мосту.

Через несколько дней нам довелось снова проезжать мимо деревушки, которая словно от холода и ветров прижалась к горам. При въезде на мост мы увидели четырехгранный из белого гранита камень, на нем рукой каменотеса была высечена надпись: «Мост Дружбы. Построен советским инженером. Октябрь 1944 года».

Буквы были позолочены, солнечные лучи падали на них, и вся надпись вспыхивала огоньками.

Сражение за Авалу

Меж крутых скал, укутанных в сумрачный полог хвойного леса, тянется дорога. Она то прижимается к скале, то повисает над самой кручей и взбегает все выше, кажется, в самое поднебесье.

Дорога идет через перевал. С трудом на ней могут разъехаться две встречные крестьянские повозки. А теперь от подножия до вершины перевала она запружена танками, самоходками, автомашинами с пехотой, пушками, мотоциклами, двуколками с провизией, походными кухнями...

Колонна вползает в гору длинной, многоверстной громадой. Тесно ей. И даже воздух кажется сжатым.

А время не ждет. Время торопит. Сидя в танке, полковник Завьялов то и дело берет в руки микрофон и приказывает дви-

гаться скорее. Потом он высовывается из люка, полный, но очень живой, энергичный, и кому-то машет красным флажком. Слух улавливает, что где-то в середине колонны чихает, будто простуженный, мотор автомашины. Он снова надевает шлемофон.

— Клушин,— вызывает он.— Слушай меня, Клушин... Мотор сдает на твоей машине. Следи. Голова долой, если создашь пробку... Темпы! Давай темпы!

Бригада Завьялова прорывалась через горы в Белград.

Навстречу колонне несутся облака: дорога взбирается в самое поднебесье. Становится холодно. Справа и слева табуном теснятся горы. И на самой вершине скал — деревья, они отважно цепляются за каменистую почву, горделиво покачивают ветвями.

А танки, будто не желая уступать деревьям, взбираются все выше, и кажется, они уже купаются в облаках. Кто это сказал, что танки неповоротливы и слепы? Здесь, в горах, они послушно реагируют на каждый поворот. Вот пройден один зигзаг, другой, третий, и стальные красавцы взлетают на самую вершину. И мчатся дальше.

Все теснее проходы, сжатые суровыми, мрачными скалами. Остается единственная дорога. Несколько в стороне от нее возвышается гора Авала.

Танки, пытавшиеся с ходу прорваться к Белграду, были встречены огнем. Некоторые загорелись, а вся колонна танков, автомашин и броневиков попятилась назад. Разведка донесла, что высоту Авала противник превратил в опорный пункт. Путаные лабиринты ходов сообщений, заграждения из колючей проволоки, укрытия, пулеметные гнезда с амбразурами в скалах — поистине каменный бастион. Окопы и траншеи тянутся по горам ярусами, подступы к ним защищены огнем.

Завьялов сидит на обочине дороги, озабоченный и задумчивый. Идти напролом безрассудно. Обходных путей нет. Подзывает офицеров, сообща думают, как быть. А что если подтянуть к горе всю артиллерию, бить из танков, из всех видов пехотного оружия, создать такой огневой налет, чтобы противник не мог и головы высунуть. И в этот момент атаковать врага, взять штурмом.

— Идея! Горы не должны нас удержать,— с твердостью в голосе произнес Завьялов.

— Жаль только, удерут многие фашисты,— заметил майор Клушин.

— Да, жаль,— согласился Завьялов.— Надо бы их еще и с тыла ударить.

Скоро выяснилось — есть и такая возможность. В штаб прибыл югославский офицер, представитель пролетарской дивизии. Он

говорит, что юнаки (воины) дивизии и партизаны ждут сигнала для общего выступления. Нужно лишь согласовать действия для совместного удара. В помощь югославам выделяется группа автоматчиков, минометы.

— Нам нужен темп боя. Да, да, высокий темп! — говорит Завьялов югославскому товарищу.

Тот улыбается и отвечает:

— У нас будет темп, друже!

Проводив югославского офицера, Завьялов склонился над картой. Белесые брови его хмурятся.

— Высоту-то мы возьмем,— обращается он к майору Клушину,— но какими силами удержим? Видимо, придется тебе, товарищ Клушин, остаться с батальоном, держать тут оборону.

— Остаться? Сидеть в обороне? — удивился майор, которому тоже не терпится принять участие в походе на Белград.

— Боюсь, что и сидеть-то некогда будет,— заметил Завьялов.— По нашим тылам волочится немецкая альпийская дивизия... Но мы не можем тут задерживать всю бригаду. Придется тебе сдерживать врага, и надеюсь, справишься.

Перед штурмом горы начала бить полевая артиллерия. Пушки стреляли с каким-то металлическим надсадным придыханием. К грому артиллерии примешивался клекот пулеметов. Огневой налет длился пятнадцать минут. Пятнадцать минут вздрагивала, тяжело стонала земля.

Нижние ярусы заволокло темно-бурым пламенем. Горели кусты, смолистые пихты, мох на камнях. Горели, казалось, сами скалы. А в это время мотомехпехота со всех сторон начала осаждать гору, бойцы перепрыгивали с камня на камень, карабкались по отвесным скалам.

По сигналу красной ракеты начался штурм.

Завьялов ждал этого решающего момента. Он смело повел танки по узкой дороге у подножия Авалы. Оглушенные огнем, гитлеровцы молчали. Правда, кое-где затявкали пушки, но стреляли редко и неточно. Вырвавшись на простор, танки устремились к Белграду.

Колонна быстро исчезала за поворотом дороги. И когда последняя машина скрылась, у майора Клушина словно что-то в груди оборвалось. Фашистов вышибли с горы. Но беспокоило другое — вражеская альпийская дивизия, которая вот-вот может нагрянуть с тыла.

Спустя, наверное, полчаса посты охранения донесли, что замечено движение большой вражеской колонны. Забравшись на скалу, майор Клушин посмотрел в бинокль и помрачнел: заполнив горный проход, двигалась неприятельская колонна. Майор знал, что враг предпримет отчаянные попытки соединиться со

своими главными силами. Фашисты будут пробиваться по единственной дороге, идущей возле горы Авала.

«Навалятся на нас»,— подумал Клушин и вновь оглядел позиции своего батальона и югославов.

Неожиданно позади себя Клушин услышал шорох и обернулся: к нему подошел связной.

— Товарищ майор, к вам девушка просится,— доложил он.

— Какая девушка? Откуда она?

— Кто ее знает... Говорит, что хочет видеть вас... то есть вообще командира. В штанах она,— добавил связной насмешливо.

— Ну, зови.

Скоро появилась дочерна загорелая красивая девушка, на ней были коричневые, под цвет гор, штаны и куртка. Неловко переминаясь, девушка в первую минуту не знала, что сказать, лишь глаза ее, большие и темные, глядели удивленно и радостно, а потом она заговорила, стараясь высказать все, что думала.

Она — сербка. Зовут ее Милица Милович, и в партизанском отряде она с тех пор, как враги оккупировали ее родной край.

— Не вернусь домой, пока хоть один фашист останется в живых. Хоть один! — повторяет она.

На вопрос майора, в чем же она нуждается, Милица ответила:

— Оружие хочу. Дайте мне оружие!

— А стрелять умеете?

— Умею.

— И не страшно?

— Нет. Совсем не страшно,— добавляет она, встряхнув головой.

Майор помедлил. Куда ей, такой молоденькой, воевать? Может, и винтовки в руках не держала, а просит дать оружие. К тому же опасно: а вдруг ранят или... Клушин нахмурился, боясь даже представить ее гибель, а вслух проговорил:

— Нас много, и мы одни справимся. А вам нельзя лезть в пекло. Нельзя! — добавил он строго.

Сдержанная усмешка пробежала по лицу девушки. Потом она нахмурилась. Темно-карие большие глаза смотрели из-под разлатых бровей сердито.

— Дайте мне оружие! — снова, уже настойчиво, попросила Милица.

— Без вас справимся,— повторил неумолимый майор.— Будете раненых перевязывать. Понятно, Милица?

Нехотя кивает она головой и отходит.

Тягостно длятся минуты. В ожидании боя молчит Клушин. Притихли, будто приросли к скалам, стрелки. Только нет-нет да скатится вниз кем-то неосторожно задетый камень, и опять тихо. Клушин глядит в бинокль: темно-серым громадным жгутом ползет меж гор вражеская колонна.

— Чего же они медлят! — сердится Клушин на стрелков из охранения. И тотчас как бы в ответ вспарывает тишину стук пулемета. С высоты, из расщелин вторили дробные очереди автоматов. Началось! Фашисты ответили. А колонна продолжала двигаться.

Пришло донесение: гитлеровцы сбили посты у шоссе. Прибежал связной с перебитой рукою и простонал:

— Полегли там... все...

Клушин ничего не ответил, только побледнело лицо его и стали каменно-неподвижными скулы. Медлить нельзя. Колонна приближается, вон уже отчетливо видны головные машины. Дорога тут совсем узкая, сжатая скалами. Майор Клушин давно держал на примете этот отрезок пути. Две его пушки, минометы обрушились огнем на передние машины, разбили одну, другую... Колонна замедлила движение.

Началась перестрелка.

Незаметно завечерело. Пошел дождь, не сильный, но холодный, с ветром. Стрельба постепенно утихла. А чуть свет защитники Авалы, мокрые, продрогшие, опять вступили в бой.

Неподалеку от Авалы дорога делает крутой поворот, сбегает вниз, теряется в дубняке. Не в силах пробиться по дороге, гитлеровцы решили атаковать из леса.

Майор Клушин разгадал этот маневр. Он отобрал самых отчаянных солдат и повел их к скале, свисавшей над дорогой. Вместе с ними увязалась и Милица. Майор противился, не хотел брать ее в самое пекло, а Милица уверяла, что будет перевязывать раненых.

Гремела перестрелка. С каждой минутой горячее становился бой и все труднее было защитникам Авалы. Вот противник перехватил дорогу, он у подножия горы, намеревается разбить по частям и смять небольшой гарнизон Авалы.

Знает ли Завьялов, как тяжело тут его товарищам? Эх, если бы знал! Каждый патрон на счету. Нет и гранат.

— Будем отбиваться камнями! — хмурится майор, обращаясь к солдатам.

У него самого последний диск. Он зарядил автомат и, когда немцы пошли в атаку, полоснул длинной очередью. Вражеские солдаты отшатнулись, залегли.

Клушин провел рукою по мокрому лицу. Теперь надежда на камни. Солдаты отдирали их от замшелой скалы и сбрасывали вниз. И вдруг — сухой треск автомата. Клушин вскинул голову и в расщелине скалы увидел Милицу. Скала была почти отвесная, скользкая. И как она забралась туда, непостижимо.

Милица обосновалась на каменном выступе. Изредка поднимала голову, и, увидев майора, приветливо и озорно махала ему рукой, и опять принималась стрелять.

— Чеши их, чеши окаянных! — кричали ей солдаты.

Клушин и его товарищи продолжали сталкивать вниз камни. Они грохотали по скалам, увлекая за собой огромные глыбы, и весь этот поток летел на фашистов, карабкавшихся в гору...

Из-за поворота дороги, ведущей на Белград, послышался гул танков. Еще не видя их, Клушин обрадованно крикнул солдатам:

— Братцы, наши! Танки наши! Завьялов послал!

Немцы сперва не поняли: свои или чужие? Но когда танки, гремя гусеницами, стали утюжить подступы к горе, фашисты заметались. Одни поспешили укрыться в лесу, другие побросали оружие и оцепенело стояли с поднятыми руками.

Когда бой утих, Милица слезла со скалы. Она стряхнула с одежды землю, потом сняла башмак и, прыгая на одной ноге, вытряхнула песок. Так сделала и с другим башмаком. Приведя себя в порядок, она ловко перепрыгнула через кювет, вышла на дорогу. Запрокинув голову, Милица посмотрела на скалу, откуда стреляла. Темные, покрытые мхом и лишайником камни-валуны были исполосованы пулями и осколками. Узловатые, местами перебитые ветви тихо покачивались на ветру.

— Ой, как же я сумела забраться туда! — глядя на скалу, проговорила она.— В другой бы раз — ни в жизнь!

Майор Клушин подошел к ней и при всех обнял. Милица на мгновение смутилась, лицо ее вспыхнуло, потом она прижала к груди автомат и настойчиво, как и перед боем, сказала:

— Дайте мне оружие! Вот это... Я стреляла из него...

— Что ж, пусть у вас остается,— ответил майор.

Повелось уж так на фронте: после боя хочется осмотреть город, село или просто безыменную местность — то, что отбил солдат у врага и что ему, сражающемуся человеку, всегда, всю жизнь будет помниться. Такое желание почти одновременно возникло у майора Клушина, у солдат, у бесстрашной партизанки Милицы, у всех, кто сражался за гору Авала.

Пошли наверх, к могиле Неизвестного солдата.

Подъем на вершину был крут. Вверх взбегала широкая лестница из грубо обтесанного серого гранита. Воины долго шли по ней, оглядывая серые парапеты с бронзовыми факелами.

Вот и гранитная, обнесенная оградой площадка. В середине массивная, облицованная серым мрамором арка с крышей, которую поддерживают на своих плечах восемь женщин: они оплакивают гибель Неизвестного солдата.

Под аркой, на каменном полу, вровень с его плитами, лежит медная доска размером в человеческий рост. На доске вырезана надпись: «Здесь похоронен Неизвестный солдат». И еще на доске помечены годы: «1914—1918».

Все пришедшие на могилу Неизвестного солдата долго стояли без головных уборов, в глубоком молчании. А внизу видне-

лись черепичные крыши домов, которые лепились ярусами по склонам гор, виноградные плантации и золотисто-желтые поля Сербии. На восточной стороне зелеными купами возвышались дубравы, взгорья лугов. На севере будто дышал своей полной грудью многоводный и бурный Дунай. А на западе за грядою высот, покрытых багрянцем листьев, лежал Белград. Отсюда, с вершины горы Авалы, особенно зримо предстало все величие подвига советских воинов, пришедших на помощь своим югославским братьям.

На Цветочной площади

Первым начало новой жизни в Пожареваце возвестил барабанщик. Высокий горбоносый серб в островерхой барашковой шапке переходил с одной улицы на другую и тягуче и громко выкрикивал:

— Сегодня, другове, Народное вече! Свобода пришла в Пожаревац. Все на Цветочную площадь!

Звуки барабана, тягучие, как и слова глашатая, слышались далеко, сзывая народ на площадь.

Через город совсем недавно прошла война. Все еще дымилось поле боя. То там, то здесь виднелись разбитые вражеские танки, дымное пламя слизывало с них краску, белые кресты. Спирали проволочных заграждений, вдавленные кое-где в землю, гудят под напором ветра, как провода на телеграфных столбах. И всюду воронки от снарядов и бомб.

Теперь в Пожареваце тихо. Только гудит, гремит барабан. Высоко в чистом небе беспокойно курлычут журавли. Аист, поджав под себя ногу, долго следит за их вольным полетом. Потом раза два клюнув лежащую на дороге каску, прислушался. Еще не совсем доверяют напуганные войной птицы наступившей тишине.

Но фронт удалился. По Цветочной площади, перед тем как собраться здесь гражданам, ходким шагом прошли партизаны и наши солдаты. Они держат путь к столице Югославии. С постамента князь Милош — сербский народный вождь в крестьянской одежде — показывает им бронзовой рукой на Белград...

Людно на Цветочной площади. Сюда пришли кустари и продавцы, сапожники и адвокаты, почтари и лекари, женщины и дети. Говорят, земля слухом полнится. Не успел старый серб-барабанщик оповестить горожан о Народном вече, как об этой вести прослышали крестьяне близлежащих сел. Хлебопашцы и виноградари Салаковаца, Драговаца и смежных селений поспешили в город на повозках с расписными кузовами. Им тоже теперь дано право избирать долгожданную родную власть.

Люди плотными рядами сгрудились перед балконом, увитым зеленью и алыми полотнищами. И когда на балконе появился

рослый загорелый мужчина в боевой форме Народно-освободительной армии, из толпы понеслись возгласы:

— Браво, браво, наш Янка!

Янко — политкомиссар местного партизанского отряда. В горах и диких ущельях он был известен под этим именем. Долгие годы не мог свободно ходить по улицам родного Пожареваца, тайно, в глухие ночи, встречался с горожанами, сзывал их в партизанский отряд, а вот теперь стоит на балконе, и ветер расправляет над его головой складки знамени с изображением серпа и молота. Янко поздравляет сограждан с освобождением Пожареваца, и тысячи людей в один голос произносят:

— Живио слобода!

Земляки слушают его, храброго комиссара. Янко напоминает им о том, что борьба еще не окончилась, идут сражения у стен Белграда, а потом надо добить врага в самой Германии.

— Смрт фашизму! Свобода народу! — отвечает ему хором вся площадь.

Тысячи рук со сжатыми кулаками вырастают над толпой. У многих горожан на рукавах черные траурные повязки. Нам рассказывают, что тут, на Цветочной площади, пойманных партизан и подпольщиков вешали и казнили без суда. От рук фашистов погибло более трех тысяч жителей Пожареваца. Вот почему так скорбны и гневны горожане, вот почему они долго-долго не опускают руки со сжатыми кулаками...

На балкон выходит советский майор. Это его солдаты вместе с югославскими воинами освободили Пожаревац, и горожане упросили майора задержаться, побывать на Народном вече. Майор хотел сказать несколько слов жителям, но послышались ликующие возгласы, гул все нарастал и нарастал, потом вся площадь начала скандировать:

— Добро дошли, советские другове!

И когда офицер начал говорить, его то и дело прерывали радостными возгласами. Он рассказал о том, что советские воины, ведя тяжелую битву на всех фронтах, слышали о героической партизанской борьбе в Югославии, думали о братьях по оружию и вот теперь пришли к ним на помощь.

Майор сделал короткую паузу. В этот момент местный учитель, хорошо знавший русский язык, хотел перевести его речь, но сербы — жители города и крестьяне сказали: не нужно, понятно каждое слово.

После того как выступили Янко и советский майор, на площади стало тихо. Председатель возвестил, что пора начинать выборы народной власти. Ради этого события и проводится Народное вече в Пожареваце.

— Называйте, другове, кандидатов,— обращается председатель собрания.— Власть ваша и воля ваша.

Некоторое время длится молчание. Людям хочется не спеша подумать, вспомнить суровые годы, а потом уже и называть тех, за кого можно голосовать и сердцем, и разумом,— самых честных и мужественных сынов города. Называют и рабочего Миле Станковича, и аптекаря Мита Станисловлевича, и адвоката Драголюба Владисловича... Разные у них биографии и судьбы, но одно роднит их: были в партизанах, боролись против фашистов. Вот им, людям из народа, и быть у власти.

— А кого же из селян изберем? — спрашивает председатель. Опять недолгая тишина. Потом раздаются голоса:

— Миляна Динкича! Ему доверяем!

Сербский крестьянин Милян стоит тут же, на площади, в кругу земляков. Услышав свое имя, он недоуменно огляделся, сразу не поверил конечно. Кто-то попросил, пусть Милян выйдет на балкон и покажется людям. Уж этого никак не ожидал простой серб! Что значило его имя раньше, при старом строе? Знал только одно: свое узкое, стиснутое межами поле. А быть представителем власти — даже и в голову такое не приходило! Теперь, поди же, на балкон зовут. Милян Динкич заметно волнуется, достает заветную «лулу» — длинную трубку — и тотчас опять сует ее за пазуху.

Кто-то вежливо берет его за руку и ведет на балкон.

— Просим! О себе скажи...

Но что им расскажет Милян? Всю жизнь обрабатывал клочок каменистой земли, этим и жил. И он разводит руками, говоря:

— Землю пахал, другове. Лопату не выпускал из рук...

— А на войне — винтовку,— добавляет комиссар Янко.— Партизанским связным был. Одним словом — юнак.

Как и тех, кто был назван раньше, Народное вече единогласно избирает Миляна Динкича.

Избранников поздравляют и по-хозяйски советуют им, с чего начинать. Надо расчистить улицы от развалин, построить новые дома, починить водопровод, и не следует ли сразу подумать о бесплатном лечении, об открытии общественных магазинов... Дел — непочатый край!

...Не заметили, как наступил вечер. Багровое, необыкновенно большое солнце, будто устав за день, лежало на раскаленных и дышащих зноем вершинах. Вниз по горам длинными косяками ползли тени, пряча и деревья, и теснины.

Пора бы расходиться по домам. А Цветочная площадь все еще ликует. Слышится веселый смех, кто-то затягивает песню, и ее подхватывают хором. В эти минуты людям не хочется быть в одиночестве — они гуляют группами, взявшись за руки.

Солнце уже скрылось, но еще долго-долго полыхают над скалами огненно-красные лучи — похоже, там, в горах, ветер полощет кумачом.

Минная река

Матросы, против ожидания, не увидели Дунай голубым. Кончался октябрь 1944 года. Темнели толщи его воды, высокие гребни волн, перекатываясь, отсвечивали в лучах солнца зелеными красками. По всей реке вихрились белые пласты пены, ветер гнал их, будто снежную порошу в открытом поле.

Плыть по Дунаю опасно. Множество вражеских мин — плавучих, донных, зарывшихся в водорослях и вязком иле, мин, висевших как шары на разных глубинах,— магнитных, ударных, акустических, чувствительных к малейшему звуку, несущих разрушение и смерть,— пряталось в воде.

Минная река — так называли Дунай в военные годы.

Отряд тральщиков офицера Григория Охрименко шел с низовьев вверх по Дунаю. За ним тянулся караван барж и транспортов. Вначале мины попадались редко. Уничтожая их, тральщики шли дальше. Скоро достигли селения Молдава-Века.

Два тральщика были посланы обследовать берег. И едва отошли, как наскочили на мины. Серые буруны воды взметнулись кверху. От взрывов, казалось, ходуном заходила река. Караван остановился.

Трудно провести по Дунаю через минные поля караван. А надо, и как можно скорее: ведь баржи нагружены хлебом, солью, углем — всем, что так нужно для жителей только что освобожденного, измученного войной Белграда. Думая об этом, Охрименко не заметил, как от берега отчалила лодка — одна, другая... Ему доложили, что к тральщикам приближаются лодки, в них сидят неизвестные люди.

— Примите их,— приказал Охрименко.

Им помогли взобраться на палубу тральщика. Почти все они из Молдава-Века, многие — рыбаки. Это легко угадать по брезентовой одежде, покрытой ссохшимися рыбьими чешуйками. А вот этот, черноволосый, с умными глазами, оказался югославским партизаном, по фамилии Танасевич. Он попросил позвать командира.

— Я вас слушаю,— сказал подошедший Охрименко.

— Здраве, друже! — сжав его руку, проговорил партизан и нахмурился. Показывая на участок реки, где затонули корабли, он угрюмо произнес: — Не можно так, друже... Не можно...

— Да, для нас это потеря тяжелая,— ответил Охрименко.— Но что поделаешь? Война не без жертв...

— Фашистов надо бить! Фашистов! — сжав кулак, порывисто произнес партизан.

Выяснилось, что Танасевич заочно был приговорен оккупантами к смертной казни. Но он не дался им в руки. Совсем не-

давно ему удалось потопить две гитлеровские баржи, а вот теперь он, партизан-лоцман, хочет помочь русским товарищам провести караван до Белграда. Оказывается, с того места, где подорвались два наших тральщика, начинается сплошное минное поле, которое тянется вплоть до югославской столицы. Григорий Охрименко понял, что вести караван дальше нельзя, пока не будет очищен от мин главный фарватер. Но на это ушло бы очень много времени. Нужно найти иное, более верное и быстрое решение.

Командир отряда узнал, что фашисты ставили мины на реке летом. А теперь глубокая осень, идут проливные дожди. Дунай вздулся, широко разлился, затопив наполовину прибрежные деревья. Значит, можно пока не очищать главный фарватер от мин, а вести караван у прибрежной черты, что называется, «по обочине» бо́льшой дороги. Правда, здесь постоянно подстерегала опасность сесть на мель, но зато гораздо меньше встретится мин.

Охрименко, не раздумывая, дал команду готовиться к походу.

Наутро за тральщиками потянулись транспорты с боеприпасами для фронта, вместительные баржи, груженные хлебом для белградцев. В караване были и трофейные суда. Лоцманами, машинистами на них стали рыбаки из Молдава-Века.

Все дальше и дальше вверх по Дунаю шел караван. Вести его было трудно и опасно. «На обочине» фарватера могли встретиться и мели, и едва скрытые в воде камни, коряги. Да и можно было неожиданно наскочить на мины.

Караван двигался только днем. Когда темнело, корабли, баржи, транспорты становились на ночевку. И сразу же к советским морякам приходили жители придунайских селений и рассказывали, где могут встретиться мели или скрытое в воде минное поле.

В верховьях Дуная кое-где еще бродили фашисты-диверсанты. Они спускали вниз по реке плавающие мины. Встреча с такой миной была особенно опасна. Распознавать мины помогали местные жители. Они называли себя «миноловцами».

Как-то раз под вечер, когда суда сделали вынужденную остановку, Григорий Охрименко встретил на берегу серба преклонных лет. Он просил рассказать ему о Советском Союзе. Слушал с волнением, позабыв даже о набитой табаком трубке, то и дело кивал головой.

Потом серб заговорил о себе: куча детишек у него, надо бы их обучить, хорошую специальность дать. Он говорил о новой жизни, идущей к ним. И вдруг, взглянув на воду, умолк и прыгнул в лодку. Резкие взмахи веслами — и лодка рванулась от берега. Неподалеку от тральщика, почти на середине реки, серб

чуть притормозил, перегнулся через борт и обхватил руками плывущую мину.

Охрименко на радостях готов был расцеловать серба. «Какой смелый,— подумал он.— Детишек имеет, мечтал о новой жизни и тут же, не колеблясь, бросился навстречу смерти, чтобы спасти жизнь других...»

Всю ночь вместе с матросами продежурил у судов серб. А когда суда вновь двинулись в путь, он громко воскликнул:

— Сречан пут![1]

Несколько дней шел караван по Дунаю через минные поля. И вот под вечер караван подошел к Белграду. Со всего города к причалу стекались люди. Сам по себе возник митинг. Не было, правда, ни официальных речей, ни оркестра. Их заменяли горячие рукопожатия и слова привета югославских друзей. Глядя, как из барж выгружают мешки с мукою, сахар, уголь для электростанции, белградцы взволнованно говорили:

— Это — караван жизни. Вы привезли нам свет и хлеб. Хвала, другови!

А к пристани, залитой предвечерним солнцем, народу прибывало все больше и больше. Ликование было так велико, что казалось, будто сам Дунай, разлившись в весеннее половодье, покинул свои берега и пошел по новому руслу.

Прекрасен ныне многоводный Дунай. Уже не видно на его берегах следов жестокой войны. По реке, перекликаясь гудками, плывут суда дружественных стран. Дунайские волны скрыли следы «русского фарватера». Но югославские друзья отлично помнят караван жизни, который привел в Белград Григорий Охрименко, отважный советский моряк, Народный герой Югославии.

Песня свободы

Октябрь. Снег клочьями лежит на крутогорьях... Мы едем по местам, откуда враг уже изгнан. Впереди движется какая-то артиллерийская часть, подпрыгивают на ухабах прицепленные к машинам пушки среднего калибра. В кузовах сидят солдаты, почти у каждого в руках астры и георгины.

В этот день все кажется необычным на дороге.

Что это вон там, у селения? Наверное, ворота какого-то древнего замка. А может, деревья так причудливо схлестнули ветви над самой дорогой? Что же все-таки там?

— Арка,— говорит партизан Митко Славич, едущий с нами в одной машине.— Люди построили ее в честь прихода русского брата.

Скоро мы подъезжаем, и водитель невольно притормаживает машину: разглядываем арку. Длинные жерди обиты дубовыми

[1] Сречан пут! — счастливого пути (сербск.).

и еловыми ветвями. Во всю ширину арки надпись: «Хвала юнакам Црвеной Армии». Слова сплетены из веток хвои, в каждой букве горит багрянец осенних листьев.

На окраине села колонну обступили жители. Много пожилых крестьян, на них домотканые жилеты и штаны из белого холста. Лица худые и скуластые.

Люди машут руками и кричат:

— Добре дошли!

На пригорках снег, совсем холодно. Но многие крестьяне в дырявых башмаках или совсем разуты. Диву даешься, как они босые могут так долго стоять на промерзших камнях. Некоторые показывают на свои ноги и просят:

— Гум! Пожалуйста, гум дайте!

Сперва мы не поняли, что они просят. Партизан Славич объяснил, что гум — это резина. Наши солдаты, военные водители, запасливые: нашли в тайниках машин совсем еще новые, лишь кое-где проколотые резиновые камеры и шины. Все это раздают крестьянам — пусть шьют и носят на здоровье постолы.

Крестьяне не знают, как и чем отблагодарить. Они зазывают в свои хаты солдат, угощают виноградом, пахучей крупной айвой, сладким перцем. А некоторые прямо на улицы выносят глиняные кувшины и упорно предлагают отведать вина.

Едем дальше. И хотя мы довольны, все же настроение омрачено: невозможно забыть разутых, стоящих на холодных камнях людей. Угадывая наши мысли, партизан Славич вздыхает:

— Тяжелую мы вели борьбу. Очень тяжелую.

Ему не терпится рассказать о партизанских делах. Но пока не удается.

Вот у подножия горы юноши и девушки, взявшись за руки, пляшут. Они то разбегаются, образуя большой круг, то с гиканьем сбегаются в кучу. Пляшут, притоптывая ногами так, что сдается, гора гудит. К ним присоединяются и наши солдаты.

— Как называется этот танец? — спрашиваю у Славича.

— Коло. Его и стар и млад танцуют.

— А песни?

— Тоже народные. Поют то, что идет от самого сердца,— отвечает Славич. Он медленно проводит рукой по волосам, жгуче-черным, с пробившейся, как изморозь, сединой. Потом просит нас посмотреть вон туда в низину, где деревянные бараки обнесены высоким забором и оплетены колючей проволокой.

— Тут был концлагерь,— заговорил Славич, когда мы поехали дальше.— Я сидел вон в крайнем бараке, № 6. Хотите знать, как попал туда? О, это грустная история. Помню, совершали мы переход через перевал. Зима стояла снежная. Взбираться на гору тяжело, тем паче зимой. Ступишь ногою и скользишь вниз,

того и гляди сорвешься в пропасть... Припушенные снегом камни обледенели. Пришлось окручивать подошвы разным тряпьем, даже проволокой... И опять шли. День и ночь, день и ночь. Нас мучили голод и усталость. Спали на ходу. Да-да, поверьте, на ходу,— повторил Славич, хмурясь.— Ведь изнуренный человек едва приткнется, даже на снегу, как сразу засыпает. Случалось, и замерзали... Тогда стали привыкать спать на ходу... Но я отвлекся... Я вам лучше расскажу, как попал в концлагерь... Кончился переход. И мы опять вступили в бой. Дрались, как истые гайдуки: если не хватало оружия, кончались патроны, мы бросались на врагов с ножами... Трое суток наш отряд защищал подступы к главной партизанской базе. На четвертые сутки не стало боеприпасов, гранат. Что делать? Отходить? Но кто нам простит? Отойти — значит позволить врагам овладеть стоянкой партизан. А ведь там лежат товарищи — раненые, обмороженные во время перехода. Много беженцев — наши матери, жены, дети... И мы поклялись: если пройдет враг, то лишь через наши трупы. Отбивались чем попало, кидались на врагов с ножами, забрасывали их камнями. На одного меня напали четверо. У них были автоматы, но они почему-то не стреляли. Как потом понял, живьем хотели взять. Я бросился на них с кинжалом, одного положил на землю, другого... Тогда один немец ударил меня сзади прикладом. В глазах потемнело... и я упал.

Славич передохнул, ладонью провел по седеющим волосам и сказал:

— Тридцать два года мне, другове, а уже седею... Тяжкие испытания перенес. Морили нас голодом. Давали мясо дохлых лошадей, и не вволю, а крохотными порциями. И жестоко били. Заставляли работать целыми днями. Поднимали с нар в пять часов утра. Ни на минуту позже. Даже в ненастье, в дождь или в лютый мороз. Ровно в пять! И под ружьем гнали в горы. Там, на вершине, немцы облюбовали нечто вроде площадки, заваленной камнями. Захотели построить в горах аэродром. И мы крошили скалы, таскали многопудовые камни. Один наш товарищ совсем обессилел, упал. Побелел, губы, руки трясутся, как в лихорадке. Немец-охранник подошел к нему и начал пинать его кованым сапогом. Бил в бока, в голову. Изо рта пленного хлынула кровь. Мы не стерпели, пытались заступиться... Охранник испугался и ушел. Вечером, как обычно, конвоиры привели нас в лагерь. А утром всех пленных из барака № 6 повели в глухое ущелье. Не туда, где строился аэродром. По рядам прошел шепот: «Ведут на расстрел!» И поверьте, бывают в жизни минуты, когда отчаяние придает силы, решимость бороться... Помню, когда мы шли, кто-то запел. Колонна разомкнулась, образуя как бы круг. Нельзя было взяться за руки, стянутые наручниками. Мы прижались друг к другу плечами. Шагали и пели.

Конвоиры пытались усмирить нас. Немецкий офицер, расталкивая пленных, протиснулся в круг и ударил в лицо того, кто запел первым. Тот было рванулся вперед, и немец в упор застрелил его. Тогда мы набросились на офицера, притиснули к земле так, что и пикнуть не мог.

А что потом делалось, даже трудно представить. Партизаны начали срывать друг с друга проволоку. Выхватывали у конвоиров оружие. Потом все бросились в горы, в лес...— закончил Славич.

Мы спросили, не может ли он припомнить слова коло, которое пели, идя на расстрел, партизаны. После недолгой паузы Славич пропел:

— Вернись к дому, друже,
В нем пылает пламя.
— Пусть пылает пламя.
Здесь борьба с врагами.
Не вернусь домой я,
Не покину боя!

...Невольно припомнилась нам другая песня. Это было в тяжелом 1942 году в излучине Дона. Дни и ночи горела степь, захлестнутая огнем. С рассвета и дотемна клокотала битва. А вечерами в прифронтовом хуторе собирались солдаты. Однажды им показали кинокартину «Ночь над Белградом». Далеко от нашего фронта был тогда Белград. Но его страдания и его печаль близко к сердцу принимали советские люди. Хотелось скорее прийти на помощь югославским юнакам. И наши солдаты песню из кинофильма «Ночь над Белградом» воспринимали как клятву:

Ночь над Белградом тихая
Вышла на смену дня.
Вспомни, как ярко вспыхивал
Яростный гром огня.
Вспомни годину ужаса,
Черных машин полет...
Сердце сожми, прислушайся:
Песню ночь поет.
Пламя гнева горит в груди.
Пламя гнева, в поход нас веди!
Час расплаты готовь!
Смерть за смерть! Кровь за кровь!
В бой, славяне! Заря впереди!

Подъезжаем к Белграду. Мимо окон машины мелькают узкие переулки, обсаженные каштанами, зубчатые листья пламенеют и тихо шуршат на ветру.

Вдоль улиц порванные провода свисают, как рыбацкие сети после бури. В окнах домов стекла выбиты, стены изрешечены пулями и снарядами — все говорит о боях, упорных и жестоких.

В самом Белграде уже не слышно ни перестрелки, ни свиста летящих снарядов, но еще чувствуется горячка недавнего боя.

А в центре города людно. Мы подходим к высокому белокаменному дому. Напротив него — парк. Стонут под напором ветра старые платаны. У подножия дерева лежат на одной плащпалатке укрытые по грудь цветами два воина — советский капитан, русоволосый, с крупными чертами лица, и югославский партизан, чернобровый, совсем еще юный. Они погибли в городе. И теперь белградцы несут и несут белые астры, огненно-яркие георгины. Кажется, возле погибших героев вырос живой цветник. Сюда несут не только цветы, но и... деньги. У платана стоит глиняный кувшин. Один за другим жители подходят, опускают в кувшин динары.

— Это обычай наш. Древний обычай,— поясняет Славич.— Народ вносит пожертвования. Мы поставим героям памятник...

Мягкий вечер опускается на улицы Белграда.

На большой площади собралось много народу. Сотни югославских воинов, рабочих в комбинезонах, крестьян в расшитых жилетах, девушек и юношей образовали круг. Держа друг друга за руки, они плавно передвигались то вправо, то влево и пели коло. В песнях славились и народная любовь к юнакам, и вековая дружба югославов с русскими.

Долго длилось ликование. Коло звучало все громче, круг танцующих становился все многолюднее.

Таким мы увидели Белград в день его освобождения.

ПАВЕЛ
ЛУКНИЦКИЙ

НАПРАВ-ЛЕНИЕ-БУДАПЕШТ



1944 год, 15 декабря.

...В пути, в сильном и комфортабельном «бьюике» члена Военного совета 53-й армии генерал-лейтенанта Петра Ивановича Горохова, принявшего меня как старого, по ленинградской блокаде знакомого, мне сегодня в первый раз показалось, что снова еду где-то по России, а совсем не в чужой мне, воюющей с нами Венгрии. Потому что сегодня здесь первым в этом году снегом замело всю равнину и снежинки падали мягко, кружась медленно и легко. Окаймляющие дорогу голые деревья и тонущая в белом мареве даль уподобили этот мир, укутанный снегом, милой сердцу России.

Выдвинувшаяся в равнину длинным мысом гряда, отрог горного массива Матра, к которой мы приближались, скрылась во всеохватном снежном великолепии. От глубокой, надоевшей грязи, покрывающей дорогу, остались только две колеи, брызжущие и хлюпающие под баллонами трудолюбивого автомобиля, и мне захотелось мороза, доброго российского мороза, который скует всю эту грязь и жижу разбухших, непролазных полей. Из них торчат бесчисленные палки омертвелых до весны виноградников; длинные, изогнувшиеся на концах крючком стебли тыкв; бесчисленные конусообразные копны-стебли кукурузы, убранные в маленькие, рассеянные по равнине стога... Я думал о том, что солдатам нашим и офицерам, ведущим бой в нескольких километрах севернее, такая погода, вероятно, очень тяжка, но все же снег должен радовать и их сердца так же, как обрадовал вчера мое...

А водитель «бьюика» Кузнецов вспомнил внезапно Истру и заговорил со мной, дескать, не могу ли я помочь разыскать его жену и ребенка, живших в Истре, под Москвой, и застигнутых немецко-фашистским нашествием в 1941 году,— ничего он с тех пор не знает ни о жене своей, ни о ребенке, и хочется ему знать хоть главное: живы они или нет?

Истра и Венгрия. Москва и Будапешт, перед которым мы бьемся теперь. Как уложить все эти пространства, переживания, мысли в ясное продуманное понимание всего, что за три с половиной года произошло с каждым из нас, с близкими нашими, с нашей Родиной, со всем миром? Поднявшись из заледенелых окопов, из сырых, мрачных блиндажей, из болот, мы встали и

пошли вперед и пришли гордой, широкой поступью сюда. И здесь каждый из нас, оскорбленных, становится милосерден к побежденным врагам; каждый из нас в любом городе и селе, на любой бесконечной, заполненной нашими грузовиками дороге ощущает себя освободителем, призванным дать мир и спокойствие местным жителям. Мы сохранили чистоту наших дум и сердец, мы остались человечными, несмотря ни на что, несмотря на жгущую каждого из нас память обо всем черном, что было содеяно оккупантами на нашей родимой земле.

Старуха-венгерка плакала, экспансивно обнимая плечо облаченного в синеватую шинель генерала, когда тот уезжал из дома, в котором был на постое несколько дней. Плакала и что-то долго, возбужденно, торопливо лопотала на непонятном своем языке, стараясь высказать свою благодарность за то, что он, русский генерал, отнесся к ней так по-родственному, помог: дал ей, жившей с детьми на соломе в сарае господского дома, хорошую комнату, где теперь им тепло и удобно... И от генерала кинулась к майору, который самолично для нее эту комнату выбирал, и внезапно поцеловала его в щеку, и он, смущенный, не знал, как повежливей держать себя с этой, изливающей свою благодарность старухой.

А она снова кинулась к генералу и снова лопотала быстро-быстро, а потом подскочила к жене генерала, прошедшей от блокированного Ленинграда всю войну вместе с мужем на действительной службе в армии... Подскочила и пыталась поцеловать ей руку. И та, едва успев отстраниться, стала ласково объяснять старухе, больше жестами, чем (недоступными для понимания этой венгерки) словами, что у нас, у русских, унижаться нельзя, не полагается так. Тогда старуха уцепилась пальцами за оба ее плеча и все говорила и говорила, волнуясь и плача.

А я думал о том, как заневолили, застращали, принудили к унижению гитлеровцы таких вот несчастных старух. Не просто теперь им опомниться.

Автомобиль, в который собирались сесть генерал и его жена, великолепный «бьюик», рокотал мотором, и бойцы-автоматчики, часовые у ворот, глядя на старуху, улыбались тихонько себе в усы...

Мы сели в машину, и она рванулась и помчалась по отличному шоссе, то развивая стодвадцатикилометровую скорость, то мягко, то круто тормозя, когда тихоход грузовик не отклонялся вправо, чтобы дать ей, ревущей мелодичным сигналом, дорогу, и она, мягко покачиваясь, как бы клевала его сзади правым крылом, нетерпеливая в своей сдерживаемой скорости.

Справа вставали, тянулись вдали отчетливо обрисованные на чистом бледно-голубом небе горы. Гряда их, невысокая, но радующая взгляд после надоевшей за последние недели низмен-

ности и манящая (как всегда меня манят горы), то повышалась, то понижалась. Над ней, уходя вперед, летели эскадрильями и звеньями советские самолеты — шли туда, в эти горы, бить и штурмовать врага, а другие совершали круг и, выпуская шасси, устремлялись вниз, на посадку к какому-то недалекому от того места, где мы проезжали, аэродрому. По дороге же, все в одном направлении с нами, тянулись повозки обозов, и шли мелкими подразделениями солдаты, и ехали автомобили, груженные ящиками со снарядами и всем, что бывает в грузовиках, приближающихся к передовой линии фронта.

А мы ехали на новое место постоя, совершая новый скачок вперед в том кочевье, какое началось у стен Сталинграда и какое закончится только в день вступления в Берлин. За нашим «бьюиком» далеко позади осталась вся колонна машин, они свернули к месту назначения по другой, короткой, но тряской дороге; мы же предпочли дальний путь, но зато по асфальту, через город Хатван — такой же, как и все другие небольшие города северной Венгрии.

Проезжая селами, мы вглядывались в следы отшумевших в них боев. Многие дома в этих селах иссечены осколками разрывавшихся поблизости снарядов и мин, некоторые зияли пробоинами. Понятно было: на улицах здесь били из пушек танки и крошили снарядами гитлеровцев, что прятались в домах, отстреливались из окон и с чердаков. Развеянная красная черепица, оскаленные стропила говорили нам, проезжавшим мимо, о воздушных волнах разрывов.

Но как мизерны, как ничтожны все эти мелкие разрушения, ничуть не меняющие облика сел,— в общем невредимых, населенных, полных скота и домашней птицы — по сравнению с диким разорением на нашей родной земле, со всем, во что превращены села и города освобожденных от врага районов СССР! Там пепел и прах, пустыня, жалкие следы обгорелых труб, безлюдье, полное, безграничное опустошение. А здесь жизнь местного населения не нарушена, здесь война промчалась как краткий, нанесший только очень небольшой ущерб, шквал. Он пронесся, и жизнь тотчас же распрямилась снова.

Земледельцу, селянину, рабочему, мирно трудящемуся человеку нельзя пожелать никакой беды, а тем более таких неописуемых лишений и страданий, какие испытаны нами; но если нельзя и выбросить из памяти все бедствия, все ужасы, пережитые советским народом, то надо найти в себе силу понять: Венгрия кинута была в войну с нами не своей народной волей, а изуверской волей Гитлера и тех отщепенцев, предателей народа, каких этот маньяк находил в любой стране и делал своими пособниками (а прежде всего у себя, в зараженной фашизмом Германии).

Горько русскому человеку мыслить об этом, и гнев закипает в каждом из нас, едва в мыслях наших возникает Берлин — средоточие зла, наносимого фашизмом всему человечеству.

По свойственной нам, советским людям, гуманности, мы можем быть прощающими, милосердными всюду, даже к народу, пошедшему против нас, понимая, что над этим народом совершено фашизмом насилие. Но сможем ли мы остаться столь же гуманными, милосердными и прощающими там — в фашистской Германии, когда наконец (и теперь уже скоро!) туда придем?

Да! Сможем, конечно... Потому что мы здоровые духом люди, среди нас нет извергов, способных убивать детей, беззащитных женщин, безоружных мужчин... Сможем, потому что мы, советские люди, способны погасить в себе чувство мести к врагу, когда он окажется побежденным. Пересилим себя и там, в Германии, ибо понимаем, что и сам немецкий народ тоже жертва, он отравлен ядом фашизма, и захочет исторгнуть из себя этот яд... Но никогда, ничего не простим мы прямым, сознательным исполнителям преступной воли Гитлера, его банде — фашистам, хладнокровно и целеустремленно злодействовавшим на нашей земле и на земле ныне освобождаемых нами народов! Они получат по справедливости то, что заслужили...

Наши автомобили бегут ночами по пустынным дорогам, никто не нападает на них. Бойцы и командиры ходят в одиночку и не ощущают опасности. Венгерский народ благожелателен к нам и очень хочет мира. Я здесь, в 53-й армии, нахожусь вот уже с неделю и хорошо знаю, что венгерские солдаты во главе со своими офицерами многими тысячами сдаются нам в плен, обнажая участки, на которых неистовствуют по этому поводу эсэсовские войска, все чаще стреляющие в спину идущим к нам в плен венгерским подразделениям.

У многих венгров еще не хватает силы духа, чтобы повернуть свое оружие против немцев. Но дух укрепляется верой в доброе будущее. И эти венгры, во всяком случае, понимают, что мир придет только с полным сокрушением фашистской Германии, и если Германию побеждаем мы, то не следует нам в таком хорошем деле мешать.

В районе угольных шахт

16 декабря. Село Апч.

Вчера, 15 декабря, я побывал на нескольких венгерских заводах. Осмотрел их. Разговаривал с венграми — инженерами и рабочими. Наблюдал их работу...

Здесь, в предгорьях Западных Карпат, северо-восточнее Будапешта, недра богаты углем. Это не слишком хороший уголь, калорийность его невысока — колеблется от двух до четырех тысяч

калорий. Высококалорийного угля в Венгрии вообще очень мало, такой уголь, дающий до 8 тысяч калорий, имеется, например, в районе города Печ, недавно взятого войсками 3-го Украинского фронта.

Но нужды близлежащих районов уголь, залегший в предгорьях Западных Карпат, мог удовлетворить вполне. Поэтому здесь, возле села Роже-Сент-Мартон, развита угледобывающая промышленность. Роже-сент-мартонские шахты давали ежесуточно 700 тонн угля, запасов его при такой производительности шахт могло хватить на шестьдесят лет, и вблизи шахт возникло несколько промышленных предприятий: в городе Хатване и в селе Шелип — два крупных сахарных завода, в Шелипе — мукомольная фабрика, перемалывающая до 70 тонн зерна в сутки, и цементный завод. Эти предприятия построены крупными капиталистическими фирмами Будапешта, и все они по мере превращения Венгрии в вассала фашистской Германии так или иначе были захвачены германским капиталом: директорами их становились гитлеровские чиновники, всю продукцию они отправляли в Германию.

С 1941 года Венгрия, втянутая Гитлером в войну с Советским Союзом, стала постепенно превращаться в одну из важнейших баз снабжения германской военной промышленности. На территории Венгрии, и прежде всего в Будапеште, как грибы стали расти военные заводы и другие нужные Гитлеру предприятия.

И в шахтах Роже-Сент-Мартона, откуда к заводам через горы тянутся по канатным дорогам сотни вагонеток, и на самих заводах, и на строительстве электроцентрали специалистов давно уже не хватало. Без особого удовольствия фашисты-хозяева вынуждены были привлекать на работу и не слишком надежных, с их точки зрения, людей, в том числе чехов, словаков, поляков.

Все они под началом немецких нацистов работали в тяжелых условиях. Но системой принуждения, угроз, жестоких кар фашистская администрация добивалась от них высокой производительности труда. В не менее тяжелых условиях трудились и венгры-рабочие. Тех, кто, доведенный до изнурения, оказывался обессиленным, дирекция безжалостно выбрасывала с предприятий и отправляла на фронт. Их заменяли другими, столь же бесправными...

В октябре 1944 года район Роже-Сент-Мартона был еще глубоким тылом вассала Германии. В нем не было никаких войск. В ноябре 1944 года этот район стал прифронтовым. В нем расквартировались отступающие эсэсовцы. Предприятиям предписано было работать с удвоенной производительностью, чтобы успеть до прибытия Красной Армии переработать все имеющееся в районе сырье. Но гитлеровские молодчики сами сорвали планы своих хозяев. Они стали грабить местное население, громить

дома и расхищать имущество заводских рабочих; так, они вывезли на грузовиках личное имущество рабочих строящейся электроцентрали. Одновременно был опубликован приказ о явке всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет для отправки на тыловые работы на запад, к Дунаю.

Рабочие разбежались, попрятались по подвалам, в окрестных селах и деревнях. На строительстве электроцентрали осталось лишь сто пятьдесят человек специалистов, временно освобожденных от мобилизации. Заводы стали. Красная Армия приближалась стремительно. Гитлеровцы начали торопливо вывозить всю готовую накопившуюся на складах продукцию предприятий. Приказы фашистского командования о демонтаже предприятий и вывозе всего оборудования уже не могли быть выполнены, транспорт оказался дезорганизованным, вагонов для награбленных ценностей не хватало.

Оставшиеся на предприятиях рабочие саботировали приказы гитлеровских властей. Гитлеровцы решили взорвать, уничтожить все, что уже не успевали вывезти. Однако им казалось, что на последних рубежах фашистские войска сумеют еще немного задержать Красную Армию и тем самым дадут возможность вывезти из Венгрии дополнительные материальные ценности. Местные правители рассчитали, что Красная Армия вступит в район Лоринцы и Шелипа не ранее 20 декабря. Взрыв и сожжение предприятий были назначены на 19 декабря.

Части 53-й армии, которой командует генерал-лейтенант И. М. Манагаров, сорвали и эти расчеты гитлеровцев.

Вместо того чтобы вступить в этот район со стороны Хатвана, где ожидали наступления советских войск спешно подброшенные фашистским командованием резервы эсэсовцев, полки 53-й армии внезапным обходом окружили район и, ринувшись на него через горы, отделяющие Роже-Сент-Мартон от группы этих промышленных предприятий, и одновременно с запада, со стороны Кекениеша, захватили всю сосредоточенную здесь группировку гитлеровцев врасплох. Лоринцы и Шелип со всеми находящимися здесь предприятиями были освобождены нами 6 декабря 1944 года. Фашисты успели только сжечь центральную базу материального снабжения при сахарном заводе, подорвать силовую станцию цементного завода да снять приводные ремни со всех заводов и фабрик. Значительная часть рабочих, заподозренных в антифашистских настроениях, была угнана спешно бежавшими гитлеровцами и, как полагают здесь, расстреляна.

Заводы и фабрики остались целы.

Со дня занятия района Красной Армией прошло девять дней. Еще доносится сюда канонада боев, с которыми дивизии Красной Армии пробивают себе путь на север, в долины и ущелья горного массива Матра, отрезая от Будапешта те гитлеровские

войска, что засели в глубине Западных Карпат. Но на шахтах работает уже около четырехсот человек. Все они, рассеянные в первые дни по окрестным деревням, по первому же широко объявленному призыву советского командования восстановить шахты сошлись здесь и сразу приступили к делу. 19 декабря шахты снова начнут давать уголь.

Сто пятьдесят рабочих и инженеров, оставшихся на строительстве Лоринцской электроцентрали, работают столь же охотно и энергично, стремясь закончить монтаж станции в кратчайший срок, обещая дать первые 30 тысяч киловатт не позже чем через три месяца. Все, что просят они,— поставить над ними комендантом русского офицера и дать воинскую охрану: не исключена возможность диверсии. Рабочие хотят порядка и содействия, настроены весьма положительно в своем отношении к нам.

На территории сахарного завода в Шелипе немцы закладывали взрывчатку. Рабочие, еще при немцах, тайно извлекли, удалили ее. Завод со всем оборудованием сохранился. Своя небольшая (3200 киловатт) электростанция цела. Когда на совещании рабочих и инженеров завода наш представитель сказал, что завод надо пустить для нужд Красной Армии, но, мол, как сообщили, ему кое-чего нужного не хватает, например полотняных фильтров и каких-то моторов, венгерские рабочие взялись сами разыскать все, что требуется. Половина необходимых фильтров была собрана у населения окружающих сел; моторы, закопанные рабочими при гитлеровцах, извлечены этими рабочими из земли.

Сегодня, 16 декабря 1944 года, электростанция сахарного завода даст ток соседним предприятиям и угольным шахтам. Через несколько дней заработает и сахарный завод. Директором его назначен поляк, работавший здесь прежде инженером-химиком.

С нетерпением ждут пуска своего предприятия и рабочие мукомольной фабрики. Ее директор — немец, сбежал вместе с гитлеровскими войсками. За девять дней после вступления сюда нашей армии никакие наши представители еще не приняли фабрику в свои руки, комендант еще не поставлен, воинской охраны фабрики еще нет. Она в полном распоряжении тех венгров-рабочих, что работали на ней и при немцах и что живут в соседнем с ней селе. Никто пока не давал им никаких указаний, никто ничего от них не требовал. Они (а их 58 человек) выбрали старшим мастера-механика фабрики, подчиняются ему, слушаются его указаний и все, как один, работают. Привели фабрику в идеальный порядок, навели чистоту, убрали весь мусор, отремонтировали все то, что было неисправно, и сами охраняют свое предприятие.

Мука и то зерно, какие немцы не успели вывезти, хранятся под замком в неприкосновенности. И все это сделано рабочими

по собственной инициативе. Старший мастер-механик объяснил мне, что если дать им приводные ремни, то ровно через два дня фабрика будет пущена на полную мощность. И еще объяснил мне, что считает себя коммунистом, потому и не бежал с немцами, потому и взял все в свои руки...

Такое же добросовестное отношение рабочих-венгров к труду наблюдается на других предприятиях, обеспечиваемых углем роже-сент-мартонских шахт. Все они полностью готовы к пуску. Восстановлена линия передачи высокого напряжения, подорванная гитлеровцами в двадцати шести местах. Приведена в полный порядок и железная дорога.

С особым вдохновением трудятся рабочие — поляки, чехи, словаки, восторженно приветствующие нас как освободителей. Освободителями от гитлеровского ига считают нас и большинство венгров; рабочие и инженеры трудятся честно, много, не считаясь ни со временем, ни со всякими вызванными военным временем сложностями. Чувствуется добрая воля в их желании сделать все быстрее и лучше.

Я не склонен ничего переоценивать. Конечно, основной стимул, побуждающий венгров работать, — стремление обеспечить себя материально, получать зарплату, питание, обрести уверенность в завтрашнем дне, успокоиться за свою личную судьбу, обеспечить неприкосновенность своих квартир. Может быть, также — особенно для специалистов — гарантировать себя работой по специальности от всяких мобилизаций на дорожные и тому подобные работы. Но как бы то ни было — и особенно ощущая справедливость, законность и мягкость отношения к ним Красной Армии, — венгры не саботируют, не дают никаких поводов для недовольства ими.

За окном крестьянского дома в селе Апч снег — тот, что впервые выпал вчера. Перед окном — маленький кипарис в снегу, за кипарисом чернеет вход в щель вырытого с нашим приездом сюда блиндажа-убежища. Доносится отдаленный гул канонады. Вчера на рассвете где-то близко рвались снаряды, гитлеровцы обстреливали наше село из дальнобойных орудий. Но уже сегодня фашисты отогнаны, завтра их отгонят еще дальше...

Передо мной на столе — донесение военного коменданта города Кунхедьеш старшего лейтенанта Чопорова. Оно написано красными чернилами на огромном листе бумаги почерком, характеризующим широту натуры этого коменданта.

Чопоров докладывает Военному совету 53-й армии о том, что, прибыв в Кунхедьеш 5 ноября, он, как комендант города, поручил представителю коммунистической партии города собрать всех граждан для избрания городского самоуправления. Были организованы городская управа, полиция и другие органы

управления. Пишет, что представитель коммунистической партии, которая при фашистах работала в подполье, три часа повествовал ему о здешней жизни и о работе подпольщиков-венгров. Половина городского населения состоит из рабочих, они с нетерпением ждали прихода Красной Армии, как армии-освободительницы. «...Когда вступила передовая часть Красной Армии к нам в город, — рассказывал тот венгр-коммунист, — наш рабочий класс и бедняцкое крестьянство встречали солдат и офицеров цветами. Это был большой праздник. Еще пули свистели и снаряды рвались, а жители города все повылезли из подвалов встречать Красную Армию...»

«Я рассказал ему, — пишет в своем донесении комендант Чопоров, — о цели прихода нашей Красной Армии на территорию Венгрии. Я ему пояснил, что наши войска не стремятся к приобретению какой-либо части венгерской территории, что действия их вызваны исключительнно военной необходимостью преодолеть сопротивление германских войск и военных частей союзной с Германией Венгрии...»

«...Того же числа я вызвал к себе председателя управы, поставил ряд организационных вопросов. И уже 6 ноября работали все их организации и производства. Я открыл для гражданского населения пять хлебопекарен, пустил в ход мукомолкомбинат, открыл один гражданский госпиталь и две больницы, открыл три начальных школы и одну среднюю, открыл две церкви, ряд мастерских. 7 ноября гражданскому населению был показан кинофильм «Она защищает Родину». 9 ноября ко мне прибыл представитель коммунистической партии и от имени жителей города передал благодарность и сказал, что они просили передать их предложение помочь Красной Армии во всем, что понадобится для быстрейшего разгрома немецкого фашизма».

«7 ноября мне понадобилось направить на строительство железнодорожного моста через Тису 2500 человек. Я это передал старосте. А на утро явилось 6200 человек. И староста мне объяснил, что вчера был праздник, и в двух церквах было много народу, и люди просили «помочь Красной Армии, которая освободила нас от немецко-фашистского ига, открыла нам церкви, больницы, школы, обеспечила нормальную и спокойную жизнь». И вот жители сами пришли, по своей охоте...»

«...Настроение граждан города и отношение к Красной Армии в настоящее время замечательное. О чем и доношу. Военный комендант города Кунхедьеш ст. лейтенант Чопоров...»

Так кончается это донесение, похожее на десятки других таких же донесений, направленных на имя члена Военного совета 53-й армии генерал-лейтенанта П. И. Горохова...

И я их просматриваю одно за другим, размышляя о той великой роли, какую взяла на себя и самоотверженно выполняет в Европе и здесь, в Венгрии, наша Красная Армия.

Наши части достигли города

28 декабря. Штаб фронта.

Кольцо вокруг Будапешта сжимается. Враг мечется в городе. Еще два дня назад, когда батальоны 46-й армии ворвались в западные предместья Буды, гитлеровцы начали спешно перебрасывать в Буду подкрепления.

Вчера в разведотделе 7-й армии мне было сказано:

— В ночь на 26-е фашисты северо-восточнее Будапешта уехали на машинах и предупредили венгров: «Придут другие».

Сегодня здесь я получил подтверждение сообщенного мне вчера в Ромхани: начиная от Дунакеси и южнее стояла эсэсовская мотодивизия «Фельдхернхалле». Дивизию сняли отсюда и отправили в Буду, а здесь оставили лишь саперный батальон этой дивизии, разбив его на отделения. Каждое отделение поставили в качестве заградотряда позади обороняющих этот участок венгерских рот или взводов с приказанием стрелять из пулеметов в спину венграм, если те начнут отступать. Рекомендовано также ставить позади венгров минные поля — верное средство «уберечь» своих союзников от отступления!

То же самое произошло восточнее, в районе Керепеш — Ишасег, где позади стоящих там 10-й и 12-й венгерских дивизий немцы поставили подразделения 8-й эсэсовской кавалерийской дивизии.

Переброшена в Буду, на другой берег Дуная, и стоявшая здесь 18-я танковая дивизия гитлеровцев, а тут оставлены отдельные группы как заградотряды.

На каждом участке по всей первой линии против войск нашего 30-го стрелкового корпуса 7-й армии сидят венгры, а позади них — немцы.

Но заткнуть брешь в Буде не удалось. Сегодня соединения 46-й армии углубились в западные кварталы Буды и оттесняют окруженную группировку к центру города.

Большая часть находившихся в Будапеште гитлеровских войск вообще за последнее время выведена из города. Тем яростнее сопротивляются сейчас те, кому из кольца окружения уже не вырваться. Всех оставляемых в Будапеште по приказанию фашистского командования гитлеровцы используют на оборонительных работах...

...Сегодня они спешно перебрасывают свои войска из Буды в Пешт, потому что здесь, по восточному обводу кольца окружения, наши части, кое-где пройдя предместья, подступили вплот-

ную к окраинам города. Батальоны дивизий 30-го и 18-го корпусов уже ведут бои в районах Уйпешта, Ракошпалоти, Пештсентлеринца, Пештсентэржебета.

Это пока еще не генеральное наступление на город, это скорее «частная инициатива» некоторых передовых полков, разведотрядов, саперных подразделений — прощупывание систем обороны, разведка боем, поиск «языка», определение огневых позиций врага.

Фашисты сооружают на всех улицах баррикады, и сегодня наши передовые подразделения штурмовали многие из таких воздвигнутых на окраинах города баррикад. Сопротивляющийся враг с каждым часом оставляет очередные кварталы предместий и превращенных в оборонительные рубежи пустырей на юго-восточной стороне города. Битва по всему обводу кольца принимает характер уличных боев, где надо штурмовать каждый перекресток и каждый дом...

Воины нашего переднего края, взламывающие вражеские рубежи, находятся под непрерывным шквальным артиллерийским и минометным обстрелом. Гитлеровцы чаще всего ведут огонь беспорядочно и бессистемно, стараясь обезопасить себя от наших атак. Дым разрывов стоит над пригородными селениями. Но наши воины, умеющие прекрасно использовать любое укрытие, не опасаясь такого огня, неустанно атакуют вражеские рубежи.

Особенно жаркие бои разыгрались вчера на участке, где наступают гвардейские полки Атаманова, Хрипко и Лебедева [1]. Эти полки пробивали брешь в третьей линии обороны. Гитлеровцы и венгерские фашисты (как их называют у нас, салашисты) отчаянно сопротивлялись. В кирпичных домах здесь засели группы вражеских автоматчиков, на перекрестках улиц зарыты в землю самоходные установки, расставлены пушки и пулеметы. Наши воины пробивают все эти барьеры и шаг за шагом продвигаются вперед.

Подвиг на окраинах Будапешта вчера совершил молодой солдат одной из дивизий 30-го корпуса Грегуль. Он первым ворвался в траншеи противника и забросал гитлеровцев гранатами. Недалеко от себя он заметил вражеский пулемет. Грегуль подкрался к пулемету и ударом приклада убил вражеского пулеметчика, затем повернул пулемет и открыл огонь по врагу. Притаившийся вблизи гитлеровец бросил в Грегуля гранату, но тот успел схватить ее и метнуть обратно в немца. Граната,

[1] Это были полки гвардейских дивизий 30-го стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии. 149-му гвардейскому полку подполковника Д. И. Хрипко приказом Верховиого главнокомаидующего от 5 апреля 1945 года было в числе других отличившихся соедииеиий и частей присвоеио наимеиование Будапештского.

разорвавшись, убила фашиста и ранила Грегуля. Но мужественный солдат остался в строю, пока его рота не овладела вражеской позицией. При эвакуации в медсанбат Грегуль заявил: «Жаль, что меня ранило, но скоро я вернусь к вам, товарищи, и покажу гитлеровцам кузькину мать!»

По свидетельству пленных, во многих районах Будапешта нет света и воды. Вчера в городской район южнее Уйпешта несколько транспортных самолетов «Юнкерс-52» сбросили грузы на парашютах. В одном из контейнеров, приземлившихся на нашей территории, оказались мины к 81-миллиметровому миномету. Этот факт свидетельствует об угрожающей гитлеровцам в Будапеште нехватке боеприпасов.

Раз по двадцать в сутки слышен унылый вой будапештских сирен. Воздушные тревоги объявляются, даже когда никаких налетов на город нет. Почему? Надо полагать, гарнизоном Будапешта овладевает паника. Всем понятно: если в предместьях мы взломали и прошли первую линию обороны, то ведь на этом не остановимся.

Вторая и третья линии вражеской обороны пересекают дома городских предместий, насыпи железных дорог, озера и парки. Наши части прорвали третью линию, и сейчас враг сгоняет десятки тысяч жителей на укрепление четвертой линии обороны, проходящей через самые окраины.

В поселок Дунахарасти явилось несколько стариков, укрывавшихся во время боя в подвалах и обнаруженных там нашими пехотинцами. Некоторым из этих стариков по шестьдесят с лишним лет. Изможденные, обессиленные, они рассказали, что власти пригнали их на передний край вместе с толпами других жителей Будапешта и заставили копать противотанковый ров под артиллерийским и минометным огнем. Каждый из них получал в сутки по сто граммов хлеба. Они утверждают, что в городе сытно питаются только немцы и венгерские фашисты, а вся бедняцкая часть гражданского населения давно уже голодает.

Отступая из взятых нами предместий, фашисты расстреливают всех попадающихся на улицах и не желающих отступать вместе с гитлеровскими войсками мужчин, насилуют девушек-мадьярок, грабят все население, отбирая не только продукты, но и все личное имущество, одежду, белье. В одном из предместий скрывавшиеся в подвалах жители сами задержали группу «швабов» (так называют мадьяры венгерских немцев). Эти «швабы», занимавшиеся мародерством, не успели бежать с отступавшими эсэсовцами. Жители заключили мародеров в глубокий подвал, завалили вход пустыми винными бочками и передали заключенных первым вступившим в предместье воинам Красной Армии.

Священник Михаил Виланд из поселка Дунахарасти, где гитлеровцы разграбили и взорвали две церкви, возмущенный безобразиями, творимыми фашистами, попросил у командира одного из наших подразделений разрешения обратиться по радио к венгерским солдатам, что занимали рубеж на окраине города перед фронтом подразделения. Разрешение было дано, и Михаил Виланд произнес речь, в которой разоблачал ложь фашистской пропаганды об отношении Красной Армии к религии. Виланд засвидетельствовал, что в его селе Дунахарасти после вступления Красной Армии открылась церковь и все верующие свободно молятся богу, а в дни рождества после католической мессы встречали праздник с традиционной елкой. Сразу же после речи священника на нашу сторону через линию фронта перебежали двенадцать венгерских солдат, которые заявили, что перебежала бы и вся рота, если б солдаты этой роты не боялись получить в спину пулеметные очереди от расположившихся позади них немцев.

Два или три дня назад севернее Эстергома к нам перешел и сдался в плен социал-демократ писатель Ковач, редактор крестьянской газеты. Он выразил желание встретиться с маршалом Малиновским, чтобы спросить, признают ли русские наличие внутреннего фронта в Венгрии как организующей народной силы, ставящей себе целью борьбу с фашизмом... Предлагает координировать действия внутреннего фронта в Будапеште с действиями Красной Армии. Просит устроить ему для этого встречу с перешедшим ранее на нашу сторону бывшим начальником генерального штаба Венгрии Яношем Верешем.

«...Конечно,— говорит Ковач,— могли бы восстать, но... то нет оружия, то жуткий террор!» А ему, как он говорит, видному писателю, нельзя было показывать свои намерения.

Всех «подозрительных» на улицах ловят и отправляют на оборонительные работы. Поэтому население боится выходить из подвалов.

Ковач рассказывает: разрушения в Будапеште не так велики, но в районе железнодорожной станции — большие; оборудование многих заводов эвакуировано; начали вывозить, когда Красная Армия подходила к Трансильвании; в октябре эвакуация заводов усилилась; из магазинов все вывезено. Рынок есть, но ничего не купишь, не продают...

С наших наблюдательных постов здесь хорошо виден Будапешт. До 24 декабря в нем дымились некоторые трубы заводов. С 25-го ни одна труба не дымит. Бежавшие из города жители рассказывают, что гитлеровцы взрывают в городе дамбы, затопляя водой низко расположенные районы города. И все в один голос подтверждают: в городе царит неописуемый террор, фашисты вершат массовые расстрелы.

...Да, оказавшись в безвыходном положении, гитлеровцы перед лицом собственной гибели срывают лютую злобу на мирных жителях. Это свидетельствует не только о подлости врага, но и о его слабости.

Врубаясь в город

1945 год, 4 января. Будапешт.

Наше командование сделало все от него зависящее, чтобы избежать лишнего кровопролития в столице Венгрии, чтобы уберечь гражданское население Будапешта от жертв и страданий. Венгерский народ ждет нас как своих освободителей от гитлеровского ига, от голода и лишений, от всяких чинимых фашистами бедствий. И если бы гитлеровцы, сознающие бессмысленность своего сопротивления, не были одержимы человеконенавистничеством, манией истребления целых народов, не были бы тупыми варварами, они пощадили бы измученных ни в чем не повинных горожан, приняв наш ультиматум о прекращении сопротивления, гарантировавший и самим жизнь и безопасность...

О том, что советское командование утром 29 декабря посылает с двух сторон: за Дунаем — с позиций 3-го Украинского фронта, а здесь, на восточной стороне, — с позиций 2-го Украинского фронта, своих парламентеров к командованию окруженной в Будапеште группировки, еще с ночи было хорошо известно и гитлеровским, и венгерским войскам...

Известно потому, что наши громкоговорители, установленные на самом переднем крае, всю ночь на двух языках сообщали об этом, предлагая противнику в пунктах перехода парламентеров через линию фронта в точно назначенный час прекратить огонь... Кроме того, с двух самолетов, направленных вопреки сплошной облачности, снегопаду и зенитному огню врага, над крышами города были сброшены сотни тысяч листовок, уведомлявших противника и мирное население столицы о наших намерениях...

В назначенный час на участках перехода огонь был прекращен...

С позиций 2-го Украинского фронта по дороге к Кишпешту вышла автомашина с огромным белым флагом. В машине находились трое: советский капитан Миклош Штейнмец, венгр, коммунист, в прошлом боец Интернациональной бригады в Испании, личный друг генерала Лукача (Мате Залки); его адъютант и переводчик лейтенант Кузнецов и водитель машины младший сержант Филимоненко.

Гитлеровцы дали парламентерам возможность пересечь линию фронта, а затем внезапно обстреляли их, подожгли

машину шквальным минометным огнем. Капитан Штейнмец и младший сержант Филимоненко билы убиты наповал, а лейтенант Кузнецов тяжело ранен...

В тот же час за Дунаем линию фронта пересекла другая машина, в ней также были трое: капитан Илья Афанасьевич Остапенко (из политотдела 316-й стрелковой дивизии), адъютант-переводчик старший лейтенант Орлов и водитель старшина Горбатюк.

Фашистские офицеры, встретив их, завязали всем троим глаза, привели в свой штаб, вскрыв пакет, категорически отказались принять ультиматум, вывели парламентеров к своему переднему краю. Но едва Остапенко и его товарищи вышли за линию траншей противника, все трое были осыпаны выстрелами в спину. Капитан Остапенко был сразу убит. Орлов и Горбатюк, припавшие к земле и ползком нашедшие себе укрытие, случайно уцелели...

В ответ на подлое убийство парламентеров наши артиллеристы, минометчики, пулеметчики обрушили на позиции врага ураганный огонь.

30 декабря весь мир из сообщения Совинформбюро узнал об этом чудовищном, беспрецедентном преступлении, совершенном вопреки всем установившимся с древнейших времен традициям, принявшим в международной конвенции на Гаагской конфереции 1907 года форму одного из основных законов ведения войн.

После отказа фашистов принять наш ультиматум, после этого подлого убийства, вызвавшего возмущение всей нашей армии и всего народа нашего, иного выхода для советского командования, кроме как штурмовать город, не осталось...

...В эти горячие дни я в непрерывных разъездах от штурмуемых кварталов города к узлу связи, откуда отправляю корреспонденции в Москву, и вновь обратно...

Сейчас двинемся дальше...

В рассветной прозрачности воздуха дорога к Будапешту перебегает с холма на холм. Мороз и ветер. Снега нет, но земля проморожена и кочки недавней грязи топорщатся, как серые торосы. Даже гусеницы танков почти не вдавливаются в эту мелкоторосистую жесткую корку. По склонам холмов и в долинах квадраты вымерзших виноградников ощетинились рядами палок. Участки кукурузных полей желтеют сухими стеблями. Там и здесь белеют маленькие хутора, окруженные голыми в эту пору садами. Местами дома группируются в небольшие поселки, с прямыми улицами, с обязательной каменной церковью в центре. Это пригороды Будапешта: Мадьород, Киштарча, Чемер. Многие дома в них разбиты, продырявлены снарядами, но население уже снова заводит в них мирную жизнь.

Всюду в поселках наши грузовики, орудия, полевые кухни, на перекрестках — девушки-регулировщицы.

Выбежав из поселка, дорога снова окаймляется двухрядьем деревьев. Летом эти вьющиеся по горам дороги-аллеи, конечно, красивы. Сейчас деревья голы, а обочины усеяны трупами лошадей, обломками вражеских автомашин, железными лоскутьями от разорванных «пантер» и «тигров» и извлеченными отовсюду обезвреженными минами.

Отсюда с гор, виден весь Будапешт. Впрочем, сегодня он невидим: тучи темно-серого дыма заволакивают его. И все мчащиеся к фронту машины приближаются к этой мглистой туче. Навстречу шагают колонны венгерских солдат и офицеров в ярко-зеленых шинелях. Пленные веселы: война для них кончилась и они убеждаются, что русские совсем не таковы, какими их расписали гитлеровцы.

Вот на улицу предместья, по которой проводят пленных, выбежали местные жители. Несколько женщин бросились к шеренге мадьяр, заплакали, заголосили. Наш конвойный офицер подскакал на коне:

— В чем дело?

Женщины объяснили, что, мол, вот этот, с рыжими усами, и двое идущих с ним рядом — их родственники, из этой деревни. Офицер, усмехнувшись, распорядился вывести всех троих из колонны и дать им свободу:

— Пусть скореей бегут по домам!

Пленные и женщины опасливо озирались, долго не понимая, чего требует русский офицер. А когда, под хохот наших солдат, поняли, то эти трое бросились обнимать и целовать женщин и вся колонна пленных радостно зашумела.

По всем дорогам пленных проводят тысячами.

Снижаются холмы, местность выравнивается, дороги путаются, постепенно превращаясь в улицы городских окраин. Везде вокруг следы ожесточенных боев — траншеи, рвы, колючая проволока, перепаханная взрывами минных полей земля. Здесь еще только отшумел упорный уличный бой. Это — Ракошсентмихаль, это уже окраина Будапешта. Прямые улицы асфальтированы, одноэтажные и двухэтажные опрятные домики обведены садами, палисадниками, каменными оградами. На перекрестках окна заложены кирпичом, амбразуры разбиты прямыми попаданиями снарядов. Черепичные крыши пробиты, и под чердачными окнами валяются искореженные, выброшенные на улицу пулеметы. Железный лом перегораживает дорогу. Красный шнур и таблички наших саперов предупреждают о минах.

Вот поперек улицы распростерся «фердинанд» с перебитым стволом, за ним — две расплющенные, вдавленные в землю противотанковые пушки.

16-1607

Бой идет неподалеку, улица изредка простреливается гитлеровцами из центра города. Девушка-мадьярка выходит из дома с ведром и, глядя в сторону центра Будапешта, прислушивается к свисту снарядов: не опасно ли подойти к колодцу?

Едва здесь, в Ракошсентмихале, откипел уличный бой, к нашему офицеру робко подошел старик, местный рабочий. Он спросил, что будет делать русская армия с местными жителями. «Ничего делать не будем, пусть лучше живут, чем жили!» — «Не расстреляют?» «А кому это нужно — расстреливать вас?» — улыбнулся офицер.

Гитлеровцы стращали население злостной клеветой на Красную Армию, но первый же час пребывания нашей армии в Ракошсентмихале разоблачил эту дикую клевету. И тогда все оставшееся здесь население, состоящее главным образом из заводских рабочих, высыпало на улицы, приветствуя Красную Армию и предлагая помочь ей. И сегодня жители в Ракошсентмихале уже охотно расчищают дороги, помогают саперам разбирать завалы и баррикады, принимают участие в ремонте автомашин, приводят в порядок жилища. Налаживается, радуя всех, мирная жизнь.

Но вот я уже глубоко в кварталах города... Один среди незнакомых мне, но наших — советских — солдат, ощущаемых мной как близкие и родные люди,— лица усталые, но жизнерадостные, глаза у всех возбужденные, острые,— трудно описать выражение глаз людей, находящихся в ежеминутной опасности, но привыкших к ней и знающих, что дело их правое, справедливое, за которое не страшно и умереть, но лучше все-таки жить и добиваться победы...

А бой грохочет вплотную, рядом, жестокий уличный бой, сразу за Ракошсентмихалем, в примыкающих к нему кварталах самого города — его XIX района. Полем боя сегодня стали следующие кварталы после упорного сражения за вот эти изрытые в нескольких местах участки насыпи железной дороги, отделяющей Ракошсентмихаль от городского района Зугло.

Подступы к этой насыпи были сильно укреплены. Колючая проволока в пять кольев, пояс минного поля глубиной в пятьдесят метров, вырытые в самой насыпи укрытия для орудий и пулеметов, огневые точки в пересекающих насыпь бетонных трубах, а сразу за насыпью — заминированный по краям противотанковый ров, заполненный водой из речки Ракош, что пересекает город. Наши танки, пехота, артиллеристы по проходам, проделанным саперами, пробиваются все ближе к центру...

Вместе с пехотой 18-го стрелкового корпуса сражаются здесь сегодня и батальоны 3-й танковой бригады полковника Ивлиева; они ведут бой через несколько кварталов от места, где я нахожусь.

Вчера танкисты совместно с пехотинцами и артиллеристами проникли в глубь города на два километра, сегодня уже достигли центральных кварталов района Зугло и пробиваются дальше, к парку Варошлигет. Здесь дома четырех- и пятиэтажные, плотно сомкнуты... И все то же: каждый дом превращен фашистами в крепость. Окна заделаны кирпичом, в амбразурах — пулеметные точки. Из подвальных, также заложенных кирпичом, окон торчат стволы противотанковых пушек, улицы перегорожены баррикадами, на перекрестках таятся в укрытиях «пантеры» и «тигры».

Борьба здесь идет за каждый метр улицы, за каждый этаж дома. Развернуться негде, широким строем здесь не пойдешь. Уже врубившись в кварталы Зугло, танкисты повели бой штурмовыми группами; каждая состоит из саперов, минеров, стрелков, автоматчиков и нескольких танков. Танки прокладывают себе путь, прежде всего подавляя огнем вражескую артиллерию, бьющую из подвалов и с перекрестков. Пехотинцы, обеспечивая фланги, прочищают дома. Саперы удаляют мины и подрывают баррикады. Трудно описать ожесточение происходящего здесь боя.

А наша авиация, расчищая путь наступающим наземным войскам, висит непрерывно в воздухе. Вражескую оборону, кружась каруселью, штурмуют «илы». Взлетает на воздух огромный склад боеприпасов в парке Варошлигет, рушится узел обороны на пересекающей город железной дороге у ипподрома, с которого гитлеровцы по ночам вывозят своих генералов на транспортных самолетах.

Битва за Будапешт с каждым часом переносится все ближе к центру огромного города.

В центре города

10 января. Будапешт.

Утром из Хевеша мчусь в Будапешт, по уже знакомым улицам к центру города. Вечером, полный новых впечатлений, — обратно в Хевеш, чтобы написать и отправить очередную корреспонденцию.

Бой идет на центральных улицах. Там, где улица Андраши выходит в центральный городской парк Варошлигет, высится огромная колонна тысячелетия Венгрии. В сторону от нее расходятся два крыла колоннады, меж колоннами (одна из них повреждена, еле держится), вправо и влево от монумента царя Арпада, окруженного его дюками, двумя шеренгами выстроились бронзовые цари. Сегодня встречные пули полосуют этих царей: с улицы Андраши, ломая царям руки и ноги, летят снаряды немецких пушек, из парка Варошлигет крутыми дугами

через колоннаду перелетают мины наших атакующих подразделений. А в размороженном оттепелью озере плавают трупы гитлеровцев.

Тает выпавший на днях снег. Красновато-ржавыми струями он бежит по асфальту и, закружившись у водостоков, уходит под землю — в трубы канализации.

Ожесточение боя усиливается с каждым часом. Сжимаемые в центре города нашим наступлением, как исполинской пружиной, гитлеровцы и салашисты сопротивляются исступленно, в мрачном отчаянии. Им некуда бежать, им надеяться не на что, им нечего рассчитывать на пощаду, их удел — гибель. В смертный час их провожают только проклятия будапештского населения Гитлеру, предавшему огромный город огню и мечу. Горожане уже две недели прячутся в подземельях, в подвалах домов и выходят из них только с появлением Красной Армии. Солдаты подсаживают на отправляемые в тыл грузовики детей и женщин, и те, избавляемые от ужасов войны, впервые вздыхают свободно, с радостью покидая свой ставший страшным город.

Но не всем детям и женщинам удается до прихода Красной Армии отсидеться в подвалах. Гитлеровцы силой выгоняют гражданское население в самые опасные места — под разрывы снарядов, под пулеметный огонь, заставляя даже школьников подтаскивать строительный материал для дзотов и баррикад, подносить оружие и боеприпасы. Фашистов, заслоняющих себя детьми и женщинами, наши бойцы обходят с тыла и уничтожают за подлость беспощадно.

Выйдя с севера от Уйпешта на прямую как стрела, идущую параллельно Дунаю центральную улицу Ваци, советские воины по ней быстро продвигаются к самому центру. На этой улице расположены десятки магазинов, в их числе самые крупные. Красная Армия, окружив Будапешт, помешала гитлеровцам увезти многое из награбленных ими, подготовленных к вывозу богатств. Упакованные в ящики товары и ценности так и остались в магазинах. Теперь гитлеровцам «не до жира»: они выволакивают ящики на улицу и складывают из них баррикады. Снаряд, накрывающий гитлеровцев, разбрасывает их тела вместе с содержимым таких баррикад — детскими игрушками, патефонами, счетными машинами, хрусталем, меховыми дамскими шубками и венской мебелью.

Жалобно в последний раз звенит шредеровский рояль, по клавишам которого проходит пулеметная очередь, пущенная высунувшимся из окна фашистом. А ночью, стараясь осветить передний край своей обороны, гитлеровцы обливают на улицах эти товары бензином и жгут...

Но самые большие ценности они успели вывезти из города задолго до его окружения Красной Армией. Не постеснялись ук-

расть и увезти в Германию даже драгоценную государственную реликвию Венгрии — корону сент Иштвана (святого Стефана), которой в течение сотен лет короновались все правители Венгрии. Эта массивная золотая, усыпанная бриллиантами, изумрудами, рубинами и топазами, украшенная миниатюрами тончайшей работы корона хранилась как святыня в отдельной часовенке в королевском дворце.

Все, что только могли успеть украсть во дворцах и музеях, они увезли в Германию. А что вывезти не сумели, уничтожают сейчас.

Загодя вывезена в Германию большая часть оборудования заводов и фабрик, но у них не нашлось времени, чтобы вывезти все. И Красная Армия, очищая от фашистов квартал за кварталом, находит на многих заводах значительную часть оборудования. В полной сохранности оказались завод радиоприборов, некоторые цехи авиазавода «Мессершмитт», кожевенного и других. В городском районе Чепель, где бои были особенно ожесточенными, нами взяты важнейшие промышленные предприятия. Среди них патронный и оружейный заводы, имевшие жизненное значение для окруженной группировки, машиностроительный завод «Гофхер Шранц», который немцами был перестроен в танковый и производил сборку боевых машин, доставляемых из Германии.

Выпуск танков был прекращен только после удара, нанесенного по заводу советской авиацией.

Левобережная часть столицы Венгрии — Пешт скоро уже будет в наших руках.

Пешт взят

18 января.

И вот сегодня он наконец перед нами весь — дымящийся, побитый, голодный Пешт, огромный город, восточная половина столицы Венгрии.

Еще позавчера, бледные от страха, неслись по простреливаемым артиллерией улицам в своих элегантных автомашинах недавние властители города, фашиствующие господчики, салашистское офицерье, к последней переправе через Дунай... Неслись к набережной, к взорванным мостам, и бросали под обстрелом автомобили, и в панике дрались у переправы, грызлись за очередь, как грызется за тушу коровы стая волков. Многие утонули, а другие вместе с награбленным попали в руки наших бойцов. Тем было некогда, и разбросанные чемоданы вдавливались в грязь и в кирпичный лом...

Еще позавчера глубоко под землей, в пока неведомом нам туннеле, что тянется, говорят, к Ланцхиду — Цепному мосту, фашистские правители, прячась от русских снарядов и авиабомб,

названивали по всем проводам: «Держись! Гитлер шлет новую помощь!..»

Еще вчера последние эсэсовские головорезы-смертники, предавшие город огню и мечу, цеплялись за минированные дома у набережной, пьянели кровью, расстреливая своих же подручных, взрывали каждую стену, которую не удавалось им удержать...

Кончилась битва за Пешт. Он — наш. И, освободив Пешт, мы вручаем судьбы его народу Венгрии и всячески помогаем ему.

В сетях порушенных, порванных, перепутанных проводов запутались гитлеровские разбитые танки и автомобили. Битым стеклом, кирпичом и щебнем завалены мостовые. Трупным запахом тянет из-под руин. В воронках от авиабомб женщины ищут питьевую воду, чтоб напиться после нескольких суток неутолимой жажды. На центральную улицу города, тройную, с двумя продольными аллеями посредине,— улицу Андраши — хаотическими осыпями сползли дома. А то короткое, двухкилометровое, что проходит под этой улицей, забито людьми, обездоленными, еще не верящими, что можно без опаски выйти на поверхность земли. Сколько несчастных, сколько среди них ни в чем, кроме покорства Гитлеру, не повинных, хороших, но слабых духом людей! Но немало среди них и фашистских молодчиков, присмиревших сейчас, сменивших волчью шкуру на овечью в расчете на то, что «их» время еще, быть может, воротится, а пока любой ценой надо сохранить свою жизнь, коли уж не удалось бежать с немцами.

Время придет — растасует всех. И честные люди Венгрии сами изобличат предателей своего народа. Восстановится жизнь столицы. Труд человеческий, честный труд рабочих людей вернет городу его былое великолепие. Покой и мир воцарятся в его домах и на его улицах. А пока...

Древние римляне устроили себе курорт на найденных ими горячих источниках против острова Обудай (бани Азевинкум были первыми строениями древнего городка Обуда). Римские богачи думали не о народе, они заботились о себе. Потом были цари Арпады, Хуньяди, воздвигнувшие первые крепости, первые храмы и дворцы по склонам и на вершинах красивых придунайских холмов. Так на западном берегу Дуная вырос другой древний городок — Буда.

Эти многобашенные крепости и дворцы были очень красивы,— цари и короли думали не о народе, красоту создавали лишь для самих себя. Им нужно было торговать, наживаться, честолюбиво усиливать свою власть. Стало тесно среди холмов Буды, на восточном берегу появился третий древний город — Пешт.

Были завоеватели — татары и турки, была династия Габсбургов. Венгрию завоевывали, резали, делили, подминали под себя и владели ею. Меч и золото властителей сверкали на берегах Дуная. Купли и продажи, коронации и казни происходили здесь. Три городка: Обуда, Буда и Пешт — слились в один город — столицу Венгрии.

После каждого правителя оставалось наследие: замки, храмы, крепости, мавзолеи, памятники, дома.

В девятнадцатом веке Будапешт стал разрастаться. К концу века в нем было уже полмиллиона жителей. Еще через сорок лет в нем был уже миллион.

Народ существовал. Народ отстаивал свою свободу и национальную независимость. Народ боролся с турками, с австрийцами, с российским царизмом, с немцами. Народ Венгрии сбрасывал династию Габсбургов. Народный поэт Петефи призывал: «Повесьте своих королей!» и в стихах писал: «Вы, немцы, приходили к нам целоваться. А сейчас вы пришли воевать. Хорошо, приходите! Посмотрим, кто кого будет бить. Я вам даю хороший совет: приходите к нам на ходулях; когда вам придется спасаться бегством, вам удобнее будет бежать на длинных ногах. Приходите! Мы вас будем бить как собак».

Но организованная реакция была сильнее неорганизованного народа.

Возникшая в 1919 году Советская власть задушена на корню. Появился фашизм — как социальное уродство, как высшее проявление всех низменных страстей и пороков. Гитлер вынудил Венгрию вступить в преступную, несправедливую войну. Страна, став покорным вассалом Гитлера, оказалась и соучастницей его неслыханных злодеяний. Но, превращая ее практически в свою колонию, Гитлер стал третировать ее, как свою служанку, и, когда усомнился в ее готовности лечь с ним в одну могилу, стал давать ей пощечины, требуя верности до конца. В фешенебельном предместье Будапешта — в виллах и санаториях роскошного гнездилища крупной буржуазии Швабхеда, на улице Мелинда — поселилось гестапо. Великолепный отель на склонах двухсоттридцатипятиметровой, командующей над столицею горы Геллерт заняли высшие германские офицеры. Гостиница «Астория» на улице Кошута Лайоша была превращена в немецкую военную комендатуру. Гитлеровские эсэсовские горлопаны разместились в отеле «Метрополь» на улице Ракоци, в отеле «Ройял» на бульваре Иосифа, в отеле «Бельвю», украшающем Буду, в десятках других лучших домов и гостиниц города. Немцы поставили своих надзирателей в министерствах, на фабриках и заводах, сковали союзную столицу строжайшим жандармским режимом. И, наконец, как подлинное порождение тьмы, вставили в гнилую раму марионеточного правительства никому до

тех пор не известного майора генерального штаба, выброшенного в свое время венгерским офицерством из своей среды — Ференца Салаши.

С помощью этого отъявленного предателя народа историческое преступление было доведено Гитлером до апогея. Когда лучшая часть офицеров воочию увидела перед собой всю бездну, в какую Гитлер сталкивает Венгрию,— в Будапеште послышались голоса, требовавшие выхода Венгрии из губительной для страны войны. В ответ начались аресты, а на улицах Будапешта гитлеровцы стали подчеркивать свое открытое презрение к венгерскому офицерству. Террор гестапо стал открытым и повсеместным. Национальное унижение венгров дошло до предела. Они безмолвно глядели, как фашисты, отступая из венгерских селений и городов, открыто грабят гражданское население, как, разоряя столицу при содействии салашистов, эвакуируют в Германию оборудование заводов, промышленное сырье, продовольственные и другие запасы.

Столица Венгрии пребывала в полной прострации. Ее насильно выгоняемое на окопные работы, лишаемое продовольствия, бесправное гражданское население было повергнуто в рабство. Логическим завершением проявления варварского пренебрежения к участи миллионного населения Будапешта, к судьбе самого города, полного культурных и исторических ценностей, было все то, что по вине гитлеровского командования произошло дальше...

Таково было положение в Будапеште к моменту его окружения Красной Армией...

...На улицах Пешта сегодня встречают нас как избавителей от всех перенесенных несчастий. Несчастья еще продолжаются: кругом разрывы фашистских снарядов и мин, летящих с холмов Буды из-за Дуная. Другие мины — замедленного действия — поднимают на воздух оставленные гитлеровцами дома. Тишины еще нет. Но тишину, мир, свободу мы принесем и сюда, и в Буду...

...Как же все-таки все это произошло? Что же это была за крепость, которой с таким тяжким ратным трудом столь решительно овладела наша Красная Армия?

В Будапеште четыре с половиной тысячи кварталов, десятки тысяч домов. Амбразуры в заложенных кирпичом окнах, тяжелые и противотанковые пушки в подвалах, зенитные и даже полевые пушки на крышах и чердаках, автоматы, пулеметы и минометы, глядящие из каждой щели, связки мин и гранат, взрывчатые вещества, заготовленные повсюду: минированные стены и улицы, подземные заводы и укрепления, катакомбы... Да, каждый дом был превращен в огромный и мощный дот. Эти доты связывались во всех направлениях пересекающими город

железнодорожными насыпями, каналами, железобетонными заводскими оградами, оплетенными колючей проволокой парками и бульварами. Доты были усилены уличными лестницами, балюстрадами, туннелями, холмами, древними башнями, средневековыми цитаделями. Их немцы превратили в форты.

Укрепленный таким образом Будапешт представляется в плане огромной паутиной: в центре гнездилище черного паука; радиально расходящиеся от центра главные улицы и другие, пересекающие их концентрическими полукружиями, похожи на нити паутины. Ближе к центру они становятся все более частыми.

Каждая из улиц продуманной системой расставленных на перекрестках за баррикадами огневых средств (танков, самоходных и других орудий) была превращена в пояс обороны. Десантные группы на бронетранспортерах обеспечивали возможность быстрого накопления живой силы на любом из участков города, где возникала угроза прорыва. А подобное паутине расположение улиц также было использовано врагом для усиления борьбы — в своем месте я скажу, как именно.

Наконец, широкий, делящий город на две части Дунай с островами, также превращенными в крепости, стал естественным рубежом на случай глубокого прорыва частей Красной Армии через центр города, а гора Геллерт в Буде позволяла просматривать и обстреливать со своих склонов (опоясанных бронеколпаками и железобетонными дотами) весь распростертый внизу, за Дунаем, Пешт и все окрестности самой Буды.

Почти все дунайские мосты к моменту начала штурма оставались в сохранности, давая возможность врагу маневрировать по ночам своими силами, находящимися на разных сторонах реки.

Окруженная вражеская группировка в начале осады располагала большими силами.

И хотя положение окруженной группировки с момента, когда советские войска замкнули город в кольцо, стало явно безнадежным, сломить врага открытым штурмом было задачей исключительной трудности. Но воины Красной Армии, умудренные опытом уличных боев в родных городах, горящие жаждой быстрейшей победы, решили эту задачу с поистине поразительным умением и самоотверженностью.

В начале штурма исходными позициями для наступающих соединений маршала Малиновского был внешний обвод оборонительных укреплений врага по восточным, северным и южным окраинам города. Штурм начался совместными действиями всех родов оружия, и в день Нового года, проломив этот внешний обвод, наши части заняли двести городских кварталов. Установившаяся, наконец, ясная, солнечная погода стала способствовать действиям нашей штурмовой авиации, которая, проявив

исключительную активность, особенно 2 января, рушила узлы обороны противника перед самыми боевыми порядками наших наступающих подразделений. Сыгравшие огромную роль в прорыве внешних укреплений врага на дальних и ближних подступах к городу, танковые части позже — в условиях уличных боев, где каждой машине пришлось действовать в одиночку (в тесных, забаррикадированных проходах между домами), — уже не могли быть рационально и широко использованы. Ведущая роль при наступлении в самом городе (особенно с момента, когда дуга наступления своими концами уперлась в Дунай и, сжимаясь, стала оттеснять врага с трех сторон к центральным кварталам) была передана другим родам оружия: артиллерии, инженерно-саперным войскам и пехоте, поддерживаемым с воздуха авиацией.

Однако в первые дни штурма танки и в уличных боях были еще необходимы: в эти дни важнейшей задачей было зацепиться за первые городские кварталы, проломить на достаточную глубину оборону врага, закрепить за собой эти кварталы как плацдарм для развития наступления в самом городе. Поэтому танковые подразделения, распределив свои машины по мелким штурмовым группам, состоявшим из саперов и пехотинцев, участвовали в боях. Врываясь в городские улицы, танки быстро продвигались по ним, давя огнем вражескую артиллерию, бившую из подвалов. Саперы штурмовых групп, взрывая баррикады, создавали для танкистов проходы. Стрелки и автоматчики обеспечивали фланги.

Стрельба с закрытых позиций и с дальних дистанций по громадам домов, превращенных в узлы сопротивления, чаще всего не имела смысла. Засевшие в подвалах гитлеровцы располагали достаточно надежными укрытиями.

Поэтому почти вся штурмующая город артиллерия была передвинута в боевые порядки пехоты для стрельбы прямой наводкой. Тяжелые пушки устанавливались на прямую наводку не только рядом с легкой артиллерией, но часто и впереди нее, даже впереди полковых минометов.

— Мы в Будапеште сдружились с минометчиками и полевиками! — смеялись артиллеристы тяжелых систем.

Надо ли говорить о том, какое хладнокровие требовалось от артиллеристов для точной, спокойной стрельбы из огромного орудия, стоявшего без укрытия под пулеметным огнем врага. Из соседних домов, не всегда еще полностью очищенных от затаившихся там врагов, внезапно раздавались автоматные очереди и летели на улицу ручные гранаты. Многие бойцы и офицеры артиллерийских расчетов превращались в рядовых стрелков-пехотинцев, устремлялись в верхние этажи домов и, вступая в рукопашные схватки с фашистами, уничтожали их.

Легкие орудия, быстро выкаченные на перекрестки, вступали в бой с контратакующими нас «тиграми» и «фердинандами», поражали их первыми же точными выстрелами, ибо именно от точности первых выстрелов полностью зависел успех. Подбитые танки, самоходки и бронетранспортеры бывали добиты или сожжены саперами и пехотинцами, а враги после неудачной контратаки на уцелевших машинах или врассыпную поспешно бежали либо сдавались в плен.

В этой грандиозной битве за город бывали случаи, не имевшие примера в истории. Когда бои проходили близ центра города, в районе товарной железнодорожной станции, командир легкого артиллерийского полка поставил перед батареей задачу: пересечь железнодорожную насыпь и поддержать с фронта огнем наступающую пехоту. Насыпь была широкой, по ней проходило несколько рельсовых путей. Единственным проходом через эту укрепленную гитлеровцами насыпь был пересекающий ее туннель. Но этот туннель простреливался тремя станковыми пулеметами противника и одной вражеской пушкой, стрелявшей вдоль туннеля прямой наводкой. Задача казалась невыполнимой. Молодой командир батареи, однако, решил, что невыполнимых задач для советских воинов нет и что нужно проскочить на галопе с одним орудием сквозь туннель и подавить огневые точки противника. Для этого среди подчиненных ему людей должен был найтись человек, способный по первому слову пойти на смерть. Такого человека искать не пришлось. Едва решение было принято, выполнить задачу взялся командир орудия, комсомолец гвардии сержант Муравьев.

Пустив лошадей во весь опор, Муравьев так внезапно и быстро проскочил туннель, что враг, открывший огонь, не успел прицелиться. Миновав сектор обстрела, Муравьев оказался рядом с пушкой врага и, прежде чем она успела перенести огонь, с ходу развернул свое орудие, первыми же выстрелами уничтожил пушку и все три вражеских пулемета. Так Муравьев сразу обеспечил проход по туннелю для остальных орудий батареи. Они пронеслись сквозь туннель на галопе и, открыв огонь по ошеломленному противнику, дали возможность нашей пехоте взять насыпь коротким штурмом. Тут же, во время боя, весь личный состав батареи был представлен к правительственным наградам. Весть о подвиге Муравьева дошла по телефонам до всех соседних подразделений и была восторженно принята видавшими виды воинами, ведущими бой.

Подвигов артиллеристов в битве за Будапешт, конечно, не перечесть.

Исключительную, я бы сказал, роль в штурме Будапешта сыграли и инженерно-саперные части. Для сокрушения обороны врага артиллерия далеко не везде могла быть использована.

Каждую квартиру пушка, естественно, обстрелять не может. А гитлеровцы сопротивлялись именно в каждой квартире, за каждой стеной, в домах, во дворах, в таких порой каменных щелях, куда не затащишь никакую пушку, куда и с винтовкой-то с трудом пролезешь.

В этих условиях множество мелких задач могли выполнить лишь саперы: взорвать подвал, в котором таятся гитлеровцы, блокировать какой-либо укрывший врага каменный мешок, превратив его в западню для немца, создать проход, пропустить сквозь каменную стену пехоту и артиллерию, разминировать грозящее взрывом при первом прикосновении препятствие... Все это было делом саперов, наступавших, как правило, впереди пехоты и артиллерии, а часто действовавших в боях и как рядовые стрелки.

В то время, когда пехотинцы, артиллеристы, саперы и другие наземные части выбивали из рук врага дом за домом, квартал за кварталом и приближались к Дунаю, им неоценимую помощь оказывали летчики штурмовой авиации.

Для того чтобы не причинять лишних бед населению Будапешта рассеянной, неприцельной бомбежкой, чтобы избавить его от лишних жертв, наши тяжелые бомбардировщики на столицу Венгрии не летали. Участие в штурме города повсеместно выпало на долю «ильюшиных», которые, несмотря на сильное противодействие зениток, обрушивали свои бомбы и пушечно-пулеметный огонь точно на заданную цель — сокрушали узлы вражеского сопротивления. Точность в этом деле требовалась необыкновенная. Постоянно бывало так, что бомбить приходилось именно этот, а не соседний дом, потому что соседний уже оказывался захваченным нашими воинами. Ракетами, красными флагами, разработанной системой сигнализации и абсолютно точными указаниями постов наблюдения наземные части предупреждали летчиков о том, как в данный момент разграничивается между ними и врагом поле боя.

Летчики работали порой в небывало трудных условиях. Находили, к примеру, себе взлетные площадки рядом с действующими «катюшами»... Засевший в городе враг простым глазом видел самолеты нашего 131-го штурмового авиаполка, когда они поднимались со старта и когда шли на посадку. В эти моменты он обрушивал на аэродром не только артиллерийский, но и минометный огонь. Снаряды и мины рвались вокруг выруливающих на площадке самолетов. До летчиков на аэродроме доносилась пулеметная и даже ружейная трескотня. Но риск вызывался необходимостью. Находиться именно на этом аэродроме им было нужно потому, что местная погода здесь весьма переменчива и капризна. На протяжении каких-нибудь десяти километров здесь бывает несколько полос разной погоды, и нужно ловить

минуты между туманами, разрывы в низкой облачности. Кроме того, близость цели давала летчикам возможность удвоить количество вылетов и успеть вовремя настигнуть быстро меняющиеся цели...

Среди лучших гвардейцев 131-го штурмового авиаполка — командир эскадрильи старший лейтенант Никитин. Он участник прорыва блокады Ленинграда, не раз бомбивший вражеские укрепления в районе Синявина. Здесь, в Будапеште, он утюжит воздух с рассвета до темноты, на его счету за последний год работы на «илах» больше сотни боевых вылетов. Возвращаясь на аэродром, он вновь поднимает в воздух свою эскадрилью так быстро, что никто из экипажей не успевает поесть, хотя еду подносят к самым машинам. Но никто не ропщет, ведь и Бахирев и Клевцов (да и других немало в полку) тоже ленинградцы, все заражены страстным вдохновением борьбы, как и Никитин...

Были случаи, когда, возвращаясь с последнего вылета, он сажал свои самолеты при свете костров, что тоже дело необычное для «ильюшиных». За это он получил прозвище ночника. Ни он, ни другие эскадрильи части в будапештских боях не имеют потерь, хотя бывало не раз — самолеты, вернувшись с боевого вылета, оказывались иссечены осколками.

Когда наши войска пробились в центр города, приблизились к его деловым кварталам, то здесь, на дугообразных обводных улицах, похожих в плане города на концентрические полукружия паутины, обнаружились новые, дотоле неизвестные нам препятствия. Ими оказались две линии обороны, созданные противником в дни штурма. Первая из них опоясывала центр по дуге, упирающейся концами в крайние мосты, то есть от моста Маргариты по проспектам Липот — Терез — Эржебет — Иожеф — Ференц до моста Хорти. Этот рубеж обороны состоял из каменных минированных баррикад толщиной в два-три метра, высотой от одного до двух метров. На каждом перекрестке были дополнительные баррикады, доты и дзоты. Второй рубеж такого же типа, по внутренней меньшей дуге, проходил по последнему полукольцу улиц — от Цепного моста (Ланцхид) по улицам Кароли-Кироли — Музеум — Вамхаз до моста Франца Иосифа.

Оба рубежа были обильно оснащены проволочными заграждениями, находившимися под током, и обеспечены продуманной системой перекрестного огня из огневых точек, укрытых в каждом доме.

Кроме того, у каждого из дунайских мостов были созданы предмостные укрепления, состоящие из сплошных противотанковых рвов, рельсовых и бетонных надолб, сети проволочных заграждений и минных полей.

Наши части в течение двух дней боев пробили первый рубеж обороны на всем его протяжении и ворвались в деловые квар-

талы города. Гитлеровское командование отдало приказ о переводе главных сил окруженной группировки на западный берег Дуная, оставив на восточном берегу как заслон дивизии СС (22-ю и 8-ю кавалерийские дивизии), венгерские фашистские части и как заградотряды для них некоторое количество немецких эсэсовских войск. Эти части, численностью примерно до двадцати тысяч человек, из которых многие сами себя называли смертниками, получив приказ оказывать последнее отчаянное сопротивление, насытили весь оставшийся в их руках клочок Пешта минами и «сюрпризами», взрывали и уничтожали дома, не считаясь с их исторической или архитектурной ценностью, истребляли жителей города, в фашистской сущности которых не были убеждены, и спешно сколачивали диверсантские группы, коим предписано было скрываться в освобожденных советскими солдатами домах под видом мирного населения, а затем наносить удары с тыла.

Частям, перешедшим на западный берег, был отдан приказ приготовиться к попытке прорыва окружения в направлении на северо-запад, а до того держаться во что бы то ни стало.

Но никакие приказы гитлеровского командования, никакие усилия гитлеровцев предотвратить полное сжатие нами кольца окружения не помогли им.

Уже к 17 января наши войска пробили второй внутренний рубеж и ворвались в главные кварталы центра. Вскоре была взята улица Ваци и другие прибрежные улицы, последние гитлеровцы сброшены с набережной Франца Иосифа в воду и на льдины Дуная, и — это произошло сегодня — Пешт пал!..

На что же, однако, рассчитывало германское верховное командование, требуя от окруженных нами в Будапеште войск держаться до последнего солдата?

Как показали некоторые осведомленные пленные офицеры, гитлеровское командование после провала всех попыток деблокировать свою будапештскую группировку перестало рассчитывать на успех прорыва к Будапешту извне, хотя и собирает сейчас силы для попытки нового серьезного контрудара, который скорее всего окажется еще одной кровавой демонстрацией, нужной Гитлеру для поддержания его престижа.

И рассуждают эти пленные офицеры примерно так: когда уже и в самой Германии всем стало ясно, что этот важнейший стратегический пункт (со всей военной промышленностью Венгрии, со всеми ее серьезными ресурсами, прежде всего с ее прибалатонской нефтью, имеющей огромное значение для господствующего положения фашистской Германии не только на Балканах, но и в Италии, Австрии — центре Южной Европы) Гитлеру удержать в своих руках не удастся, когда гитлеровское командование потеряло последние надежды на возможность прорыва к осажденной

группировке извне,— оно все же решило любой ценой отсрочить падение Будапешта, для того чтобы успеть создать на границе Австрии мощные линии обороны, а тем временем втихомолку вывезти ценности из Вены. Так Гитлер обрек на гибель десятки тысяч своих и венгерских окруженных в Будапеште солдат и офицеров, на беды и несчастья — миллионное население Будапешта, на разрушение — древний и прекрасный город.

Но даже совершением этого исторического преступления Гитлер ничего не отсрочил в губительной для него войне. Пешт пал не через много месяцев осады, как рассчитывало гитлеровское командование, а через восемнадцать дней после начала его штурма нашими войсками. Очередь — за второй половиной города, за Будой, участь которой также давно решена. Буда стиснута тем же кольцом окружения, наши войска штурмуют ее со всех сторон. Гитлеровцам не поможет ничто — ни господствующие горные вершины, и главная из них — естественная цитадель, гора Геллерт, ни разветвленные катакомбы, с давних времен превращающие недра Буды в подобие сот, ни сложнейшая и мощная система укреплений на улицах и в домах города.

И независимо от положения стиснутой Красной Армией Буды венгерские ворота в Вену и в южные районы Германии уже распахнуты нами. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, оставляя Буду в тылу у себя (и быстро сжимая кольцо ее окружения), двинутся вперед к Австрии — по направлениям, избранным нашим Верховным Командованием...

Пешт пал... Я пробираюсь по улицам к парламенту, к набережной Дуная сквозь проломы в кирпичных стенах, по баррикадам, по бульварам с расщепленными деревьями, сквозь хаос битого камня и кирпича, исковерканных сгоревших автомобилей, пушек, всякого лома.

Многие тысячи наших лучших людей сложили свои головы за овладение им ради великой гуманной цели — освобождения венгерского народа от сил зла и тьмы. Мы знаем: немало лишений, страданий, бед выпало на долю гражданского населения. Великое множество венгров не причастно к преступлениям Хорти и Салаши. Красная Армия положила предел господству преступников в Венгрии, и они не ушли от кары.

Красная Армия выполнила завет своей Родины.



«Война в Европе шла к концу. Под ударами Красной Армии и войск союзников рушилась фашистская империя. И все же гитлеровская Германия накануне полного краха оставалась еще сильным и опасным противником... Мобилизуя все ресурсы, тщательно подготовляя оборонительные рубежи восточнее Берлина, гитлеровское командование рассчитывало воспрепятствовать продвижению Красной Армии к Берлину и центральным областям Германии и тем самым выиграть время для вступления в сепаратные переговоры с американским и английским военным командованием».

«Последние дни апреля и начало мая 1945 года — дни решительного штурма Берлина. Созданная самоотверженным трудом советского народа могучая боевая техника в руках отважных воинов делала свое дело... 29 апреля советские воины приблизились к рейхстагу. Штурм рейхстага продолжался два дня».

«День 9 мая стал Днем Победы, великим праздником для всего советского народа, всего прогрессивного человечества».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 607 и 611.

ЕЛЕНА
РЖЕВСКАЯ

ОТ ВАРШАВЫ ДО БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ



1

Утром 17 января 1945 года части нашей армии вслед за 1-й армией Войска Польского, форсировавшей Вислу, вступили в Варшаву. Переживший семьдесят шесть месяцев оккупации город был освобожден. Мне довелось увидеть его в этот исторический день.

Мы выехали из варшавского предместья — Праги, отделенной от города Вислой. Морозный туман стоял над рекой, застилая западный берег. У понтонной переправы часовой в конфедератке тер замерзшие уши. Рухнувшие в Вислу мосты горбатыми глыбами вставали из воды. Польские солдаты выгребали в понтонах воду.

То, что представилось нам на том берегу, никакими словами не передать.

Руины гордого города — трагизм и величие Варшавы — навсегда сохранятся в памяти.

После боев за Варшаву 3-я ударная армия, в штабе которой я была военным переводчиком, развивая успешное наступление, стремительно продвигалась вперед мимо старых распятий, высившихся по сторонам дороги, и деревянных щитов с плакатом: «Дойдем до Берлина!»

Сюда, в Польшу, фашистские вооруженные силы вторглись перед рассветом 1 сентября 1939 года. Осуществив свой первый «блицкриг», немцы отторгли от Польши большую часть ее земель, присоединили к рейху. Оставалась небольшая территория, объявленная немцами генерал-губернаторством со столицей в Кракове.

«Генерал-губернаторство является польским резервом, большим польским рабочим лагерем...» «Суверенность над этой территорией принадлежит фюреру великогерманской империи и от его имени осуществляется генерал-губернатором». Генерал-губернатор Франк заявил: «Если бы я пришел к фюреру и сказал ему: «Мой фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил сто пятьдесят тысяч поляков», то он бы сказал: «Прекрасно, если это было необходимо»». «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» [1] — этот фашистский девиз, окантованный черной рамоч-

[1] «Один народ, одна империя, один фюрер!»

кой, я увидела спустя годы под Краковом, в дежурке барака Освенцима. Какой неотвратимой логикой связаны этот девиз и этот барак!

Через шесть дней после освобождения Варшавы наши части овладели городом Бромбергом (Быдгощ по-польски) и ушли вперед, преследуя отступающего противника. На улицах было необычайно оживленно. Все польское население Быдгоща высыпало из домов. Люди обнимались, плакали, смеялись. И у каждого на груди — красно-белый национальный флажок. Дети бегали взапуски и визжали что есть мочи и приходили в восторг от собственного визга. Многие из них и не знали, что голос их обладает такими замечательными возможностями, а другие, те, что постарше, позабыли об этом за пять мрачных лет гнета, страха, бесправия, когда даже разговаривать громко было не дозволено.

Стоило появиться на улице русскому, как вокруг него немедленно вырастала толпа. В потоках людей, в зоне детских голосов город казался весенним, несмотря на январский холод, на падавший снег.

Вскоре в Быдгощ стали стекаться освобожденные из фашистских лагерей военнопленные: французы в беретах, высокие сухощавые англичане в хаки. Итальянцы, недавние союзники немцев, теперь оказавшиеся тоже за проволокой, сначала держались в стороне ото всех, но и их втянуло в общий праздничный поток.

Заняв мостовые, не сторонясь машин, шли русские и польские солдаты, обнявшись с освобожденными людьми всех национальностей. Вспыхивали песни... Вот пробирается по тротуару слепой старик с двухцветным польским флажком на высокой каракулевой шапке и желтой с черными кружками нарукавной повязкой незрячих. Он вытягивает шею, жадно ловя звуки улицы.

Вот подвыпивший польский солдат ведет под руки двух французских сержантов. А освобожденный из плена американский летчик в защитного цвета робе и без шапки останавливает всех встречных и счастливо, весело смеется.

Праздничной волной нас вынесло снова на простор улицы. Здесь людей объединяло щедрое чувство свободы, и в этот день никому ничего не жаль было друг для друга...

Покидая Быдгощ, чтобы двигаться дальше, мы в последний раз ехали по его нешироким уютным улицам, между старыми домами серого камня.

В белесом свете раннего зимнего утра темнели островерхие крыши костелов.

2

Шоссе на Познань. Бесснежная равнина, разутый мертвый немецкий солдат, вмерзший в землю, павшие кони, белый листопад сброшенных перед наступлением советских листовок, солдатские каски, вороньем темнеющие на поле боя. Ведут пленных. Нарастающий артиллерийский гул. Идет наше войско — вторые, третьи эшелоны.

В чехлах несут знамена. Машины, конные повозки, кареты и пешеходы, пешеходы, пешеходы... Все пришло в движение, бредет по дорогам Польши. Холодно. По бокам дороги деревья с белыми от извести стволами.

В городе Гнезно, в семье электромонтера, мне показали письмо, тайно доставленное из Бреслау: «Чи идон росияне, бо мы ту умерамы» [1].

«Нам придется развивать технику истребления населения,— учил Гитлер своих сообщников.— Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь,— грубо говоря, это моя задача».

Красная Армия идет и вместе с Войском Польским очищает от фашистской оккупации Польшу.

На пути наших войск был открывшийся в те дни миру ад Треблинки, Майданека, Освенцима и сотен других лагерей смерти.

Бойцы взламывали ворота, рубили кабель, гнавший ток по колючей проволоке. То, что открылось за воротами концлагерей, казалось, не может вместить человеческий разум. Сотни тысяч замученных, убитых, задушенных. А тот, кто еще дышал, был обречен на смерть от голода, от телесных и нравственных истязаний.

Рассказывать об этом трудно даже сейчас, спустя годы.

Войска 1-го Белорусского фронта, день ото дня набирая темп, опрокидывают немецкую оборону. Танки вгрызаются в оборонный массив противника и движутся дальше, предоставляя пехоте закреплять успех наступления. Главные ударные силы неотступно преследуют врага, и в прорыв грозной лавиной устремляются войска, расширяя фронт наступления. Противник не выдерживает навязанного ему темпа войны, оставляет города, не успевая разрушить их, кое-где даже бросает невзорванными переправы.

Но чем дальше в глубь Польши, чем ближе к германской границе, тем упорнее сопротивляется фашистская армия.

---

[1] «Идут ли русские, а то мы тут умираем» (польск.).

В оставляемых противником населенных пунктах все чаще можно увидеть громадные буквы на стенах домов — гитлеровское предупреждение о затемнении: «Licht — dein Tod» («Свет — это твоя смерть!») — и устрашающие призывы к борьбе: «Победа или Сибирь!»

Недалеко от Познани мы остановились в пустом, брошенном поспешно немецкой семьей доме. В письменном столе лежала копия документа, который в октябрьскую ночь 1939 года некто Пауль фон Гайденрайх, ворвавшись в сопровождении немецких полицейских в этот благоустроенный особняк, предъявил его владельцу. И тот прочел, что по распоряжению бургомистра ему, польскому архитектору Болеславу Матушевскому, владельцу особняка по бывшей улице Мицкевича, 4, надлежит немедленно вместе с семьей оставить дом. Разрешается взять с собой две смены белья и демисезонное пальто. На сборы отводится 25 минут... Хайль фюрер!

Вот так же завладевали и другие арийцы домами и квартирами поляков.

«Фюрер подчеркнул еще раз, что для поляков должен существовать только один господин — немец: два господина один возле другого не могут и не должны существовать; поэтому должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции. Это звучит жестоко, но таков жизненный закон... Если же поляки поднимутся на более высокую ступень развития, то они перестанут являться рабочей силой, которая нам нужна».

Мы давно уже продвигались по той части польской земли, которую фашисты присоединили к рейху и пытались насильно онемечить.

Форсировав реки Варту и Нетце, войска Чуйкова окружили Познань. Подступы к окраинам преграждало мощное оборонительное кольцо фортов. Атаки разбивались о них. Приходилось блокировать форты и брать их штурмом.

Познань — один из первых польских городов, захваченных фашистами. Сюда в 1939 году вслед за гитлеровскими дивизиями осваивать «провинцию Вартегау» кинулись тысячи предпринимателей, партийных чиновников. Улицы были переименованы, польский язык запрещен, памятники сброшены, костелы опоганены. Поляки были выброшены из всех мало-мальски приличных квартир. У них не было больше ни фабрик, ни магазинов, ни школ, ни личных вещей.

«Я намереваюсь грабить, и грабить эффективно,— объявил Геринг 6 августа 1942 года на совещании рейхскомиссаров оккупированных областей.— Вы должны быть как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, в чем может нуждаться немецкий народ, это должно быть молниеносно извлечено из складов и доставлено сюда».

Так торжествовал тут свою победу дух национал-социализма.

За каждую улицу Познани, за каждый дом, за лестничный пролет бились испытанные в уличных боях сталинградские штурмовые отряды. Помогали пушки, но исход боя решал всякий раз штурм, переходящий порой в рукопашную схватку. Над городом пылало зарево: теряя квартал за кварталом, гитлеровцы жгли и взрывали дома в центре. Теперь в их руках оставалась только познанская цитадель — древнее сооружение, рассчитанное на длительную оборону. Она возвышается над городом, охватывает большую площадь, кажется, два квадратных километра. На подступах к цитадели земля изрыта траншеями, за ними крепостной вал и мощная стена.

Но остальные районы города очищены от оккупантов, и познанские пекари, портные, мясники вынесли на улицы в честь Красной Армии свои цеховые знамена, которые больше пяти лет хранили, рискуя жизнью.

Школьники с трудом втиснулись в свои старые форменные курточки, хотя руки вылезали из рукавов, застежки не сходились. Сердца их переполнялись гордостью: ведь хранение любой формы старой Польши каралось оккупантами.

Вышли на улицы любительские оркестры. Зазвучали национальные мелодии. Оркестрам горячо аплодировали за исполнение, а больше всего за то, что они сохранились: играть им было запрещено, оккупанты боялись солидарности людей, которая возникает под влиянием родной музыки, и жестоко расправлялись с нарушителями. И квартеты, квинтеты, как маленькие подпольные организации, продолжали существовать тайно.

Городской магистрат приступил к работе. Вновь открылись польские школы, учреждения, магазины. А здесь же, на окраине Познани, в цитадели, все еще оставалось десятитысячное войско — остатки познанской группировки. День-другой они пытались обстреливать город, но их орудия подавили наши артиллеристы.

Вскоре о противнике и вовсе стали забывать: в освобожденном городе было не до него. Армия генерала Чуйкова, выделив части для штурма цитадели, ушла дальше.

Войска наступали уже за границами Бранденбурга и Померании.

В сорока километрах от Познани, в местечке, лежащем в стороне от магистралей войны, находится, как мы узнали, лагерь пленных итальянских генералов. Мы выехали туда.

Немецкая охрана лагеря сбежала, а сто шестьдесят никем не охраняемых итальянских генералов продолжали жить в лагере. Еще недавно они воевали против нас; после переворота в Ита-

лии немецкое командование собрало их на мнимое совещание и объявило военнопленными. Теперь они испытывали такую же растерянность, как и итальянские солдаты, освобожденные Красной Армией в Быдгоще. Кто же они — узники немцев или недавние наши враги?

Мы въехали за колючую проволоку. Пустырь. Несколько бараков. Двое распиливают бревно. Подходим ближе. Они бросают пилить, завидя нас, и ждут. Два пожилых, усталых человека; две пары глаз смотрят хмуро, выжидающе.

Здороваемся по-немецки. Один из них, смуглолицый, с резкими складками на лице, в ярком шерстяном шарфе на шее, кивает молча. Другой вступает в разговор. Это зондерфюрер Вальтер Трейблут, немец-переводчик, единственное лицо из лагерной администрации, оставшееся на месте. Он без шапки. У него седая голова, заостренный нос и втянутая внутрь верхняя губа.

Наш полковник обошел бараки в сопровождении Вальтера Трейблута и объявил итальянцам, а зондерфюрер перевел, что они свободны и, как только положение на фронте позволит, им будет оказано содействие в возвращении на родину.

Через некоторое время, когда потеплело, а запасы продовольствия в лагере опустошились и итальянские генералы отправились в путь, мне пришлось еще раз разговаривать с зондерфюрером Вальтером Трейблутом — его задержали ночью в городском сквере, где он спал на скамейке.

Распростившись с итальянскими генералами и не зная, что надлежит ему делать с собой, он отправился в Познань, подошел к дому, в котором прожил несколько лет, убедился, что дом занят польской семьей, жившей здесь прежде и выброшенной отсюда во время оккупации, и, стараясь не навлечь на себя ничей гнев, лег на скамейке в сквере, так как очень устал и был голоден.

Я спросила его, почему он не бежал вместе с администрацией и охраной лагеря. Он пожал плечами и ничего не ответил. Потом рассказал о себе.

Родился он и жил в Ревеле. Владел химической лабораторией по изготовлению предметов парфюмерии, которые продавал через отцовский аптекарский магазин. Путешествуя по Италии, познакомился с дочерью вице-секретаря местечка Домазо на озере Комо. Они были знакомы всего пять дней, и при этом итальянка не знала ни слова по-немецки, а Трейблут владел едва ли больше чем пятью словами по-итальянски. Вернувшись в Ревель, он принялся зубрить итальянский язык, посылал в Домазо множество почтовых открыток и наконец предложил руку и сердце прекрасной итальянке Нереиде Бететти. Свадьба состоялась на озере Комо, и Трейблут увез свою итальянку в Эстонию.

— В немецкой литературе писалось о верности немецких женщин и о легкомыслии, коварстве француженок и итальянок. Но я был очень счастлив в своем браке.

А вскоре началась «репатриация» немцев, и он очутился в Познани, где национал-социализм был представлен в классическом виде. Здесь, например, не хотели зарегистрировать его дочь, так как он назвал ее итальянским именем Фиаметта — «Огонек».

Трейблут замолчал. Серые глаза его были расширены и неподвижны. О семье он ничего не знал, к своей дальнейшей участи был безразличен. Он бесконечно устал от жизни в мире нацизма и войны.

Город Познань оставался в глубоком тылу наступающей армии. Уже форсировали Одер. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова с боями прошли четыреста километров за две недели. Красную Армию отделяют от Берлина шестьдесят километров.

23 февраля познанская цитадель капитулировала. Командующий группировкой Коннель подписал приказ о прекращении сопротивления и застрелился. Многотысячной колонной растянулось по городу пленное войско. Брели во главе с комендантом крепости генерал-майором Маттерном толпы в зеленых шинелях.

В среду 7 марта на площади перед магистратом командующий польским войском принимал парад.

Трибуна вся в зелени. Принесли сбереженное знамя городской управы. По обе стороны знамени шли женщины-ординарцы, опоясанные парчовыми красно-белыми полосами. Пехота в касках, на русском трехгранном штыке — двухцветный флажок. Взвод противотанковых ружей. Взвод автоматчиков — тоже с флажками, за спинами ранцы. Санитар с двумя санитарками замыкают строй. Еще и еще повзводно идут автоматчики, по шесть в ряд. Впереди — командиры с букетами цветов, позади — санитар с санитарками.

Снова взвод автоматчиков, первый ряд — девушки. Показались тачанки. Теперь идет конница — в гривы вплетены двухцветные ленты. Гражданские организации со своими знаменами подходят к трибуне. Промаршировавший с воинской частью оркестр тоже остается у трибуны. Полощутся знамена — красное и бело-красное.

— Нех жие Армия Червона!

— Нех жие! — раздавалось с трибуны.

Ребятишки и взрослые карабкались вверх по телеграфным столбам, на деревья, на ограду костела.

— Нех жие богатерски Познань!

Мелькали над толпой шапки, летели к солдатам букеты оранжерейных цветов.

Командующий Роля-Жимерский встречал марширующие части на мостовой перед трибуной взволнованный, с заткнутым за борт шинели букетом. С ним рядом стоял высокий, сухощавый начальник его штаба. Колыхались знамена. Тут же, у трибуны, молодой человек в поношенном сером пальто подносил к губам микрофон и, снимая шляпу при звуках гимна, вел репортаж.

Последними мимо трибуны прошли, грохоча, шесть танков. И только замер их грохот, над толпой пронесся изумленный, радостный возглас, подхваченный всеми: «Журавли! Журавли прилетели!»

Сняв шапки, закинув головы, люди уставились вверх, где в просветлевшем небе плыли над городом возвращающиеся с юга журавли. Весна!

Когда у костела рассеялась толпа, стали видны братские могилы за оградой.

«Здесь погребен майор Судиловский Иван Фомич, рождения 1923 г., кавалер пяти орденов, павший смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при штурме гор. Познань. 15.02.45 г. Вечная слава герою-штурмовику!»

Мглистой ночью или туманным рассветом, на солнечном дневном припеке или под низкими тучами — всюду, где выпадал привал: на гулких улицах чужих городов, на лесной опушке или в дамбе Одера — бойцы радовались передышке, смеялись, думали о мирной жизни, надеялись вернуться домой с победой.

Шла по земле весна сорок пятого с ее пронзительной вестью о близком конце войны. Талые снега, хлябь, почерневшая кора деревьев, ветер, приносящий запах сырой земли,— все в эти месяцы с особой силой пробуждало тягу к жизни.

А впереди — жестокие бои. Кому-то суждено дойти до Победы, кому-то — сгореть в огне боев.

Два с лишним месяца пробыли мы в Познани, и за это время город менялся на глазах. Прежде всего, он становился весенним. Это было как будто обычным делом природы, но многие наверняка запомнили дружную весну сорок пятого года на Западе, с ее мягкими ветрами, приносящими запахи полей, поднятых свободными польскими крестьянами, с нежной зеленью, с надеждами на мир, на труд.

Город восстанавливался. Он жил еще сурово, но по-весеннему оживленно. Уже висели у домов штукатуры и маляры в сво-

их люльках. Трубочисты в черных цилиндрах и с полной выкладкой разъезжали на велосипедах. Спешили к звонку познанские школьники. Любой их них, с прыгающим ранцем за спиной, повстречавшись, непременно скажет: «Добрый день, пани лейтенант!»

Я жила в трехэтажном доме, в квартире польской семьи Бужинских.

Глава семьи Стефан Бужинский рано поутру, надев узкие брюки и залатанную куртку-спецовку, уходил на работу в депо. Его жена, пани Виктория, портниха по профессии, приобрела в последнее время заказчиц — наших девушек-регулировщиц, проживающих в первом этаже того же дома. Им, стоявшим в эту весну на виду у всей Европы, требовалось тщательно, по фигуре, приладить свои гимнастерки. С утра до вечера, к радости приветливой и общительной пани Виктории, девушки тормошили ее.

Домашним хозяйством в семье занималась в основном дочь Алька. Красивая, медлительная, она небрежно передвигала грубые ветхие стулья и вдруг замирала в глубоком раздумье с тряпкой в руках. Когда случалось при этом заглянуть в ее чудесные синие глаза, поражал контраст флегматичного внешнего облика с тем скрытым темпераментом, который выдавали глаза. Казалось, в душе ее дремлют горячие силы, выжидая своего часа. Чему отдаст их Алька?

Сын пани Виктории, круглолицый подросток с вьющейся шевелюрой, любимец матери, ежедневно, уединясь за перегородкой, играл на скрипке. Его находили музыкально одаренным, и до войны учительница консерватории давала мальчику уроки, а за это пани Бужинская стирала белье учительницы и убирала ее квартиру.

В годы оккупации мальчик мог играть на скрипке лишь тайком от немецкой полиции.

Как-то пани Бужинская поделилась со мной: она надеется, что теперь ее сын будет принят в музыкальное училище.

Отойдя немного от манекена, близоруко щуря усталые светлые глаза, когда-то, наверное, такие же синие, как у Альки, она внимательно изучала вытачки, намеченные на талии гимнастерки и на плече.

Наша 3-я ударная армия генерал-полковника В. И. Кузнецова первой ворвалась в Берлин и завязала уличные бои в северо-восточной части города. Мы с нетерпением ждали разрешения выехать из Познани. Наконец было получено распоряжение всем нам вернуться в свои части.

С этим известием я выскочила на улицу, обогнула наш дом и свернула в ворота. Был поздний вечер. Во дворе чернели силуэты машин. Под одной то вспыхивал, то гас яркий свет фонаря.

Из-под машины высунулась рука с фонарем, потом выполз шофер Сергей в гестаповском мундире, служившем ему спецовкой.

Я сообщила ему, что мы выезжаем в Берлин и что велено к шести утра подготовить машины.

Сергей загасил фонарь, мы молча стояли в темноте.

Кто же в те дни не рвался в Берлин!

На рассвете мы собирались в путь. Сергей бросил прощальный взгляд на старую «эмку», выкрашенную в дрянной, грязный маскировочный цвет, с неизменным красным кантом вдоль кузова и на ободьях колес, который он постоянно подновлял. В этой пробитой пулями измятой машине он проездил четыре года войны.

Сергей вывел на мостовую свое новое детище — трофейный мощный форд-«восьмерку». Он вытащил его из кювета под Познанью и с вдохновением отремонтировал. Свежая черная краска улеглась буграми с серыми просветами, а вдоль кузова и по ободьям колес алела та же фатоватая полоска — знай наших!

Следом на мостовую вышел Ваня — таксомоторщик из Риги, угнанный гитлеровцами на работу в Познань. Он ежился в коротенькой, истлевшей замшевой курточке щеголеватого покроя и одобрительно оглядывал машину.

Отстегнув ремень, Сергей снял флягу со спиртом и отдал ему.

Зажав под мышкой флягу, Ваня-таксомоторщик пригладил рукой редкие желтые волосы и помахал нам на прощание. «Форд» свирепо дернулся, но тут же выровнял ход, пошел плавно. Я сидела за спиной у Сергея. По сторонам улицы клубилась белая пена: цвели яблони. Город просыпался. Регулировщица у городской заставы подала знак, и шлагбаум поплыл вверх. Вышел из дому мальчишка с ранцем на спине, стянул приветственно кепчонку: «День добрый!»

Машина вышла на Берлинское шоссе. Сергей опустил стекло и снял фуражку.

3

За Биринбаумом — контрольно-пропускной пункт, КПП. Большая арка: «Здесь была граница Германии».

Все, кто проезжал в эти дни по Берлинскому шоссе, читали кроме этой еще одну надпись, выведенную кем-то из солдат дегтем на ближайшем от арки полуразрушенном доме,— огромные корявые буквы: «Вот она, проклятая Германия!»

Четыре года шел солдат до этого места.

Поля, поля. Необработанные крестьянские наделы. Перелески, и опять поля, и мельницы на горизонте. Возле уцелевших домов

на шестах, заборах, деревьях вывешены простыни, полотенца — белые флаги капитуляции.

«Мы будем маршировать дальше, когда все падет в развалинах»,— возвещали нацисты в своих песнях так нагло, безоглядно, самоуверенно. Ведь их библия — гитлеровская «Майн Кампф» провозгласила главной задачей «завоевание земель на Востоке» ценой любых жертв, кровопролитий.

«Должна быть установлена диктатура людей высшего порядка над людьми низшего порядка — немцев над другими народами, в первую очередь над русским народом»,— писал теоретик фашизма Розенберг в своей расистской книге «Миф XX столетия».

Мне помнится, в одном населенном пункте под Москвой, откуда только что были выбиты немцы, на площади остался висеть плакат: «Русский должен умереть, чтобы мы жили!»

Теперь война пришла на земли Германии.

«Продолжение войны означает бессмысленное саморазрушение Германии и немецкой народной силы»,— говорилось в обращении антифашистского Национального комитета «Свободная Германия».

Когда Красная Армия подошла к границам Германии, геббельсовская пропаганда винила в этом всех своих европейских союзников. Теперь же власти обрушили репрессии на самих немцев. Предписывалась беспощадная расправа при малейшем проявлении нестойкости.

Гитлер, заверивший немцев в новогоднем приказе, что они вступают в «год исторического поворота», теперь заявил: «Если Германия проиграет войну, немцы не заслуживают того, чтобы жить». Значит, война до самоуничтожения. Вот на что обрекал он своих соотечественников.

Маленький полуразрушенный город. Война уже переместилась отсюда, а здесь приглушенно, едва уловимо пульсирует жизнь. На перекрестке, напротив серого особняка «дахдекермайстера» (кровельщика), на большом плакате парень в дубленом полушубке кричит: «Огонь в логово зверя!»

Город Лансберг. В хлюпнувшем на тротуар бесколесом «оппеле» лазают мальчишки с белыми повязками на рукавах. Наверное, играют в войну. Из окон свешиваются белые простыни. Здесь много жителей, они навьючены тюками, толкают груженые детские коляски и все до одного — и взрослые и дети — с белой повязкой на левом рукаве. Я не представляла себе, что так бывает,— вся страна надевает белые повязки капитуляции — и не помню, чтобы читала о таком.

На уцелевшей улице Театрштрассе — разукрашенная арка «Добро пожаловать!»; это сборный пункт советских граждан, угнанных в фашистскую неволю.

Какие это были незабываемые, щемящие сердце встречи с теми, кому Красная Армия несла избавление!

У шоссе на окраине города пожилой мужчина вскапывал землю. Мы остановились и вошли в дом. Хозяйка, уже привыкшая, должно быть, к таким, как мы, посетителям, предложила нам согреть кофе.

В этом домике, примостившемся у дороги войны, была уютнейшая, сверкающая чистотой кухня. На полках — строй пивных кружек. Топорщились фаянсовые юбки лукавой тетушки, присевшей на буфете. Эта веселая безделушка подарена хозяйке на свадьбу тридцать два года назад. Пробушевали две страшные войны, но цела фаянсовая тетушка с надписью на фартуке: «Кофе и пиво — вот что любо мне».

Мы вышли из дому. Муж хозяйки сажал в разрыхленную землю семена цветов. Он из года в год выращивает цветы на продажу. Мимо шли бронетранспортеры. Лязгали гусеницы...

Мальчишки в нарукавных белых тряпицах возили друг друга в тачке. Паренек в солдатском свитере болотного цвета насаживал лопату на черенок.

В небе висел немецкий разведчик — «рама». А на развилке ВАД [1] уже соорудил павильон для тех, кто передвигается по Германии на попутных машинах, и строго извещал: «За езду по левой стороне водитель лишается прав». Смешно и мило. От этого предупреждения веяло непривычным бытом, резонными установлениями другого мира — мира, где нет войны.

На придорожных плакатах — призыв: «Вперед, победа близка!» Победу предстоит добыть в последних боях за Берлин.

Мимо кавалерийского полка, размещенного в прилегающей к шоссе деревне, мимо танковой бригады — резерва командующего, обгоняя тяжело груженные боеприпасами машины, мы въехали в Кюстрин. Город на Одере, безлюдный, разваленный. «Ключ Берлина» называли его немцы.

С трудом пробравшись среди загромождавших улицы камней, покореженной, обгоревшей арматуры, раскрошенной черепицы, в поисках выезда из города наша машина влетела на площадь. Большая площадь была теперь кладбищем окружавших ее прежде зданий. Мрачными глыбами камня надвигались они отовсюду. Ветер шевелил сорванное кровельное железо, валявшееся на земле. Стонали повисшие балки. Из проломов стен сыпалась каменная пыль. А посреди площади — чудом уцелевший памятник с бронзовой птицей вверху.

Боже мой, до чего же одиноко тут! И эта птица, нелепая, глупая, заносчивая, одна-одинешенька на страшном каменном пустыре...

---

[1] Военно-автомобильная дорога.

Опять на шоссе. И опять поля и перелески и на горизонте встают мельницы. Мечутся по полю некормленные, одичавшие свиньи.

Взорваны отходившим противником мосты, разрушены грунтовые шоссе, завалены разбитой техникой. Но идут с грузом автомашины, наматываются на колеса сотни километров трудного пути в глубь Германии.

Чего только не изведал фронтовой водитель, по какому только бездорожью не тянул свой груз, на каких только переправах не тонул, в каких болотах не топ, от скольких бомб, снарядов, мин он увернулся, чтобы на машине, изрешеченной пулями и осколками, прибыть сюда — участвовать в последнем сражении!

Спустились сумерки, и движение на шоссе заметно усилилось. Двигались автомашины с прицепами, танки, «виллисы», пушки на самоходной тяге, конные обозы, пехота на машинах и в пешем строю. На стволах орудий, на башнях танков, на бортах грузовиков, на повозках мелькают надписи: «Даешь Берлин!»

За неделю до нападения на Советский Союз Гитлер в беседе с Геббельсом сказал ему, а тот записал в своем дневнике, найденном нами потом в подземелье имперской канцелярии: он рассчитывает закончить восточный поход в четыре месяца, «пример с Наполеоном не повторится».

Но слова Энгельса: «Наполеон пришел в Россию и тем самым привел русских в Париж» — верны и в другую историческую эпоху: Гитлер пришел в Россию и привел русских в Берлин.

И на путях войны, устремленных теперь к германской столице, служба ВАД оповещала всех движущихся об оставшихся до Берлина километрах.

Совсем стемнело, а движение все усиливалось. Ведь ночи короткие, надо успеть передвинуться. Ехали медленно, не зажигая фар, сбиваясь в пробку. Постреливали зенитки. С проселков подтягивались к шоссе пушки, танки, пехота.

Машины двигались по нескольку в ряд, съезжали и шли целиной по сторонам дороги. И все лязгало, громыхало, истошно сигналило, норовя обогнать идущих впереди.

К ночи мы прибыли на окраину Берлина.

Центр Берлина горел, и огромные языки огня полыхали в небе. Многоэтажные дома, казалось, стоят совсем неподалеку, хотя на самом деле до них было несколько километров. Широкие снопы прожекторов полосовали небо. Глухой рокот нестихающей артиллерийской канонады докатывался сюда. Здесь, в

пригороде, еще стояли ощетинившиеся противотанковые надолбы врага, а наши танки уже рвались к центру.

Этой же ночью в подземелье имперской канцелярии венчался Гитлер. Когда впоследствии я узнала об этом, мне вспомнилось, как рушились стены выгоревших зданий, запах пожарищ, угрюмые надолбы, не могущие уже ни от чего защитить, и в темноте неумолимый гул танков, рвущихся к центру — к рейхстагу, к имперской канцелярии.

Я сидела на улице предместья на валявшейся пустой канистре у заколоченной витрины, под золотыми буквами вывески кондитерской, ожидая, пока выяснится в штабе, где следует нам располагаться.

Передний край проходил в эту ночь по центру Берлина. То и дело сверкали артиллерийские вспышки. Небо было усеяно звездами.

Я вспомнила переправы под Смоленском в сорок третьем году, когда голодные лошади отказывались тянуть артиллерию и вконец измученные люди вынуждены были сами толкать орудия под ураганным обстрелом врага. И кинооператора Ивана Ивановича Сокольникова, с риском для жизни «крутившего» тут же хронику. Кроме материала в очередной номер киножурнала часть отпущенной ему пленки Сокольников должен был израсходовать для так называемой «исторической фильмотеки», которая сохранит для потомков трагический лик. И он снимал переправу, бойцов, надрывающихся под тяжестью орудий...

А когда половодье отрезало передовые части от тылов и в продолжавших продвигаться частях иссякал запас продовольствия, Сокольников снимал сброшенные с самолета мешки с сухарями, которые, ударяясь о землю, столбом пыли взвивались вверх на глазах у голодных бойцов, а мешки, благополучно приземлившиеся, грузили в волокуши, и упряжки собак, обычно вывозившие в этих лодочках раненых с поля боя, тянули на передовую бесценный груз. В ушах звенело от собачьих стенаний, но что было делать: никакой другой транспорт и вовсе не прошел бы по топи.

В памяти застрял «кадр», который не вошел ни в киножурнал, ни в «историческую фильмотеку»: той же весной, только ранее, когда по талому снегу еще проходил санный, но до чего же тяжелый путь, у такой вот дороги сидел на розвальнях боец-ездовой. Лошадь его упала. Ездовой выпряг ее, не гляда на лошадь, отвернул оглоблю, повесил на нее котелок со снегом, развел небольшой костер. Строжайший приказ — беречь лошадей до последней возможности. Но на этот раз беднягу не поднять.

Закипает желтая вода в котелке, а лошадь обреченно моргает глазом. Ездовой хмуро ждет.

Дошел ли этот человек до Берлина? Привести бы сюда сейчас всех, кто принял солдатскую муку, бедовал от голода, холода, ранений и страха, воскресить тех, кто отдал жизнь,— пусть бы поглядели они, какой грозной силой пришла их армия в логово врага.

Уже три дня Берлин полностью окружен. В тяжелых боях, взламывая оборону одного района города за другим, войска 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, 5-й ударной армии генерал-полковника Берзарина и 8-й гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова продвигались к центру: к Тиргартену, к Унтер-ден-Линден, к правительственному кварталу. Советским комендантом Берлина генерал-полковником Берзариным уже издан приказ о роспуске национал-социалистской партии и о запрещении ее деятельности.

Под горящими, рассыпающимися домами в подвалах страдали и гибли жители Берлина. Плохо с водой, иссякают скудные запасы продовольствия.

На поверхности — несмолкаемая стрельба, взрывы снарядов, летящие в воздух обломки зданий, гарь, дым пожарищ, удушье. Положение населения отчаянное.

В этих обстоятельствах, когда исход был так очевиден, каждый час продления этой бессмысленной борьбы — преступление.

Позже в убежище под имперской канцелярией я читала бумаги, адресованные в последние дни Борману, и среди них запрос руководителя одного из городских округов: «Что будет с продовольствием? Люди не выходят больше из подвалов, лишены воды и не могут ничего сготовить».

Эти запросы не принимались в расчет, к ним оставались глухи. Нет ни одного свидетельства, ни одного запечатленного слова из которого можно было бы заключить, что в дни величайшей катастрофы немецкого народа виновники всех его бед хоть на минуту задумались о том, что сейчас переживает народ, испытали хоть каплю ответственности перед ним.

Город был брошен властями на произвол судьбы. Даже дети не были вывезены из Берлина.

Рушились дома, сгорали охваченные пожаром продовольственные склады.

Недельная норма снабжения населения сократилась до 800 граммов хлеба, столько же картофеля, 150 граммов мяса и 75 граммов жиров.

В эти дни Гитлер, готовый мстить немецкому народу за свое поражение, отдает министру вооружения Шпееру распоряжение: «Нет необходимости считаться с тем, в чем нуждается народ для примитивной дальнейшей жизни. Напротив, лучше эти средства самим уничтожить, так как немецкий народ доказал

свое бессилие... Кроме того, после поражения остаются лишь неполноценные...»

Каковы же планы немецкой стороны в эти дни?

Лишь позже, когда уже все было кончено, можно было доискиваться ответа на этот вопрос.

Взятый в плен 2 мая в пивоварне Шультхайс адъютант Гитлера штурмбанфюрер СС Отто Гюнше письменно ответил на него таким образом.

22 апреля, когда артиллерийские снаряды рвались в центре Берлина, в 16.30 состоялось совещание верховного командования во главе с Гитлером.

«Фюрер имел в виду осуществить наступление 9-й армии в северо-западном направлении и наступление армейской группы генерала войск СС Штейнера в южном направлении, он рассчитывал отбросить прорывающиеся, по его мнению, слабые русские силы, достигнуть нашими главными силами Берлина и этим создать новый фронт...

После того как начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Кребс доложил о прорыве больших русских сил на фронте южнее Штеттина, для фюрера должно было быть ясным, что теперь невозможно создать вышеназванный фронт... Однако, несмотря на это, было приказано 9-й, 12-й армиям и армейской группе Штейнера перейти в наступление на Берлин».

Гюнше писал это на шестой день после капитуляции, еще по свежим следам событий.

«26.4.45 г. перестали действовать последние линии телефонной связи, соединяющие город с внешним миром. Связь поддерживалась только при помощи радио, однако в результате беспрерывного обстрела антенны были повреждены, точнее, полностью вышли из строя. Донесения о продвижении или о ходе наступления вышеназванных трех армий поступали в ограниченном количестве, чаще всего они доставлялись в Берлин кружным путем. 28.4.45 г. генерал-фельдмаршал Кейтель донес следующее:

1. Наступление 9-й и 12-й армий вследствие сильного контрнаступления русских сил захлебнулось, дальнейшее проведение наступления более невозможно.

2. Армейская группа генерала войск СС Штейнера до сих пор не прибыла.

После этого всем стало ясно, что этим судьба Берлина была решена».

Но замкнутым в кольце окружения немецким войскам продолжали подбрасывать тюки с геббельсовской газетой «Бронированный медведь» (медведь — герб Берлина) и листками — обманывающими, льстящими и угрожающими.

17-1607

Вот один из последних, датированный 27 апреля, геббельсовский «Берлинский фронтовой листок»:

«Браво вам, берлинцы!

Берлин останется немецким! Фюрер заявил это миру, и вы, берлинцы, заботитесь о том, чтобы его слово оставалось истиной. Браво, берлинцы! Ваше поведение образцово! Дальше так же мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда разобьются о вас штурмовые волны большевиков... Вы выстоите, берлинцы, подмога движется!»

Этот листок попал к нам 29 апреля уже неподалеку от Потсдамской площади.

Огонь тотальной войны, кромсавший чужеземные города, свирепствовал теперь в Берлине. Рушился старый город, безоглядно, бессмысленно обреченный нацистскими властями на страдания.

Берлин. Огромный, незнакомый нам город. Дым пожаров застилал его очертания, кварталы развалин исказили облик.

Есть строки Бертольда Брехта, написанные с болью и гневом:

Это те города, где мы наш «хайль!»
ревели в честь разрушителей мира.
И наши города теперь всего лишь часть
Всех городов, разрушенных нами.

Без малого шесть лет назад отсюда началось преступное, невиданное по жестокости нашествие на Европу. Война вернулась сюда. Здесь ей суждено было кончиться.

Мы получили указание отправиться в район, откуда войска нашей армии — 3-й ударной — наступают в направлении Потсдамской площади.

Ранним утром 29 апреля мы миновали на вездеходе одну, потом другую баррикады в том месте, где они были разворочены, подмяты танками, пробирались среди искромсанных рельсов, бревен, орудий. Переехали через противотанковый ров, засыпанный обломками зданий, пустыми бочками. Дома пошли гуще. Но большей частью это были не дома, а памятники боев двухдневной давности, то укороченные на несколько этажей, то с одной лишь закопченной стеной, словно забывшей рухнуть. Кое-где танки проложили себе путь через завалы, и по гусеничному следу на эту танковую дорогу сворачивали машины, которых становилось все больше и больше.

Движением на улицах Берлина командовали смоленские, калининские, рязанские девчата в складно сидящих гимнастерках, перешитых, должно быть, у пани Бужинской в Познани. Машина стала. Дальше проезда не было.

Навстречу продвигались группки французов со своими тележками с поклажей и флагом Франции у борта, маневрируя среди нагромождений кирпичного крошева, железного лома, щебня. Не останавливаясь, мы помахали друг другу руками.

Чем ближе к центру, тем плотнее воздух. Кто был в те дни в Берлине, помнит этот едкий и мглистый от гари и каменной пыли воздух, хруст песка на зубах.

Мы пробирались за стенами разрушенных домов. Пожары никто не тушил, стены дымились, и декоративные ползучие деревья обхватывали их обгорелыми лапами.

Ныряя из подвала в подвал, мы встречались с немецкими семьями. Нас спрашивали об одном и том же: «Скоро ли конец этому кошмару?»

Гитлер заявил: «Если война будет проиграна, немецкая нация должна исчезнуть». Но люди вопреки его воле не хотели исчезать. Из оконных проемов, с карнизов свешивались белые простыни, наволочки. За них по приказу Гиммлера все мужчины, проживающие в доме, подлежали расстрелу.

Ориентироваться по плану города стало очень трудно. Русские указатели уже кончились, немецкие же большей частью исчезли вместе со стенами, и за разъяснением мы обращались к встречавшимся на улицах жителям, перетаскивающим куда-то свои пожитки.

Связисты мелькали в проломах стен — тянули провод. Везли на повозке сено, и усатый гвардеец-ездовой жевал сухую травинку. И такие же травинки сыпались с повозки на берлинскую покореженную мостовую. Саперам, великим труженикам, по-прежнему невозможно было ошибиться дважды. Прошла группа бойцов с автоматами, среди них один с забинтованной головой. Только бы не отстать, не выйти из строя.

У переходящей улицу пожилой женщины с непокрытой головой рука была обмотана заметной издалека белой повязкой. Женщина вела за руки малолетних детей — мальчика и девочку. У них обоих, аккуратно причесанных, были пришиты повыше локтя белые повязки. Проходя мимо нас, женщина громко заговорила, не заботясь, понимают ли ее:

— Это сироты. Наш дом разбомбили. Я перевожу их на другое место. Это сироты... наш дом разбомбили...

Из подворотни вышел мужчина в черной шляпе. Увидев нас, остановился, протянул руку с маленьким свертком в пергаментной бумаге. Развернул — пожелтевшая коробочка. Открыл крышку.

— «Л'Ориган Коти», фрейлейн офицер. Прошу пачку табаку в обмен.

Постоял, спрятал сверток в карман длиннополого пальто и побрел.

Дальше улицы были совсем пустынны. Запомнилось: тумба, оклеенная афишами, шифоновые занавески, как белые руки, протянутые из проема окна, привалившийся к дому автобус с рекламой на крыше — огромной туфлей из папье-маше — и на стенах категорические заверения Геббельса в том, что русские не войдут в Берлин.

Теперь все чаще — мертвые кварталы сплошных руин. Дышалось еще тяжелее. Пыль и дым застилали нам путь. Здесь на каждом шагу подстерегала пуля. Шел ожесточенный бой уже в правительственном квартале.

Нас вел присланный за нами боец Курков. Вместе с ним когда-то под Ржевом мы благополучно выскочили из немецкого мешка, горло которого затягивалось со страшной стремительностью.

О себе Курков обычно говорил: «Я на золоте вырос». Он любил рассказывать про свои дела на уральском прииске. Рассказывал, бахвалясь, как привезли на прииск новую машину и — не то что-то испортилось, не то просто чтобы запустить ее — понадобилось влезть на самую верхушку машины. Кто вызовется? Ясно, Курков. «Лезу — высоко, глядеть вниз противно. А внизу жинка стоит, в лице кровинки нет».

О жене Курков рассказывал, тоже бахвалясь, что чуть ли не пятнадцать лет ей было, когда замуж взял. Изображал все так, словно он гроза у себя в доме, а сам писал жене нежнейшие письма и покупал в военторге какие-то ленточки и открытки. «Жена,— рассказывал,— когда первую дочку носила, на улицу выходить стеснялась, очень молода была. А когда пришел час ей родить, за мою шею ухватилась — хрустит шея. Ну, думаю, выдержу, тебе хуже терпеть приходится».

У меня сохранились письма, которые Курков получал из дома, с Урала.

«Добрый вечер, веселая минута, здравствуй, мой дорогой муж Николай Павлович. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, а главное, в ваших боевых успехах. Коля, еще шлют тебе привет ваши милые дочери Галя и Люда».

Жена писала Куркову обстоятельно и просто. И в том, как она оберегала его от всех своих тягот и переживаний, видна была верная и добрая душа. Если и сообщит что-либо тяжелое, так и то уже миновавшее: «Коля, Люда у нас очень болела, а теперь опять бойкая». И ни стона, ни жалобы, ни просто вздоха. «Коля, мы время проводим быстро. Сначала дрова рубили, потом в огороде копали».

Письма заканчивались почти одинаково: «Пиши, Коля, чаще. Письма редко ходят. Когда письмо придет, мы очень рады и благодарим вас за письмо. Коля, пока до свиданья, остаемся

живы, здоровы, того и вам желаем. Целуем мы вас 99 раз, еще бы раз, да далеко от вас».

Курков участвовал в штурме имперской канцелярии, одним из первых ворвался в здание и был смертельно ранен эсэсовцем из личной охраны Гитлера. Это произошло, когда над рейхстагом уже был водружен красный флаг.

Река Шпрее. К этому последнему водному рубежу вели пути из-под Москвы, с Волги, с Кавказа, с Ладожского озера.

Сколько раз в самые ненастные дни войны бойцы твердили: мы еще дойдем до Берлина, мы еще поглядим, что это за речка такая — Шпрее!

Свершилось.

Извилистая, с высокими берегами, Шпрее, как и другие реки, каналы, озера в городе, осложняла продвижение наступающих частей. Пороховая мгла, дым и пыль плотной завесой стояли над рекой, причудливо подсвеченной отблесками пожаров.

А там, за Шпрее, находился правительственный квартал — девятый особый сектор обороны, где шли тяжелые бои.

Гитлер велел передать по радио, что он — в столице, в расчете, что солдаты будут упорнее оборонять город.

В этот же день, 23 апреля, в немецких частях, а вслед за тем в газетах появился его призыв — последнее гласное высказывание фюрера:

«Запомните:

Каждый, кто пропагандирует или даже просто одобряет распоряжения, ослабляющие нашу стойкость, является предателем! Он немедленно подлежит расстрелу или повешению!..

Адольф Гитлер»

По мере того как положение ухудшалось, в лексиконе Гитлера оставались лишь эти, обугленные от ненависти, слова, призывающие к расправе: изменник! расстрелять! повесить!

Генералов, чьи части под натиском советских войск отступали, казнили по приказу Гитлера во дворе имперской канцелярии.

Скоротечная, беспощадная расправа эсэсовских молодчиков поджидала каждого немца, заподозренного в том, что он недостаточно проникся фанатизмом и слепой верой в победу немецкой армии.

«Речь идет вовсе не о том, чтобы каждый защитник германской столицы во всех тонкостях овладел техникой военного дела, а прежде всего, чтобы каждый боец проникнут фанатической волей и стремлением к борьбе»,— гласил приказ об обороне Берлина.

В Берлинском архиве есть письменные свидетельства очевидцев: «Как рабски и подло «маленькие гитлеры» вели себя во

исполнение жуткого приказа фюрера, может подтвердить каждый пассажир метро или надземки или прохожий, шедший 23.4. мимо вокзала Фридрихштрассе. Там два юных немецких военнослужащих были повешены на решетке магазина с помощью новехонькой пеньковой веревки...»

Другой очевидец, двенадцатилетний Г. Лейпнер, записал: «...Они плелись с бляхой на шее: «Я — дезертир» — к следующей баррикаде, чтобы быть там повешенными. Эти солдаты будто бы рассуждали вслух, как бессмысленна борьба, и их предали нацистские приверженцы».

В эти дни в городе появились антифашистские листовки:

«Берлинцы! Неужели наш город должен полностью подвергнуться разрушению?

Неужели все мы должны умереть с голоду?

Нет! Есть дорога к спасению!

Долой Гитлера и его нацистскую банду!

Фольксштурм! Поверните оружие против Гитлера!..»

Днем 29 апреля мне пришлось переводить показания пленных в подвале дома неподалеку от Потсдамской площади. Здесь находились женщина с сыном, девушка в лыжном костюме и семья портного.

Несмолкаемый гул сражения приглушенно доносился в подвал. Иногда мы ощущали толчки, как при землетрясении.

Портной, пожилой человек, почти не вставал со стула. Он часто доставал карманные часы, подолгу рассматривал их, и все невольно следили за ним. Его взрослый сын-калека, перенесший детский паралич, сидел у ног отца, положив ему на колени голову. А старшая дочь либо спала, либо металась в тревоге: ее муж, фольксштурмовец, был наверху, на улицах Берлина. Среди этих растерянных, измученных людей только жена портного была все время чем-то занята — несла свои материнские обязанности, которые не может прервать ни война, ни страх смерти. В положенное время она стелила на коленях салфетку и раскладывала крохотные кусочки хлеба с мармеладом.

Молодая женщина с худым мальчиком и девушка в лыжном костюме были «беженцами» — пришельцами из другого подвала. Они старались занимать поменьше места. Женщина время от времени принималась громко рассказывать о себе: она жена пожарника, мобилизованного на фронт. Два года ждала мужа в отпуск домой и составила список, что он должен был сделать в квартире: сменить дверную ручку, наладить шпингалеты и т. д. А теперь их дом сгорел. Мальчик болезненно морщился: ему, видимо, тяжело было в который уже раз слушать рассказы матери. Девушка была в грубых ботинках, с рюкзаком за спиной, который она не решалась снять. Ее, некрасивую, угловатую, никто не расспрашивал, кто она, откуда.

Здесь же сидели пленные, дожидавшиеся вызова на допрос. Немолодой немецкий лейтенант сказал мне тихо:

— Полдня сегодня я сижу с какими-то цивильными,— он имел в виду общество обитателей подвала.— Не знаю, известно ли это вам.

— Что ж поделаешь.

— Нет, пожалуйста, если это порядочные люди, я не возражаю.

Нас интересовало одно: где Гитлер? Он не мог на это ответить, но хотел выговориться и начал издалека, поднявшись со стула и выпрямившись:

— Наш враг номер один была Англия, враг номер два — Россия. Чтобы разгромить Англию, мы должны были сначала покончить с Россией...

Голос его сорвался, ему трудно было продолжать.

— Боже мой!..— сказал он и закрыл лицо руками.

Сдавшийся в плен шахтер из Эльзаса хмуро просил доверить ему оружие.

— Пусть в последние часы,— говорил он.— За все! — И, отвернув рукав, показывал татуировку — крест, подтверждающий его эльзасское происхождение.

Рассвет. Улицы после боя. Убитый немецкий солдат. Разнесенные снарядами витрины, проломы в стенах, уводящие куда-то в темную глубину обезлюдевшего дома.

Ветер метет по торцовой мостовой сор, каменное крошево. У дома — наши солдаты. Кто-то спит на боку, поджав под себя колени, под голову положив обломок двери. Кто-то перематывает обмотки.

Последние минуты перед еще одним днем штурма...

...Если б можно было тогда перенестись на много лет вперед, в тот день, когда я вновь попала в Берлин, я бы ощутила, как отрадно бродить по Берлину, когда под ногами хрустят не осколки стекла и кирпичного крошева, а осенние листья, когда не трассирующие пули проносятся над улицей, а цветные огоньки рекламы выбивают букву за буквой: «Куда пойти в Берлине? В театр, в театр». Когда-то к Шлоссбрюке, этому мосту, на пункт сбора, генерал Монк сзывал под штандарты СС на защиту фюрера,— теперь неизменно, в любую погоду, рыболовы, припав к чугунному парапету, неотрывно смотрят на поплавок, а за спиной у них тарахтит городской транспорт и вьется пестрая уличная канитель.

В вагонах деятельной надземки Карлхорст рекламирует забеги на ипподроме, торговые фирмы — модные силуэты, а сидящий напротив меня паренек начертал на крышке своего чемоданчика: «Я люблю Монику». Вот так-то. Просто и без затей.

В воскресные дни деятельная уличная жизнь современного Берлина замирает. Гаснут светофоры, исчезают регулировщики. Подъемные краны не снуют над котлованами, над каркасами возводимых домов.

Здесь, в центре, как возвестил Гиммлер, нацисты намеревались после победоносной войны с Советским Союзом соорудить невиданных размеров здание, призванное своим великолепием посрамить тщеславные потуги всех прежних фараонов, возводивших себе при жизни гробницы.

Загодя планировались феерические почести, которыми будет обставлена смерть фюрера. Его посмертное величие должно было укреплять здравствующую фашистскую диктатуру, олицетворенную в нем, сулить такие могучие плоды военных побед, что принесут повсеместное господство немцев на обширных пространствах нашей планеты «от Урала до Северного моря, от Ледовитого океана до Средиземного моря».

Сколь иными были и церемониал кончины Гитлера, и итоги жесточайших кровопролитий!

На площади Академии, известной издавна под прежним своим названием Жандарменмаркт (здесь в старое время были казармы жандармов), еще видны увечья войны. Но колдуют подъемные краны, восстанавливая тут здание театра. Еще немного, и трагический лик войны скроет деятельная повседневность.

По сторонам площади друг против друга стоят две церкви — архитектурные близнецы. Та, что справа, воздвигнута в 1700 году потомками бежавших от резни варфоломеевской ночи гугенотов, искавших в Берлине прибежище. Ее немецкое повторение появилось спустя пять лет на противоположном краю площади. Потом, уже в другом столетии, знаменитый архитектор Шинкель возвел в классических формах театр, объединившийся со стоящими по сторонам от него церквами в единый ансамбль.

Потом, еще через сто лет, была война, изувечившая и церкви, и театр.

Берлинская достопримечательность — брахиозавр, давний экспонат музея палеонтологии, сумел как-то пережить войну. Возраст у него почтенный — 125 миллионов лет. С точки зрения этой окаменелости 10—12 дней, которые длился штурм Берлина,— затерявшаяся в вечности такая малость, что ее ни вычислить не возможно, ни выразить языком времени. Но единица времени, наверное, нечто иное, нежели только протяженность его.

Трагический сплав победы и поражения, торжества и расплаты, конца и начала. Часы человечества отстукивали тогда не время протяженностью в 10—12 дней — историю. И на нынешних улицах в энергичной толпе, спешащей по своим делам, мне все слышится тот взволнованный ход их.

Мне видится весенний рассвет, серо-черный от гари и пыли, узкая, кривоколенная улица после боя, дым, плывущий и понизу и верхом, убитый немецкий парень в распахнутом кителе, раскинувшийся на мелком торце мостовой. Наш боец в сползшей на глаза пилотке, спящий сидя под черной стеной выгоревшего дома. Лошадь, сорвавшаяся с привязи, шарахаясь и слепо тычась в каменные стены, бредущая из глубины улицы.

Громада чужого города. Повсюду баррикады, противотанковые заслоны, рвы и завалы. Лабиринты улиц. Хаос развалин. Горящие, рушащиеся дома и дома, из окон которых противник ведет огонь.

В невероятно тяжелых условиях шли бои в центре города. На войне, как известно, до смерти «четыре шага». Пуля не различает правого от виноватого, победителя от побежденного.

С каким незабвенным мужеством, самоотречением поднимались навстречу ей наши солдаты в тяжелые годины, когда смерть не награждалась победой! Но есть особая печаль и скорбь в гибели, когда — «четыре шага» до Победы. Ведь в Берлин дошли люди, испытавшие все: боль и ненависть, гнет поражения и самоотверженность, безысходность окружения, отчаяние плена и ярость атак, воодушевление побед на полях сражений от Волги до Шпрее.

Днем и ночью, нарастая, идет бой. Берлинский гарнизон, эсэсовские полки, войска, отступающие с Одера, из Кюстрина, войска, снятые с Эльбы,— все стянуты сюда, стоять насмерть у стен «канцелярии фюрера». Как сократилась линия германского фронта! Теперь она опоясывает правительственный квартал, где имперская канцелярия — последнее убежище фашизма.

Был вечер 2 мая. Уже несколько часов, как гарнизон Берлина прекратил сопротивление. Сдача оружия, начатая в три часа дня, еще продолжалась. Площадь возле ратуши была загромождена сваленными автоматами, винтовками, пулеметами. На улицах — брошенные немецкие орудия с уткнувшимися в землю стволами. Моросил дождь.

Под триумфальной аркой Бранденбургских ворот, над которыми развевался красный флаг, брели разбитые на Волге, на Днепре, на Дунае, Висле и Одере германские части. У многих солдат на головах нелепые теперь каски. Шли измученные, обманутые, с почерневшими лицами, кто сокрушенно, сгорбившись, кто с явным облегчением, а чаще всего в состоянии полной подавленности и безразличия.

Еще не потушены пожары. Горит Берлин. Дядька-ездовой нахлестывает лошадь, и дымящаяся кухня подпрыгивает, перебираясь через завалы. На врытом в мостовую немецком танке отдыхают бойцы, сидят на башне, на стволах пушек, поют, крутят цигарки. Перекур.

Войска под командованием маршала Жукова овладели германской столицей.

Уже не дымят больше наши солдатские кухни на берлинских улицах. Рядом с девушкой-регулировщицей стоит теперь на перекрестках огромный немецкий полицейский в белом балахоне.

Двадцать дней развевалось над рейхстагом водруженное под огнем знамя, а затем как драгоценная реликвия было отправлено в Москву.

Покончено с Гитлером. Изувеченный огнем труп, наскоро забросанный землей и мусором. История свершила в этот час свой грозный и справедливый суд.

Покончено с Гитлером. Больше нельзя жить по-старому. Надо искать новые пути.

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

У ПОРОГА ПОБЕДЫ



1

На войне даже мимолетное знакомство оставляет иногда в памяти глубокий след. При второй встрече люди ведут себя как старые знакомые, а если им доведется столкнуться на фронтовой дороге в третий раз, они — закадычные друзья, у которых есть что вспомнить, о чем поговорить.

Случай в третий раз свел меня с Алексеем Захаровичем Кузовлевым в октябрьский вечер.

В ненастье, когда тучи висят так низко, что, кажется, задевают за верхушку остроконечной кирхи, можно не бояться самолетов и жечь костер в свое удовольствие.

— Осторожничать тоже нужно с умом,— говорит Алексей Захарович. На лице его играют отсветы костра, он ухмыляется и лукаво подмигивает.— Мы теперь ученые. Раз погода нелетная, нам в немецкой сырости сидеть ни к чему. Тем более дрова — бесплатные. Нет, не думал я, не надеялся сушить портянки в Восточной Пруссии. А вот — дошел. Подумать только, где встретились!

Рядом с Кузовлевым, протянув ноги к огню, тесно сидят и лежат солдаты. Иные дремлют, настигнутые усталостью. Кто-то встает, уходит в темноту и вскоре возвращается с охапкой головешек от сожженного немецкого дома. Им не суждено было сгореть дотла во время пожара, и они догорают теперь в солдатском костре.

Впервые я увидел Кузовлева под Малоярославцем. Ездовой Кузовлев пришел к майору Шевцову проситься в разведчики.

— В разведчики? — удивился Шевцов.— Человек в летах. Вон какие усы носите. А разведка — дело хлопотливое.

— Сын у меня, Петр Алексеевич, в разведке состоял. Скончался в бою под Москвой.— Кузовлев потупился.— Хочу на его место определиться. Хотя бы до родного дома довоевать на Смоленщине. Там можно и обратно в обоз. А то вторую пару сапог на войне надел, а в германца стрельнуть не пришлось...

Боевая тревога оборвала тогда беседу на полуслове. Но я знаю, Шевцов уважил просьбу Кузовлева и тот отличился в боях под Медынью.

Вторично я встретил Кузовлева на переправе через Березину. Паром еще не успел причалить к берегу, когда я окликнул Алексея Захаровича.

Та же, наперекор возрасту, молодцеватая выправка, те же прямые плечи, те же усы, те же сросшиеся густые брови. Такие брови придают лицу хмурое выражение, даже когда человек в самом отличном расположении духа.

Оба мы помянули добрым словом незабвенного Никона Федоровича Шевцова. Кузовлев рассказал мне о своих фронтовых скитаниях.

— Вы ведь хотели в разведке только до своей Смоленщины довоевать, а потом опять в ездовые. Наверно, трудно поспевать за молодыми?

Последний мой вопрос Кузовлев пропустил мимо ушей.

— Что значит — до своей деревни? Я ведь не за одну деревню воюю, не за семью свою.

— А что с вашей семьей?

Я готов был услышать самые плохие новости и даже успел подумать, что такого вопроса задавать не следовало.

— Слава богу, уберёглись. И жена, и сын, и дочери. Все пережили германцев. Даже дом в сохранности.

Кузовлев тяжело вздохнул и только теперь нашел нужным ответить на другой вопрос.

— Конечно, достается в разведке. Все-таки годы подошли. На войне с первого начала шестую пару сапог донашиваю. Другой раз и отстаю от молодежи, но все-таки с переднего края уходить еще рано. Вот прогоним германца с родной земли, совсем за границу,— тогда другое дело.

Мы расстались с Алексеем Захаровичем как друзья и, хотя сказали друг другу «до свидания», вряд ли в будущее свидание верили...

Тем радостнее эта встреча у костра, разложенного во дворе помещичьей усадьбы в Восточной Пруссии.

Кузовлев подвинулся, освободив для меня место у огня. Я поздравил его с новым орденом и спросил, какими путями пришел от Березины на немецкую границу.

— Вышли мы к Германии как раз у пограничного знака номер пятьдесят четыре. Сперва хотели из автоматов салют устроить, потом решили повернуть салют в сторону противника, дали залп по Германии. Хоть и ночное время, а пусть летят наши пули и жужжат германцам в уши.

Когда мимо столба шагал, у меня что-то глаза зачесались, хотя дыма вокруг не было. Сынка своего, Петра Алексеевича, вспомнил: не достиг он чужой земли, пришлось за него родителю шагать. Так шел я — ничего, а на край земли пришел — сердце защемило. И когда я больше эту землю любил? То ли когда под самой Москвой воевали, когда сына схоронил, когда кругом меня были слезы и печаль народная, то ли сейчас, когда на границу пришел и земля родная за спиной осталась?

Мы ведь, разведчики, по этой земле самые первые прошли, видели первую радость наших людей после неволи. Нас угощали сразу за всю Красную Армию, обнимали и целовали, как первых родственников, и плакали счастливой слезой.

И на германской земле разведчик больше другого солдата видит. Вчера мы здесь, в усадьбе, рушники с украинской вышивкой нашли, а во дворе — краденый трактор СТЗ. Где его украли — трудно сказать, но, конечно, не в Сталинграде. Мы и надписи на стенах видели вроде писем от наших: ратуйте, увозят дальше, а дом этот сожгите, хозяин-немец хуже собаки, бил нас, кормил помоями. Вот как раз головешки из этого дома и таскаем, пусть добром догорают. А машины сельскохозяйственные мы даже со двора в амбар завезли. И посевы озимые тоже нетронутые. Мы еще и картошку выкопаем, картошку, которую русские батраки тому германцу посадили...

— А помните, Алексей Захарович, вы говорили — только бы до границы дойти, а там можно и обратно в обоз вернуться?

— В обоз? — переспросил Кузовлев и опять хитро прищурился.— Пока с германцем на вовсе не управимся, не придется из разведки уходить. Уйти — так прямо домой, в Устиново.— Кузовлев мечтательно закрыл глаза, улыбнулся своим мыслям, подложил в костер обгорелую доску, пристально вгляделся в пламя и сказал в раздумье, словно о ком-то постороннем: — А далеко зашел Алексей Захарович от деревни Устиново. Пожалуй, из Германии пешком на Смоленщину идти — сапог не хватит. А где его найдешь, интенданта или старшину, после войны?

Кузовлев опять доверительно мне подмигнул и добавил:

— Я ведь одиннадцатую пару сапог за войну донашиваю. Правда, государство только на семь пар разорил, остальные — трофейные. И в Берлин думаю в ихней обуви заявиться.

Он поднялся, подтянул свои трофейные сапоги с широкими голенищами, расправил онемевшие плечи и начал собираться — пора в боевое охранение.

На прощание мы снова помянули добрым словом нашего общего друга командира полка Никона Федоровича Шевцова.

Едва Кузовлев отошел от костра, как внезапно исчез в ненастной темноте, подступившей вплотную к огню.

2

Было время, когда нас отделяли от немецкой земли свыше тысячи километров и годы.

Затем счет пошел на сотни километров, на месяцы. Нетерпеливые летчики-истребители говорили, что до Германии двенадцать — пятнадцать минут ходу. У летчиков свое представление о том, что такое далеко и что такое близко.

В Каунасе, в том месте, где к старому собору прилегает сквер, засаженный кленами и каштанами, еще в начале августа появилась дорожная указка, выпиленная из фанеры: «До Юрбурга 83 клм., до Тильзита 146 клм., до Кенигсберга 262 клм.». Это было через несколько дней после того, как наши полки вошли в Каунас.

Практического значения указка не имела, потому что Кенигсберг, Тильзит и даже Юрбург были по ту сторону фронта и ни один водитель туда ехать не собирался. Но фанерная стрела звала вперед.

Вскоре нас уже отделяли от немецкой земли десятки километров и дни.

Комбат Губкин первый увидел в бинокль пограничную речонку Шешупу.

Теперь нас отделяли от немецкой земли километры и часы.

Ночью ущербная луна слегка подсвечивала Шешупу, речку столь медлительную, будто вода в ней стоячая. А предутренний свет сделал отчетливыми ориентиры последних двух километров советской земли — трансформаторную будку, столбы вдоль дороги, отдельные деревья и строения.

Батальоны послала в атаку белая ракета. Позади осталась пыльная дорога. Кузовлев тоже полз по-пластунски в мокрой от росы траве, вскакивал во весь рост, делая короткие перебежки, снова ложился плашмя и зарывался в траву, когда мины пятнали клеверный луг черными воронками и запахи горелой земли, пороха, картона заглушали пахучий клевер.

— До границы рукой подать, товарищи! — воскликнул командир роты старший лейтенант Василий Зайцев.— Вперед!

Рота совершила последний бросок к Шешупе; это было в семь утра.

Все ближе и ближе.

До границы остается три, два километра.

Последний километр; счет идет уже на сотни метров, на минуты.

Речка, мостик через нее — вот она, Германия!

Штурмовые группы вплотную приблизились к границе, рота Зайцева двигалась впереди, ведя ближний бой; дело не раз доходило до рукопашной...

До речки оставалось с полсотни метров, не больше, но прошло еще длинных полчаса, прежде чем Алексей Захарович Кузовлев и другие солдаты из отделения, которым командует Виктор Закаблук, достигли государственной границы СССР.

И в горячке боя Зайцев умело сочетал риск с умной предосторожностью, берег своих солдат, не атаковал очертя голову, рота не стала мишенью для вражеских пулеметов и минометов, бивших с того берега Шешупы, «из-за границы», как потом

сказал Василий Зайцев. Так хотелось выполнить приказ с наименьшими потерями, чтобы солдаты, прошедшие с Зайцевым сквозь огонь по родной земле, не упали на самом ее краю, а прошли героями еще и по вражеской земле!

В этот же час солдаты капитана Юргина после упорного боя вышли на границу у пограничного знака № 56.

Есть нечто символическое в том, что первым достиг западной нашей границы дальневосточный пограничник Василий Зайцев. Вот уж кто каждой кровинкой, каждой частицей сердца ощутил необъятный простор Родины, ее протяженность и могучую силу!

И есть нечто закономерное в том, что именно Василий Зайцев поднял и держал сильными руками красное знамя, стоя на самой кромке советской земли. Это событие произошло в 7.30 утра 17 августа 1944 года. Праздничная весть быстро разлетелась по всей 184-й стрелковой дивизии. Сперва это самодельное знамя нес сержант Али Рзаев, но он был ранен осколком мины в ногу и передал знамя рядовому Волощуку, а тот на самом берегу Шешупы вручил знамя командиру роты.

На груди Василия Зайцева, над орденом Отечественной войны, пять ленточек за ранения. С трудом верится, что этот широкоплечий белозубый здоровяк в зеленой плащ-палатке и в командирской фуражке, прикрытой маскировочной сеткой, ранен уже пять раз...

С волнением Кузовлев и его товарищи впервые смотрели на немецкую землю, на бело-черный пограничный столб, на спокойную, почти неподвижную пепельную воду Шешупы...

Нет солдата, который долгие годы не мечтал бы об этой минуте. Значит, вся Родина, из края в край, лежит отныне за его спиной, отныне снаряды не будут кромсать свою землю. Пушки, танки и солдатские сапоги не будут больше топтать свою рожь. Не свои дома будет разрушать солдат, выбивая оттуда фашистов, не родной кров. Фашисты отныне будут рубить свои сады, взрывать свои, а не наши мосты, бить из пушек по своим домам, бомбить свои города, хутора и дороги.

Пограничный городок Эйдткунен, на западной окраине которого я встретился в октябрьский вечер с Кузовлевым, сильно разрушен, весь в огне и дыму. Кирпичная пыль висит красной тучей. Стекло и черепица хрустят под ногами и под колесами.

На стене ближайшего дома, стоящего на площади слева, выведено крупными буквами: «Мендталь. Ликеры и вина». Магазин Мендталя занимал нижний этаж, над ним жил виноторговец. Все надписи сделаны прямо на стенах. Железо давно пошло на переплавку.

У подъезда дома, по соседству с подбитой пушкой, фургон с домашним скарбом.

Лошади выпряжены, у колес валяется подушка, зонтик, цилиндр, какое-то пестрое тряпье, абажур.

Может быть, на этой самой рыночной площади был устроен когда-то невольничий рынок, фрау выбирали себе здесь служанок, а фермерши из окрестных хуторов — скотниц и конюхов.

Эйдткунен — последняя станция германской железной дороги, здесь кончалась узкая колея и начиналась русская, широкая. Отсюда в конце июня 1941 года отошли первые эшелоны «нах остен». Городской оркестр в те дни до хрипоты, до изнеможения играл на станционном перроне, табачные лавочки и винные погреба на Гинденбургштрассе бойко торговали.

И вот позади нас пограничная речка с пепельной водой и мостик через нее. Весь берег речки, вся восточная окраина Эйдткунена и железнодорожные пути перегорожены ежами. Такое количество противотанковых ежей мы видели только в Подмосковье.

На одном из рельсовых обрубков знакомое клеймо — «Н. З.». Рельс прокатан на Северном Урале, на Надеждинском заводе (ныне город Серов).

Увезли немцы эти ежи, склепанные из обрубков рельсов руками московских, тульских рабочих? Или изготовили из захваченных в России рельсов? Трудно ответить на этот вопрос, но, так или иначе, ежи вызвали оживление среди бойцов.

Алексей Захарович долго смотрел на цепь рогаток и вспомнил:

— Мой окоп был тогда за Кубинкой. На восемьдесят шестом километре Минского шоссе. Там этих ежей было видимо-невидимо...

Когда через несколько дней я, возвращаясь в штаб армии, вновь проезжал через мостик вблизи Марктплатц, на нем уже стоял столб в черно-белую полоску, а рядом хлопотали бойцы в фуражках с зелеными околышами, с зелеными погонами и петлицами. Неужели пограничники? В самом деле они!

Здесь, у черно-белого столба, на котором написано: «Германия», все держатся как-то особенно подтянуто. Чувство Родины всегда острее у ее границ. Сколько солдат на других фронтах завидуют нам сегодня!

Свежеотесанный столб уже испещрен бесчисленными автографами и датами. В дело пошел и уголь, и кинжал, и чернильный карандаш. Кто-то вывел старательно, с завитушками: «Коммунизм сметет все границы».

Сегодня при въезде в Эйдткунен красуется фанерный щит с надписью на нем:

До Берлина знаем мы дорогу,
От Берлина есть у нас ключи!

Интересно стоять у пограничного столба и следить за солдатами, которые подъезжают или подходят к столбу «Германия».

Все же его товарищи по батарее смотрели на столб взволнованные — одни с радостным удивлением, другие с недобрым огоньком в глазах.

Слово «берлога» не сходило с уст. Слышались крепкие солдатские словечки. Кто-то кулаком грозил столбу с надписью «Германия». Иные, уже въехав в Германию, оглядывались на столб.

Пехотинец, невысокий, с подоткнутыми полами шинели, в каске, сползающей на глаза, не дойдя до пограничного столба, опустился на колени, расстелил перед собой платок, взял горсть родной земли, завернул ее в платок, еще более черный, чем земля, и молча зашагал через мостик, торопясь догнать свою роту.

3

Гвардейцы полковника Героя Советского Союза Главацкого не выходят из боев несколько суток подряд. Два десятка хуторов и господских дворов отвоевали они на подступах к Гумбинену.

Фронтовая газета «Красноармейская правда» опубликовала в эти дни фотографии гвардейцев Главацкого со следующей надписью: «Товарищ! Запомни их имена. Они шли в первой цепи наступления. Ты, как солдат, извинишь их за то, что они не успели привести себя в порядок. Они только что вышли из боя. На их лицах — копоть, пыль и гарь сражения. Это они заставили пруссаков в страхе бежать по собственной земле!»

С тех пор, как мы перешли немецкую границу, прошло три месяца, но лишь на этих днях началось генеральное наступление в глубь Германии.

За все годы войны полки еще не видели такой разветвленной и глубокой обороны. Солдаты генерала Крылова за пять дней жестоких боев углубились в Восточную Пруссию на 20 километров.

Дело в том, что вся приграничная полоса Восточной Пруссии с ее хуторами и господскими дворами — мощный оборонительный пояс с фортификационными сооружениями.

Мне довелось побывать в доте на подступах к Гумбинену. Дот замаскирован под стог сена и имеет весьма безобидный вид. Под стогом сена находится бронеколпак; он имеет шесть амбразур для кругового обстрела, перископ и наблюдательные щели. Бронеколпак едва ли на метр возвышается над уровнем земли. Все железобетонное тело дота врыто в землю.

В двери тамбура — глазок и ружейная бойница для обороны входа. Из тамбура мы попали в боевой каземат — подобие круглого бетонированного колодца. Толщина стен дота — до двух метров, а стены каземата сверх того обложены асбестом. Из каземата мы пробрались в убежище, где размещался гарнизон дота. Стол, печь, вентилятор, электрическая лампа. На цепях под-

вешено к потолку двенадцать коек в три яруса. Из убежища можно попасть в склад боеприпасов, а оттуда ведет запасной лаз на случай, если будут взорваны тамбур и бронированная дверь.

Эти доты «притворяются» и домами, и сараями, и земляными курганами, и стогами сена, а чтобы сбить с толку вероятного противника, такой стог-дот устраивался в ряду всамделишных стогов сена.

Господский двор Жергупенен взят гвардейцами Главацкого после кровавого боя. Липовая аллея, ведущая в господский двор, поредела. Верхушки нескольких лип валяются на снегу, стволы других расщеплены, перерублены снарядами.

В снег втоптаны трупы, автоматы, гранаты и разукрашенная елка, вышвырнутая из блиндажа,— память о минувшем рождестве.

Жергупенен — усадьба немецкого коннозаводчика. Кроме господского дома, амбара, скотного двора в усадьбе несколько больших конюшен.

Но почему стены конюшен чуть ли не в метр толщиной? Зачем на расстоянии метра от земли в каменной кладке сделаны амбразуры? Для чего под господским домом устроен подвал с бетонными перекрытиями? Почему подвальные окна так узки и едва выступают над землей? Зачем нужна такая большая бетонная площадка для обмолота хлеба?

Усадьба заблаговременно строилась с расчетом, чтобы ее можно было использовать для обороны. И амбразуры в конюшнях, и подвальные окошки превращены в бойницы; еще этой ночью за ними сидели немецкие пулеметчики, автоматчики. С площадки для обмолота хлеба вела огонь тяжелая батарея.

Но какой же смысл помещику, фермеру, гроссбауэру класть стены толщиной в шесть кирпичей, если для конюшни достаточно двух? Оказывается, в пограничной зоне никто не имел права строить что-либо без учета военных требований, вне общего плана укрепления района. На дополнительные затраты фермер получал от государства специальную ссуду в банке «Остхильф», что значит «восточная помощь».

Господский двор Жергупенен только один из сотен подобных хуторков-крепостей. Они разбросаны настолько густо, что имеют между собой огневую связь: один хутор прикрывает подступы к другому.

Моим проводником по господскому двору Жергупенен был Георгий Константинович Главацкий. У него не по-зимнему загоревшее живое лицо, а жесты и восклицания полны темперамента. Проводник негодовал и удивлялся:

— Посмотрите, ну посмотрите своими глазами. Видели такое? Сам бы не увидел — никогда не поверил бы.

В сарае напротив конюшни ездовые нашли сани, несколько тарантасов и тотчас перепрягли в них лошадей, так как иные повозки были изрешечены осколками. И вот по заснеженной аллее, мимо искалеченных лип покатил «демисезонный» обоз из пролеток, саней, карет, розвальней самого разнообразного вида, покроя и возраста.

Хорошо после утомительного марша, когда каждый километр кажется длиннее предыдущего, ломит спину от вещевого мешка, саднит плечо под ремнем винтовки и уже с трудом перебираешь отяжелевшими ногами, взобраться на трофейную повозку и ехать, понукая трофейных лошадей.

Прошло то время, когда пехотинцы брели со сбитыми в кровь ногами, завидовали артиллеристам, сидящим на зарядных ящиках, на передках орудий, на лафетах.

«Демисезонный» обоз движется со страшным скрипом от несмазанных колес, от плохо подогнанной сбруи и упряжки. Кони и повозки догоняют своих убежавших хозяев.

— А до Кенигсберга это колесо доедет? — спрашивает молоденький солдат, скептически оглядывая заднее колесо дряхлой кареты; он сидит на автомашине, груженной снарядами.

— До Кенигсберга доедет,— с веселой уверенностью говорит седок, выглядывающий из окна кареты.

— А до Берлина?

— До Берлина, пожалуй, не доедет. До Берлина мы еще пересадку сделаем. Въедем в Берлин на автомобиле, наподобие мотопехоты...

— Где уж вам... каретопехота!

Молоденький солдат-задира смотрит на седоков кареты снисходительно — то ли потому, что автомашина в этот момент обгоняет обоз, то ли потому, что сидит выше.

На обочинах дорог попадаются фургоны с домашним скарбом, брошенные беглецами. По мере того как приближались русские танки, аллюр господских обозов увеличивался, лошади выбивались из сил и кладь выбрасывали на ходу. Чем ближе к Инстербургу, тем больше брошенных колясок и фургонов.

Ночью на западе горел зловещим факелом Инстербург, и пламя пожара освещало его далекие окрестности. Утром в предместьях города мы увидели почерневший снег, все вокруг было покрыто копотью и сажей.

Инстербург горел одним бескрайним костром. Пламя вырывалось из каменных коробок через окна, балконные двери и где-то в середине улицы схлестывалось с пламенем домов, горящих напротив. В этом огне плавилось стекло, корчилось железо, горящие головни летали в сонме огненных искр.

Невзирая на лютый мороз, снег на улицах и площадях стаял. Солдаты ступали в валенках по новоявленным лужам...

Чем дальше в глубь Восточной Пруссии, тем больше выжило городков, хуторов, господских дворов. Больше уцелело стекол в окнах. Больше крыш под черепицей, которая осталась на своем месте, а не сползла к карнизам беспорядочной красной лавой, обнажив стропила.

Беспризорный скот бредет на солдатские костры. В хуторе у дороги расположился полковой медпункт, и сестры поят раненых парным молоком.

Вблизи прусской границы дороги были заминированы, мосты взорваны, вековые липы спилены и брошены поперек. Сегодня перед нами — нетронутое шоссе, мосты и дорожные указатели целы-целехоньки.

4

Утром на исходной позиции Пестряков хлопотал и суетился больше всех. Он несколько раз соскакивал с танка, обходил соседние экипажи и повторял:

— Так пожалуйста. Увидите наших — спросите про Настеньку. Или письма попадутся...

Танкисты и десантники выслушивали просьбу в третий раз, если не в четвертый. Но никто не раздражался, а механик-водитель Баховчук даже заверил:

— Можешь, папаша, не сомневаться. Настеньку повстречаем — на танк погрузим. Тулуп свой отдам, шлем найдем. Мое слово как штык. Ты ведь, папаша, знаешь...

Пестряков был растроган.

Все в батальоне называли его папашей. На вид он моложе своих сорока восьми лет — ни седины, ни морщин,— но среди автоматчиков десантной роты Пестряков самый пожилой.

Он не отличался расторопностью, удалью, и командир роты Лысоконь как-то сказал:

— Пестряков пока на танк заберется, можно хо-о-о-рошую цигарку выкурить. Пассажир! Такого папашу не на броне возить, а в плацкартном вагоне.

Лысоконь обвел взглядом десантников, сидевших у костра, но не услышал одобрительного смешка.

Все знали историю Пестрякова. Единственную дочь его Настеньку угнали в неволю фашисты. Настенька писала своей хромоногой подружке Варе, а та пересылала письма Пестрякову. Письма читали все, кто мог разобрать угловатые каракули. Между строк можно прочесть многое.

Настенька писала, что работает на господском дворе; что озимые хозяину они засеяли, но всходы увидят навряд ли; что не скучала бы, если бы с ней вместе жили ее друзья Хлебников и Картофельников; что у хозяина семья небольшая: хозяйка, ее

дочь, собака, а затем уж она, Настя; что поместье поблизости от города Кенигсберга и что Васины дружки часто бывают в гостях — Василий, двоюродный брат Настеньки, был летчиком...

После того как Пестряков получил от соседки Вари письма Настеньки, он стал равнодушен к опасности, но был по-прежнему мало расторопен.

И только с переходом границы Пестряков как будто помолодел — стал злее в бою, предприимчивее, запасливее.

В первом же бою на прусской земле Пестряков удивил всех удалью: расстрелял нескольких фаустников. В тот день Лысоконь с командирской машины прислал по радио благодарность Пестрякову и впервые назвал его Петром Аполлинариевичем. Пестряков и не подозревал, что командир знает его имя, а тем более громоздкое отчество.

К вечеру танки ворвались в фольварк Варткемен. Пустой господский дом. Пустые конюшни с окошками-бойницами на высоте второго этажа и с амбразурами, выдолбленными в кирпичной стене в метре от земли. Рядом с конюшней, в добротном, утепленном сарае стояли сельскохозяйственные машины. И Лысоконь, по профессии агроном, и Пестряков знали толк в машинах. Они с удовольствием ощупали и оглядели веялку, паровую молотилку, сеялку, лобогрейку. В дальнем углу сарая стоял комбайн.

— Больше всего мне нравится комбайн этого прусского помещика,— Баховчук зло усмехнулся.— Из Ростова-на-Дону покупочка.

Пестряков вгляделся в трафарет — «Ростсельмаш». Он неслышно пошевелил губами, а потом сказал:

— Настенька моя на такой машине работала. Марка «Ростсельмаш». Между прочим, комбайн стоящий, хвалили его...

— И немец, наверно, не ругал.— Баховчук хмыкнул себе под нос.— Зачем бы он в противном случае его из России уволок?

Баховчук молча тронул Пестрякова за рукав, показал на дальний амбар и поманил за собой.

В амбаре, в дощатом закуте, устроены нары в два этажа. Высокое маленькое оконце в кирпичной стене схвачено решеткой, и от этого вся комнатенка приобрела вид тюремной камеры.

Когда глаза привыкли к полутьме, Пестряков смог разобрать надпись на стене, нацарапанную чем-то острым, скорей всего гвоздем:

«Товарищи, нас угоняют дальше вместе со скотиной. Вчера слышали ваши пушки. Догоните нас, пока мы еще не старухи, отбейте у собаки помещика, пожалейте девичьи жизни. Храни вас господь от пуль! С приветом в сердце. Лена, Настя, Катя, Фрося».

Оба помолчали, а потом Пестряков сказал:

— Руки не разобрать. Может, моя Настенька, может, другая. Их, наверно, много в Германии, Настенек.

Баховчук махнул рукой и вышел из амбара, а Пестряков еще долго стоял у надписи и перечитывал ее про себя, будто старался запомнить наизусть. Он поднял с земляного пола девичьи бусы, обломок гребенки и все это спрятал в карман.

Танкисты прожили на господском дворе Варткемен без малого сутки. Заправляли машины, и в усадьбе, заглушая запах конюшни, долго стоял сладковатый, душный запах газойля. Из люков выбросили снарядные гильзы. Лениво дребезжа, они падали на снег, развороченный гусеницами. Танки загрузили снарядами сверх комплекта. Заряжающие работали до седьмого пота, а механики-водители отдыхали после возни с моторами в спальне помещичьего дома.

Пестряков нашел Баховчука в кабинете помещика. Баховчук чистил свой пистолет, сидя за огромным письменным столом. Пестряков нерешительно потоптался у стены, затем потрогал рукой батарею отопления.

— Помещик вот кипятком обогревался. А девчата в сарае без печки мерзли.

Сейчас он еще сильнее ненавидел помещика за то, что тот устроил себе на хуторе центральное отопление.

— Надо, Баховчук, надпись на том комбайне сделать. Сам хвалился своим малярным званием.

— Какую надпись?

— Про грабеж. И про девчат наших.

— Комбайн-то в сарае. Там ни написать, ни прочесть.

— Лысоконь разрешил, — сообщил Пестряков. — Вытащим комбайн на шоссе. Все равно в сарае ему долго не стоять. Ему обратно в Россию дорога...

После обеда танкисты тягачом вытащили комбайн из сарая во двор.

Пестряков стоял рядом с Баховчуком, держал в вытянутой руке баночку с краской и не уставал давать указания, что и как писать.

Надпись гласила: «Найден в усадьбе помещика, где страдали русские невольницы».

Черные буквы отчетливо выделялись на розовом фоне. Баховчук прищурился, по всему было видно, что он доволен своей работой.

— Теперь напиши в конце покрупнее: «Смерть рабовладельцам!»

Баховчук выполнил просьбу. Он подул на замерзшие пальцы и отошел от комбайна, чтобы издали полюбоваться надписью.

— Надпись — как штык! — похвалил Пестряков.

5

В пустой квартире разбитого дома висят стенные часы. Потолка нет, штукатуркой засыпана мебель, постоянный сквозняк полощет кисейные занавески, а часы старательно тикают, и время от времени мелодичный звон оглашает руины. Завод еще не кончился, и на первый взгляд кажется, что часы ведут себя вполне солидно, как и подобает старинным немецким часам.

На самом деле часы контужены, как и весь город. Они ошалели после бомбежки, как и все немцы в Хайлигенбайле. Часы старательно тикают, но стрелки идут вразброд и взбесившийся маятник в четверть третьего отбивает двадцать девять ударов.

Немцы, окруженные в Восточной Пруссии, оказались вне времени и пространства — совсем как эти часы. Над ними уже не было надежной крыши, вокруг рушились стены, и смертельный сквозняк в течение многих дней не прекращался на побережье.

Но пружина была заведена, механизм продолжал работать. Немцы в Браунсберге еще минировали улицы и дома, на подступах к Хайлигенбайлю рыли противотанковые рвы, они еще писали приказы, донесения, и на каждой бумажке было с точностью до минуты указано время исполнения. А стрелки часов давно шли вразброд, время немцев истекло...

Позавчера море было видно в бинокль. Вчера пехотинец видел море невооруженным глазом. Сегодня уставшие солдаты стирают портянки в заливе Фриш-Гаф.

Это конец суши, конец Восточной Пруссии. Не оконечность, не берег, не край, а именно конец.

Пусть немцы строят баррикады в Кенигсберге, пусть бьют батареи из крепости Пиллау, пусть роют окопы на осажденном нашими войсками Земландском полуострове — все равно восточно-прусская группировка уничтожена, основные ее силы разбиты, сметены с лица земли. Взят последний опорный пункт этой группировки — город Хайлигенбайль, взят последний порт — Розенберг.

«Котел» выкипел до дна, крышка захлопнута.

Бои на побережье залива Фриш-Гаф отличались невиданным упорством. Позади у немцев море, неоткуда ждать спасения, они защищались со слепой силой отчаяния.

Юго-западнее Хайлигенбайля был создан так называемый железный рубеж. На железнодорожной линии выстроены товарные составы, груженные песком. Вагон к вагону, они стояли сплошной стеной, которая тянулась на километры. Из-за этой стены, высовывая дула между вагонами, стреляли «фердинанды».

Из города били орудия, все расчеты — от наводчика до подносчика снарядов — состояли из офицеров.

Во время уличных боев в первых этажах домов дрались офицеры. Солдатам уже не доверяли, их выгоняли в верхние этажи или на чердаки.

Но все это не помогло и не могло помочь. Рубежи пройдены, сопротивление сломлено. Город, который немцы пытались превратить в один сплошной дот, целиком, как один дот, взорван, вывернут из земли и размолот в щебень.

В предместьях Хайлигенбайля с небольшой высотки открылся вид на горящий город, на залив Фриш-Гаф, затянутый дымом. Вокруг тесно стояли десятки артиллерийских батарей. Все они вели огонь, и «катюши» играли фашистам отходную. Стоя на одной батарее, можно было без труда услышать, как на соседней подается команда «огонь!».

И вот наконец этот город, только что взятый с бою, город, где еще не осела кирпичная пыль, где еще не втоптана в грязь штукатурка, где еще лежат поперек улиц заборы и валяются оконные рамы, двери, заброшенные сюда взрывной волной.

Хайлигенбайль, что в переводе значит «священная секира», был некогда тихим городком. Но война втянула и его в свой водоворот. Здесь выстроили авиационный завод. Город стал расти как на дрожжах. На улицах не стало многолюднее, зато тесно было в бараках концентрационного лагеря. Тысячи невольников работали на авиазаводе.

Сегодня крыши цехов авиационного завода сплошь продырявлены и светятся, как кружево. Они дают наглядное представление о том, как умело поработали тут наши штурмовики.

Немцы были подавлены не только мощью нашего оружия, но и великолепным умением наших воинов. Во время боев за последние рубежи пехотинцы так точно обозначали ракетами свой передний край, а штурмовики из дивизии Хатминского так точно принимали сигнал «свои войска», что бомбежка и штурмовка немецких позиций шли в сотне метров от передовых отрядов нашей пехоты.

Артиллеристы, пехотинцы, штурмовики, танкисты подавили не только пушки, минометы, пулеметные гнезда немцев — они подавили их волю.

И наступил момент, когда пружина лопнула, колесики рассыпались и все смешалось...

Немцы стали сдаваться в плен оптом. «Языки» словоохотливы до крайности, даже болтливы. Но что толку? Вместо дивизий и полков в котле появились какие-то сводные отряды, сборные группы, смешанные роты. Пленные не могут ничего рассказать о части, номер которой обозначен на их погонах. Этот номер они нацепили днем, а вечером или на рассвете попали в плен. Иногда подразделения рассыпались прежде, чем заканчивалось их формирование.

6

Вся бегущая Пруссия стекалась к портам, гаваням, причалам, пристаням на побережье залива Фриш-Гаф и волокла за собой к берегу все движимое барахло.

Многое вспоминается здесь, на берегу залива. Пережитое осмысливается заново, и события последних дней с новой силой бросают свет на события прошедшие.

К своим последним гаваням и пристаням немцы отступали не из Хайлигенбайля, Прейсиш-Эйлау, Инстербурга, Эйдткунена. Это только последние перевалочные пункты, места пересадок. Попятный путь немцев куда длиннее и начался гораздо раньше.

Многие наши солдаты носят медаль «За оборону Москвы». Эти ветераны прошли длинный путь по пятам врага. Они гнали немцев от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Орши, от Орши до Минска, от Минска до Каунаса, от Каунаса до Эйдткунена, прогнали через всю Восточную Пруссию, то, что осталось, размолотили на берегу, а ошметки выбросили в море.

Сейчас интересно вспомнить, как на этом пути мы постепенно сбивали с немцев спесь, отучали их «планомерно» отходить и приучали драпать.

Вязьма, март 1943 года.

Отступая, немцы подорвали все каменные дома, спилили все телеграфные столбы, взорвали каждую стрелку на железной дороге, прострелили бронебойными пулями каждую пустую бочку на нефтебазе. То было методическое разрушение, произведенное с чисто немецкой педантичностью и аккуратностью, если только можно говорить об аккуратности палачей и факельщиков.

Перед уходом из города немцы успели похоронить своих мертвецов и очистить от снега дорожки на кладбище в центре города.

Орша, июнь 1944 года.

Телеграфные столбы надпилены, и к ним подвешены мешочки с толом, однако подорвать столбы не успели. На железной дороге стоит паровоз со специальной установкой для разрушения пути. Паровоз со своим варварским прицепом разбит нашими штурмовиками.

На кладбище у свежих могил лежат штабелями свежие покойники в бумажных пакетах. Их так и не успели похоронить, гитлеровцы остались лежать в эрзац-гробах.

Сморгонь, июль 1944 года.

Обгоревшие сваи моста через Вилию и на берегу — брошенные немцами машины с трупами своих солдат. Уже не в гробах, даже не в пакетах, а просто так, навалом. А рядом другая машина, груженная соломенными эрзац-валенками.

Как видно, здесь отход был уже далеко не «планомерным». Еще хотелось разрушать, еще хотелось действовать по инструкции, но времени уже не было, нервы пошаливали и бежать было удобнее налегке.

И вот — Восточная Пруссия, март 1945 года.

Здесь брошены уже не соломенные эрзац-валенки и нет надпиленных столбов — здесь брошены целые города, оставлены элеваторы с хлебом, заводы с самолетами на конвейере и аэродромы, на которых тесно от самолетов, магазины и склады, эшелоны, груженные снарядами, электростанции на ходу. Больше того, здесь в восточнопрусском «котле», Гитлер бросил, оставил на убой десятки дивизий.

Где они, аккуратные могильщики Вязьмы, факельщики Смоленска, подрывники Орши, сортировщики окровавленной обуви, снятой с расстрелянных в Понарском лесу под Вильнюсом?

У них уже не осталось земли, чтобы похоронить своих мертвецов; не осталось места, куда тащить барахло; времени, чтобы упаковать вещи; воли, чтобы отходить по инструкции; сил, чтобы бежать от кары.

«Котел» выкипел до дна.

7

Нас сопровождают признаки и приметы городского предместья, которое вот-вот перейдет в пригород, а еще через километр-другой — в окраину Кенигсберга.

Такой вид открывается из окна вагона, когда поезд приближается к большому городу. Города еще не видно, но близость его чувствуется во всем. Чаще мелькают щеголеватые коттеджи, впрочем довольно стандартного типа. Их можно было бы принять за дачи, но они стоят тесно, по-городскому. В несколько рядов шагают телеграфные столбы. Высоковольтные мачты увенчаны фарфоровыми гроздьями изоляторов. Бензиновые колонки — голубые, оранжевые, пунцовые — мелькают необычайно часто. Рекламные щиты у шоссе тоже рассчитаны на поток пассажиров, едущих в город.

Дорога пригородного типа. Она шире обычных дорог Восточной Пруссии, на которых подчас с трудом могут разъехаться две трехтонки.

Севернее Людвигсвальде дорогу под прямым углом пересекает шоссе. Это — кольцевое шоссе, опоясывающее Кенигсберг. По обеим сторонам шоссе двумя бесконечными черными шеренгами высятся рослые липы.

Безобидное на первый взгляд шоссе дачного типа связывает между собой крепостные укрепления кенигсбергского обвода. Внешний пояс обороны города опирается на двенадцать основ-

ных фортов, три вспомогательных. И каждый из них — маленькая крепость. Между фортами — доты, артиллерийские казематы, бомбоубежища, казармы.

Черный частокол лип затрудняет наблюдение за противником. Однако из слухового окна трехэтажного дома, где артиллеристы установили стереотрубу, видны крыши далеких домов на окраине, заводские трубы, шпиль кирхи, пакгаузы товарной станции и вагоны. После полудня туман сгустился, мы сошли с чердака.

Справа от нас — пригородный кенигсбергский аэродром, тесно заставленный трехмоторными самолетами «Юнкерс-52». Колеса их — в человеческий рост. Самолеты стоят с осени, они замаскированы рыжей, растерявшей иглы хвоей. Один «юнкерс» разбит снарядом, остальные три десятка целы. В кабинах обосновались тылы командира Переверзина. Кое-где в кабинах установлены железные печки. Старшины, повара, ездовые спят в откидных креслах кабин, а лошадей своих и сани укрыли под серебристыми крыльями «юнкерсов»...

Впереди меня шагает связной батальона Василий Сименко. Он шагает с автоматом на груди, за поясом у него гранаты, на голове кубанка, надетая набекрень, на руках — меховые перчатки с раструбами, какие чаще всего носят пилоты. Василию Сименко девятнадцать лет, но он человек бывалый на переднем крае, а за последние недели изучил все тропинки в этом предместье Кенигсберга.

Мы прыгаем через траншею. На дне, на бруствере и вокруг — трупы в шинелях мышиного цвета. Валяется множество деревянных ручек от гранат, гранатометы, фаустпатроны, мины с пестрым хвостовым оперением. Все втоптано в снег, местами бурый от крови. Неподалеку от траншеи, за небольшой рощицей, стоит на прямой наводке орудие. Расчет хорошо его замаскировал. Артиллеристы следят за автострадой, которая пересекает участок батальона.

На немецких картах этот «рейхсавтобан» обозначен жирной красной линией. Когда-то по этому асфальтированному проспекту шириной в тридцать три метра в несколько рядов мчались машины: направо — в Кенигсберг, до которого рукой подать, налево — в Эльбинг, Данциг, Берлин.

Сименко осматривается, прислушивается к шальным пулям и ползком преодолевает автостраду. Я ползу следом.

Сейчас автострада пуста и ее мертвый покой стережет разбитая цуг-машина — гибрид тягача с бронетранспортером. Снарядом ее развернуло поперек дороги. И сама машина, и ее водитель, и пассажиры запорошены снегом. Как знать, может быть, это последняя машина, которая пыталась проскочить из окруженного Кенигсберга?

Слева от нас возникает гул. Это прогревают моторы наши самоходки, стоящие в засаде.

Не всегда механикам-водителям удается согреться скрытно, под аккомпанемент батарей.

Сименко останавливается у кювета и выжидает. Как он и предсказал, немцы услышали шум моторов и открыли огонь. Но снаряды ложатся в стороне, через несколько минут огонь стихает, и мы подходим к хуторку Альтенберг, где находится командный пункт батальона.

Майор Скрипченко поселился в подвале полуразрушенного дома.

Лампа на столе то и дело подпрыгивает.

— Живем со всеми удобствами. Как на даче,— посмеивается Скрипченко, зажигая лампу, которая после близкого разрыва вновь гаснет.— Только вот лампа капризничает. Тут у нас разведчики по соседству ютились. Так они даже электрическое освещение завели.

— Каким образом?

— Очень просто. У них паренек был, электромонтер. Приметил он в разведке провод, который из Кенигсберга тянулся. Както там по галкам или воробьям, которые на провода садились, определил, что провод под током. Ну и подключился. Дня три, что ли, у них в подвале электричество горело. Пока тот провод снарядом не разметало...

— А может, немцы за неплатеж выключили?..— не удержался молоденький капитан с пушком на щеках и с детскими припухшими губами.

Шутка, по-видимому, уже не раз была в ходу и сказана специально для меня. Поэтому, кроме меня, никто не улыбнулся.

Пора было и нам двигаться обратно: сумерки сгущались. Майор Скрипченко поднялся наверх, чтобы проводить.

Сименко ощупал гранаты на поясе, с важностью надел свои меховые перчатки с раструбами и зашагал вперед, стараясь выглядеть беззаботным.

Мы уже миновали автостраду, когда открыла сильный огонь немецкая батарея.

— Призантными шпарят, идолы...

Сименко показал на далекий аэростат, подсвеченный ракетами. Наши артиллерийские наблюдатели поднялись в воздух, чтобы по орудийным зарницам установить адреса батарей. Однако немцы при свете ракет обнаружили аэростат, и ему пришлось поспешно снизиться...

Пока мы отсиживались в окопе, наступил вечер. Трепетное мерцание пулеметных очередей, вспышки орудийных выстрелов точно обозначили линию фронта. В темноте она казалась совсем близкой.

8

Последние обороты винта. Лопасти его, еще минуту назад незримые в ревущем, крутящемся вихре, сейчас движутся лениво, нехотя и, кажется, рассекают воздух с большим трудом.

Самолет подруливает по кочковатому полю к стоянке. Летчик откидывает прозрачный колпак над головой, подымается с сиденья и легко спрыгивает. Весеннее солнце просушило землю, но она еще податлива под ногой и каждый шаг оставляет на ней след.

Летчик снимает тугой шлем, пригладивший волосы, и вертит шеей так, будто ему жмет воротник; это от ларингофона.

Только что, под прозрачным колпаком, в шлеме и с ларингофоном, он был условно занумерованным Ястребом, Орлом или Арканом, а сейчас на земле он снова Митрофан Алексеевич Ануфриев, рослый и статный двадцатитрехлетний капитан.

На нем кожаная на меху куртка и брюки такие большие, что ему почти по грудь. Со всех сторон блестят застежки-«молнии», будто в кожаном костюме нет обычных швов.

Ануфриев оглядывает машину, ласково похлопывает рукой по крылу, точно это шея лошади. Затем он еще раз оглядывает машину и идет не оборачиваясь, легко ступая по летному полю.

Я давно слышал о разведчике-истребителе Ануфриеве, но познакомился с ним, когда он вернулся из 412-го боевого вылета.

Несколько минут назад Ануфриев пролетел над центром Кенигсберга, над набережной Прегеля, над Северным вокзалом, над кривой сетью узких улочек и переулков, застроенных домами с островерхими крышами.

Это сегодня не первый вылет Ануфриева. Он уже успел прогуляться вдоль косы Фриш-Нерунг, наведаться в порт Пиллау.

Ануфриев очень любопытен, это, пожалуй, самая отличительная черта его характера. Ему хочется знать, что делается у причалов Пиллау, и что нового там, на аэродроме, на товарной станции, и кто движется по дорогам к линии фронта, и какие улицы перегорожены баррикадами, и как выглядит с воздуха каждый форт.

До всего ему есть дело, все ему нужно разузнать, высмотреть, выпытать, подглядеть, запомнить.

Немцы не любят и боятся опасного и назойливого воздушного наблюдателя. Его встречают сильным огнем, и облачка зенитных разрывов отмечают его маршрут. Бывает, воздух от близкого разрыва бьет в крыло, бывает, что осколок пробивает плоскость или фюзеляж.

Для порядка карта-двухкилометровка лежит у него в планшете, но Ануфриев редко в нее заглядывает. Он летал сюда десятки раз, знает Кенигсберг «с птичьего полета», лучше, чем родной

Липецк, где на улице Парижской Коммуны, в доме № 43, живет его отец, почтовый сторож.

Выражение «с птичьего полета» часто служит для определения чего-то поверхностного. Однако когда Ануфриев видит противника «с птичьего полета», его никак нельзя упрекнуть в этом. У него натренированная зрительная память, он мастер визуальной разведки.

В день, когда я познакомился с Ануфриевым, погода благоприятствовала разведке. А как часто он летал на разведку в туман, в опасное ненастье! Зимой на подступах к Кенигсбергу ему приходилось летать при облачности не выше 100—150 метров, а видимость по горизонту была с километр. Хуже не бывает, такая облачность оценивается синоптиками в десять баллов; как говорится, «консолей не видно».

Машина Ануфриева покрывает километр в семь секунд. Можно себе представить, как трудно ориентироваться летчику на бреющем полете. И вот в сплошном тумане, когда кажется, что самолет с трудом продирается сквозь белесую плотную завесу, Ануфриев обнаружил сегодня шесть немецких танков в засаде и увидел противотанковые батареи немцев по дороге к фронту.

После 412-го вылета Ануфриев зашел в столовую, уселся за стол и пробежал глазами меню. Рядом с ним обедали летчики, вернувшиеся на аэродром несколько раньше. Они уже покончили со вторым блюдом и принялись за компот.

— Как там, в Пиллау? Барка у крайнего причала еще стоит? — спросил у Ануфриева сосед, тоже капитан.

— Уже потопили.

— А паровозы на товарной станции?

— Все дымит — и паровозы, и вагоны, и склады. Штурмовики только что оттуда вернулись.

— Тогда порядок,— удовлетворенно заметил сосед Ануфриева и встал из-за стола.

— Вот пообедаю — пойду посмотрю, что там нового,— сказал Ануфриев.

Он сказал это так, будто речь шла о прогулке по аэродрому, а не об очередном, 413-м боевом полете над Кенигсбергом.

9

Укрепления немцев были разведаны с воздуха, изучены по планам, путем наблюдения. Были опрошены тысячи пленных, местных жителей и вчерашних невольников, сбежавших из лагерей, от хозяев.

Где-то в штабе фронта изготовили деревянные макеты форта Понарт, захваченного в конце зимы. Офицеры, которым предстояло штурмовать подобные форты, подолгу изучали макеты.

Построили макет всей крепости и города. Над этой игрушечной крепостью часами сидели генералы.

Ждали ясной погоды, чтобы можно было в полной мере использовать мощь авиации.

В полдень шестого апреля после артиллерийской подготовки, после залпа тысяч стволов, залпа, длившегося полтора часа, маршал Василевский повел армии на штурм.

Багрово-серое облако дыма повисло над городом. Все были оглушены канонадой и ревом авиамоторов. По земле беспрерывно скользили угловатые тени самолетов, и в этой игре света и теней отражалась какая-то закономерность: будто мы стояли у подножия ветряной мельницы и смотрели, как скользят по земле ее беспокойные тени, отброшенные крыльями.

В небе была невообразимая теснота, и с восхищением думалось о каком-то мудром регулировщике, который расторопно управлял с земли вереницами бомбачей, штурмовиков, истребителей. Все шли, строго соблюдая правила воздушного движения.

Основной удар с юга наносили гвардейцы генерала Галицкого, в их числе и полк Булахова.

Как ни был предусмотрителен, памятлив, зорок и наблюдателен Булахов, у немцев все-таки оказались орудия, не отмеченные на его карте. Орудия эти не произвели до штурма ни единого выстрела и ничем не выдали своего местонахождения.

Одна такая пушка-невидимка ударила по командному пункту, когда Булахов стоял с биноклем у окна дома. Только по счастливой случайности он остался в живых, его спас громоздкий хозяйский шкаф, набитый одеждой и бельем. Вот уж поистине многоуважаемый шкаф!

Ночью полки овладели Понартом, южным предместьем Кенигсберга.

Булахов отдал хитрый приказ: белый флаг считать в полку сигналом «наши войска». Немцы полагали, что эти флаги вывесили жители, и не обращали на них особого внимания. На самом же деле наволочки, занавески, полотенца, простыни, прикрепленные к шесту или палке от швабры, вывешивали наши, как только занимали дом или какой-нибудь его этаж, чердак, лестницу. Белые флаги, торчащие из окон, были отлично видны при свете пожаров и помогали ориентироваться штурмовым группам, артиллеристам, стоящим на прямой наводке, пулеметчикам.

Свыше десятка пулеметов установили гитлеровцы на кирхе, они простреливали с колокольни прилегающие улицы. Судьба кирхи решилась на рассвете, когда на паперть ее, а затем в притвор ворвались наши автоматчики.

Далее — железнодорожное депо, битком набитое паровозами. Пути были забиты эшелонами. Здесь стояли в затылок друг другу французские товарные вагоны с восемью форточками и обя-

зательными ступеньками во всю ширину вагона; итальянские с окошками-вентиляторами в виде жалюзи; классные вагоны с обособленными дверцами, ведущими прямо в купе.

Гвардейцы вели огонь, лежа за скатами, из-под вагонов. Один автоматчик стрелял из окошка паровозной будки, и, когда он высовывался, его можно было принять за машиниста, выглянувшего, чтобы проверить, открыт ли семафор на станции.

Утром 8 апреля полки выдвинулись на набережную реки Прегель, пересекающей город. Из воды тут и там возникали искрящиеся на солнце мутно-зеленые фонтаны и фонтанчики. В одном месте на набережной были навалены бревна; казалось, немцы предусмотрительно приготовили их для наших саперов, мастеривших плотики. У набережной билась на привязи голубая лодка. В ту минуту не верилось, что Прегель мог быть местом мирных лодочных прогулок.

Но вот уже гвардейцы овладели двухэтажным мостом, ведущим на остров, вот уже навстречу атакующим побежали с криком «Не стреляйте! Свои! Русские!» какие-то женщины, слышались выкрики по-польски, по-французски, еще на каком-то языке. И на этом же мосту показалась первая толпа безоружных немцев: они бежали в плен прытко, с поднятыми руками.

Наступила минута, когда генералы Галицкий и Белобородов, чьи дивизии прорубали дорогу через город навстречу друг другу, договорились о том, чтобы прекратить артиллерийский и минометный огонь. С каждым часом сокращалось расстояние между штурмовыми группами. Одни пробивались с юга на север, другие — с северо-запада на юг.

Гитлеровцы отступали из северо-западных и западных кварталов города к площади Фридриха-Вильгельма. Здесь, по соседству с памятником, в двух подземных бетонированных убежищах находился штаб коменданта крепости Кенигсберг генерала Отто Ляша.

Последний час штурма был особенно ожесточенным. Предчувствуя конец сражения, никто не берег боеприпасов, вели огонь с азартной расточительностью.

9 апреля перед вечером, за несколько часов до того, как истекал срок ультиматума, предъявленного немецкому гарнизону маршалом Василевским, в штаб Н-ской дивизии явились парламентеры. Немецкий полковник выразил согласие начать переговоры о капитуляции.

В штаб к Ляшу направились наши представители: гвардии подполковник Яновский, гвардии капитан Федоренко и гвардии капитан Шпитальный, переводчик. Наши офицеры шли в сопровождении немцев.

По дороге к площади Фридриха-Вильгельма произошел забавный эпизод, хорошо рисующий моральное состояние немец-

18-1607

ких войск в эти дни. Часовой окликнул идущих и потребовал пропуск. Но тут он увидел советского офицера, шагавшего впереди, и, не поняв, в чем дело, поднял руки.

Через полчаса Отто Ляш отдал приказ о капитуляции, и в городе наступила тишина.

По мосту через Прегель потянулась нескончаемая колонна пленных. Они шли всю ночь и следующее утро. Они шли по узким улицам мимо разрушенных домов, мимо стен, на которых были намалеваны фашистские призывы: «Храбрость и верность», «Лучше смерть, чем Сибирь», мимо памятников королям и фельдмаршалам.

С черепичной крыши дома, соседствующего с северным вокзалом, еще отстреливался снайпер-смертник; чтобы долго с ним не возиться, по чердаку ударили раза три из орудия прямой наводкой, и все было кончено.

К солдатам Булахова, которые расположились на короткий отдых, пробралась девушка-белоруска. В подвале, где сидят женщины, освобожденные из лагеря, укрылись эсэсовцы. Они не позволяют никому выходить. Девушка украдкой выбралась из подвала, и вот она уже шагает обратно, показывая дорогу автоматчикам.

Низенький солдат в шинели, обгоревшей с одного боку, при свете пожара разбирал автомат. Его сосед перевязывал руку, забинтованную второпях. Третий солдат, горбоносый и черноусый, писал письмо, примостившись на подоконнике разрушенного дома.

Алексей Анисимович Булахов занят приемом пленных. Беспризорные пленные сами пристают по дороге к колонне — под конвоем безопаснее. В колонне попадаются и штатские — переодетые и опознанные офицеры, эсэсовцы.

— Семнадцатую тысячу пленных сдает полк, — Булахов потрясает кипой бумажек. — Вот они, расписки-то! Все в порядке!

10

С крыши фабричного здания открывался вид на город.

Кенигсберг по праву именовался крепостью. Его охраняли форты на подступах к городу и в самом центре. Рядом с каменными стенами старинной кладки, на которых успели вырасти деревья, стоят зенитки и звукоуловители. Тут же, по соседству с фортами, пивные, колбасные, мастерские по починке протезов, кондитерские, тиры и даже подземное казино.

Понадобилось превратить этот город-крепость в каменоломню, чтобы заставить его капитулировать.

Страшны раны, увечья и ожоги Кенигсберга, но каждый советский человек, вступающий в него, мысленно воздает славу и

благодарность нашим летчикам и артиллеристам, подавившим силой огня этот город-крепость, город-дот, город с черной репутацией немецкой казармы, застенка и невольничьего рынка.

Не одни только форты, звукоуловители, зенитки на площадях, крепостные казематы и кварталы, сплошь застроенные казармами, дают нам представление о лице города. Здесь находился «институт по изучению России». Здесь фашистские молодчики изучали русский язык. Из них готовили гаулейтеров, следователей, шпионов, комендантов, переводчиков, управляющих имениями и биржами труда, служащих концентрационных лагерей, тюремщиков.

Все главные улицы и площади Кенигсберга названы именами генералов и военных. Памятники поставлены только военным, исключением являются Иммануил Кант и Фридрих Шиллер. Когда смотришь на бронзового Шиллера, кажется, что поэту както неловко стоять в штатской одежде и не навытяжку в компании вымуштрованных соседей.

Весь город жил по казарменному распорядку. Дети с малолетства обучались шагистике и чинопочитанию. Дансинги и публичные дома отдельно для солдат и для офицеров. В пивных по команде орали нацистские песни. Город затемнялся с чисто немецкой пунктуальностью. «Кенигсбергский ежедневный листок» наряду со сведениями о восходе и заходе солнца, о температуре и направлении ветра ежедневно с точностью до одной минуты сообщал, когда затемнять окна и фонари.

На Гитлерштрассе, в аристократических кварталах Амалиенау, на Юнкергассе, в переулке близ Королевского замка висят вывески: у мужского портного нарисованы одни только мундиры, у шапочника — военные фуражки. Даже в витрине парикмахера сладкий рекламный красавчик, выбритый до розового глянца, прилизанный и с нафабренными усами, одет в военную форму.

Стоит присмотреться в уцелевшей квартире к семейным фотографиям. За редким исключением, все мужчины — в военном: одни сидят или стоят, гордо выпятив грудь, в старой кайзеровской, другие — в гитлеровской форме. Выражение лиц их от этого не меняется. Те же оловянные, выпученные глаза, те же наглые, бессмысленные, самодовольные, высокомерные солдафонские физиономии.

Кенигсберг, город прусской военщины, всегда был затянут в военный мундир и бряцал оружием. Этот город торжествовал и злорадствовал, когда бомбили Москву, когда голодал Ленинград, когда горели Минск, Смоленск, Ростов, Чернигов, Воронеж, Сталинград...

И вот Кенигсберг лежит в каменном прахе, а бронзовые немецкие фельдмаршалы смотрят со своих пьедесталов на толпы соплеменников, шагающих в плен...

Для того чтобы попасть во внутренний двор замка, нужно пройти через окованные ржавым железом ворота и длинную каменную арку. Стены замка настолько высоки, что лучи солнца проникают в четырехугольный двор, только когда солнце в зените.

Вот отсюда, из этого двора, выстланного каменными плитами, отправлялись в военные походы псы-рыцари, а позже — маркграфы, прусские герцоги и короли.

В одной из башен Королевского замка помещался городской «кунстмузеум». Башня замка наполовину обрушилась и сгорела, но кое-какие экспонаты музея уцелели в грудах битого кирпича. Древние мечи и кольчуги валяются вперемешку с миноискателями, фаустпатронами, пулеметными лентами — встретилось оружие разных эпох...

В полдень 10 апреля по-вечернему рыжее солнце висело в дымном и пыльном небе над старыми башнями Кенигсберга. В черепичной крыше, венчающей ратушу, зияли дыры. Рваные зубцы стен возвышались над курганами разрушенных домов. Город весь в дыму, в известковой и кирпичной пыли, застилающей глаза, хрустящей на зубах.

Пруд, в котором отражался мутный диск, похожий больше на луну, чем на солнце, тоже казался пыльным, как старое зеркало. А на берегу пруда, раздевшись по пояс, усталые солдаты смывали пыль, копоть и пот войны, въевшиеся в кожу за дни штурма. Они делали это буднично и деловито, словно это была не пыль рухнувшей прусской цитадели, а обыкновенная пыль обыкновенной фронтовой дороги...

Величие победы отметит история, а сегодня в Кенигсберге только короткий привал. Привалов таких осталось уже немного.

11

Спустя несколько дней после штурма Кенигсберга я встретил на его улице, суженной торосами из кирпича, печальную процессию.

Толпа пленных немцев сбилась к обочине, уступая место машине, чьи борта и кабина были увиты черно-красным полотнищем. Немцы с угрюмым любопытством смотрели на медлительную траурную машину.

Весть о том, что хоронят молодого офицера-танкиста Космодемьянского, потрясла до глубины души. Александр Космодемьянский ушел на фронт мстить за свою сестру Зою, он был любимцем и гордостью фронта. И вот он сложил свою горячую, непреклонную голову.

Совсем недавно за бои на подступах к Кенигсбергу Александр Космодемьянский получил свой третий орден — орден Красного

Знамени, а погиб уже после штурма Кенигсберга, на Земландском полуострове.

Я глядел на могильный холм, выросший в сквере недалеко от памятника Бисмарку, и мне вспомнилась заснеженная подмосковная деревня Петрищево близ Вереи. Могила, свежеразрытая в сугробе, тело Зои, окаменевшее от мороза, удавка на нежной девичьей шее, лицо бессмертно-прекрасное, с печатью страдания на нем...

В день расправы немецких палачей с Зоей Космодемьянской, в день, когда она с гордо поднятой головой, ступая босыми ногами по снегу, шла на казнь, невредимый Кенигсберг был далеко в немецком тылу. Город не знал затемнения; почтенные колбасники и работорговцы охрипшими голосами вопили «хайль» в пивных и на улицах; варьете и кафешантаны были переполнены; в кинотеатрах смотрели победную фронтовую хронику; генерал Кюхлер присылал в дар своему родному городу ценности, награбленные во дворцах Детского Села и Петергофа; Эрих Кох уезжал из своей вотчины на Украину, куда Гитлер назначил его гаулейтером.

Понадобилось три с половиной года, окровавленных, пропахших порохом, дымом пожарищ и потом войны, чтобы брат Зои, командир танка Александр Космодемьянский, а вместе с ним многие тысячи названных братьев Зои вошли победителями в черный город.

Но не все гитлеровские солдаты, офицеры, генералы сложили оружие, к западу от Кенигсберга еще шли упорные бои...

Фишхаузен предстал перед нами как свалка разбитых орудий, машин, повозок, мертвых лошадей, как сплошное кладбище. Само выражение «въехать в город» звучало здесь неточно. Можно было лишь подъехать к окраине города, а затем карабкаться по грудам щебня, обломкам, обходя трупы.

Узкий перешеек косы у Фишхаузена походит сегодня на кратер действующего вулкана, изрыгающего опаленную землю. Все потеряло здесь свою устойчивость — и воздух, и земля, и вода, из которой то и дело вздымаются серо-зеленые фонтаны.

Штурмовикам, которые висят в небе над перешейком, видны оба берега косы.

Неопадающая пыль и дымы, которыми обозначен наш передний край, чтобы летчики не ошиблись адресом, делают полдень пасмурного дня похожим на вечер. Очевидно, характер почвы, состоящей из мельчайшего песка, порождает эту неопадающую пыль.

Сзади нас непрерывно мелькают вспышки орудийных выстрелов. «Катюши» прочерчивают дымное небо своим багровым пунктиром.

Фашистов провожают с Земландского полуострова и батареи многоствольных минометов, отбитые нашими на днях. Минометчики Санченко без устали ведут огонь по отступающим и к полудню успели выпустить около тысячи трофейных мин.

Обращает на себя внимание десятиствольный миномет, установленный на бронетранспортере; он тоже без устали бьет по своим бывшим хозяевам; захвачен недалеко от этих мест. Гвардии старшина Лаврик привез его, гвардии старший лейтенант Санченко быстро освоил установку и произвел первые залпы. А позже из миномета вел огонь гвардии рядовой Батин. Мин он не жалеет, хватит на сотню залпов.

Горячий азарт боя нетрудно подглядеть сегодня у всех: у трофейщиков-минометчиков, у десантников, которые ждут на исходной позиции и не слезают с танков, у пехотинцев Героя Советского Союза Булахова — у всех, кому выпал счастливый и трудный жребий завершить разгром фашистов в Восточной Пруссии.

12

Железная дорога и шоссе к порту Пиллау идут рядом, прижимаясь друг к другу, по длинной просеке в сосновом лесу. Песчаные холмы густо поросли сосняком. Только подумать, что протяженность всего нашего 3-го Белорусского фронта не превышает сегодня двух километров — ширины перешейка косы западнее Фишхаузена! А судя по карте, перешеек кое-где будет сужаться еще больше...

Ожесточенные бои вел 97-й гвардейский полк, которым командует Алексей Анисимович Булахов. На этот раз его командный пункт помещался в глубокой песчаной яме. Лес, по которому мы прошли, представлял собой какую-то окрошку из расщепленных, срубленных, поваленных, выкорчеванных сосен. Словно ураган пронесся над лесом, оставив после себя чудовищный, невиданный бурелом.

За краями песчаной ямы шло светопреставление и, что называется, воздуха не видно было за пулями и осколками.

Немцы стянули на перешеек все, что успели вывезти с Земландского полуострова, что осталось от некогда могучей восточнопрусской группировки, что они надеялись увезти морем в глубь Германии.

Для того чтобы представить меру ожесточения последних боев, достаточно сказать, что на участке фронта в два километра шириной у гитлеровцев действовало до пяти, правда потрепанных, дивизий и шестьдесят танков.

Гвардейцам генерала Галицкого выпала честь закончить разгром всей группировки на косе и в Пиллау.

Машина въехала в Пиллау, когда центр города и порт были в наших руках, а фашисты еще держались в крепости, западнее вокзала и на берегу пролива. Над нашими головами, поверх дымного облака, развертывались для очередного захода штурмовики; они пикировали на крепость, на корабли, ведущие огонь по городу из тяжелых орудий, на батареи, установленные гитлеровцами за проливом, на косе Фрише-Нерунг.

Пыль, смешанная с пеплом, висела над городом, она ложилась мутным налетом на воду гавани. Снаряды взрывали воду, взметая вверх зеленовато-синие смерчи, искрящиеся на солнце. Брызги летели далеко на набережную. Порт Пиллау стал кладбищем погибших кораблей. Из воды торчат их затонувшие корпуса, надстройки, трубы, мачты.

По пути к крепости наших бойцов подстерегало немало кривых, изогнутых улочек, а это всегда затрудняет действия штурмовых групп и облегчает оборону.

С наблюдательного пункта прославленного комдива Толстикова я вглядывался в задымленные контуры крепости Пиллау.

Воздушный разведчик, всевидящий Митрофан Ануфриев, не раз летавший над Пиллау, говорил мне, что здание крепости похоже на звезду с девятью лучами, и рисовал на память ее план.

Штабной майор из оперативного отдела, уступивший место у стереотрубы, напомнил мне: такая конфигурация крепостных стен не сулит нам ничего хорошего. Атакующих будет в любой точке подстерегать фланкирующий огонь.

Два с четвертью века назад построили пруссаки эту крепость. Она запирала на замок весь Земландский полуостров, если ему угрожать с запада. А опасность пришла с востока. Во всяком случае, предки эсэсовцев не ждали здесь ни русских, ни казахов, ни украинцев, ни белорусов, ни татар, ни армян, которые сегодня сражаются под знаменем 1-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Во время штурма крепости Пиллау не раз с горечью вспоминались далекие дни, когда дивизия по воле фронтового случая защищала казармы, какие занимала до войны (она тогда называлась Московской Пролетарской), а линия фронта по северо-восточной окраине Наро-Фоминска проходила через военный городок, знакомый кадровым бойцам и офицерам дивизии еще по мирному времени. Вспоминались и многие из тех, кто сложил свою голову на фронтовых стежках-дорожках, — и героическая сестра милосердия Елена Ковальчук, и Герой Советского Союза Лизюков, железный комендант переправы на Березине и Соловьевой переправы на Днепре, впоследствии командир дивизии. И меня не покидало ощущение, будто все павшие герои дивизии, чьими могилами отмечен путь от речки Нары до

берегов Балтики, принимают участие в штурме крепости Пиллау наравне с живыми.

Форты Кенигсберга, которые остались позади, тоже были опоясаны рвами, но те рвы были сухие, во всяком случае безводные, а здесь широкий ров, который тянется по внешнему периметру крепости, и в самом деле наполнен водой.

Дивизионным саперам пришлось отложить в сторону свое современное оружие и вязать фашины, сколачивать мостки, сходни, ладить и подтаскивать лестницы — попробуй взберись без лестницы на отвесную стену пятиметровой высоты! Ну совсем как это делали в старину прадеды наших гвардейцев, штурмуя крепости Азов, Кексгольм, Измаил...

Ей-богу, не удивился бы, если бы из бойниц крепости Пиллау торчали пищали и старинные фузеи, если бы между зубцами стены прятались рыцари в кольчугах, вооруженные копьями, алебардами, мечами, а на головы осаждающих полилась кипящая смола.

Утро 26 апреля не принесло успеха штурмовым группам. Слишком плотный огонь из многочисленных амбразур, бойниц, щелей, укрытий.

После полудня прошел слух, что гарнизону крепости предъявили ультиматум и туда направились с белым флагом парламентеры, как это было в Кенигсберге. Однако, сколько ни вглядывались, ничего не видать за дымами, заволакивавшими крепостные ворота.

На какое-то время огонь прекратился. А позже стало известно, что начальник крепостного гарнизона отверг наш ультиматум. Комендант крепости Кенигсберг генерал Отто Ляш, на чьем допросе мне разрешено было присутствовать, поступил благоразумнее, нежели его, неизвестный мне по фамилии и по званию, коллега в Пиллау. Этого не образумили и семнадцать трагических дней, прожитых после падения Кенигсберга. Фашистская армия в агонии. К чему же напрасные жертвы?

Штурм возобновился, как только подтянулись тяжелые самоходные установки; они тоже стали на прямую наводку. Орудия калибром 152 миллиметра били по амбразурам, ослепляя противника, подавляя огневые точки одна за другой и прикрывая огнем штурмующих. Тяжелые снаряды методично разрушали бетонные заборы за крепостными воротами, и каждый разрыв тяжелого снаряда был как грозный стук мстителя, явившегося в дом бандита и палача, чтобы потребовать у того ответа за все содеянное.

Когда стемнело, начался новый штурм. Ворота к тому времени были разбиты, в стенах зияли проломы. Пушки замолкли, но чаще слышались разрывы гранат, толовых шашек, отрывистые очереди автоматов — отзвуки ближнего боя.

В иных местах воды во рву совсем не стало видно за настилами из ветвей, за досками.

Крепость встретила полночь уже безмолвная, затихшая. При свете горящих в проливе самоходных барж и других пожаров, подсветивших небо, видны были толпы пленных с белыми флагами, которые зарево перекрасило в розовый цвет.

13

Весть о взятии Берлина распространилась в войсках с молниеносной быстротой. Лица освещены сиянием близкой и окончательной победы. Всем ясно, что фашистская Германия в агонии, что до конца войны нас отделяют считанные часы.

В Вильнюсе и Каунасе мы впервые увидели дорожные указатели: «На Берлин!» Желтые фанерные стрелы были тогда скорее средством наглядной агитации, чем будничными дорожными указками.

В приграничном Ширвиндте, у здания ратуши, на перекрестке, где хозяйничала разбитная и хорошенькая регулировщица, высился огромный щит: «До встречи в Берлине!»

Прошло не более полугода после того, как мы впервые ступили на немецкую землю, а в сводке появилось берлинское направление. Драгоценного смысла полны были эти слова для всех, кто воевал когда-то в глубине России, на можайском, волоколамском, тульском и других направлениях.

В дни, когда кипели бои в окрестностях, предместьях немецкой столицы и на ее улицах, бойцы 3-го Белорусского фронта, участники штурма Кенигсберга, с волнением следили за героическими делами участников штурма Берлина.

Не все наши друзья дошли до Кенигсберга, до Берлина. Но тот, кто дошел, донес нерастраченной свою ненависть к фашизму.

14

Форсирован пролив, разделяющий две косы, поросшие соснами. По заминированным дюнам, по лесу, превращенному в сплошной завал, гвардейцы Галицкого прошли к устью Вислы свыше полусотни километров. Тяжелая гаубица, оставшаяся в Пиллау по эту сторону пролива, назавтра не могла поддерживать огнем наступающих: снаряды уже не долетали.

Начальник разведки 73-й стрелковой дивизии Пустоселов понимал, почему фашисты сопротивляются с отчаянием смертников: с западной оконечности косы они эвакуируют беженцев, ценные грузы, перевозят войска в Данию и западные порты Германии. На косе два концлагеря: один для русских военнопленных, а во втором лагере сидели французы, поляки, чехи.

Вечером 8 мая полк 73-й Новозыбковской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии под ураганным огнем фашистов сменил на одном из участков переднего края гвардейцев. Но к полночи огонь ослабел, а затем совсем прекратился. Наши парламентеры направились к немцам для переговоров. Немецкий генерал согласился на капитуляцию.

Вскоре наступил долгожданный момент, когда огонь прекратился вовсе. Помню, как заряжающие гаубицы № 1432 поднесли и дослали снаряд. Командир гаубицы старший сержант Кирсанов уже готовился подать команду «огонь», но в этот момент телефонист прокричал ему:

— Стой! Прекратить огонь! Война кончилась!

Куда девать этот снаряд? По наставлению орудие следует разрядить выстрелом. Гаубицу довернули и выстрелили в море.

Последний выстрел!

Артиллеристы опустили ствол гаубицы, открыли горячий затвор, смыли нагар мыльным раствором, а затем накрыли гаубицу брезентовым чехлом.

Минутой раньше или позже, но последний выстрел произвели все.

Умолкали крупные калибры, а за ними пушки помельче. В последний раз дернул за боевой шнур минометчик. В последний раз нажал на спусковой рычаг пулеметчик. В последний раз нажал на гашетки летчик-штурмовик. Пехотинец дал последнюю очередь и отнял от плеча приклад автомата. Санинструктор достал последний индивидуальный пакет и сделал последнюю перевязку.

Офицеры отняли от глаз бинокли и не торопясь, торжественно и бережно сложили последние листы карт, отслужившие свою фронтовую службу.

Утром 9 мая немцы на косе Фрише-Нерунг прекратили сопротивление, и майор Пустоселов начал принимать пленных.

Под командой своих офицеров немецкие батальоны снимались с позиций, переходили через линию фронта и разоружались. Солдат выходил из строя, клал в общую кучу автомат, отстегивал подсумки с патронами и складывал их рядом, затем делал шаг в сторону, складывал сумки с гранатами и магазины автоматов. Помимо пленных из 19-го полка и 7-й пехотной дивизии было взято в плен 172 эсэсовца, охрана двух концлагерей.

Андрей Антонович Пустоселов воевал с 23 июня 1941 года. Разве мог он, бывший бухгалтер колхоза, думать, что ему, воевавшему еще под Ельней и Наро-Фоминском, придется разоружать последних солдат противника на нашем фронте?

Пусть все, кто выбивал немцев из Подмосковья, из Смоленщины, Белоруссии и Литвы, запомнят два названия: Нойе-Вельт и Фогельзанг.

У этих двух дачных поселков на косе Фрише-Нерунг на далеком Балтийском взморье, против берегов Швеции, окончился путь фронта, здесь завершился ратный подвиг и доблестный труд наших армий. Здесь мы «свой закончили поход».

15

Салют, который прогремел в Москве, донесся в Восточную Пруссию отголосками тридцати залпов. Они с шипением, хрипом и треском возникали в радиоприемнике. Репродуктор не приспособлен к трансляции залпов из тысячи орудий. Тем не менее залпы эти прозвучали торжественней всех маршей, известных человеку.

Московские залпы отозвались в черном диске репродуктора слабым эхом, но на помощь им пришел самодеятельный салют. Он возник стихийно и внезапно. Повсеместно слышны были радостные возгласы, приветственные крики, шутки, смех, песни, рожденные счастьем. К могучему залпу тысячи орудий каждый хотел приобщить свой маленький залп ладоней, свой личный салют.

Во всех концах небосклона загорелись цветные букеты ракет — белые, зеленые, красные, желтые. Их пускали с буйной расточительностью. Стало ясно, что многие сделали за эти дни солидные запасы трофейных ракет. Едва успевали отгореть своим скоротечным светом одни ракеты, как их дымные хвосты, оставленные в небе, освещались новыми гирляндами.

Ни один летчик не примет те ракеты за сигнал «свои войска». То не вызов артиллерийского огня и не прекращение. То не сигнал к штыковой атаке.

Это — волшебные отсветы всенародного торжества.

Фейерверк сопровождался зарницами выстрелов. Стихийная пальба не утихала ни на минуту. Зенитки, пулеметы, винтовки, автоматы, наганы родили оглушительную симфонию разноголосого, разнокалиберного восторга.

Никто из участников штурма Кенигсберга, участников боев на косе Фрише-Нерунг не видел и не слышал далеких салютов в их честь, гремевших в Москве. Мало кто из фронтовиков видел праздничный фейерверк, зажженный над столицей.

Сегодняшняя иллюминация полна для фронтовиков особого смысла. В сегодняшнем майском небе горели отсветы всех московских салютов за последние два года, всех салютов, которые сияли и гремели над Кремлем в честь фронтовиков, но о которых сами фронтовики знали лишь по газетам, понаслышке, по рассказам счастливцев-очевидцев.

Сегодня и фронт уподобился городу в далеком тылу, не знавшему затемнения. Непривычным и ослепляющим казался

свет, льющийся из дверей блиндажа или из окна, сбросившего с себя плащ-палатку. И хотя лампочка, обязанная своей жизнью слабосильному, но прилежному движку, довольно тусклая, она светит сегодня с чудесной яркостью.

При свете ракет видны лица, сияющие от гордости и счастья. Незнакомые обмениваются рукопожатиями, обнимают и целуют друг друга. Повсюду царит атмосфера той сердечности, когда каждый чувствует себя среди незнакомых, как в родной семье. Победа еще сильнее сроднила всех солдат.

Солдаты ощущают себя наследниками однополчан, погибших смертью героев где-нибудь под Москвой, на Смоленщине, в Белоруссии, в Литве или в Восточной Пруссии, завещавших боевым товарищам свою славу, свою любовь к Родине.

Когда фейерверк раздвинул темноту вечера, к окнам сортировочно-эвакуационного госпиталя № 290 прильнули раненые, все, кто только мог приподняться с койки и доковылять до окна.

Никакие уговоры врача и санитарок не остановили Алексея Анисимовича Булахова, раненного в один из последних дней войны. Он встал и, морщась от боли, осторожно ступая, тоже доковылял до окна, за которым искрился пестрый фейерверк.

Санитарка все пыталась уговорить раненого танкиста лечь на койку и отойти от окна, но затем она вгляделась в лицо танкиста и тоже заплакала. Этот человек с обожженными ногами не плакал и во время перевязок, когда в глазах темнело от боли.

Танкист может, не торопясь и не волнуясь за свой экипаж, долечиваться. А когда он выпишется из госпиталя, его койку не займет новый раненый.

Под окнами госпиталя по улице городка Тапиау шли веселой гурьбой девушки-регулировщицы и пели о хлопцах, которым пришла пора распрягать коней. Девушки поравнялись с регулировщицей, стоявшей на бойком перекрестке, и кто-то из них звонко крикнул с тротуара:

— Не журысь, Оксана! Скоро тебе смена. Еще споешь!

Оксана проводила подруг завистливым взглядом и принялась вновь яростно махать флажками. Не было машины, с которой бы ей не крикнули слов поздравления.

Девушек обогнали два офицера. Оба несли свертки и, видимо, торопились на вечеринку.

— Нет, ты только пойми,— волновался лейтенант-артиллерист.— Может быть, завтра уже не будет сводки Информбюро. Может быть, сегодня мы прочитали последнюю сводку!

В городском сквере шли танцы. В круговорот веселья попадали все, кто оказывался на площади или вблизи нее, кто слышал звуки гармони, патефона или радиоприемника.

Веселье стало повсеместным, потому что в этот день исполнились желания и сбылись мечты всего советского народа.

АНАТОЛИЙ ЩЕРБАНЬ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

ЗАПИСКИ МИНОМЕТЧИКА



Кипит, пенится и рычит зажатый бетонными набережными, каменными и насыпными дамбами разъяренный, осатаневший Одер. Вода грязная, мутная, темная. Вдоль реки, насколько хватает глаз, тянутся размежеванные посадками и асфальтированными дорогами пашни, аккуратно ухоженные сосновые леса, господские дворы, небольшие придорожные поселки с островерхими черепичными крышами построек, самые высокие из которых конечно же кирхи.

Это уже Германия.

Целлин — небольшой, почти не тронутый войной немецкий городишко на самом берегу Одера. Крепкие кирпичные заборы, металлические ограды, щиты тевтонских меченосцев на добротных воротах. Серые стены домов обвиты высохшим за зиму плющом.

В городке — ни души. Все жители спешно вывезены гитлеровцами на запад, за Одер. Повсюду следы панического бегства: в кюветах и на тротуарах валяются помятые шляпы и продавленные чемоданы, разбитые велосипеды и двухколесные тачки, бумага, цветное тряпье, поношенная обувь и детские коляски. Вдоль улиц застыли озябшие, с голыми ветвями деревья.

Безлюдный чужой город с узкими, угрюмыми улицами и переулками кажется загадочным и одичалым. В покинутых домах множество теплых перин и горы подушек, на которых сном праведников отсыпаются наши солдаты. А отоспаться надо: по-человечески не спали от самой Вислы, протопав свыше трехсот километров, и всё форсированные марши да короткие, но яростные бои...

Километрах в двух от Целлина, в поле, отрыты окопы и траншеи полного профиля, устроены заграждения и штурмовые полосы. Здесь пехотинцы готовятся к предстоящим боям за Берлин. Знают: война — тяжелый, упорный труд, море людского пота. Бой всегда короток, а труд, предшествующий ему, долгий и постоянный.

Утром в подвале каменного дома на окраине Целлина состоялось батальонное партсобрание. Много говорили об итогах недавних боев за Варшаву, о том, что́ еще необходимо сделать в подразделениях, чтобы лучше подготовиться к тяжелым предстоящим боям. Нескольких солдат и командиров, хорошо пока-

завших себя в боях, приняли в члены и кандидаты партии. Из нашей минроты в кандидаты партии был принят командир расчета Абрамов — небольшого роста, коренастый сержант из Свердловска. В полку воюет два года. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы и двумя медалями «За отвагу». Рекомендации в партию Абрамову дали я, замполит батальона Костиков и парторг роты Баталов.

В конце собрания выступил замполит полка подполковник Проценко:

— Вот мы с вами и в Германии, товарищи,— начал он.— Пришли сюда, чтобы навсегда покончить с коричневой заразой. Пришли как победители, через реки крови и годы испытаний. Войска наши находятся на немецкой земле, нас окружает немецкое население — родители и семьи тех гитлеровских солдат и офицеров, которые еще недавно творили неслыханные зверства в оккупированных ими наших городах и селах и которые продолжают сражаться с нами с оружием в руках. Так что теперь — мстить и истреблять здесь всех людей подряд, уничтожать все живое? Как говорится, око за око, зуб за зуб?

Люди настороженно молчали, глубоко задумавшись.

— Не мстить мы сюда пришли,— в глубокой тишине продолжал Проценко.— В своей истории русский солдат никогда не был мстителем. Он бил псов-рыцарей, Наполеона. И раньше уже бывал в Германии, бывал и в Берлине. Да, наши советские воины горят ненавистью к фашистским захватчикам, яростно громят их в открытом бою.— Выждав с минуту, уже громче продолжал: — Вы знаете, что всегда и в печати, и в приказах и выступлениях Верховного главнокомандующего настойчиво подчеркивалось, что главная наша цель — уничтожить немецкий милитаризм и нацизм, а не Германию, не немецкий народ. Советские люди никогда не отождествляли население Германии и правящую в Германии преступную фашистскую клику. Это геббельсовская пропаганда теперь вопит на весь мир, будто Красная Армия собирается истребить всех немцев поголовно. Ясно, кому нужна эта гнусная ложь! Фашистская верхушка с помощью такой брехни пытается поднять все население Германии на борьбу против нас, чтобы продлить существование своего прогнившего и обреченного фашистского режима. Повседневно разъясняйте солдатам, что наша партия и советский народ требуют от всех советских воинов и на немецкой земле свято и нерушимо беречь честь Красной Армии как армии-освободительницы!

* * *

В полку объявлен приказ маршала Жукова об организации штурмовых подразделений и групп для ведения уличных боев в Берлине. Состав подразделений может быть самый разный в

зависимости от обстановки — от усиленного стрелкового взвода до роты и даже батальона.

В состав штурмовых групп включаются два — четыре противотанковых орудия, два-три танка или самоходки и отделение саперов для обезвреживания мин. Приказано отобрать лучших солдат и сержантов, хорошо зарекомендовавших себя в последних боях и имеющих опыт боев на улицах города. Командирами назначаются лучшие строевые офицеры из числа командиров рот и комбатов, способных обеспечить умелое руководство подразделением в дневном и ночном уличном бою.

Право отбирать людей в штурмовые группы, руководствуясь при отборе принципом строгой добровольности, предоставлено лично их командирам.

Предпочтение конечно же отдается бывалым воинам, коммунистам и комсомольцам.

Командиром наших штурмовиков назначен капитан Дегтярь, командир стрелковой роты из батальона Аветисяна. Во внешности Дегтяря что-то от мастерового, рабочего человека, в силу необходимости ставшего военным. Говорит глуховатым низким голосом, спокойно и ровно. Порой резок и колюч, но всегда справедлив. В батальоне и в полку пользуется всеобщим уважением.

В группу он включил нескольких сержантов и солдат из своей роты и теперь вместе с офицерами штаба полка и замполитом Проценко обходит другие роты, отбирает подходящих людей.

Ни ротные, ни комбаты не сопротивляются, понимают, какие трудные задачи придется решать штурмовикам в предстоящем бою.

Из нашей минометной роты в штурмовую группу попросился заряжающий из расчета Баталова Семен Пилипчук. До Ковеля он воевал автоматчиком в роте Дегтяря и теперь обратился к своему бывшему командиру с просьбой зачислить его в группу. Дегтярь спросил у меня мнение о солдате. Я дал Пилипчуку самую лестную характеристику, он вполне ее заслужил. И Пилипчук был также включен в штурмовую группу.

Через несколько дней штурмовые группы полков нашей дивизии обследовал лично командующий 47-й армией генерал Перхорович вместе с начальником политотдела армии полковником Калашником.

Группу Дегтяря он проверял вечером.

На опушке леса выстроились солдаты и сержанты штурмовой группы.

На левом фланге стоят включенные в состав группы артиллеристы с двумя противотанковыми орудиями, экипажи трех самоходок СУ-76, саперы.

Генерал-лейтенант Франц Иосифович Перхорович, невысокого роста, сухощавый, очень подвижный, в кожаной куртке на молниях, неторопливо обходил строй наших штурмовиков, знакомился с каждым солдатом.

* * *

Мы снова на марше. Дивизии приказано передислоцироваться на плацдарм, ранее захваченный войсками фронта на западном берегу Одера южнее Кюстрина.

Батальонные колонны вытянулись по шоссе, идущему сначала по берегу Одера, а затем отклоняющемуся на юго-восток, в приодерские леса. Объявлен конечный маршрут Гюстебизе, небольшой городишко километрах в сорока. Еще до рассвета батальоны должны сосредоточиться в лесу восточнее города и там ожидать распоряжений о выходе на плацдарм.

Снова тяжелый мерный топот сотен пар сапог, отрывистые команды, позвякивание металла, негромкий солдатский говор, ржание лошадей, громыхание обозных повозок. Комбаты сводят людей с асфальта: по обочине легче идти. На шоссе лишь цокают копыта лошадей да тарахтят колеса повозок и походных кухонь. Временами, обгоняя нас, мимо проносятся танки. На башнях многих машин надписи: «За Родину!», «На Берлин!» Тяжело покачиваясь на выбоинах дороги, проходят зачехленные «катюши». С грохотом и скрежетом гусениц движутся самоходки.

Через три часа уже совсем рассвело. Утренний туман, перемешанный с бензиновой гарью и пылью, поднимается к солнцу. А солнце, радуясь вместе с людьми, светит все ярче, все выше уходит в бескрайний голубой простор. Колонны втягиваются в густой сосновый лес, на многие километры тянущийся сплошным массивом вдоль Одера.

День отсиживаемся в лесу. Наскоро построили шалаши, раскинули палатки, рядом на всякий случай отрыли щели. В небе гудят только наши самолеты, но кто знает... Солдаты пользуются передышкой: чистят оружие, пишут письма, стирают в ближнем ручье портянки, отдыхают после ночного марша.

Ночью по длинному, в два ряда, понтонному мосту батальоны ускоренным маршем перебираются на западный берег Одера, на знаменитый кюстринский плацдарм. Рядом движутся плотные колонны артполков, «эрэсы», «тридцатьчетверки» и мощные самоходные установки. Впереди в мутной мгле предрассветного неба мелькают огни ракет, оттуда доносится глухой непрерывный рокот канонады, временами заглушаемый урчанием множества движущихся машин.

Одер... Пожалуй, это единственная река на пути наших войск, берега которой были так неудобны для форсирования. Куда ни

сунься — противопаводковые дамбы, крутые насыпи, а в них полного профиля траншеи, доты, дзоты. Словно десятки лет готовились гитлеровцы оборонять Германию здесь, на разлившемся чуть не на километр Одере. А дальше, за дамбами и равниной, синеет гряда Зееловских высот. Оттуда днем хорошо просматриваются все подходы к Одеру.

Кюстринский плацдарм на западном берегу реки был взят передовыми отрядами соседней с нами 5-й ударной армии генерала Берзарина в ходе зимнего наступления. Все это время здесь ни на один день не утихали тяжелые бои. Гитлеровцы никак не желали примириться с мыслью о том, что в семидесяти километрах от Берлина, на этом берегу, уже находились советские войска. Днем и ночью они яростно контратаковали укрепившиеся на плацдарме части, но отбросить их за реку им так и не удалось.

Густые леса и зеленеющие рощи вдоль Одера сплошь забиты войсками. В них укрылись тысячи орудий и минометов различных калибров, танки, понтонные и инженерные части. На плацдарм они выдвигаются только ночью, строго соблюдая маскировку и очередность.

Настоящая жизнь на плацдарме начинается ночью. Мы выбираемся из блиндажей и укрытий, потягиваемся, с хрустом разминая суставы. Ходим по земле в полный рост, как до войны ходили люди, как они будут ходить после войны.

Тысячи и тысячи людей лопатами и кирками бесшумно роют землю. Глубоко зарываться нельзя: близко подпочвенные воды. На дне щелей и окопов тотчас выступает грязная, рыжеватая вода. Связисты опутывают плацдарм сотнями километров телефонного кабеля и всяких проводов, зарывая их в землю или подвешивая на тонких шестах.

Окопы роем неглубоко — до пояса. Потом нарезаем лопатами большие пласты дерна и обкладываем минометы полукругом до самых стволов. Еще затемно успеваем тщательно замаскировать результаты ночной работы ветками, травой и маскировочными сетями.

Днем над переправами высоко в небе появляются одиночные «юнкерсы» и «мессершмитты». Но сотни наших зениток тотчас закрывают небо над плацдармом такой плотной стеной разрывов, что фашистские самолеты вынуждены забираться еще выше и оттуда беспорядочно сбрасывать бомбы, которые не причиняют почти никакого вреда ни нашим войскам, ни переправам.

Вечером к нам в батальон пришли замкомандира полка по строевой Скобелкин и помощник начальника штаба капитан Смирнов, и все мы собираемся в блиндаже нашего комбата Бирюковича. Зимой в спешке немцы не успели ни взорвать, ни заминировать это уютное, с оклеенными обоями стенами, покры-

тым линолеумом полом и с хорошей вентиляцией сооружение, где ранее располагалось, видимо, гитлеровское начальство.

На днях начнется общее наступление. Наша 47-я армия входит в состав ударной группировки фронта. Кроме нас в этой группировке войска 3-й, 5-й ударных, 8-й гвардейской, а также двух танковых армий. Артподготовку будут вести два десятка артиллерийских и минометных полков, а также полков гвардейских минометов «катюш» и «андрюш». Силища невиданная — около трехсот стволов на километр прорыва! Такого никто из нас еще не видел за всю войну.

Высоко в небе пролетел снаряд. Разорвался где-то позади землянки. Потом еще, еще... Внезапный артналет немцев громом расколол тишину. Снаряды грызут землю, рушат наши окопы, щели.

Бирюкович встречает огонь с той особенной, невидимой постороннему настороженностью и деловитостью, которая постепенно вырабатывается у смелых, решительных людей на войне. Среднего роста, широкоплечий, круглолицый. Загорелое лицо его, словно заржавленное, постоянно имеет суровое выражение, скрывая доброту сердца и веселый нрав. Говорит всегда, и в стужу и в жару, чуть охрипшим голосом. В любой обстановке Бирюкович остается спокойным и рассудительным. И теперь, когда вражеские снаряды бешено молотят наши боевые порядки, комбат спокойно передает по телефону ротам ясные и строгие приказы.

Стены блиндажа судорожно вздрагивают от частых разрывов.

Артналет длится с полчаса. Прекращается он так же внезапно, как и начался.

На нашем НП сейчас дежурит Макашин. Мы с младшим лейтенантом Усковым сидим в узкой щели, прикрытой сверху плащпалаткой. Подсвечивая ручным фонариком, изучаем карту, полученную утром в штабе батальона.

Лист наискосок перерезала голубая лента Одера с дамбами, плесами, мысами, насыпями и отмелями. Населенных пунктов на нашем участке немного. В основном это небольшие немецкие деревушки: Прейсендорф, Мальдорф, а также Ной Левин, Ной Барним... В верхнем левом углу листа — города Газельберг, Хакельберг, Вельтен.

Рядом слышатся тяжелые шаги, сухой кашель.

— Тюрин, а де старший лейтенант?

— Здесь, в щели...

— Товарыш командир, вы туточки?

— Кто там?

— Це я, Цысь. Мы мыны прывезлы. Аж семеро повозок.

Мы с Усковым выбираемся из щели, отряхиваемся.

— Это хорошо, что привезли, Ефимович,— говорю я старому ездовому и тут же даю распоряжение Ускову организовать людей и быстро разгрузить повозки.

— Правильно, товарыш старший лейтенант, — одобрительно кивает Цысь.— До свитанку треба ще одною ходкою обернутысь. Там старшина Абдуллаев усе оформыв...

— Хорошо. Действуйте, Ефимович.

Трудно даже представить, сколько войск и техники сосредоточилось сейчас на плацдарме. Стоит отойти от наших огневых позиций на сто — двести метров, как сразу окажешься в окопах другого полка.

Позади, ближе к береговым дамбам и насыпям, расположились наши танкисты и самоходчики. Слабый ветерок тянет оттуда крутые запахи разогретого машинного масла и бензиновой гари.

Вплотную к отвесным стенкам рядышком стоят «тридцатьчетверки», самоходки, автозаправщики.

У крайних машин сгрудились солдаты — пехотинцы, артиллеристы и самоходчики. Слушают песню. Тихо наигрывает баян, поет чистый, молодой голос. Поет негромко, мечтательно, с душой, как поют только здесь, на фронте:

... О тебе мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой...

К поющему несмело присоединяются сразу несколько голосов, старательно и задушевно выводя каждое слово песни.

Выщербленная апрельская луна скользит по чужому небу, лениво купаясь в белесых полосах тумана. И уже другой, такой же молодой, чистый голос выводит:

Темная ночь,
Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают...

Потом несколько тех же голосов так же неторопливо, мечтательно и стройно поют «Огонек», «Спит деревушка», «Давай закурим», «Прощай, любимый город». Каждая песня — выражение сокровенных мыслей каждого, его воспоминания и надежды. Голос беспредельно тоскующей и любящей души.

Кончилась последняя песня. Шумно выдохнул воздух и затих баян. А солдаты долго еще стоят в темноте не шевелясь, задумчивые и серьезные, погруженные в свои мысли, тесно сомкнувшись плечом к плечу...

Тревожная, настороженная темнота окутывает плацдарм. Только если всмотреться как следует в темень, то тут, то там можно заметить редкие светлячки солдатских цигарок. Над передним краем зарницами полыхает ночь. Через окопы в наш тыл тянутся обрывистые нити трассирующих пуль.

На темном с красными потеками небе часто вспыхивают ракеты. Где-то на флангах взахлеб заливаются крупнокалиберные пулеметы.

Несмелый ночной ветерок тянет от Одера сырой прохладой, заставляющей ежиться и плотнее запахнуть ватники и шинели.

Ночь перед штурмом...

* * *

Перед рассветом заморосил мелкий дождь, густой, плотный туман, спустившись на землю, закрыл русло Одера. Небо слегка замутнелось на востоке, но на западе еще держится темная непогодная ночь.

Начало артиллерийской подготовки в 5.00, продолжительность — полчаса. Потом общая атака.

Затаилось, притихло все на плацдарме. Туман настолько плотный, что только вблизи можно различить неясные, расплывчатые силуэты самоходок и танков, тяжелых орудий и минометов, стоящих почти вплотную друг к другу — так тесно здесь великому скоплению техники и оружия.

Ожидание... В сознании солдата атака всегда начинается значительно раньше всесокрушающей артиллерийской вьюги. Так уж устроен человек: ожидание схватки всегда волнует, бередит душу и сжимает тревогой сердце у всех одинаково. И у бывалого пехотинца, уже не раз ходившего врукопашную, и у безусого новичка, только что прибывшего на войну. И у тех и у других одинаково. У тех, для кого эти тяжелые метры до вражеских окопов станут их последними шагами по земле, и у тех, кому сквозь яростный огонь врага будет суждено дошагать до Победы...

Дождь перестал.

С заодерских лесов подул несильный порывистый ветер, но он пока не в силах разогнать туман, словно приклеенный к сырой влажной земле.

Гитлеровцы нервничают. Их пугает темнота, неизвестность и необычная, настороженная тишина, царящая сейчас на плацдарме. Вот и сейчас, не успел наш пулеметчик выпустить в сторону неприятеля пару очередей, как тотчас темноту над ним прошила острая трассирующая очередь вражеского крупнокалиберного пулемета.

Через считанные минуты начнется получасовая артиллерийская подготовка с участием невиданного количества орудий и

минометов. Такого, кажется, не знала еще история войн. Три сотни стволов на километр фронта... А были ли на войне еще случаи, чтобы целой общевойсковой армии, как наша 47-я, с ее десятками тысяч закаленных и обстрелянных воинов, насыщенной до предела огромным количеством современного вооружения и техники, отводилась для прорыва полоса протяженностью всего четыре километра?

Последние минуты. Секунды... В редеющем молоке тумана продолжают вспыхивать ракеты.

— «Буря»!.. «Буря»!.. «Буря»!..

Повторяемые по телефонным аппаратам, рациям и выкрикиваемые громкими голосами слова сигнала покатились по широкой равнине, и тотчас водопадное шипение «катюш» сливается с оглушительными раскатами тысяч орудий в единый протяжный гром. Огненный шквал с оглушительным воем и грохотом в клочья разорвал тьму, расколол блеклое небо и бешено заплясал впереди, разметывая мягкую, влажную землю.

Задрожала и колыхнулась под ногами земля. Зазвенел, засвистел и завыл разрывами воздух. Светящийся купол предрассветного неба загудел, словно гигантский колокол. Закружилось, спеклось и побагровело небо, а внизу, на кипящей взрывами земле, бушует бескрайняя огненная река и брызги огня вихрятся все гуще и гуще, мерцая и пылая переливающимися огнями.

Вал катится вдаль, уходит за горизонт, затем возвращается назад. Десять минут, пятнадцать... А впереди все клокочет и бушует, и немецкие позиции наглухо закрыты тучами дыма и вздыбленной земли.

Минрота ведет огонь на средних установках прицела, дальность стрельбы — семьсот — восемьсот метров. Режим огня беглый. Когда прижмешь трубку поплотнее к уху, а другое наглухо зажмешь ладонью, чтобы прикрыться от адского воя и грохота, только тогда слышны громкие крики дублируемых команд на наших огневых. «Первый, очередь!», «Третий!..», «Пятый!..» И быстрое, торопливое чавканье вылетающих из стволов четырехкилограммовых мин.

Минометы работают с предельной нагрузкой — двадцать выстрелов в минуту. Три-четыре минуты такого огня, и стволы раскаляются чуть не докрасна. Наводчику же необходимо почти непрерывно удерживать ладонь поверх ствола, считать свои выстрелы, не допуская, чтобы в стволе встретились две мины — еще не вылетевшая из него и опускаемая туда новая. Тогда страшный взрыв разорвет ствол, и беда... Случаи такие у минометчиков бывали, особенно при таком бешеном режиме огня. Наводчики намотали на ладони всякое тряпье. Но раскалившиеся стволы

пышут таким жаром, что тряпки вскоре начинают тлеть и дымиться.

Чтобы немного поостыть, минометы поочередно на короткое время вынуждены прекращать огонь. Из девяти стволов приходится одновременно вести огонь шестью-семью. Временами переходить с беглого огня на методический, с некоторыми интервалами между выстрелами. Усков с огневых доложил, что за двадцать минут артподготовки минротой выпущено по позициям противника более тысячи мин.

Неподалеку от щели, где устроились мы с ротным телефонистом Тюриным, в уширении траншеи стоят наш комбат Бирюкович и комбат-три майор Аветисян. Мне видно, как Бирюкович щурясь, напряженно всматривается в сторону немецких позиций, где продолжает вихриться огонь. Крупные ноздри его хрящеватого носа жадно хватают холодный, наполненный пороховыми запахами воздух. Яркие вспышки освещают наклоненное, сосредоточенное лицо Аветисяна с темными впалыми щеками.

Вокруг все трясется, содрогается. С брустверов ручьями течет песок. А впереди, четко обозначив горизонт, бушуют и клубятся пляшущие языки огня. Одуряющий грохот разрывов заглушает немые, словно зарницы, вспышки стреляющих орудий.

Шесть пятнадцать...

Над нашими позициями взвились серии красных ракет — сигнал общей атаки. Разорванная вспышками залпов и брызгами ракет редеющая темнота стала кроваво-красной. Багровыми стали чудом уцелевшие кусты, пламенем заалели исковерканные взрывами стены и развалины. Темнота запрыгала, затряслась.

— Впере-е-ед!..

— Пошли-и-и!..

— Ура-а-а!..

Громкие выкрики и призывные команды доносятся слева и справа. Огневой вал уже успел укатиться к горизонту, в самую глубину немецкой обороны. И тотчас на левом фланге, в полутора — двух километрах от нас, ударил свет... Сначала один, длинный и узкий, словно клинок сабли, яркий луч встал вертикально, упершись острием в темно-багровый купол над плацдармом. Затем вспыхнули разом десятки других лучей. И все вокруг — и земля, и развалины построек, и спекшееся вверху небо — вспыхнуло, заиграло, заискрилось в сплошном, режущем глаза, слепящем, как солнечный диск, свете.

Вначале никто ничего не понимает, опешив от неожиданного, величественного царства огня и света. Окружающее кажется посеребренным, ослепительно-белым, неестественным и сказочным. И только теперь сквозь шум и грохот — крики: «Прожекторы!..», «Ослепляют врага!..», «Световая атака!..» Темнота, располосованная на части острыми лучами сильнейших прожекто-

ров, будто раскололась на отдельные клинья, и засвеченный передний край вражеской обороны сразу придвинулся, стал резче, отчетливей, ближе, доступней...

Пехота батальонов Бирюковича и Аветисяна одновременно вывалила из укрытий и стала быстро растекаться по ноздреватому от воронок нейтральному полю. Все шесть стрелковых рот перебежками и ползком двинулись вперед, скучиваясь на очень тесном участке атаки, поджимаемые с флангов своими соседями. Юркие, горбатые фигурки быстро бегут по полю, падая, снова подхватываясь с земли и устремляясь вперед. Орудийный грохот заметно стих, теперь уже отчетливо различаются отдельные орудийные выстрелы.

Пройдено сто метров, двести... И когда до развороченных снарядами кирпичных зданий Прейсендорфа осталось не более трехсот метров, вдруг заискрились частыми огоньками уцелевшие доты в стенах и подвалах домов. Откуда-то из-за деревни гулко ударили шестиствольные минометы «ванюши». Оглушительные разрывы мин «скрипачей» и многослойный огонь пулеметов кинул наших пехотинцев на землю, разметал их по полю, выкашивая в цепях наступающих промежутки-пролысины...

Сейчас никто не думает о том, каким образом удалось уцелеть после столь сокрушительной и убийственной артподготовки очень уж многим орудиям и огневым точкам врага, которые теперь яростно поливают атакующих, швыряя на землю убитых и не давая возможности подняться живым.

Мозг лихорадочно работает только в одном направлении: как помочь залегшей пехоте, что необходимо срочно, сейчас же сделать?.. Осколочными минами гитлеровцев ни за что не выкурить из каменных и бетонных укрытий... Приходит спасительное, единственно правильное решение: ослепить!..

Выхватываю у Тюрина трубку и что есть силы ору на огневые:

— Ваня! Усков! Есть там у вас еще дымовые?.. Хоть самая малость?.. Лежит наша пехота! Прижал ее, гад, наглухо... Слушай новые установки: веер параллельный!.. Прицел!.. Левее 0—40!.. Выпускайте все дымовые, что есть! Потом осколочными!.. Огонь!!

Время остановилось. Распластавшись на земле, пехота недвижимо лежит перед крайними домами Прейсендорфа, да так скученно, что почти каждый снаряд или мина неизбежно находит то одну, то сразу несколько жертв... Наконец, словно издалека, в трубке слышится голос Ускова:

— Готово! Ротой!.. Пять мин беглым!..

Развалины и подвалы Прейсендорфа продолжают извергать неодолимый ливень огня и металла. Но вот вмешалась в дело и наша артиллерия. Разрывы заплясали по окраине и разрушенным зданиям, расшвыривая высоко в небо груды камней, щебня,

бревна и доски. Окраина Прейсендорфа окуталась непроницаемой завесой буровато-красной кирпичной пыли. Один за другим умолкают гитлеровские пулеметы.

Сначала одиночные фигурки, но потом целые группки наших пехотинцев начали ползти вперед, приближаясь к деревне. Мы теперь ведем огонь по дворам и чердакам деревенских домов, но в тучах дыма и пыли почти не видно наших разрывов. Вот фигурки наступающих пехотинцев почти вплотную подобрались к крайним домам и снова остановились, пережидая, пока наши батареи перенесут огонь дальше, на центральные улицы Прейсендорфа.

Отсюда нам хорошо видно, как из немецкой траншеи, отрытой под самыми стенами домов и местами сильно обрушенной снарядами, высовываются десятки черных касок. Гитлеровцы из автоматов в упор бьют по залегшей перед ними пехоте. Снова хватаю трубку, кричу на огневые:

— Правее 0—30!.. Прицел!.. Беглый!..

Немцев уже заметили и наши артиллерийские наблюдатели. Над траншеей поднялся веер густых разрывов, полетели кверху какие-то темные кусты, каски, ящики... Наши мины довершают дело.

...Второй ряд проволочных заграждений. Снаряды сплошь перелопатили кругом землю, заплели колючую проволоку немыслимыми клубками. Руби, солдат, под адским огнем колючку, разводи концы ее в стороны! Кто-то валится на проволоку и остается висеть на ней, кто-то продолжает ползти вперед, пробираясь под острыми колючими нитями. Оставляя позади неподвижные фигурки убитых, пехота быстро проходит заграждения и, не задерживаясь на этом рубеже, наконец врывается на окраину Прейсендорфа.

Пробившееся сквозь завесу облаков багровое, неяркое солнце на короткое время осветило изуродованную вывернутыми пластами и исклеванную воронками землю, разбитые машины и орудия, чадившие костры догоравших самоходок, распростертые тела убитых... И снова торопливо спряталось за надвинувшимися тучами и густо-черными космами дыма.

Четыре часа дня...

Пройдена всего одна полоса вражеских укреплений — чуть больше километра. За целый день напряженного, жестокого боя... С громким, сухим шуршанием над нами проносятся тяжелые снаряды. Наша артиллерия продолжает обрабатывать вторую полосу вражеской обороны. В промежутки между разрывами вклинивается торопливая скороговорка пулеметов, очередями захлебываются «максимы», барабанной дробью престу-

киваются автоматы. В небе натужно прогудели стаи штурмовиков, ушедших поливать огнем подтягиваемые к плацдарму гитлеровские резервы.

Стрелковые роты и штурмовая группа Дегтяря ведут бой на улицах Прейсендорфа. Гремят отрывистые автоматные очереди, рвутся гранаты. Слышится надсадный рев двигателей самоходок.

Бой теперь раздробился на десятки очагов и гремит за каждый отдельный дом, каждое окно, уцелевший этаж или чердак, за каждую кучу развалин. Наши мины сейчас почти ничем не могут помочь пехоте: огневые точки врага надежно укрыты сверху, да и нет в уличном бою определенной, обозначенной линии переднего края. В оглушительной трескотне порой не разобраться, где уже наши, а где еще продолжают огрызаться гитлеровские автоматчики. Сейчас мы ведем непрерывный обстрел западной окраины и выходов из деревни.

Бирюкович со связными выбрался из траншеи и, махнув нам рукой, бежит вперед, к отбитым у гитлеровцев крайним домам. Командую на огневые новые установки прицела, чтобы не прекращать огня, пока мы будем в пути и снова не подключимся к линии, перемахиваю через бруствер и, петляя и спотыкаясь, обегая воронки и вывороченные глыбы земли, по полю несусь вперед, стараясь не потерять из виду комбата.

Переводя дух, оглядываюсь назад и вижу, как следом бежит Тюрин. Бежит он не как обычно, а — как это умеют делать бывалые телефонисты — спиной вперед, разматывая на ходу катушку, руками расправляя вьющиеся по земле провода. Тюрина сопровождает какой-то пехотинец, поддерживает, чтобы он не свалился в воронку.

Вот и первая улочка Прейсендорфа. Мощенная крупным булыжником мостовая сплошь исковеркана и перепахана снарядами. По сторонам — ни единого уцелевшего здания или постройки. Дымящиеся развалины домов, вокруг валяются каски, противогазы, порожние и набитые пулеметные ленты, стреляные гильзы, окровавленные бинты. Из темных проемов горящих домов выбиваются наружу блеклые языки пламени. Дым, гарь, копоть. На покореженных тротуарах — мертвецы в запорошенных известковой пылью, изодранных осколками грязно-серых мундирах.

Уцелевшая трансформаторная будка на краю деревенской площади. Толстые, растрескавшиеся от разрывов бетонные стены, сдвинутые с места, но удержавшиеся на опорах железобетонные плиты покрытия, цементный пол. Для НП лучшего места не выбрать.

Комбат с телефонистами уже здесь. Не отрываясь от карты, что-то громко кричит в трубку. Увидев в дверях нас с Тюри-

ным, Бирюкович кивает, показывая на оконный проем слева от него.

Тюрин устанавливает аппарат в углу и быстро подсоединяет концы проводов к клеммам. Продувает трубку и протягивает мне:

— Есть связь...

Беру трубку и, едва успев поднести ее к уху, слышу срывающийся, взволнованный голос Ускова:

— Слышите?.. Товарищ старший лейтенант!.. Алло, алло!..

Всем существом чувствую, что на огневых что-то стряслось. С силой нажимаю на клапан, стараюсь говорить спокойно:

— Слышу, слышу, Ваня! Говори медленней. В чем дело?

— ...Чикладзе и Баталов... убиты... одной миной... Миномет Баталова разбит...

— Что-что? Повтори!

Усков повторяет, но до меня уже дошел страшный смысл слов. Убиты двое командиров лучших расчетов минроты — отлично знавший свое дело, смелый, всегда и во всем честный, прекрасный товарищ и надежный друг, девятнадцатилетний грузинский паренек из Сухуми Ираклий Чикладзе и немолодой, опытный, суровый на вид, но добрейшего сердца человек, парторг и душа роты старший сержант Александр Иванович Баталов...

К горлу подступает горький комок, не дает дышать. Сажусь на подвинутую Тюриным каску, закрываю глаза. А в трубке хрипит и срывается голос Ивана:

— Алло, алло!.. Слышите?.. Убиты Баталов...

Нажимаю на клапан:

— Ну чего ты аллокаешь? Я все понял...

Кладу трубку и смотрю на Бирюковича. Он все еще говорит по телефону, одной рукой держа трубку, а другой что-то отмечая по карте.

— Иди теперь по левой стороне, Соколов!.. Учти, правая сторона чужая, понял? Там Дудецкий идет... Не зарывайся туда! Перемешаются люди, потеряешь управление... Тогда труба!.. А где Терехин?.. Сейчас иду к нему. Пошли связного, пусть встретит меня у кирхи... Все!

Комбат возвращает трубку телефонисту, поднимается с пола и, что-то сказав всегда сопровождающему его низкорослому казаху-автоматчику, направляется к выходу. Но выйти наружу они, к счастью, не успевают. По бетонному перекрытию и вокруг нашей будки часто закрахкали вражеские мины. Крепкое здание затряслось и загудело, как пустая металлическая бочка. С потолка посыпались мелкие камни и пласты штукатурки.

Следующая серия разрывов рассыпается далеко в стороне, и комбат с автоматчиком выбегают из будки.

Минрота сменила огневые позиции и расположилась в отбитых у немцев траншеях на окраине деревни. Мы продолжаем методический огонь по западной окраине и развилке шоссе за деревней, данные для стрельбы по которой готовим по карте. На развилке сейчас обязательно должно что-то передвигаться — либо подтягиваемые сюда резервы, либо покидающие Прейсендорф группы войск.

Будка уже наполовину заполнена ранеными. Они сидят и лежат на цементном полу. Некоторые молча, терпеливо дожидаются своей очереди, другие лежат, кривясь от боли, постанывая.

Всем распоряжается здесь санинструктор батальона старшина медицинской службы Надя Березина, Березка, как называют ее в полку. Высокая, стройная решительная девушка с смуглым, строгим, немного округлым лицом. Светлые пряди волос выбились из-под пилотки. Узкие красивые руки перепачканы кровью и йодом.

Наде помогают два пожилых санитара. Перевязывают раненого телефониста из роты Терехина. Надя проворно обрабатывает слепую осколочную рану на оголенном худом плече. Усатый санитар держит Надину сумку, отвлекает раненого:

— Временно оттелефонился, сынок... И телефон твой разбило?

— Куда там!..— морщится от боли раненый.— В щепки...

— Ничего. Теперь тебя в госпиталь увезут, поправишься. Без тебя фашиста добьем...

Другой раненый, молодой паренек, перетянув локоть поверх гимнастерки куском плащ-палатки, дожидаясь перевязки, скалит мелкие, удивительно белые зубы:

— Рука — это что, была бы голова цела!

— Правильно,— басит кто-то из темного угла.— А то нашего брата без запчастей выпускают... Оторвет голову — потом на чем будешь пилотку носить?

Тихонько пересмеиваются. Когда унывал русский солдат?

В будке появляются санитары с носилками:

— Березка! Покажь, кого первого брать.

— Берите вот этого сержанта и этого солдатика. Да несите поосторожней, ранения тяжелые!

— Доставим в лучшем виде. Как в фаэтоне...

Бирюкович возвращается уже затемно. Хмурый, злой. Молча проходит в наш угол, тяжело опускается на мою расстеленную шинель.

— Красиков тяжело ранен, Терехин контужен... Сейчас там один Соколов со взводными управляется.— Комбат говорит тихо, невидяще глядя куда-то поверх моей головы.— Потери...

Он сокрушенно машет рукой, потом показывает знаком, прося закурить. Протягиваю ему измятую пачку папирос, зажигалку.

Комбат долго разминает пальцами папиросу, прикуривает. Делает несколько глубоких затяжек.

Стрельба в деревне почти стихла.

Над пепелищами и развалинами зданий часто вспыхивают ракеты, и тогда вокруг нашей будки пугливо разбегаются в стороны черные кривые тени. На флангах устало, с ленцой переговариваются пулеметы, глухо потрескивают короткие автоматные очереди.

Тюрин расстилает на полу плащ-палатку, на середину ставит вещмешок. Развязывает тесемки, выкладывает банку тушенки, полбуханки черного хлеба, кладет рядом полную флягу. Затем эсэсовским кинжалом вспарывает банку, большими ломтями нарезает хлеб, ставит алюминиевую кружку.

Морщась, словно от зубной боли, Бирюкович отодвигает от себя тушенку, тянется за флягой и кружкой. Мне тоже не хочется есть. Комбат наливает кружку до краев и протягивает мне.

Словно кипяток обжигает горло, но облегчения не приносит. Комбат наливает в кружку себе, выпивает водку большими глотками, вытирает губы тыльной стороной ладони.

Потом молча курим в темноте, почувствовав только сейчас, как смертельно устали за этот проклятый день...

В полночь позвонил командир полка.

— Послушай, «девятый»!.. На твоем участке у немцев осталась какая-то пара паршивых улиц. И ты терпишь такое? Утречком кровь из носу, а этими улицами овладей... Ты меня понял?

— Понял. Попробую.

— Не «попробую», а взять! И баста!

Голос у подполковника громкий, резкий. Вытянув ноги, я сижу рядом с комбатом, и мне хорошо слышен их разговор. В трубке слышно, как Зайцев с кем-то ругается. Потом, помолчав, уже более спокойно спрашивает комбата:

— Славян много потерял?

Бирюкович не ответил. Вздохнул тяжело-тяжело.

— Ясно,— сочувственно говорит подполковник.— Донесение твое мне только что принесли...— Он помолчал, затем откашлялся.— У тебя еще ничего, по-божески. А вот сосед твой, «десятый»,— так тот, стервец, потерял чуть не половину хозяйства.

«Десятый» — это майор Аветисян, комбат-три.

С минуту молчат. Потом Бирюкович усталым, словно чужим голосом говорит:

— Один такой день — и у меня тоже не больше взвода останется...

— Да, памятный выдался денек. Войдет в историю...— Зайцев тихо чертыхнулся, засопел.— В общем, на утро ты задачу получил, так что действуй. В полдень ждем от тебя донесения, что улицы твои.

— Ясно...

Однако выбивать немцев из оставшихся в руках улиц Прейсендорфа нам не пришлось. В четвертом часу утра последовал приказ: полк отвести в армейский резерв.

Передаем позиции и наведенную нами телефонную связь двум батальонам соседнего полка и под покровом темноты уводим своих людей обратно на исходные позиции, с которых вчера начинали наступление.

* * *

С шести часов утра снова задрожала приодерская земля. Снова громовые раскаты сотен орудий, торопливые шипящие залпы «эрэсов». С воздуха плацдарм надежно прикрыли наши истребители. Высоко в небе плывут эскадрильи «петляковых» — понесли бомбовый груз на вражеские тылы и скопления гитлеровских войск.

Ровно в восемь собираемся в блиндаже Бирюковича. Объявили сводку: прорвана вся первая, а местами и вторая линии вражеской обороны. Продвижение за сутки составило три — пять километров... Взяты немецкие опорные пункты — Хайнрикендорф, Ной Барним, Грос Барним, Прейсендорф.

Сопротивление врага растет. Противник ввел в действие отборные части и соединения. Многие из них укомплектованы членами нацистской партии, курсантами пехотных и военно-морских училищ, членами гитлерюгенда. Эти части сражаются с фанатичным упорством и ожесточением. Требуются огромные усилия, чтобы выкуривать их из укреплений, последовательно отвоевывать у них дом за домом, квартал за кварталом, километр за километром.

У гитлеровцев вполне современные, надежные укрепления, много танков, самоходок, артиллерийских и минометных батарей. Каждый дом, каждая улица в населенном пункте, каждый километр на местности стоит нам больших жертв.

Ночью батальон вливается в общую полковую колонну и вместе с ней следует за продвигающимися вперед частями первого эшелона дивизии. В густой темени, по разбитым дорогам, марш проходит очень медленно. Колонны часто останавливаются, наши саперы подолгу ищут пути в обход часто встречающихся минных полей. И снова идем в темноте по изуродованному воронками шоссе, обтекая попадающиеся на пути сожженные «тигры»,

«пантеры», обгоревшие скелеты грузовиков, легковых машин, разбитые тягачи и тяжелые орудия. На прошитых пулями и осколками дорожных указателях — черным по желтому: «Берлин 54 км», «Врицен 4 км»... Кругом темнеют целые кладбища уничтоженной вражеской техники — результаты меткой работы наших «катюш» и штурмовиков.

На рассвете колонна останавливается. Батальоны разводятся по обеим сторонам шоссе. Повторяемая многими голосами, по цепочке передается команда:

— Командиров батальонов в голову колонны!

Я вижу, как Бирюкович, придерживая на ходу планшетку, бежит вперед, куда только что проехали обогнавшие нашу колонну «виллис» комдива и бронетранспортер с солдатами охраны.

Возвращается комбат через полчаса, сразу собирает командиров. Объявляет приказ: полк снова выходит в первый эшелон. Ближайшая задача — вместе с подошедшими сюда другими частями овладеть Вр810иценом. Последующая — преследовать отходящего на запад противника в общем направлении Штайнбек — Лойенберг.

Шоссе, петляя, выводит нас из редкого соснового леса, и, когда колонны вытягиваются из него и поднимаются на пригорок, впереди, километрах в двух, в сизой дымке показываются окраинные дома Врицена.

В городе уже гремит бой. Наши соседи — батальоны 143-й дивизии зацепились за группу кирпичных строений винокуренного завода и ведут уличный бой, отбивая у гитлеровцев одно здание за другим.

Пехота ускорила движение, и, когда до крайних домов остается с полкилометра, роты расходятся по полю широкими цепями. Звуки боя становятся отчетливее. Трещат автоматные очереди, хлопают разрывы гранат. Вместе с пехотинцами Аветисяна наши роты втягиваются в две параллельно идущие улицы, прочесывая одноэтажные домики дачного пригорода, продолжая продвигаться к сереющим впереди громадам многоэтажных домов.

Возле дома, крыша которого начисто снесена снарядами, в палисаднике с аккуратными рядами расцветающей сирени, мы с Тюриным поджидаем роту. Напротив горят два небольших дома, и рыжеватый дым низко стелется над землей.

Наконец из-за поворота появляются идущие ускоренным шагом солдаты с разобранными на части минометами на плечах.

— Наши! — кричит мне Тюрин.

Подбегает с потным, раскрасневшимся лицом Усков, и я приказываю ему занимать огневые позиции прямо в палисаднике

с общим направлением стрельбы на виднеющийся впереди острый шпиль кирхи. Потом с Тюриным заворачиваем за угол большого дома, где несколько артиллеристов, хватаясь за станину и колеса, устанавливают орудие на прямую наводку, и вбегаем во двор.

Через пролом в торцевой стене протискиваемся внутрь здания и, перепрыгивая через кучи щебня, взбегаем наверх по уцелевшей металлической лестнице. На лестничной площадке, на груде битого кирпича, сидит Бирюкович. На коленях развернута карта. Рядом, наклонившись к карте, стоит Терехин. Голова забинтована, перепачканный известью защитного цвета ватник расстегнут, из-за голенища торчит черная рукоятка пистолета. По ступеням, разматывая змейку ядовито-желтого провода, поднимаются двое телефонистов.

— Ничего себе городишко, Врицен чертов! — громче обычного говорит Терехин, тыча пальцем в середину карты, где огромным пауком расползлись черные квадратики городских кварталов.

— Да-а, дела-а... — спокойно тянет Бирюкович. — Махина...

Здание, куда мы вбежали, старинной постройки. Стены выложены из красного прессованного кирпича, крепкого, как бетон. У оконных проемов расположились автоматчики из роты Терехина и штурмовой группы Дегтяря. Двое солдат в крайнем проеме устанавливают трофейный МГ-34, заряжаемый не дисками магазинов, как наши ручники, а патронными лентами, как «максимы». Солдаты торопятся, незлобиво переругиваясь. Установив пулемет, они расстилают на усыпанном битой штукатуркой полу длинные, красивые пулеметные ленты.

Заложив ленту, один из солдат, низенького роста, с курносым, усыпанным веснушками безбровым лицом, прилаживает приклад к плечу, куда-то целится и нажимает на спуск. Пулемет трясется в его руках, плюясь частым огнем.

Когда Тюрин устанавливает связь с огневыми, мы сразу же начинаем пристрелку. Я устраиваюсь у широкого окна рядом с пулеметчиками.

В конце мощенной брусчаткой широкой улицы видна площадь, по которой перебегают темные фигурки гитлеровцев. В районе памятника посреди площади выбираю ориентир и передаю на огневые:

— Первому!.. Одной миной!..

Пристрелочная мина рванула на тротуаре в самом конце улицы. Делаю поправку на недолет и повторяю выстрел:

— Правее 0—30, прицел!.. Одной миной!..

И когда у подножия памятника в сером дымовом клубке блеснул разрыв, кричу в трубку что есть силы:

— Ротой!.. Пять мин беглый!.. Огонь!!

Вокруг памятника и вправо по площади широким, клубящимся веером брызнули разрывы. Когда дым сносит немного в сторону, вижу, как на площади заметались серые фигурки. Потом мы продолжаем беглый огонь по площади, сопровождая каждый залп небольшими скачками прицела, чтобы прочесать площадь во всю ее длину.

Вбежавший в комнату Дегтярь с ракетницей в руке бросается к соседнему окну и выпускает в сторону стоящего наискосок через улицу дома красную ракету.

Пехота, очистившая от немцев здания слева и справа от нас, бросилась к обозначенному ракетой дому, но тотчас отпрянула назад, напоровшись на огонь вражеских пулеметов. Тут же заговорили «максимы» и «дегтяревы» на верхних этажах дома.

По зданию с колоннами, где укрепились гитлеровцы, прямой наводкой ударило стоящее на углу орудие. Снаряды с грохотом рушат простенки, влетают в зияющие чернотой окна и гулко рвутся внутри помещений. Почувствовав, как сразу ослаб огонь гитлеровцев, автоматчики Дегтяря бросаются через улицу и врываются в здание.

Мне хорошо видно, как, прижимаясь к стенам домов, по тротуарам перебегают наши пехотинцы и пули высекают искры у самых их ног. Некоторые падают и остаются лежать на асфальте. Другие, не обращая внимания на сильный огонь, продолжают бежать вперед. Вот передние фигурки солдат достигли угла и по одному скрываются из виду.

...Со стороны площади слышится низкое, натужное урчание моторов. Вражеские пулеметы и орудия разом прекращают огонь. Люди настороженно выглядывают в проломы и окна, с тревогой вслушиваются в приближающийся тяжелый гул и лязг.

— Танки!..

Два «тигра» и следующая за ними тяжелая самоходка движутся по правой стороне улицы. На верхних этажах начали рваться снаряды стреляющей на ходу самоходки. Стены дома сотрясаются, словно при землетрясении. Горячая волна воздуха вместе с запахами жженой серы врывается внутрь комнаты.

На угол нашего здания обрушивается настоящий град снарядов, и вся эта часть дома с грохотом обрушивается до самого первого этажа. Здание раскачивается, словно корабль во время бури. Кажется, само небо обрушилось на нас...

— Где же артиллеристы, туды их!..— цедит сквозь зубы Терехин, выплевывая набившуюся в рот кисловатую пыль.

Бирюкович уже в нашей комнате. Стоит в полный рост у пролома, выглядывает наружу, кричит:

— Орлы! Давай противотанковые!..

«Тигры» и самоходка медленно приближаются, плюя на ходу прицельным огнем из длинных, с широкими набалдашниками пламегасителей пушек. После каждого разрыва появляются раненые и убитые. Едкий пороховой дым слезит глаза, перехватывает дыхание.

От угла дома по фашистским танкам ударило наше орудие. Оно успело выстрелить всего дважды. Передний «тигр» остановился, бабахнул снарядом. Кверху полетели куски колес, осколки булыжника. У развороченного орудия остались лежать два трупа. Уцелевшие и раненые бойцы расчета расползаются по укрытиям. Покончив с орудием, «тигр» снова двинулся вперед — тяжелый, страшный, самоуверенный. Камни мостовой оседают под ним. Мотор ревет зверем...

Несколько противотанковых гранат почти одновременно летят из окон в сторону «тигров». После сдвоенных оглушительных взрывов передний танк сразу же останавливается. Потом внутри раздался глухой взрыв и из башни и смотровой щели повалил черный дым.

— Один спекся! — радостно кричит кто-то сверху.

Второй «тигр» натужно взревел мотором и крутнулся на месте, выворачивая гусеницами большие гладкие камни мостовой. В бок ему ударили сразу несколько наших противотанковых пушек. В клочья разлетелись гусеницы. Сноп искр брызнул по башне. Еще выстрелы. «Тигр» вспыхнул факелом. Пулеметы сверху ударили по пытавшимся выбраться из люка танкистам. Тут же ярко вспыхнула и взорвалась самоходка. Оглушительный грохот, гарь, дым, горькие запахи соляра и горящей резины.

Словно ожидая этого момента, по площади и домам за нею заиграли наши «катюши». Улица заполняется бегущими пехотинцами. Три наших самоходки выныривают из-за угла и на большой скорости устремляются к центру города.

Бой гремит не стихая до позднего вечера. Особенно упорное сопротивление гитлеровцы оказали на западной окраине города. Многочисленные группы их при поддержке танков часто переходили в контратаки. Наши «эрэсы» мощными залпами подавляли очаги сопротивления врага, расчищая путь пехоте.

На окраине Врицена, когда бой уже заканчивался, снарядом из «фердинанда» был убит командир штурмовой группы капитан Дегтярь. Немного раньше пуля немецкого снайпера сразила нашего минометчика русоволосого, голубоглазого крепыша из Донбасса Семена Пилипчука...

И снова мы на марше. На шестой день наступления, 21 апреля, соединения нашей армии наконец прорвали немецкую оборону на всю ее глубину, овладели крупными городами Бернау, Циперник, Шёнов и Бух. Вырвавшись на оперативный простор, полки устремились вперед, охватывая Берлин с северо-запада.

* * *

Весна в этих краях вошла в полную силу. Вокруг все в зелени, в цвету. Однако ничто здесь не напоминает родных мест. Все другое, не наше.

По дорогам пешком, на велосипедах, в фургонах и допотопных каретах, большими толпами и малыми группами идут, едут, спешат с востока на запад и с севера на юг люди. Над каждой группкой развивается самодельный флажок какого-нибудь европейского государства. По ним мы с большим трудом распознаем бельгийцев, французов, поляков, югославов... Идут, одетые кто во что, бывшие рабы фашистской Германии, получившие долгожданную свободу из рук советского солдата. У многих на груди или на рукаве алые ленточки. Приветствуют свою освободительницу — Красную Армию.

Кажется, вся Европа, освобожденная нашими солдатами из лагерей, шахт, штолен, каторжных карьеров и фабрик смерти, двинулась сейчас по дорогам Германии к открывшейся перед ней новой, счастливой жизни.

Стоит колоннам только остановиться, как солдат тут же обступают огромные толпы изможденных, худых, но несказанно счастливых от обретенной свободы людей самых различных национальностей. Приветливые, радостные лица, теплые, искренние улыбки, объятия, поднятые в пролетарском приветствии крепко сжатые кулаки:

— Рус, рот фронт!

— Рус! Карош! Спасиба!..

— Вива Сталинград!..

— Нех жие Москва!..

Многие рыдают, не стыдясь своих слез. Разве стыдятся счастья? Обнимают и целуют наших солдат и офицеров. И надо самому увидеть в эти минуты стоящего в окружении восторженных людей нашего советского солдата. Синцов, Каримов, Цысь, Тюрин, Иконников, Слепцов... Каким счастьем, какой добротой и нежностью к этим людям светятся их глаза! Как смущаются и робеют они от всеобщего внимания и восхищения ими всех этих людей, которых они, русские, советские солдаты спасли от верной гибели!

На привале перед самым Вансдорфом подполковник Проценко с кузова армейского грузовика громко зачитывает тесно обступившим машину солдатам обращение Военного совета фронта:

«...Перед вами, советские богатыри, Берлин. Вы должны взять Берлин, и взять его как можно быстрее, чтобы не дать врагу опомниться... На штурм Берлина! К полной и окончательной победе, боевые товарищи!»

Обращение подписали Жуков, Телегин, Малинин.

Колонны, колонны... Пехота, танки, артиллерия, «катюши», автомашины, самоходки. По всем дорогам, по всем улицам. Все за-

бито потоком людей, оружия, техники. И никакой силе не остановить, не повернуть вспять этот могучий поток. Кажется, на запад двинулась вся наша великая многомиллионная Советская страна.

Вперед, вперед!

На рассвете 26 апреля части нашего корпуса врываются на северную и западную окраины Шпандау — западного пригорода Берлина.

То разгораясь, то на время стихая, бой гремит за каждый подвал, этаж, чердак.

Мы с Тюриным сидим на балконе одной квартиры на четвертом этаже огромного, во весь квартал, дома, корректируем огонь минроты. Отсюда хорошо виден широкий бульвар с фонтанами, скульптурами и садовыми скамейками, дорожками и аллеями, обсаженными декоративными кустами и деревьями. Бульвар сплошь изрыт траншеями и окопами, в которых засели гитлеровцы. Много врытых в землю до самых башен танков, превращенных в орудийные огневые точки.

Подвязав к голове бинтом трубку, чтобы меньше уставала рука, Тюрин сидит в углу балкона, по-восточному поджав ноги,— по телефону дублирует мои команды на огневые. Ограждение балкона сплошное, надежное, и пули бессильно клюют бетонную стенку, отковыривая от нее только мелкие осколки бетона.

Наше продвижение по улицам Шпандау идет медленно. Пехоте и штурмовым группам приходится преодолевать ожесточенное сопротивление врага, подавлять десятки огневых точек, расположенных за толстыми стенами громадных зданий, в бетонных подвалах домов и в бронеколпаках на каждом перекрестке улиц. С особым упорством дерутся эсэсовцы — этим-то терять нечего! Отдельные дома, в которых они засели вместе с другими матерыми фашистскими головорезами, держатся дольше других, гарнизоны их сопротивляются ожесточенней, до последнего. Дело часто доходит до яростных рукопашных схваток, в которых, как правило, победителем выходит наш солдат.

Удивителен высокий боевой дух, необычайное мужество и презрение к смерти, с которыми дерутся советские воины здесь, в западном предместье Берлина. Среди штурмующих множество раненых, которые продолжают сражаться и ни под каким видом не желают отправляться в тыл. В цепочках атакующих много людей с забинтованной головой, перевязанной рукой или ковыляющих, опираясь на приклад карабина или автомата, но устремленных вперед, навстречу врагу. В клубах дыма и пыли тут и там мелькают потные, возбужденные лица, сверкают ослепительной белизной повязки.

...Мне пришлось видеть раненного в голову и левую руку сержанта-пехотинца, зубами выдергивающего чеку и одной рукой забрасывающего засевших в подвале гитлеровцев грана-

тами, которые подавал ему лежавший рядом раненный в обе ноги боец...

Мы ведем редкий, беспокоящий огонь по бульвару и прилегающим к нему улицам. Беглым больше бить не можем: мин на огневых осталось немного. Из дома напротив, до верхних этажей уже очищенного от гитлеровцев, звонит комбат. Голос с хрипотцой, недовольный:

— Что, Щербань? Опять на бобах сидим?

— Пока на бобах. Скоро повозки должны подойти...

— Беда с вами, самоварниками. Когда как раз огонек нужен, вас лошади подводят...

Бирюковичу вовсе не хочется нас ругать. Да, кажется, и не за что. Брюзжит он сейчас так, для порядка. Вот уже спокойнее спрашивает:

— Может, сможешь еще фонтан накрыть, ребятам помочь?

Я быстро высовываюсь из укрытия и смотрю в сторону фонтана. Мысленно прикидываю до него расстояние, угол доворота.

— На фонтан найдем. Один залп...

— Вот и лады! — повеселел комбат. — Крой по нему последними и можешь прикрывать свою лавочку, пока подвезут «огурцы». Действуй!

Передаю на огневые:

— Прицел!.. Левее 0—60!.. Пять мин, беглый!..

И с нетерпением ожидаю разрывов. Последние мины...

На миг поднимаю голову над перилами и успеваю увидеть, как десятки дымовых клубков заплясали огоньками вокруг бетонного кольца фонтана. Порядок!

Потом вызываю на НП Макашина, чтобы самому сходить на наши огневые и как-нибудь ускорить подвоз боеприпасов. Когда приходит Андрей — как всегда, подтянутый и очень серьезный, — передаю ему таблицы стрельбы и блокнот с записями установок прицела по целям. Спрашиваю:

— Повозки не прибыли?

— Пока не видно...

Пригнувшись, прохожу через две большие комнаты и по широкой, устланной толстой ковровой дорожкой лестнице сбегаю вниз.

Во дворе большого пятиэтажного дома, рядом с которым в скверике стоят на огневых наши минометы, автоматчики выстраивают большую группу пленных. Много здесь совсем безусых юнцов из гитлерюгенда и глубоких стариков из фольксштурма. Хмурые, обросшие лица, грязная, обтрепанная одежда, безучастный, отрешенный взгляд людей, окончательно покорившихся своей судьбе. Под стеной дома свалены в кучи винтовки, карабины, автоматы, каски и фаустпатроны.

В углу двора густо, словно пароход, дымит наша полевая кухня. Повар батальонного хозвзвода Слепцов — огромного рос-

та, усатый, румянощекий, с поварским колпаком на голове и закатанными по локоть рукавами — наполняет термосы посланцам от рот. Вокруг кухни, пристроившись с котелками кто на чем, обедают наши солдаты.

Из ближнего подъезда выходит коренастый старшина-пехотинец с несколькими медалями и нашивками за ранения на широкой груди. На руках старшина несет белоголового мальчугана лет трех и за руку ведет худенькую девочку лет шести. Следом, прижав к губам платок, несмело шагает очень худая, совершенно седая немка в длинном осеннем пальто и шлепанцах на босую ногу.

Старшина подходит к кухне, опускает на землю мальчика. Говорит Слепцову:

— Куприяныч, давай корми ребятишек! Все равно у нас сегодня излишки будут...

Слепцов, хмурясь, оглядывает детей, долго смотрит на пугливо выглядывающую из-за плеча старшины женщину. Тяжело вздохнув, идет к передку, достает оттуда два круглых котелка. Потом черпаком наполняет их до краев. Старшина принял от повара котелки, один передает женщине, второй осторожно подает девочке.

С котелком в руке женщина еще какое-то время, растерявшись, стоит на месте, испуганно глядя на большого, усатого русского солдата. Потом быстро наклоняется к девочке и что-то шепчет ей на ухо. Девочка тотчас приседает перед Слепцовым, едва слышно лепечет:

— Данке шён...

Круглое, румяное лицо Слепцова светлеет. Он расправляет усы, кивает большой головой:

— Ешь на здоровье, кроха!

Старшина жестами что-то объясняет немке, показывая рукой то в сторону дома, то на кухню. Улыбается. Обрадованная немка что-то благодарно говорит старшине, потом быстро уводит детей в подъезд.

Минут через десять возле кухни Слепцова выстраивается длинная очередь жителей с кастрюлями, мисками, котелками и даже с консервными банками. Слепцов проворно и с видимым удовольствием работает черпаком. Его напарник тут же выдает каждому по большому ломтю хлеба.

Стоящие в строю пленные молчаливо, исподлобья поглядывают на толпящихся у кухни женщин, детей, стариков.

Поздно вечером в Шпандау подавлен последний очаг сопротивления гитлеровцев.

Дым, смрад, копоть.

Тишина.

Нами не взята еще цитадель — средневековая германская крепость на берегу канала. За высокими крепостными стенами укрылось несколько тысяч гитлеровцев, продолжающих ожесточенно сопротивляться. Их тяжелые орудия, стоящие в крепости, обстреливают мосты через реку Хавель и очищенные нами кварталы жилых домов Шпандау.

Брать крепость штурмом наше командование признало нецелесообразным. Неразумно губить сейчас, в самом конце войны, наших людей и мирных берлинских жителей из-за горстки фашистских маньяков.

Предложение о капитуляции фашистское командование отклонило и сложить оружие отказалось. Рано утром в расположение нашего полка прибыл обер-лейтенант с белым флагом в руках. Однако не для того, чтобы сообщить о согласии гарнизона на капитуляцию, а с просьбой коменданта крепости, чтобы ему, офицеру, разрешили бы связаться по нашему радио с командованием одной из действующих частей и узнать, не предполагается ли всеобщая капитуляция.

Разрешения такого обер-лейтенанту, разумеется, не дали, и ему было объявлено, что, если к трем часам дня от командования цитадели не последует ответа с согласием на безоговорочную капитуляцию гарнизона, мы больше не будем вступать с ними в переговоры и незамедлительно начнем штурм крепости. Офицеру официально был вручен ультиматум за подписью командира нашей дивизии Героя Советского Союза генерала Соловьева.

Парламентер с двумя сопровождавшими его солдатами возвратились в крепость.

Идут часы...

Во втором часу дня поступает приказ артиллерии, минометам и штурмовым группам быть готовыми к штурму цитадели.

Бирюкович с командирами рот стоит у широкого окна и сквозь тюлевую занавеску смотрит в сторону крепости.

— Неужели до них, сволочей, не доходит, что теперь-то уж сопротивляться глупо? — возмущается командир пулеметной роты Малафеев. — Ведь разнесем же к чертовой матери эту их цитадель в пух и в прах!

— Известно, фашисты, товарищ капитан, — говорит сидящий у аппарата телефонист с орденом Славы и двумя медалями «За отвагу» на груди. — Им теперь все равно, что в огонь, что в петлю.

— Обидно все же, что придется снова под пули лезть из-за каких-то идиотов, задумчиво говорит Бирюкович. — И потом, сегодня же Первое мая...

О празднике мы забыли!

Ровно в 15.00 от ворот крепости отходят двое с белым флагом: комендант крепости — пожилой оберст и его заместитель. Потом из ворот стали выходить колонны безоружных солдат и офицеров, фургоны с ранеными.

Гитлеровский гарнизон крепости Шпандау капитулировал.

...А на рассвете, в начале пятого утра, все полки дивизии были подняты по тревоге. Через реку Хавель прорвалась группировка гитлеровских войск численностью до двадцати тысяч человек с танками, самоходками, артиллерией и многоствольными минометами.

Смяв наше боевое охранение, немцы теперь быстро продвигаются в западном направлении на соединение с главными силами, отступающими к Эльбе.

Пехотинцы быстро заняли позиции на всех этажах окружающих домов. Окна и балконы ощетинились стволами автоматов, пулеметов, набалдашниками трофейных фаустпатронов. На перекрестках расставлены орудия и противотанковые пушки. Стволы недвижимо уставились в туманную мглу, за мост через Хавель-Кляйн.

Первая колонна прорвавшихся гитлеровцев на нашем участке появляется без десяти пять утра. Ее встречает губительный огонь наших орудий и пулеметов, ударивших по плотной колонне в упор, с близкого расстояния. Через минуту мост сплошь завален горами трупов гитлеровских солдат, среди которых множество солдат в черных шинелях и мундирах — эсэсовцы. Задние ряды в панике отхлынули за мост.

Проходит всего несколько минут, и на мост, давя гусеницами раненых и расплющивая тела убитых, один за другим вырвались шесть танков. Передним, басовито ревя двигателем, полз «тигр».

Застучали, забрызгали частым огнем по танкам наши скорострельные пушки. «Тигр» густо задымил и, тяжело развернувшись на одной гусенице, застыл поперек моста, перегородив путь другим фашистским танкам.

Следом вспыхнул факелом и взорвался шедший последним танк, и от адского грохота и ударной волны задрожали стены окружающих зданий, зазвенели стекла по асфальту, ватой заложило уши.

Мост окутался черными клубами дыма, и что там творится сейчас — не разобрать. Только когда дым сносит немного в сторону, становится видно, как на мосту горят все шесть гитлеровских танков.

Путь прорвавшимся на нашем участке был прегражден.

Однако, не отвечая на наш огонь, словно обезумевшее от страха стадо, гитлеровцы остервенело прут прямо на наши орудия и пулеметы, устилая путь десятками трупов своих солдат.

Ценой огромнейших потерь отдельным группам гитлеровцев удалось прорваться чуть не до Премница. Но дальнейший путь им преградили танкисты 9-го гвардейского корпуса и дивизионы «эрэсов». Наши «илы» завершили разгром прорвавшейся группировки с воздуха.

Вечером 2 мая мы покидаем Шпандау. Полки, свернувшись в походные колонны, ускоренным маршем двинулись на запад.

Вперед, вперед!

Следуя за быстро продвигающимися вперед танками приданного танкового корпуса, вечером 3 мая мы почти без боя проходим Науэн, расположенный в пятнадцати километрах западнее Берлина. Более серьезное сопротивление советским наступающим частям гитлеровцы оказывают лишь на главных улицах Ратенова, большого города в двадцати километрах от Эльбы. После двух залпов наших гвардейских минометов пехота быстро разделывается с вражескими опорными пунктами в разных районах города, и батальоны, не задерживаясь в Ратенове, устремляются вперед.

Вперед!

Чем ближе к Эльбе, тем больше на нашем пути попадается брошенного бегущими фашистами оружия, снаряжения, техники. Шоссейные и грунтовые дороги забиты тысячами грузовиков, бронетранспортеров, тягачей, мотоциклов всех марок, танков. Очень многие машины вполне исправны. На дорогах и обочинах множество легковых машин, доверху нагруженных добротными чемоданами и саквояжами и конечно же поспешно покинутых своими владельцами.

Вперед, вперед!

...Когда в пыльном мареве показывается широкая синяя лента Эльбы, наши передовые наблюдатели и разведчики замечают на том берегу интенсивное передвижение войск. Среди них много танков и самоходок. Вдоль реки двигаются длинные колонны грузовых машин и бронетранспортеров.

Противотанковые батареи, батареи дивизионных и полковых орудий и минометные роты тотчас разворачиваются вдоль шоссе и изготавливаются к бою.

Примчавшийся на мотоцикле капитан — офицер связи штаба дивизии — передал срочное распоряжение:

«...Союзные американские войска, их передовые механизированные части вышли на левый берег Эльбы на участке: Фишбек — Нойермарк — Клиц... В соответствии с договоренностью с американским командованием, советским частям и соединениям немедленно прекратить огонь всех огневых средств в этом районе...»

6 мая сорок пятого года. Незабываемый полдень!

По обочинам дорог плетутся в наш тыл серые колонны пленных. Грязные, смертельно уставшие, обросшие многодневной щетиной, они устало бредут на восток. И в этом был великий, справедливый смысл: идут на восток, куда они когда-то отправились по воле сумасшедшего фюрера за жизненным пространством — грабить чужие страны и порабощать другие народы...

От левого берега Эльбы в нашу сторону направляются десятки облепленных американскими солдатами быстроходных катеров, самоходных речных барж, резиновых надувных, весельных и моторных лодок. Американцы, среди которых много негров, что-то громко кричат нам, свистят, палят в синее небо из короткоствольных автоматов, бросают высоко вверх пилотки и каски.

До подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии оставалось еще два дня. А для наших полков война была уже окончена!

...Стрелковые батальоны, артиллерийские и минометные батареи выстроились в линию на опушке леса, вплотную подступившего к песчаному берегу Эльбы.

Перед строем, немного впереди ровных шеренг, стоят противотанковые пушки, дивизионные орудия, полковые и батальонные минометы. На начищенные, блестящие на майском солнце стволы надеты надульные чехлы.

Счастьем сияют усталые солдатские глаза. Радостью и необычайной гордостью светятся запыленные солдатские лица...

Это победа!

КОНСТАНТИН
СИМОНОВ

НЕЗАДОЛГО ДО ТИШИНЫ

ИЗ ЗАПИСОК
1945 ГОДА



30 апреля — 10 мая 1945 года

Вернувшись от американцев, мы с Кривицким [1] поехали в штаб Конева. Там, где он стоял несколько дней назад, его уже не было. Сделав к утру еще сто километров и найдя штаб, я по старому знакомству прорвался к Петрову, который был занят по горло и только махнул мне рукой: садись и жди.

Когда он освободился, я вдруг спросил его:

— Иван Ефимович, что будете делать после войны?

Еще никому не задавал таких вопросов. Не приходило в голову. А теперь, после встречи с американцами на Эльбе, пришло. Но Петров сам уже думал об этом, выслушал вопрос без удивления и ответил как о решенном:

— Попрошусь в Туркестанский округ. Оттуда уехал на войну, туда и вернусь. А если нет, безразлично, поеду, куда прикажут,— сказал и несколько раз подряд дернул контуженной головой, словно поддакивая сам себе.

Я спросил про Берлин. Выяснилось, что там бои идут к концу и сейчас уже можно махнуть туда прямо по автостраде. Ее пытались перерезать прорывающиеся назад от Одера немцы, но, по последним донесениям, сообщение восстановлено.

Немного не доехав до большого берлинского кольца, увидели на автостраде и вокруг нее страшное зрелище. В этом месте по обе стороны автострады густой лес и через него поперечная просека, которой и в ту и в другую стороны не видно конца. Вот по этой-то просеке, используя ее как лесную дорогу, и пытались прорваться через автостраду немецкие войска, уже во время штурма Берлина все еще стоящие на Одере. То пересечение просеки с автострадой, к которому мы подъехали, стало сегодня под утро местом их окончательной гибели.

Картина такая: впереди Берлин, справа просека, сплошь забитая чем-то совершенно невероятным — нагромождение танков, легковых машин, броневиков, грузовиков, специальных машин, санитарных автобусов. Все это буквально налезшее друг на друга, перевернутое, вздыбленное, опрокинутое и, очевидно, в попытках развернуться и спастись искрошившее вокруг себя сотни деревьев.

[1] А. Ю. Кривицкий — корреспондент газеты «Красная звезда».

И в этой каше из железа, дерева, оружия, чемоданов, бумаг, среди чего-то непонятного, сожженного и почерневшего — месиво изуродованных человеческих тел. И все это уходит вдоль по просеке буквально в бесконечность. А кругом в лесу снова трупы, трупы, трупы разбегавшихся под огнем людей. Трупы вперемежку, как я вдруг замечаю, с живыми. Эти живые — раненые — лежат на шинелях, на одеялах, сидят, прислонившись к деревьям, одни перевязанные, другие окровавленные и еще не перевязанные. Некоторые раненые, замечаю это не сразу, лежат на одеялах и шинелях вдоль самой обочины дороги. Потом замечаю — тоже не сразу — фигуры бродящих между ними людей, очевидно врачей и санитаров.

Все это справа. Посредине дорога. Широкая, асфальтовая, уже расчищенная для движения. На расстоянии в двести метров она избита, как громадной сыпью, большими и маленькими воронками, мимо которых зигзагами несутся к Берлину фронтовые машины. На асфальте пятна масла, бензина, крови. Слева от шоссе продолжается просека. Часть немецкой колонны, уже прорвавшейся через шоссе, была уничтожена там. Снова тянущееся в бесконечность месиво сожженных и разбитых, опрокинутых машин. Снова трупы и раненые.

Все это произошло перед рассветом, каких-нибудь шесть часов назад, уже после того, как мы выехали от Петрова. Как мне наспех объясняет какой-то офицер, вся эта огромная колонна была накрыта здесь огнем нескольких полков тяжелой артиллерии и нескольких полков «катюш», на всякий случай сосредоточенных поблизости и заранее пристрелянных по этой просеке, так как попытка прорыва немцев именно здесь считалась одним из наиболее реальных вариантов.

Миновав это страшное место, через несколько километров увидели шедшую нам навстречу со стороны Берлина колонну из пяти или шести санитарных машин. Очевидно, кто-то распорядился бросить сюда на помощь медиков из наших медсанбатов. Но по сравнению с масштабами побоища эти первые пять-шесть машин — капля в море...

Часа через полтора мы добрались до Берлина, до его южных окраин. Нам хотелось попасть поближе к центру, но мы толком не знали, в какой армии надо оказаться, чтобы добраться туда, и, как это часто бывает на фронте, потеряли немало времени на выяснения и розыски.

Сначала попали в армию генерала Лучинского, но не стали в ней задерживаться, потому что она передавала занятые ею кварталы города соседу справа, а сама передвигалась куда-то влево.

Потом попали к танкистам и случайно наткнулись на самого командующего 3-й танковой генерала Рыбалко. На перекрестке

двух разбитых улиц стоял «виллис», а мимо шли танки с открытыми люками. Рыбалко сидел на бампере «виллиса», упираясь спиной в радиатор, и смотрел на свои проходящие танки. По майской, теплой погоде он был странно одет в зимнюю, подбитую мехом суконную бекешу. Видимо, болел: желтое, нездоровое лицо человека, превозмогающего сильную боль. Разговаривал с нами почти сквозь зубы. Я сказал, что мы хотим остаться у него в армии, и спросил, в какую из его частей поехать, чтобы оказаться поближе к центру Берлина.

— Ни в какую,— сказал он.— Берлином больше не занимаемся. Перемещаемся. Куда? Много будете знать — скоро состаритесь! Оставайтесь с нами, в свое время выясните.

Я сказал ему, что нам нужно быть в Берлине. Он пожал плечами и, больше не обращая на нас внимания, повернулся к своим подчиненным. Мне в ту минуту показалось, что он зол на то, что его армии приказали куда-то перемещаться, что ему самому хочется остаться и доколотить фашистов в Берлине. Мы никак не представляли себе тогда, что через неделю танки именно этого сквозь зубы говорившего с нами генерала первыми ворвутся на улицы Праги. Если б знали, может, и остались бы у него.

Не зная обстановки, перебираясь из части в часть, из одного берлинского района в другой, проканителились целый день и целую ночь в разных, относительно малоинтересных пунктах Берлина и наконец попали в армию Чуйкова, когда он уже принял от Вейдлинга капитуляцию берлинского гарнизона.

Последние затихавшие схватки шли только с отдельными, еще не узнавшими о капитуляции немецкими частями и с не подчинившимися приказу группами СС. Как ни проклинали мы себя за то, что упустили возможность присутствовать хотя бы при переговорах о капитуляции, но факт остается фактом, я, в общем, так и не видел того, что называлось штурмом Берлина. Видел его последние всплески, даже не предсмертные, а посмертные судороги фашизма...

Близко к вечеру. Подходим к полуразломанной стене зоопарка Цоо. Эстакада городской железной дороги. У эстакады много трупов. Лежат вповалку, кто навзничь, кто лицом вниз. На мостовой жидкая, еще не потемневшая кровь. Все произошло только что. Здесь дрался какой-то небольшой эсэсовский отряд. У эстакады два изуродованных пулемета и полтора десятка трупов, среди них две убитые женщины в эсэсовской форме. И как всегда, когда я видел на войне убитых женщин, я и здесь, несмотря ни на что, несмотря на их эсэсовские мундиры, испытывал чувство какого-то особого содрогания и жалости.

Перелезаем через обломки ограды Цоо и забредаем в слоновник. Большая часть его разбита бомбежкой. В единственном

оставшемся секторе ходит унылый голодный слон. Что слон голодный, узнаю от сторожа, старика немца. Он с женой до конца оставался здесь, в Цоо, и, когда я начинаю объясняться с ним на моем ломаном немецком языке, он сейчас же начинает просить у меня провианта для своих животных. Потом предлагает мне посмотреть Цоо:

— Правда, у нас мало что осталось...

Старик идет впереди, мы за ним. Он показывает нам свой зоологический сад спокойно, профессионально, так, словно здесь ровно ничего не произошло.

На дорожках трупы немцев.

На садовой скамейке труп нашего солдата. Голова завернута в шинель. Положили на скамейку, а похоронить еще не успели.

Но смотритель не обращает внимания на трупы, он ведет нас по зоологическому саду и все время говорит о животных. И это становится все более диким.

Наконец подходим к бассейну с бегемотами, позади которого высится цементная скала. Один бегемот лежит на скале и тяжело дышит. А другой, убитый, плавает в воде. В боку его торчит стабилизатор мины. Она убила его, застряв по стабилизатор, но не разорвалась. Я смотрю на этот торчащий из туши бегемота стабилизатор и думаю о том, что, когда буду рассказывать об этом, мне не поверят. Другой бегемот опускается в воду и плывет, не приближаясь к убитому, словно понимает опасность.

Обезьянник. Несколько наших солдат стоят над большим котлованом, в котором бегают маленькие обезьяны. У солдат усталый вид. Они продымленные, грязные, но все равно с интересом стоят и смотрят на обезьян. Потом один солдат лезет через парапет вниз и неожиданно ловко ловит маленькую обезьянку. Она кусает его, и мне кажется, что он сейчас убьет ее. Но он не убивает ее, а смеется и говорит: «Кусается!» Говорит с удивлением и удовольствием, как о живом существе, вдруг напоминающем ему что-то приятное и далекое от войны. Потом отшвыривает обезьянку от себя и, потеряв ко всему этому всякий интерес, перелезает обратно через парапет, устало бредет по аллее и ложится спать на скамейку через две или три от той, на которой лежит убитый.

Вслед за стариком немцем подходим к кирпичному домику. Он открывает дверь, говоря на ходу, что это тоже обезьянник и что в нем самая большая в Европе горилла и самый большой в Европе шимпанзе. Шагаем за немцем в домик. Его разделяет пополам толстая решетка. За этой решеткой возвышение — метр бетона, и на нем настил. На этом настиле, разделенные поперечной решеткой, лежат огромная горилла и очень большой шимпанзе. У бетонного уступа, выше которого начинается

решетка, лежат два убитых эсэсовца. Третий, тоже мертвый, сидит, прислонясь спиной к уступу и держа на коленях автомат. Видимо, они все трое сбежались сюда и были убиты, может быть, одной очередью из автомата, данной кем-то из дверей. А сзади убитых эсэсовцев, на метр выше них, лежат в своих клетках шимпанзе и горилла, тоже, как я теперь понимаю, мертвые. Уже потемневшие струйки крови тянутся от них вниз по бетону. Сторож стоит рядом с нами у дверей. Кажется, ему очень жалко обезьян. Он стоит молча и по-стариковски трясет головой.

Все, вместе взятое, с необыкновенной силой вдруг и навсегда врезается мне в память. И даже не как что-то символическое, а просто как предел загнанности: мертвые обезьяны, мертвые эсэсовцы, этот домик без окон, клетки, прутья...

Заходим в один из берлинских наземных бетонных бункеров. Громадное бетонное здание, похожее на элеватор. На верхних этажах окна, закрывающиеся громадными металлическими ставнями. Внизу железная дверь. Наверху вместо крыши чудовищной толщины сплошная бетонная плита. Говорят, там, на этой плите, тоже стоят или стояли зенитки. Не знаю, так ли это, снизу не видно.

Внутри бункера, как говорят, размещались штаб противовоздушной обороны и кроме него штаб какой-то эсэсовской части.

Входим в железную дверь. Навстречу ведут пленных. Конвоирующий их младший лейтенант говорит, что на четвертом этаже нашли застрелившегося немецкого генерала. Застрелился только что. Когда обыскивали помещение, натолкнулись на запертую дверь и стали взламывать ее. Пока взламывали, он застрелился.

Идем на четвертый этаж. Электростанция не то взорвана, не то выключена. Идем с карманными фонариками по коридору, вдоль которого направо и налево маленькие комнаты, где по двое и по трое жили на казарменном положении разные чины ПВО и СС. Входим в ту, где застрелился генерал. Дверь утапливается в стену, как в вагоне. Кто знает, почему ее ломали, а не рванули, как обычно в таких случаях, гранатами? Наверное, старались взять тех, кто там, за ней, непременно живыми...

Стол, упирающийся одним концом в стену, другим в койку, перед столом стул. На стуле китель с эсэсовскими знаками различия. На койке лицом к двери лежит с открытыми глазами мертвый генерал, рослый сорокапятилетний человек, коротко стриженный, с красивым спокойным лицом. Его правая рука с зажатым в ней парабеллумом лежит вдоль тела. Его левая рука обнимает за плечи молодую женщину, втиснувшуюся между ним и стеной. Женщина лежит с закрытыми глазами. Она молодая, красивая, не то в белой блузке, не то в рубашке, с корот-

кими рукавами и в форменной юбке. Генерал в чистой рубашке, в распахнутом на груди кителе и в сапогах. Между ногами у генерала зажата недопитая бутылка шампанского.

Вдруг понимаю, что раз генерал в кителе, то, значит, тот, другой, повешенный на стуле эсэсовский китель принадлежал этой мертвой женщине. То же самое ощущение полной загнанности, тупика, которое ни на минуту не покидает меня все это время в Берлине...

Рейхстаг. К нему уже целое паломничество. Идут и идут люди. А на той стороне реки, в ста пятидесяти метрах, еще отстреливаются из пулеметов какие-то немцы и методично каждую минуту бьет и бьет по дому прямой наводкой наша самоходка...

Аллея Победы. Мертвые тела, изуродованные зенитки. Много, как нигде, разбитой, искалеченной зенитной артиллерии. Перевернутые немецкие грузовики, разбитые танки — немецкие и наши...

А потом зрелище имперской канцелярии. Ищут труп Геббельса. Его уже один раз нашли, но потом кто-то усомнился, он ли это, и теперь его снова ищут. Ищут и труп Гитлера. Громадное здание с архитектурными пропорциями, рассчитанными на подавление психики. Чудовищность размеров, пустота и огромная длина анфилады призваны были сосредоточить внимание на одном человеке, выходящем из громадных дверей в ее конце.

Кабинет Гитлера поврежден бомбой и завален обломками. Одна из соседних комнат цела. Кто-то говорит мне, что это кабинет Бормана. Не знаю, возможно, и так.

Комната цела, но в ней все перевернуто. По полу рассыпаны какие-то квадратные бумажки. Поднимаю одну, переворачиваю, оказывается, это экслибрисы библиотеки Гитлера. Большое бюро с деревянной подвижной крышкой распахнуто и завалено вывороченными бумагами.

Нахожу среди этих бумаг два старых рисунка. На одном врытый в холм блиндаж с надписью: «Ле Гретт, начало декабря 1917 года. Командный пункт бригады». На другом — какая-то разбитая церковь с надписью — «Коммин, 9 мая 1918». Приходит в голову, что, может быть, это рисунки самого Гитлера. Скорей всего, нет, но может быть и так, он ведь художник и был тогда на фронте где-то во Франции.

Кладу рисунки в полевую сумку. Беру еще фотографию, на которой надписано: «Бои со спартаковцами — Мюнхен, май 1919» — и перенумеровано тушью несколько сидящих на повозке военных. Среди них под номером первым — Рудольф Гесс. На полу кроме экслибрисов валяются почтовые карточки. Подбираю четыре и тоже сую на память в сумку. Почему они здесь? Может, их дарили на память с автографами? На трех — улы-

бающийся Гитлер с маленькими девочками. На четвертой — Компьен, вагон, квадратнолицый Кейтель через стол сует худому французскому генералу бумагу — условия перемирия.

Прохожу еще по нескольким комнатам. Несколько дальних завалено орденами и медалями. Ящики, коробочки, синие пакетики и просто по щиколотку на полу россыпь всего, чего угодно,— от железных крестов до медалей за тушение пожаров. Всего этого такое количество, что на секунду кажется, что это не имперская канцелярия, а склад какой-то огромной фабрики орденов.

Вылезаю через пролом в стене во двор. На дворе трупы последних защищавшихся тут эсэсовцев. Санитары, теснясь, вытаскивают откуда-то из-под земли лежавших там раненых. На изуродованном воронками внутреннем дворике среди искореженных деревьев, обломков, обрывков чего-то маленькая бетонная башенка и спуск в подземелье Гитлера.

Я смотрел на все это и думал о том, что, может быть, когда-нибудь задним числом всему этому в истории постараются придать величественный вид. Но сейчас все это производило впечатление чего-то уже не сражавшегося, а цеплявшегося за жизнь, чего-то сумбурного, до самого своего конца так и не понявшего, что с ним произошло.

Утрированная централизация фашистской власти сейчас, в момент ее гибели, выглядела каким-то странным абсурдом. Еще недавно в происходившем на моих глазах крахе фашизма было что-то по-мертвому страшное. Сейчас это чувство исчезло. Сегодня от всего этого оставалось ощущение чего-то ничтожного, не сохранившего в себе ни одной детали былого разбойничьего величия Третьей империи. Чувствовалось, что они прятались, съеживались, забирались сюда, что их здесь сжимали, а они зарывались все глубже и глубже, уже ни на что не надеясь, а потом, опять надеясь, ждали какого-то чуда и сжимались все тесней, все уже смешалось не только вокруг них, но и внутри них самих, смешалось и перестало быть таким, как было.

Я никогда не принадлежал к людям, считающим, что нужно принижать врага, даже самого кровавого, приуменьшать его силу или отказываться признавать за ним то, что в нем действительно есть,— ум, или храбрость, или мужество отчаяния. Так, скажем, вспоминая осаду Тарнополя и страшные тарнопольские подземелья, в которых, когда мы наконец туда ворвались, я увидел тысячи тяжело раненных, умирающих и мертвых немцев, просидевших в осаде месяц и пять дней, то, поняв, как все это там происходило, я не мог в душе не уважать их храбрость и Тарнополь остался у меня в памяти как мрачная, но по-своему эпическая картина.

Но эта рейхсканцелярия, этот последний пятачок, эти последние обреченные на смерть эсэсовцы, и тут же в подземельях маленькие каморки Гитлера и Геббельса, и тут же над ними комнаты, набитые железными крестами, которых хватило бы еще на пять лет войны, и тут же экслибрисы уже не существующей библиотеки, и тут же полуобгоревшие трупы, среди которых по признакам физических недостатков разыскивают бывших властителей Европы...

3 мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут танки, танки, самоходки, «катюши», тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия. А навстречу ей, загромождая все дороги, ползут и ползут колонны пленных...

На огромном, чудовищно безвкусном памятнике Вильгельму Первому фотографируются на память группы солдат и офицеров. По пять, по десять, по сто человек сразу, с оружием и без оружия, то мрачные и усталые, то улыбающиеся и хохочущие...

Ночь. Едем. Пересекаем весь Берлин из конца в конец на «виллисе» вдвоем с шофером. Совершенно темно. Кажется, что в городе ни души. Не натыкаемся даже на регулировщиков. Запутываемся в незнакомых улицах, в диком нагромождении развалин, из которых то здесь, то там выхватывает фарами светлые куски наш потерявший дорогу «виллис». Два часа сплошных развалин. И ни звука. Вот когда я до конца почувствовал, как невероятно разрушен Берлин.

Сидим, ужинаем в штабе Чуйкова. Рейхстаг, который почему-то в последние дни боев стал для всех нас символическим центром Берлина, заняли другие войска — армия Кузнецова,— но зато именно Чуйков принял капитуляцию берлинского гарнизона. Тот самый Чуйков, который в сентябре, октябре и ноябре сорок второго года оборонял Сталинград. А точнее сказать, не Сталинград, а три последних узких куска берега Волги под Сталинградом и несколько десятков домов, стоявших ближе всего к этому берегу. Видимо, сама история потрудилась над тем, чтобы капитуляция Берлина выглядела особенно символично.

У Чуйкова традиция ужинать вместе со всем своим штабом, если позволяет обстановка. Сейчас она позволяет. Сидим на

окраине Берлина в мещанском особняке. Первые полчаса проходят весело, поднимают тосты за победу, за взятие Берлина, за Сталинград, а потом все как-то вдруг притихают и от ужасной усталости всех последних дней, и от странного ощущения, что завтра не воевать. Уже известно, что армию пока никуда не перемещают из Берлина. Долго каждый день говорили: «Вот дойдем до Берлина, разгромим фашистского зверя в его логове, возьмем рейхстаг, захватим имперскую канцелярию...» Все именно так и вышло: и рейхстаг взят, и имперская канцелярия захвачена, и все мы сидим здесь, в фашистском логове, и ничего больше, чем взятый нами Берлин, взять уже нельзя, и ничья смерть уже не будет иметь такого значения, как смерть Гитлера. И сколько бы еще ни длилась война, мы уже не в состоянии будем сделать на этой войне ничего более трудного и великого, чем сделали...

Мы пробыли в Берлине несколько дней, и с каждым днем все ясней чувствовалось, что капитуляция Германии приближается. Уже даже начали ходить разные близкие и далекие от истины слухи о ней, и вдруг, уже глядя на ночь, всех находившихся в Берлине корреспондентов, кого только смогли разыскать, вызвали срочно в штаб фронта.

Выехав из города, еще на полдороге к штабу фронта мы сразу и услышали и увидели отчаянную стрельбу по всему горизонту трассирующими пулями и снарядами. И поняли, что война кончилась. Ничего другого это не могло значить. Я вдруг почувствовал себя плохо. Мне было стыдно перед товарищами, но все-таки в конце концов пришлось остановить «виллис» и вылезти. У меня начались какие-то спазмы в горле и пищеводе, стало рвать слюной, горечью, желчью. Не знаю отчего. Наверное, от нервной разрядки, которая выразилась таким нелепым образом. Все эти четыре года войны в разных обстоятельствах я очень старался быть сдержанным человеком и, кажется, действительно был им. А здесь в момент, когда вдруг понял, что война кончилась, что-то стряслось — нервы сдали. Товарищи не смеялись, не подшучивали, молчали — почувствовали мое состояние.

В штабе фронта член Военного совета Телегин сказал нам, что немцы на западе, в штабе союзников, сегодня заявили о капитуляции и предварительно подписали ее. А окончательное подписание акта о безоговорочной капитуляции состоится завтра в Берлине, в Карлсхорсте, в здании инженерной школы. Нас вызвали, чтобы мы подготовились к завтрашнему дню.

Темпельхоф. Утро. Еще никто не прилетел, аэродром пуст. Только в центре его толстый маленький полковник репетирует с почетным караулом перед встречей с союзниками. Репетирует долго, раз за разом — за время войны отвыкли от всех этих

вещей. Мы валяемся на траве и скучаем. Наконец приезжает заместитель командующего фронтом Соколовский с несколькими генералами. Один из них знакомый. Вспоминаем с ним, как встретились в Италии. Тогда бои шли еще в районе Флоренции. Сейчас кажется, что все это было очень давно.

Садится первый самолет. Из него вылезает Вышинский с несколькими нашими дипломатами; они сразу же садятся в машину и уезжают... Через полтора часа — еще один «дуглас». Вчера ждали, что прилетит Эйзенхауэр. И только здесь, на аэродроме, увидев, что встречать приехал не Жуков, а Соколовский, поняли, что прилетит не Эйзенхауэр, а кто-то другой. Прилетели английский главный маршал авиации Теддер и командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс. Спаатс — среднего роста, упитанный, квадратный. Теддер — худощавый, моложавый, неопределенных лет, легкий, подвижный, часто и чуть-чуть насильственно улыбающийся. Обменялись приветствиями с Соколовским; солдаты взяли «на караул», оркестр сыграл три гимна, союзники и Соколовский пошли вдоль караула.

В это время опустился еще один «дуглас», из него вылезли немцы — Кейтель, адмирал Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф. Вслед за ними несколько немецких офицеров. Почетный караул, встречавший союзников, оказался как раз посередине между самолетом, привезшим немцев, и скопищем стоявших на краю аэродрома машин, к которым немцам нужно было идти. Едва немцы вылезли из самолета, к ним подошло несколько наших, и, пока союзники обходили караул, немцев повели другой стороной в обратном направлении. Первым шел Кейтель, в длинном плаще, в большой, высокой генеральской фуражке с выгнутой тульей. Он шел, подчеркнуто не глядя по сторонам, крупным, размашистым шагом.

Едем вслед за немцами по Берлину. Глядя на мелькающие мимо развалины Берлина, на одинокие фигуры жителей, думаю о том, что трудно представить себе более тягостное зрелище, чем то, которое встречает здесь едущих подписывать капитуляцию немецких генералов.

Карлсхорст. Заранее осматриваем актовый зал инженерной школы, в котором будет происходить подписание. Зал небольшой — двести квадратных метров. Вдоль узкой стороны его на стене флаги — наш, американский, английский и французский. Командующий французской армией Делатр де Тассиньи, говорят, тоже прилетел или прилетает. Под флагами длинный, почти во всю длину стены, стол, за которым будут сидеть представители союзного командования. Перпендикулярно ему еще три стола, два длинных и один короткий, ближе к выходу. Короткий стол — для немецкой делегации, средний стол — для наших

и союзных генералов и офицеров, которые будут присутствовать при капитуляции; третий, дальний стол — для нашего брата корреспондента.

Топчемся в инженерной школе и вокруг нее почти целый час. Говорят, дело задерживается из-за того, что наши и союзники все еще договариваются по каким-то процедурным вопросам. Наверно, так оно и есть, потому что капитуляция, первоначально намеченная на два часа дня, начинается только вечером. Наконец в зал входят представители союзного командования — Жуков, Телегин и вместе с ними Вышинский, Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи, которого вижу сейчас впервые. Это молодцеватый генерал, вряд ли старше сорока пяти лет.

Корреспонденты и военные, которым предстоит присутствовать при капитуляции, бросаются занимать места, которых никто до них не занял. К ним подскакивает один из офицеров-распорядителей и что-то поспешно шепчет им. Наши генералы, севшие за стол, предназначенный для капитулирующих немцев, вскакивают из-за него как ужаленные и пересаживаются за другие столы.

Жуков улыбается. Теддер улыбается. Делатр де Тассиньи улыбается. Немножко поулыбавшись друг другу и неулыбающемуся Спаатсу, они рассаживаются на места за своим столом. Безумствуют фотографы и кинооператоры. Вскакивают на столы, наваливаются животами на плечи генералам и снимают, снимают, снимают...

Один из наших кинооператоров длинной ручкой своего аппарата задевает по голове какого-то американского адмирала. Адмирал, очевидно привычный к суете корреспондентов, добродушно улыбается и машет рукой: «О'кей!» Но наши не привычные к этому распорядители чуть было не выволакивают беднягу оператора из зала.

Сидящие за центральным столом выглядят очень по-разному. Спаатс не выражает на своем лице ничего. Вышинский суетится. Жуков сияет. Сидящий рядом с ним Теддер, с его приятной, но невыразительной внешностью, слегка улыбаясь, что-то говорит через переводчика Жукову, и мне почему-то кажется, что в этом человеке, единственном из всех, сохраняется какая-то доля иронии по отношению к предстоящей торжественной процедуре. У Делатра де Тассиньи вид человека, приехавшего позже других, озабоченного этим и спешащего как можно скорее войти в курс дела.

Смотрю на Жукова, на его красивое, сильное, тяжелое лицо и вспоминаю встречи с ним во время боев с японцами на Халхин-Голе, когда он был еще комкором и командовал там, в Монголии, нашей армейской группой. В последний раз я его тогда видел уже после разгрома японцев в его жарко натоплен-

ном блиндаже. Он только что вернулся из бани и, отдыхая, сидел по-домашнему. Мне запомнилось, с каким насмешливым спокойствием слушал он тогда одного из своих разведчиков, срочно просившего приема и докладывавшего о новом и опасном, по его мнению, сосредоточении крупных японских частей. По виду Жукова можно было понять, что он ни на грош не верит этому докладу, считает, что японцы сейчас, сразу после такого разгрома, ничего не предпримут, а разведчики просто перестраховываются. Это он и сказал, дослушав доклад. Сказал холодно, резко, бесповоротно. С тех пор за шесть лет я его ни разу не видел.

Могло ли мне тогда хотя бы на минуту прийти в голову, что в следующий раз я увижу его в Берлине, принимающим капитуляцию германской армии...

Когда в зале успокаивается жужжание, Жуков встает и объявляет о начале заседания для принятия капитуляции германской армии. Потом говорится о полномочиях, кто каким правительством уполномочен, и читаются документы на разных языках. На все это уходит минут десять.

Жуков снова встает и, обратившись к стоящим у входных дверей офицерам, сухо говорит:

— Введите германскую делегацию.

Двери распахиваются, и в них входят Кейтель, Фридебург и Штумпф, за ними несколько офицеров, видимо адъютанты. Для того чтобы дойти до своего стола, Кейтелю надо сделать только три шага. Он делает их, останавливается за средним креслом и, вытянув руку с коротким фельдмаршальским жезлом, делает им быстрое движение вперед и назад, почему-то напоминающее мне гимнастику с гантелями. Отодвинув кресло, садится и кладет жезл перед собой. Фридебург и Штумпф тоже садятся. Их адъютанты стоят сзади. Жуков встает и что-то говорит — не слышно что. Это переводят немцам. Кейтель утвердительно наклоняет голову.

Затем продолжаются разные подробности процедуры.

Я слежу за Кейтелем. Он сидит, положив перед собой на стол руки в перчатках. Штумпф кажется совершенно спокойным, Фридебург застыл в неподвижности, но в самой этой неподвижности чувствуется беспредельная угнетенность.

Кейтель тоже сначала сидит неподвижно, глядя перед собой, потом чуть повертывает голову и внимательно смотрит на Жукова. Снова смотрит в стол перед собой и снова на Жукова. И так несколько раз подряд. И хотя это слово, казалось бы, предельно не подходит к происходящему, но я все-таки вижу, что он смотрит на Жукова с любопытством. Именно на Жукова и именно с любопытством. Как будто он увидел человека, который его давно интересовал и сейчас сидит всего в десяти шагах от него.

За центральным столом начинают подписывать документ. Подписывают Жуков, Теддер, Спаатс, последним Делатр де Тассиньи.

Пока они подписывают документ, лицо Кейтеля становится страшным. В ожидании секунды, когда придет очередь подписывать ему, он сидит прямо и неподвижно. Высокий офицер, стоящий за его креслом по стойке «смирно», плачет, не двигая при этом ни одним мускулом лица. Кейтель продолжает сидеть прямо, потом вытягивает перед собой на столе руки и сжимает кулаки. А голову все больше и больше закидывает назад, так, словно хочет закатить обратно под веки готовые вывалиться оттуда слезы.

В это мгновение Жуков встает и говорит:

— Германской делегации предлагается подписать акт о безоговорочной капитуляции.

Переводчик переводит это по-немецки, и Кейтель где-то уже в середине перевода, поняв смысл его слов, делает короткое движение по столу к себе, выражая этим согласие на то, чтоб им дали сюда, на этот стол, акт для подписания. Но Жуков, продолжая стоять, коротким движением протягивает в сторону немцев руку и, поведя ею от них по направлению к столу, за которым сидят союзники, говорит жестко:

— Пусть подойдут подписать сюда.

Первым встает Кейтель. Он подходит к узкому концу стола, садится в стоящее там пустое кресло и подписывает несколько экземпляров акта. Потом встает, возвращается к своему столу и садится в прежней позе. Подписывая, он снял перчатку. Сейчас он снова натягивает ее на руку.

Вслед за ним идут подписывать Штумпф и Фридебург. Пока все это происходит, я продолжаю смотреть на Кейтеля. Он сидит вполоборота к столу, за которым сидят союзники, смотрит на них и о чем-то думает так упорно и напряженно, что, очевидно, незаметно для себя, подняв со стола правую руку в перчатке, берет ею себя за лицо, за тяжело отвисшие щеки и подбородок и мнет, мнет, почти комкает лицо рукой в перчатке.

Последний из трех немцев подписывает акт и возвращается на место.

Жуков встает и говорит:

— Германская делегация может покинуть зал.

Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое сделал, когда вошел, поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются.

И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий облегченный, расслабленный выдох.

Капитуляция подписана. Война кончилась!

10 мая вечером едем через Судеты на Прагу. Уже знаем, что она освобождена, уже знаем, что в нее самыми первыми прорвались танкисты 1-го Украинского фронта и что все это произошло еще вчера утром. Но как ни спешим туда, в Прагу, по дороге довольно надолго останавливаемся перед каким-то разрушенным мостом, где из-за этого надо сворачивать с шоссе и делать трехкилометровый объезд лесом.

Перед мостом еще до нас скопился десяток легковых машин, и никто не едет в объезд, потому что недавно там проехала какая-то машина и по ней выстрелили и кого-то не то убили, не то ранили бродящие по лесу и еще не знающие о капитуляции немцы.

Война кончилась, и никому не хочется рисковать, хотя еще дватри дня назад никто из толпящихся здесь у моста офицеров или шоферов даже и не подумал бы считаться с таким ерундовым риском. Мы тоже топчемся, как и все, у моста в ожидании какого-то бронетранспортера, который откуда-то вызвали. Потом мой спутник, вдруг озлившись на это ожидание, на себя, на меня и на все на свете, говорит мне:

— Не будем ждать, поедем.

Я жмусь и ничего не могу с собой поделать. Мысль об этих чертовых немцах, которые могут сейчас, после войны, стрельнуть по мне оттуда, из леса, угнетает меня. Мой спутник кипятится, и мое положение в конце концов становится стыдным. Мы садимся в машину и выезжаем на эту лесную дорогу. Другие машины сейчас же вытягиваются в колонну вслед за нами. Я понимаю, что если бы не мы, то кто-то другой все равно, озлившись, сделал бы это через пять минут и мы бы поехали вслед за ними, как они сейчас едут за нами, но мне не легче от этой мысли, потому что я все равно боюсь.

Въезжаем в лес. В лесу тихо, и мы, не выдержав напряжения, сами начинаем стрелять по лесу из автоматов из несущейся полным ходом машины. Проскочив лес, мы так и не можем дать себе отчета, стреляли там, в лесу, немцы или нет. Мы слышали только собственную отчаянную, испуганную трескотню автоматов. Нам стыдно друг друга, и мы молчим. Мы уже не можем вернуться к тому состоянию войны, в котором, конечно боясь смерти, в то же время саму возможность ее мы считали естественной и даже подразумевающейся. И мы еще не можем без чувства стыда перед самими собой вернуться к тому естественному человеческому состоянию, в котором сама возможность насильственной смерти кажется чем-то неестественным и ужасным...

Вот и подготовлены к печати эти документальные записи, плод и тогдашнего и нынешнего моего труда.

И все-таки хочется сказать что-то еще: не в конце их — конец уже написан и точка поставлена,— а после конца.

То чувство, которое владеет мною сейчас, настолько сродни одному, не моему и с недосягаемой для меня силой написанному стихотворению, что на последней странице своих записей я хочу поставить вот эти, принадлежащие Твардовскому строки:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали...

БОРИС
ПОЛЕВОЙ

ОТ ЭЛЬБЫ ДО ВЛТАВЫ

ИЗ ЗАПИСОК ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА



Встреча на Эльбе

Утром меня снова вызвал генерал Петров [1]. Он сидел за большим письменным столом. Был строг, официален, в кителе с орденскими лентами, застегнутом на все пуговицы.

— Товарищ подполковник,— сказал он сухо.— Передаю вам задание командования. На Втором Украинском вы у нас действовали по части иностранных дел. Помните, и ко мне привозили в армию югославскую военную делегацию. Так вот, вам задание по этой же, по иностранной части.

— Но я же... Такие события, я же корреспондент «Правды»!

— Но прежде всего вы офицер Красной Армии, не так ли, голубчик? Карта с вами?

— Так точно.

— Соблаговолите найти на ней город Торгау, что на Эльбе.

— Нашел. Это в районе действий армии Жадова?

— Точнее говоря, корпуса генерала Бакланова. Завтра, 25 апреля, в этом месте произойдет историческое событие, между прочим небезынтересное вам и как корреспонденту. Встреча союзнических армий — нашей и американской. Сегодня вечером соблаговолите быть там. Свяжитесь с товарищами из армейского седьмого отдела и действуйте вместе. Машина в порядке? У вас, говорят, роскошная машина? Очень хорошо. Для связи к вам прикомандировывается старший лейтенант в юбке, переводчица, знающая английский язык... Вопросы есть?

— Никак нет.

— Вот еще. Следите, чтобы славяне на радостях не хватили лишнего. Нет-нет, немножечко, в норме это можно.— Он засмеялся.— Но, как рекомендовал один священнослужитель, во благовремении и плепорции.

Немало разных, чисто военных заданий приходится выполнять нашему брату военному корреспонденту. Сергей Борзенко вон несколько дней десантным батальоном командовал. Но такого задания, какое я только что получил, пожалуй, ни у кого еще не было. Остренькое задание. Крушинского отыскать не удалось. Он конечно же в Берлине. Известил его запиской о предстоящей операции, а сам с фотокорреспондентом «Правды» капитаном Александром Устиновым и прикомандированным лейтенантом

[1] Генерал армии Петров, начальник штаба 1-го Украинского фронта.

в юбке, очень интеллигентной девицей-грузинкой, с тоненьким голоском, озорной физиономией и поэтическим именем Лола, выехал в район Торгау. Все были в отличном расположении духа, и Устинов, как и всегда, по такому случаю напевал какие-то арии из разных опер.

Командира корпуса в штабе не оказалось. Поехал в полки, которые уже подошли к реке. Они, эти полки, остановились в прибрежных лесках, выбросив на берег хорошо замаскированные дозоры. Весна уже набирала темпы, неистово цвела черемуха. Местами кусты казались покрытыми сугробами, и в сырой прохладе поймы воздух был неподвижен и так густо насыщен горьковатым ароматом, что казался плотным, хоть режь его ножом. Эльба золотилась в лучах заката, и за ней темнели здания города Торгау, казавшегося совершенно безлюдным.

Разно, очень разно относились мы к союзникам, и отношение это менялось с ходом войны. В дни Сталинграда, когда до Волги оставались считанные метры и Красная Армия один на один сражалась с армиями пяти стран гитлеровской коалиции, отношение это было явно неприязненным. Политработникам приходилось прилагать немало усилий, чтобы неприязнь эту как-то нейтрализовать. Потом, когда было сказано, что на Волге мы уже сломили хребет гитлеровскому зверю, что было совершенно справедливо, неприязнь к неторопливым союзникам сменилась иронией. Мы, конечно, были благодарны за помощь, получаемую по ленд-лизу, но разве могла она, эта помощь, заменить в этой нечеловечески трудной войне боевое сотрудничество! И ходили по войскам шутки: свиная тушенка — «второй фронт», шерстяные подштанники — «дары Черчилля». Танки БМ-4 расшифровывались «братская могила четверых», ибо танки эти, великолепно сработанные, оказались весьма уязвимыми для фаустпатронов, а губчатая резина, которой они были обиты изнутри, от шума и от толчков не очень предохраняла, зато при первой же искре вспыхивала и превращала машину в факел. После вступления союзников в Нормандию шутки эти и без агитации политработников как-то сами собой изжились. А когда наступление союзных войск в Арденнах превратилось в отступление, наши солдаты уже искренне жалели их братской жалостью: ну что ж, ребята ведь еще не закалились. Ничего, помаленьку научатся воевать.

И вот эта встреча тут, на юге Германии. Война как бы остановилась на этой реке. Штурмовые батальоны, закаленные на Висле, Одере, Шпрее, с ходу и без труда захватили бы заречный плацдарм, но их остановили и положили на отдых в прибрежном лесу. Политработники разъясняли: наступление прекратилось, вышли на рубеж, оговоренный союзническими соглашениями. Этим рубежом и стала река Эльба.

И тут в кустах началась яростная подготовка к дружеской встрече. Стирались и сушились на кустах гимнастерки, пуговицы надраивались до ослепительного блеска, подшивались подворотнички, чистились сапоги. Характерный штрих: гуталин и одеколон — предметы, на которые всю войну не было спроса. Ну а теперь их будто ливнем смыло с прилавков военторга. Пришлось даже срочно гонять машину во второй эшелон за этими товарами, вдруг ставшими дефицитом. Политработники рассказывали об Америке, о ее государственном устройстве, освободительных войнах Вашингтона, об антирасистских мерах Линкольна, о законах Джефферсона.

Договорились гостей, если они прибудут на этот берег, встретить дружески учтиво и не очень пугать разудалым русским гостеприимством. Капитан Александр Устинов, которому предстояло увековечить для потомков эту встречу, выискивал среди связисток и младшего медперсонала девчат посимпатичней и подородней, чтобы они на его снимках сразу представляли и красоту и мощь русских женщин. Словом, все было организовано так, как задумывалось. Но при встрече благие пожелания полетели ко всем чертям.

Когда над закопченными руинами Торгау, возвышавшегося на противоположном берегу, поднялось большое румяное, точно бы только что умывшееся в холодной реке солнце, наблюдатели, лежавшие в прибрежной полосе, доложили: за водной переправой в районе объекта появились военные.

Не выходя из кустов, мы с лейтенантом Лолой подошли к реке. Действительно, из глубины улиц на высокую набережную выскочил вездеход. Он был битком набит дюжими ребятами в незнакомой, никогда еще не виденной нами форме, напоминавшей наши лыжные костюмы. На головах были каски, обтянутые маскировочной сеткой. Все сразу же поняли: американцы.

И что тут только поднялось! Вся пойма, только что выглядевшая безлюдной, как настороженная передовая, покрылась бойцами на всем протяжении до поворота реки. Махали руками. Бросали вверх пилотки и фуражки. Сложив ладони рупором, кричали:

— Здорово, ребята!

— Давай к нам!

На той стороне тоже стало людней. За вездеходом на набережную вылезли массивные грузовики. Американцы тоже что-то кричали и тоже махали руками. Спросил Лолу, что именно кричат.

— Кто их знает, что-то не разберу... Словом, радуются. Приветствуют.

Чувствовалось, что бойцам нашим не терпелось войти с союзниками в непосредственное соприкосновение. Несколько старых

лодок опрокинутые лежали на песке. Но солдатам уже было внушено: водораздел является демаркационной линией между союзническими армиями. А вот американцы нарушили эту самую линию, отыскали какой-то ветхий баркасик, спустили на воду и, за неимением весел гребя досками от скамеек, стали пересекать реку с быстрым весенним течением. На стремнине баркас подхватило, понесло прямо на железное кружево взорванного моста, свисавшего в воду. Для баркаса создавалась опасная ситуация. Его могло ударить о железные швеллера. Но тут пришла на помощь русская смекалка. Несколько солдат побежали по берегу к мосту, скинули сапоги, вскарабкались на свисающую к воде стальную конструкцию, и, когда американский десант донесло до нее, десятки рук подхватили ветхий баркас, не дали ему удариться, а несколько солдат, спрыгнув в воду, подвели его к берегу.

Дружественный десант, столь храбро, без весел форсировавший быструю Эльбу, был принят в распростертые объятия. Отобранные Устиновым девчата преподнесли союзникам букеты черемухи, и сам Устинов, с невероятными усилиями преодолев бушующую стихию гостеприимства, организовал группу встреченных и встречающих. Без устали щелкал затвором аппарата, повторяя сразу на трех языках:

— Еще раз... Нох айн маль... Уан мор...

Что там греха таить, были забыты все правила военного этикета. Солдаты союзнических армий стали просто русскими и американскими парнями, искренне радовавшимися этой встрече. Обнимались, целовались, толкали друг друга кулаком в грудь, звонко шлепали ладонью по спине и пониже. Из сидоров извлекались заветные фляги, кружки, сделанные из консервных банок. Союзники вытаскивали из карманов банки консервов, плитки шоколада. Наши — куски пожелтевшего сала, сохранявшегося на черный день еще со времен, когда война шла на Украине. И все это происходило на зеленой, залитой солнцем пойме, благоухающей молодой листвой, насыщенной птичьим щебетом.

Между хозяевами и гостями даже завязывались беседы, именно оживленные беседы, строившиеся с помощью двух-трех взаимно известных русских или английских слов и множества выразительных жестов, среди которых преобладали два: поднятый вверх большой палец или большой и указательный пальцы, сложенные в бараночку, что у обеих высоких договаривающихся сторон означало примерно одно и то же — отлично, о'кей!

И конечно же гармонь. И конечно же песни. И конечно же пляс, такой искренний и вдохновенный пляс, что от топота сапог и бутс, как казалось, оба берега реки трясутся, будто от бомбеж-

ки. Смотрю на это такое естественное и искреннее веселье и думаю о своей второй миссии. Надо ли что-нибудь здесь корректировать или поправлять? Да нет же, не надо, конечно. Забыты взаимные былые досады и подозрения. Сердца солдат союзнических армий инстинктивно нашли путь друг к другу, и это веселье, как мне казалось, значило гораздо больше, чем оперативное соприкосновение двух союзнических армий, давно уже с боями двигавшихся навстречу друг другу с запада и с востока. В этом шумном солдатском торжестве на берегу немецкой реки нашло выражение взаимное уважение народов, живущих на разных концах земли, народов, которые никогда между собой не воевали, всегда относились друг к другу с интересом и походят один на другой своей жизнерадостностью, изобретательностью, оптимизмом.

Среди гостей, которых уже довольно много переправилось на наш берег, особенно понравился мне невысокий, коренастый черноглазый американец, младший лейтенант по званию. Джозеф Половски, Жоржик, как рекомендовал он себя. Внук дореволюционных эмигрантов из царской России, он «сохранял остатки русского языка». Он как раз и организовал тот самый первый десант, который чуть было не разбился о взорванный мост. Он знал несколько русских слов, а по-английски говорил с частотой стреляющего пулемета, так что Лола едва успевала переводить. Рассказал, с какой надеждой следили на его родине за ходом боев на восточном фронте и как в Америке уважают дядю Джо.

— Дядю Джо? — переспросил я.

Оказалось — так простые люди в Америке называют И. В. Сталина.

Этот лейтенант, сын крохотного бизнесмена из Чикаго, как оказалось, подготовился к встрече. Он достал из кармана гимнастерки листок бумаги, на котором было напечатано высказывание великого поэта Уолта Уитмена о России, сделанное в 1881 году.

— «Вы русские, а мы американцы,— перевела мне Лола.— Россия и Америка такие далекие, такие несхожие с первого взгляда! Ибо так различны социальные и политические условия нашего быта... И все же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи... Сердечный салют с наших берегов от имени Америки».

— Я перепечатал это по-английски и раздал нашим ребятам. Это хорошие, храбрые ребята, но они, увы, не читали Уитмена. «Кто он — парень, написавший эти слова?» — спросил меня один. Он по профессии мясник. У него маленькое дело в Нью-Йорке. Откуда ему читать Уитмена... А вы возьмите эту бумажку себе.

Это было, несомненно, актом дружелюбия. На него нужно было соответственно ответить, но у меня было слишком мало времени для подготовки к этой встрече и ничего подобного я с собой не захватил. Лола оказалась предусмотрительнее. Она тоже достала из кармана гимнастерки свернутый вчетверо листок.

— А на два десятилетия раньше, чем эти слова написал Уитмен, один великий русский написал такие,— и Лола прочла: — «Между Россией и Америкой... целый океан соленой воды, но нет целого мира застарелых предрассудков, остановившихся понятий, завистливого местничества и остановившейся цивилизации... Обе страны переизбыточествуют силами, духом организации, настойчивостью, не знающей препятствий».— Лола прочитала эти слова по-английски, а потом перевела для меня.

— Кто же все это сказал? — поинтересовался Половски.

— Александр Герцен, пламенный борец с царизмом,— произнесла Лола и, победно взглянув на меня, передала бумажку нашему собеседнику.

Потом мы вместе сфотографировались, обменялись адресами, обещали переписываться [1].

Расставались уже под вечер, когда над Эльбой курился прохладный туман. На прощание я преподнес Половски на память бутылку водки, а Лола, любящая, как и все ее земляки, пышные, образные выражения, шутя сообщила ему, что это и есть как раз тот эликсир, который давал богатырскую силу солдатам Сталинграда.

— Сталин тоже пьет этот эликсир? — спросил Половски.

— Нет, мы, грузины, живем в стране великолепных вин, наши мужчины предпочитают золотой сок нашей земли,— цветисто ответила Лола и присовокупила для сведения иностранца, что грузины — один из древнейших и культурнейших народов земли и что, по античным легендам, Прометей, по-грузински Амиран, был грузином и в наказание был прикован богами к скале именно в горах Кавказа.

— А кто он был, этот человек, как вы сказали — Прометей? — неожиданно спросил наш собеседник.

На миг Лола удивленно подняла на него свои черные выразительные глаза. Но не стала его конфузить и, виновато улыбнувшись в мою сторону, сообщила:

— Так, один хороший, храбрый человек. Рассказывают, что он когда-то украл у богов огонь и отдал его людям.

После этого экскурса в античный мир, совершенного уже на берегу перед самой посадкой на один из катеров, пришедших

[1] После войны мы долго переписывались с Джозефом Половски. Он стал организатором прогрессивного американского общества ветеранов встречи на Эльбе, отважно действовавшего даже во времена лютого маккартизма. Мы с ним не раз встречались потом и в Чикаго, и в Москве.

за нашими гостями с той стороны, мы искренне поцеловались. Катера, фырча мощными моторами, отчалили, и сквозь рев их моторов Джозеф, сложив рупором руки, что-то крикнул нам с удаляющегося судна. А потом все что-то начали скандировать.

На лице Лолы появилось растроганное выражение. Даже слезы выступили на ее красивых, миндалевидных глазах.

— Чего они кричат? — спросил я ее.

— Половски крикнул: «Регардс ту анкл Джо — привет дяде Джо». А теперь вот все они скандируют: «Дядя Джо, дядя Джо...»

Лола вытерла глаза комочком носового платка.

Сегодня Москва поздравляла наш фронт со встречей с союзниками двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами.

Советская душа

За четыре года скитаний по фронтовым дорогам завелось у меня в армии много друзей, и есть среди них один, с которым меня связывают особенно острые и потому особенно дорогие воспоминания. Это генерал Александр Ильич Родимцев, в дивизии которого я провел самые тяжелые дни сталинградской обороны.

Говорят, самые крепкие воспоминания оставляет пережитая опасность. Но в те дни, что я провел в знаменитой теперь 13-й гвардейской, которой командовал Родимцев, тогда еще совсем молодой полковник, непосредственно мне опасность не угрожала и ничего особенно страшного переживать не пришлось, хотя фронт обороны в этой дивизии местами был меньше километра в глубину.

Так вот, на участке этой дивизии был дом, крепкий купеческий каменный особняк. Стоял он от уличного порядка в глубине, и, когда ценой больших потерь неприятелю удалось захватить улицу, в доме этом осталось два солдата — минчанин Михаил Начинкин и цыган из Молдавии Юрко Таракуль. Были они из пулеметного взвода, но взвод отступил, а они остались. Осталось с ними немало оружия: два пулемета, боеприпасы. И вот эти двое, из которых один был потом ранен, в течение нескольких дней из подвала этого дома вели круговую оборону, отбивая новые и новые атаки. Укрепленный дом этот был потом, так сказать, деблокирован перешедшим в контрнаступление батальоном. И когда он снова очутился по нашу линию фронта, комиссар батальона написал на стене этого дома мелом: «Здесь стояли насмерть бойцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть».

Такие надписи можно было сделать, пожалуй, на любой развалине, расположенной на тех пяти километрах сталинградской

земли, которые обороняли бойцы 13-й гвардейской. В том числе и на командном пункте Родимцева, помещавшемся в гранитном водоводе под железнодорожной насыпью, весьма неуютном месте, куда ветер порой заносил немецкую речь с близлежащих передовых позиций. И вот теперь, когда над рейхстагом взвилось красное знамя, генерал-лейтенант Родимцев привел свой стрелковый корпус сюда, на Эльбу. Подразделения этого корпуса теперь, как я узнал, готовятся к штурму Дрездена.

Знаем, конечно, что Дрезден — один из красивейших городов Германии, что в туристских буклетах называют его северной Флоренцией, что в этом городе единственная в своем роде художественная коллекция — Дрезденская галерея. Известно и то, что в феврале без особой военной надобности авиация союзников совершила на этот город два гигантских «ковровых» налета, в которых участвовали тысячи самолетов, и превратила былую столицу Саксонии в большую каменную руину. Очень захотелось мне туда, в Дрезден. И не для того, чтобы полюбоваться на жилища саксонских курфюрстов и на их знаменитую галерею, от которой, говорят, остались после налетов рожки да ножки, а для того, чтобы пожать руку старому другу, которого я не встречал со сталинградских времен.

Весна буйствует над автострадой Берлин — Дрезден. Вопрос о Берлине, в сущности, уже решен. Конев поворачивает свои армии на юг, очевидно, целя на Дрезден, на Чехословакию, где еще остается последняя неразбитая очень крупная немецкая группировка «Центр». Ею командует генерал Шернер, опытный, решительный военачальник, получивший от Гитлера совсем недавно фельдмаршальское звание. Как раз вчера разговаривал я на эту тему с Иваном Ефимовичем Петровым. Он показывал карту: дивизии Шернера занимают часть Саксонии, Австрии, почти всю Чехословакию.

— Нам кажется, у этого Шернера хитрая задумка,— говорил генерал Петров, то снимая, то вновь надевая свое пенсне.— И силы у него есть, как-никак двенадцать дивизий с приданными им частями. Трудно предположить, что такой военный, как Шернер, не понимает, что с Берлином все кончено. Он не так наивен, чтобы на что-то надеяться. Наверняка мечтает двинуть свою мощную группу на запад и соединиться с союзниками. Части у него боеспособны. Тут все может быть. Может ввалиться в Прагу, засесть там, занять оборону, и придется в уличных боях волей-неволей разрушить этот город, который, говорят, совсем не пострадал.

— А что мы собираемся предпринять?

Начальник штаба водрузил свое пенсне на нос и строго взглянул на меня.

— Вы интеллигентный человек, вам непростительно ставить меня в неловкое положение такими вопросами, батенька мой, и, кроме того, вы неправильно адресуетесь... Сие решает командующий. Могу только сказать, что им задумана смелая и интереснейшая операция.

Генерала Родимцева я нашел в заречном пригороде Дрездена, который был накануне освобожден частями его корпуса. Дом, скрытый среди других аристократических особняков, стоял высоко над Эльбой, затененный молодой, еще желтоватой листвой мощных буков. В штабе его, как всегда, строжайший порядок. Сам же генерал, когда я появился в дверях его кабинета, отчитывал какого-то командира саперов, не сумевшего за ночь навести переправу. Три с половиной года мало изменили этого живого, подвижного человека. Все та же русая челка набегает на лоб, светлые глаза смотрят весело, озорно, в уголках крупных губ ироническая улыбка.

— Ба, кто пришел-то! — воскликнул он, вставая.— Вы свободны, но чтобы приказ был выполнен, слышите? — это незадачливому саперному командиру.— Точно с неба свалился,— это мне. И мы обнялись по-братски, потому что те, кто воевал в Сталинграде, кто помнит сталинградские дни и ночи и пережил их, тот как бы приобщился к особому военному братству.

И, как всегда в таких случаях, заговорили, перебивая друг друга: а знаешь?.. а помнишь?.. а этот-то!.. а тот-то!.. У Александра Родимцева были горячие дни. Центр Дрездена, отделенный широкой в этих местах Эльбой, все еще находился в руках противника. Мосты взорваны. Подходы к переправам простреливались с той, нагорной части. Сохранялся только один железнодорожный мост. Поминутно приходили с докладами командиры частей, офицеры связи приносили донесения. Генерал работал, именно работал.

И работал спокойно, деловито, как когда-то в Сталинграде совсем рядом с позициями противника. И все же между двумя донесениями или приказами он ухитрялся бросить дружескую реплику, сказать несколько слов.

Потом мы сидели с ним за роскошно накрытым столом. Топорщилась по углам накрахмаленная скатерть. Голубовато отсвечивала грань хрустальных бокалов. В большое открытое окно прóсто-таки совал свои ветки какой-то куст, осыпанный ярко-желтыми цветами.

А мне вспоминался другой, дорогой и милый моему сердцу стол, сколоченный из неотесанных досок, вспоминались кружки, сделанные из консервных банок, наполненные спиртом, который разбавлялся снегом. Вспоминались скромные, весьма скромные ужины, которые подавались на этот грубый стол. Мы, корреспонденты, знали, что в дивизии Родимцева можно добыть сколько

угодно интереснейшего материала, а вот вкусно пообедать нельзя. Обед комдиву приносили с солдатской кухни. А тут — накрахмаленная скатерть, стол, сервированный фарфором и хрусталем.

— Мура это,— сказал Родимцев, отодвигая в сторону сервировочную роскошь, которую, по-видимому, и поставили-то на стол ради гостя. Достал две чайные чашки, налил водки.— Вот так-то лучше. Давай выпьем за старую дружбу.

Сидел я за этим столом с человеком удивительной и в то же время очень типичной для советского военачальника судьбы. Совсем молодым деревенским пареньком пришел Александр Родимцев в Красную Армию. За сметливость, бравый вид был определен в знаменитую Школу имени ВЦИК. Стал кремлевским курсантом. Кончил школу, получил командирское звание, ну а потом, когда фашизм поднял голову в Испании, пошел добровольцем в республиканскую армию. У него получилось совсем по Михаилу Светлову: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Там среди республиканских бойцов он, командир пулеметной роты, стал называться сначала сеньор официале [1], потом дон Пабло, потом Пабло, потом Павлито. Бесстрашный Павлито — так его называли испанцы. Командовал. Обучал бойцов искусству пулеметного боя. Участвовал, и всегда счастливо участвовал, в отражении самых лихих атак. В Сталинграде он уже командир легендарной теперь дивизии, показавшей миру русское умение «стоять насмерть». Вот там в ночь под новый, 1943 год у него, в гранитной его трубе, мы поднимали кружки со спиртом за победу, которая в те дни была еще далека.

Пили за красный флаг над Берлином.

Провозгласив этот тост, мы не очень стройными голосами завели песенку «Давай закурим», особенно любимую защитниками Сталинграда. Песенка, немудрящая, но сердечная, нет-нет да и сейчас приходит на память, хотя от Нижней Волги до среднего течения Эльбы, от Сталинграда до Дрездена пройдены уже добрые три тысячи километров и на этом боевом пути было сложено, спето и забыто много песен.

...Дует теплый ветер, замело дороги,
А на южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

И вот мы вспоминаем эти дни, хотя Волга сейчас бесконечно далеко, хотя солнце вовсю сияет над Эльбой и ветер, дующий с реки, шевелит тяжелые портьеры. Друг-песня, простенькая сол-

[1] Господин офицер (исп.).

датская песня, сидит с нами за этим роскошно сервированным столом, на котором в ходу лишь две простые чашки.

Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой.

У комкора большие заботы. Командующий армией генерал-полковник А. С. Жадов послал через Эльбу в город парламентеров. Предложена безоговорочная капитуляция. Вернувшись, парламентеры рассказали: город страшно побит, но все еще красив. А вот мэр города, принявший парламентеров, не дал ответа. Ведь знает, знает, что Гитлер и Геббельс отравились. Знает и тянет волынку. Он, видите ли, должен соединиться с Берлином, получить указания от правительства. А где оно, германское правительство? Кто ему будет давать эти указания? Гитлер, что ли, из своей неизвестной могилы?

— Огневых средств достаточно?

— Этого сейчас хватает, но ох как не хочется бить по этому городу! Красавец город.

Выходим на балкон. Отсюда сверху видны лишь нагорная часть города, остовы дворцов, соборов и еще обугленные деревья. Все завалено.

На улицах ни души, никакого движения. Какое-то спящее царство из старой сказки. Над зеленью поймы, зыбясь, поднимается вверх студенистое марево. Весна, великолепная весна, а там, в городе, все мертво.

На столе у Родимцева план центра города, который по приказу командарма Жадова надлежит брать его корпусу. А рядом с этим планом лежит отличный альбом. Альбом видов города. В свободные мгновения, которые все же выпадают у комкора, Александр Ильич заглядывает в этот альбом.

— Никак не пойму союзников; что это — глупость или подлость? За каким лешим так вот разбомбить, разрушить, сжечь город, и какой город! Судя по снимкам, он даже красивее Мадрида, а главное, зачем они исторический центр бомбили, черт их побери? Военные заводы — вот они, слева. Целехоньки. Только что не дымят. Гитлеровцам отомстить за их зверства? Так они, гитлеровцы, вот в этом загородном аристократическом районе. Тут все цело, ни одного разбитого стекла, все цветет. Нет, прямо по центру, по дворцам, по театрам, по музеям, по старинным соборам ахнули. Не понимаю, ничего не понимаю.— И, снизив голос, говорит:

— Вот мне этот город штурмовать, а я его жалею.

Командарм Жадов и комкор Родимцев — оба герои Сталинграда, города, который был весь превращен в огромные руины. Это люди, прошедшие через сотни разрушенных и сожженных наших городов и сел. И вот тут, на чужой реке Эльбе, сокру-

шаются о страшной судьбе разбитого Дрездена и озабочены тем, как сохранить его от дальнейших разрушений.

Мы уже простились. Я спешу в штаб фронта. И, пожимая на прощание руку, Родимцев опять сказал:

— Интересно, а уцелело ли что-нибудь от Дрезденской галереи? Ночью просматривал альбомы. В этом доме их полно. Какие там есть вещи! В Мадриде когда-то франкисты несколько снарядов в музей Прадо влепили... Так вместе с испанцами и мы переживали. А тут... Неужели все это там, под развалинами?

Вот она, истинно русская, я бы сказал советская, да, именно наша советская, душа.

Осип — Иосиф — Джозеф — Джо

Ночью позвонил адъютант начальника штаба. Попросил меня немедленно прибыть.

Чудесная майская ночь стоит над Германией. Она ясна, прохладна, густо насыщена горьковатым запахом черемухи, а звезды такие ясные, что хоть на карту их наноси. Сквозь ветви деревьев как куски сахара белеют постройки старинного замка. Тарахтит движок походной электростанции, и петухи ведут свою предутреннюю перекличку, напоминая о русском утре, о русских деревнях. Доводилось мне видеть генерала Петрова и в штабе, и на наблюдательном пункте, и на концерте, который давали для штаба заезжие артисты. Всюду он был одинаков: китель застегнут на все пуговицы, крахмальный воротничок жестко подпирает подбородок, аккуратно подстриженные усики и круглое адвокатское пенсне, которое при разговоре он иногда снимает и начинает протирать. Вот и теперь, поблескивая стеклышками этого пенсне, он сидит за рабочим столом, покрытым картой, как скатертью, подтянутый, собранный, как будто позади не было беспокойного штабного рабочего дня.

— У меня для вас новость, батенька мой,— говорит он в своей обычной манере.— Мы вас сегодня передаем из ведения военного ведомства в Министерство иностранных дел... Не надолго, не надолго.— Глаза его откровенно посмеивались за своей стеклянной защитой.— Не понимаете? Поясняю. Предстоит встреча нашего командования с командующим американскими войсками в Европе генералом Омаром Брэдли. Он приезжает к нам с дружеским визитом. С ним приедет целая свита корреспондентов союзных стран. Вас, Борис Николаевич, мы назначаем дуайеном нашего корреспондентского корпуса.

— Дуайеном? Что такое дуайен? — спросил я, ибо до сих пор как-то не приходилось вдумываться в значение этого в общем-то знакомого слова.

— Э, батенька мой Борис Николаевич, нехорошо. Уж кому-кому, а вам, братьям писателям, следует знать русский язык. Впрочем, «дуайен» слово иностранное, а по-русски оно переводится как «старшина», вернее, «старейшина». Так вот, на этой встрече вас представят генералу Брэдли как дуайена. В их списке значится такой дуайен. Ну а вот вы будете нашим.

— Иван Ефимович, вы же знаете, я по-английски ни бум-бум.

— Для этого мы к вам снова прикомандируем очаровательного лейтенанта, известную вам Лолу. Возражаете? Нет? Это уже хороший признак.— Он взглянул на стоявшие на столе часы, по-видимому сувенир с какого-то сбитого неприятельского самолета, на которых стрелки светились, а секундная пульсирующим шагом бегала по кругу.— Если вопросов нет, то не кажется ли вам, сэр, что нам обоим пора немножко поспать?.. Да, кстати, господин дуайен, как пишется в дипломатических приглашениях, форма одежды парадная, ордена.

Так я неожиданно стал дуайеном. Дуайеном корреспондентского корпуса... на один день. Коллеги встретили это мое назначение, как и водится, великим трепом. Саша Шабанов продекламировал по этому поводу что-то весьма язвительное из Беранже. Деятельным образом помогли мне собрать у штабных офицеров комплект соответствующих регалий, ибо мои, естественно, хранились в Москве в комоде жены. Но на кого многозначительное звание дуайена произвело впечатление, так это на моего верного шофера Петровича. Он, как говорится, до того преисполнился, что по собственной инициативе вычистил бензином мою форму, проутюжил, подшил к кителю целлулоидный подворотничок, отвратительно душивший шею, а пуговицы и собранные по знакомым регалии под его мастерской рукой засверкали так, что к моменту отъезда я превратился из нормального военного корреспондента в манекена с витрины столичного магазина военторга.

Оставив инициативу экипировки дуайена в руках друзей, я тем временем знакомился с боевыми действиями 12-й армейской группы американских войск, возглавляемой Брэдли, и с его военной биографией. Судя по документам, генерал этот в отличие от многих военачальников союзных войск был настоящим солдатом, участником многих интересных сражений и битв. При встрече все это подтвердилось. Американских солдат мы видели уже на Эльбе — славные, боевые ребята. Они запоздали включиться в эту нечеловечески трудную войну и потому воспринимали ее несколько легкомысленно, но в дружелюбии, сердечности им отказать было нельзя. Когда же к крыльцу особняка, который для этой встречи был наскоро превращен в штаб-квартиру маршала Конева, подкатил запыленный «виллис», пискнув тормозами, застыл у парадного крыльца и из него выскочил, именно не

вылез и не вышел, а выскочил, высокий пожилой человек; прикомандированный ко мне лейтенант по имени Лола даже удивилась, что у известнейшего генерала союзников... такой пожилой телохранитель.

В самом деле, Омар Брэдли был одет в солдатскую форму. Только три белые звездочки на каске, надетой чуть набекрень, говорили о его высоком воинском звании. Да, несомненно, это был не штабной полководец, а генерал-солдат, и, вероятно, именно это помогло ему сразу же найти общий язык с нашим командующим, который тоже слыл в наших войсках как маршал-солдат. Впрочем, сегодня мы командующего просто не узнавали. С дней сражений в тверских, верхневолжских лесах, с которых я его помню, он всегда служил примером суровой солдатской неприхотливости. Его штаб-квартиры обычно располагались в крестьянских избах, ничем не отличавшихся среди других в порядке сельской улицы. И обстановка обычно оставалась хозяйская: лавки, табуреты, фотографии на стенах, иконы в углу. Только обеденный стол заменялся раскладным, походным, а где-то в светелке устанавливалась узкая госпитальная койка с жестким одеялом. Даже здесь, в Саксонии, где штаб располагался на территории старинного баронского замка, командующий держал свой флаг в домике садовника. А тут роскошные палаты, анфилада комнат, старинная мебель, ковры, гобелены, и он выглядел в этой обстановке так, как будто в ней и родился.

Гость прибыл со свитой празднично одетых генералов и офицеров. Целый сонм корреспондентов высыпал из армейских автобусов: репортеры, фотографы, кинематографисты. Со свойственной нашей профессии бесцеремонностью они мгновенно заполнили гостиные и с ходу принялись снимать, писать, зарисовывать. Жужжали киноаппараты, ослепительно вспыхивали блицы фотокамер. Мы, признаюсь, с интересом разглядывали своих заокеанских и европейских коллег, наблюдали за кипучей деятельностью корреспондентов, восхищались их бесцеремонной активностью и тем, как они уверенно действуют в незнакомой обстановке.

Командующие обменялись рукопожатием.

— Нет-нет, мы не успели снять,— решительно заявил высокий и худой будто жердь кинооператор.— Исторический снимок — рукопожатие союзников,— он должен хорошо выйти. Уанс мор — еще раз. Теперь улыбнитесь — кип смайлинг... Благодарю. Уанс мор — еще раз.

Маршал было нахмурился, но на лице его гостя была покорная улыбка. Для него это корреспондентское кипение было привычным, вероятно, даже льстило его самолюбию. Он попросил хозяина дома не очень обижаться: корреспонденты есть корреспонденты, а пресса есть пресса. Пред нею поднимет руки

любой храбрец. И ведь действительно встреча в какой-то мере историческая. Конев улыбнулся и тоже поднял руки.

— Нет-нет, поднимите руки еще раз. Исторический кадр: непобедимый советский военачальник сдается американским репортерам... Сэнкью... Данке шён... Мерси... Спасибо...

Меня сразу же представили дуайену журналистского корпуса 12-й американской армии. Мы церемонно рекомендовались, обменялись какими-то пустяковыми фразами о необычно теплой погоде, выразили удивление по поводу бесполезного упорства немецких войск в Берлине, слегка поспорили о возможной дате окончания войны, а потом как-то сразу перешли на разговор о положении военных журналистов в союзнических армиях. Я познакомил гостя со своими друзьями. Ребята были на высоте, и заокеанский коллега подивился количеству наград, украшавших их кителя и гимнастерки. Особенно поразила его Звезда Сергея Борзенко.

— Высший знак военной доблести — у военного корреспондента! Поразительно! — воскликнул он и добавил: — Да, видать, у вас журналистам действительно можно работать. Вы офицеры, вы все можете видеть собственными глазами и во всем сами активно участвуете.

— А вы?

— У нас положение иное. Мы только корреспонденты своих газет и журналов. Нет, нет, особых претензий к командованию у нас нет. Образованные офицеры ежедневно информируют нас обо всем происходящем. Они настолько любезны, что дают нам письменные пресс-релизы, так что мы можем даже не вынимать блокнотов. Но, увы, эти сведения уже пропущены сквозь мелкое штабное сито.— И он горько улыбнулся.— Дистиллированная вода. Вы знаете, господа, дистиллированная вода химически самая чистая, но пить ее противно и, если пить только ее, можно даже заболеть. За всю войну я единственный раз видел бой. Это было в день высадки в Нормандию, когда начиналась операция «Оверлорд». И то ручаюсь, что никто из нас не мог принять на себя командование десантом, как ваш герой,— он показал на Борзенко.— Нет, этого, к сожалению, не было и уже не будет.

Сначала разговор шел через переводчицу. Лола трудилась на совесть. Потом вдруг выяснилось, что дуайен союзников хорошо говорит по-русски.

— Да, это мой материнский язык,— подтвердил новый знакомый.— Моя мама была русская. Она была курсисткой Высших женских курсов в Москве и вместе с родителями эмигрировала в Америку после первой вашей революции. Свои первые слова все мы, ее дети, произносили по-русски.— А потом с неожиданным простодушием произнес: — Мое настоящее имя — Осип. Зовите меня Осип.

Осип был высокий худой человек с рыжим чубом. Его лицо, шея и руки были, будто охрой обрызганы, осыпаны большими веснушками. По-русски он говорил действительно хорошо, даже изящно, как говорят старые интеллигенты.

— Я не ас репортажа. Я представляю небольшую газету.— И вдруг признался: — Это мой русский язык сделал меня дуайеном для этой встречи.— И вдруг попросил: — Если можно, скажите, ваши войска пойдут на Прагу? Какая армия? Когда?

Я насторожился и невольно вопросительно посмотрел на Осипа.

— Ну, а как же ваше настоящее имя, мистер Осип?

— Меня зовут Джо. Осип — это Джо по-американски. Осип, Иосиф, Джозеф и Джо,— ответил он с простодушнейшим видом. И тут же, спохватившись, добавил: — А что, я задал вам нетактичный вопрос?

— Нет, отчего же. Но ведь мы с вами репортеры. Мы пишем о том, что произошло, а не о том, что произойдет. У нас как-то не принято говорить о пожаре за несколько минут до его возникновения. А у вас?..

— Мне бы очень хотелось узнать, что произойдет в Чехословакии. Судьба Берлина ясна. Но Прага... Мои читатели очень интересуются Прагой.

Произносил он это, кажется, искренне, и мне хотелось ему помочь, но как? На всякий случай я сказал:

— Задайте свой вопрос маршалу Коневу.

— Вы думаете, это можно? Он мне ответит?

— Попробуйте. А потом, может, и мне расскажете, что произойдет, я этим тоже интересуюсь.

Между тем в соседней гостиной между двумя командующими происходила дружественная беседа. Брэдли как раз показывал Коневу карту размещения войск на линии смычки фронтов двух армий. Оба они, склонившись над ней, представляли действительно интересную группу — два союзнических полководца над картой. Со мной был фотоаппарат. Я попросил Осипа-Джо подержать футляр и сфотографировал их. У Осипа-Джо фотоаппарата не было. Оценив значение такого кадра, он мгновенно убежал, чтобы одолжить его у кого-то из своих коллег, позабыв даже вернуть мне футляр.

За обеденным столом мы сели рядом слева от стола генералитета. Из наших генералов были за столом члены Военного совета генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, генерал Н. Т. Кальченко, командующий 5-й гвардейской армией А. С. Жадов, командир стрелкового корпуса Г. В. Бакланов, части которых встречались с американцами в тот памятный день на Эльбе. Стол был обильный. Вдоволь было и икры, и белорыбицы, и водки. Но я заметил, что Осип-Джо не пьет и, не выпуская из рук блокнота,

делает в нем какие-то заметки. Ну что же, если он даже и не представитель скромной провинциальной газеты, как он рекомендовался, все же не худо будет, если он зафиксирует те сердечность и дружелюбие, которые царили за этим столом. А добросердечность была несомненная.

Вот короткие отрывки из тостов, которыми обменялись И. С. Конев и Омар Брэдли,— то, что я успел записать на бумажной салфетке.

Конев. ... Мы приходим к великой нашей победе через такие испытания в боях, каких не доводилось еще испытывать ни одной армии мира... Наша победа будет желанной победой. Народ наш заплатил за нее миллионами жизней, но наша Красная Армия выходит из этой нечеловечески трудной войны еще более могущественной, чем она была в ее начале... Большую роль в исторической победе антигитлеровской коалиции сыграл американский президент Франклин Делано Рузвельт, имя которого с уважением произносится в нашей стране. И за этим столом я хотел бы с особым уважением помянуть имя этого великого антифашиста, немало сделавшего для победы войск антигитлеровской коалиции, и выразить надежду, что его преемник продолжит дело Рузвельта и укрепит дружбу наших народов, рожденную боевым братством в дни войны.

Тост был закончен здравицей в честь американских союзников.

Брэдли. ...Для меня большая честь встретиться за этим столом со славным предводителем войск группы Первого Украинского фронта. Наш народ всегда с восхищением следил за боями и победами славной Красной Армии, и мои солдаты и офицеры стремились подражать боевому примеру, который подавали им войска Первого Украинского фронта... Сейчас, когда победа близка, можно лишь выразить сожаление по поводу внезапной и безвременной кончины президента Рузвельта, который столько сделал для достижения победы войск антигитлеровской коалиции... Ваш пример доблести и мужества — огромный вклад в нашу общую победу над армиями нацизма.

Тост был закончен здравицей в честь славной Красной Армии и ее Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.

Ну а потом гости перешли в большой зал, где должен был выступать красноармейский ансамбль 1-го Украинского фронта. Киевская артистка Лидия Чернышова организовала его сразу же, как только была освобождена столица Украины. Сначала это был просто солдатский хор. За полтора года под ее руководством этот хор вырос в такой ансамбль, какой мог дать фору любому профессиональному коллективу. Нам доводилось его видеть то в одной, то в другой наступающей части. Иногда он как бы распочковывался, разбивался на маленькие группки из нескольких

певцов и плясунов, которые выступали прямо на передовых во время редких боевых затиший. Но в целом мне его еще не доводилось слышать. И я был поражен. Боже ж мой, какое он произвел впечатление на союзников! На суровом лице Брэдли появилось просто-таки растроганное выражение. Когда пели «Реве тай стогне», несколько американцев, по-видимому украинского происхождения, украдкой вытирали слезы. А когда певцы на английском языке грянули весьма популярную у нас солдатскую песенку «Нашел я чудный кабачок», и с гостями и с хозяевами произошло что-то непередаваемое. Те и другие вскочили и, вторя ансамблю, по-русски и по-английски подпевали певцам. Потом спели тоже известную у нас песню американских летчиков «Мы летим, ковыляя во мгле, мы летим на последнем крыле».

Ну а о танцах и говорить нечего: и русская пляска, и украинский гопак вызвали такой гром аплодисментов, что лучшие военторговские официантки, отобранные из всех столовых фронта, позабыв свои обязанности, стояли в проходах, раскрыв рты.

— Это великие артисты, да? Это из Москвы, да? Ну зачем вы скрываете, так могут танцевать только настоящие артисты,— с упреком говорил мне Осип-Джо.— Мне-то, Борис, вы можете сказать, что они прилетели из Москвы или Киева. Кто же поверит, что такой ансамбль может образоваться на фронте из солдат?

Под конец этого вечера ко всему виденному и слышанному добавилась еще одна красочка. Подошла хорошенькая корреспондентка в форме солдата американской армии. Лолы рядом не оказалось. Мою напарницу, демонстрировавшую одновременно и ум и красоту советских женщин, взяли в плен американские штабисты. Но Осип-Джо любезно перевел мне слова коллеги. Оказывается, корреспондентка эта привезла с собой номер своего журнала и хотела показать его нашему командующему. В номере этом на целую страницу был изображен дружеский шарж, созданный на основе известной васнецовской картины «Три богатыря». Богатыри, как им и полагается, сидели на своих мохнатых богатырских конях, но у них были сегодняшние, знакомые черты. В Илье Муромце, сидевшем в центре, легко было узнать маршала Г. К. Жукова, в Добрыне Никитиче — И. С. Конева, а в Алеше Поповиче — маршала К. К. Рокоссовского. В подписи значилось: «Русские богатыри».

— Как вы полагаете, ваш маршал не обидится, если я ему покажу этот шарж? Кто он был, этот...— и она с трудом выговорила: — Добрыня?

— Э-э-э... Ну как вам сказать... В русском эпосе это выдающийся военный... Среди своих собратьев он слыл джентльменом... Один из самых любимых богатырей...

— А я не покажусь слишком назойливой, если при этом попрошу маршала оставить на этом рисунке свой автограф?

— Полагаю, что нет...

— И еще,— собеседница замялась,— могу я задать ему вопрос...

Тут Осип-Джо прервал перевод и сразу увел разговор в сторону, но я все-таки ухитрился понять, что очаровательная собеседница желала бы узнать, будем ли мы брать Прагу. Уже второй из гостей интересуется Прагой. Смятение Осипа-Джо тоже не могло ускользнуть от моего внимания. Должно быть, этот вопрос особенно занимает сейчас американское командование.

Мы уже знали, что командующий мощной немецкой группировкой «Центр» генерал Шернер, только что получивший звание фельдмаршала, располагающий более чем двенадцатью дивизиями, стягивает свои войска к Праге. Знали, что население Праги, вдохновленное победами Красной Армии, подняло антигитлеровское восстание. Слышали передаваемые по радио призывы пражских повстанцев, обращенные к союзническому командованию, к Красной Армии. Сопоставляя все это, легко было догадаться, что Шернер, возможно, мечтает втянуть свои войска в город и под прикрытием пражских святынь отсидеться там до подхода американской армии. Наверное, отсюда и происходил повышенный интерес коллег к нашим намерениям на левом фланге фронта.

— Задать такой вопрос вы, конечно, можете,— ответил я, игнорируя то, что конец фразы этой дамы мне не был переведен.— Только у нас говорить о том, что будет, в армии не принято. Понимаете, коллега, плохая примета. А наши полководцы — суеверный народ.

— Вы думаете, что он не ответит,— огорченно сказала собеседница.— Кстати, господа, где мой журнал?

А журнал с шаржем между тем пошел вдоль стола, передаваемый из рук в руки, перекочевал за соседние столы. И исчез. Испарился. Его попросту кто-то прикарманил. Собеседница была вдвойне огорчена.

— Терпеть не могу эту нашу отвратительную американскую привычку все хватать на сувениры... Кстати, вы не могли бы мне дать на память об этой встрече что-нибудь? Ну хотя бы вот эту звезду с фуражки?

Осип-Джо смеялся, переводя ее слова, и собеседница удовлетворилась тем, что заставила всех нас расписаться на память на голубой ленте, подаренной ей украинскими танцорами.

Потом произошел обмен сувенирами, так сказать, на высшем уровне. Постукав вилкой по бокалу и потребовав внимания, генерал Брэдли заявил, что хочет подарить хозяину дома как памятку боевого братства вездеход системы «виллис». Это была

отличная машина специальной сборки. Ее патронные ящики оказались набитыми американскими сигаретами. На щитке управления была прикреплена серебряная дощечка: «Командующему Первой Украинской группы Красной Армии маршалу И. С. Коневу от солдат американских войск 12-й группы армии».

Мы с интересом смотрели на командующего. Как он поступит? Что предпримет в ответ? И ответ оказался достойным. С давних пор, со Степного фронта, с дней битвы на Курской дуге, был у командующего вороной жеребец, отлично выезженный дончак. Конь этот сопровождал его в дни большого наступления от Белгорода до Карпат, через Украину, Молдавию до Румынии, а потом все те восемьсот девяносто шесть километров, что части 1-го Украинского фронта прошли от Львова до Берлина. Конев — хороший наездник, любит верховую езду. Это мы знали, но никто из нас не видел его в седле. «Довоюем — наездимся»,— говорил он, поглаживая шелковистую гриву коня.

Вот этим-то конем он и отдарил своего гостя, позаботившись о том, чтобы в походные переметные сумы было заложено достаточное количество икры и коньяка. Полководцы расстались как боевые соратники. Под вспышки блицев и жужжание киноаппаратов они обнялись, расцеловались, а потом снялись, дружески держась за руки, как бы свидетельствуя меру взаимного солдатского уважения.

За вороным жеребцом был прислан специальный самолет.

Последний военный репортаж

В Берлине подписана безоговорочная капитуляция Германии. Даже не верится, что война окончена. И боже ж мой, как хорошо на душе! Когда подполковник Дорохин известил меня об этом по телефону, я, признаюсь, сразу даже и не осознал всего значения этой вести. Поблагодарил. Положил трубку на зеленый ящик, и только после этого до сознания дошло, что это же кончилась война! Достал из кармана фотографию жены, сына, крохотной чернявой Алены и, в этом стыдно признаться, вдруг заплакал. Заплакал первый раз за всю войну.

А через полчаса в белесой майской ночи деревья старого парка просто-таки затряслись от беспорядочной разнокалиберной стрельбы. Палили все, кто из чего. Палили, не жалея патронов,— к чему они теперь, когда кончилась война? Признаюсь, и я не утерпел и опустошил обойму в раскрытое окошко. За этим несерьезным занятием и застал меня фоторепортер капитан Николай Фиников. На нем не было лица.

— Товарищ подполковник, налет на штаб?

— Какой налет? Что с вами?

— У меня в комнате пули свистят.

Действительно, в нашем доме стреляли, отчего надтреснутое зеркало жалобно звенело на стене.

Но почему пули свистели у Финикова?

Все разъяснилось так. Фоторепортеры со своей лабораторией расположились, оказывается, наверху, в мезонине. Чтобы не мешал свет, они наглухо завесили окна одеялами. Фиников пораньше залег спать и ничего о капитуляции Германии не слышал. Проснулся от веселой этой пальбы, причем действительно несколько пуль просвистело у него в комнате. Оказывается, шоферы на радостях дали залп из винтовок в потолок. Пришлось дать им ради праздника нагоняй. И вот теперь, притихшие и пристыженные, они накрывали в комнате праздничный, пиршественный стол.

В парке еще палили. Под грохот этих веселых выстрелов и позвонил дежурный с военного телеграфа. Поздравил с победой и тут же прочитал полученную из Москвы срочную депешу. Я берегу ее до сих пор, это последнее военное задание, пришедшее ко мне, когда на всех фронтах, кроме нашего, война уже кончилась. Вот она: «Из Сапфира в Аметист. Вручить немедленно корреспонденту «Правды» подполковнику Полевому. Подробно осветите освобождение Праги. Место не ограничиваем. Учтите, корреспондент «Комсомолки» Крушинский идет в Прагу танками Лелюшенко. Генерал Галактионов».

Ой-ой-ой! Ай да Крушинский! Он исчез с утра, никому ничего не сказав.

Решили, что репортерский дух погнал его на 1-й Белорусский смотреть подписание капитуляции. Мы-то тут стреляем в воздух, бражничаем по случаю победы, а он, видите ли, идет с танками Лелюшенко.

Схватив со стола кусок колбасы, покидаю дружескую компанию и отправляюсь к «оперу» [1].

Подполковник Дорохин дежурит по оперативному отделу и мается в одиночестве. Он подтверждает: да, в Праге антигитлеровское восстание развивается. Многие районы в руках повстанцев, но части СС, не сложившие оружия, атакуют их, положение у повстанцев тяжелое, одна за другой в эфир идут трагические телеграммы, в которых говорится о том, что немцы стягивают в город новые части. Истекая кровью, повстанцы ведут неравные бои и просят Красную Армию, армии союзников о срочной помощи.

Дорохин объясняет детали обстановки: пражское восстание охватило центр города и его индустриальные районы. Эсэсовцы не признали подписанную в Берлине капитуляцию. Ведут яростные бои. Наступают. Туда же, в Прагу, откатывается из Силе-

---

[1] Так корреспонденты называли оперативный отдел.

зии мощная группировка «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера.

Судя по всему, предположение маршала Конева о том, что этот Шернер замышляет ворваться в Прагу, соединиться там с эсэсовскими частями, чтобы, прикрываясь архитектурными святынями города, завязать длительную борьбу и дождаться американских дивизий,— это предположение явно оправдывается. А восстание, судя по трагическому тону телеграмм, по-видимому, действительно истекает кровью в уличных боях.

— Ну а что предпринято нашим командованием?

— Маршал Конев разработал план молниеносной операции, и Ставка утвердила его. В сторону Праги двинуты три общевойсковые армии с приказом форсированно наступать. Танковые армии Лелюшенко и Рыбалко с приданными им артиллерийскими частями брошены к Праге через горы по двум разным дорогам. Их задача — подойти к городу и окружить его. Танкисты должны отрезать пути отхода Шернера на запад, преодолеть чешские Рудные горы и, не задерживаясь, с максимальной скоростью подойти к Праге, оставив Шернера за спиной. Рыбалко ворвется в Прагу с востока и северо-востока, Лелюшенко — с юго-запада. Главная цель — прикрыть Прагу стальным кольцом.

— Большие идут силы?

Дорохин усмехается. Война уже окончена, и запрет с секретов снят.

— Двинуты десять танковых корпусов. Армиям Пухова, Жадова и Гордова приказано на максимальных скоростях двигаться вслед за танкистами. Смелее наступать Лучинскому, Коротееву, командующему 2-й армией Войска Польского генералу Сверчевскому.

Да, сейчас, когда все человечество отдыхает и спокойно отсыпается после войны, здесь, на этом фланге нашего фронта, продолжается грандиозная битва. Майская ночь стоит над Германией. Весь огромный фронт молчит. Только тут, на участке Средней Европы, на земле Чехословакии, славянской страны, которая особенно близка и дорога нам, советским людям, война продолжает бушевать с прежней силой.

Не дав моему другу закончить его несколько академические пояснения, я попросил его помочь добыть самолет, чтобы вылететь в Прагу. Крушинский идет в этот поход на танках. Стало быть, для меня единственной возможностью не отстать будет самолет. Этого, разумеется, я Дорохину не сказал. Просто показал телеграмму генерала Галактионова. Такая операция! Это же грандиозно.

Выслушав мою просьбу, подполковник даже свистнул.

— Самолет! Вот чего захотел! Во-первых, обычная «уточка» туда и обратно не долетит. Кто тебя там будет заправлять? Во-

вторых, ни один летчик не возьмется лететь ночью в неприятельский тыл без подготовки, тем более что трасса не разведана, неизвестно, где там можно сесть. В-третьих, не фантазируй, пожалуйста, садись-ка лучше выпьем, у меня тут есть коньячок.

Настаивал. Убеждал: историческое сражение, финал войны... И тут Дорохин проговорился:

— Не можем же мы дать тебе самолет с единственным летчиком, приблизительно знающим эту трассу. Он должен привезти подтверждение о взятии города. Этот самолет в распоряжении начальника штаба фронта.

Ах, есть такой самолет! Вот в него-то я и вцепился.

— Подтверждение? Отлично. Я смогу передать это подтверждение.

И не такие задания приходилось выполнять военным корреспондентам. Взять того же Сергея Борзенко. И десантом руководил, и донесения писал, и корреспонденции посылал в свою газету. Ночь Победы, светлая, зеленоватая, великолепная ночь. В такую ночь и невозможное возможно.

Хожу по фронтовому начальству, выпрашивая самолет. Никто не спит. Никто не заботится о светомаскировке, и очень странно видеть сверкание огней в окнах зданий, где располагается штаб фронта. Все необыкновенно добры. Приветствуют корреспондента с подчеркнутым усердием, будто неожиданно нагрянувшую тещу. Тащат к столу. Потчуют. Но о самолете и заговаривать не дают. Постепенно поднимаюсь по ступенькам штабной лестницы, получая отказы в самой милой и доброжелательной упаковке, поднимаюсь до штаб-квартиры командующего.

Он, разумеется, тоже не спит. Склонился над рабочим столом, на котором вместо пиршественных угощений лежит карта, как раз тот самый ее отрезок, который только что показывал мне Дорохин. Просматривая листок с очередным донесением, маршал собственноручно удлиняет на карте красные стрелы, вонзающиеся в двух направлениях в зелень Рудных гор.

— С победой, товарищ командующий!

Неторопливо дорисовав стрелы, командующий откладывает карандаш, лупу, снимает очки.

— Рановато поздравлять. Она запаздывает к нам, окончательная победа. Нам ее еще предстоит одержать. Такие-то вот дела. Ну, что скажете хорошенького?

Я вдруг начинаю вспоминать, как в первый раз пришел к нему представляться, когда армии Калининского фронта еще только готовились к сражениям за мой родной город. Я намеревался тогда пробраться в полуокруженный штаб танковой бригады полковника Ротмистрова и сообщил ему об этом своем намерении. Командующий слушает, и где-то в глубине его голубых

глаз мелькают этакие хитрые искорки. Прерывает меня на полуслове:

— Самолет, да?

— Иван Степанович, ей-богу, в последний раз.

— В последний раз,— теперь он откровенно смеется.— Так, значит, в последний раз? А ведь и верно, как я полагаю, вам больше не представится случая гробить штабные самолеты. Мне тут о ваших происках уже доложили. Я отдал соответствующее распоряжение.— Конев крепко пожал руку своей сильной рукой.— Ну, летите. Только не суйтесь, куда не надо. Желаю удачи.

Удачи! Может ли быть удача лучше этой? Восток еще только начинает румяниться, когда штабная «уточка», «ушка», милый самолет У-2, у которого столько названий — и «огородник», и «кукурузник», и «этажерка»,— тарахтя мотором, выруливает на старт, оставляя на серой, покрытой росой траве ярко-темные изумрудные полосы.

Мы с летчиком, моим старым знакомым и другом капитаном Севастьяновым, с которым летали и в Освенцим, и на спасение Матки Боски Ченстоховской, уже наметили по карте маршрут через Рудные горы на большой промышленный город Мост. Там, если повезет, присядем, сориентируемся в обстановке и оттуда уже махнем на Прагу.

Правда, на этот раз помимо корреспондентских обязанностей предстоит выполнить и обязанности штабного офицера. Связаться с руководством восстания, уточнить обстановку, попытаться передать ее по повстанческой рации, через которую в эфир идут воззвания. Ну что же, повезет — передадим.

— Чего ж вы на этот раз в одиночку? Дружок-то где? — спрашивает Севастьянов, который возил нас с Крушинским в Освенцим.

— Дружок идет с танками Лелюшенко.

— Конкуренция?

— Социалистическое соревнование.

Летим, как договорились, на значительной высоте. Первые лучи солнца уже сияют за гребнем гор, еще погруженных во тьму.

Ага, вон там на серых ниточках дороги движение. Машины с пехотой, танки, самоходки и снова машины... Несколько километров с перерывом, и опять на дорогах густые колонны войск, движущихся с полным вооружением. Но на этот раз уже немецкие войска. Что ж это такое? Где же наши танки? Прозевали мы их, что ли? Да нет же, они будто по муравьиной тропе вереницами спускаются с гор на дороги холмистой долины. Ну да, танки. И на броне пехота. Эх, нет на самолете рации, передать бы в штаб фронта об их передвижении.

Делаю Севастьянову знак снизиться. Да он и сам уже угадал своих, снижается. Теперь прямо-таки ползем по вершинам зеленых, пологих, очень красивых холмов навстречу чему-то большому, затянутому бурым ядовитым дымом. Что же это там горит?

Севастьянов передает мне планшет с картой. Это же город. Мост горит. Как быть? Решаем садиться. Снижаемся прямо на шоссе и тут же оказываемся окруженными толпою крестьян. Жмут руки. Что-то приветственно кричат. Тянут к себе в деревню. Но нам некогда. Узнаем, что фашисты ушли из Моста вечером и двинулись по направлению к Праге.

Множество добровольцев, изрядно мешая друг другу, помогают нам развернуть самолет против ветра. Когда он уже начинает бежать на взлет, кто-то залепил в лицо летчику увесистым букетом черемухи. Я прячу в записную книжку маленькую цветочную гроздь — память о первых встречах с Чехией.

Идем на небольшой высоте. Солнце уже выбралось из-за холмов, река, петляющая между ними, серебрится в его лучах. Что это, Эльба или уже Влтава? Но прежде, чем успеваю определиться по карте, уже вижу на горизонте в утренней дымке острые шпили церквей, торчащие из тумана.

Прага! Никогда не виданный мной, но давно уже желанный город, который я заочно полюбил еще по рассказам словацких повстанцев. И прекрасный город этот горит тут и там. Но пожаров, к счастью, немного. На первых же улицах видим национальные флаги. Видим толпы по-весеннему пестро одетых людей. Летчик на незначительной высоте описывает широкий круг над городом. Всюду толпы. Множество народу. Но кое-где улицы и целые районы пусты. Там баррикады, там бой. Особенно густо стреляют у трех мостов. Там огонь ведет артиллерия. Наш самолет не трогают. По нему никто не стреляет, должно быть, не до нас, а может быть, мы для гитлеровцев незначительная цель.

Пишу летчику записку: «Снижайся, ищи место посадки». Прочел, усмехнулся, дескать, учи ученого. И кружит. Кружит настолько низко, что стрельчатые шпили церквей проходят на уровне крыльев.

Люди внизу, вероятно, уже различили красные звезды на крыльях. Наша маленькая машина, которую немцы презрительно зовут «кофейная мельница», вызывает там, внизу, в этих толпах, великий энтузиазм. Нам машут, что-то кричат. Уж скорей бы сесть, что ли.

Сначала приладились было приземлиться на большой прямоугольной площади. Люди, должно быть угадав намерение летчика, стали очищать ее проезжую часть. Но уже на посадке летчик различил целую паутину трамвайных проводов и круто взял вверх. Описали круг побольше. Ага! За рекой на холме какой-то большой стадион, окруженный огромными трибунами. При-

гляделись. Лучше посадочной площадки не найдешь. И где только не приходилось капитану Севастьянову сажать свой самолетик! Под Корсунь-Шевченковским в весеннюю распутицу он сажал самолет, на котором прилетел командующий, на посадочную полосу, выложенную соломой по талому снегу.

Ну, была не была. Как бы соскользнув прямо с трибуны, самолет всеми тремя точками прикоснулся к ровному спортивному полю. Благополучно пробежал по нему и в самый последний момент клюнул носом и разбил винт о деревянную ограду трибуны на противоположной стороне. Сели относительно благополучно, катастрофы не произошло. На мгновение мелькает мысль: а как же взлетим без винта? И тут же другая: а зачем? Танки-то уже на подходе.

Через поле к нам бегут какие-то вооруженные люди в песочного цвета комбинезонах, с красными ленточками на беретах. Догадываемся: это повстанцы и есть. Что-то кричат. Жмут руки. Хлопают по плечам, а потом, будто сговорившись, подхватывают на руки, и несут через стадион, и осторожно приземляют перед дверью ресторана или бара, вписанного в трибуну с противоположной стороны. Мы успеваем прочесть вывеску — «Чемпион». И оказываемся за столом.

В баре людно. Те же песочные комбинезоны. Некоторые в штатском, в рабочих куртках. Но все туго, по-солдатски перепоясаны, у всех оружие. Оказывается, здесь что-то вроде районного штаба. Узнаем, что немцев тут уже нет. Бои в центре, у заводов и у мостов. Особенно у мостов. Там немецкая артиллерия. И танки во дворах.

Командир штаба, сухонький пожилой человек, тоже в песочном комбинезоне, но в форменной фуражке с большой кокардой чехословацкой армии, знакомой мне по корпусу генерала Свободы, достает туристскую карту и умело изображает на ней обстановку: объекты борьбы, места сосредоточения эсэсовцев, их батареи, танки.

— Вы офицер?

— Ано, ано, офицер. Достойник.

Карту с нанесенной на ней обстановкой он без всякой просьбы дарит нам. Очень сообразительный человек, понял, зачем мы прилетели.

— Нам нужен штаб восстания. Штаб.

— Ано, ано. Штаб повстанцев есть тут.— Он отмечает на карте дом вблизи площади.

— И еще радиостанция.

— Ано, ано, рация тут.— Оказывается, он уже изобразил ее для нас. Даже об этом позаботился. Да, черт возьми, сегодня хорошо иметь красные звезды на крыльях самолета.

— А как мы попадем в штаб?

— Вон пан доктор довезет вас.

Машина у пана доктора удивительная, с толстым пузатым баллоном, закрепленным на крыше. В баллоне, оказывается, газ. Вместо бензина она работает на газе. Однако довольно ходко бегает. Доктор провозит нас по мосту, на котором в затейливых позах возвышаются какие-то каменные святые, изображенные в стиле такого лихого барокко, что кажется, будто у них болят животы и они извиваются от боли. Этот мост свободен, а справа и слева еще идут бои.

На центральных улицах много народу, но там стрельба. Это выбивают из чердаков засевших там эсэсовских пулеметчиков. Те из чердачных окон палят по толпе. Но и с ними тоже не церемонятся и, изловив, просто сбрасывают с крыш. Повсюду национальные флаги, огромные полотнища свисают с проводов, балконов, просто из окон, флажки поменьше на дверях магазинов. Вместе с трехцветными национальными флагами тут и там красные.

Минуем огромную продолговатую площадь, где мы намеревались сесть. «Вацлавское наместье» — называет ее нам доктор. А вот и другая площадь. Иного, средневекового вида. Посредине памятник Яну Гусу. Гус стоит среди своих приверженцев и, как кажется, с болью смотрит на какое-то красивое старинное здание, полыхающее перед ним.

— Ратуша,— поясняет нам доктор.— Наша старая ратуша.— В глазах у него слезы.— Эти эсэсманы не пощадили даже это.— И в переулке он показывает нам старинные часы, куда гитлеровцы влепили снаряд. Часы разбиты. Циферблат искорежен, в его окошках видны испуганные фигурки святых. Эти часы ходили пятьсот лет.

Недалеко от этих часов вход в большой подвал. Там, оказывается, и был штаб восстания. Но теперь подвал пуст. На столах и на полу окурки, бумага, в углу окровавленное эмалированное ведро, из которого торчит ампутированная рука. Должно быть, здесь производились операции.

Где штаб, никто не знает. Его пребывание, по-видимому, в секрете. Даже наша военная форма, вызывающая на улицах такой энтузиазм, не помогает напасть на его след. И предосторожность эта не лишняя,— говорят, по городу шныряют власовцы, тоже в нашей форме. Впрочем, штаб нам не так уж и нужен. Поручений у меня в штаб нет, а обстановка уже известна.

— Ну а радио?

— Ано, ано, радио. Розглас.

Доктор везет нас с Севастьяновым на улицу, где помещается здание, как он говорит, розгласа, вероятно радиокомитета. За это здание бой, как видно, шел совсем недавно, баррикады еще не разобраны. На асфальте несколько трупов немцев в чер-

ных эсэсовских мундирах. А в подворотне — тела повстанцев. Убитые прикрыты национальным флагом. Под ногами звенят стреляные гильзы. На мостовой их целая россыпь.

Доктор ведет нас не в главный подъезд, который забаррикадирован изнутри, а куда-то во двор, в подвал. Бомбоубежище? Нет, операционный зал. У входа пулемет и часовые. Удивленно смотрят на нас в упор и, не спрашивая пропусков, прямо-таки подталкивают к двери, где стоят аппараты. В зале какие-то усталые, небритые люди бросаются к нам на шею, обнимают, жмут руки. Они все еще в боевом пылу. Ну да, отбили свой розглас. Не дали эсэсовцам занять радиостанцию.

Узнаю, что именно отсюда, из этого подвала, и летели в эфир трагические призывы повстанческого штаба, адресованные советским братьям, Красной Армии.

Объясняю, что сейчас нужно мне на той же волне передать сообщение в штаб фронта.

— Вам что угодно, господин подполковник? — вдруг спрашивает один из них на чистейшем русском языке.

— Вы говорите по-русски? — несколько настороженно спрашиваю я.

— Я русский. Моя фамилия Чириков. Евгений Евгеньевич Чириков.

— Чириков? Случайно, вы не сын писателя Евгения Чирикова?

— Как, у вас еще помнят моего отца? — обрадованно спрашивает собеседник.— Я радиоинженер. Я к вашим услугам. Рация работает... Неужели вы читали книги Евгения Чирикова? Будете передавать открытым текстом или у вас шифр?

— Война кончилась, кого нам стесняться в эфире?

— Увы, у нас она еще идет. Только что погибло два моих друга. Вы видели их тела?

Присаживаюсь к микрофону и в нарушение всяких правил прошу наших связистов записать обстановку в Праге. Карта офицера повстанцев лежит передо мной. Сын писателя-эмигранта, симпатичный хромой человек, приходит мне на помощь, когда я начинаю путать чешские названия. Прошу фронтовых радистов записанное немедленно передать Второму, как по наивному коду именуется начальник штаба фронта генерал Петров, а потом диктую длиннейшую корреспонденцию уже в Москву, в «Правду», рассказывая, что́ сейчас происходит в городе. Итак, фитиль. Последний фитиль второй мировой войны. Коварный Крушинский, потихоньку от нас уехавший с танкистами, еще где-то идет к Праге на танках Лелюшенко, а мое сочинение, если повезет, скоро ляжет на стол генерала Галактионова.

Диктуется легко. Перед глазами ничего, кроме микрофона и тех картин восстания, о которых я рассказываю. В это время позади раздаются шум, восклицания.

— Советую вам, пан подполковник, добавить еще одну фразу к вашим сообщениям: на заре советские танки вступили в город со стороны Крушельвиц. Население восторженно встречает их цветами.

Оглядываюсь. Это Евгений Евгеньевич стоит, улыбается во весь рот, опираясь на свою палку. Оказывается, розглас только что получил по телефону эту радостную весть. Что ж, отличная фраза и очень кстати. Добавляю ее, благодарю фронтовых радистов, принявших это мое сочинение.

— Передайте в Москву, что это первая часть. Продолжение корреспонденции передам в шестнадцать ноль-ноль.

День Победы. День чудес. В этот день, как мне кажется, чудесам и надлежит происходить. Капитан Севастьянов беспокоится о самолете. Доктор-повстанец увозит его на своем драндулете в Страгово, на Сокольский стадион, где стоит его машина, а меня два вооруженных парня сопровождают до Вацлавской площади, где мы чуть было не сели. Вид ее изменился. По ее огромному прямоугольнику движутся наши танки. Они идут осторожно, как добродушные слоны, пробираясь в огромной толпе. Пропыленные до костей мотопехотинцы застенчиво улыбаются, сидя на бортах. Из толпы в них летят цветы, пачки сигарет, венки, сплетенные из липовых ветвей. Какая-то предприимчивая девица стоит на броне в национальном костюме в эдакой позе Франции с картины Делакруа, и руки танкистов бережно поддерживают ее.

И вот тут у какого-то массивного конного памятника, что стоит на высоком пьедестале над площадью, происходит чудесная встреча. Сергей Крушинский! В танкистском шлеме, в гимнастерке, будто замшевой от пыли, он, поминутно отодвигая налезающий ему на глаза шлем, раздает направо и налево автографы на открытках, которые протягивают ему со всех сторон. Он прибыл с головной колонной Лелюшенко и теперь принимает на себя огонь восторгов и благодарности, адресованных армии освободителей.

— Вы? Тоже здесь? Откуда?

Обнялись, расцеловались. Попытались выбраться из толпы, но это — нелегкое дело. Поминутно останавливают, обнимают, целуют. У здания музея дорогу нам решительно преграждает какой-то пожилой гражданин. В руках у него хрустальный графин и рюмка. Он требует, чтобы советские офицеры отведали его настойки. Сам он легионер. Бывал в России в первую мировую войну и помнит русский язык. А настойка у него особенная. Он, оказывается, закопал бутылку с ней в землю семь лет назад, когда Прагу оккупировали немцы. Закопал и дал жене слово не трогать эту бутылку, пока столица не избавится от бошей. Вот пришло время. И он по-сибирски произносит вдруг:

«Откушайте-та». Мы, разумеется, не заставляем себя долго упрашивать...

На углу Вацлавской площади, возле какого-то шикарного магазина, видим невысокую немолодую женщину с кудрявой головой и на редкость миловидным круглым лицом. В толпе ее выделяет национальный костюм — «крой», как поясняет уже начинающий вживаться в пражскую среду Крушинский. В накрахмаленном кружевном чепце, из-под которого выбиваются веселые кудряшки, в богато вышитой кофте, в короткой наплоенной юбке и полосатых чулках, женщина эта выглядит милым персонажем из «Проданной невесты», сошедшим со сцены в публику. У нее в руках корзинка, покрытая салфеткой. В корзинке, как оказывается, объемистый сосуд и маленькие стопочки-наперстки. Она тоже решительно заступает нам дорогу и, показывая на корзинку, произносит с милым чешским акцентом по-русски:

— Паны офицеры, пожалуйста, прошу вас немножечко попить сливовичку.

Мы переглядываемся. О сливовице с дней Словацкого восстания у нас остались самые теплые воспоминания. Но местных денег у нас, разумеется, нет. Женщина поняла наше смущение.

— Нет, нет, вы наши, вы мои гости. Я вас хочу немножечко попоить.

Выпиваем за победу, за Прагу и, разумеется, за милую хозяйку, которая, улыбаясь, наполняет наши стопочки. Крушинский вспоминает свой корреспондентский долг и лезет в планшет за блокнотом. С дней Словацкого восстания он еще помнит несколько словацких фраз.

— Пане, как се есть ваше имя?

— Майерова,— говорит собеседница, мило улыбаясь.

— Вы не родственница Марии Майеровой, автора романа «Сирена»?

— Я сама и есть Мария Майерова... Вы знаете мой роман?

Тут мы, разумеется, рекомендуемся в свою очередь, и она говорит, что до оккупации читала наши газеты, и «Правду», и «Комсомольскую правду», бывала в Москве, вела дела с нашими издательствами. Встреча коллег-литераторов на Вацлавской площади в такой день! Ведь этого нарочно не придумаешь. Мы выпиваем за новые встречи в Праге или в Москве и расстаемся друзьями.

Авангард танков Лелюшенко, как рассказывает Крушинский, от предместья до центра Праги провожал какой-то железнодорожник, которого десантники подсадили на броню. Он рассказывал по дороге, что есть тут тюрьма под названием Панкрац. В ней еще сатрапы Гейдриха, которого казнили чешские патриоты, расправлялись с антифашистами, подвергая их нечеловечес-

ким пыткам. Ну, в Панкрац так в Панкрац. В провожатых недостатка нет. Через час мы оказываемся на месте. У тюрьмы тоже только что закончилась схватка с эсэсовцами, засевшими в ее громоздком здании.

Возле ворот несколько наших танков. Их командир — молоденький капитан с желтыми усиками, с рукой, висящей на грязном бинте. Он просто вырывает наши документы и подозрительно поглядывает на нас. Впрочем, не мудрено. Нам уже многие говорили, что в Праге рассеялась какая-то власовская часть, одетая в нашу форму. Безобразничают. Чинят провокации. Убедившись, что мы — это мы, капитан добреет и ведет нас в тюрьму.

— Там конвейер смерти. Мы его, можно сказать, на ходу, тепленьким захватили,— поясняет он, открывая ногой массивную дверь, обитую войлоком.

Большая комната. Помост. На помосте черный тяжелый стол и три таких же массивных стула, и на среднем из них орел со свастикой. За этим столом эсэсовцы, играя роль судей, скороговоркой оглашали смертные приговоры. Должно быть, «конвейер» действительно еще вчера работал. Бежав, судьи бросили свои черные мундиры, а заодно и сутану пастора.

В другом конце комнаты — большой, отгороженный черными сукнами помост. К потолку приделаны рельсики, с рельсов вниз свисают лоснящиеся смазкой петли. Они на колесиках, которые движутся по рельсикам; словом, тут на глазах судей вешали, а потом откатывали повешенного за занавес, чтобы освободить место для другого, третьего, пятого. Десять петель находилось в работе. За сукнами стояли и гробы на колесиках и с ручками. Большинство гробов пусты, но в двух оказались трупы повешенных — мужчина и женщина, вернее, девушка. Капитан хмуро говорит сквозь зубы:

— Не успели спрятать, сволочи.

У капитана в распоряжении машина-вездеход из тех, что в армии зовут «козлами». Он приказывает шоферу отвезти нас в розглас, ведь задание еще не выполнено. Конец корреспонденции за мной, а Крушинский вовсе еще не начинал свою обойму. Трупы у розгласа уже убраны, кровь с асфальта смыли. Знакомлю Крушинского с Евгением Евгеньевичем Чириковым, и, пока они разговаривают о книгах его отца, спорят о его последнем романе «Зверь из бездны», который Крушинский подобрал где-то в Берлине, я кричу в микрофон заключительную часть корреспонденции.

Что именно кричу, плохо помню. От смеси всего виденного, пережитого и выпитого в голове полная каша. Но диктуется необыкновенно легко, и остается ощущение большой, бестолковой радости. Крушинский, по обыкновению своему, диктует нето-

ропливо, обстоятельно, выговаривая все точки и запятые, и я сквозь дрему не без зависти слушаю его округлые, законченные импровизации.

В заключение мы оба, адресуясь в эфир, умоляем фронтовых связистов, среди которых у нас много друзей, пошефствовать над нашими корреспонденциями, переложить их на телеграфные ленты и отправить в Москву. А связистов Генерального штаба — предупредить наши редакции о получении этих корреспонденций...

Смутно, совсем смутно помню, как прощаемся с чешскими радистами, как по-российски целуемся с Евгением Евгеньевичем, и совсем не помню, как шофер, веснушчатый солдат, довозит нас до стадиона и бережно вводит в бар «Чемпион». Капитан Севастьянов спит богатырским сном. Хозяин бара, по-видимому в прошлом боксер, массивный человек с плоским носом и сплющенными ушами, торжественно ставит перед нами блюдо горячих сосисок, тарелку с горчицей и пиво в больших тяжелых кружках. Скорее всего, он двинул в бой все свои пищевые резервы, но деньги тоже наотрез отказывается брать: «Вы мои самые дорогие гости». И когда Крушинский, человек, просто-таки не терпящий одолжений, начал было настаивать, бармен всерьез обиделся. А потом вдруг попросил что-нибудь написать на память на мраморной доске стола, ну хотя бы засвидетельствовать, что самые первые военные русские гости были именно у него в баре.

— Напишите и поставьте дату. И день и час. На этом стадионе выступают лучшие спортсмены мира. Но самолет на нем никогда еще не приземлялся. Это ведь тоже рекорд.

На мраморном столике было уже изображено чернильным карандашом: «Подтверждаю, что я приземлился за этим столом 9 мая 1945 года, в 7 часов 15 минут». И размашисто подпись: «Капитан А. Севастьянов». Думаю, что́ бы такое написать этим славным, гостеприимным ребятам, которые так тепло, так по-братски нас встретили. Но мысли разбегаются, как тараканы на свету. И не нашел я ничего лучше, как написать: «Сие подтверждаю. Подполковник Полевой». А потом голова как-то сама опустилась на стол, глаза закрылись, но сквозь дрему я опять слышу, как неутомимый Крушинский беседует с посетителями бара, уточняя детали любопытнейшей здешней легенды, утверждающей, что настоящая свобода придет в Чехию, когда русский казак напоит своего коня во Влтаве.

И вот, несколько дней спустя, мы снова на Староместской площади, запомнившейся мне больше, чем любой другой уголок Праги. В тесно стиснувшихся средневековых постройках как выбитые зубы темнеют разбитые и выгоревшие дома. От руин сожженной ратуши еще тянет горькой гарью. Все так же раскачи-

вается на проволочке маленький скелетик перед циферблатом разрушенных старинных часов. Но площадь заливает празднично одетая толпа, облепившая даже памятник Яну Гусу так, что великий чех грустно выглядывает из-за шляп и фуражек.

Вот площадь зашумела, содрогнулась от криков, от шумных приветствий, и толпа как бы раскалывается, освобождая путь веренице автомобилей.

На первом из них в открытом ландо — маршал Конев и бывший командующий 1-м Чехословацким корпусом, седовласый красивый генерал Людвик Свобода.

Машина медленно движется в толпе, а в приветственных криках, сотрясающих площадь и близлежащие улицы, русское «ура» смешивается с чешским «наздар». Машина подъезжает к сохранившемуся куску ратуши. Стена завешена полотнищем. Вот полотнище снято, и за ним оказывается доска, на которой на двух языках, на чешском и на русском, значится, что командующий Первым Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев получает почетное гражданство столицы Чехословакии Праги.

Что тут только поднялось! Всеобщее ликование просто сотрясает стену. Кажется, что и сам Ян Гус, едва видный из-за шляп и пестрых платков женщин, пристав на цыпочки, тоже что-то кричит.

Ну, а потом, после вручения маршалу грамоты и средневековых атрибутов почетного гражданина, как-то сама собой тут же у временной трибуны возникает пресс-конференция. Инициатором ее, конечно, является Осип-Джо. На правах старого знакомого он задержал маршала на последней ступеньке трибуны. Его хотели было оттеснить, ибо пресс-конференция программой не была предусмотрена, но маршал, военачальник с комиссарской душой, вступается за корреспондентов. Почему бы и не ответить на их вопросы? Энергичные западные коллеги совсем оттесняют нас. Надо всеми маячит рыжая голова Осипа-Джо, огромные его веснушки прямо-таки чернеют на возбужденном лице.

— Господин маршал, чему вы обязаны столь убедительным успехом армий, находящихся под вашим руководством, в особенности в последний месяц войны?

— Правда ли, что в молодости вы были офицером царской русской армии?

— Когда и где вы получили военное образование?

Осип-Джо не послушал нас, задал-таки свои вопросы. Нас же очень интересовало, как поведет себя Конев. Знали его как человека вспыльчивого, помнили, чем кончались попытки некоторых наших слишком уж предприимчивых коллег выспрашивать у него то, о чем ему говорить не хотелось.

Его широкое лицо, которое мне приходилось видеть спокойным даже под артиллерийским обстрелом, было, как всегда, замкнутым. Но в голубых глазах играла нескрываемая усмешка.

— Позвольте, господа, мне сразу ответить на все ваши вопросы,— произнес он.— Я сын бедного крестьянина и принадлежу к тому поколению советских людей, которые встретили Октябрьскую революцию в молодые годы и навсегда связали с ней свою судьбу.— Он сделал паузу, давая возможность корреспондентам все это записать. Импровизированная пресс-конференция развертывалась по всем правилам.— Военное образование у меня наше, советское. Успехи фронтов, которыми я командовал, неотделимы от общих успехов Красной Армии. А этими успехами я обязан тому, что мы, идя через нечеловеческие испытания и трудности, познали ни с чем не сравнимое счастье бороться за дело Ленина, служить своей социалистической Родине и коммунистической партии, в которой я имею честь состоять с 1918 года... Мы, советские люди в солдатских шинелях, всеми своими корнями связаны с жизнью нашего народа. Мы боролись за наши идеи, в этом наша сила. Была. Есть. И будет... До свидания.

Маршал вместе с военным министром подошел к открытому автомобилю, а корреспонденты, записывая короткий его ответ, поотстали. Когда же окончили записи, автомобиль, над которым возвышались фигуры маршала и военного министра, уже как бы уплывал над шумной, ликующей толпой.

— Почему он нас покинул? Почему он так скуп на слова? Наши военные, наши политики, даже самые большие, очень дорожат вниманием прессы,— говорил несколько обескураженный Осип-Джо, и на пестром его лице изображалось неподдельное огорчение.— Моя редакция хочет напечатать биографию Конева и интервью любого размера. Любого размера. Это ведь очень редко заказывают. А я вместо гуся подам на стол лишь несколько перышек из его хвоста... Всего несколько слов для мировой прессы! Не понимаю.

А вот мы с Сергеем Крушинским по достоинству оценили и правдивость, и искренность этого ответа. Лаконичность его истекала прямо из полководческого характера маршала, из стиля его жизни. Но как все это объяснить Осипу-Джо, хорошему парню из иного мира, хранящему о России смутные детские воспоминания и совершенно незнакомому с характером советских людей?



«Советский Союз всегда искренне стремился к мирным, добрососедским отношениям с Японией, отвечающим интересам обеих сторон. Однако миролюбивая политика нашей страны не находила отклика у милитаристской Японии. На протяжении многих лет правящие круги Японии, подстрекаемые мировым империализмом, проявляли крайнюю враждебность к СССР».

«Вступив в войну с милитаристской Японией, сокрушив ее Квантунскую армию, Советские Вооруженные Силы ликвидировали второй очаг мировой войны — на Дальнем Востоке. Империалистическая Япония потеряла все плацдармы и военные базы, которые она в течение многих лет готовила для нападения на нашу страну. Была укреплена безопасность социалистического государства и на Дальнем Востоке».

«Победа над империалистической Японией завершила Великую Отечественную и вторую мировую войну».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 621, 639.

ЕВГЕНИЙ
КРИГЕР

„И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...”



Тридцать лет прошло со времени окончания второй мировой войны и победы советского народа в Великой Отечественной войне, и думается мне, что каждый из нас, участников и свидетелей тех незабываемых лет, как бы мала ни была его роль в военных действиях, обязан присоединить свои воспоминания к летописи событий, теперь уже легендарных. Поэтому и решаюсь я на этот шаг. Тем более, мне кажется, пока что меньше всего свидетельств опубликовано о действиях наших армий осенью 1945 года на Дальнем Востоке. Мне же суждено было после четырех лет, проведенных в качестве военного корреспондента «Известий» на западных фронтах, отправиться к Тихому океану, в войска, сражавшиеся против сил японского милитаризма.

1

...8 августа сорок пятого года поздно вечером редакция предупредила меня: надо безотлагательно лететь на Дальний Восток.

Утром следующего дня военные корреспонденты центральных газет собрались в здании Внуковского аэропорта. Критически поглядывая на нас, пилот взвешивал журналистов на больших весах не «поштучно», а оптом, по девять человек сразу, невзирая на воинские звания, особенности характера и состояние духа. Потом подсчитал на бумажке общий вес нескольких групп пассажиров, поморщился, махнул рукой:

— Немножко больше, чем надо. Ладно. Подниму.

Казань... Свердловск... Омск... Красноярск... Иркутск... Чита... Хабаровск... Ворошиловск...

В старом блокноте тех дней читаю: «Капитуляция Японии? Суверенитет микадо?.. Не знаем, не знаем».

И дальше:

«...Реки тут разливаются летом. Снега с гор. Август необычайно дождливый. Наши войска прошли через Сихотэ-Алинь. Японцы считали — тут русские не прорывались и не пробьются».

Русский солдат прошел.

«Через тайгу. Без троп. По болотам с танками и артиллерией. К подземному городку. Бетон. Тяжелых орудий с собой не брали. Много штыковых схваток. Харакири. Японцы — головой о бетон. Самоубийства. Фанатизм. Разговоры о «камикадзе» —

молодых японских матросах, летящих на явную гибель внутри торпеды, направляя ее на цель, на вражеский военный корабль... Совсем дикое для нас: провожая сына в армию, родители устраивают «торжество» его похорон, заранее предвкушая как праздник его гибель за императора, за Ниппон, за Ямато, за богиню Аматерасу...»

Эти записи появились в моем блокноте уже после того, как мы с военным корреспондентом «Известий» Александром Булгаковым с трудом добрались через джунгли и болота к реке Муданьцзян и городку того же названия. В штабе армии я встретил невысокого, коренастого крепыша — генерала Белобородова. Мы обнялись по-дружески. В сорок первом году под Истрой и Волоколамском мы часто встречались с ним в 16-й армии Рокоссовского, где дивизия Белобородова за доблесть действительно невероятную получила наименование 9-й гвардейской.

Теперь Александр Павлантьевич, командующий армией на Дальнем Востоке, проводил меня в свой кабинет. Приведу короткие строки по его рассказу:

«Гора Верблюд... Туда взобрались наши самоходки, били по укрепленному району... Город Сяосуйфинхэ. Нищее китайское население. В 1944 году японцы отобрали у китайцев весь урожай, оставили только по нескольку фунтов риса на человека в месяц. За употребление риса сверх нормы следовало строгое наказание. Грузчик Му Жин-чан работал по 14 часов в сутки. Дневного заработка хватало на горсть чумизы и восьмушку мяса. По двору ходил японец с бамбуковой палкой, избивал каждого, кто в изнеможении от работы пытался перевести дух. Избивали даже за непочтительный взгляд.

Учитель из села Силен-хэ — Хэси-дун. Как и ко всем представителям интеллигенции, к нему относились особенно плохо. Их считали распространителями китайской идеологии. Учителя преследовали за то, что он считал Маньчжурию китайской землей. За игнорирование японского языка... Теперь на домах китайские флаги. В Пиняньшене стихийный митинг. В руках у китайцев красные флажки. На перекрестке крестьянин неистово размахивает куском красной материи. В Сяочензы четыреста китайцев после митинга отправились ремонтировать дорогу — для Красной Армии!

В Фундзибая четверо китайцев привели к нам двух японских унтер-офицеров. У домов стоят бочки с питьевой водой — для русских. В Сяосуйфинхэ мельник-китаец раздает на улице свинину, отрезает маленькими кусочками от туши. Если мы отказываемся, обижается: «Надо маленький, маленький кусочек.

Надо съесть обязательно!»»

Здесь перемежаются впечатления генерала Белобородова и мои записи.

«Все укрепрайоны японцев закрыты бетоном: Хутоуский, Мишаньский, Пограничный, Дуннинский, Дуньсуньчженский, Хуньчуньский. Трудный театр войны — горнотаежный. В районе Ляохешань в бетонных укреплениях обнаружили сто комнат.

Две наши танковые бригады рванули южнее узла Миньхоу и заняли город Муданьцзян с форсированием реки. Операция исключительная по силе, размаху и темпам».

...В тот же вечер после встречи Александр Павлантьевич развел руками и сказал мне:

— Трудное сложилось положение. Сталин распорядился: завтра Харбин должен быть наш!..

Да, задача вряд ли выполнимая. Я вспомнил адскую дорогу Мулин — Муданьцзян. Красная, желтая, серая пыль. Торф... Болота в падях, вонь перегноя. Дорога, как одурелая, срывается с сопок в заболоченные долины. Пышные, буйные травы. Конопля, чумиза, кустарник выше человеческого роста. И болота, болота, проклятые танкистами и батарейцами. Японские мосты не выдерживают тяжести русских пушек.

Японцы сопротивляются упорно. В наших тылах нападают на госпитали. Один из хирургов убит во время операции. Кое-где темп наступления — четыре километра в день. Дороги приходится прокладывать по топям сплошными деревянными настилами. Японские смертники с хохотом бросаются под танки: после смерти блаженство!.. Они подпускали наших солдат к себе, подняв руки, и взрывались вместе с ними.

— Восемнадцатого августа я направил к Харбину подвижную группу генерала Максимова, сказал командующий.— Где-то их встречали с белыми флагами японские генералы. Максимов предъявил им требование о капитуляции. Не согласились. Наш генерал оставил их в тылу, продолжая пробиваться к Харбину.

Позже японские генералы попали в части нашего наступавшего корпуса. К вечеру их доставили на автомобилях в штаб А. П. Белобородова.

Начальник штаба 5-й Квантунской армии был недоволен словом «капитуляция». Генерал настаивал на формулировке «сложить оружие и сдаться в плен». Какие нюансы! Белобородов категорически заявил: «Ка-пи-туляция!» И сдать личное оружие, вплоть до сабель. Последнее распоряжение, видимо, было подсказано опасением, как бы японцы не прибегли к харакири.

Я взглянул на неприятельского генерала. Лицо у него было ужасное: обида, протест, мольба о сохранении воинской чести. Так сдался в плен генерал-майор Кавакоэ и с ним 20 тысяч солдат и офицеров.

Повернувшись спиной к пленным, Белобородов кивнул им головой и со вздохом ушел в свой кабинет: легче воевать, чем заниматься дипломатией.

Ближе к ночи Александр Павлантьевич Белобородов вызвал меня к себе.

— Есть один лишь выход — авиация!

— Десант? — спросил я. — Но ведь Харбин битком набит японскими войсками.

Да, это, конечно, риск. Капитуляция-то капитуляцией, а черт его знает, выполнят японцы приказ микадо или будут сопротивляться. Нет, пошлю авиацию. На «дугласы», и конец!

— Разрешите участвовать в десанте, — спросил я генерала.

— Жизнь не дорога?

— Но вы же посылаете туда своих людей.

Настояв на своем, я спустился на первый этаж и сказал Саше Булгакову:

— Знаешь, генерал разрешил нам с тобой лететь на Харбин.

— Сегодня?

— К концу дня.

Часов в пять вечера мы были на аэродроме.

...Я вспоминал слова командующего армией: Максимов за сутки не дойдет. До сих пор не понимаю, как продрались сквозь тайгу. Даже днем темно. Лес дремучий. Бурелом, лианы, дикий виноград перевил промежутки между деревьями, сплошная стена. Только звериные тропы. В джунглях все гнило веками, наслаивалось, перегной до шестидесяти сантиметров вглубь. Вершины срослись с буреломом, гибкие ветви держидерева путаются в ногах, валят наземь. Хоть пушками пробивай каждый метр!.. Выкорчевывали, шли по стволам. Калибры сто пятьдесят два продирали сквозь пущу; такого в истории еще не было. Вместо восемнадцати суток по плану кое-где за шесть дней дошли. А? Слышали? В академии узнали бы, сказали бы — ни в какие ворота не лезет, не поверили бы. Верно! И японцы думали, что нам не пройти, и укреплений там не строили. Как только мы их внезапно настигли, стали стреляться: чудо!.. Думали — у нас всего лишь диверсионная группа, а тут на них лавина армии!.. Но это дело прошлое. А теперь дело дрянь. Не пройдет Максимов. Не успеет до завтра...

...Мы с Булгаковым представляли себе переполненный японскими войсками Харбин и считали себя героями. С неба бац на головы японцам! Зенитки бьют, свистопляска, японцы не верят своим глазам, их чертова пропасть, и все они бьют по нашим одиноким самолетам.

Не каждый день случается человеку пережить такое...

На аэродроме отнюдь не были в восторге от нашего появления.

Приказ Белобородова получили, но места в самолетах на вес золота, не хватает для самих офицеров и солдат воздушного десанта, а тут еще корреспонденты!

— Не советую,— сказал командир группы.— Нет, не советую; это значит самим себе петлю на голову накидывать. Право, не надо.

Мы заупрямились.

— Ладно,— с досадой махнул рукой полковник.— Полезайте. Полезайте! Жизнь не дорога!

И мы вошли в салон «дугласа». Вошли с полным сознанием своей доблести. Сели рядом с потеснившимися офицерами на металлические скамьи вдоль борта и стали осматриваться.

Неподалеку от нас полковник Шиошвили с картой в руках — уполномоченный Военного совета армии по разрешению вопросов, связанных с капитуляцией японцев и устройством мирного населения Харбина. Полковник Пантелеймон Шиошвили, как только сел в самолет, тут же уткнулся в карту. На плане Харбина он синим карандашом обозначал места дислокации гарнизона, красным же — пункты, что необходимо было захватить в первые минуты схватки: радиостанции, телеграф и т. д.

Пантелеймон Шиошвили — молодой, красивый грузин; позже мы узнали, что его жена Евдокия — военный врач, сына зовут Эдишер, родом они из селения Ниноцминда в Кахетии, а там мать и сестра полковника в его честь каждую осень закладывают под землю в колхозе его имени по двенадцать ведер вина в огромных квеври — глиняных кувшинах. Сейчас жена вместе с родившимся на фронте сыном едут из Германии сюда, к полковнику, а он сидит над планом Харбина, и кто знает, чем эта история кончится.

В нашем самолете представители всех родов войск армии Белобородова, радисты, автоматчики. В остальных самолетах — батальон солдат.

С кем они будут иметь дело в большом японском городе? Сколько там врагов? Тысяча штыков? Десять тысяч? Сто тысяч? Точно неизвестно. Предположительно — десятки тысяч. И против них — один наш батальон. Плюс два военных корреспондента «Известий»...

Конечно, это едва ли не безумие. Но приказ Ставки есть приказ. Завтра Харбин должен быть взят. Рассуждать не приходится. В Муданьцзяне ждет и волнуется генерал Белобородов. А мы на седьмом небе: впервые участвуем в таком рискованном деле. Мальчишество? Называйте как хотите, но мы были рады.

Конечно, мысль об опасности не оставляла нас. Но где-то далеко и смутно. Мы наблюдали за сосредоточенным полковником Шиошвили, смотрели в круглые окна. Внизу сопки, сопки, сопки, подернутые лиловыми тенями близкого вечера. Сумерки надвигались быстро. Связи с Харбином у командования, разумеется, не было. Как садиться? Где садиться? А если прилетим в темноте?..

— У самолетов есть свет для посадки ночью, — сказал Пантелеймон Шиошвили.— Это — единственное, что у нас есть для встречи с Харбином.

Нет, все же какие мы храбрые, думали мы с Сашей. Ведь никто не понуждал нас участвовать в этой сумасшедшей операции. Сами вызвались. Канючили, канючили... Летим в пасть к врагу с двумя своими пистолетами и автоматическими ручками.

А могли спокойно сидеть в Мудандзяне, ужинать, болтать с работниками 7-го отдела штаба о загадочной натуре японцев, о смертниках-«камикадзе», о том, что это за богиня Аматерасу...

Как нужно обращаться с новым для меня пистолетом «вальтер», немецким, трофейным, доставшимся мне в Восточной Пруссии в бою под прибалтийским городом Эльбингом близ Кенигсберга? Впрочем, стрелять из него мне уже приходилось.

Вот красная кнопка предохранителя. Отодвигаю его в сторону. Теперь я готов к бою. Если нас окружат, если схватка с солдатами японского гарнизона сложится для нас неудачно, последнюю пулю — себе.

Так? Да, так.

Странно, под Москвой выжил, не ранило и в Сталинграде, уцелел и под Фридландом, где в 1805 году русские сражались с войсками Бонапарта. Что-то ждет нас в Харбине?

20 часов 10 минут. Солнце за горизонтом. По земле плывут синие тени.

— Смотри,— говорит Булгаков.

Внизу петляет серебряная река. Похожа на хвост дракона. Горизонт желтый. Сейчас в Москве второй час ночи. Жена еще не спит. А тут внизу желто-синее предвечерье, чужая река, чужая земля, чужие люди, чужие нравы и судьба, что может тоже стать тебе враждебной. Равнина, нацеленная на нас глазами японских наблюдателей, зенитчиков, артиллеристов, автоматчиков.

— Смотри,— теперь уже говорю я.

Под нами странно знакомый город. Но мы же никогда до тех пор не были в Маньчжурии! Да, но среди зданий и кварталов — купола православных церквей, казенные дома русской постройки, доходные дома, особнячки и опять купола, купола... Совсем русский город на «краю света».

— Харбин,— сквозь зубы произносит Шиошвили. Он как-то весь потемнел, насупился.— Приготовить оружие!

Медленно, страшно медленно самолет делает круг над аэродромом. Сейчас рядом с нами разорвутся снаряды японских зениток.

Тишина...

Второй мучительно медленный круг над аэродромом.

Третий круг. Время будто остановилось.

Наконец, развернувшись, «дуглас» пошел на посадку.

Хитрые эти японцы! Не стреляют. Хотят наверняка. Подпустят ближе, еще ближе и тогда... прямой наводкой!

Коснулись земли. Воздушный корабль подпрыгнул, покатил по бетонной дорожке. Все вынули пистолеты. Мы тоже.

Шиошвили прошел к двери. За ним цепочкой офицеры, автоматчики и мы. Самолет остановился. Тишина. Командир группы помедлил мгновение, потом сделал знак второму пилоту: открывай! Тот рванул дверь.

Ни звука. Японцы, очевидно, хотят взять нас живыми. Идут на посадку остальные самолеты армейского десанта. Бедные ребята нашего отряда, всех нас ждет мучительная смерть. Пытки? Расстрел? Виселица?

20 часов 25 минут.

— Что это за дымы? — спрашивает Шиошвили.

Вдали дымят какие-то аппараты на колесах.

— Выяснить! — приказывает полковник.

Мы идем с теми, кому поручено определить, что за каверзу приготовили нам японцы. Подходим ближе и ближе.

Что за напасть! Это походные кухни! А кто это возится возле них?

Девушки. Русские девушки в нашей армейской форме.

— Кто такие? — спрашивает один из офицеров нашей группы.

— БАО,— отвечает та, что побойчее.— Мы из БАО.

БАО — это батальон аэродромного обслуживания.

— Ужин готовим, товарищ капитан. Рис тут обнаружили. Рисовая каша на ужин.

— Какая каша? — раздраженно переспрашивает капитан.— Говорите толком!

А что ж говорить? Теперь и так все понятно. Нас опередили. Мы летели на геройский подвиг, на смерть, на схватку воздушного десанта, горсточки бойцов с неизмеримо превосходящими силами японского гарнизона. А нас приглашают на ужин армейские девчата, обслуживающие летчиков и механиков.

Оказывается, командование фронтом тоже не дремало и раньше армии послало на Харбин крупный воздушный десант.

Ах, черт возьми! А наш подвиг?..

Осмотрелись, отдышались, узнали, где разместился командующий фронтовой группы. На японском грузовике проехали через притихший вечерний город к центру, к «Ямато-отелю».

Комфортабельная гостиница европейского типа. По коридорам шныряют проворные, учтивые бои, молоденькие официанты в белой униформе. Как странно! На улицах мы встречали колонны японских солдат с винтовками. А тут раскланиваются с нами узкоглазые мальчуганы.

Итак, приказ Главнокомандующего выполнен. Один из центральных городов Маньчжурии — в руках советских войск.

Нас провели в банкетный зал. Там ужинали три наших генерала и один полковник.

— Откуда? — спросил один из генералов. Узнал, что мы из «Известий», развел руками.— Не по правилам. Надо бы первым быть в захваченном городе представителям «Красной звезды», а не гражданской газеты. Впрочем, это в порядке юмора. Присаживайтесь. Давайте познакомимся. Генерал-майор Шелахов Георгий Акимович. Это — генерал-майор Остроглазов. Генерал-майор Юстерник. Будете ужинать? Небось голодны?

Мы собирались закончить всю эту авантюру на том свете. А «тот свет» явился нам в виде японского отеля и банкетного зала с дымящейся снедью.

Генерал Шелахов рассказывал:

— В ночь с семнадцатого на восемнадцатое я с двадцатью офицерами, представителями штаба фронта, и сто пятнадцатью бойцами на семи «дугласах», сопровождаемых двумя истребителями, вылетел на Харбин, предъявил японскому командованию ультиматум о капитуляции. Теперь беру на учет объекты всего района японской харбинской обороны. Генерал-майор Юстерник, начальник штаба группы генерала Максимова, по приказанию знакомого вам генерала Белобородова сумел все же пробиться сюда по суше.

Ах, все-таки план Александра Павлантьевича чудом осуществился. Совершив невозможное, немыслимое, Максимов прошел с боем через джунгли и хляби от Мудандзяна до Харбина!..

— Это сто шестьдесят километров по дикому бездорожью,— вспоминал Юстерник.— Был момент, когда мы решили — замысел наш проваливается. Приказ Ставки не выполним в срок. Что нам грозило за срыв приказания Москвы — не знаю, не нам решать. Но повезло же, повезло! Там, в хлябях, наткнулись на железнодорожную станцию. С пистолетами в руках заставили японского начальника выделить нам два паровоза и две платформы с китайской бригадой. Погрузили на платформы пять «виллисов», рванули — и вот мы в Харбине.

— А как же японцы? — спрашиваю я. Мне все мерещится наш подвиг, доблестная смерть, последняя пуля себе.

— Японцы? — задумчиво заметил генерал Шелахов.— Поразительно. Дисциплинированность этих людей, пожалуй, превосходит немецкую. Японские генералы встретили нас навытяжку, в парадной форме. Повиновение нам — приказ микадо! Тут же наш консул с вице-консулом. Среди японцев старший — генерал-лейтенант, начальник штаба Квантунской армии. Протягивает мне руку. Зная, что кое-где японские разрозненные войска еще оказывают нам сопротивление, я делаю вид, будто не замечаю

этого жеста. Того передернуло. Я говорю: прибыл для разрешения всех вопросов. И жест переводчику. А японец и так понял. Быстро, быстро поймал мою руку и пожал. Эх, думаю, перехитрил меня японец своим этикетом!

— Не сопротивляются?

— Какое там! Судите сами. Группы, оставшиеся без связи, разумеется, дерутся свирепо. В Харбине же полное повиновение. Я приказал: к двадцати двум часам семнадцатого дать список генералов, доложить о суммарном составе войск в харбинской зоне, представить перечень соединений, боевых, специальных, тыловых, дислоцирующихся в этом районе, не только сообщить о количестве всех видов оружия, но собрать в определенных пунктах орудия, снаряды, машины, все виды боеприпасов. Я-то отлично понимал, между нами говоря, что приказ невыполним в такой короткий срок. Дал просто для острастки. Они же отступали, все перепуталось у них, перемешалось, поди собери все в этот немыслимый срок! Что же вы думаете? Я прямо ахнул: к двадцати двум все, что я требовал, было собрано в назначенных местах. Аккуратнейше! Оказалось — в районе дислоцировалось тридцать семь тысяч японских солдат и тысяча восемьсот пятьдесят офицеров...

Итак, сорок тысяч вооруженных японцев против ста пятнадцати наших солдат и нескольких офицеров советского воздушного десанта! Все-таки недаром мы готовили последнюю пулю себе. Спокойной ночи, Москва! Спокойной ночи, жена!

Было немало забавного. Днем к отелю «Ямато», в белых костюмах, с оркестром, явилась делегация представителей русского населения. Служащие русской торговой фирмы Чурина, охватившей своими магазинами всю Маньчжурию. Какой-то старик плакал: «Посмотрел на русских солдат — теперь и помирать можно. За столько-то лет!» В городе Бейчихэ перед генералом Остроглазовым бухнулся на колени старик: «Я был у Колчака, у Семенова, белого атамана, был капитаном железнодорожной службы, дурак, дурак старый, теперь кланяюсь, низко кланяюсь вам, русскому, ваше превосходительство!»

Рассказывали мне, что на пути к Харбину, еще до железной дороги, местные жители, русские, показывали нашим, как лучше пробраться, пробиться через топи ночью, и какая-то женщина умоляла мужа: «Куда ты, Петя, затемно-то, японцы тебе не простят, убьют, Петя!» А он отмахивался: «Я русский, не могу, я наших поведу, пусть меня хоть повесят самураи! Мне честь дорога! Наконец-то наши пришли! Боже мой, не верил же я, что до смерти увижу своих!»

Ему пятьдесят, он инженер-электрик, родители остались в Маньчжурии с девятьсот пятого года. Всю ночь помогал вытас-

кивать орудия и машины из болота, весь в грязи, в тине, но счастливый. На нем белый костюм, канотье, по уши в глине. А жена все свое: «Петя, губишь себя ночью в лесу, там кабаны дикие!»

...Утром мы с Сашей Булгаковым узнали, что в другом отеле остановился знакомый нам волжанин, кинооператор-документалист, бывший боксер Ибрагимов. Пошли к нему. У двери стоят двое русских юношей в штатском.

— К кому? Не пропустим!

Показываем документы. Не верят. Загораживают дверь. Наконец, отстранив молодых людей, мы вошли в номер. Навстречу — Ибрагимов в полугражданской-полувоенной одежде, в куртке цвета хаки.

Спрашиваем, что за стража. Белогвардейцы?

Понимай как хочешь. Кто их отцы? Может, бывшие белогвардейцы. А эти готовы за нас душу отдать. Так, местные мальчики.

Мы выпили по стакану японского напитка, ни вино, ни водка, ханжа не ханжа, пьют это пойло нагретым.

Началась наша странная маньчжурская жизнь.

...Разрешите назвать всю эту историю так: несостоявшийся подвиг.

Разумеется, имеется в виду не реальный подвиг советских войск, а наш с Александром Булгаковым. Наш романтический, но неудавшийся подвиг.

2

Ни с чем не сравнимое ощущение обширности и силы нашей страны вновь испытываешь, когда после одиннадцати суток движения на восток смотришь на карту и видишь, где побывал за малое время с солдатами твоей армии, твоей Родины. Так ли давно был под стенами Кенигсберга, а теперь вон куда кинуло, на край земли, к Желтому морю, к последней суше перед океаном, к Ляодунскому полуострову, к фортам Порт-Артура.

Ощутимость пространств, измеренных сапогами наших армейцев и колесами военных машин, становится полной, если глянешь не на простую карту, а на глобус и по округлости доброго куска планеты оценишь взглядом солдатский путь от Шпрее в центре Европы до Ляодуна в самом конце азиатского материка, и охватит радость, что на всем его протяжении — от постного ландшафта Восточной Пруссии до берега залива Талиенван, где стоит город Дайрен, или Дальний,— находил в дни похода те же знакомые армейские порядки, слышал знакомые речи, знакомые песни и порой грустил под гармонь вместе с другими о милой земле под Москвой.

Приятно, что в нашем дальневосточном городе мы получили еще на советской территории обыденный ответ:

— Порт-Артур? Сегодня нет туда прямого рейса. Но через час тридцать минут будет самолет на Чанчунь. Оттуда рукой подать до Мукдена, а из него доберетесь попутным в Дайрен. Там сорок километров сушей — и Порт-Артур...

Осень сорок пятого. Север Маньчжурии выглядит с борта самолета угрюмо: пустынные равнины и сопки, редкие деревни, плоские, голые, без единого деревца, как маленькие крепости, обнесенные глиняными стенами, напоминающими среднеазиатские дувалы, замыкающими, как правило, весь участок деревни в большой квадрат. Крыши и стены китайских фанз сделаны также из глины. В тот месяц река Сунгари разлилась вширь со всеми ее притоками, многие фанзы стояли по самые окна в воде, по улицам деревень сновали лодки, и вся земля, насколько можно было увидеть из окна воздушного корабля, синела размывами и прожилками затопленных полей и оврагов и похожа была на плиту синевато-серого мрамора.

Через несколько часов полета, уже за Чанчунем, мы перевалили в южную часть Маньчжурии. Местность стала живее. Каждый клочок земли был тщательно обработан. Маленькие рощицы пухло зеленели вдоль желтых дорог. Аккуратные китайские селения попадались все чаще и чаще и не замыкались уже в форму квадрата. Площади на юге не столь пустынны и дики, крестьянам не нужно жить своеобразными гарнизонами. Земля используется скрупулезно, ее не хватает, тонкие полоски посевов тянутся к каменистым вершинам сопок и вползают на кручи, где каждое дерево, каждое зерно крестьянину нужно поливать собственным по́том.

Стало жарко. Мы летели все дальше и дальше на юг. В стороне проплыл Мукден, громадный, как муравейник. Гряды сопок тянулись под нами, короткошерстые, гладкие, как спины верблюдов. Торчали трубы японских военных заводов, армейских поселков, скла́дов и арсеналов, застроенных домами такого страшного, тупого однообразия, что от одного их вида мутило, рябило в глазах. Иногда в стороне от хребта, на равнине, попадалась одинокая сопка, похожая на спящую у дороги собаку. А слева, почти касаясь вершинами плоскостей лайнера, тянулись высокие горы, скалистые, зубчатые, с голыми каменистыми склонами, с фиолетовыми и черными впадинами ущелий.

Мы летели в сторону солнца, слегка косо по отношению к его пылающему шару, и от непомерного обилия света и зноя темнело в глазах, весь ландшафт казался фиолетовым.

Потом справа ослепило нас расплавленное золото.

Море.

Желтое море.

Такие же золотые, зажженные солнцем речки вливались в него. Мы летели между горами и морем, а затем наш «дуглас» двумя винтами стал загребать воздух уже над самой водой, залитые солнцем острова и узкие мысы желтели в сплошной синеве, белые паруса джонок остро и резко выделялись над синей взъерошенной рябью; мы решили, что так должно выглядеть море возле Сорренто.

Еще несколько минут, и внизу развернулась панорама узкой извивающейся бухты с пристанями и молами, пирсами и уходящими вверх от воды городскими кварталами,— то был порт Дайрен, или Дальний. Первыми его начали строить русские в начале этого века. Едва успели померкнуть в глазах пестрые линии дальнинских улиц, как в крутом развороте шедшего на посадку самолета заставил нас содрогнуться узнанный в первое же мгновение, невиданный раньше, неповторимый вид гор, толпящихся над отчетливо врезанной в сушу бухтой, над песчаной косой, имеющей форму тигрового хвоста, над узким входом в открытое море, где когда-то стреляли пушки «Ретвизана» и «Петропавловска»,— Порт-Артур!

Да это был Порт-Артур...

День на исходе. Солнце садилось. Молодой серпастый месяц, как бы еще бестелесный, прозрачный, едва обозначил свои очертания на предвечернем небе. И мы сошли на землю в шестнадцати километрах от Порт-Артура.

Дальше некуда лететь. Дальше — край земли, море, вода, начало Тихого океана.

Здесь мы встретили артиллеристов. Они устраивали свои позиции на не достроенном японцами аэродроме. Пришли они сюда незадолго до нас. В ногах у командира полка Ивана Константиновича Кузнецова тявкал щенок.

— Песик молодой,— сказал наш новый знакомый.— Глаза у него еще белесые, мутные, мы взяли его в Кенигсберге.

И вдруг снова поразило меня,— действительно, от самого Кенигсберга, из глубины Восточной Пруссии, добрались сюда, как и мы, наши батарейцы — до края восходящего солнца, до Чжилийского пролива. Какая же бездна спокойной энергии у такого народа, если, проделав путь в добрых одиннадцать тысяч километров, обогнув немалый кусок нашей беспокойной планеты, его люди закончили победой сражения на Западе и на Востоке, а теперь, на пороге Тихого океана, устраивают свою казарму, как сделали бы это у себя дома, в России, в Рязани или на Тамбовщине, и под южными звездами Порт-Артура заводят на баяне русскую песню «Как на Черный ерик, как на Черный ерик...»!

И китайцы, улыбаясь, слушают нашу песню.

Это были первые русские, которых, сойдя с самолета, мы встретили в окрестностях Порт-Артура, артиллеристы полков-

ника Кузнецова, угостившие нас первым в том году виноградом и показавшие дорогу на город,— и нельзя сказать о них короче и лучше, чем простым перечнем больших и малых городов, немецких и маньчжурских, что пройдены этим походом с тысяча девятьсот сорок первого года. Вот эти города:

Старая Русса... Калинин... Ржев... Белый... Демидов... Витебск... Каунас... Кенигсберг... Пиллау... Ваньемяо... Таонань... Мукден... Дайрен... Порт-Артур... Подумать только, и я побывал в боях под этими городами, если не считать Мукдена...

Батарейцы пронесли от Кенигсберга до берегов Тихого океана орден Александра Невского — знак своей доблести.

Мы заночевали в полку. Тот же повар, что и под Кенигсбергом, подал ужин полковнику. Как тогда, командир похвалил кулинара и стал рассказывать о боях в Финляндии, где и я бывал в сороковом и в сорок четвертом году. Беседа затянулась далеко за полночь, и много всякой всячины вспомнили мы, много сражений, а когда рассвело, командир артполка, услышав какой-то шум, сказал:

— Что же это шумит? Ах да, море, морской прибой.

И передо мной явилось на миг Черное море сорок четвертого года, весна, Одесса, только что освобожденная нами, и давно забытый, мерный, ровный черноморский прибой, по которому мы тосковали с того черного дня, когда наши солдаты и матросы оставили осажденный город и на пути из Севастополя в Москву, где-то на Северном Кавказе, погиб при аварии самолета мой давний друг Евгений Петров.

— Желтое море,— сказал полковник.— Еще не видали? Хорошее море. Одним словом, море как море. Вы спите, а я пойду насчет фуража. Черт его знает, большая страна, а коней кормить нечем. Хоть из России вези!

* * *

Чтобы увидеть Порт-Артур с его внешним и внутренним рейдами, с разбросанными у подножия сопок кварталами старого и нового города возле самой воды, возле моря, с панорамой далеких и близких высот, где еще сохранились старые русские форты, капониры, батареи, холмы с крепостными стенами, поросшие за сорок с лишним лет молодым лесом, низкорослой маньчжурской сосной, акациями, одичавшими персиковыми деревьями, нужно из старого города подняться на гору Перепелиную, увенчанную высокой, как маяк, каменной башней, преодолеть двести семьдесят четыре ступени головокружительной винтовой лестницы внутри башни и выйти на круглую внешнюю галерею. Солнце. Небо. Вода. И за чертой горизонта, ощутимый даже не зрением, а как-то всем твоим существом, океанский без конца и без края простор.

Внизу китайский город карабкается небольшими нарядными строениями по склонам гор, кружит узкими улочками в котловине между сопками, сбегает к полукружию берега веселыми зелеными улицами, дымит в портовом «ковше» трубами морских кораблей, буксиров, снующих туда и обратно между причалами, моторных шхун, самоходных барж, транспортов, еще сохранивших защитную, под цвет воды и тумана, окраску военного времени. Долго придется вам стоять на обдуваемой теплым ветром башне Перепелиной горы,— нет сил оторваться от упоительного, бесконечно разнообразного, с каждой минутой все более поглощающего вас зрелища артурских окрестностей, замкнутых на западе отвесными, дикими кручами Ляотешаньского хребта. Ваш взгляд становится ненасытным и жадным в поисках новых и новых впечатлений, открытий, подробностей, пока наконец мерным приливом общего, все в себя вобравшего впечатления не отложится в вашем сознании картина давнего русского города на краю Тихого океана.

Вы вспомните Крым и кавказское побережье: здесь тоже горы и море, горячее солнце, желтый песок, синее небо, сады, виноградники, пыльные дороги, вьющиеся в долинах как змеи, вползающие к вершинам. Но все это, давно вам знакомое, милое, давнее, имеет иной, свой собственный оттенок, трудно выразимый словами. То же — и не то. Здесь край земли, Дальний Восток. Все здесь строже и резче, нежели на берегах Черного моря, и общая картина обширней. Впереди — океан. Об этом никогда не забываешь.

Раковина Западной бухты, ограниченная со всех сторон гористыми берегами, выглядит драгоценным голубой воды камнем, оправленным в червонное золото.

Вот и теперь я стою над Артуром и вижу весь город, и порт, и крепостные холмы, обагренные сорок лет назад русской кровью,— теперь-то и вынуть карту Маньчжурии из полевой сумки и взглянуть на путь, преодоленный Красной Армией от голубого Керулена в Монголии, где когда-то Чингис-хан собирал свои орды, до берегов Желтого моря, до порога Тихого океана. Проследив этот путь, пройденный нашими армиями так быстро и бурно, что первые же наши победы отозвались в Токио императорским указом о капитуляции и сдаче оружия, поневоле скажешь вместе с участниками похода, что Порт-Артур открылся перед нами как награда за исполинский путь наступления.

От голубого Керулена до Тихого океана — теперь эти слова, подхваченные из армейской газеты, повторяют наши солдаты и офицеры, вступившие в Порт-Артур. Эти слова — короткая поэтическая формула всей кампании, и когда расшифруешь их на карте, то видишь, какие преграды были преодолены, какие

земли, немыслимые для движения крупных армий, были пройдены, какие испытания пришлись на долю каждого бойца и генерала.

Теперь изучается опыт кампании. Живой труд, усилия десятков тысяч солдат и офицеров обобщаются, суммируются, получают окончательное выражение в цифрах и выкладках, понятных специалистам. Но одно ясно каждому театр войны здесь иной и подчас неизмеримо более трудный, чем в Европе, на Западе, и лишь воспитанное у наших армейцев умение осваиваться с новой обстановкой позволило и здесь мгновенно использовать для победы грандиозный опыт западных наших фронтов.

Стоя на Перепелиной горе в самом дальнем конце Ляодунского полуострова, над крепостью Порт-Артур, взглянем снова на карту похода.

Вначале была пустыня. Войскам предстояло пройти 360 километров через пески. Дорог не было. Колодцев не было. Воды не было. А армия этого фронта, как и все армии, шла оснащенная техникой, тяжелыми боевыми машинами, артиллерией, танками, всем оружием, какое вручила ей наша страна. Шли тягачи с прицепами, двигались походные радиостанции на колесах, гремели на скальных дорогах аэродромные службы, инженерные части, отряды мостостроителей и команды наведения связи, госпитали и колонны автомобильных обозов.

Только в пустыне люди впервые собственным тяжким трудом изведали, измерили, какое огромное количество воды ежечасно и ежеминутно потребляет современная армия.

От жажды мучились не только люди. Воды жаждали сотни и тысячи машин — все, что двигалось на колесах и гусеницах. Пустыня оставалась пустыней. Жара стояла неслыханная. Не заподозрите меня в журналистском преувеличении. Бойцы, родившиеся в России, на себе испытали, что такое миражи в песках,— раньше о них с некоторым даже недоверием читали в приключенческих романах. А тут перед истомленными зноем солдатами вставали в оранжевом мареве зеленые кущи садов, серебряные ручьи, реки, реки, вода!..

Шли к тем рекам час, и еще час, и много долгих часов, и реки таяли в трепещущем, мерцающем от зноя воздухе, вода превращалась все в тот же жгучий, проклятый песок.

И все же армия воду имела.

Перед началом марша командование разработало новый и необычный для наших западных дивизий порядок движения. Скрупулезно был установлен режим похода, режим поведения человека, громадных человеческих масс на безводной, раскаленной земле. Впереди шли не только отряды обычной войсковой разведки, но прежде всего группы поиска воды и команды

рытья колодцев. Их надлежало рыть через каждые 25 километров по 15—20 колодцев, которые могли бы дать 120—150 кубометров воды.

Но это не все. Воду нужно было распределить так, чтобы не пропало ни одной капли. Жажда страшнее голода. Когда рот пересох, и язык у тебя шершаво ворочается во рту, и все внутри горит и требует влаги, трудно быть рассудительным, трудно удержаться от желания пить еще и еще, рваться к колодцу, расталкивая других и проливая дрожащую в руках влагу, которая могла бы достаться товарищу.

В начале похода, как это бывало в голодные времена, был введен порядок, напоминавший карточную систему. Возле колодцев дежурили комендантские взводы. В иных случаях — после самых тяжелых маршей, когда палящее солнце доводило людей почти до безумия,— воду раздавали сами командиры частей. Иначе от неосторожного движения источник мог быть загрязнен, смешан с землей, с песком и много драгоценной влаги пропало бы даром.

Жестким соблюдением такого режима командование сумело обеспечить армию достаточным рационом воды.

Порядок движения через земли Монголии и Маньчжурии был дополнен особым медицинским обслуживанием: в пустыне возможны тепловые удары.

В степях много мышей, сурков, грызунов, опасные эпидемии грозят войскам от носителей заразы; с войсками двигались работники противочумного отделения. В пустыне нет травы, а с войсками шли кони, поэтому вперед помимо полевых рот водоснабжения выбрасывались летучки с фуражом, ожидавшие конников на привалах.

Да, это был необычный поход. Я рассказал лишь о сотой доле особых мер, принятых в пустыне. Карты, например, приносили мало пользы артиллеристам в условиях однообразной местности без ориентиров. Пришлось создать специальные топографические отряды, «привязывавшие» батареи к едва заметным ориентирам.

Так армия миновала пустыню.

Впереди вздымал кручи Хинганский хребет. До сих пор не было таких войск, что шли бы через Хинган. Даже на картонном рельефе он выглядит страшно: лабиринт гор и ущелий, разбросанных дикой энергией природы, громоздящих отвесные скалы рядом с болотами, неведомо как возникшими на такой высоте,— все это выглядит порождением хаоса. И как в пустыне — ни троп, ни дорог, земля первозданная. Здесь малому отряду трудно пройти, а двигались через Хинган необозримые колонны машин, боевых машин, без которых теперь не может воевать ни одна армия.

Японцы не боялись этого участка границы. Они знали, что для крупных соединений Хинган непреодолим.

Но армия наша шла. Саперы взрывали скалы и камнем укладывали дороги. Глыбы гранита тонули в трясине. В узких ущельях реки ревели между отвесными кручами, строителям не на что было опереть хотя бы одну или две сваи,— путь через толщу гор прокладывали взрывчаткой. Да и не было леса строителям: голые вершины и склоны, ни деревца, ни куста. Артиллеристы тянули орудия на плечах, как солдаты генералиссимуса Суворова через Альпы.

Там, где нельзя было построить мосты, через потоки выстраивали в ряд грузовые машины с откинутыми бортами, по ним двигались батареи. На других реках тяжелые тракторы, рыча, пробирались первыми, от них протягивались канаты, тягач цеплял трос за громаду орудия и вытягивал его из реки по дну, волоком. Каждый, кто шел в хинганском походе, втаскивал на горные склоны не только свое тяжелое тело, но вместе с товарищами тянул за собой или орудие, или машину с боеприпасами, или рацию.

С картами совсем стало плохо. На плане переход выглядит километров на сорок, а на самом деле потянет на восемьдесят: картографы, видимо, рассчитывали по прямой, в то время как армия продвигалась не по воображаемой прямой, а по горной, складчатой местности, увеличивавшей по сравнению со старыми картами протяженность пути.

Помогая картам, колонны войск вытягивала из горных лабиринтов разведывательная авиация. Вездесущие «По-2» кружили над войсками, висели над дивизиями и, залетая вперед, высматривали места, где перевал не так труден, где пехота может пройти, где есть броды, где удастся протащить тяжелую артиллерию,— и сигналили, увлекая за собой на верную дорогу полки, дивизии и корпуса всего фронта.

Триста сорок шесть километров, страшных, хинганских, наши авангардные части прошли за семь суток.

И это было чудо — так решили японцы. Они были буквально раздавлены, когда словно горным обвалом обрушились на них войска Красной Армии, прорвавшиеся сквозь первозданный хаос со всеми орудиями и машинами. Все долгие годы подготовки к войне против нашей страны японские генералы строили планы обороны в расчете на то, что со стороны Хингана опасность им не угрожает. Но наши солдаты и здесь выполнили приказ Верховного главнокомандующего и Ставки.

...Спустя двое суток после выхода наших войск на Таонань император Японии объявил, что война им проиграна.

И как знак почета за великий труд наступления был для наших бойцов Порт-Артур, город моря и солнца, где раковина

Западной бухты выглядит голубой воды камнем, оправленным в золото.

Тихий океан. Китай. Русский город Порт-Артур, отбитый после трагедии 1905 года у японцев и позже переданный Советским правительством дружественному тогда Китаю.

* * *

Десятки лет этот порт находился в руках японцев. Сорок с лишним лет спустя после того, как с вышки на горе Золотой опустили русский флаг (до девятьсот пятого года Порт-Артур был в аренде у России) и взамен подняли японский, здесь, в Артуре, лежат передо мной ветхие, пожелтевшие страницы письма. Чернила, когда-то черные, побурели, поблекли, но текст, написанный аккуратным, строгим, четким женским почерком, разборчив и ясен.

Письмо было отправлено в конце 1904 года. Городская почта вернула его отправительнице: связь осажденного Порт-Артура с Россией была прервана, с моря и с суши крепость окружили японцы. Русская сестра милосердия, учительница женской гимназии в Порт-Артуре писала в Питер:

«26 ноября 1904 года.

П.-Артур пока еще русский.

...Если я не падаю духом, если я хожу еще бодро и весело, то это делает госпиталь. Я не напрасно здесь осталась. Солдаты любят меня, встречают как родную, навещают после выхода, приносят гостинцы, зовут родной матерью. Я им нужна, нужна, чтобы сообщить новости, чтобы потужить с ними, порадоваться с ними... И все напрасно, напрасно. Сил нет, снарядов нет, припасов нет, одежды нет, эскадра в бухте, только один «Севастополь» вышел в море. Мы уже натренированы, как я выражаюсь, но если бы пустить сюда вас, петербуржцев, вы бы моментально сошли с ума, так ужасно окружающее нас. Это — общее мнение.

Слушайте — «Гиляк» совсем на боку, весь избит за вчерашнюю ночь; «Пересвет» избит, трубы совсем на боку, средней мачты, башен нет, накренился. Около него «Забияка», «Европа», землечерпалка переломленная,— затонули, торчат слегка из воды. «Ангара» на боку, «Паллада» совсем на боку. «Баян» продырявлен. «Ретвизан» — корма в воде. Но уцелевшие пушки бьют.

Матросы сражаются как львы — кто на бортах полузатопленных кораблей, кто на суше. Прибавьте еще массу мачт от других судов, переломленных, разбитые дома, сараи, тележки, экипажи, вагоны и прочее на берегу, носилки с ранеными и убитыми — и над всем этим рев мортирных снарядов, свистулек — 6-дюймовых пушек, 12-дюймовых, гам, шум от разрывов, вонь от газа и пуль. Не старайтесь же представить себе ничего подобного,

надо это видеть и слышать. 22 ноября японцы взяли Высокую гору. С Высокой весь Порт-Артур виден как на ладони. Они стреляют в любое судно, бросают снаряды через три минуты, а иногда валяют залпами сразу по восемь снарядов. Это ад».

Так писала из осажденного, обреченного Порт-Артура русская женщина. Читая это письмо, я вижу в окне ночной Порт-Артур, серебряную лунную дорогу на рейде, откуда морские суда выходят в Желтое море, узкий вход в артурскую бухту, над ним черный массив Тигровой горы, и мыс Тигровый Хвост, и внутренний рейд порта, где гибли от японских снарядов корабли русской эскадры, и склоны Перепелиной горы, где стоял госпиталь артурской сестры, так продолжавшей свое последнее письмо из осажденной крепости:

«...Идут разговоры о сдаче Артура. Убийственно. Будем драться до последнего. Нас бросили покровители Стесселя...»

Тут я разрешу себе короткое отступление. Генерал Стессель был начальником Квантунского укрепленного района. Душой обороны на суше был генерал Р. И. Кондратенко. Он решительно сопротивлялся капитулянтским настроениям Стесселя. Не исчерпав всех возможностей обороны, тот сдал крепость неприятелю. 2 декабря 1904 года генерал Кондратенко погиб. Ровно через восемнадцать дней Стессель капитулировал.

«...Нас бросили покровители Стесселя, бросили, как ненужный хлам, забыв, что с нами гибнет флот, уж не говоря о массе людей... Подумать только что через несколько дней над городом будет развеваться «восходящее солнце». Милые, милые россияне, ведь сегодня 10 месяцев, как мы тут сидим под выстрелами, ведь и Севастополь не терпел того, что мы терпим, ведь там был подвоз людей, снарядов, припасов, а мы ничего не имеем вот уже 7 месяцев. Семь месяцев, шутка сказать! Семь месяцев быть отрезанными от всего света, семь месяцев слышать ежедневные выстрелы, стоны, видеть кровь, кровь, кровь, страдания, страдания без конца... Пока довольно. Писать тяжело. Что же будет?»

...С той поры, когда русская сестра милосердия, оглушенная канонадой, писала это письмо, хранящееся у меня до сих пор, прошло много лет. Читать свидетельства русской учительницы и теперь тяжело. И хорошо, что наступает утро, я возвращаюсь в Артур сорок пятого года, тихоокеанское солнце бросает еще холодный свет на горы вокруг бухты.

Выйдем на воздух. Вот голубая с белой короной прибоя волна Желтого моря. По правую руку от Огондая, где в 1904 году был офицерский поселок, круто поднимается Электрический утес, охранявший своей пятиорудийной батареей вход на внутренний рейд. На вершину утеса ведет извилистая, крутая, сравнительно удобная дорога, по которой когда-то доставлялись снаряды

артиллеристам капитана Жуковского, командира батареи № 15. Оставим эту дорогу и спустимся к берегу, где морская натура города-крепости больше дает себя знать, обогнем каменный выступ утеса, одолеем полузатопленную приливом гряду скал, торчащих острыми зубьями, как в крымском Коктебеле, поравняемся с проходом из открытого моря на внутренний рейд и, видя на той стороне Тигровую гору и далекий Ляотешаньский хребет, попробуем подняться на батареи по скалам круто падающего к воде склона горы.

Мы — это военный корреспондент «Красной звезды», добрейший, интеллигентный человек, театрал полковник Николай Николаевич Прокофьев, корреспондент «Комсомольской правды» Ростислав Июльский, известинец Тимофеев, нынешний иностранный обозреватель Иорданский и я.

Цепляясь за редкий колючий кустарник, срываясь в поисках хотя бы малой опоры и вновь вползая, прижимаясь всем телом к скале, откуда головокружительно низко виден каменистый берег, я первым пытаюсь вскарабкаться на Электрический утес. Еще метр до выступа скалы, но за что уцепиться? Делаю отчаянный прыжок, хватаюсь руками за жесткий куст и выбираюсь на край почти отвесной скалы. За мной поднимаются остальные. Отчего мы не прошли наверх по удобной дороге? Очевидно — молодость.

Так мы попадаем в Артур 1904 года.

Японцы оставили все в полной неприкосновенности, они превратили бывшую русскую крепость в город туристов, студентов и, предвидя будущее свое нападение на нашу страну, устами гидов утверждали:

— Видите, какая неприступная крепость? Какие были русские солдаты, выдержавшие столько дней небывалого сопротивления? Да, такие они были. Но мы тогда победили!..

Еще несколько усилий, и мы добираемся до стелющихся на камнях веток маньчжурской сосны, выходим на взлобье горы и оказываемся там, где с моря обороняли бедствующую крепость солдаты и матросы Артура. Священная земля, дважды священная годом девятьсот четвертым и девятьсот сорок пятым.

На брустверах перед траншеей, повисшей над морем,— мешки с песком. Их укладывали русские солдаты полвека назад. Мешковина цела. Но стоит притронуться к ней, как ее истлевшие нити распадаются в пыль. Кусок той мешковины до сих пор лежит у меня в столе. Как и фигура рыцаря-самурая, деревянная статуэтка в шелковистом облачении, подобранная во мгле разграбленного китайцами дворца маньчжурского императора, ставленника Японии Пу И. И еще — фаянсовая курильница и шелковый платок с именем японского синтоистского священника, принимавшего нас в храме Дайрена, хотя мы с Александром Булга-

ковым и Николаем Прокофьевым были поражены тем, что японский священнослужитель пригласил нас, вчерашних врагов, в храм и там на просцениуме при звуке барабана танцевал перед нами сорокалетний мужчина «танец тигра», напомнивший мне спектакли японского театра «Кабуки» в Москве.

...Итак — Электрический утес. На деревянной лестнице, почерневшей от многих дождей, ступени ведут к круглым бетонным башням с узкими амбразурами. Отсюда били скорострельные по тем временам пушки. Обернувшись, мы видим массивное тело батареи. Пять больших капониров, вмещавших в себя громады 10-дюймовых орудий крепостной артиллерии, образуют собой как бы корону Электрического утеса. Они соединены длинной подземной галереей с казематами для снарядов, с ходами для батарейцев, выбегавших к орудиям по тревоге. На правый край вершины тянутся проржавевшие рельсы узкоколейки. По ним выкатывали из укрытия самый мощный в Артуре прожектор, освещавший открытое море, прибрежные позиции перед крепостью,— за это и прозвали утес Электрическим.

Батарея № 15.

Одной из первых она открыла огонь по японской эскадре 1904 года. Ее голос порт-артурские горожане всегда узнавали в хаосе разрывов и залпов, как и выстрелы орудий Большого орлиного гнезда, Малого орлиного, Курганной, Заредутной, Залитерной, орудий сухопутного фронта, разбросанных по высотам форта № 2, где погиб душа обороны генерал Кондратенко, Белого волка на западе и других батарей крепости.

Отсюда, с высоты соколиного полета, видны город, два рейда, цепь далеких и ближних гор, толпящихся над впадиной, с которой бегут во все стороны пестрые, солнечные улицы — над лазурными бухтами, над простором Желтого моря. Виден порт, массивные строения Нового города, беспокойные людные кварталы китайских районов, гора Золотая с сохранившимися батареями крепостной артиллерии и маленькой с далекого расстояния фигурой краснофлотца, сигналящего флагами по «семафору» плывущим внизу кораблям.

Тут соединены все цвета: от изумрудного, синего, голубого — небо и море — до бурого, рыжего, медного — побережье и горы. И охватывает тебя такая горячая волна счастья, что боишься расстаться с этой минутой, медлишь уйти со скалы, глядишь и глядишь вокруг и не можешь понять, ты ли это здесь, не можешь, не можешь наглядеться.

Наша победа.

В городе сохранилось русское военное кладбище, где похоронены солдаты и офицеры доблестной обороны, и среди них соратник генерала Кондратенко, равный ему по храбрости и энергии, полковник Александр Михайлович Иолшин. Над прахом

его простые слова: «Скончался от ран 21 ноября 1904 года. Ибо несть больше любви, аще кто за други свою душу положил».

Старый мраморный крест увит красной лентой — дань солдат нашего времени. Надпись: «Вечная слава борцам, павшим в 1904 году за русскую крепость Порт-Артур. От бойцов и офицеров Красной Армии, занявших город и крепость 22 августа 1945 года».

...И сигналист славит нашу победу с вышки горы Золотой — советский матрос.

Глядя на него, как не вспомнить другого русского моряка, о котором в одной из книг 1904 года приведена запись портартурского горожанина: «3 мая 1904 года. Уже вечерело. Был седьмой час на исходе, когда в анатомический покой был доставлен труп неизвестного матроса, выброшенного на берег морским прибоем».

То был матрос с миноносца «Стерегущий», открывший кингстоны и затонувший вместе с кораблем, чтобы не сдаться японцам после неравного боя. Имя погибшего матроса было установлено: Зимин Сергей Иванович. На груди у него нашли письма от жительницы Москвы, подписавшейся инициалами З. Я. И. Она писала матросу «Стерегущего», команде которого поставлен и всем известен памятник в Петербурге — Ленинграде, близ бывшего Народного дома и набережной Невы.

«О боже, сохрани тебя от врагов и пошли тебе силу и крепость. Напиши, что, вы уже воюете или нет и как ваши дела? Ведь, говорят, будет большая война!»

Письмо было отправлено из Москвы 27 января 1904 года. За день до этого японцы без предупреждения, без объявления войны напали на Порт-Артур, вся их эскадра появилась на подступах к внешнему рейду крепости.

Ровно через месяц матросы «Стерегущего» потопили свой корабль, чтобы умереть, не сдаваясь врагу. И лишь 3 мая тело одного из матросов выбросило прибоем на берег.

На каждом шагу в Порт-Артуре находишь священные для каждого русского следы обороны 1904 года.

Мы искали свидетелей защиты Артура. И отправились в порт Дальний-Дайрен,— нам стало известно, что там до сих пор живет русская женщина, сестра милосердия, чье пожелтевшее письмо из осажденной крепости в Петербург я уже процитировал.

* * *

Дальний до сих пор значится в атласах как большой порт. На пути к нему встречаются два пробитых в скалах тоннеля, дальше, примерно на полпути, оживляет картину голубая бухточка с песчаным пляжем — Жемчужным. По обе стороны от дороги теснятся крошечные плантации китайцев, аккуратные и

чистенькие, словно их владельцы, совершая утреннее омовение, заодно моют и вытирают полотенцем каждый лист гаоляна. На взгляд иностранцев это выглядит, разумеется, очень мило, но в действительности ювелирное искусство здешних земледельцев объясняется невероятной теснотой, скученностью и малоземельем.

С обидой и жалостью китайцы смотрят на полотно асфальтированной дороги, не будь ее, они могли бы выкроить для себя еще несколько локтей драгоценной земли. То и дело видишь, как, будто молясь, крестьянин кланяется низко, качая насосом воду, или тащится с тележкой на каменистый склон горы,— чудом зеленеют там на притащенной со стороны земле несерьезные игрушечные посевы. В тележке — все та же земля.

Дальний — крупный город европейского типа с широкими улицами, высокими каменными домами, круглыми площадями; от них радиусами тянутся нарядные, удобные для движения транспорта магистрали. Дальний с его 700-тысячным населением и громадным портом, привлекающим к себе океанские корабли под флагами едва ли не всех стран мира, несмотря на все усилия японцев, так и остался городом интернациональным.

В его архитектуре нет ничего типично японского, все стили смешаны в нем беспорядочно, от готики до сухих, по тогдашнему времени современных, зданий модерн. Как некий символ насилия и угрозы выделяется среди них угрюмое, цвета запекшейся крови здание японского верховного суда. «Оставь надежду навсегда, всяк сюда входящий!» — вспоминаешь невольно эти слова, глядя на него.

Основу Дальнего в начале нашего века заложили русские инженеры.

Лишнее свидетельство тому я нашел в книге Эллиса Бартлетта,— его трудно заподозрить в симпатиях к русским. В 1904—1905 годах он находился при главной квартире японского генерала Ноги. Бартлетт писал тогда:

«История осады Порт-Артура — это от начала до конца трагедия японского оружия; только история осады, составленная по официальным данным, может раскрыть все тактические ошибки японцев, но подобная история вряд ли появится на свет, пока настоящее поколение не сойдет со сцены... Беспристрастный наблюдатель не может не восхищаться тем, что́ создала Россия за такой небольшой промежуток времени. Где восемь лет назад русские не нашли ничего, кроме жалких деревушек и отдельных фанз, там они оставили после себя железную дорогу, могущественную крепость в Порт-Артуре, снабженную доками, арсеналами, формами и т. д., а также коммерческий порт и убежище для судов в Дальнем. Строитель, составивший проект Дальнего, может гордиться своей работой. Красивый город, хо-

рошо расположенный, гнездится на берегу моря, охваченный поднимающимися вокруг высотами; отличная гавань может вмещать корабли большой величины... Длинные молы и волноломы защищают гавань от сильных штормов, образуют якорные стоянки, безопасные в часы бури для самых крупных судов мира. Бессчетное количество бетонных глыб, заготовленных в Дальнем, показывает, что русские собирались широко развивать дело культуры, обращая пустынную китайскую территорию в благоустроенный край.

...Большой театр строился близ берега моря, уже построены собор, больница, городское управление. Разбит парк с местом для тенниса, кегельбана, с купальнями... За городом — зоологический сад, излюбленное место для изнемогающих от зноя горожан...»

Так в описании Э. Бартлетта выглядел город Дайрен в начале века.

Главной целью нашего приезда в Дальний было желание отыскать сестру милосердия 1904 года. О как трудно было найти ее в громадном городе! Дальний веселился, бурлил, ежеминутно вскипал новыми и новыми шествиями, демонстрациями, митингами. Мы метались из квартала в квартал, спрашивая встречных и поперечных на всех языках, что знали. Но в этом сплошном карнавале ликования мало кто нас слышал. Мимо нас нескончаемым потоком шли, пели, танцевали китайцы — ремесленники, рабочие, интеллигенты. Китайские народные актеры, гимнасты на высоких деревянных «ногах», бродячие оркестры с барабанами, гонгами, свистульками, трубами, издававшими пронзительные, резкие, непривычные для европейского уха звуки. Все это приплясывало, галдело, напевало с тем бо́льшим воодушевлением, что при японцах такие праздники китайцам были запрещены.

Толпа кричала приветственное «ван-сюй!».

К ночи на всех углах появились маленькие палатки, освещенные свечами. Теплились бумажные фонарики, на столах стояли подносы с чайниками и чашками чая. Жители ближних домов, среди которых мы с удивлением увидели японцев и японок, предлагали нашим бойцам отдохнуть и отведать местного чая. Одним из забавных впечатлений этой наивной радости осталась в памяти надпись на русском языке над убогой лачужкой ремесленника:

«Очень спасибо. Парикмахер Тоецкань».

...Только к вечеру через одного из здешних русских, владельца гостиницы, мы узнали адрес артурской сестры. 82-летняя женщина встретила нас как своих в тесной комнатке. Спустя пять минут она с горящими глазами воскликнула:

— Стесселя надо было убить!

* * *

Все сорок лет со дня падения Порт-Артура Евгения Ильинична Едренова жила одним: когда же, когда же она снова встретит русских?

Все, что мы увидели в ее комнате, своим убранством не отличавшейся от таких же скромных комнат где-нибудь в Воронеже или Калуге, в Питере, так или иначе было связано с временем обороны Артура. Дрожащими от волнения руками старая и очень уже слабая женщина стала раскладывать перед нами стопки книг о тогдашних боях, карты крепости, любительские фотографии, где мы увидели русские броненосцы у горы Тигровой, мертвый остов «Гиляка», японские брандеры, подбитые у самого входа на внутренний рейд. Евгения Ильинична показала нам брошку, которую надевает по торжественным дням, и тут же спросила, из чего она сделана. Брошка была тяжелая, черная, и, помедлив немного, старуха сказала торжественно:

— Мне сделали ее из осколка снаряда!

Беседовать с нею было тем более интересно, что она сохранила живой ум и была единственной, вероятно, свидетельницей драматических событий на всем Ляодунском полуострове, осады Артура, первых недель успешного отпора противнику...

Мы стали расспрашивать ее о батарейцах Электрического утеса, и оказалось, командир батареи № 15 капитан Жуковский — это родственник Евгении Ильиничны. В дни осады она посылала ему на утес корзинки с провизией: Жуковский не покидал свой пост даже на час. Показывая фотографии артурских солдат и офицеров, старуха обратила внимание на карточку стройного, худощавого подпоручика, вспомнила, как все его любили, называли попросту Светиком, вспомнила, что он был высок ростом, а женился на девушке еще выше его. Сперва мы без особого интереса отнеслись к этим подробностям, но невзначай выяснилось, что Светик — известный историк Порт-Артура Василий Николаевич Никольский. Он работал в мастерских на Тигровом Хвосте, когда у защитников крепости стало не хватать боеприпасов, придумал эту гранату. Все, кто мог, даже дети, собирали для него листы жести, консервные банки, ведра, тазы,— он превращал их в гранаты, и у русских солдат в окопах появлялось дополнительное оружие.

В 1901 году Евгения Ильинична приехала в Порт-Артур в качестве домашней учительницы в семье богатого инженера, потом служила в женской гимназии, в библиотеке, в редакции местной газеты и видела, как Порт-Артур веселился накануне грозы.

В ночь на 27 января 1904 года японская эскадра появилась на подступах к внешнему артурскому рейду, и страшное время началось для русских солдат и матросов, обреченных на смерть

и плен нерешительностью, готовностью к капитуляции генерала Стесселя. Теперь, когда посчастливилось найти в Дальнем единственную свидетельницу трагедии, считаю своим долгом увидеть те давние события ее глазами.

Русский солдат своей кровью должен был ответить за все — за ошибки царских правителей, за беспечность петербургских столичных кругов, за промахи растерявшихся генералов, за порочность тогдашнего строя.

Учительница провела в осажденном Артуре все одиннадцать месяцев осады и обороны. На свои деньги покупала белье и провизию для раненых защитников города, сражалась с чиновниками, норовившими нажиться на краже и без того скудных солдатских пайков, осталась в огне до конца, плакала при виде русского флага, упавшего с сигнальной вышки в день сдачи крепости, и лишь с последним эшелоном тяжелораненых отправилась из Порт-Артура в Чифу, потом в Шанхай, где поезд их продержали три долгих месяца, а дальше в Одессу.

Она до сих пор дрожит от негодования, вспоминая, как в Чифу кто-то из царских бюрократов-сановников спросил пренебрежительно, глядя на безногих, безруких солдат на носилках: «Зачем вы привезли с собой это крошево?»

На том же пароходе везли тело убитого генерала Кондратенко — того, кто снискал не только преданность русских солдат, но и уважение со стороны неприятеля за доблесть, мастерство управления войсками, умелый выбор позиций для фортов, укреплений и батарей.

...Петербург с его равнодушием к трагедии, ускорившей, кстати, гневом рабочего люда революцию пятого года, показался сестре милосердия отвратительным. Вскоре она покинула столицу и вернулась на Дальний Восток, ближе к милому ей Артуру.

Поздно вечером, закончив беседу с Едреновой, принявшей нас как родных, мы предложили ей проехать с нами в Артур.

Мы опасались, что старый, больной человек откажется от этой слишком смелой в ее возрасте затеи. Но бывшая сестра милосердия даже зарделась от радости. На другой день она ждала нас у порога дома. Принарядившаяся, в шляпке, заколотой длинной булавкой, в стареньком боа, которое тут же обозвала «кошачьим», с дорожным баульчиком и с палочкой в правой руке.

Ей очень хотелось увидеть Артур — спустя сорок-то лет!

Общими силами мы усадили старушку в трофейный «виллис» японского образца и тронулись в путь.

И вот мы снова в Артуре.

Советские матросы шли бок о бок с китайскими грузчиками. На площади возле китайской школы шумел многолюдный ми-

тинг. Китаец-студент, возбужденный, потный от волнения, обращался к толпе, и все слушали его жадно, приложив ладони к ушам,— рабочие и мелкие торговцы, бедняки и богатые, женщины, дети, старики,— и студент, закончив речь, совершал поклоны сначала в ту сторону, где рукоплескали ему сородичи, потом туда, где стояла небольшая группа советских людей. После митинга китайцы пригласили нас вместе с представителями советского командования на банкет дружбы.

То был очень скромный и очень трогательный банкет, устроенный не в пышном каком-нибудь помещении, а в бедной харчевне. Закопченной, с низкими закопченными потолками и традиционными бумажными букетами цветов, с кистями на дверях,— местные люди привыкли к тому, что особняки и дворцы могут принадлежать только японцам. Повара опоздали с приготовлением кушаний, наш генерал и его офицеры приняли хозяйские извинения и сели ждать в прихожей.

Стол наконец накрыли, начался ужин с бесконечными китайскими блюдами, смена которых возвещается всякий раз пронзительным криком кулинаров; подняты были первые тосты за дружбу народов, отзвучали первые речи, и официальный банкет превратился в простую, теплую встречу приятных друг другу и уважающих друг друга людей.

Мы рассказывали все это русской женщине, помнившей другой Порт-Артур, другие нравы, другие порядки, и она качала головой, удивляясь. Может быть, впервые она стала понимать советских людей, казавшихся ей только богоотступниками, ниспровергателями старого строя, противниками европейской цивилизации.

Вспомнили, как в Харбине, только что занятом советскими войсками, мы услышали подобие музыки. Время было военное, порядок только начал восстанавливаться в городе, измученном японским террором, и странно было слышать мирную мелодию в сумеречной мгле этого города.

Но все же мы слышали ее явственно. Рядом с нашей машиной теснилась толпа горожан. Мы стали протискиваться к тому месту, откуда доносились резкие, пронзительные звуки барабанов, гонгов, колокольчиков и подобия литавр. Но тут музыка стихла, усталые оркестранты присели на землю. То была группа китайцев, быть может одна семья,— старик, долговязый, тощий, юноша и двое мальчуганов, прелестных, как все китайские дети, с аккуратно подрезанными челочками на лбу, раскосыми глазами и врожденной грацией в каждом движении.

Десятки, сотни китайцев стояли возле нас в ожидании, видимо, мы попали на довольно редкое тогда в Харбине зрелище.

Мы собирались уйти, разочарованные долгой паузой в музыке, но тут старик, разглядев наши офицерские русские пого-

ны, вскочил с земли, весело, дружелюбно улыбаясь, и жестами стал спрашивать, не хотим ли мы послушать его барабаны и гонги. И все стоявшие рядом стали кивать головами, заранее соглашаясь за нас.

Движением руки старик подозвал к себе мальчуганов, и концерт возобновился. Оглушительные, резкие звуки, порождаемые ударами палок о барабаны и гонги. Кроме них, у музыкантов не было больше инструментов. Разной величины и формы, они отличались короткими, бравурными, мажорными звуками. Захватывающе быстрый, все ускорявшийся ритм музыки увлек нас в первые же минуты. Несмотря на отсутствие «поющих» инструментов и отсутствие мелодии, в этой музыке было нечто виртуозное, артистическое — самум нараставших в своем неистовстве звуков, казавшихся однообразными, а в действительности усложненными меняющимися ритмами, сложными ритмическими фигурами, которые вряд ли сумеет воспроизвести европеец. Уже немыслимо было уследить за движениями рук барабанщиков, мелькавших так быстро, что очертания их сливались, как спицы в колесах мчащейся кареты. Это напомнило мне спектакли китайского старинного театра Мэй Лань-фаня на гастролях в Москве.

Все это продолжалось так долго, что не стало возможным стоять неподвижно, музыка толкала к движению, и тут старик последней барабанной руладой оборвал каскад неистовых звуков и кончил играть. Вопросительно глядя на нас, он старался понять, понравилось ли нам его искусство. Один из горожан-китайцев наклонился к моему уху и на ломаном русском языке прошептал:

— Это для вас, для русских. Японцы не позволяли нам играть. Сегодня музыканты первый раз вышли на улицы.

...Мы рассказали все это русской женщине, глубокой старухе. Она отвечала, задумавшись:

— Я помню другой Порт-Артур и знаю другую Маньчжурию. Здесь не было раньше дружбы...

Уже в сумерки мы привезли артурскую сестру милосердия к тому месту над бухтой, где стоит сигнальная вышка. Там уже не было японского флага. Над бухтой, над мысом Тигровый Хвост, над крепостью реял на ветру советский флотский флаг. Краснофлотец стоял у подножия вышки и, закинув голову, влюбленно смотрел на бившийся в волнах вечернего воздуха свиток белого полотнища.

— Сорок лет я ждала этой минуты,— сказала наша спутница.— С той минуты, когда вместо русского флага на этой мачте был поднят вражеский японский флаг...

На другой день мы представили Евгению Ильиничну коменданту гарнизона советских войск. Узнав о судьбе Едреновой, он

тут же поздравил ее с победой, предложил особняк в Артуре и всяческую помощь, начиная с пенсии. Но бывшая сестра милосердия, поблагодарив, сказала:

— Мне восемьдесят два года. Как я ни люблю мой Артур а трудно расстаться с обжитой квартирой в Дальнем. К тому же там осталась моя сестра...

И мы распрощались — теперь уже навсегда.

До сих пор вижу: вечереющее темное небо над давней русской крепостью, мыс Тигровый Хвост, башня на горе Перепелиной, глухой шум, свистки, гудки судов в порту и на тихоокеанском просторе вьется, вьется, трепещет, волнами бьется, шумит на ветру флаг нашей Родины.

НИКОЛАЙ
БОГДАНОВ

ЯПОНИЯ В ДНИ КАПИТУЛЯЦИИ



С высоты полета

Не прошло и недели после разгрома и пленения нашими войсками Квантунской армии, как мы, советские корреспонденты, уже летим на церемонию капитуляции Японии.

Над нами ясное небо, под нами спокойное море.

Легкий ветерок, дующий от родных берегов, словно подгоняет нашу голубую «амфибию». Быстро и плавно несется она к запретной, когда-то священной земле божественного микадо.

Японию мы увидели 31 августа 1945 года, в час пополудни местного времени, с высоты трех тысяч метров. Прильнув к стеклам кабины, едва успели рассмотреть сосновые леса и террасы полей, поднимающиеся в горы, плотины гидростанций и трубы заводов, как впереди засияла снежная вершина потухшего вулкана Фудзияма. С высоты полета города нам не открылись. Они плотно окутаны облаками. Когда «амфибия» пробивала их, она стала мокра как мышь. Казалось, не будет конца этому скольжению в серой тьме. Напряжение охватило всех. Пилот и штурман замерли на своих местах, отдавшись ни с чем не сравнимому чувству слепой посадки по приборам.

Молнией, разрядившей напряженную атмосферу, мелькнула полоска реки. И мы увидели сразу и корабли союзников на пологих волнах океана, и «летающие крепости» на поле аэродрома.

Бетонная посадочная полоса течет рекой. «Амфибия», легко коснувшись ее, мчится навстречу косому дождю, взмывая веера брызг. Никого. Нас явно не ждали в такую нелетную погоду.

Да и мы не знали, кто нас может встретить на токийском аэродроме Апуги, никакой связи с ним не было, летели наугад.

И вдруг — толпа солдат в касках, в зеленых костюмах, с автоматами под мышкой. Американские парашютисты оказались хозяевами аэродрома. Не успели мы произнести несколько заготовленных английских фраз, как послышалась русская, сербская, болгарская, польская речь.

Большинство солдат американской парашютной дивизии, высадившейся здесь накануне, были славянского происхождения. Честь вступить на землю побежденной Японии была им оказана недаром. Эта славная дивизия штурмом брала остров Окинава. В рукопашных схватках с японскими солдатами она потеряла почти половину бойцов.

Вот появился их лейтенант и вдруг стал разговаривать с нами на чисто тургеневском языке.

Это Генри Иванович Зинковский, американец в третьем поколении. Его дед, гонимый нуждой, переселился в Америку из Белоруссии во времена царизма. Генри делает военную карьеру. Однако в семье свято хранится язык предков, есть библиотека русских книг.

Да, мы поспели вовремя, церемония подписания акта о капитуляции состоится на борту броненосца «Миссури» послезавтра, сообщает он. И шутит:

— Далекое вам пришлось совершить путешествие.

— Путь неблизкий,— отвечает штурман,— двенадцать тысяч километров.

— Зато скатертью была дорога.

— Да, но чтобы расстелить эту гладкую дорожку, нашим войскам пришлось преодолеть железобетонные крепости на сопках Маньчжурии, годы Хингана, пустыни Чахара, разгромив при этом миллионную Квантунскую армию.

— Нам тоже пришлось,— хмурится Генри Иванович.— Одна Окинава чего стоила... Кстати, вон посмотрите, как выглядят самолеты, приготовленные для пилотов-смертников — «камикадзэ».

Вдали виднелись небольшие тупоносые машины, изукрашенные яркими иероглифами.

— Дешевка, рассчитанная на один вылет, как наряд покойника.

Эти пестрые птички начинялись взрывчаткой, в них усаживались отчаянные «камикадзэ» и пикировали на палубы наших кораблей. Представляете, что получалось?

Мы не очень представляли, хотя слышали, читали и даже смотрели посвященную полетам «камикадзэ» трофейную японскую кинохронику.

На пожарищах Токио

На военном «джипе», любезно предоставленном американским лейтенантом, мы поехали посмотреть столицу Японии. Жители города считали, что у них в «большом Токио» восемь миллионов жителей. Они гордились, что в нем сочетаются чудеса Запада и Востока, обычаи старины уживаются рядом с достижениями современной культуры...

Мы проехали несколько километров, миновали окраины, но не увидели ни одного целого дома. Под колесами машины бежал асфальт, виднелись заржавленные рельсы трамвая — других признаков улиц не было. Направо и налево расстилались бурые пустыри, посыпанные пеплом, да торчали обгоревшие деревья.

Вот среди поля появилась широкая асфальтированная площадь. На ней стоял полицейский, регулировавший движение. И площадь была, и транспорт двигался, а домов не было. Мы словно ехали по дну незримого города, смытого фантастическим шквалом.

Вдруг на пологих холмах мы увидели множество черных прямоугольников. Оказывается, это остатки знаменитой улицы Гинза. Магазины и магазинчики японских купцов, где они торговали всем, что только есть на свете, сгорели дотла, а несгораемые шкафы, куда прятали выручку, остались.

Они стоят, как мрачные памятники отшумевшей здесь бурной жизни. Ближе к центру нам стали попадаться остовы сгоревших автомобилей и трамваев.

Пораженные всем увиденным, мы приехали в советское посольство. Здание посольства расположено на холме, в вечно зеленом саду. Оно виднелось издалека словно цветущий островок среди черного моря пожарищ. Над ним величаво реял огромный красный флаг.

Когда мы спросили, что случилось с Токио, работник посольства, проживший здесь много лет, подвел нас к бетонной ограде и указал с холма вниз.

— Отсюда,— сказал он,— мы наблюдали когда-то причудливые виды этого города. Нас окружали тысячи домиков из бумаги, фанеры и лакированного дерева. Домики лепились так тесно, что по многим улицам не было автомобильного движения. В знойные дни бумажные стенки домов раздвигались и жизнь квартала проходила у всех на виду. А теперь поглядите,— закончил сотрудник посольства,— какая здесь пустыня.

Японские правители думали завоевать весь мир, но при первом же налете «летающих крепостей» удрали в свои имения и замки, бросив жителей на произвол судьбы.

Они знали, что город обречен. В Токио и до войны пожары были бедствием, с которым почти так же трудно бороться, как с землетрясением. Тушить огонь в тесноте деревянных, бумажных и фанерных домиков, набитых соломенными циновками, было просто невозможно. По пожарной инструкции японцы должны были ломать и разбирать свои домики вокруг очага пожара и тем ликвидировать его.

Американцы учли, в чем уязвимость города, и для бомбежки Токио доставили на своих «летающих крепостях» множество мелких зажигательных бомб.

Результаты сразу же сказались.

Город загорелся от первых «зажигалок». После трех таких налетов все было кончено. В Токио осталось не больше двадцати процентов домов. Уцелели в основном здания европейского типа: министерства, посольства, банки...

Мы долго смотрели на черные долины, усеянные битой черепицей, на обуглившиеся деревья, торчавшие на месте бывших садов, на каких-то каменных божков, потрескавшихся от жары, которые валялись там и тут, никому больше не нужные.

Потом вместе с сотрудниками посольства отправились побродить пешком по улицам японской столицы.

Навстречу нам двигалась толпа. Женщины с младенцами, подвязанными к спине широкими полотенцами. Мужчины с каким-то скарбом на спинах. Усталые, хмурые лица, оборванная, давно не стиранная одежда. Все мужчины, начиная от мальчишек и кончая старцами,— в зеленом солдатском обмундировании. Женщины — в неуклюжих штанах. Где же яркие цвета и краски, куда исчезли шелковые кимоно?

Оказывается, в Японии с начала войны больше не вырабатывали шелка для населения. Кроме того, специальным указом императора было запрещено носить кимоно. Неудобно в широких халатах бегать тушить зажигательные бомбы, рыть окопы и щели, строить укрытия. Согласно указу все японские женщины надели штаны «момпэ» — спецодежду войны. Мимо нас проезжали многочисленные велосипедисты. Мы диву давались, чего только не везли на велосипедах: и солому, и дрова, и даже мебель. Наблюдали, как мимо нас проехал какой-то японский папаша, с важным видом правя рулем; на багажнике у него солидно сидела бабушка, а на бабушке верхом — внучка. Так и путешествовали втроем.

То там, то здесь попадались новые жилища погорельцев. Одни устроили жилье из остова сгоревшего автомобиля, другие построили себе шалаши из гофрированной жести, служившей когда-то крышей. Каждое семейство уже повесило фонарик с иероглифами своей фамилии, чтобы ночью не пройти мимо и не споткнуться. Мамаши в окружении детворы, многие с младенцами на спинах, тут же готовили пищу на кострах...

Обнаружив, что в Токио ходят трамваи, мы сели и поехали к центру. Публика оглядывала нас, тщательно скрывая любопытство. Японцы молчаливы и вежливы.

Мы смотрели на печальные картины сгоревшего города. Вдруг на повороте трамвай замедлил ход, кондуктор позвонил и что-то сказал. Некоторые поклонились в одну сторону. Оказывается, это специальная остановка, для того чтобы поклониться дворцу императора. Отсюда виден кусочек дворцовой черепичной крыши из-за каменной стены.

На первой же остановке мы слезли и пошли ко дворцу через широкие площади и парки. По дороге решили взглянуть на метро. В Токио тогда было всего две линии метрополитена. Когда мы подошли к станции, наши фотокорреспонденты сразу схватились за фотоаппараты. Еще бы! Такое сочетание в одном кадре

22-1607

Азии и Европы не везде найдешь: у входа в метро сидели рикши. Можно, сойдя с электропоезда, выйти из метрополитена и тут же пересесть на «машину»... в одну человеческую силу.

В те дни американцы еще не вступали в столицу. Штаб Макартура помещался в Иокогаме. Дворец императора охраняли японские войска. Большие отряды стояли у всех восьми ворот, ведущих внутрь каменного восьмиугольника, окруженного восемью прудами.

Старый дворец, где жил император, низок и мал, из-за стен видна только его крыша. А новый, где он давал приемы, сгорел от американских «зажигалок».

Японские офицеры, охранявшие дворец, явно скучали. Они разгуливали парочками по мостам либо катались на велосипедах. Каждый был вооружен современным пистолетом типа «парабеллум» и старинным самурайским мечом. Забавно было смотреть, как эти воинственные на вид офицеры крутили педали, положив мечи на руль велосипедов.

Мы вдоволь нагулялись по парку и вдоль священных прудов, заросших тиной. В прудах полным-полно лягушек, им там раздолье: все живущее в этих прудах священно и неприкосновенно. Пора было уходить, но наш любезный проводник что-то медлил.

Оказывается, он хотел удивить нас самым необыкновенным зрелищем, которое можно было встретить в эти дни в Токио,— коллективным харакири.

Накануне здесь, в парке Мейдзи, двенадцать молодых людей из «ассоциации помощи трону» сели на лужайке и под руководством учителя зарезались в знак соболезнования императору, проигравшему войну. Тут же, перед императорским дворцом, сделали себе харакири еще кое-кто из верноподданных. Несколько бывших министров покончили с собой дома.

Слушая рассказы, мы бродили довольно долго, но ни одного харакири не увидели.

Мы поехали в Иокогаму, где при штабе генерала Макартура уже собралось двести тридцать корреспондентов всех стран. От Токио этот промышленный двухмиллионный город недалеко. Иокогама и Токио соприкасаются окраинами. Между ними курсируют электропоезда.

И вот снова путешествие, полное контрастов.

Нас мчит электровоз — машина, построенная по последнему слову техники, а правит ею машинист в очках и в шляпе, но босой.

Мелькнули заболоченные рисовые поля, где работали по колено в грязи обнаженные люди в островерхих соломенных шляпах. Затем эту древнюю картину сменили современные городские виды. Показались фабрики и заводы Иокогамы.

В этом городе, так же как и в Токио, жилища горожан были сметены пожаром, а заводы, верфи, военные склады уцелели.

Сойдя с поезда в районе порта, мы увидели высадку американской дивизии, которая прибыла для охраны штаба Макартура.

К причалам подплывали десантные баржи, быстро раскрывали откидные носы и выбрасывали на берег машины, полные солдат.

За автомобилями катились на прицепах пушки, кухни, походные электростанции, снова пушки разных калибров. Не было только лошадей, хотя дивизия именовалась кавалерийской.

Когда мы спросили, где у американских кавалеристов кони, офицер, руководивший высадкой, ответил:

— Как, разве вы не видите? У каждого солдата на каске нарисована лошадь. Это механизированная кавалерийская дивизия.

Затаив дыхание, смотрели японские обыватели на высадку американских войск. Они останавливались и застывали, а потом, не обмолвившись ни единым словом, не сделав какого-либо жеста, шли прочь с окаменелыми лицами, не оборачиваясь.

Банкротство «камикадзэ»

Один американский полковник пригласил нас посмотреть оригинальные трофеи, захваченные его солдатами в тайном морском гроте,— пресловутые японские «живые торпеды».

В большой пещере, вырубленной в прибрежной скале вблизи городишка Фунокоси, мы увидели десятка два сигарообразных торпед, лежавших на рельсах, спускавшихся в воду.

У каждой торпеды имелся прозрачный колпак, по-видимому, из небьющегося стекла, под которым должен был помещаться смертник, управляющий этой торпедой. Незаметно подкравшись к вражескому кораблю, он должен был нанести ему удар и вместе с ним взлететь на воздух.

Мы вспомнили самолеты на аэродроме Ацуги, предназначенные для смертников, и спросили полковника, имеют ли эти японские выдумки военное значение.

— Безусловно,— ответил он.— Смертники, а по-японски «камикадзэ», за время войны причинили и нам, и англичанам немало бед. Стоит вспомнить гибель лучших линкоров Англии — «Принца Уэльского» и «Рипалс», которые шли осенью сорок первого года на помощь английской крепости Сингапур, осажденной японскими войсками с суши и с моря. Неожиданно на них напало небольшое соединение японской авиации. В то время как самолеты отвлекали внимание зенитчиков, двенадцать машин спикировали на корабли прямо с грузом бомб, и в полчаса не

стало двух лучших линкоров Англии. Они пошли на дно вместе с матросами, офицерами и адмиралами. Это сделали «камикадзэ».

Кто такие «камикадзэ»?

Лет семьсот тому назад тайфун разметал у берегов Японии эскадру монгольского завоевателя — внука Чингис-хана хана Кублая. Японцы сочли это милостью священного ветра «камикадзэ». Не надеясь в наш суровый век на ветер, они создали специальные отряды «сынов священного ветра» под тем же названием.

Завербованные в отряды молодые люди давали клятву императору умереть за него в любой момент; взамен они получали не только отпущение грехов и обещание блаженства на небе, но и роскошную жизнь на земле. Молодчики жили разгульно и бесшабашно. В магазинах у них не осмеливались брать деньги за взятые вещи, в ресторанах — за съеденное и выпитое. Они могли зайти в любой дом как хозяева. К этим будущим «богам» и полиция не подступалась.

Но вот наступал роковой момент, когда смертнику вручался именной приказ императора. Ему надевали на лоб белую шелковую повязку с иероглифами «священного ветра» и отправляли на свершение подвига.

Мог ли он уклониться от смерти и как-нибудь остаться живым?

Нет, его все равно бы заставили сделать харакири, а принудительное харакири считается очень позорным. Затем безжалостно уничтожили бы родственников клятвопреступника. Поэтому японец предпочитал выполнить договор.

Когда мы вышли из сырого грота на свежий воздух и уселись на прибрежных камнях, любуясь притихшим океаном, американский полковник сказал:

— Японцы грозились устроить нам «второй Перл-Харбор», если мы приблизимся со своим флотом к их берегам. По их замыслу на наши корабли из таких вот пещер должны были устремиться подводные «камикадзэ», а с тайных аэродромов — вылететь воздушные смертники. Однако мечта их не сбылась. Ваше вступление в войну разом прекратило все эти бредни. Окруженные со всех сторон, они не смогли больше сопротивляться. И теперь все эти «камикадзэ» не стоят и ломаного гроша!

Мы могли наблюдать, как без всякой помехи американцы высаживались на японскую землю.

Далеко отсюда, на сопках Маньчжурии, были подрезаны крылья «священному ветру» мощными ударами Красной Армии. Много пролилось бы крови американских солдат, не будь такой помощи.

Победа в Маньчжурии

Побывав в Японии, можно ясней представить все значение нашей победы в Маньчжурии. Длительное контрнаступление наших союзников против Японии не сломило ее волю к борьбе. Она потерпела ряд поражений в воздухе и в морских битвах. Но чтобы победить японцев, союзникам надо было бы высадиться на японских островах и завоевать их с боем. А это было не так просто, как показала высадка на остров Окинава. Затянувшиеся бои на этом маленьком островке показали американцам, как дорого мог бы стоить каждый клочок японской земли. Там они встретились с ничтожной частью японской сухопутной армии, а на основных островах Японии находились миллионы вооруженных солдат. Под угрозой смерти население день и ночь укрепляло побережье. Всюду рылись окопы, строились доты, вырубались пещеры для орудий и танков.

Следы этой подготовки мы видели на каждом шагу.

Заняв остров Окинава и отвоевав Филиппинские острова, союзники затруднили сообщение японцев со странами южных морей. Но морской блокадой одолеть Японию было невозможно. Японцы предприняли новое наступление в Китае, оттеснили войска Чан Кай-ши и проложили себе по суше дорогу в Индокитай и Сиам, а через них снова наладили связи со странами южных морей.

Да и без этого Япония могла воевать «хоть сто лет», говорили ее генералы. Половину своей военной промышленности Япония перевела в Маньчжурию. Коксующийся уголь был и в Маньчжурии, и в Северном Китае, железная руда — в Корее. Все, что нужно для войны, Япония имела в местах, недосягаемых для американской авиации.

А Желтое море, в которое японцы перевели свой флот, отгороженное от Тихого океана надежным барьером японских островов, было для них внутренним озером, по которому они плавали в Китай и Маньчжурию без всяких препятствий.

Имея такие позиции и нетронутую сухопутную армию, японцы надеялись своим бесконечным сопротивлением утомить союзников и принудить их к миру, выгодному Японии.

Быстро разгромить японских империалистов и тем прекратить страдания миллионов людей могла только доблестная Красная Армия.

9 августа 1945 года Советский Союз, верный своему союзническому долгу, вступил в войну против Японии, а 10 августа японский министр иностранных дел уже вбегал по ступенькам советского посольства в Токио с заявлением о капитуляции.

Однако, заявив всему свету, что Япония прекращает войну, император «забыл» предупредить об этом своих генералов.

И вот, пока министры двора запрашивали у держав-победительниц, не будут ли условия капитуляции оскорбительными для императорской династии, и создавали всякие проволочки, японские войска в Маньчжурии не только не складывали оружие, а даже попытались перейти в контрнаступление против Красной Армии.

Квантунская армия, названная так по имени Квантунского полуострова в Маньчжурии, считалась в Японии самой боеспособной и лучшей армией.

Так неужели эта армия, в которой собран цвет японского воинства, не сможет одержать несколько побед над советскими частями, хотя бы даже в оборонительных боях? Противнику нужна была хоть какая-нибудь «победка», чтобы прошуметь о ней на весь мир и тут же издать рескрипт императора о прекращении войны. И тогда создалось бы впечатление, будто «непобедимые» японцы прекращают войну лишь по доброй воле императора.

Но все их надежды были развеяны в прах. Советские войска нанесли удар по всем правилам военной науки, всей мощью своей военной техники.

По плану Советского Главного Командования на японские силы в Маньчжурии должны были обрушиться три фронта под общим командованием маршала Александра Михайловича Василевского: 1-й Дальневосточный — под командованием маршала Кирилла Афанасьевича Мерецкова, 2-й Дальневосточный — под командованием генерала армии Максима Алексеевича Пуркаева и Забайкальский — под командованием маршала Родиона Яковлевича Малиновского.

Маршалы Малиновский и Мерецков должны были одновременно двинуться друг другу навстречу с востока и с запада и, пройдя в глубь Маньчжурии, соединиться в столице Маньчжоу-Го — городе Чанчуне, окружив, таким образом, основные силы японской армии. Генерал армии Пуркаев, действуя с севера на юг, должен был рассекать японские войска, расположенные на Амуре и Сунгари, загоняя их в один общий «мешок». Одновременно моряки Тихоокеанского флота под командованием адмирала Юмашева должны были высаживать десант на Южный Сахалин, Курильские острова и с моря брать порты Кореи.

Чтобы завершить это гигантское окружение, войскам 1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов пришлось пройти с боем полторы тысячи километров.

На пути наших бойцов были пустыни и болота, тайга и горы, укрепленные районы, построенные по последнему слову техники, и миллионная японская армия.

Но ничто не удержало грозной лавины советских войск.

Как всегда, громадную роль сыграла грозная артиллерия. Были случаи, когда наши военачальники замечательно проводили боевые операции, не вводя в действие артиллерию, пользуясь одним страхом японцев перед советским «богом войны». Так, войска маршала Мерецкова применили следующую хитрость. Они сосредоточили перед японскими укреплениями огромное количество артиллерии — до четырехсот орудий на километр. Заметив эти приготовления, японцы спрятались поглубже в свои железобетонные норы. Их командиры рассчитали, что артиллерийская обработка продлится не менее четырех часов, а уж потом, как это делалось нами при разгроме гитлеровских укреплений, надо ждать атаки.

Но вместо этого до начала огня наше командование выслало на штурм укреплений специально натренированные штурмовые группы. Без выстрела! Это застигло японцев врасплох.

Бойцы, штурмовавшие твердыни Кенигсберга, отшлифовавшие свое военное искусство в боях с фашистской армией, бесстрашно и ловко подкрались к амбразурам дотов, забросали гранатами, беря один дот за другим.

Все укрепления, создававшиеся японцами годами, рухнули в несколько дней.

5-я японская армия, пытавшаяся остановить наступление маршала Мерецкова, была разбита, ее командующий генерал-лейтенант Симидзе Норицуки взят в плен, дорога в глубь Маньчжурии открыта, и части 1-го Дальневосточного фронта через леса и горы устремились к Чанчуню, чтобы с востока замкнуть гигантские клещи вокруг японских войск в Маньчжурии.

Невероятные трудности пришлось преодолеть бойцам маршала Малиновского, наступавшим с запада. На их пути тоже были укрепленные районы и высокие горы Хинганского хребта, а южнее, на правом фланге, безводные пустыни Чахара.

Участники похода никогда не забудут подъема на Хинганский хребет. Бойцам приходилось втаскивать на горы не только свою амуницию и оружие — пришлось тащить пушки, подталкивать машины. Труден был подъем, но еще труднее оказался спуск. Каждая пушка тянула книзу, грозила сорваться в пропасть или в горный поток. Тысячи бойцов спускали орудия на канатах. В горах бушевали проливные дожди, негде было согреться и обсушиться.

В долинах войска попадали в топкие трясины, в них застревало множество машин и танков, преодолевших горы и скалы. И все-таки армия шла вперед. Шла упорно, безостановочно. Там, где пробирались только олени да маньчжурские тигры, прошли не только советские воины, но прошли и советские танки. Появление их на маньчжурских равнинах показалось японцам чудом. Паника охватила и солдат и генералов.

Разгромив лучшие японские дивизии, войска маршала Малиновского точно по плану вышли к Чанчуню с запада, японские части оказались в гигантском «мешке». С севера на них давили войска генерала Пуркаева. И вот под ударами с трех сторон вся миллионная махина Квантунской армии стала разваливаться, солдаты тысячами сдавались в плен.

Большую роль сыграл легендарный поход через пустыни Чахара наших кавалеристов под командованием генерала Плиева и монгольских конников маршала Чойбалсана.

Японцы считали, что эти пустыни непроходимы, потому что в них нет воды. Нечем поить коней и моторы. Если лошади в пустыне во время жары требуют много воды, то моторы автомобилей — еще больше. Большой армии через пустыни Чахара не пройти.

Но не оправдались и эти расчеты японских генералов. Они не учли ни выносливости советских бойцов, ни мощи советской техники.

Очень трудно пришлось нашим войскам в пустыне. Все надо было везти с собой — не только снаряды и амуницию, но и продовольствие, и дрова, и много-много воды. С водой было труднее всего.

Люди выдерживали, но машины были капризнее, они требовали воды сверх меры. Тут уж ничего не поделаешь. И вот на помощь пришла авиация. Сотни самолетов превратились в водовозов. Внутрь большого транспортного самолета вставлялся резиновый баллон, накачивался водой, и воздушный водовоз летел поить моторы и людей. По земле воду везли и автомобили, и верблюды.

Впереди шли специально водные разведчики. Они отыскивали древние колодцы, родники, ручейки и тут же брали их под охрану.

Как только животные чуяли воду, они бросались всей массой к источнику, грозя затоптать его тысячами копыт. Попробуйте-ка удержать такую лавину! Приходилось ставить предупредительные заставы и подводить животных по очереди, небольшими группами.

Преодолев все эти трудности, наши конно-механизированные соединения прошли пустыни и внезапно появились в глубоком тылу японцев, у самого Желтого моря. Они с ходу заняли Порт-Артур, соединившись там с воздушным десантом советских моряков.

Участники сурового похода были вознаграждены. Войска вошли в Порт-Артур и в порт Дальний и увидели чудесные оазисы, культурные города, построенные в диких местах много лет назад русскими людьми. Здесь давали тень роскошные сады, посаженные еще нашими дедами, щедро журчала вода. Китай-

ское население, настрадавшееся под игом японцев, восторженно встречало опаленных солнцем пустыни воинов-освободителей.

После взятия морскими десантами корейских портов Расин, Сейсин и Гензан кольцо вокруг японских войск было замкнуто.

Квантунская армия, попав в окружение, какого и свет не видывал, попыталась еще перейти в контрнаступление. Но это были жалкие попытки. Убедившись, что советские танки не боятся японских пушек, солдаты императора стали удирать.

Растерялись и японские генералы. Советская авиация разрушала связь, не допускала маневрирования японских войск по железным дорогам. Советские воздушные десанты сыпались с неба в самых неожиданных местах. Когда император Маньчжоу-Го, японский ставленник Пу И, собрался бежать и его самолет снизился для заправки горючим на один из тыловых аэродромов, там уже были советские десантники. Пу-И попал в плен вместе со всеми своими министрами.

В основном в течение недели все было кончено. Сдался в плен и командующий Квантунской армией генерал Ямада со своим штабом.

Победа Советской Армии в Маньчжурии окончательно развеяла легенду о непобедимости японской армии. Императору пришлось признать себя побежденным и уполномочить своих обанкротившихся министров и генералов подписать акт о безоговорочной капитуляции.

На борту линкора «Миссури»

Ровно в семь часов утра 2 сентября 1945 года в Иокогамский порт был подан миноносец «Тэйлор», чтобы отвезти корреспондентов союзных стран на борт американского линкора «Миссури», где должно было произойти подписание акта о капитуляции. Линкор стоял на внешнем рейде токийской бухты. Корреспондентский корпус состоял теперь уже из двухсот сорока человек.

Шумная компания заполнила палубу небольшого корабля. Тут были и австралийцы, и новозеландцы с черными усиками, и смуглые филиппинцы, китайцы и англичане, американцы и русские.

Все американские корреспонденты, кино- и фоторепортеры имели значки и гербы своих газетных фирм и кинокомпаний, были увешаны оружием разных марок и оснащены пишущими машинками, кино- и фотоаппаратами.

Легкий ветерок разгонял туман, стоявший над берегом. Перед нами вырисовывались очертания иокогамской гавани со множеством причальных пирсов, над которыми возвышались стрелы

подъемных кранов. Виднелись громады стапелей корабельной верфи. Всюду царила тишина. Порт замер.

Миновав маяки на волнорезах, мы вышли на простор и увидели армаду союзных кораблей.

В центре возвышались линкоры. Рядом с «Миссури» стояли его «родные братья» — линкоры «Айова» и «Южная Дакота». В той же линии виднелись линкоры английского флота «Король Георг V» и «Герцог Йоркский». Дальше вырисовывались многочисленные крейсеры, авианосцы и бесконечное количество транспортных судов с войсками для оккупации Японии.

Линкор «Миссури» был убран флагами союзных наций. Оркестр исполнял туши и марши. Матросы и офицеры — в белой парадной форме.

На стенах капитанской рубки «Миссури» мы заметили какие-то картинки. Оказывается, на них изображены боевые эпизоды, в которых участвовал линкор, и его трофеи в этой войне: обстрел Токио, попадания во вражеские корабли, зарисовки сбитых самолетов.

Среди картинок запомнилась юмористическая, посвященная японскому «камикадзэ». Оказывается, один смертник спикировал на корабль и врезался в его борт. Линкор устоял. Теперь в насмешку «камикадзэ» изобразили в виде комара, разбившегося о броню корабля.

Американцы не только посмеивались над японскими пикировщиками, но и опасались их; об этом говорило обилие зениток. На огромной палубе корабля было тесно от множества зенитных установок. Тут и дальнобойные зенитки, и скорострельные «чикагские пианино» — ящики с восемью спаренными стволами, и универсальные орудия для стрельбы по катерам и по самолетам.

В этой тесноте не так просто было найти место для церемонии подписания акта. Перед капитанским мостиком, у правого борта, мы увидели стол, накрытый зеленым сукном, и около него микрофон. Свободного места на палубе хватило только для официальных делегаций, а корреспондентский корпус пришлось размещать на башне главного калибра, на капитанском мостике, на зенитных установках. Советским корреспондентам досталась башня главного калибра, с которой довольно хорошо было видно и слышно.

Мы наблюдали, как съезжались на корабль американские адмиралы и генералы. Они вели себя довольно непринужденно.

Официальные представители союзных стран прибывали на миноносцах.

Обратили на себя внимание английские адмиралы. Их возглавлял знаменитый моряк Англии адмирал сэр Брюс Фрезер. Советское правительство наградило его орденом за охрану ка-

раванов судов, ходивших в Мурманск и Архангельск. Адмирал Фрезер и все английские адмиралы явились в легкой тропической форме.

На миноносце «Буконан» прибыла советская делегация во главе с генерал-лейтенантом Деревянко. Его сопровождали генерал-майор авиации Воронов и контр-адмирал Стеценко. Широкоплечие, статные советские делегаты — представители страны богатырей — привлекали всеобщее внимание.

Как только к борту линкора приблизился миноносец «Буконан», матросы устроили овацию советским представителям. Они бросали вверх свои белые шапочки и кричали приветствия. Так американский «человек с ружьем» напоминал всем присутствующим, как велики в Америке симпатии простых людей к Советскому Союзу, к нашему героическому народу, принесшему громадные жертвы ради спасения человечества от ненавистного фашизма.

Когда собрались все делегаты стран-победительниц, на маленьком катере привезли японскую делегацию. Японцам пришлось подниматься по трапу от самой воды. На палубе наступила тишина.

Всем любопытно было разглядеть представителей побежденной страны.

В этой тишине раздался странный стук. Оказывается, это поднимался по трапу, стуча своим деревянным протезом, хромой Сигемицу, министр иностранных дел, главный уполномоченный японского императора, прозванный когда-то за свою дипломатическую ловкость дипломатической лисицей, поскольку этот плутоватый зверь в Японии весьма почитаем.

Нам знакома фигура этого дипломата. Когда-то он был послом в Москве и, притворно улыбаясь, плел против Страны Советов интригу за интригой.

Это он убедил своих не в меру воинственных генералов, будто Советская Россия слаба, не подготовлена к войне, и натолкнул их на хасанскую и халхин-голскую авантюры, которые дорого обошлись его соотечественникам, получившим там сокрушительный отпор.

До пребывания в Москве Сигемицу подвизался в Китае. Но и там ему не везло. Во время парада японских войск китайский патриот швырнул бомбу в группу японских генералов. Был убит японский командующий, а Сигемицу лишился ноги. Теперь этому верному слуге японского империализма предстояло пережить тяжелые минуты — расписаться в поражении императорской Японии.

Вначале над палубой появился его черный цилиндр. На бледно-желтом лице выделялась черная оправа очков. Японский министр был в черной визитке. Он опирался на палку, волоча

деревянную ногу. Под руки его поддерживали два секретаря, тоже в цилиндрах и в черном одеянии, мрачные, как факельщики на похоронах.

Вслед за этой траурной группой медленно шли японские генералы во главе с начальником штаба генералом Иошихиро Умедзу. Они не осмелились надеть свои яркие ордена с изображением хризантем и черных драконов. Самурайские мечи у них отобрали.

Мечтавшие завоевать весь мир, они шли теперь жалкой, растерянной кучкой.

Вот им указали место, где они должны стоять перед столом, накрытым обыденной зеленой скатертью, напротив делегаций стран-победительниц.

Церемония началась с «пяти минут позора Японии», что было предусмотрено программой. Японцы были поставлены лицом к лицу с китайской делегацией, что было для них особенно оскорбительно, и должны были в течение пяти минут выдержать укоризненный взгляд всех присутствующих на корабле.

В наступившей тишине, казалось, и время замедлило бег, словно давая возможность всем присутствующим еще больше осмыслить значение происходящего здесь события.

Японские представители могли понять, насколько они слабы и ничтожны перед лицом Объединенных Наций, а представители держав-победительниц — еще раз почувствовать, что сила народов — в их дружбе.

После этой «выдержки» японцам было предложено первым подойти к столу и подписать акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Огромные листы акта разложены на столе. Крупными буквами напечатан по-английски первый экземпляр и крупными иероглифами — второй, японский.

Сигемицу подходит к столу, снимает цилиндр, садится на стул и, достав свою автоматическую ручку, начинает подписывать.

И вдруг неожиданная заминка: ручка не пишет. То ли в ней вышли чернила, то ли она неисправна. Японский министр даже растерялся. Такая ответственная, историческая минута, на него смотрят тысячи глаз, его снимают сотни аппаратов, а он подписаться не может. Капли пота выступили на желтом лбу Сигемицу. Секретарь догадался подсунуть ему свою ручку, и Сигемицу, торопливо начертав иероглифы, наконец поднялся и отошел прочь, не сдержав глубокого вздоха.

Вслед за ним подходит к столу генерал Умедзу, начальник генерального штаба Японии. Он расписывается в своем поражении с таким равнодушным видом, как будто он каждый день подписывал такие бумажки...

Ни улыбок, ни оживления. Японские делегаты подавлены. Такого унижения еще не было в истории императорской Японии. Ведь Страна восходящего солнца еще ни разу не была побеждена за все время своего существования, как утверждали императорские историки.

От вооруженных сил союзников акт подписал генерал Макартур.

Словно в насмешку над японским дипломатом, у которого была одна ручка, и та плохая, он достал из кармана горсть автоматических ручек и подписал японский текст акта одной ручкой, а американский текст — другой.

Японцы стояли неподвижно, стараясь показать свое полное равнодушие к происходящему. Они не подняли глаз и не пошевелились, когда к столу подошла китайская делегация. Для них это было особенно унизительно.

Ничто не отразилось на лицах побежденных, когда к столу приблизился английский адмирал сэр Брюс Фрезер. А сколько воспоминаний могла у них вызвать старая дружба с Англией! Ведь в Англии строились когда-то первые военные корабли Японии, английские инструкторы обучали ее офицеров.

Но друзья отплатили черной неблагодарностью: в годину гитлеровского нападения на Англию, воспользовавшись моментом, они ударом в спину захватили крепость Сингапур, оплот Англии на Дальнем Востоке. Такие поступки не забываются. Хмуро поглядывая на коварных японцев, ставит свою подпись Брюс Фрезер.

Вдруг треск фото- и киноаппаратов усиливается. К столу подходит советская делегация. Заметно движение и среди неподвижных доселе японцев. Поднял голову Сигемицу. Иошихиро Умедзу смотрит исподлобья, как советский генерал просматривает листы акта.

С волнением мы следили, как росчерком пера советский генерал от имени нашей великой державы подвел итог многолетней борьбе с бесчинством японских захватчиков. Их проискам отныне положен предел. «Япония лишается армии, флота и всех своих баз и арсеналов на материке»,— гласил акт о безоговорочной капитуляции, которую Япония приняла в результате решающих действий Красной Армии.

Поставив свои подписи, советская делегация отошла от стола и с достоинством встала в число первых в общем строю победителей.

После генерала Деревянко поставили свои подписи представители Австралии, Канады, Голландии, Франции и Новой Зеландии.

Акт подписан.

Макартур говорит заключительную речь и приглашает делегатов союзных стран в салон линкора «Миссури». Победители,

подписавшие акт, уходят, представители побежденной Японии остаются. Американские офицеры зашнуровывают листы акта в солидную папку и вручают ее японским представителям: они должны доставить подлинник своему императору.

Получив папку с историческим актом, японцы собираются в тесную кучку и торопливо сходят вниз по трапу.

Так закончилась вторая мировая война, развязанная в середине нашего века в интересах германского и японского империализма руководителями нацистского рейха и Страны восходящего солнца, война, в огне которой погибло более пятидесяти миллионов человек.

«Великая Отечественная война Советского Союза навсегда останется в истории как событие всемирного значения. Гигантское военное столкновение социализма с ударными силами империализма — фашистской Германией и милитаристской Японией — предопределило дальнейшее развитие человечества и оказало глубокое влияние на жизнь миллионов людей во всех частях земного шара.

Вооруженное противоборство сторон в Великой Отечественной войне представляло собой борьбу двух противоположных социальных систем и носило ярко выраженный классовый характер. В Великой Отечественной войне решался вопрос о существовании первого в мире социалистического государства, о развитии мирового социализма. От исхода этой схватки зависели судьбы многих народов и стран: идти им по пути социального прогресса или быть на долгое время порабощенными, отброшенными назад, к средневековью, мрачным временам мракобесия и тирании. Классовый характер борьбы обусловил ее небывалую остроту, решительность и бескомпромиссность».

«Победа над фашизмом и милитаризмом показала, что в мире нет таких сил, которые смогли бы повернуть вспять колесо истории, остановить могучий поток революционных преобразований, начатых Великой Октябрьской социалистической революцией».

«Победоносное завершение Великой Отечественной войны имело громадное значение для дальнейшего продвижения нашей страны к коммунизму. Не менее важное влияние оно оказало на послевоенное устройство мира, на соотношение классовых сил на мировой арене.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне определила важнейшие итоги и международные последствия второй мировой войны, объективное содержание которой со-

стояло в вооруженном противоборстве страны победившего социализма с наиболее реакционными, агрессивными силами мирового империализма. Победа оказала глубочайшее воздействие на борьбу народов за мир, демократию и социализм, на развитие международного коммунистического и рабочего движения, национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах».

«В образовании мировой системы социализма состоит всемирно-историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне».

«История Коммунистической партии Советского Союза», том пятый, книга первая, стр. 640, 661, 657, 658.

Перечень иллюстраций художников

1.	И. Тоидзе	Родина-мать зовет
2.	Н. Толкунов	Бессмертие (Брест. 1941 год)
3.	Н. Жуков, В. Климашин	Отстоим Москву!
4.	В. Памфилов	Подвиг гвардейцев панфиловцев
5.	А. Дейнека	Оборона Севастополя
6.	В. Пузырьков	Черноморцы
7.	Г. Марченко	В боях за Сталинград. Центральная часть триптиха
8.	Г. Марченко	Пленение немцев
9.	В. Сафронов	Клятва
10.	Н. Бут	Письмо матери
11.	Ю. Гальков	Тишина
12.	В. Серов	Защитим город Ленина
13.	Ю. Непринцев	Балтийцы
14.	П. Кривоногов	На Курской дуге
15.	П. Мальцев, Н. Присекин	Форсирование Днепра в 1943 г. в районе Переяслав-Хмельницкого. Фрагмент диорамы
16.	А. Интезаров	Злата Прага
17.	Г. Логинов, В. Памфилов	Знамя Победы
18.	В. Костецкий	Возвращение
19.	Скульптор Е. Вучетич	Волгоград. Мамаев курган. Монумент «Стоять насмерть»

1. Художник И. Тоидзе



2. Художник Н. Толкунов



3. Художники Н. Жуков, В. Климашин



4. Художник В. Памфилов



5. Художник А. Дейнека 6. Художник В. Пузырьков



7—8. Художник Г. Марченко





9. Художник В. Сафронов



10. Художник Н. Бут



11. Художник Ю. Гальков



12. Художник В. Серов 13. Художник Ю. Непринцев





14. Художник П. Кривоногов
15. Художники П. Мальцев, Н. Присекин



16. Художник А. Интезаров



17. Художники Г. Логинов, В. Памфилов



18. Художник В. Костецкий



19. Скульптор Е. Вучетич



